



СЕМЕНОВ
Григорий Михайлович
1890–1946

СЕМЕНОВ

Валерий Поволяев

АТАМАН СЕМЕНОВ

РОМАН

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
П 42

Оформление
В. И. Харламова

Поволяев В. Д.
П 42 Семенов: Атаман Семенов: Роман/В. Д. Поволяев. —
М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство
АСТ», 2003. — 508, [4] с.: ил. — (Белое движение).

ISBN 5-17-019926-0 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-271-07066-2 (ООО «Издательство Астрель»)

Новый роман известного современного писателя Валерия Пovoляева воссоздает картины жизни России начала XX века: Первой мировой войны и беспощадной борьбы, развернувшейся на нашей земле в годы войны Гражданской.

В центре внимания автора — один из руководителей антибольшевистского движения в Забайкалье, генерал-лейтенант Г. М. Семенов (1890-1946).

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Формат 84×108/32. Подписано в печать 15.06.2003.
Гарнитура «Школьная». Печать офсетная. Усл. печ. л. 26,8.
Тираж 7 000 экз. Заказ № 1464.

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.02.953.Д.008286.12.02 от 09.12.2002

ISBN 5-17-019926-0
(ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-271-07066-2
(ООО «Издательство Астрель»)

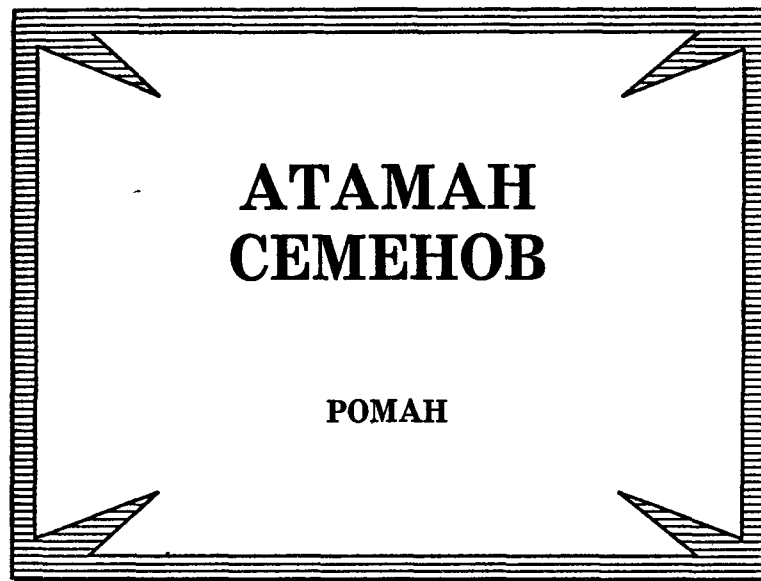
© Поволяев В. Д., 2003
© ООО «Издательство Астрель», 2003

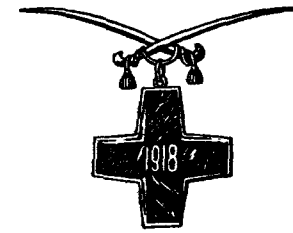
ISBN 5-17-019926-0



9 785170 199266

Валерий Поволяев

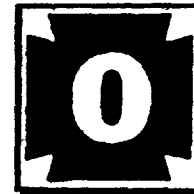




КНИГА ПЕРВАЯ

КАЗАЧЬЯ ЖИЗНЬ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



фицерские погоны Григорий Семенов носил с удовольствием, иногда, словно бы не веря, что он на самом деле — после окончания военного училища в городе Оренбурге — стал офицером, косился то на одно свое плечо, то на другое, осматривал погоны и гордо вздергивал голову: знай наших!

Училище он окончил по первому разряду, потом двадцать восемь дней гостил дома, у отца, в станице на реке Онон — после учебы был положен отпуск, — и уже оттуда отбыл в полк, стоявший в городе Троицко-Савске, на границе с Северной Монголией, или, как звали ее в ту пору — Халки.

В Троицко-Савске Семенов обосновался в маленькой чистой хатенке, в которой жил одинокий сивоголовый дед — герой осады Севастополя¹, лично знавший адмирала Нахимова, — заплатил за жилье вперед и впрягся в службу.

Зима в тот год выдалась капризная — снежная и одновременно морозная, рот на улице открыть было нельзя, его мигом запечатывало, зубы крошились от холода, от стужи не спасали даже шубы на волчьем меху, а потом вдруг откуда-то из монгольских задымленных глубин приносился хриплый, злобно гогочущий ветер, сдирал снег с земли, обнажая камни и сохлую траву, и начиналась оттепель. Люди хлопали мок-

рыми носами и последними словами ругали матушку-природу — что же с ней такое происходит? Что в ней развинтилось? И когда все это кончится?

Семенову такая погода нравилась — она закаляет организм и из обычного солдата делает солдата, который ни мороза не боится, ни жары, ни чертей с вурдалаками, ни турок с кривыми ятаганами, ни воды, ни высоченных гор, ни лютых здешних разбойников — хунгузов...

Напрасно Семенов вспомнил о хунгузах².

Во дворе к нему подбежал казак Белов — подвижный, стремительный, о нем Семенов говорил: «Шустрый как веник», — запыхавшийся, похлопал себя по рту, сдерживая дыхание:

— Обыскался я вас, ваше благородие... Пожалуйте срочно в штаб.

— Чего стряслось? — Голос у Семенова сделался недовольным — прорезались в нем иногда жесткие брызгливые нотки, отталкивающие человека, и тогда между ним и его собеседником словно бы трещина какая появлялась; произошло это и сейчас, Белов это почувствовал, невольно вытянулся, приложил руку к фуражке и добавил несколько невпопад, запоздало:

— Ваше благородие!

В штабе встретил Семенова помощник командира полка — сухопарый, с металлическим лицом есаул, перетянутый ремнями. Приказал:

— Возьмите с собою пять человек, оружие и срочно отправляйтесь в Сучан-Кневичи.

Семенов щелкнул каблуками, круто развернулся через левое плечо и приготовился покинуть кабинет помощника командира полка.

— А что же не спрашиваете, по какой такой надобности я отправляю вас в Сучан-Кневичи? — поинтересовался тот.

— На месте разберемся, господин есаул.

Есаул усмехнулся:

— Ну-ну... Тогда действуйте!

Хунгузы налетели на село Сучан-Кневичи внезапно. Было их пятнадцать человек — ровно пятнадцать, командовал ими Желтолицый Линь — молодой, начинающий полнеть китаец с черными сальными волосами, заплетенными по-купечески в косичку, — он, к слову, действительно принадлежал к купеческому сословию, отец его владел на берегу Амура несколькими мануфактурными лавками. Китайцев за цвет кожи часто называли желтолицыми, у Линя лицо было и вовсе

похоже на спелый лимон — яркого желтого цвета и, как у настоящего лимона, с «пупочкой» на подбородке.

Желтолицый Линь отличался жестокостью. Недавно в трех километрах от Сучан-Кневичей нашли зарезанного купца с приказчиком, при купце ничего не оказалось — ни денег, ни товара, ни золотого песка, который тот выменял у старателей на муку, крупу, сахар и несколько бочонков постного масла, — все подгреб Желтолицый Линь...

О том, что купец побывал у старателей, стало известно в Сучан-Кневичах, а оттуда вестичка ушла к китайцам, живущим на нашей стороне; там, где живут китайцы — все дыряво, границ для «ля-ля-ля» не существует, вскоре в селе появился Желтолицый Линь со своими людьми, на лошадях промахнул мимо, через три часа вернулся. В четырех санях, накрытых рогожею, лежал тщательно упакованный товар. Ни бугорка, ни острого выступа, что это за товар — не понять, Желтолицый Линь был доволен и без задержки укатил в Китай.

Обычно, если он бывал недоволен — шел к старосте Ефиму Бычкову, садился в доме на лавку и втыкал нож в хорошо выскобленный сосновый стол.

— Если хочешь, чтобы я вынул из стола нож — плати.

Ефим опускался на колени и спрашивал дрожащим голосом:

— Сколько, бачка?

Желтолицый Линь показывал ему три раза по пять пальцев и грозно сводил жидкие кучерявые брови:

— Перевести на русский язык?

Староста бился лбом об пол, задыхался в слезной обиде:

— Разоряешь, бачка!

Линь усмехался, произносил с издевкой:

— Такие, как ты, в огне не горят, в воде не тонут. — Желтолицый Линь русский язык знал хорошо, даже очень хорошо — когда-то он учился в Хабаровске, в Коммерческой школе, писать умел почти без ошибок, читать — и того лучше. — Если такого человека, как ты, проглотит корова, он из ее желудка вылезет невредимым. Таких ни медведи, ни свиньи, ни тигры не едят, разорять вас — дело бесполезное. Гони, старый козел, пятнадцать рублей золотом и живи со своей деревней мирно. Не дашь денег — будешь обижаться на самого себя.

Староста, стеная, крихтя, исчезал в соседней комнате, через несколько минут выносил деньги.

— Душегуб ты, Линь, — крутил головой Ефим Бычков, хлюпал носом обиженно, — креста на тебе нет.

— Креста нет, это точно. — Желтолицый Линь заходился в смехе, сгребал монеты в руку, пересчитывал их и хвалил хозяина: — Молодец, Ефим, на этот раз не обманул меня. — Хотя обмануть Линя было трудно — в русских деньгах он разбирался не хуже Ефима Бычкова. — Молодец, паря!

Вытаскивал нож из столешницы, засовывал его в чехол, сшитый из кабаньей пашины, и уходил.

Через несколько минут китайцы покидали Сучан-Кневичи.

В конце концов платить поборы стало невозможно, и староста, покряхтев, расчесав в раздумьях затылок до крови, надел лучший свой пиджак, нацепил на него медальку, полученную за беспорочную службу, и поехал на станцию Гродеково жаловаться на Желтолицего Линя командиру Первого Нерчинского полка генерал-майору Перфильеву. Перфильев лишь недавно был произведен в генералы и ожидал нового назначения. В полку его любили и жалели, что Перфильев уходит.

Перфильев обещал Ефиму Бычкову укоротить Желтолицего Линя, проводил старосту до дверей кабинета; прощаясь с ним, подал руку.

— Скоро мои люди появятся у вас.

— Жду с нетерпением. — Староста наклонил напомаженную, с ровным подбором голову.

— Только постарайтесь, чтобы солдат моих никто не видел, — попросил генерал-майор. — От секретности операции очень многое зависит. Слишком уж граница у нас щелястая, ветер в дырах свистит.

— Не извольте сомневаться, ваше превосходительство, — староста вновь наклонил напомаженную голову, — я ведь сам в этом очень заинтересован. Назад дороги нет. Если Желтолицый Линь о чем-нибудь узнает, то мне же первому и отрежет голову.

Командир полка был вежливым человеком, проводил деревенского старосту дальше, чем было положено, — до входной двери.

Группа нерчинцев выехала вечером, когда было уже темно. С собою взяли винтовки, патроны, немного еды. С провиантом да с кормом для лошадей Ефим Бычков просил не беспокоиться — эти заботы он брал на себя.

Едва миновали последние домики станции Гродеково, как сразу погрузились в вязкую, густую черноту, в которой невозможно было увидеть даже холку собственного коня.

В число отряженных пяти человек Семенов включил и шустрого Белова. В обещании, данном помощнику командира полка самому во всем разобраться, на месте, была некая доля игры — Семенов слышал и о набегах на Сучан-Кневичи, и о Желтолицем Лине — слухами ведь земля полнится, — но как будет действовать, пока не знал. С этим-то он точно определится на месте. Сейчас попусту гадать нечего.

Коня шли ходкой рысью — понукать не надо было, — перед тем как выехать, Семенов приказал хорошенько накормить их. Местами черный лес подступал вплотную к дороге, и тогда Семенов, на ходу сдергивая с себя винтовку, клал ее на луку седла. Зима нынешняя выдалась не только капризная, но и голодная, из тайги на тракты выходит много волков, в Гродеково они напали на жену железнодорожного стрелочника, на несчастье свое заплутавшую на окраине станции, и если бы не казаки из учебной команды, случайно проезжавшие мимо, волки так бы и закатали ее, пустили бы на свою звериную закуску, а так женщина, считай, легко отделилась — клыкастые покусали ей только правую руку и ноги.

В глубине леса иногда помаргивали слабые гнилушечьи огоньки, исчезали, затем возникали вновь, и от их таинственного мерцания делалось не по себе, по телу пробегал холод.

Впрочем, волков Семенов не боялся, а вот нечистой силы побаивался, это в него было вживлено еще с детства — от волков можно отбиться чем угодно — винтовкой, факелом, топором, палкой, лопатой, ломом, косой, а вот от леших не отобьешься — окружают, защекочут, зацелуют и удавят. Да и волк — не дурак. Он на вооруженного человека не ползет — издали чувствует запах патронов, пороха, горелого ствола, а лешим на горелый ствол наплевать, они пороха и пуль не боятся.

Глубокой ночью казаки, встреченные ленивым перебриванием сонных кобелей, прибыли в Сучан-Кневичи; староста, несмотря на поздний час, встретил их на пороге дома, радостно потер руки:

— Ну, теперь лимону этому — хана!

— Хана! — спокойно подтвердил Семенов.

Утром староста сообщил сельчанам, что решил возводить новый дом — большую пятистенку с высокой, в половину человеческого роста завалинкой и для этого нанял в Гродеково пятерых работников — ловких мужиков: пусть они к весне выберут в лесу сухостойные лиственницы — дерево, как известно, вечное, гниению не поддающееся — срубят их, обра-

ботаю, вывезут, свяжут венцы, а уже летом, когда грянет настоящее тепло, начнут стройку.

Дом должен быть удобным, широким, разумно спланированным — староста собрался выдавать замуж свою красавицу дочь и при этом ставил условие: новоиспеченный родственник должен переехать жить к нему, в тот самый дом, что будет срублен.

Весть о новых работниках и великих планах Ефима Бычкова обязательно дойдет до ушей Желтолицего Линя, поэтому появление свежих лиц не вызовет вопросов у предводителей хунгузов. Что же касается казачьих коней, то их Ефим глубоко запрячет в конюшне, так что ни один человек, даже из своих, не говоря уже о чужих, не узнает о них.

Главное — чтобы Желтолицый Линь появился побыстрее.

Через два дня банда Линя с лихим свистом пронеслась по единственной улочке деревни и исчезла в морозном розовом мареве студеного февральского дня.

Семенов наблюдал за хунгузами из-за занавески и, проводив их долгим изучающим взглядом, озабоченно почесал подбородок:

— Однако к тебе, Ефим Иваныч, не завернули.

Бычков перекрестился:

— Боюсь я их!

На всякий случай Семенов натянул поверх рубахи казачий мундир с офицерскими погонами, людей своих расставил по намеченным точкам. Поскольку он знал, что банда обычно целиком въезжала в просторный двор Ефима, то двоих казаков поставил в сторонке с одной стороны двора, двоих — с другой, старшим в этой дворовой команде назначил Белова.

— Все. Ждем встречи с узкоглазыми, — проговорил он довольно и скомандовал: — Стрелять без промаха. Главного живодера, Линя этого, я беру на себя.

Хунгузы появились лишь в четвертом часу дня, когда на деревню уже начал напоздать серый предвечерний сумрак, людей на улице не было видно — попрятались в ожидании хунгузов. Что-то тяжелое, тревожное, пахнущее кровью повисло над деревенскими домами.

Отряд Линя снова проскакал через Сучан-Киевичи, словно бы проверял деревню — нет ли чего опасного, затем развернулся и неспешной рысью двинулся обратно. Семенов, одетый в форму, перетянутый ремнями, при револьвере и сабле, наблюдал за китайцами из-за занавески.

Около ворот Ефима Бычкова Желтолицый Линь остановился:

— Хозяин!

Староста поспешно выскочил из дома, открыл ворота. Линь, пригнувшись, чтобы не задеть головой за перекладину, въехал во двор, бросил поводья подбежавшему Белову, натянувшему на себя лохматый нагольный полушубок.

— А это кто такой?! — спросил у Бычкова Линь. — Вроде бы раньше у тебя такого работника не было.

— Раньше не было, а сейчас есть. Я решил строить новый дом и взял кое-кого к себе на работу. Разве ты не слышал об этом?

— Слышал. — Желтолицый Линь закричал, слезая с коня, скосил губы в деланно-горькой усмешке. — Вон ты какой, оказывается, Ефим. А еще другом называешься. Разбогател... Хоромы новые собрался ставить, дочь замуж выдаешь, праздник всей деревне решил устроить, а близкого друга своего обходишь стороной. Обидно это, Ефим, очень обидно. — Желтолицый Линь осуждающе покачал головой.

Белов отвел его лошадь в сторону, повод привязал к длинной, гладко вытертой перекладине коновязи, расстегнул шейный ремень, освобождая уздечку. Лошадь выплонула шенкеля и оскалила крупные желтые зубы, словно бы понимающе улыбнувшись Белову, тот похлопал ее по морде и скрылся в конюшне.

Все, что надо было узнать, он узнал. Пересчитал хунгузов, въехавших вслед за Желтолицым Линем во двор. Двенадцать человек. Многовато, однако, будет. Но ничего страшного — одолевали в стычках и не столько врагов — справлялись с перевесом куда большим. Разглядел Белов и оружие, что имелось у хунгузов. Вооружение у них было слабенькое, они брали злостью да жестокостью.

— Прошу дорогого гостя пожаловать в дом, — манерно пригласил Линя староста, ухватил его под локоток, согнулся в подобострастном поклоне. — Ты на меня, Линь, не сетуй, не обижайся...

— Это я решу, когда побываю у тебя в доме, — сказал Линь.

— Прошу, прошу... — Староста продолжал подобострастно держать Линя под локоток.

Желтолицый Линь уверенно прошел в дом, сбросил на лавку малахай, расстегнул лисью доху. Неожиданно лицо его подобралось, сделалось жестким, он настороженно оглядел горницу.

Ефим Бычков тем временем проворно выставил на стол бутылку монопольки и блюдо с жареной кровяной колбасой.

— Я тебя, Линь, не обижу.

— Ладно, ладно, — Линь махнул рукой, — если я с тебя обычно брал пятнадцать золотых рублей в месяц и никого в твоей деревне не трогал, то сейчас возьму два раза по пятнадцать.

— Ох, Линь! — староста вздохнул горестно. — Ты хочешь совсем разорить меня. — Он вздохнул вновь. — Выпей для начала стопку, потом другую, закуси, и тогда мы будем решать вопрос о ясаке.

— Думаешь, я добрее стану?

— А вдруг?

— Не стану.

— Тогда я попробую уговорить тебя.

— Не уговоришь, — Желтолицый Линь усмехнулся, — мне деньги очень нужны.

Семенов находился в соседней комнате, отсюда весь разговор был слышен хорошо, и даже если Линь будет вести его шепотом, услышать можно все до последнего словечка. Семенова допекали досада, злость, еще что-то незнакомое, сложное. На щеках заходили желваки, и он поднял револьвер, глянул в черное, пахнущее гарью дуло. Под ногой от неосторожного движения скрипнула половица, и он замер, превратившись в изваяние — как бы не услышал Желтолицый Линь... Но нет, пронесло.

Из своего укрытия Семенов вышел, когда Ефим Бычков прошаркал ногами в горницу и выложил перед Линем стопку золотых монет. Незванный гость засмеялся, придвинул монеты к себе.

— Цени мою доброту, Ефим, я беру с тебя очень мало денег, — сказал Линь. — Другие так не поступают. — Он будто отщипнул от стопки одну монету, звонко щелкнул ею о стол. — Р-раз! — Отщипнул вторую монету, так же звонко, будто взводил курок револьвера, щелкнул ею о стол. — Два! — Отщипнул третью...

Желтолицый Линь увлекся — такое дело, как пересчитывание золотых монет, радовало его душу, — увлекся и не слышал, что в соседней комнате несколько раз тяжело прогнулись половицы, потом скрипнула форточка — это Семенов подал сигнал Белову, — через минуту занавеска, прикрывавшая вход в соседнюю комнату, раздвинулась, и в горнице появился казак в офицерской форме.

Желтолицый Линь вздрогнул, щеки у него обвисли, и неадоровая лимонная желтизна сменилась всполохенным серым цветом, в глазах мелькнул страх, и Линь, визгнув, шваркнул ладонью левой руки по столу, сгребая монеты, но не сгреб, а только рассыпал, правой рукой схватился за кобуру револьвера.

Семенов, перегнувшись через стол, что было силы ткнул его кулаком в лицо, Линь взмахнул руками и тяжело плюхнулся на лавку. За окном послышался шум, раздался выстрел, за первым выстрелом, в унисон, — второй.

Линь беспомощно глянул на окно, приподнялся на скамейке, Семенов вновь с силой ткнул его кулаком в лицо — попал в глаз — и рявкнул железным голосом:

— Сидеть! — Затем, чтобы Желтолицый Линь больше не дергался, ткнул ему под нос револьверное дуло: — Ты это видел? Если еще раз дернешься — голову тебе укорочу ровно наполовину. Понял? — Содрал с него кобуру с оружием.

Желтолицый Линь обессиленно просел в теле, вскрикнул жалобно, разом становась обыкновенным обиженным пареньком, папиным сынком, его сальная косичка скрючилась в жалкий щенячий хвостик. Под глазом у Линя начал быстро наливаться темным фиолетовым цветом синяк.

Во дворе раздался еще один выстрел, затем топот ног и следом — новый винтовочный хлопок. Топот угас — безавший замер на месте, будто его по колени вкопали в землю. Семенов продолжал спокойно поигрывать револьвером. Желтолицый Линь сделался еще меньше — сжался до размеров карлика, его нижняя челюсть, украшенная жидкой бороденкой, затряслась.

— Меня расстреляют? — жалобно спросил он у Семенова.

— Кому ты, такой дурак, нужен? — пробасил тот в ответ, усмехнулся — понимал, что происходит на душе у Линя, подумав немного, добавил: — Хотя, будь моя воля, я расстрелял бы. И голову твою, насаженную на кол, отправил бы отцу — пусть любит, какого отпрыска произвел на свет. И весть о тебе, дураке, разнесется по всему Китаю, так что другой разбойник, такой же нахрапистый, как и ты, тысячу раз подумает, соваться в Россию или нет.

Семенов поднял револьвер, прицелился Линю точно в лоб и взвел курок. Желтолицый Линь замер, в глазах его заметался страх, он прошептал жалобно, давась воздухом, собственным языком, еще чем-то:

— Не на-адо!

— Надо! — жестко проговорил Семенов и, придерживая рифленую пяточку курка большим пальцем, медленно спустил его. Выстрела не последовало. — Эх, была бы моя воля, — мечтательно произнес он, покрутил головой. — М-м-м...

— Не надо!

Через несколько минут в комнате появился Белов. Ловко вскинул руку к папахе:

— Все в порядке, ваше благородие! Двое оказали сопротивление, поэтому пришлось их... — Белов выразительно посмотрел вверх, на широкую, коричневую от времени матицу потолка, потыкал в нее пальцем. — В общем, отбыли господа разбойники в дальнюю дорогу...

— У нас потери есть?

— Нет.

Семенов попросил у Ефима Бычкова трое саней, связал хунгузов попарно, чтобы не смогли убежать, и погрузил их на сани.

Так, караваном, казаки и отбыли в Гродеково.

Первый Нерчинский полк был разбросан по всей Приморской области, в Гродеково располагались только две казачьи сотни, штаб полка да учебная команда.

Привезя хунгузов на станцию и сдав их под стражу, Семенов неожиданно для себя подумал, что жизнь его все-таки сера, тяжела, ничего радостного в ней нет. По сравнению с Сучанами станция Гродеково была едва ли не городом, носила отпечаток некой романтичности и лоска, если хотите, и Семенов позавидовал тем, кто квартировал в Гродеково. Хотя и Гродеково, и Сучаны, и Никольск-Уссурийский, и Троицко-Савск были обыкновенными провинциальными дырами.

Но ведь и среди дыр бывают различия. Есть дыры получше, есть дыры похуже.

Весной 1914 года сотник Григорий Семенов получил новое назначение — стал начальником полковой учебной команды. Конечно же должность эта — не бог весть что, одна из самых неприметных в казачьем полку, но сотник обрадовался ей несказанно: она была самостоятельной, не надо было каждый день докладываться есаулу, куда ты пошел, зачем пошел, что собираешься делать — начальник учебной команды подчинялся только командиру полка.

Новая должность пришлась сотнику по душе. Но пробыл он в ней недолго — надвинулся печальный август 1914 года³.

Государь объявил всеобщую мобилизацию.

Вскоре многие полки, находящиеся в Восточной Сибири, покинули свои казармы, погрузились в эшелоны и отбыли на запад, а Первый Нерчинский словно бы завис, оставшись в Приморской области.

Семенов занервничал — ему не терпелось попасть на фронт: казалось, что война вот-вот закончится, она будет стремительной и на долю молодого сотника ничего не достанется... И верно ведь, близкие родственники⁴ — российский государь Николай Александрович и кайзер Вилли — одумаются и хлопнут по рукам (чего им воевать, родные души все же, семейное окружение им этого не простит), и тогда молотить немцев будет неудобно. Но не тут-то было — чем дальше, тем больше пахло мировой бойней.

Нервничать пришлось недолго — во второй половине августа семеновский полк был погружен в эшелон и отправлен на запад. Маршрут движения был известен только до Тулы, там надлежало получить приказ, куда следовать дальше.

Тулу эшелон проскочил не останавливаясь — казакам в городе оружейников нечего делать — и через сутки прибыл в Белокаменную. Стояла середина сентября — золотая пора.

В Москве эшелон остановился ранним туманным утром у запасного перрона, наспех сколоченного из толстых досок. Дома сытой купеческой столицы показались казакам серыми, угрюмыми, чужими — от той приподнятости, о которой впоследствии с таким воодушевлением написал Семенов, не осталось и следа. Казаки, почувствовав себя в Москве чужими, невольно оробели: ловкие, сильные, бесстрашные в тайге, в степи, в песках, в горах, здесь, среди равнодушных каменных домов, они ощущали себя неуверенно, втягивали головы в плечи и немо, одними только глазами спрашивали друг у друга, куда же их завезли?

Семенов выяснил, что стоять в Москве они будут три дня, казаков можно будет повозить по Белокаменной — пусть полюбуются добротными домами, колокольнями, соборами, поглазят на темную холодную реку, над которой нависли зубчатые стены Кремля, в Китай-городе поедят горячих блинов с икрой и покатаются на трамвае. По распоряжению властей московские трамваи будут возить казаков бесплатно. С шести часов утра до двенадцати ночи.

Получив эти сведения, Семенов подкрутил усы и вернулся из штабного вагона к своим казакам довольный:

— Ну что, мужики, тряхнем стариной, прокатимся по семи холмам, а? С одной горки на другую, а?

Казаки насупились:

— По каким таким семи холмам, ваше благородие?

— Это так говорят... Тут так принято. Москва стоит на семи холмах. А с холма на холм ездит трамвай.

Казаки насупились еще больше.

— Что такое трамвай?

— Ну-у... — Семенов задумался, он сам не мог толком объяснить, что такое трамвай. — Это такая дура, которая ездит на железных колесах по железным рельсам.

— Вагон, что ли? На каком мы сюда приехали?

— Вагон, вагон. Только размером поменьше и скорость такую, как на железной дороге, не развивает.

— Не-а, господин сотник, не поедем мы в город.

— Вагон мы уже видели, на зуб пробовали... Лошади его боятся.

— Да при чем здесь лошади! Церкви зато не видели. Церкви московские посмотреть надо обязательно.

— Церковь у нас в Гродеково есть...

— Таких церковей, как в Москве, нет.

— Есть, ваше благородие. — Казаки ожесточенно трясли лохматыми папахами и отказывались покинуть железнодорожный тупик, куда после целования московской земли на деревянном перроне загнали воинский эшелон.

— Ну и... — Семенов ожесточенно рубанул воздух рукой. Он не знал, что сказать. — Больше такой возможности не будет. Впереди — фронт, война, пули. Тьфу! Не ожидал от вас, казаки!

Казаки из-под папах угрюмо поглядывали на сотника и молчали. Над Москвой плыл серый печальный туман, пахло горелым углем, улицы были пустынные, недалеко от вокзала звонил колокол — в небольшой церквушке отпевали купца второй гильдии, почившего от чрезмерной борьбы с алкоголем.

В конце концов Семенову удалось сколотить группу из двенадцати человек.

— Нельзя уехать из Москвы, не постучав каблуками по здешним мостовым, — поучал он казаков, — мы ведь потом сами себе этого не простим.

Когда большой, странно тихой гурьбой забрались в страшноватый красный вагон московского трамвая, Семенов, хоть и знал, что казаков велено на трамвае возить бесплатно, оробел, подергал усами и полез в карман шароваров за серебряным двугривенным, чтобы расплатиться, но кондуктор — седенький вежливый старичок в форменной фуражке — предупредительно поднял руку и примял ладонью воздух, будто вату:

— С защитников отечества денег не берем.

Семенову стало приятно, он улыбнулся и опустил двугривенный обратно в карман, улыбнулся повторно — никогда так много не улыбался, произнес приторно-благодарным тоном:

— Благодарствую!

В следующий миг он поймал себя на неестественной приторности и сделал внезапное открытие: ведь он и слова «благодарствую» никогда раньше не произносил — чужое оно для него... Неужто так Москва действует на постороннего, не привыкшего к ней человека?

Неожиданно Семенову захотелось взять старика за форменную пуговицу ветхой черной шинели, притянуть к себе, дохнуть в лицо недавно съеденным в вагоне чесноком: «Если вздумаешь издеваться над казаками, старый хрыч, то будь поаккуратнее на поворотах... Не то задницу отвинтим быстро, отвалится вместе с ногами, галоши не на чем будет носить», но вместо этого он проговорил прежним приторным тоном, вежливо, сам себя не узнавая:

— Не подскажите ли, любезнейший, куда нам можно пойти-податься?

— Отчего же, — благодушно похмыкал в кулак старичок, — советую сходить в цирк Соломонского на Цветном бульваре, там выступают русские богатыри Поддубный, Шемякин, Вахтуров. Очень красиво борются. Особенно Иван Поддубный. Борьбу, к слову, можно посмотреть — ежели, конечно, есть желание — и в «Аквариуме», у братьев Никитиных — там борются остзейцы Лурих и Аберг, но этих господ надо ловить за руку — много красивых приемов, ловких подсечек, хлестких ударов, а на самом деле — туфта. Пшик. Кроме того, Аберг любит поиздеваться над противником: засунет голову себе под мышку и начинает давить, будто жеребец — ждет, когда у того треснет череп.

Семенову это показалось интересно.

— И были случаи, когда череп трескался? — спросил он.

— Бывало и такое. Недавно пострадал борец по фамилии Куренков.

— Мне эта фамилия ничего не говорит.

— Он известен мало и теперь вряд ли когда станет известным. Что еще... Советую послушать несравненную Анастасию Вяльцева, ежели не слышали.

— Но Вяльцева же умерла... Год назад. Я читал в газетах.

Вовремя, к месту вспомнил это Семенов. Он еще год назад читал поразившую его статью о том, что великая Вяльцева, в

которую был влюблен весь гвардейский Петербург и которая в конце концов вышла замуж за гвардейского офицера, умерла после гастролей в каком-то заштатном Курске... Курск — это ведь чуть больше Гродеково.

— Да, та Вяльцева действительно умерла, но появилась новая, — старичок улыбнулся как-то смущенно, браконьерски, словно был причастен к появлению Вяльцевой номер два, — голос у нее точно такой же, как и у Анастасии Дмитриевны, один к одному. А в остальном... в остальном девушка не мудрствовала лукаво и взяла себе фамилию и имя этой известной певицы.

— Не мудрствовало, значит, говорите, — Семенов почувствовал вдруг, что ему хочется выругаться, — а я-то обрадовался, думал, та Вяльцева не умерла, выжила... Уж очень ее голос хорош на граммофонных пластинках.

— Эта будет не хуже — тот же голос, та же улыбка. Тот же репертуар. «Под чарующей лаской твоею», «Дай, милый друг, руку», «Гай да тройка!» и так далее. Удивитесь, когда услышите. Очень советую сходить.

— А пластинки ее продаются? На граммофоне нельзя послушать?

— Э-э-э, молодой человек, слушать Вяльцеву на пластинке, — старик негодуя поднял указательный палец, — что одну Вяльцеву, что другую — это все равно что видеть виноград и не есть его. Слушать таких певиц надо живьем.

Кондуктор так и произнес: «живьем». Слово это показалось Семенову вещим, а смысл — значительным. Он оглядел своих притихших спутников в огромных лохматых папахах, надвинутых на самые глаза, и понял, что они ничего не разобрали из того, что говорил кондуктор — многие из них по-русски вообще не разумели, многие знали не более десяти слов и даже общепринятые воинские команды понимали, лишь когда Семенов подавал их на языке халха или агинцев. Сотник жестом остановил кондуктора и на монгольском начал пересказывать спутникам то, что услышал от говорливого седенького старичка.

Неожиданно весь вагон развернулся в сторону казаков — произошло это слаженно, в одно движение, общее, будто бы по чьему-то приказу, — и начал внимательно рассматривать их. Забайкальцы, и без того маленькие, неказистые, кривоногие, крупноголовые, и вовсе уменьшились, сжались, словно грибы после сушки. У Семенова нервно задергались усы: если его товарищи не нравятся этим московским кашедам,

то... то сотник Семенов найдет способ, чтобы казаки им понравились. А с другой стороны, что он может сделать с ироничными востроглазыми москвичами, скорыми и на слова, и на поступки? Да ничего, собственно. Семенов поник, плечи у него опустились сами собою.

Однако в глазах старого кондуктора, во взглядах москвичей, повернувшихся к казакам, не было ни иронии, ни насмешки, ни издевки — только доброжелательное любопытство.

Со скамейки неожиданно соскочила гимназистка в приталенном длинном пальто, сделала книксен:

— Садитесь, господин офицер!

— Благодарствую, — вновь произнес Семенов непривычное слово и энергично помотал головой — еще не хватало, чтобы его как инвалида усаживали на скамеечку.

— Садитесь, пожалуйста!

— Нет.

— Это что, японцы? — неожиданно спросила гимназистка и повела глазами в сторону спутников Семенова, затем, не дожидаясь ответа, задала второй вопрос: — Долго добирались до Москвы?

— Добирались тридцать три дня, — спокойно ответил Семенов, но на этом его спокойствие закончилось, он вновь почувствовал тревогу, усы у него нервно задергались, в голосе появились хриплые нотки. — И это не японцы, а подданные государя российского императора агинские казаки. Иначе говоря, буряты.

— Буря-яты? — На красивом лице гимназистки нарисовалось изумление.

— Так точно, сударыня. Буряты-агинцы. Разве вы никогда не слышали о таких?

— Мне всегда казалось, что буряты и монголы — это одно и то же.

— Не совсем. Монголы — это даргинцы, а буряты — агинцы. Честь имею, мадемуазель! — Семенов лихо козырнул и, не желая больше продолжать разговор с юной особой, вывел казаков из трамвайного вагона.

Но как известно, в природе существует закон парности случаев: всякая история, даже самая маленькая, имеет свойство повторяться.

Смотреть на прославленных русских борцов не поехали — отправились в Кремль. В Кремле Семенов приосанился: вспомнил занятия в казачьем училище в Оренбурге, часы, проведенные в кабинете истории Российской империи, и стал объяс-

нять агинцам на их родном языке, что такое Москва и Кремль в ней. Объяснял, конечно, как мог — слишком многое он уже забыл, — кое-где вообще перевирал факты и даты, ловил себя на этом, но не поправлялся. Это самое последнее дело — поправляться перед подчиненными, враз потеряешь авторитет.

«В это время вблизи нас оказались две дамы и мужчина, — вспоминал впоследствии Семенов в своей книге «О себе», описывая кремлевскую экскурсию. — Они усиленно прислушивались к нашему разговору и, конечно, ничего не могли понять. Вдруг мужчина обращается, долго ли мы находились в пути и не устали после длинноты дороги?»

Сотник Семенов поправил кончиком мизинца усы и начал рассказывать, как они тридцать три дня тряслись в дырявых жестких теплушках, что видели и вообще, какова Сибирь первого месяца войны. Мужчина и его спутницы внимательно слушали. Затем, как отметил Семенов, обе дамы «начали с чувством глубокого участия говорить много приятного по нашему адресу».

Семенов понял, что их вновь, как и в трамвае, приняли за японцев, одетых в русскую форму. В нем опять возникло что-то злое, секущее, он был готов наговорить резкостей, но сдержал себя.

«Когда я пытался разубедить их в этом и сказал, что мы — забайкальские казаки, то одна из дам возразила, что, возможно, офицеры действительно русские, но солдаты, без сомнения, иностранцы, так как она слышала наш нерусский разговор. Они уверяли меня в своей благонадежности и указали, что я напрасно скрываю обстоятельство, всем известное, о том, что идут японцы. Я не сомневаюсь, что многие жители Европейской России принимали нас за японцев, и, возможно, агенты противника не раз искренне вводили в заблуждение свои штабы несоответствующими истине донесениями».

Мужчина неверяще помотал одной рукой.

— Вы, господин офицер, скрываете правду, — заявил он. Лицо его от волнения аж пошло пятнами. — Но представьте себе, как мы благодарны нашим восточным соседям за то, что они пришли России на помощь...

Разошлись, недовольные тем, что не поняли друг друга.

Через три дня эшелон с забайкальскими казаками отправился на фронт, в Польшу, остановился недалеко от Варшавы, в местечке, о котором Семенов никогда не слышал, — в Ново-Георгиевске.

...Казаки сразу поняли, что сотник Семенов умеет воевать. Он словно был рожден для войны. А главное — с ним в атаку идти было нестрашно — Семенов принадлежал к тем командирам, которые никогда не бросают своих подчиненных на произвол судьбы и тем более не оставляют их в беде.

В глазах у сотника при виде противника появлялась некая жемельная веселость, губы раздвигались в победной улыбке, усы вспушивались, будто у зверя, почувствовавшего добычу, и он мог не задумываясь в одиночку кинуться на десяток немцев сразу.

Лошади у казаков были в основном степной породы — забайкалки. Невысокие, гривастые, со звероватым оскалом крупных зубов и налитыми кровью глазами. В бою они вели себя отменно, не боялись ни стрельбы, ни взрывов, смело шли грудью на прусских широкозадых битюгов⁶, норовили сбить их с ног, хрипели, грызли зубами, вставали на дыбы, в любой миг были готовы нанести всякому зазевавшемуся германскому лошаку удар копытами по храпу — немецкие лошади свирепых забайкалок побаивались, шарахались от них, отказывались слушаться всадника, разворачивались на сто восемьдесят градусов, норовя удрать домой...

Одно было плохо у забайкалок: они уступали прочим лошадям в скорости. У Семенова же под седлом ходил чистопородный конь, очень выносливый, быстрый — сотник часто отрывался от казаков, а в атаке оторваться от своих и остаться без прикрытия — штука опасная, может плохо кончиться. Так запросто можно въехать в плен. Но Семенов этого не боялся.

Полтора месяца бригада, в составе которой находился Первый Нерчинский полк, воевала под Варшавой, действуя успешно, потом переместилась к городу Ново Място.

Девятого ноября 1914 года сотник Семенов взял с собою пятнадцать казаков и отправился с ними в разведку, за линию фронта.

Задача у Семенова была усложненная: надо было не просто произвести разведку, тихо прийти и, собрав сведения, тихо уйти, а шквальным ветром налететь на немцев в районе Остатние Гроши, где были замечены некие тактические перемещения войск, в коротком жестоком бою выяснить, сколько же у германцев сил и где располагаются огневые точки, и попытаться живыми вернуться назад.

Ноябрь в Польше выдался слякотный, земля разбухла от дождей, сделалась угольно черной, какой-то неприятной,

червивой — из-под копыт забайкалок вместе с сырыми опмонтами земли во все стороны, будто лапша, летели жирные дождевые черви. Лошади шарахались от них, оскользались, от мокрых шкур шел пар, лица казаков были сосредоточены и бесстрастны.

По пути попалась фура с понурым немцем, наряженным в шинель-большемерку, горбом собравшуюся у него на спине. Семенов с гиканьем устремился к нему, на скаку вытягивая из ножен пашку. Немец вскинулся в фуру, защищаясь от удара руками. Семенов рубанул прямо по рукам, перебил их клинком — отхваченные кисти рук, брызгаясь кровью, с мягким стуком шлепнулись в фуру; немец завизжал, в следующий миг жалобный визг его обрезала пашка, развалившая пополам голову. Из раскрытого, словно бутон, черепа под копыта семеновского коня посыпался крупитчатый розовый мозг.

Разведка, не задерживаясь, поскакала дальше.

Через сорок минут спешили в небольшом сыром лесочке. На макушках елей висели неряшливые клочья тумана, будто куски серой мокрой ваты, с веток капала холодная влага, по-синичьи тенькала, всаживаясь в землю; если такая капля попадала за воротник, то пробивала холодом до самого крестца. Казаки невольно ежились.

Мимо леска проходила проселочная дорога с двумя обледелыми колеями, совершенно пустынная, невдалеке были видны немецкие окопы со свеженасыпанными желтовато-черными брустверами. Чтобы хоть как-то замаскировать эти слишком бесстыдно обнаженные брустверы, немцы накидали на насыпь сушняка, сохлой травы, длинных кудрявых веток, бурьяна, кое-где даже вдавили в землю серую, содранную с крыш черепицу, листов пятнадцать, не меньше. Семенов, стоя с биноклем под елью, минут двадцать обследовал окопы.

Было понятно, что немцы приготовились оставить линию фронта, отступить и после броска в собственный тыл нырнуть в эти окопы.

Слева, в таком же сыром лесочке, Семенов обнаружил несколько артиллерийских фур, окрашенных в защитный цвет, загруженных длинными деревянными ящиками, в которых перевозили артиллерийские снаряды.

Самих пушек не было видно — их либо закатили в глубину леса, либо еще не успели подтянуть. Семенов сделал на карте несколько пометок.

За окопами, примерно в сотне метров, виднелись дома — деревянные, бедные, с высокими темными крышами и ров-

ными редкими заборами. «Интересно, где же немаки взяли черепицу? — возник в мозгу невольный вопрос. — В селе нет ни одной черепичной крыши. Если только где-нибудь в глухой бине села завалили кирку? Вряд ли». Семенов провел линзами по домам. Пусто. Тихо. На улицах ни одного человека.

«Вот мокрыцы, — у Семенова задергался ус, — попрытались по норам. Чуют многоножки, что будет большая молотилка». Неожиданно сотник увидел стремительно пересекавшего деревенскую улицу человека, одетого в полевую егерскую форму, — тот вышел из-за одной ограды и поспешно нырнул за другую.

Семенов внимательно изучил палисадник, в который нырнул егерь. Никаких бросающихся в глаза примет. Даже намек нет на то, что там могут находиться военные, и все же вскоре сотник обнаружил полевую кухню, спрятанную под двумя яблонями. Точно такую же кухню Семенов нащупал биноклем и в том дворе, откуда выскочил егерь, — кухня была спрятана за сараем и, чтобы она не была видна с воздуха, с русских аэропланов, затянута сверху старой рыбацкой сетью.

Две полевых кухни в одном селе — это уже что-то, кухни наводили на кое-какие мысли. В Остатних Грошах стояла воинская часть.

— По коням! — скомандовал сотник.

Казаки поспешно позабирались на лошадей.

— Ну что, братцы, есть желание посмотреть, кто в этой деревне живет?

— Как скажете, ваше благородие, так и будет.

— Как скажу... — Семенов хрипловато засмеялся, лицо его сделалось хищным, — так и скажу. За мной!

Он первым вынесся из леска и наметом пошел по проселку в сторону деревни. На скаку — это движение стало у него уже привычным, рукоять клинка словно бы сама припечатывалась к ладони, к пальцам, — вытянул пашку из ножен.

В деревню они ворвались вихрем. Сотник гикнул, боевой клич этот подхватили казаки — тоже загигикали, заюлюкали, засвистели, лошади-забайкалки заплевались пеной, захрипели злобно.

На улицу вывалилось несколько немцев в егерской форме — егерей, похоже, здесь было не менее батальона, — один из них пальнул в сотника из винтовки, но промахнулся, пуля просвистела у Семенова над самой папахой, подпавив на ней несколько скруток шерсти; сотник, словно почувствовав горячий свинец, вовремя пригнулся — во второй раз солдат выстрелить не

успел, Семенов рубанул его шапкой по шее, снеся голову, будто кочан капусты, и немец, выпустив из рук винтовку, завалился на спину... Второго егеря, слишком близко оказавшегося около всадника, Семенов проткнул острием пашки, словно штыком.

Несмотря на азарт атаки, от острого глаза Семенова не ускользнуло ничто — ни две штабные машины, стоявшие во дворе широкостенного, по-купечески вольно расположившегося на земле дома, ни одинокая гаубица, нашедшая себе место во дворе следующего дома, под прикрытием высоких, блестящих от влаги слив, ни повозка, в которой на треноге был установлен пулемет, ни грузовики, накрытые брезентом.

Все это Семенов засекал на скаку, увиденное прочно отпечатывалось у него в мозгу.

Кто-то из казаков, скакавших сзади, бросил в машины гранату. Раздался взрыв. Следом грохнул еще один взрыв.

Сотник метнулся на коне в сторону, перемахнул через низкую плетеную изгородь и бросил гранату в повозку, на которой стоял тупорылый, с блестящим язычком дула, высовывавшимся из кожуха, пулемет.

Взрыв расколол воздух, когда Семенов был уже далеко, под осколком попал один из немцев, сотник лишь услышал далекий, словно принесшийся из преисподней вскрик...

Деревню проскочили на скорости, погони за казаками не было — слишком стремительной получилась эта атака, на обычную атаку не похожая, а за ветром, как известно, утнаться непросто, — нырнули в ближайший, темный от осенней мокрети лесок. Леса здесь растут, как грибы — семьями, с замусоренными опушками, круглые, густые, в солнечную пору очень приветливые, в смурную — угрюмые, с темной лепчачьей порослью колючих кустов, плотно обложивших стволы. Из-под копыт семеновского коня неожиданно выскочил заяц, метнулся в сторону. Казаки заулюлюкали.

— Как бы косой не обмокрялся от страха.

— Здешные косые — боевые мужики, такие пустяки, как казацкие кони, их не пугают, — больше всех балагурил Белов.

Агинцы, еще месяц назад требовавшие себе переводчика, научились немного понимать по-русски, и не только разуместь, но и говорить.

— Шпрехайте, шпрехайте больше — людьми будете, — толковывал им Белов, — научитесь говорить по-русски, потом будете учиться шпрехать по-немецки...

И агинцы старались.

Семенов выставил дозор из трех человек, остальным велел спешиться. Через двадцать минут он отправил в полк двух казаков с донесением о том, что он обнаружил в Остатних Грошах, сам же решил еще немного побыть в немецком тылу.

Больше часа простоял Семенов с казаками в круглом, будто краюха хлеба, лесочке, ожидая, что кто-то вдруг появится на пустынной дороге, украшенной двумя длинными блестящими полосками льда — тележный след на проселке обледенел и выделялся очень заметно, — но дорога была удручающе пуста. Видимо, налет казаков на Остатние Гроши испугал немцев.

— Отходим, — негромко произнес Семенов, садясь на коня.

Кони были накормлены, казаки перевели дух, перекурили и перекусили. Пора было двигаться дальше.

В тот день Семенов совершил еще один налет на небольшую немецкую часть, вздумавшую расположиться на отдых в глухом, с высокими закраинами, хорошо защищающими от ветра овражке. В коротком бою сотник зарубил немца, пытавшегося развернуть против казаков пулемет и дать очередь, захватил в плен штабного велосипедиста с перекинутой через плечо кожаной сумкой, — затем казаки ветром пронесли по улицам двух запятатных польских деревенек, но немцев там не обнаружили и на ночлег расположились в лесу.

На большой поляне, плотно прикрытой деревьями, развели костер, на рогульках подвесили несколько котелков — надо было хотя бы раз в сутки поесть горячего, потом, выставив часовых, забылись в коротком сне. Ночью было холодно. Спали в бурках. Иногда кто-нибудь примерзал к земле, к веткам, к полегшей траве, и его приходилось оттирать вместе с буркой. Казаки ругались. Семенов успокаивал их:

— Настоящий солдат должен познать все — и мороз, и жару, а уж по части, где переспать, должен пройти все огни и воды.

— Уж лучше решать вопрос, с кем переспать, а не где, ваше благородие. — Это был Белов, такие шуточки мог отпустить только он.

Белов дробно, по-синичьи, рассмеялся.

Сотник неопределенно мотнул головой — не понять, поддерживает он Белова или нет, хотя глаза у него на мгновение сделались жесткими. Впрочем, на поверхность ничего не выплыло, сотник сдержал себя — язык ведь без костей, что хочет, то и мелет, — и произнес добродушным тоном:

— И такое в нашей жизни обязательно будет. Доживем и до этого.

— Доживем до понедельника, ваше благородие, а там, глядишь, хлеб подешевеет, — пробормотал Белов угасающим голосом, натянул на голову бурку и уснул.

Утром снова начали месить мерзлую грязь на тыловых дорогах, но безуспешно — то ли немцы успели предупредить своих о шальных казаках, прочесывающих тылы, то ли произошло еще что-то, Семенов, побрякав от досады, подкрутил усы и решил возвращаться в полк, всего несколько дней назад осевший в Сахоцине — зеленом местечке, богатом цитрульями, плохим виноградным вином, голенастыми крутобедрыми девками и черствым хлебом, который местные пекари готовили с добавлением картошки и мелко смолотой кукурузы.

— Задание мы выполнили еще вчера, — справедливо рассудил Семенов, — пора и честь знать.

День прошел быстро, попасть в Сахоцин засветло не удалось, и Семенов решил заночевать в маленькой, черной, словно насквозь прокопченной дымом, измазанной сажей деревушке. Чумаза деревушка была настолько, что невольно думалось — а не живут ли тут ведьмы, у которых метлы работают на смеси дегтя с мазутом? До Сахоцина осталось идти совсем немного — пятнадцать верст, но в темноте решили не рисковать, иначе кони останутся без ног.

Ночь хоть и была ветреной, темной, с низкими удушливыми облаками, а прошла спокойно, утро наступило серое, какое-то беспросветное, лишенное не только радости и броских красок, но даже свежего воздуха. Откуда-то издали понизу полз вонючий, пахнущий незнакомой химией дым. Словно где-то горела фармацевтическая фабрика.

Было тихо. Только на западе, километрах в пяти от деревеньки, грохотало одинокое орудие, раз за разом посылая в невидимую цель снаряды. Семенов, приложив ладонь ковшом к уху, прислушался к орудийным ударам: наша пушка или немецкая?

Определял он это по неким неведомым приметам, и когда у него спрашивали, в чем разгадка, лишь смеялся в ответ да произносил одну и ту же фразу:

— Не знаю.

Он действительно не знал, чем отличается звук немецкого орудия от нашенской лихой пальбы — выстрелы были похожи, будто близнецы, и в то же время какое-то различие между ними было, Семенов угадывал это различие интуитивно, на подсознательном уровне, но словами описать это не мог.

— Наше орудие лупит, — прислушавшись к далеким ударам, вынес вердикт сотник. — Только чего оно так далеко делает? Там же немцы.

— Может, пока мы мотались по разным Остатним Грошам, карта фронта перекроилась? — предположил Белов.

— Может, и перекроилась. — Семенов резким движением подтянул подпругу на седле и в ту же секунду ловко взлетел на коня. Скомандовал тихо, словно только для самого себя: — Уходим.

— А как же, ваше благородие, с завтраком быть? — спросил сотника казак с черными, блестящими, как у таежной птицы, глазами, теряющимися в длинных ломах бараньей папахи. Фамилия его была Никифоров, в полк он прибыл из-под Хабаровска, из маленького железнодорожного городка под названием Алексеевск, имеющего узловое значение; городок так был назван в честь наследника престола¹, юного цесаревича. Семенов Никифорова приметил, как приметил и Белова: эти казаки, несмотря на некий мусор в голове, — надежные.

— Что, Никифоров, на яшню потянуло?

— Потянуло, — не стал скрывать тот.

— В Сахоцине твою яшню и съедим, — сказал Семенов.

Но позавтракать в Сахоцине не удалось. Едва подъехали к этому маленькому городку, украшенному высокими голыми тополями, как услышали длинную пулеметную очередь, за ней — несколько винтовочных хлопков. Сотник немедленно вздыбил коня, предупреждая поднял руку:

— Стой, казаки!

Стрельба ему не понравилась. Казачий полк — это серьезная боевая единица, с которой не рискует связываться даже целая немецкая дивизия, и если кто-то позволил себе напасть на Сахоцин, то, значит, напал крупными силами.

Раздалось еще несколько винтовочных хлопков. Кто может позволить себе стрельбу в городке, занятом казаками? Может, перепившие офицеры? Послышалось еще несколько выстрелов. Семенов вскинул к глазам бинокль — немецкий, снятый с убитого артиллерийского обер-лейтенанта; в России приличные военные бинокли не производили, и факт этот каждый раз, когда сотник брался за бинокль, рождал у него ощущение досады — не хотелось пользоваться немецким.

Сильные линзы позволили отчетливо видеть разбегающихся людей. Вот один бородатый солдат в обмотках лихо перемахнул через высокую изгородь из колючих кустов, вознесся над другой колючей грядой, но, подбитый пулей, упал

на нее. Рука свесилась с жесткого куста, энергично заработала клешнястыми пальцами.

Это была агония. Бородатый солдат умирал.

«В городе немцы! — у Семенова от одной только этой мысли невольно зачесались кулаки. — Откуда они здесь?» Новость была неприятной. Пока казаки прочесывали немецкие тылы, германцы неплохо поработали в тылах наших.

Вот в окуляр попал всадник — из городка, отчаянно размахивая руками на скаку, неся одинокий казак. Вдогонку ему хлобытнула винтовка. Потом ударила еще раз. Семенов выругался и ударил коня плеткой, тот, бедняга, едва не застонал от боли. Сотник прищпорил его и понесся навстречу одинокому всаднику — показалось, что за ним сейчас устремится погоня и ее надо будет отсечь. Но погони не было.

Увидев впереди казачий разъезд, всадник свернул к нему. Сотник вновь вскинул бинокль, чтобы лучше разглядеть этого расхристанного, без фуражки и пояса, человека и невольно вздрогнул — это был его собственный денщик Чупров. И конь, на котором скакал Чупров, был также хорошо знаком сотнику — это был его личный конь, чистокровный норовистый жеребец. Вряд ли этого коня могли догнать короткохвостые немецкие битюги.

— Стой, Чупров! — издали закричал денщику сотник. — Стой!

Но Чупров ничего не слышал — ветер свистел у него в ушах, все забивал. Не доехав двадцати метров до казаков, Чупров остановился. Тяжело, боком, сполз с коня. Отер рукою пот с лица и едва слышно шевельнул губами:

— Слава богу, выбрался...

— Ну, Чупров, если ты испохабил копыта моему коню — берегись! — Семенов не выдержал, сжал руку в кулак.

Коня в отсутствие сотника должен был подковать полковой коваль, но не подковал — что-то, видимо, помешало...

— Бездельники! — Остывал Семенов быстро — так же быстро, как и загорался. — Чего там случилось, Чупров?

А у Чупрова уже дрожал от обиды рот.

— Извиняйте насчет коня, ваше благородие, и вообще извиняйте, ежели что не так... Но другой возможности вырваться из Сахочина не было.

— Извиняйте, извиняйте, — проворчал Семенов по-стариковски, — скакал бы по пахоте — тогда другое дело, а тебя понесло на трамбовку.

— Иначе бы не ушел, Григорий Михайлович.

— Докладывай, что произошло, — потребовал сотник, остывая окончательно. — Где полк? Что за стрельба?

— Полк снялся еще вчера и ушел вышибать из-за реки «вильгельмов», а здесь... здесь остались только два обоза, — Чупров провел рукой по лицу, увидел на пальцах кровь — у него была разбита верхняя губа, — два обоза, значит, да штабные фуры... Воевать некому.

— Немцев много?

— Около полка примерно.

— Около полка или примерно?

— Примерно около полка, — тупо повторил Чупров. Он еще не отошел от скачки, от того, что пережил, — может быть, даже больше. Налетели внезапно, как вороны... Знаю еще, что два немецких эскадрона спешились.

— Где?

— Да у церкви ихней, у этой... как ее? Ну, на «цырлих-манирлих» слово похоже. С буквой «пе».

— У кирхи, что ли?

— Во-во. С буквой «хэ». Заставу из «вильгельмов» выставили. — Чупров упорно называл немцев «вильгельмами». Все называли по-разному — «гансами», «фрицами», «адиками», выбирая слово поудобнее для языка, а Чупров называл «вильгельмами» — словно в недобрую память о ненавистном кайзере, не в честь, а в память. — И что еще плохо...

— А почему стрельба такая редкая? — перебил денщика Семенов.

— Это немцы по разбежавшимся обозникам пуляют, в каждого в отдельности. И что еще плохо, я говорю, ваше благородие, они знамя нашенское в плен захватили.

— Ма-ать честная! — Сотник невольно присвистнул, лицо его исказилось, и он привычно поднял коня на дыбки, выкрикнул резко, со слезой, будто сорока, в которую угодил заряд дрови: — Братцы, это что же такое делается? Немцы захватили наше знамя! — Лицо у сотника обузилось, сделалось хищным, незнакомым. Семенов вытянул из ножен пашку, с лязганьем загнал ее обратно. — За мной!

Это была отчаянная атака.

Ну что, казалось бы, мог сделать десяток усталых, плохо выпавшихся всадников против немецкого конного полка или даже хотя бы двух спешившихся эскадронов? В городе, как потом выяснилось, было больше полка — четыре эскадрона...

Немцы готовились уйти из Сахочина, но не успели. Два эскадрона сопровождали длинный неповоротливый обоз,

двигавшийся с черепашей скоростью. Чего только в этом обозе не было — и четыре сейфа с важными штабными документами, и канцелярия Уссурийской конной бригады вместе со столами, замкнутыми на ключи, и целый ворох ценных казачьих бурок, присланных с Кубани, — их не успели раздать казакам, и семьдесят ящиков с заряженными пулеметными лентами и сами пулеметы — новенькие, с еще не стертой смазкой «максимы», тревожно вскинувшие к небу свои ровно обрубленные, похожие на поленья стволы, и горы офицерского обмундирования, загруженного в фуры с высокими бортами, и главное — знамя Первого Нерчинского казачьего полка — целая штука⁸ тройного шелка, без которой полк не имел права на существование.

— За мной! — вновь громко прокричал Семенов.

Запоздало оглянулся, почувствовал, как боль стянула ему скулы, выругался матом — сзади скакал Чупров, не отставал от казаков. Семенов погрозил ему кулаком:

— Отзынь! Коня мне запрешь!

Чупров его не понял, продолжал скакать, и Семенов, покраснев от натуги, от азарта, от злости, от досады на ординарца, словно тот был во всем виноват, заорал что было мочи и врубился в кучу спешившихся немцев, полоснул одного пашкой по голове, потом с оттяжкой рубанул другого.

Среди немцев поднялась паника.

— Знамя! Где знамя? — прорычал Семенов, будто немцы понимали русскую речь и могли разобраться в его рычании, метнулся в сторону, легким ударом пашки перерубил кожаные поводья, соединявшие десяток задастых крепких битюгов, собранных вместе, которые с визгом унесли кто куда. Немцы остались без лошадей.

— Где знамя? — вновь прорычал Семенов, устремляясь в освободившийся проулок.

Казаки, размахивая пашками, выкрикивая что-то азартное, ринулись за ним следом.

— Дас зинд казакен! — послышался испуганный крик.

— Казакен, казакен, — подтвердил Семенов, продолжая орудовать пашкой.

Через несколько минут он догнал последнюю подводку обоза — с высокими бортами, нагруженная офицерскими сапогами, обоз еще не успел уйти, — ездовой, старый худой немец в роскошной каскетке, сияющей медью и лаковым обтягом кожи, сидел на скрипучем, пахнущем ворванью⁹ верху, как на гряде соломы, и шлепал вожжами лошадей.

Увидев Семенова, он взвизгнул надорванно, будто получил удар ногой в низ живота, в самое важное место, и стремительно соскользнул с пароконки¹⁰ на оглоблю, похожую на длинный орудийный ствол, с нее спрыгнул в чистый, присыпанный песком кювет, откатился в сторону, прикрывая голову руками.

Сотник не стал стрелять: ездовые — самые безбидные люди среди врагов — как правило, немощные, убогие, скрюченные ревматизмом, разноногие, криворукие — их жалеть надо, а не убивать. А вот «вильгельмов», как величает этот народ Чупров, небрежно пошлепывающих своих битюгов ладошками, каждый раз стараясь дотянуться до жирного конского зада, он сейчас здорово пощекочет пашкой.

— Аль-ле-лю-лю-лю! — зашелся в крике сотник, заводясь от этого крика сам, делаясь сильнее, злее, ловчее, привстал на стременах, прокрутил пашкой над головой «мельницу» — блестящий клинок работал как пропеллер «нюпора» — боевого самолета, находящегося на вооружении у русской авиации. — Аль-ле-лю-лю-лю!

Конь под Семеновым был хороший, как и все его кони, — мог носиться, словно ветер, у дончака даже шкура задрожала, пошла сыпью от крика хозяина; запасной конь, на котором сейчас скакал Чупров, был еще лучше.

Сотник перестал крутить пашкой «мельницу», рубанул клинком воздух — раздался жесткий свист, на который оглянулись сразу несколько немцев.

— Казакен! — вновь послышался заполошный крик, и немцы — целых два эскадрона, хорошо вооруженных, сытых, — даже не достав клинки из ножен, бросились от казаков врассыпную.

Ездовые — как один похожие на убогого немца, слетевшего с горы офицерских сапог, — горохом посыпались со своих возов, стараясь слиться с каким-нибудь кустом, раствориться в сухой крапиве, обратиться в мышь, в таракана, лишь бы не видеть этих страшных казаков.

Сотник точно вычислил, в какой повозке находится знамя — оно лежало в новенькой двуколке, придавленное грудой штабных бумаг, — круто развернул коня и, словно дух, возникший из ничего, встал перед двуколкой.

Ездовой с вытаращенными глазами вскинулся в двуколке в полный рост и поднял руки.

— А ну пошел вон отсюда! — зарычал на него Семенов, легким движением пашки обрезал построжки; освободившиеся лошади захрапели испуганно, а ездовой продолжал тя-

нуть вверх руки. — Я же сказал — вон! — выкрикнул сотник, перепрыгивая в двуколку.

Похоже, только сейчас ездовой понял, как ему повезло: он вскрикнул благодарно и так, с поднятыми руками, и исчез. Не война, а чудеса какие-то. Человек может исчезать в одно мгновение.

Древко знамени торчало из-под синих папок, к которым были приклеены аккуратные белые этикетки с интендантским перечнем. Сотник небрежно сплюнул за борт двуколки, лицо у него исказилось, стало чужим, каким-то кошачьим, усы вспушились. Он выдернул знамя из-под папок. Прорычал недовольно, чувствуя, как у него подрагивает от возмущения подбородок:

— Развели тут бумаги, крысы штабные!

Штабистов Семенов, как и многие забайкальцы, особенно окопники, не любил — они казались ему слишком высокомерными, погруженными в дворянскую заумь, не способными держать пашку в руках... А что главное для солдата в пору войны? Колоть врага пашкой, будто колбасу, и подмазывать кипящим салом пятки, чтобы «колбаса» эта бежала быстрее. При встречах со штабными офицерами, даже со старшими по званию, Семенов холодно улыбался и отворачивался в сторону. Приветствовал их только тогда, когда этого невозможно было избежать.

Сотник перекинул знамя Белову:

— Держи!

Тот ловко поймал его, развернул; Семенов вновь вскочил в седло, увидел замешкавшегося немчика в новой, еще не обмятой форме и решил захватить его в плен. У немчика неожиданно закапризничала лошадь — такое часто бывает, и всадник, вместо того чтобы огреть ее пару-тройку раз плеткой и быстро привести в чувство, начал с большезадой гневой кобылой валадаться, уговаривать ее, успокаивающе хлопать ладонью по холке.

— Дур-рак! — прорычал Семенов, устремляясь наперерез к немчику.

Немчик оглянулся на дробный топот копыт, вскрикнул надорванно, словно преследователь выстрелил в него, залопотал что-то, даваясь словами, воздухом, собственной оторопью — на него даже противно глядеть было; в это время кобыла его, будто почувствовав опасность, рванула с места так, что в разные стороны полетели невесть откуда взявшиеся мокрые комья земли.

— Дур-рак! — вновь хрипло прорычал Семенов, который знал, что немчика этого все равно догонит и возьмет в плен.

Похоже, одуревший неумеха этот добавил немцам паники: из-за домов на рысях выскочил целый эскадрон, увидел казаков и припустил лошадей от забайкальцев так, что на копытах лошадей только подковы засверкали, через несколько минут он смял другой эскадрон, педший впереди. А ведь немцам ничего не стоило развернуться — хотя бы одному-двум десяткам человек, — и тогда Семенов со своими людьми увяз бы в рубке...

Отовсюду неслись панические крики:

— Казакен!

А Семенов как выбрал себе одну цель — немчика-кавалериста, испуганно встряхивающегося в седле, — так и продолжал ее преследовать, скалил зубы, будто волк, и крутил около головы коня плетку, пугая его, и тот на скаку вскрипывал и старался отвернуть голову от плетки в сторону.

— Вр-решь, не уйдешь, — пробормотал Семенов угрожающе, глядя на спину немчика, обтянутую добротным форменным шабуром, утепленным меховой подкладкой, чтобы владельцу было не холодно рубать русских солдатиков, чтобы не застудился родимец, размахивая сабелькой во время исполнения своего воинского долга.

И вообще, все на этом немце сидело ладно, было специально подогнано, все — добротное, новенькое, необмятое, неспешно, с толком и умом сшитое, — видно, на войну он пошел как на некий праздничный променад, где могут повстречаться красивые девушки, на которых надо будет произвести неизгладимое впечатление.

Именно эта ужоженность немчика вызвала у Семенова приступ какой-то особой злости, он даже захрипел, на скаку загнал плетку за голенище сапога и опечатал конский бок ножами пашки — не так это страшно коню, как если бы опечатал плеткой, но больно.

Сотник и не заметил, как остался один — скакал и скакал за немчиком, не видя, что происходит вокруг — увлекся, — и оторвался от своих спутников, верных забайкальцев. Но и от добычи своей, до которой оставалось всего ничего — рукой дотянуться, — Семенов не хотел отказываться, словно на этом упакованном в добротную амуницию немчике для него свет клином сошелся; сотник загадал: изловит пухлогубого глазастого вояку — и судьба воинская у него сложится так, как надо, не изловит — все пойдет наперекос.

Тугой встречный ветер свистел у Семенова в зубах, свистел по-настоящему, разбойно, немчик разбойный свист этот, похоже, слышал, корчился на лошадиной спине, стремясь сделаться ниже ростом, неприметнее, меньше, зыркал испуганно глазами назад, верещал что-то — похоже, призывал на подмогу, но куда там — его однопольчане-одноэскадронники спасали собственные шкуры, скакали не оглядываясь.

Сотник сомкнул зубы. Свист исчез. А без свиста скакать как-то неинтересно, азарта того нет.

— Вр-решь, не уйдешь, — пробормотал сотник вновь, открывая рот. Свист возник опять.

Продолжалась эта странная скачка долго — минут семь, но Семенов заставил немчика уйти с накатанной грунтовой дороги в поле, где лошади увязали в мокрой фиолетовой земле, потом снова загнал на грунтовку — по ней все-таки легче было скакать. В конце концов сытый мерин под немчиком стал спотыкаться и всадник, испуганно вываливая из орбит крупные светлые глаза, остановился, поднял дрожание, испачканные грязью руки. Сотник неторопливо засунул пашку в ножны, подъехал к немчику и сдернул с него, будто комут через голову, перевязь с саблей в блестящих ножнах, проговорил тихо и устало:

— Все, отвоевался ты... Пукалку свою тоже сымай, — показал пальцем на карабин, о котором за все время погони немчик так и не вспомнил, — она тебе ни к чему...

Тут подоспели запыхавшиеся забайкальцы, дружно позарили лохматые папахи:

— Н-ну, ваше благородие! Вы и даете!

— Чего? Чем недовольны? — Сотник недоуменно глянул на казаков: может, он действительно совершил проступок, требующий наказания?

— Всем довольны, — засмеялись казаки, — только отрываться от народа нельзя. Так и сгинуть можно.

— Бог не выдаст, свинья не съест, — привычно проговорил Семенов, потом понял, что сказанул не то, виновато наклонил голову: — Извиняйте, казаки! Повинную голову меч не сечет. Больше такого не будет. В горячке все произошло.

Казаки были настырны.

— Обещаете, ваше благородие?

— Обещаю, — твердо произнес Семенов.

Но обещание так и осталось обещанием: война — штука горячая, кровь вскипает в несколько секунд, а в бедовом потомке казаков из караула Куранжи Дурулгеевской станицы

кровь вообще была на несколько градусов выше, чем у остальных казаков, поэтому Семенов и воевал так лихо, не оборачиваясь назад, не окружая себя большим количеством верных бойцов и не страхуя себя подмогой — исходил из момента, быстро принимал решение и старался бить наверняка. За эту безоглядность, ухарство, всегдашнюю готовность рисковать казаки его корили и одновременно любили.

— Принимайте оглоędu. — Семенов подтолкнул к казакам немчика, круглые водянистые глаза у того вновь едва не вывалились из орбит от страха. Он закричал слезливо:

— Найн, найн, найн!

— Никто тебя не тронет, дурак, ты в плену, — сказал ему Семенов, — значит, лежачий. А лежачих в России не бьют. Жалеют.

«Обозы всей нашей бригады и наше полковое знамя были отбиты и спасены, — написал впоследствии Семенов. — Всего было захвачено немцами и отбито мною свыше 150 обозных повозок: головные эшелоны артиллерийского парка 1-го конно-горного артиллерийского дивизиона и около 400 человек пленных, кроме того, наша бригада получила возможность закончить свою операцию по овладению Цехановом, который был занят нами.

По результатам это дело кажется маловероятным, и осуществление этого подвига разездом в десять коней объясняется внезапностью налета, быстрым распространением паники среди противника, эффект которой завершил начатое, не требуя легендарного героизма от исполнителей. Мои потери в этом столкновении выразились в одной раненой лошади.

За описанное дело я получил орден Св. Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени, а казаки были награждены Георгиевскими крестами»¹¹.

Ну что ж, по делам и награды. А награды были достойными.

Прошло двадцать дней. Немцы начали вытеснять наши части из Восточной Пруссии — делали они это умело, жестко, и тогда русское командование решило: хватит немчуре наступать! Пора врага остановить. Наметили ударить по Млаве — неприметному тихому городку, имевшему узловое значение — городок копной сидел на шоссе, по которому немцы подвозили в свои войска питание, боеприпасы, оружие, фураж.

Млаву надо было взять во что бы то ни стало. Поручили эту операцию Четвертой Туркестанской стрелковой дивизии. И дивизия увязла в боях. Германские позиции наши орудия

рубил как хотели, только тряпки попеременно с комьями земли взлетали к облакам, окопы после обработки огнем делались мелкими, как огородные грядки, казалось, в них ничего не должно сохраниться, но стоило подняться в атаку, как «грядки» эти оживали: немцы начинали вести огонь буквально из-под земли.

Обе стороны несли тяжелые потери, но оставались на своих позициях. После четырехдневных боев решено было подключить к операции казаков, точнее — Уссурийскую конную бригаду.

Штабом бригады командовал капитан Бранд — человек осторожный, который решил, что надо провести подробную разведку — затребовал от каждого полка по три разъезда разведчиков. В каждом разъезде — по десять коней.

В числе тех, кто был назначен в разъезд от Первого Нерчинского полка, был Семенов.

Бранд собрал начальников разъездов, объяснил, чего он ожидает от разведки, затем произнес:

— Самый трудный участок — шоссе, ведущее на Млаву, там все простреливается. Каждый человек виден как на ладони. Но на шоссе обязательно должен пойти один казачий разъезд. Какой именно?

Все молчали. Бранд покхекал в кулак и проговорил огорченно:

— Вот и я не знаю какой. Поэтому поступим так: кто вытянет спичку с обломленной головкой, тот и пойдет на шоссе.

Бранд достал из кармана коробок со спичками, отсчитал девять штук, у одной отщипнул головку и крепко зажал пальцами всю щепоть.

— Тяните, господа!

Все прекрасно понимали — разъезд, который пойдет на шоссе, меньше всех имеет шансов вернуться. Сотник Семенов шагнул к начальнику штаба первым. На лице его под усами блуждала некая победная улыбка. Уж кто-кто, а он хорошо знал, что от судьбы не убежишь, и если человеку уготовано задохнуться в канаве посреди крапивного гнилья, то он никогда не умрет от пули.

— Bravo, сотник! — похвалил решительность Семенова капитан.

В ответ сотник качнул головой, ухватился пальцами за одну из спичек — она была тонкая, ускользала из рук, огрубевшими пальцами трудно взять — Семенов сморщился, будто поднимал что-то тяжелое, и выдернул спичку из щепоти. У

спички оказалась обломлена головка. Семенов поднял спичку повыше, чтобы ее видели все.

— Вот так со мною бывает всегда, — подкинул спичку, показывая ее начальникам разъездов, добавил с незнакомой едкостью: — Будет чем ковырять в зубах.

— Bravo, сотник! — еще раз похвалил его капитан Бранд.

Полдня Семенов провел в штабе, в оперативном отделе у карт, где были зафиксированы все изменения позиций, затем несколько часов проспал в дощанике, установленном в лесу, под гулками высокими соснами, а в предрассветной темноте он был уже на ногах.

Надо было спешить — в утреннем сумраке, в тумане успеть проскочить на ту сторону фронта.

— Быстрее, быстрее, братва! — подогнал Семенов казаков и первым вскочил в седло. Забайкальцы также проворно попрыгали в седла, а сотник добавил: — Своим замом я назначаю Белова. Он не раз бывал со мною в деле, я видел его в поиске и в атаке. Лучшего помощника не найти. Возражения есть?

— Возражений нету.

— Прямо стихи какие-то. — Семенов не удержался, хмыкнул. — А теперь — вперед!

Поскакали наметом, или, как говорили учителя Семенова по Оренбургской юнкерской жизни — быстрым аллюром.

Через полчаса разъезд уже спешил у одной из пехотных сторожевых застав, которой командовал прапорщик с желтым лицом. На шее у него вздулся крупный фурункул. Когда в окопе появился Семенов, прапорщик как раз занимался им — солдаты нашли где-то несколько полудохлых стрелок столетника, распластали их, и теперь несчастный прапорщик пытался приладить их к фурункулу. Небритый унтер в мятой папахе помогал ему.

— Ну, чего тут нового? — бодрым голосом поинтересовался сотник.

Прапорщик поморщился.

— Ничего нового. Главная новость на войне всегда одна — количество убитых. А мы, слава богу, нынешней ночью потерь не понесли.

— Как лучше пройти на ту сторону?

Прапорщик поморщился вновь и, придерживая пальцами повязку на шее, приподнялся, выглядывая из окопа.

На немецкой стороне было тихо. Предрассветные сумерки затянулись; было сокрыто в этой затяжке что-то обещающее; вязкий серый воздух подрагивал, будто стужень, пахло горь-

ким — со стороны немецких окопов ровно бы весенним черемуховым духом потянуло, запах этот родил в Семенове тревожные воспоминания; он ощутил, как под глазами справа невольно задергалась мелкая жилка, в груди родилось что-то слезное, размягчающее душу, словно он провалился в собственное детство, в прошлое — нырнул в некую реку и не вынырнул из нее.

Он спросил недовольно у прапорщика:

— Чем это пахнет? Неужто газы?¹²

Тот в ответ махнул рукой успокаивающе:

— Это германцы вырубают у поляков вишневые сады и топчат ими печи, и пахнет горелой вишневой смолой, а никак не черемухой.

Сотник с сомнением качнул головой.

— А мне кажется, что черемухой... Ладно, не будем об этом.

— Мои разведчики вернулись с той стороны тридцать минут назад, — сказал прапорщик. — Ничего нового не принесли. Что же касается прохода к немакам, то лучше всего идти вам по левому боку лощины, она через двести метров вообще рухнет вниз, в овраг. Ну, а в овраге до десяти часов утра будет стоять туман — в тумане можно целую дивизию провести, не то что казачий разъезд.

— Овраг длинный?

— Километров пятнадцать. Вам надо будет пройти по оврагу километров семь, до поворота на север... Мимо поворота вы никак не пройдете — он обязательно бросится в глаза. Наверху, в сотне метров от кромки оврага, — немецкий полевой караул.

— Уже на шоссе?

— Да. У немцев там установлена деревянная будка с печкой, а из мешков, набитых песком, сооружены два пулеметных гнезда, а через саму дорогу, как и положено по германским порядкам, перекинута полосатая слега. Словом, это обычный комендантский караул. Народу в карауле немного — человек двадцать.

Сотник присел на корточки и химическим карандашом на листке бумаги быстро настроил донесение — возникли кое-какие соображения по части захвата дороги... Отправил с мрачным бровастым казаком по фамилии Луков донесение в штаб бригады лично Бранду, пожал руку мучавшемуся от фурункула пехотному прапорщику и скатился в лощину, к коням.

Через несколько минут казачий разъезд растворился в серой мгле, которая предвещала скорое утро, но утро это никак не могло наступить.

Овраг был глубоким, поросшим высоким трескучим чернобыльником и на удивление чистым — ни соринки в нем, ни бумажки, ни ржавой железки, ни старых гильз, будто его кто-то специально убирал. В России таких оврагов нет, в России в овраги положено сбрасывать все ненужное, что скопилось в хозяйстве, всю грязь, а потом с гиканьем гонять по оврагам волков. А здесь волки, наверное, вообще не водятся.

Вскоре на востоке порозовели облака, у них появился рясучатый подбой, туманный воздух стал прозрачнее. Туман действительно держался в овраге, но не везде.

Когда достигли крутого поворота — приметной детали, живо обрисованной прапорщиком, — было совсем светло. Казаки спешили. Семенов поднялся наверх, на закраину, и примерно в ста пятидесяти метрах от оврага сотник увидел проволочные заграждения, за ними, вдали, — темные, словно пропитанные влагой дома с высокими крышами.

«Они тут в Европах своих — молодцы, крыши высокими делают, — невольно отметил Семенов. — Снег на них не удерживается, самоспуском сваливается вниз. А у нас крыши плоские, снегу на них иногда набирается столько, что он проламывает их. Век живи — век учись. Надо бы ононским дедкам рассказать про это».

Семенов наскоро, карандашом зарисовал расположение проволочных заграждений и отправил в штаб бригады, отрядив для этого еще одного казака — у капитана Бранда сведения должны быть самые свежие.

Тут к Семенову на закраину, пригнувшись, словно по нему стреляли, вскарабкался младший урядник Заметнин — шустрый скуластый казак в длинной шинели, шлейфом волочившейся за ним. Заметнину несколько раз предлагали укоротить шинель, чтобы было удобнее вспрыгивать в седло, но тот решительно пресекал все попытки.

— Вот этого как раз и не надо делать. Такая шинель не только меня — лошадь греет. Разве вам не введома старая казачья истина: держи лошадь в тепле, голову в холоде, пузо в голоде? А?

Истина была известна, поэтому казаки со смешком отскакивали от Заметнина.

— Смотри, как-нибудь запутаешься в полах — оконфузишься.

— А потом, в собственной шинелке оправляться можно, как в сортире, очень это удобно, — наставлял своих товарищей Заметнин. — Я видел одного солдатика в длинной шинеле

ли на вокзале. В стороночке он поставил свой фанерный чемоданишко, сел на него, прикрылся шинелью и вроде бы задумался. Потом встал и ушел. После него что осталось? Правильно — дымящаяся кучка дерьма. Так что не замахивайтесь на длинные шинели, станичники. Коротких шинелей много, длинных мало...

— Ваше благородие, немцы, — проговорил Заметнин почему-то шепотом.

— Где? — спокойно спросил Семенов.

— В низинке, у шоссе. Около костра сидят. Картошку, похуже, пекут.

— Как же, станет тебе немчура лопать картошку, — Семенов хмыкнул, — им гусиную печенку подавай, свиные ножки, начиненные чесноком, сосиски и тушеную брюкву. А ты, Заметнин, картошку... Низко летаешь.

В низине справа горел небольшой, совершенно невидимый на расстоянии костер — дым растворялся в воздухе, около огня сидело человек восемь немцев, люди загоразивали костер.

На шоссе, около проволочной рогатки, еще два человека — часовой и подчасок постукивали сапогами друг о дружку, колотя ими громко, чтобы не замерзнуть. Шоссе было пустынным. В стороне от костра был отрыт окоп и накрыт кусками фанеры, несколькими старыми дерюгами, ветками. Это и был окоп сторожевого охранения. Из-под дерюг торчал шпенек трубы, похожей на самоварную: у теплолюбивых немцев в окопе стояла печушка. Воевали они с удобствами.

Если осмотреть местность получше, то, надо полагать, найдется и сортир. Сотник не выдержал, насмешливо дернул головой, словно унюхал что-то нехорошее. Сортир на фронте — опасная штука, особенно если в него попадет снаряд.

Это был тот самый пост, о котором Семенова предупредил прапорщик.

— Молодец, Заметнин! — похвалил он младшего урядника. — Возьми казака и ползи по-пластунски к шоссе... Там замри до моего сигнала. Мы устроим немакам маленький фейерверк.

Заметнин понимающе кивнул и, прихватив с собой одного казака, растворился в утреннем пространстве. Еще четырех человек Семенов отослал на другую сторону оврага, приказав залечь там.

Было по-прежнему тихо — немцы сидели у костра молчаливые, сторбленные, чем-то подавленные, один из них —

крупный, носастый, хорошо видимый в бинокль, — ворошил железным прутом огонь.

— Сейчас тебе не до костра будет, — пообещал Семенов и, пристроив на глиняной колтыжке цевье карабина, поймал на мушку носастого, нажал на спусковой крючок. Раздался выстрел.

Немец поднялся над костром во весь рост и рухнул в огонь.

Слева от Семенова грохнул залп — казаки поддержали своего сотника. Немцы бросились от костра врассыпную. У огня остались лежать еще двое. Казаки, поспешно перезарядив винтовки, дали еще залп, но залп этот ушел в белый свет — немцы прыгали, как зайцы, поймать такую цель — мятущуюся, нервно двигающуюся, неуловимую — штука непростая даже для охотника, привыкшего стрелять в глаз верткой белки.

И все равно сотник воскликнул довольно:

— Хар-раш!

У проволочной рогатки, где только что топтались, поухивая сапогами, часовой с подчаском, уже никого не было — блестящие солдаты кайзера покинули пост со скоростью сусликов, почувавших лису.

— Заметнин, убери рогатку! — прокричал Семенов, боясь, что младший урядник не услышит его, но тот услышал и через минуту оказался на шоссе, ухватился за столб с рогаткой; его менее проворный напарник малость запоздал, но все равно кривоногим медведем, задевая ножнами за землю, пригибаясь, выскочил на шоссе, помог Заметнину.

Из окопа сторожевого охранения, из-под дерюг ударил выстрел, за ним второй. Семенов птицей взлетел на коня и вымахнул на пологую кромку оврага.

— За мной! — прокричал он, оглушая криком и самого себя, и своего коня, и казаков, оказавшихся рядом. Выдернул из ножен пашку.

Через несколько минут все было кончено. Казаки зарубили двоих немцев, пытавшихся отстреливаться, остальные — сторожевая застава под командой пожилого гауптмана с пушистыми седыми висками и лысиной размером почти во всю голову — сдались Семенову в плен.

От гауптмана Семенов узнал то, чего не знал еще никто: немцы, не выдержав противостояния с туркестанцами (все-таки не выдержали), начали поспешно отступать. На дорогах ими решено было оставить только прикрытые.

В Млаве тоже оставалось только прикрытие, основные силы ушли за укрепленную линию примерно час назад.

— Пленных — в тыл! — распорядился Семенов и отрядил на конвоирование двух казаков.

Оружия, сданного немцами, набралось много — целая гора, Семенов послал еще одного человека искать подводу, чтобы на ней увезти трофеи, а сам с оставшимися казаками поскакал по обочине шоссе на запад, к темным высоким домам — там на его глазах целая рота немцев поспешно выстраивалась в походный порядок.

Ввязываться в бой с ротой было глупо, поэтому Семенов свернул вместе с казаками в прозрачный черный лесок, засыпанный мелким снегом, заваленный сохлыми, гремящими как жесть листьями и сбитыми ветками. Немного оглядевшись, перекочевал в другой лесок — ему важно было не потерять из виду немецкую роту, потом, послав еще одного казака к капитану Бранду, переместился в третий лесок.

В результате он оказался на окраине Млавы, спешил около одинокого кирпичного сарая с продавленной крышей.

От разъезда осталось лишь три человека — сам Семенов, молчаливый бровастый Луков, который иногда в течение суток не произносил ни слова, да Никифоров — такой же «разговорчивый» забайкалец — оба были людьми надежными; Семенов окинул взглядом головастого низкорослого Лукова, затем оглядел с макушки до пяток Никифорова и крикнул сожалеюще:

— М-да, маловато нас! С такими силами не с немцами воевать, а жареную картошку есть. Как считаешь, Луков?

Луков молча вскинул руку к папахе: так, мол, оно, ваше благородие, и есть. Зачем только лишние вопросы задаете?

Семенов вновь удрученно крикнул.

— А ты, Никифоров, как считаешь?

В ответ Никифоров лишь блеснул жгучими черными глазами и так же молча, как и Луков, приложил руку к папахе.

Семенов крикнул в третий раз и произнес многозначительно:

— Воинство!

Арьергардная рота тем временем, поблескивая тусклыми стволами винтовок, исчезла на одной из улиц Млавы.

— По коням! — скомандовал сотник. Немецкой роте осталось пройти немного, скоро она исчезнет. Рота эта сильна, в ней много опытных солдат, она хорошо вооружена, поэтому Семенов с ней и не связывался. Если бы у него оставался полный разъезд, десять коней, можно было бы связаться, а ког-

да разъезда нет — пехотинцы в шишкастых шлемах поднимут его на штыки, и этим дело закончится.

Остановились они около дома со старой черепичной крышей, такой старой, что она целиком, от конька до нижнего среза, была покрыта густым зеленым мхом, будто одеялом, снег на крыше не задерживался, сползал вниз, и мох зеленел ярко, вызывая удивление и улыбку.

Через десять минут Семенов переместился с казаками к другому дому, огляделся. Млава была пуста. Окна в домах плотно завешены, двери запорты, по булыжным покрытиям улиц стелется жесткая серая крупка, вызывающая ощущение пустоты и некоего внутреннего онемения, холода. Захотелось забраться в какое-нибудь теплое место, плюнуть на войну, выпить пару стопок водки и закусить расстегаем, забыться. Крупка, низко стелющаяся по мостовой, вдруг поднялась вверх тяжелым столбом и рухнула прямо на людей. Семенов выругался, хлопнул коня плеткой, вынесся на середину улицы.

Вскоре он уже находился в центре Млавы, на широкой площади, украшенной старым обледенелым фонтаном; в углу площади высился угрюмый, со стрелчатými черными окнами костел — хорошее место для наблюдения. Особенно для артиллерийского корректировщика, засекающего цели.

Сотник, пристроившись к стенке какого-то ларька, обитого крашеным железом, достал лист бумаги и написал на нем: «Млаву занял. Прошу подкрепления для преследования отступающего противника. В моем распоряжении остался один конный вестовой». Сложил бумагу в несколько раз, написал на ней «Г-ну к-ну Бранду», отдал Лукову:

— Гони в штаб бригады. Отдай это лично в руки начальника штаба. Понял?

Луков сунул донесение за отворот лохматой папахи и укакал.

Сотник достал из кармана часы, открыл, даже не услышав их нежного малинового звона — не до того было, глянул на циферблат и огорченно покрутил головой — скоро начнет темнеть.

Серый мозготный день пронесся со скоростью пули — ветер, а не день, ураган, в котором нет ни четких очертаний, ни теней, все растворилось в нем. Иногда откуда-то сверху сыпалась мелкая колючая пыль, обдавала людей с головы до ног едкой стыллой белью, приходилось протирать глаза, чтобы что-то увидеть. Было сыро и холодно, тянуло в тепло, за стол, Семенов давил в себе это желание и делался раздражительным.

Раздражало и то, что ни один из посланных им в штаб казаков не вернулся — разъезда, с которым Семенов выехал на задание, не стало, он его растряс на посыльных — люди растаяли вместе с донесениями. Непонятно, дошли ли они до штаба... Кто знает? Односторонняя какая-то связь получилась. Сотник раздраженно кутался в бурку, продолжая наблюдать за немцами.

И другое также вызывало в нем раздражение: если немцы — боевое охранение той же арьергардной роты — сейчас обнаружат его и вздумают напасть, то двумя саблями, своей и Никифорова, он не отобьется.

Помощи ждать было неоткуда, до своих далеко — он ушел за линию фронта в немецкий тыл верст на восемь, не менее.

Капитан Бранд — сухой, с гладко выбритым лицом и тщательно подрезанными висками — веером разложил перед собой донесения Семенова. Тщательно прочитал их и озадаченно качнул головой, соображая, все ли в порядке у этого сотника с мозгами?

— Он что, Семенов этот, нормальный мужик или нет? Лечить его надо?

На голос начальника в кабинет заскочил старший помощник, штабс-капитан с высокими, как у Наполеона, залысинами и римским — опять-таки как у Наполеона — носом человек, тщательно следивший за своей внешностью и среди офицеров известный стремлением отличаться от других.

— О ком речь? О сотнике Семенове?

— О нем, любезном. Справный офицер или так себе?

— Семенов, Семенов... Человек он, конечно, без царя в голове, но нахрапистый.

— Своенравный, что ли?

— Будем считать, так.

— А у него не может быть... — Бранд повертел около виска пальцем, — не может быть слишком хорошо развита фантазия?

Старший помощник неопределенно приподнял одно плечо.

— Кто его знает! Раньше вроде бы не замечалось. Война ведь штука такая: сегодня человек нормальный, а завтра, хватив немецких газов, неожиданно лезет на стенку, изображая таракана, либо, раздевшись до пупа, нарисовав на плечах кресты, всем сообщает, что он — немецкий генерал... А что, собственно, случилось?

— Да вот. — Бранд придвинул помощнику донесения Се-

менова. — Почитай. Особенно последнюю депешу. — Очень похоже на писательское сочинительство.

Старший помощник взял в руки последний листок, прочитал громко, со вкусом, с выражением в голосе:

— «Млаву занял». — Брови у него дернулись, встали домиком, нос округлился, превращаясь в пуговку, будто у коверного комика. — Он занял Млаву? Хе-хе-хе! Во дает сотник! Он что, бочку сливовицы в брошенном шинке нашел и перебрал со своими казаками? Хе-хе-хе! «Прошу подкрепления для преследования отступающего противника. В моем распоряжении остался один конный вестовой». — Один вестовой... А остальные где?

— Остальные здесь.

— Это дело, как говорят в милой моему сердцу Хохландии¹³, грэба разжуваты. Надо послать к Семенову разъезд. С толковым офицером во главе. Он на месте во всем разберется — у нас будет точная картина того, что происходит.

— А вдруг этот сотник действительно занял Млаву?

— Исключено. Не верю. Целая дивизия уже столько дней топчется на месте, ничего не может сделать, казачью бригаду в помощь бросили — и вновь результат нулевой...

— Бригада в бой пока не вступила, — поправил своего помощника осторожный Бранд.

— Все равно... А тут на тебе — разъезд из двух носов и трех папах занял целый город. Не верю. Побасенки это из собрания сочинений господина Салтыкова-Щедрина. Болтовня!

— Хорошо. — Бранд придавил белыми ухоженными ладонями стол. — Посылаем к Семенову разъезд с толковым офицером.

Через четверть часа в Млаву поскакал казачий разъезд из пятнадцати человек во главе с корнетом Коншиним.

А сотник Семенов в эти минуты пытался отбить у немцев русских пленных — девятнадцать человек в приморской драгунской форме, из которых четверо были офицерами. Пленные появились на безлюдной улочке недалеко от костела; были они измученные, ослабевшие, конвой окружал их крепкий, в два кольца, при конях и телегах, с пулеметом, и сотник понял — ничего он не сумеет сделать. Были бы при нем его люди — отбил бы. А так — увы. Только сам в беду попадет и разделит участь драгунов-приморцев.

— Эх, земляки, земляки! Как же вы так оплошали? — Он взял в рот кончик уса, с досадою пожевал его. — Тьфу! — вы-

плюнул несколько откушенных волосинок, прилипших к языку, затем с лязганьем выдернул из ножен пашку и с силой загнал ее обратно. Покрутил головой, словно его оглушили, снова приложился к винтовке, целясь в офицера, ехавшего впереди конвоя на короткохвостом артиллерийском битюге, и опустил ствол: освободить этих людей он не сможет.

Выругался виновато: приморцев было жаль — попадут в какую-нибудь картофельную латифундию, либо давяльную проса в Лотарингии, либо на выпасы поросят в Саксонии, либо того хуже — за колючую проволоку лагеря военнопленных и вряд ли выберутся оттуда до конца войны.

— Эх, земли вы мои, родные!

В очередной раз возникла досада: если бы капитан Бранд вернул людей, которых сотник направил в штаб с донесениями, тогда был бы совсем другой коленкор. Но нет, не хватило на это у Бранда шурупов... Тьфу!

Сотник грохнул кулаком по кирпичу, вылезавшему из угла стены. Вместе с Никифоровым они лежали на колокольне. Кони были привязаны в глухом дворе внизу, к старому каменному отбойнику, специально врытому в землю для того, чтобы кареты своими колесами не вырубали крошку из стен. Отсюда, с верхотуры, было все хорошо видно: не только кони, мирно жующие овес внизу, и не только цепочка несчастных пленных — была видна вся Млава. Казалось, что город находился в ладонях у сотника.

На западной окраине Млавы что-то горело, черный дым косо струился над домами. Польшали то ли штабные бумаги, для верности облитые химической либо бензиновой дрянью, то ли резиновые противогазовые комбинезоны, завезенные немцами на этот участок фронта, о чем у русских имелись данные разведки, то ли чаны со скипидаром, которые германские медики, пуце косоглазия и поноса боявшиеся всякой заразы, всякий раз пускали в ход, когда подыхала лошадь или для покойников была вырыта слишком мелкая могила. Черный косяк дым, тянувшийся над землей, оставлял в душе ощущение беды. Город был пуст — на улицах ни одного жителя.

Сверху было видно, как во дворе аптеки, украшенной зеленым крестом и рогами неведомого зверя — костяные сучья были диковинно изогнуты, торчали вкривь-вкось, — около убитой лошади крутится беспородная собачонка с поджатым хвостом, клацает зубами, трусливо оглядывается, не огреет ли кто ее палкой сзади? Рядом с домом, крытым крашеным железом, тлеет воронка — из круглой ямы вьется свежий па-

рок, похожий на дым, будто на дне воронки разложен костерок, и снежный мусор тает на жарком огне. А может, там догорает чья-то душа...

Стыло в городе Млаве, тоскливо, пусто.

Хотелось есть. Та малая часть продуктов, которую казаки взяли с собою, была израсходована, животы подвело, подступала сосущая голодная боль.

— Ваще благородие, а немчуки не могли угнать из города жителей? — спросил Никифоров, обеспокоенный давящей пустынною пейзажа. — А? Ни одной живой души в нем...

— Не должны, — неуверенно ответил сотник.

Корнет Коншин со своими драгунами прискакал уже в ночи — хорошо, ночь на этот раз выдалась светлая, невидимый месяц неглубоко спрятался в облаках, время от времени выглядывал в промоины, словно ему было интересно, что происходит этой ночью на земле.

— Ба-ба-ба, сотник, — громко провозгласил корнет Коншин, — а ведь вы действительно с одним казаком взяли этот твердый орешек — город Млаву!

— Не с одним казаком, а с десятью, — сухо поправил его сотник. — В начале операции нас было десять человек.

— Поздравляю! — горячо воскликнул Коншин, огляделся повнимательнее; молодое розовое лицо его передернулось, будто от холода, и он невольно поежился: — Неуютно тут как-то. Нечистой силой пахивает.

В штаб бригады корнет отрядил двух драгунов с донесением, подтверждающим донесение сотника Семенова: «Млава взята!»

В первом часу ночи бригада забайкальцев вступила в город. Впереди казаков на белом, четко выделяющемся в лунном сумраке коне двигался начальник бригады генерал-майор Киселев.

Увидев Семенова, он согнулся в седле, хлопнул перчаткой по погону:

— Молодец, сотник! Всем нос утер, показал, как надо воевать. — Киселев повысил голос: — Капитан Бранд!

Капитан молча вытаял из ночного сумрака.

— Представьте телеграфно сотника Семенова к награждению Георгиевским оружием.

— Сотник уже представлен к ордену Святого Георгия... Не успел получить.

— Вот и получит... И орден и оружие. Все вместе.

К слову замечу, за эту операцию сам начальник бригады генерал-майор Киселев был также награжден орденом Святого Георгия Победоносца — высшей боевой наградой, вручаемой офицерам.

Воевал Семенов лихо, совершенно безоглядно, с выдумкой, храбро, хотя особых безрасудств тоже не совершал. Если бы его биография закончилась только боевыми подвигами на фронте, если в дальнейшем Семенов, как, впрочем, и Колчак¹⁴, не вмешался бы в кровопролитную схватку, именуемую Гражданской войной, он вошел бы в число великих граждан России, почитаемых во все времена, при всех властях.

Но этого не произошло.

На фронте наступило затишье. Окопы были завалены снегом, и он все сыпал и сыпал, накрывал пушистым одеялом землю. Солдаты, чтобы хоть как-то согреться, прямо в окопах жгли костры, не боясь, что немецкие артиллеристы засекут отблеск пламени и накроют костер снарядом. Холод считался большой бедой, гораздо большей, чем вражеские снаряды. Из немецких окопов также валил дым, поднимался в небо десятками тонких столбцов.

Немцам прямо в окопы, на передовую, подвезли железные печки с самоварными клепаными трубами, а также брикеты прессованной угольной крошки. Очень удобное это топливо — угольная крошка: и разгорается быстро, и горит жарко. Казаки добыли несколько таких печушек с брикетами — остались очень довольны.

Стрельба на замершей линии фронта выдавалась редко.

Под Млавой в районе деревень Руда и Зеленая, где разбил свой зимний бивуак эскадрон Семенова, было много зайцев. Косые развелись в количестве немереном и обгладывали яблочные стволы до корней. От косых обжор не стало спасу.

За дело взялся молчун Луков. Он оказался ловким охотником — каждый день потчевал забайкальцев печеной зайчатиной.

Вооружен был Луков старой, в простеньких облупившихся ножнах пашкой с вытертой деревянной рукоятью. На вид неказистая, пашка ловко сидела в руке, будто вместе с рукой и была рождена.

Однажды перед Луковым бросили кусок тряпки:

— Руби!

Луков стремительно выхватил пашку из ножен и, прежде чем ткань упала, рубанул по ней лезвием. Тряпка развалилась на две части.

Казаки присвистнули, с завистью поглядели на пашку Лукова:

— Однако!

В следующий раз также решили проверить качество луковской пашки, нашли в ранце убитого немца шелковый, светящийся насквозь, легкий, как воздух, платок. Перед Луковым бросили его — небольшой шелковый лоскут буквально повис в воздухе; он парил, будто бабочка, затем, едва пошевеливая краями, тихо поплыл вниз. Луков неторопливо обнажил пашку, поплевал на лезвие и коротким несильным движением распластал платок.

— Вот это да! — Казаки дружно вздохнули, и во вздохах этих слышалась зависть. — Что за пашка у тебя такая, а? Неужто из дамасской стали сработана? А?

В ответ Луков лишь приподнял одно плечо — не знаю, мол. Может, и из дамасской...

— Ну откуда она у тебя взялась?

Луков вновь, словно не умел говорить, приподнял другое плечо.

— Может, ты ее где-то купил или у врага отнял, а? Либо она тебе досталась по наследству от деда? А?

Тут у Лукова прорезался голос — наконец-то, — он степенно откашлялся в кулак.

— Вы правы, от деда, — проговорил он. Голос у него был глуховатый, с пороховым треском. — Дед ее привез из Китая.

— А что за сталь? Ведь только дамасская сталь рубит шелковые платки.

Луков снова приподнял плечо: главное, не что за сталь, главное — чтобы пашка, срубая голову очередному врагу, педа песню. А принадлежность стали к той или иной плавиальной печке — дело десятое.

Скорее всего эта пашка была сделана в Японии — японцы знали секреты стали не хуже дамасских мастеров, умели напавать сталь на сталь, сталь жесткую на вязкую, могли закалить клинок до такого состояния, что он запросто рубил железо, мог стать черным алмазом и рубить сталь...

— Японская это сабля, — пришли к окончательному выводу казаки и, будто бы точку поставив, прекратили завидуя поглядывать на пашку Лукова.

Заячья несметь что-то стронула в Лукове, он даже говорить начал — проснулся, значит, корешок — как-то, случайно выгнав из кустов очередного беляка, ленивого, толстого, неповоротливого, он задумчиво произнес:

— М-да-а...

Вытащил из ножен пашку, посмотрел на нее и снова вогнал в ножны.

Потом отвязал свою Рыжуху, отмеченную, будто орденом, счастливой белой звездочкой, легконогую гривастую кобылу, оседлал ее и выехал в поле.

Зайцы встретили Лукова настороженно. И правильно поступили — казак пошел на них в атаку, как на немцев. Через полминуты он насадил одного зайца на острие пашки, будто на вертел. Сбросил его в брезентовый непромокаемый «сидор», поскакал к следующему кусту. Через полторы минуты в «сидоре» копытался еще один заяц.

Через час, ободрав зайцев и порубив их на куски, Луков поставил на костер большой закопченный чан — из этого чана можно было накормить человек пятьсот, — наполнил его водой, кинул несколько головок лука и две ветки лаврового листа, добытого у полкового кошевара, заложил зайчатину, а сам с Никифоровым сел чистить картошку.

Вскоре дух над здешними полями, над лесами и окопами поплыл такой, что немцы невольно забеспокоились, начали кричать из своих окопов:

— Рус, перестань над нами издеваться!

А казаки во главе с сотником Семеновым уселись вокруг котла и устроили себе праздник — обсасывали каждую заячью косточку, смаковали каждое мясное волоконец, ахали и хвалили Лукова:

— Ну, говорун, ну, говорун, потешил наши души! — и восхищенно хлопали себя по животам.

«Говорун» на этом не остановился — натянул сырые заячьи шкурки на дощечки — решил выделывать их — не пропадать же добру, из которого может получиться и роскошная женская шапка, и вполне приличная казачья папаха.

На следующий день Луков вновь взгромоздился на свою Рыжуху и поскакал в поле.

Окопное противостояние продолжалось, жизнь была спокойной, казаки занимались в основном тем, что мелкими группами ходили в разведку.

В бригаде сменилось начальство. Генерал-майор Киселев пошел на повышение — стал начальником Восьмой ка-

валерийской дивизии, на его место прибыл генерал-майор Крымов¹⁵.

Семенов в вечерней мгме перемахивал через линию фронта и через пару часов возвращался с перекинутым через седло, будто куль, каким-нибудь полудохлым фрицем, на плечах которого болтались фельдфебельские либо офицерские погоны. Сотник попросту крал у немцев офицеров. Либо вычислял, каким путем немецкая разведка пойдет в наш тыл, и ставил на ее дороге капкан. За полтора месяца затишья он взял в плен пятьдесят с лишним человек, со своей же стороны не потерял ни одного.

Это было азартное и опасное состязание — кто кого, и Семенов со своими забайкальцами оказался на высоте.

В конце концов немецкая разведка стала ходить в наши тылы под прикрытием пехоты. Человек восемь конных разведчиков тащили позади себя целый пеший обоз при двух-трех телегах, на которых стояли пулеметы.

Обоз ошестинивался не только пулеметными стволами, но и винтовками, и штыками, и нападать на него, такого ежистого, готового вылить на противника лаву огня, было очень непросто, это усложняло задачу. Тем более что Семенов предпочитал действовать так, чтобы не терять своих людей.

Зима была теплой. Линия границы проходила неподалеку, и в бинокль можно было увидеть крыши большой деревни, смахивающей на город, под названием Руда, что находилась уже не на польской, а на прусской территории. Семенову хотелось как-нибудь вечером со своей сотней ворваться в Руду, посмотреть, как живут обленившиеся в зимнем затишье немчики, но новый начальник генерал Крымов запретил это делать — он почему-то предпочитал проводить учения у себя в тылу, а не в тылу немецком, за линией фронта.

Деревья в лесах гнулись под тяжестью мягкого липкого снега, погода баловала и удивляла забайкальцев.

Они привыкли совсем к другой зиме — им были больше по душе лютые морозы, пушечные удары стужи, раскалывающие пополам не только деревья, но и камни, целые скалы; ветры, выламывающие зубы; снег, в котором с головой утопают не только всадники, но и целые железнодорожные составы; пурга, плотно накрывающая землю — вытянешь в ней руку, и руки не видно, хвосты пурги сшибают с ног не только человека, но и быка, накрывают путника снеговым стогом и превращают его в ледяную колоду. У пурги с морозами — самый

крупный счет, сколько они унесли человеческих душ — не счесть.

Здесь же ветры по сравнению с забайкальскими — обыкновенный пшик, при таких ветрах лишь хорошо спится, мороз же способен только подумяннить щеки какой-нибудь милостливой толстухе, а во время снегопада вообще можно весело провести время, дружной компанией катаясь с гор на салазках.

В деревне Зеленой квартировали только казаки. Линия фронта выпрямлялась, «аппендиксы» были срезаны — слишком тяжело их удерживать даже во время самого малого наступления противника, легко можно отрезать вместе с людьми и затянуть на горловине такого мешка веревку, а это — плен, это — беда. Деревня Зеленая оказалась на нейтральной территории, и Семенов, сидя в ней, как в своей родовой вотчине, продолжал ставить капканы на немецких разведчиков и потом вытаскивал их из тисков, помятых, опарашенных, будто зайцев. Относились к пленным казаки не то чтобы с уважением — при случае могли и зуботычину дать, — а как к убогим людям, которым не повезло в жизни, скажем так — снисходительно.

В январе 1915 года, в морозный серенький день, когда с крыш сочилась, звонко шлепалась на землю капель, бредила души, семеновские казаки-наблюдатели засекли полтора десятка немецких всадников, выехавших из Руды, с ними — три подводы с людьми и пулеметами.

У сотника от этой новости загорелись глаза.

— Следите за штурмистами в оба, — приказал он. — Вдруг это местные дедки просто собрались в лес по дрова.

— Не похоже, ваше благородие, чтобы немцы опустились до обычных дровишек, они свои печки топят прессованными угольными брикетами. К нам немчуки идут, ваше благородие...

— Ну, раз к нам, то мы постараемся их достойно встретить.

Забайкальцам лишний раз приказывать было не надо — к вылазке они были всегда готовы. Семенов пересчитал своих людей — было их ровно тридцать. Он азартно потер руки.

Через лес, в котором растворились немцы, пролегла дорога, хорошо накатанный проселок. По этому проселку немцы возили в Руду сушняк, хворост, распиленные прямо на месте дрова. Дорога эта была присыпана снегом и, несмотря на накатанность, особо не видна, ее хорошо знали местные

жители, но не штурмисты, которые, похоже, на этот раз взяли с собой проводника — местного аборигена.

— Сколько их? — спросил Семенов у наблюдателя, шустрого глазастого казачка.

— Большая банда, человек пятьдесят будет.

— Такой бандой можно запросто проводить разведку боем. — Семенов зацепил зубами кончик уса, погрыз его. — Может, они действительно задумали разведку боем? — спросил он самого себя и развел руки в стороны: — А на кой лад? И так все понятно.

— И два пулемета у них, два! — Казачок для пущей убедительности выставил перед собою два пальца, указательный и средний.

— Хорошо, что они хоть орудие с собою не взяли, — усмехнулся сотник. Вновь покусал усы, на лбу у него пролегла вертикальная морщина. — И если это разведка боем, то кого же они решили пощупать?

— Нас, ваше благородие.

— Мы им неинтересны. Мы и без того у них будто на ладони находимся — нас из Руды они каждый день в бинокли рассматривают. И никакая это не разведка боем, а обычная разведка, — пришел Семенов к выводу и скомандовал, нагнав в голос звона и лихости: — По коням!

Он хотел достичь леска прежде, чем немцы выполнят из него, поглядеть поближе, «пощупать», что это за «товар». Через несколько минут казачья лава уже неслась по единственной улочке деревни, распутивая собак и кур, — следом, целя далеко вверх, в самое небо, поднимались густые столбы снеговой крошки. Остро пахло квашеной капустой, от этого знакомого духа в глотке даже что-то сжалось, и сотник не выдержал, выдохнул громко, будто кого-то полоснул пашкой:

— Й-эх!

Придержал коня он уже на опушке, втиснулся вместе с ним под громадную ель и предупреждающе поднял уку:

— Тих-ха!

Немцы растворились в густоте леса, словно духи бестелесные, — не слышно их и не видно. Казаки застыли на опушке, обратились в слух. «Ну как?» — одними глазами спросил сотник Белова, вытянувшегося на коне, будто молодая елка. Белов отрицательно качнул головой. Сотник оглянулся на растворяющиеся в сером воздухе домики деревни.

Там тоже было тихо.

— Будем ждать, — приказал Семенов.

Через минуту на окраине деревни гулко ухнула винтовка — это подал сигнал казачок-наблюдатель. Они так договорились с сотником — как только казачок засечет, что немцы показались на опушке леса, так сразу даст сигнал.

— За мной! — скомандовал сотник, направляя коня на заснеженный, схожий с диковинным животным куст, поехал от стылой белой пыли, насыпавшейся ему за отворот башлыка прямо на голую шею. Конь с лету одолел диковинного «зверя» и, быстро перебирая ногами, покатился вниз с невидимой заснеженной горки, потом встал, уткнувшись грудью в высокий сугроб. — Вперед! — подогнал его сотник. — Не спотыкайся!

Запоздало поморщился: спотыкающийся конь — не к добру. Раздумывать, к добру это или не к добру, было некогда, сотник хлестнул коня плеткой, тот с тихим стоном поднялся на дыбы и всей тяжестью навалился на сугроб, разломил его, будто гигантскую прель, замотал головой, фыркая и выбивая из ноздрей снег.

— Не спотыкайся! — вновь предупредил коня Семенов и поднял плетку.

Бить не стал. Все-таки конь — родное существо, такое же близкое, как и приятели-станичники, прибывшие на фронт с родного Куранжинского поста. Семенов подбадривающе хлопнул коня по шее ладонью, и тот выволоч всадника из сугроба.

Следом, выстроившись в цепочку, пошли забайкальцы. Через десять минут казаки уже находились на проселке, по которому только что прошли немцы.

Посреди санного следа валялись свежие конские яблоки, исходили теплым овсовым духом, около них уже копошились, горланя и дерясь, воробьи.

— Ну что, ваше благородие, догоним немаков? — предложил Белов.

Сотник хмыкнул:

— И сразу на пулеметы? Положат они нас с большим удовольствием.

— А мы нагличать не будем. С двух боков зайдем незаметно и навалимся.

— Незаметно подойти не удастся, и внезапности не будет.

— Тогда что же делать, ваше благородие?

— Ждать! Есть такой хороший русский рецепт — ждать.

Нам нужно, чтобы конники отделились от пехоты. Вот тогда и наступит момент «тогда» — тогда можно будет им натереть перцем репку. Понятно, Белов?

Проселок, по которому ушли немцы, словно шампур, нанизывал на себя все окрестные рожицы — оно и понятно: это была дорога, по которой вывозили лес. Колонна ложиной, невидимая со стороны большого тракта, проследовала в Журамин — некрупное, но важное село, оседлавшее сразу две дороги.

— Как бы они там кого из наших не прихватили, — обеспокоился Белов.

— Не прихватят. Никого из наших там уже нет. Но даже если какой-нибудь раззява попадется — на обратном пути отнимем.

Семенов правильно рассчитал, пропустив усиленную колонну разведчиков. Те на обратном пути, потеряв бдительность, успокоенные тем, что русские не встретились им, разбрелись. Пехота, истосковавшаяся по горячей каше — время было уже далеко за обед, — на санях унеслась в Руду, а конники задержались.

Произошло это в том самом лесочке, который Семенов и облюбовал для засады, чутье у него по этой части было, как у зверя — безошибочное. Сотник первым вывалился вместе с конем из-за огромного заснеженного куста и рубанул пашкой немца, оказавшегося к нему ближе всех, — дородного, в шишкастой каске и с большими рыжими усами. На рукаве у него пестрели новенькие нашивки фельдфебеля. Немец молча повалился под копыта своего коня.

Раздался выстрел. Пуля с шипением пропорола воздух рядом с головой сотника. Стрелял юный, с тоненькими витыми погонами на плечах офицерик. Лицо его было бледным от испуга.

— Ах ты, сука! — взревел Семенов, бросился с пашкой на офицерика, резким штыковым движением послал ее вперед.

Офицерик попытался отбить пашку, но опоздал, острое клинка всадило ему в живот — будто в квашню с мягкой давленной картошкой. Офицерик вскрикнул и повалился лицом на шею лошади.

— Если успеем до медсанбата доскакать — жив будет, — выкрикнул сотник, вновь вскинул над головой пашку.

Немцы растерянно смотрели на него, на казаков, окруживших их. Наконец один из немцев поднял над головой дрожащие белые руки. Следом поднял руки второй германец, потом третий.

— Вот и все, — удовлетворенно произнес сотник, вгоняя пашку в ножны. — Приехали детишки в гости к маме с папой.

Пленных разоружили и увели в село, откуда отправили с конвоем в штаб бригады — в Руде разведчиков так и не дождалось. Раненый лейтенант совсем еще зеленым был, мальчишкой, будь он немного постарше — вряд ли бы стал рисковать и стрелять в Семенова.

— Как хоть тебя зовут? — спросил у офицера Семенов.

Тот, грызя зубами белые губы — больно было, — произнес едва внятно:

— Барон фон Шехтер, лейтенант шестого егерского полка.

— Белов, постарайся мальчишку довести до санитаров, — приказал сотник. — Они его обязательно спасут.

Не дождавшись своих разведчиков, немцы снарядили на поиск конный разъезд. Сотник достойно встретил его — армейское начальство, сидевшее в Руде, так и не дождалось тот разъезд: зажатый в тихом прозрачном лесочке, он сдался без единого выстрела — звероватые казаки в лохматых папахах, ловко сидевшие на таких же звероватых, злобно скаливших зубы низкорослых лошаденках, внушали немцам лютейший страх. Страх парализовал немцев.

Вечером, сидя у небольшого костерка в одном из деревенских дворов, сотник с удовольствием отведать рагу из зайчатины, выковырнул застрявшую меж зубов мелкую косточку, сыто рыгнул в кулак и произнес:

— Однако хороший у нас сегодня денек получился.

Казаки, сидевшие у костра, просияли — этих слов они ждали.

— Ваше благородие, это дело следует отметить бимбером, — предложил Белов.

— Где взяли этот гнусный напиток?

— Обижаете, ваше благородие. Даром, что ли, мы немецкий разъезд встречали с такой любовью, а? Вот немаки с нами и поделились по-братски, — Белов поставил перед сотником литровую бутылку, заткнутую резиновой медицинской пробкой, — попросили выпить за их здоровье. Что и надо, наверное, сделать... А, ваше благородие?

— Валайте, — разрешил сотник. — Только имейте в виду — немцы нам сегодняшнего дня не простят.

— Плевать!

— Ночью они могут атаковать Зеленую.

— Плевать, ваше благородие!

— В крайнем случае атакуют утром.

— Тем более плевать. Мы — склизкие, увернемся.

Семенов как в воду глядел. Утром из Руды выдвинулись

две длинные колонны с двумя прямо на ходу мирно попрыкивающими дымком полевыми кухнями, при четырех орудиях. Сотник оглядел колонны в бинокль, насмешливо покусал ус.

— Что-то старичков среди воинов многовато.

— Это ополчение, ваше благородие. Минин и Пожарский, только на немецкий лад.

— Знаю. Ландштурм¹⁶ есть ландштурм. — Лицо сотника приняло озабоченное выражение; он спрятал бинокль в твердый фанерный ящичек, изнутри обитый бархатом, чтобы не поцарапать нежную оптику, и неторопливо забрался в седло. — Отступаем, казаки. Иначе эти старички своей массой расплющат.

Прикрываясь домами, казаки спустились в длинный пологий лог и так, логом, и ушли. Ландштурмисты — их было два батальона — прочесали деревню гребенкой, но ничего, кроме двух костров, залитых казачьей мочой, да нескольких груд свежих конских яблок не нашли.

Ведомые двумя боевыми обер-лейтенантами, ландштурмисты оставили Зеленую и передвинулись в Журамин. В Жураmine русских не было — ни одного человека, это местечко для наших частей выполняло роль этакой станции подскока, промежуточной базы и находилось в своеобразной нейтральной полосе, капитан Бранд в своих картах вынес Журамин за линию фронта, поэтому немцы, довольные тем, что не пришлось стрелять — они вошли тихо, не сделав ни одного выстрела, — расположились в Жураmine как у себя дома: заняли обжитые помещения и первым делом решили подкрепиться — даром, что ли, их полевые кухни все это время коптили небо. Запах наваристой, заправленной копченым салом каши долетел даже до Зеленой, куда казаки не замедлили вернуться.

Семенов насмешливо отер перчаткой усы:

— Это испытание почище испытания огнем и железом. Не для слабого человека.

— Ничего, ваше благородие, переживем и это, — бодро отозвался на слова сотника Белов.

— Лучше пережевать, чем переживать.

— Тогда позвольте действовать, у нас как в аптеке — бутылку бимбера из кармана, а Лукова с его пашкой — в поле, за зайцами.

— Рано еще, Белов. Вдруг немцы сейчас какой-нибудь фокус выкинут? Старички на это дело всегда были горазды. Тогда и зайцев не увидим, и ловкого Лукова потеряем.

Однако немцы никакого фокуса не выкинули, они решали задачу простую, как превращение сена в конские яблоки: зная, что казаки совершают налеты из Зеленой, решили занять село в казачьем тылу и таким образом отрезать сотню Семенова от своих.

Никакой разумный командир не решится на вылазку, имея у себя в тылу два батальона, а если решится, то это будет либо великой дуростью, либо великой наглостью — ни то, ни другое нормальный офицер позволить себе не может. Так считали немцы. Но сотник Семенов считал по-другому, у него по части воинской арифметики вообще не было правил: два плюс два давали разный результат, могло получиться и пять, и шесть, и восемь, а могло получиться и полтора — все зависело от обстоятельств.

Утром Семенов отрезал ландштурмистов от своих. Когда из Журамина в Руду отправились две подводы с десятком вооруженных винтовками стариков, не замедлил их разоружить. Затем связал одной веревкой и обходным путем отправил в штаб бригады. Точно так же он перехватил пять подвод с продовольствием, которые шли в Журамин из Руды.

— Скоро мы австрийским шоколадом коней кормить будем, — пообещал сотник казакам. — А французским коньяком — поливать сено, чтобы душистее было. И венгерская ветчина у нас будет, и твердая немецкая колбаса, и швейцарский сыр, и чешские шпикачки...

Казакам было весело слушать перечисление этого гастрономического реестра, и вообще было весело воевать с таким командиром. А вот ландштурмистам было худо. Очень скоро их полевые кухни перестали дымиться.

Казаки же в самом деле и венгерской ветчиной, и дырявым швейцарским сыром, и твердой, аппетитно пахнущей дымком колбасой в красной лощеной облатке, на которой золотом был тиснут частокот готических букв «Брауншвейгская», полакомились, и многим другим. Казаки пластали колбасу пашками и, выковыривая из темной красной плоти мелкие блестящие жиринки, рассматривали их как нечто диковинное, пробовали на зуб и завистливо вздыхали:

— Это надо же ж так обработать кусок сала! А остальное куда делось? Ведь свинья-то была большая.

И всякий раз находилась какой-нибудь остро слов, который обязательно выражал недоумение по поводу дырок в сыре:

— Криворуки! Эти дырки надо пробками из-под вина затыкать — не могли как следует заляпать щели! Если проваляешься в них — ногу сломаешь!

Ландштурмисты попробовали расчистить дорогу в Руду, но куда там — только телеги свои потеряли. Вместе с пулеметами.

— А ну как это старичье попрет на нас сразу двумя батальонами, — озадаченно почесывая затылки, обратились казаки к сотнику, — сметут нас дедки.

— Не сметут, — спокойно ответил сотник, — да и не попрут они никуда. У дедков приказ — умереть в Жураmine. А немцы — народ такой: от приказа — ни на сантиметр. Так и будут сидеть в Жураmine.

— Голодные?

— Голодные.

Вторая колонна подвод с продовольствием отправилась в Журамин под усиленным конвоем, вокруг них крутилось два с половиной десятка всадников, командовали проводкой два седых, очень похожих на семеновских учителей оренбургской поры сгорбленных офицера, оба — тихие, интеллигентные, мужу не обидят — они были тоже из ландштурмистского призыва.

— Таких людей на фронт посылать никак нельзя, — Семенов с неодобрением пожевал кончик уса, — такие киндерам арифметику должны преподносить... Ну что они смыслят в смерти, в огне, в окопной тактике?

Впрочем, двух этих офицеров сопровождал краснолицый фельдфебель, очень похожий на большую, прочно сколоченную сельскую баню. Встреча с таким человеком на открытом пространстве была опасна.

— Вот с тебя-то мы и начнем, — спокойно проговорил сотник, подводя мушку винтовки под подбородок фельдфебеля. Повел чуть в сторону стволом, беря на опережение, задержал дыхание и нажал на спусковой крючок. Фельдфебель изумленно приподнялся в седле, выдернул ноги из стремян и свалился под тяжелые копыта своего битюга.

Следом за выстрелом сотника раздалось еще несколько выстрелов — палили казаки, и через две минуты половина всадников уже валялась в снегу. Казаки вымахнули из Зеленой и с улюлюканьем понеслись на продуктовый караван.

Немцы повывпрыгивали из возов в снег и помчались кто куда.

Половина возов была поставлена немцами на колеса, вторая половина имела санный ход. Одна из лошадей, запряженная в телегу, понесла. Под колеса попал мерзлый выворотень

земли, телега перевернулась. По полю рассыпались цветные плитки шоколада и упакованные в пергамент коробки галет.

— Тпр-р-ру! — громко закричал Семенов, совершенно забыв о том, что немецкие лошади русских команд не понимают.

Лошадь рванула еще раз, также закувыркалась, хомут сдавил ей шею — он развернулся вокруг своей оси и сдвинулся, лошадь захрипела. Одну оглоблю она переломила своей тяжестью — толстая слега разлетелась сразу на три части, вторая оглобля прогнулась, затрещала, но выдержала. Лошадь начала задыхаться.

Семенов выматерился, спрыгнул на землю, ухватился обеими руками за хомут, разворачивая его на лошадиной шее. Вдруг из сугроба, прямо из глубины, хлобистнул выстрел. Пуля прошла стороной, Семенов даже не услышал ее, увидел только, как снеговая плоть вспыхнула изнутри неярким рыжеватым огнем, обрела глубину, выдернул из кобуры револьвер и вогнал в сугроб — прямо в центр высветившегося места — сразу три пули.

Больше выстрелов не было. Семенов поднял упавшую лошадь, казаки поставили телегу на колеса.

— Ну что, станичники, шоколад будем собирать или оставим воронам на закуску? — спросил сотник.

— А мы чем хуже ворон, ваше благородие?

— Тогда — налетай! — скомандовал сотник.

Казаки кинулись собирать шоколад. Под оживленный шумок несколько дедков улепетнули из своих схронок.

— Тьфу! — Семенов выругался.

— Ваше благородие, сейчас изловим, порубаем...

Сотник вспомнил совершенно не к месту, что его обожаемый государь император Николай Александрович состоит в близком родстве с германским кайзером, да и женат государь на немке¹⁷, сотнику стало жаль стариков в коротких, обдрипанных понизу шинеленках, и он отрицательно мотнул головой:

— Не надо! Пусть живут!

— Тогда, может, каждому по одной ноге оттянуть? Чтобы не бегали так шустро?

Семенов вновь отрицательно мотнул головой:

— Не надо!

— Как скажете, так и будет, ваше благородие.

Вот там-то, в чужой стороне Семенов первый раз в жизни — раньше такого не было — почувствовал, как под мышками у него возник нехороший холодок, споро побежал куда-то вниз и исчез, и сотник вдруг понял, что всю жизнь ему придется при-

нимать решения — пролить чью-то кровь или нет, но в отличие от нынешнего дня, когда он делает что хочет, у него будет полным-полно случаев, в которых ему придется — даже если он и не захочет — проливать чужую кровь. Осознание этого вызвало у сотника некую оторопь, он опять покрутил головой, глянул на заснеженное поле, на сбившиеся в кучу продуктовые возки и запоздало понял, что война — штука постылая.

Еще он неожиданно понял, что у немцев не хватает саней, они у себя в Европах привыкли больше на колесах разъезжать... Даже в холодную пору. Поэтому и здесь разъезжают на колесах по снегу и проигрывают сражения. Это маленькое открытие родило в нем слабую улыбку, некое удивление — какие все-таки разные люди живут на свете — и одновременно уверенность в том, что в этой войне русские обязательно победят. Однако, как показали последующие события, Семенов ошибался. Русские через три года, сами того не желая, подписали позорнейший мир¹⁸.

А в упомянутый день казаки объелись шоколада — двери сортиров не закрывались, — в то время как старички-ландштурмисты голодали. Они проклинали казаков, подтягивали ремни на штанах сразу на несколько дырок, шатались по дворам, выпрашивая еду у местных жителей, и с тоской поглядывали на запад, где располагалась сытая Руда, из которой пришли.

Следующий продуктовый обоз немцы пустили ночью, постарались сбить его компактно, погрузив еду всего на несколько возов, охрану же выставили минимальную, посчитав, что так обоз привлечет меньше внимания.

Но глазастые наблюдатели из сотни Семенова обоз засекли — не помогли немцам ни вязкая ночная темнота, в которой все растворялось — даже кончика собственной носа не было видно, — ни то, что немцы попытались обогнуть село Зеленое, пройти лощинами, увалами, под прикрытием леса. Даже тот факт, что в этот раз немцы решили обойтись только санями, тоже сработал против них — снег скрипел под полозьями наждачно, громко, этот звук был слышен на добрые два-три километра, под колесами он тоже скрипел бы, но меньше — в общем, и тут промахнулись германцы.

Казаки свалились на них огромным снопом, накрыли разом, и ни ездовые, ни их охранники ничего сообразить даже не успели, как вдруг оказались повязанными, с кляпами во рту. Кляпы им пришлось сунуть из-за одного дедка в сапогах, на которые были натянуты валенки с разрезанными голенищами —

похоже, он был старшим в обозе, — дедок начал блажить так, что в лесу с деревьев посыпался снег, и замолк он только тогда, когда в рот ему всадили свернутую в рулон рукавицу.

Наутро у казаков вновь — понос: горький немецкий шоколад и марокканские сардины плохо действовали на их желудки. Казаки даже двери сортиров не запирали, чтобы проскакивать к нужнику без остановок и осложнений.

А ландштурмисты от голода уже выть начали — они не привыкли, чтобы с ними так обращались.

В следующий раз немцы снарядили длинный обоз и выделили ему мощную охрану — целый эскадрон. Эскадрон — это главная сила, охранявшая деревню Руду. Раз он оттуда ушел, значит, остались в Руде одни инвалиды да больные. Семенов подкрутил усы и произнес довольным голосом:

— Хар-рашо!

Семенов пропустил обоз мимо, восхитился четкостью кавалерийского каре, охранявшего возы с едой: немцы двигались торжественно, не ломая линий, будто в Журамыне их должен был встретить сам кайзер Вильгельм, принять парад и раздать медали за усердие — желанную награду для всякого немецкого солдата.

Когда обоз скрылся, Семенов неторопливо забрался на коня. Сказал своим казакам:

— А мы, ребята, сейчас пойдем в обратном направлении.

— Куда, ваше благородие?

— В деревню Руду.

— Так в ней столько войск... Неужели они отдадут Руду?

— А куда они денутся? Конечно, отдадут. Вперед! — командовал Семенов, направляя коня прямо на плетень. Конь легко взял преграду. Семенов на скаку оглянулся, призывно махнул рукой и командовал вновь: — Вперед!

Ох, как он любил такие моменты! Ветер, твердый железный ветер военной зимы свистит не только в ушах, но даже в зубах, под копыта лошадей уносится серый неопрятный снег, испятнанный следами подков, человеческой топаниной, какими-то тряпками, примерзшими к наледям, крупной конской картечью, разворошенной воробьями и воронами, а сердце при этом мечется в груди от холодного победного восторга, оно то отзывается болью, то щекоткой, то обозначится под ключицей, то гулко заколотится в разъеме грудной клетки, то возникнет еще где-то, рождая внутри хмельное состояние.

Во время скачки ветер выдувает из головы все лишнее, и вообще все желания, кроме одного — желания во что бы то ни

стало перекусить горло врагу, и все естество, все мысли подчинены только этому, и тело в атаке группируется само по себе, оно само чувствует опасность, само готово сохранять и защищать себя.

Одолев горбатое неряшливое поле, сотник нырнул в лесок, придержал коня, ожидая, когда его нагонят казаки — те ссыпались в лесок гулкой густой лавой, и хотя их было немного, всего двадцать человек, впечатление создавалось такое, что скачет целая сотня. Семенов довольно улыбнулся — это было то что надо.

Казаки окружили его. Звероватые забайкальские лошаденки зацелкали зубами, будто собаки.

Сотник не выдержал, засмеялся — настроение у него было приподнятое, он вытянул из ножен пашку и с громким лязганьем вогнал ее обратно. Казаки повторили это движение — со временем оно вообще войдет у них в привычку, в обычай, — слитное металлическое лязганье прозвучало настоящим громом, сотник снова засмеялся и широко загреб рукою воздух:

— За мной!

Из одного леска казаки переместились в другой, потом в третий, просочились сквозь прозрачную рощицу и лавой вынеслись на поле перед самой деревней.

Сотник скакал первым, пригнувшись к шее лошади и азартно покхекивая на ходу. Ему показалось, что от крайнего дома, где был вырыт окоп, сейчас по казакам хлестнет горячая пулеметная струя, рассечет пространство, и он, спасаясь от нее, пригнулся еще ниже, но в следующий миг поймал себя на этом и недовольно отплюнулся на скаку: еще не хватало скрываться за конской шеей. Ни за конскими шеями, ни за человеческими спинами он скрываться не привык.

Выхватив из ножен пашку, он заулюлюкал азартно, громко, зло. В конце улицы увидел заморенного, худого, как заяц по весне, полупарнишку-полустаричка, представителя рабочего класса Германии, кинулся за ним, тот совсем как обычный русский мужик сиганул через плетень и был таков.

— Шельма! — прорычал на ходу Семенов, крутанул над головой клинок — аж самому холодно сделалось от стального ветра, кулаком примял на темени папаху, чтобы не свалилась, прорычал вторично, то ли негодуя, то ли, наоборот, восхищаясь бесстыдно драпанувшим ландштурмистом: — Шельма!

Сбоку ударило два выстрела, оба из винтовки дуплетом — стреляли двое, один стрелок вряд ли бы успел так быстро перезарядить винтовку. Семенов махнул рукой влево, и в то же

мгновение через забор легко перемахнули на лошадях два его казака.

Послышался истошный крик, уже ставший таким знакомым:

— Казакен!

Деревня Руда разбежалась. Ландштурмисты, словно тараканы, старались забраться в какую-нибудь щель, спасаясь от казаков; то там, то тут раздавались надрывные, словно вместе с нутром вывернутые наизнанку, крики:

— Казакен!

Семенов увидел прямо под собою, под брюхом коня, толстого, с выпученными глазами-маслинами ландштурмиста — турка либо грека, а может, и немца, родившегося на юге страны, — с кучерявящимися черными волосами, вылезавшими из-под каски. Ландштурмист выкинул обе руки, загораживаясь от страшного казачьего клинка, Семенов хотел ткнуть его шашкой, как копьём, но передумал, остановил руку — жалко стало этого шашлычника. А тот, благодарно взвизгнув, откатился к плетню, Семенов пронесся мимо, упрекнул себя за недозволенную на войне мягкотелость, отплюнулся привычно.

Жалко было рубить стариков. Кто Германию будет восстанавливать, когда закончится война и русские победят? Не победителям же брать в руки лопаты с мастерками. Не было у Семенова никакого чутья. А с другой стороны, не это было важно, не это главное. Главное, чтобы шашка во время удара о вражескую черепашку не вылетала из руки.

Семенов снова отплюнулся.

Одного ландштурмиста он все-таки зарубил — тот, с длинным лошадиным лицом и жесткой щеткой волос на голове, ощерил зубы, ткнул в сторону сотника плоским, похожим на нож для резки хлеба штыком, Семенов даже усмехнулся — и чего это дедушка пыряет в него штыком за десять метров, от страха спятил, что ли, но в следующий миг, словно что-то предупредило сотника об опасности, он резко послал коня в сторону. Сделал это вовремя. Успел. Пуля, которую выпустил ландштурмист, чиркнула по погону, сорвала его, сотник даже ощутил жар раскаленного металла.

— Вот сука! — воскликнул Семенов изумленно, направляя коня на ландштурмиста, рубанул немца прямо по щетке волос.

Ландштурмист хотел защититься от сотника винтовкой, выставил ее перед собой, будто дубину, Семенов изловчился, направил шашку вдоль винтовочного тулова — на плечи

ландштурмиста только мозги выбрызнули, бледно-розовые, с каким-то туманным помидорным налетом. Располовиненное лицо ландштурмиста залилось кровью, только в самом низу головы, почему-то скатившись на подбородок, страшно и одновременно весело скалились чистые белые зубы. Так ландштурмист со скалящимися зубами и свалился в снег.

Больше выстрелов не было.

Через двадцать минут казаки — шумные, довольные собой — съехались на небольшой площади, обложенной крупными гладкими камнями. Белов, по обыкновению, отнял у кого-то из ландштурмистов бутылку с местным первачом — польской свекольной самогонкой некрасивого сивушного цвета, — собрался было выдернуть из горлышка кукурузную пробку, но сотник погрозил ему кулаком:

— Нельзя!

— Ваше благородие! — взмолился Белов.

— Пить будем потом, сейчас нельзя, — произнес Семенов жестким, каким-то чужим голосом; этот непривычно чужой, звеневший металлом голос он незамедлительно засек, услышал его словно со стороны, поморщился и добавил: — Спрячь бутылку, Белов!

— Так холодно же ж, ваше благородие. Простудиться можно.

— Спрячь!

— Что будем делать дальше, ваше благородие?

— Ждать!

Хреновая это штука, особенно на войне — ждать. Ожидание и в мирное время не слаще горчицы, вытягивает из человека все соки, выматывает так, что он, бедняга двуногий, сдавать и стареть начинает в несколько раз быстрее положенного, а уж по части нервов, то они вообще за пару дней могут превратиться в гнилые нитки, и ничем их ни залечить, ни заменить: прель есть прель...

— Может, догнать кого-нибудь из ландштурмистов и пщекотать кончиком шашки? — спросил Белов, с сожалением затыкая бутылку початком и засовывая ее подальше от глаз командирских в переметную суму — слишком сумрачным и тяжелым сделался взгляд сотника, лучше не рисковать. — Все веселее будет.

— Валяй. Но времени на эти тараканьи игры даю немного — два часа. Через два часа все должны быть здесь, на этой площади, — сотник приямл ногою хрусткий сухой снег, — все, до единого человека.

Он рассчитывал так: эскадрон, который ушел с обозом в Журамин, к вечеру поспешит обратно, ночевать в Журамине не останется, немцы ночевать в чужих постелях не привыкли и обязательно вернутся — на этом и строил свою стратегию сотник Григорий Семенов.

А что касается науки ждать, то ее надо осваивать, она такая же важная в военном деле, как и наука наступать.

Белов покрутил головой в поисках напарника, но никому не хотелось бить ноги ни себе, ни коню и охотиться на ландштурмистов — гоняться за этими тараканами в поле себе дороже, и Белов утих, скис и через десять минут об охоте уже не вспоминал.

Прямо на площади, на земляной обочине, проступившей сквозь снег и поблескивавшей оттаявшей мокретью, развели костер и, вогнав в размякший рыжий суземок два кола с рогульками, развели костер. Огородили перекладину, навесили ее на рогульки и украсили черным закопченным котелком — с некоторых времен эту легкую, склепанную из алюминиевого листа посудину с собой возил Никифоров — выполнял негласное общественное поручение.

Казачи — люди в большинстве своем обстоятельные, питаться всухомятку, без горячего, не привыкли, так что котелок, два месяца назад найденный в немецком обозе, оказался очень кстати. Никифоров при общем молчаливом согласии оприходовал его, проверил на дырявость, почистил снегом, льдом — «шоб вони фрицевой тут не осталось ни капли» — и теперь тешил горячей едой дружков своих Белова да Лукова, ну и остальных станичников — тоже.

Луковских жирных зайцев тоже приспособились готовить в этом котелке, прежний котел был уж очень здоров, хотя алюминий — металл не для жарева и тушений, он миглом притягивает к себе всякий кусок мяса, заставляет его дымиться, за таким котелком глаз да глаз нужен, иначе все очень быстро сгорит, кроме зайчатины в нем и супы варили, и диковинное блюдо, похожее на лапшу — длинные лохматые стебли, скатанные из теста, под названием макарон: то ли немецкое, то ли итальянское, то ли папуасское изобретение... У всех, кто смотрел на хозяйственную тройцу — Никифорова, Лукова и Белова, — душа начинала невольно радоваться.

Расселись вокруг костра, лошадей поставили рядом, на морды им накинули мешки с трофейным овсом.

— Спасибо немакам, — всякий раз кланялся Белов, насы-

тая овес в торбы, — от моего коня — особенно. — Белов с шутовским видом совершал второй поклон.

— Надо бы ближайšie дома проверить, — произнес Семенов с озабоченным видом, — вдруг там кто-нибудь из немцев застрял? Не то вытащат пулемет да начнут садить по нашим головам — вот тогда мы и закукарекаем.

На неровной узкой улочке, ведущей к центральной площади деревни, показался сгорбленный человек с клюкой, небритое лицо его было сосредоточенно, он держался одной стороны улицы и почему-то опасно поглядывал вверх, на крыши домов.

Казачи, увидев этого человека, замолчали — что-то необычное было сокрыто в нем, сколько годов было ему — не понять: могло быть и тридцать пять, и сорок семь, и семьдесят шесть — есть категория людей, которая живет вне времени, поэтому возраст их определить невозможно. Этот человек принадлежал к таким людям.

— Белов, — тихо обратился к казаку сотник, — подсобика дедку.

Казак подвел непрошеного гостя к костру.

— Вот, ваше благородие, говорит, что в восемьсот семидесятом году был в России.

— Почти полвека назад, — уважительно проговорил сотник, подвинулся, освобождая место рядом с собой.

Вид у гостя действительно был вневозрастной, на висках — ни одной седой волосинки, но старческая редина и просвечивающая сквозь прозрачно-темные волосы дряблая кожа делали поправку, слезящиеся глаза с красными веками тоже не могли принадлежать молодому человеку.

— Он и по-русски гуторит вполне сносно, — сообщил Белов.

— Да, да, да, — закивал головой прищелец, — я был Россия, пришлось узнать русский.

— А чем вы занимались в России?

— Я... я... как это? Момент, — предупредил он, полез в карман, достал оттуда старые часы в медной узорчатой луковиче. — Вот. Я ремонтируйте это вот. — Он нажал на кнопку, одна половинка луковичи отворилась, послышалась чистая серебристая мелодия. — Видите?

Сотник перегнулся через плечо старика, глянул на луковичу, одобрительно поцокал языком:

— Хорошие часики, однако.

— Сам собрал, — похвастался пришедший, — из отдельных деталей.

— А корпус, луковицу как — тоже сами делали?
— Корпус нет, корпус я взял от старых русских часов и подогнал под него механизм.

— Немцы, что стоят здесь, в Руде, они как... не обижают вас?

— Не-ет. Смирные люди. В основном старики.

— А кавалеристы? Откуда высыпал целый эскадрон.

— И кавалеристы ничего. Когда спят, — пришедший засмеялся, смех у него был молодым и звонким, будто у мальчишки, — вместе с лошадьми.

Сотник протянул руки к огню, погрел их, потом задумчиво похлопал плеткой по голенищу сапога. Спросил у незваного гостя в упор:

— Кто-нибудь из немцев в деревне остался? А? С одной стороны, мы вроде бы всех их выкурили, а с другой... А? Всякое ведь может быть... А?

Он не рассчитывал, что бывший часовщик ответит взаимностью — пришедший был немцем, а немец немца выдавать не станет.

Незванный гость молча подвигал из стороны в сторону нижней челюстью — соображал... Семенов понял — настаивать не надо, хотя ответ может быть всякий. В том числе и с выстрелами. Война на то и война, чтобы на ней стреляли. Выстрелы в Руде могут загрохотать в любую секунду.

— На нет и суда нет, — произнес сотник миролюбиво.

— Я очень хорошо отношусь к русским, — наконец проговорил приходец, вздохнул, глаза его затуманились — видно, с Россией у него были связаны хорошие воспоминания.

Пауза была затяжной.

— Весьма похвально, — произнес Семенов.

Приходец повернулся к улице спиной, приблизил лицо к сотнику, проговорил тихо и совершенно бесцветно:

— В третьем доме с краю находятся два немецких офицера.

Сотник присвистнул:

— Застраjali, значит, голуби...

— В общем, вы... ваше дело военное, вы тут разбирайтесь, а я топайт дальше. — Бывший часовщик обстучал клюкой землю перед собой, словно пробовал ее на твердость, и, не прощаясь, двинулся дальше.

Некоторое время был слышен стук его клюки, а потом он стих.

Белов, сидевший на корточках у пламени, проводил приходеца взглядом и вскочил на ноги:

— Разрешите мне, ваше благородие... Я мигом растрясую эту перину.

— Погоди, Белов, — осадил его сотник. — Рано пока. Минут двадцать выждем. Иначе мы выдадим этого мастера вместе с его часами и вообще со всеми потрохами.

Через двадцать минут Белов, взяв с собою двух дружков, Лукова и Никифорова, неспешно двинулся по улице. Винтовки все трое держали на весу, патроны сидели в патронниках — в любую секунду казаки были готовы стрелять. Лица казаков имели одинаковое отсутствующее выражение, лишь в глазах поблескивало любопытство. С одной стороны, им интересно было увидеть, как живут люди в чужой стороне, с другой — по телу полз холодок, предупреждающий об опасности, все-таки они находились на войне.

— Богато живут, — завистливо произнес Луков, — нам бы так.

— Придет время — и мы заживем так же, — убежденно заверил приятеля Белов, — в России ведь как — то понос, то золотуха, то война с Японией, то плохая погода, то барин вдруг оказался круглым дураком. Для того чтобы было хорошо, надо, чтобы все это совместилось. Когда совместится — все будет великолепно.

— Такого не будет никогда.

— Не скажи, друг сердечный, построим дороги — станем жить как кум королю. — Белов засмеялся.

Луков не выдержал, выругался беззлбно:

— Болтун!

Дом, где находились немецкие офицеры, казаки взяли в клещи — выйти из него незамеченным было невозможно, главный вход выводил на широкую, застекленную до самой крыши веранду, хозяйственная дверь, в русских подворьях считающаяся черной, была не в задней стене, как положено, а в боковой части дома, хорошо видимой с улицы, от этой двери к сараю, увенчанному высокой двухскатной крышей, буд-то боярской шапкой, вела темная, хорошо натопанная дорожка — там находился сортир. Было слышно, как в сарае нервно вкочут куры.

Окна дома, завешенные легкими шторками, были темны и безжизненны. Ни одна из шторок не шелохнулась, когда казаки подошли к дому.

Белов дал команду остановиться, едва приметно примял рукой воздух — стойте, мол, здесь, — а сам, пригнувшись, беззвучно влетел на крыльцо и вошел в дом.

Было тихо. На высокоом, веретеном вытянувшемся к небу тополе шебуршали мелкие розовогрудые птицы, очень похо-

жие на наших снегирей, да о чем-то негромко и важно переговаривались несколько ворон.

Прошло минуты три... пять минут — ничего, кроме птичьего шебуршанья да миролюбивого бормотка ворон, не было слышно. Никифоров недоуменно переглянулся с напарником — уж не пришибли там их приятеля?

Прошла еще пара минут. Воздух словно загустел, стал холодным, появилось в нем что-то звенящее, тревожное, будто где-то рядом натянулась гитарная струна и ветер, прилетающий с недалекого поля, играл на ней свою печальную песню. Луков вздохнул, переступил с ноги на ногу и решительно взял винтовку наперевес:

— Что-то случилось. Надо выручать братку.

Никифоров ухватил его за рукав, мотнул головой, останавливая.

— Ты чего? Убьют немцы Белова...

Луков не ответил. Никифоров продолжал держать приятеля за рукав.

Прошло десять минут.

Дверь с треском растворилась, на веранде показался Белов, живой и невредимый, повел стволом винтовки в сторону, освобождая проход:

— Пожалуйте, ваши благородия!

На веранду вышли два офицера — одетые по-зимнему, в шинелях с меховыми воротниками, затянутые в ремни, оба в пенсне, носатые, бледнокожие, похожие друг на друга, словно близнецы-братья.

— Чего так долго? — Луков потопал сапогами по снегу. — Мы чуть дуба не дали, тебя ожидаючи.

— Да вот, их благородия изволили затажно собираться, все капризничали. — Белов толкнул одного из офицеров прикладом винтовки в спину, под лопатки. — Шагай, шагай, клешнястый!

Казак повел офицеров к костру. Те шли молча, горбились, когда замечали, что из окна кто-то пытается рассмотреть, кого ведут. Под роскошные каскетки у офицеров были натянуты аккуратные, связанные из верблюжьей шерсти подшлемники с утолщенными наушниками.

— Нам бы такие! — произнес Луков, с завистью глядя на наушники.

Белов хмыкнул:

— Может, тебе еще теплый ночной горшок, подогреваемый дровами, выписать со склада? На что зарисься, черная

кооть? Нос не дорос! Вот отрастишь себе шнобель, как у этих немаков, — тогда и получишь право на шерстяные наушники.

— Можно пристрелить их, а наушники снять.

— Тебе сотник за такие речи оторвет все, что висит ниже подбородка — ноги, руки и все остальное. Я и сам немаков не люблю, но стрелять в пленных не позволю.

Увидев пленников, сотник Семенов поднялся и, нависнув над костром, похлопал в ладони: «Браво!», потом гостеприимно повел рукой:

— Садитесь, господа хорошие!

Пленные угрюмо смотрели на него и молчали.

— Садитесь, садитесь, в ногах правды нет.

В глазах пленных возник страх — они не понимали, о чем говорит русский офицер. Семенов, усмехнувшись, пояснил:

— Это пословица такая... Садитесь, садитесь. Зитцен зи битте!

Услышав несколько знакомых слов, пленные приободрились. Один из них неожиданно вскинул голову, разом становясь похожим на жирафа, и проклекотал:

— Я буду жаловаться!

Семенову сделалось весело, он рассмеялся, показывая мелкие чистые зубы:

— Кому жаловаться? Кайзеру Вилли? До Вильки это дело не дойдет. Нашему государю императору? Тоже бесполезно. Так что пишите бумажку, мы ею подотрем задницу самому прожорливому коню. Так что садитесь, господа, пока приглашают.

Пленные офицеры замаялись — земля около костра была влажной, замусоренной, — Семенов это понял, приказал:

— Никифоров, найди для господ германцев пару чурбачков, не то они задами к земле примерзнут. Они, оказывается, не только белоручки, не только белоножки, но и беложопки.

Никифоров приволок пару толстых круглых обрезков, вначале один, потом другой; офицеры, чопорно поджав губы, уселись на них.

— Эх, знал бы я немецкий «шпрехен», мы бы сейчас здорово поговорили, — сказал Семенов. — А так остается только «цирлих-манирлих» разводите руками по воздуху в разные стороны. Тьфу, неучи мы!

— Не расстраивайтесь, ваше благородие, — успокоил Белов, — еще не вечер... И немецкий успеете выучить, и английский.

— Успеть-то успею, только зачем? Дед у меня без всякой грамоты сумел столько Георгиевских крестов заработать, что

их вешать некуда было — на рубахе места свободного не оставалось.

Дед сотника был известным среди забайкальцев рубакой — ловкий наездник, меткий стрелок, шашкой владел, как фокусник, никто не мог сравниться с ним в этом деле. Однажды он ускакал в монгольскую степь и исчез, соратники по караулу уже похоронили его, когда он объявился в селении. Объявился не один — следом, ловко сидя на гнедом породистом коне, ехала тоненькая, с розовиной на смуглом красивом лице и глазами, похожими на драгоценные камни, юная монголка.

— Познакомьтесь, — сказал он и поклонился односельчанам, монголка тоже поклонилась. — Это — моя жена. Среди монголов известна тем, что она — единственная женщина, которых в дацане¹⁹ дают «Джаммпаду» — книгу истин.

Монголка снова поклонилась казакам.

Позднее казаки Дурулгеевской станицы с удивлением узнали, что она принадлежит к царскому роду, прямым предком ее является сам Чингисхан. Дед, которого и без того уважали в забайкальских степях, стал уважаем еще больше — надо же, монгольскую царичку охотутал.

Семенов выделил немецким офицерам двух конвоиров и одну верховую лошадь — офицеры сели на нее друг за дружкой, недоуменно закрутили головами, словно соображая, как они выглядят со стороны, смешно или не смешно, — и отправил в тыл, в штаб бригады. Конвоирам наказал:

— Двигаться старайтесь рошицами, низинами, в окрестностях Журамина будьте осторожнее. К ночи я жду вас обротно. У меня каждый клинок на счету. Понятно, служивые?

— Так точно! — бодро гаркнули те.

Вернулись они, как принято говорить, «в самый аккурат», когда немецкий эскадрон вместе с пустыми подводами выступил из Журамина в Руду.

Семенов довольно потер руки — этого момента он ждал весь нынешний день. Оглядел станичников.

— Ну что, однополчане, покажем немакам, как раки на горе умеют свистеть?

— Как будем действовать, ваше благородие? — не замедлил задать вопрос Белов.

Вот шустряк. Всегда норовит быть шустрее паровоза — бежит перед ним по чугунной колее, попукивает, хриплым гудком пространство оглашает. Тьфу!

— Внезапно, — ответил сотник. — По моей команде. А по-

ка — рассредоточиться по дворам. Чтобы не видно нас было и не слышно.

Немцы возвращались в Руду расслабленные — операция удалась, два батальона несчастных ландштурмистов, воюющих от голода в Жураmine, накормлены и напоены, казаков не видно — похоже, они ушли, — повод быть собой довольными у немцев был.

Всадники потирали руки — наконец-то они доберутся до тепла, напьются горячего чая с грогом, поедят свиных сарделек с тушеной капустой — повар, наверное, уже все жданки прождал, выглядывая из-за трубы полевой кухни, ждет их, не дождетя... Едва немцы вошли в село, как из-за заборов раздался громкий лешачий гогот, следом — резкий свист, от которого у немецких кавалеристов побежали по коже мурашки.

— Казакен! — не выдержал кто-то из них, закричал громко, разворачивая коня.

Эскадрон, державший строй, смешался в несколько мгновений и превратился в обычную кучу малу, всадники сбились, некоторые из них, перемахнув через забор, поскакали в чистое поле, кто-то вытянул саблю из ножен, собираясь рубиться, но в ближнем бою, клинок на клинок, немцы уступали казакам, были слабы. Слишком внезапным оказался для немцев леденящий душу гогот, возникший словно из-под земли, из чертенячьей глубины, а следом из этой глубины выскочили и сами казаки — яростные, жестокие, лохматые, с пропеченными до темноты восточными лицами. От свиста и улюлюканья казаков с деревьев даже снег посыпался.

Несколько немцев сдались сидя прямо в седлах, подняв руки, — казаки подтирали с них перевязи с саблями, ремни с револьверами, карабины, — остальные ринулись в поле, назад к Журамину, под прикрытие винтовок ландштурма — только белая холодная пыль взвилась высоким столбом. Что-то, а по части драпанья немцы имели опыт, и кони их держали хороший ход. Забайкальцам на своих низкорослых лошаденках догнать их было трудно.

Немецкий эскадрон был полновесный, пятьдесят сабель, у Семенова же было всего двадцать клинков. Взял сотник не числом, а умением.

Прискакавшие в Журамин конники внесли смятение в ряды ландштурма — накормленные до отвала и напоенные до ноздрей старички подняли ор — надо немедленно идти на соединение со своими, в Жураmine они погибнут все, до единого человека.

Ландштурм начал поспешное отступление из Журамина. А Семенову это только и надо было — в Жураmine ландштурмисты хоть плетнями были защищены да заборами, а в чистом поле оказались бы голенькими, как на ладони. Казаки Семенова ударили по ним залпом из винтовок, потом дали еще залп. Старички вылетали из фур, будто голуби, только ноги в укороченных теплых сапогах взметывались вверх да поле оглашалось жалобными стонами.

Добыча, которую взял сотник Семенов, была богатая: «около ста пленных и обоз в двадцать телег».

«За это дело я был произведен в следующий чин, за отличие», — написал он четверть века спустя в биографической книге «О себе».

Спокойная жизнь длилась недолго.

Начались затяжные бои, а с ними — полоса неудач. Приказом генерала Крымова два казачьих полка — Первый Нерчинский и Уссурийский — были пересажены с лошадей на «свои двои», попросту говоря, спешены. Спешенным полкам было велено готовиться к форсированию реки Дресвятицы.

У реки этой оказались сосредоточены ни много ни мало тридцать кавалерийских дивизий, и две дивизии пехотные; кулак сколотился такой, что если он ударит по немцам как следует, по-русски, то разом прорубит дыру сквозь всю Европу, прямо до самого Берлина; во главе кулака был поставлен генерал Орановский — человек, как впоследствии оказалось, вялый и пустой. Максимум, что он умел делать — сохранять сапоги зеркально начищенными в самую лютую грязь да трубно сморкаться в надушенный батистовый платок.

По коню своему, уведенному в тылы дивизии, Семенов чувствовал здорово — словно по близкому другу, пришедшему с ним в эти края с родного кордона, — в нем рождалось ощущение потери, чего-то печального, даже скорбного, как будто не стало человека, которому он доверял. Вроде бы только что вместе шли в атаку, вдруг пуля — вжик! — и Семенов остался один.

Река Дресвятица была коварной. Узкая, глубокая, с ямами, из которых на отмели выползали полторапудовые сомы, норовившие тяпнуть за ногу какого-нибудь зазевавшегося солдатика, она имела очень топкие, сочащиеся черной сукровицей берега. Лишний раз на такой берег не ступишь — увязнешь по пояс.

Приказ форсировать Дресвятицу пришел ночью, а ранним утром, когда немного развиднелось и можно было хотя бы

чуть-чуть различить соседа, находящегося в строю, Первый Нерчинский полк выдвинулся к реке.

На конях была оставлена только одна сотня под командой Жуковского — человека храброго и одновременно рассудительного. Обгоняя пеших казаков, эта сотня ушла вперед. Через несколько минут она разобрала стоявший в излучине реки небольшой темный сарайчик, где хозяйева коптили рыбу, из его досок соорудила несколько плотиков. Раскатанные, выдернутые из пазов бревна казаки также аккуратно связали, пустив на это целую бухту найденного в загашнике у рачительного хозяина сизальского²⁰ каната.

Вскоре на немецкой стороне послышались выстрелы, крики, перекрытые громким «ура», затем — запоздалый пулеметный стук, который был тут же задавлен.

— Аллес — капут!²¹ — пояснил Семенов своим казакам, выбравшись на противоположный берег Дресвятицы и отряхиваясь. — Жуковский оттеснил немаков на вторую линию. Молодец сотник!

Воздух разрезал шелестящий звук, словно кто-то невидимый, громадный располосовал ножницами небесный полог — странный, вышибающий мурашки на коже шелест оборвался, и в воду шлепнулся тяжелый снаряд. Вода разом вскипела, вверх взметнулось сеево черных брызг, на берег накатилась высокая волна, ухватила Семенова за сапоги и попыталась стащить назад в реку. Семенов напрягся, просипел протестующе:

— Дрысь, дур-ра!

Он так и не понял, с чьей стороны пришел снаряд, с нашей или с немецкой, выругался матом. Волна отпустила его — щупальца оборвались, отползла малость назад, но с реки на смену ей уже накатывала вторая волна, больше первой, грязная, с лохматым гребнем, который украшала сечка из изрубленных осколками водорослей. Свертывающаяся в рулон вода гудела устрашающе, будто паровоз, сорвавшийся с колодок; Семенов заторопился, выдернул из засасывающего обжима земли одну ногу, поморщился от неприятного чавкающего звука, напрягся, вытаскивая вторую ногу, почувствовал, что она вместе с портянкой вылезает из сапога. Сотник засипел, лицо его сделалось красным, казаки и слева и справа уже вынеслись на берег и, держа наперевес карабины, унеслись в серый, страшновато шевелящийся, будто он был живой, туман. Когда вал находился уже совсем близко, Семенов успел схватиться одной рукой за ивовый куст, сползаю-

щий с берега в воду, в другой руке продолжал держать карабин, в следующий миг вал накрыл сотника с головой.

Семенов вытаял из отползшего назад вала, отилкунулся с руганью, вылил из ствола карабина воду — в такие передраги, когда он чувствовал себя совершенно беспомощно, будто калекка, не попадал с поры детства. Одно было хорошо — застрявший сапог словно сам по себе зашевелился, и Семенов смог выдернуть его из ила. В следующую минуту он вымахнул на берег, перепрыгнул через свежую, еще дымящуюся воронку — след немецкой гранаты, — около которой лежал незнакомый казак-уссуриец. Надо было бы проверить — вдрут он живой, и если живой, оказать ему помощь, но слишком уж нескладно казак сложился, и эта нескладность, по которой позу мертвого человека всегда можно отличить от позы живого, говорила, что он мертв, к тому же и время не ждало, поджимало — за эти минуты его сотня могла оказаться уже бог знает где, и сотник, не останавливаясь, понесся дальше.

— Ур-ра-а-а-а! — послышался многоголосый крик впереди. Где-то далеко-далеко...

Но это только казалось, что крик звучит далеко впереди, пространство сильно скрадывал туман, он съедал, уводил звук в сторону. Кричавшие казаки находились всего в двадцати метрах от Семенова, не больше; сотник дернулся, отзываясь на этот крик, выбил из горла застрявшую пробку и прохрипел, вздувая на шее темные жилы:

— Ур-ра-а-а!

Прокричал вроде бы громко, но даже сам себя не услышал, Семенов словно оглох, ему показалось, что на огромном пространстве он остался совершенно один, надо бы остановиться, оглядеться, но он не остановился, а, разбрызгивая черную речную морось, понесся дальше.

Несколько минут он бежал один и вдруг почувствовал: впереди кто-то есть. То ли человек, то ли конь, то ли собака — не понять, но кто-то есть... Семенов метнулся в сторону, отметил про себя, что по нему сейчас очень удобно стрелять, затем сделал резкий бросок в противоположную сторону и через несколько секунд столкнулся с огромным, будто гора, огненно-рыжим немцем.

Увидев перед собой невысокого, чернявого, похожего на монгола человека, немец неожиданно обрадованно засмеялся и поманил Семенова:

— Ити сюта!

Голос у него был трубный, слова получались крупные, округлые, будто отлитые из свинца. Немец снова поманил Семенова — не сомневаясь, что раздавит этого неказистого чөлөвөчүшкү буквально одним пальцем:

— Ити сюта!

В правой руке немец держал винтовку с плоским блестящим штыком. «Таким штыком хорошо черствый хлеб резать — идет как по маслу», — мелькнула в голове Семенова тусклая, совершенно ненужная мысль. В руке немца винтовка выглядела игрушечной, как детское деревянное ружье.

— Ну, Ифан, — вновь позвал его немец, довольный своими познаниями в русском языке.

— Айн момент, — ответил ему Семенов, тоже довольный тем, что малость знает немецкий.

Впрочем, на этом их познания в языках кончились. Слева, в тумане, прозвучала короткая пулеметная очередь, в следующий миг оборвалась. Кто-то закричал. Немец это кричал или русский — не понять. Рыжий гигант невольно покосился в ту сторону и дружелюбно улыбнулся Семенову.

«Он что, рассчитывает взять меня в плен? Живым? — удивленно подумал Семенов. — На самом деле?»

Рыжеватые, навозного цвета глаза немца напряглись, сделались маленькими, жесткими, он перехватил винтовку поудобнее и как держал одной рукой, так и ткнул в Семенова, рассчитывая, что штык войдет тому в живот.

Слишком большая масса была у немца, слишком отяжелевшие мышцы, такие мышцы только замедляли мощный удар, а тут ни сила удара, ни масса не играли особой роли. Семенов легко, будто стебель на ветру, качнулся в сторону, отбил чужую винтовку стволом своего карабина, и немец, увлекаемый собственным весом, протащился по пространству вперед, крикнул удивленно, сотник же, увидев недалеко от себя мясистый затылок, поросший ярким красным волосом, не долго думая, хрястнул по затылку прикладом карабина.

Немец крикнул еще раз и, выпустив из рук винтовку, ткнулся костяшками пальцев в землю. Одного удара для такого гиганта мало, это Семенов понял сразу — рыжий очухается через несколько секунд, и тогда земля задрожит от его ярости, поэтому Семенов ударил немца еще раз, уже сильнее, с оттяжкой, прицельно, в угловатую костяшку, выпирающую из-под рыжей шерсти.

Гигант вновь задуманно крикнул, засипел, словно его проткнули гвоздем и в дырку стал вытекать воздух, мотнул

головой — он не желал отключаться, боль его не брала, — и Семенов, почувствовав, что дело для него может окончиться плохо, снова гвозданул рыжего прикладом.

На этот раз немец лег. Семенов ногой отпихнул винтовку с блестящим плоским штыком подальше от хозяина, ножом срезал у него со штанов тоненький брючный ремень и перевязал немцу руки:

— Отдыхай!

Пока он успокаивал шумного гиганта, пространство вокруг наполнилось звуками: стрельбой, вскриками, матом, воем, стонами, плачем, аханьем — эти звуки обычно сопутствуют всякому бою. Недалеко рванула граната, взбила фонтан грязи, серый тяжелый туман кольхнулся, издал гнилой треск, но не разодрался, понять, где кто находится, было невозможно. Неожиданно слева, там, где туман был особенно густой, сбился в плотный клубок, послышался отборный мат. На душе от такого мата в бою разом делается легче. Семенов устремился на мат.

Успел он вовремя — проскочил через плотный туманный взболток, будто сквозь комок ваты, и очутился на мокром горбате пятачке, где Луков сцепился сразу с тремя немцами. Они прижали казака к старой глубокой яме, из которой торчала высокая, с толстыми окостеневшими стеблями полынь — будто волос из гигантского уха, — теперь немцы старались опрокинуть Лукова в нее. Луков отбивался. Лицо у него было в крови, щеку перечеркнул порез — то ли касательный след от штыка, то ли след ножа, кровь залила один погон, а второй погон соскочил с отодранной лямки и болтался на пуговице.

— Держись, Луков! — прохрипел сотник и навскидку, не целясь, выстрелил из карабина в немца.

Пуля попала тому в голову — расколола нарядную каску, будто старую кастрюлю, и вломилась в череп. Велика была, видно, сила пули — глаза у немца вздулись двумя шарами и вылезли из орбит, один глаз лопнул и протек кровянистым студнем на мундир. Семенова, который засекал все детали и мелочи, едва не вырвало. Немец выронил винтовку и, ничего не видя, сделал на подгибающихся ногах шаг вперед, к Лукову, тот посторонился, и немец рухнул в яму, в полынь, куда только что старался загнать казака.

Передернуть затвор карабина Семенов не успел, на сотника прыгнул чернявый, с орлиным носом и немигающими светлыми глазами унтер, поспешно ткнул в казака штыком, но тот, уклоняясь от разящего удара, резко ушел в сторону,

развернулся на согнутых ногах и, увидев, что у немца остался неприкрытым бок, с силой всадил в этот бок ствол карабина. Ну будто бы штыком ударил. Немец выпрямился, глянул на сотника изумленно, не веря в свою смерть, сцепил крупные белые зубы. Глаза его посветлели от боли.

— Найн, — выдавил он сквозь сцеп челюстей сплюснутое слово, повторил его и просел.

Он умер быстро — Семенов отбил ему что-то важное внутри, может быть попав в само сердце, — завалился на спину, в посветлевших, ставших совсем белыми глазах его застыло неверие. Он так и не понял, что его жизнь на этом кончилась...

Редкий солдат на фронте не думает о том, что он может быть убит, все понимают, что уязвимы, ходят под Богом, а этот человек, кажется, не допускал и мысли о краткости своего брэнного существования, был нацелен на жизнь, но смерть внесла свою безжалостную поправку.

Тем временем Луков доколачивал прикладом третьего немца.

— Так их, Луков, так! Гр-робокопатели! Вздумали русско-го мужика в землю вогнать... На-кось!

Стрельба стала слышаться реже. Из первой линии окопов немцев выгнали конники сотника Жуковского, из второй — все вместе, навалившись скопом.

Неподалеку от Дресвятицы находилось серьезное укрепление — кирпичный фольварк²², обнесенный прочной стеной. Семенов, изучая карту, несколько раз останавливал на нем свой взгляд, прикидывал, как к нему подступиться, но брат его семеновской сотне не пришлось — фольварк Столповчина взяли уссурийцы. Взяли с лету, на одном дыхании. Немцы бежали из фольварка так поспешно, что даже оставили висеть на веревке недавно выстиранные подштанники и одеяла.

В конюшне фольварка остались стоять несколько лошадей — сытых задастых битюгов с обрезанными хвостами.

Дальше казаки не пошли, надо было подождать пехоту — без ее поддержки, без орудий можно было угодить в беду.

Пехота должна была вот-вот подойти.

Туман начал неспешно разваливаться, раздвигаться, тяжелые ватные охапки нехотя зашевелились, поползли вдоль гонку за немцами, словно собирались сделать невидимыми, откуда-то сбоку, из раздвигающихся косм пролился печальный лиловый свет. Вскоре в прореху между туманными лохмами протиснулось солнце, замигало весело, словно собира-

лось спросить: чем это вы здесь, люди, занимаетесь? Не слишком ли вы жестоки по отношению друг к другу?

На широком поле, примыкающем к реке, лежали убитые — в основном немцы, русских было меньше.

Семенов отыскал Лукова:

— Живой?

Луков сплюнул в кулак кровь, вытер ладонь о темную прелую траву. Семенов думал, что Луков, по обыкновению, отмолчится, но тот ответил:

— Живой.

— Пойдем со мною, пока наступать не начали. Я тут немца одного малость придавил — не меньше артиллерийского одера²³ будет.

— Крупнозадый, значит, дядя...

— Сотри кровь со щеки, пока не засохла, и пошли искать этого лошака — рыжий, как лубочная картинка, — его за километр можно опознать.

Немца они не нашли — то ли Семенов неверно сориентировался — в тумане ведь ничего не было видно, глазу не за что зацепиться, а когда пространство очистилось, то и земля стала другой, не узнать ее, а может, немец перегрыз зубами брючной ремень и уполз.

— Тьфу! — с досадой отплюнулся Семенов. — Ведь я его здесь уложил, здесь, — он топнул ногой по земле, — вон та воронка, вон, совсем рядом, я ее засек как ориентир... Но немца нету. Тьфу!

— Ваше благородие, но воронок таких на этом поле не менее двухсот будет, — не выдержал Луков.

После боя Луков преобразился, раньше он очень часто молчал, как Никифоров, а тут сделался говорливым, будто нижегородский рабочий на маевке.

Сотник еще раз оглядел поле. Туман уполз окончательно, неряшливые клочья его висели лишь над рекой, тихоплыли, прилепившись к воде, вниз по течению, земля очистилась.

— Немец, гад, уполз! — с досадою проговорил Семенов. — Очухался и уполз. Череп у него из чугуна отлит. Я раза три грюнул его прикладом — и хоть бы хны! Уполз!

— Бывает, ваше благородие, — сочувственно проговорил Луков.

— Ладно, пошли к своим. По-моему, шевеление началось — пехота подходит.

Но пехота не подошла. Разгоряченные, готовые совершить новый бросок на немцев, казаки ругались:

— Во черви дождевые! Небось ждут, когда Дресвятица обмелеет, чтобы пешком, по дну, не замочив ног, переползти на тот берег.

Командир полка Кузнецов пробовал связаться со штабом генерала Орановского — послал туда вначале одного казака с донесением, потом другого, но ни ответа, ни казаков не было, словно посыльные до штаба не дошли. А главное — не было пехоты, которую так ждали.

— Как все-таки преступно мы упускаем дорогое время! — не выдержал Кузнецов, хлопнул плеткой по голенищу сапога. Звук получился сочный и громкий, как выстрел. — За такие затяжки виновных надо отдавать под военно-полевой суд... — Он вновь хлопыстнул плеткой по сапогу. — Немцы сейчас очухаются, соберутся в кулак и полезут на нас.

К вечеру пехота также не подошла. Казаки ночевали на плацдарме, в немецких окопах, — лучше всех устроились устурийцы, занявшие фольварк, — ругали генерала Орановского, называли его Бараном Барановским и были, между прочим, правы...

Теплилась надежда — пехота подойдет ночью, переправится через Дресвятицу, прикрывшись темнотой, и подопрет крепким плечом казаков, но не тут-то было: пехота не подошла. Казаки, посланные с донесениями в штаб Орановского, слава богу, вернулись, но пустые, ни с чем — в штабе им даже никакого ответа на донесения не дали, ни письменного, ни устного.

— Ну слово-то хоть какое-нибудь сказали? — допытывался у казаков полковник Кузнецов.

— Никакого. Просто какой-то капитан сделал рукой «але гоп» и отправил нас назад.

— И все?

— Все, ваше высокоблагородие.

— Ничего не могу понять, — злился Кузнецов. — Это что? Предательство, недомыслие, трусость? Кто ответит, что это?

Не было храброму полковнику Кузнецову ответа. Казаки оказались заложниками непонятной штабной игры.

Пехота ночью не пришла, не появилась она и утром. Казаки поняли, что на этом страшном плацдарме остались одни.

За ночь немцы подтянули силы, собрали их в хорошо управляемый кулак и утром пятого сентября ударили по казакам, сидевшим в окопах второй линии. Те никогда не были мастерами «сидячей» позиционной войны, любили внезапный налет, атаку лавой, партизанские рейды, войну же из-за брствера никогда не признавали — не их это было дело.

Немцы начали молотить снарядами по прежним своим укреплениям, которые они хорошо знали; тяжелые чушки с грохотом всаживались во влажную землю. Немецкая артиллерия работала больше часа. Казаки, забрызганные грязью с головы до ног, только кричали:

— Совсем озверел родственничек нашего любимого государя! Ни стыда, ни совести нет — лупит и лупит!

А чего, собственно, кайзеру было не лупить? Мертвое железо для него было дороже живых людей, это в России все было наоборот...

С главного здания фольварка тяжелый снаряд снес крышу и швырнул на землю за оградой. Крыша крякнула, перерубаясь пополам. С плачем взметывалась к небесам земля, вместе с грязными пластами вверх взлетали окровавленные охапки травы, куски человеческого мяса, оторванные конечности, головы. Едкий селитряный запах заполнил пространство, он вышибал у людей слезы, выедал ноздри, сдирал кожу с губ... Бывшие немецкие окопы были превращены в ад.

После артподготовки немцы пошли в атаку.

Пока оставшиеся в живых казаки протирали засыпанные землей глаза, выковыривали ее из ноздрей, изо ртов, немцы подошли совсем близко. Они передвигались короткими перебежками — падали, поднимались, бросались вперед и вновь падали — боялись казачьего огня. А казаки молчали — еще не очухались от артиллерийской обработки — и пришли в себя, когда немцы находились в пятидесяти метрах от окопов.

— Где пехота? — прокричал кто-то надорванно, с тоской и неверием в то, что видел.

Пехоты не было — генерал Орановский, разработавший эту операцию, обманул казаков, это было даже больше, чем обман — он предал их.

Семенов, тряся гудящей от разрывов головой, поймал на мушку карабина немца, что-то жующего на ходу. Немец шел неспешно, вразвалку, как на прогулке, видно, считал, что от казаков после артиллерийской обработки остались лохмотья, рожки да ножки. Сотник сощурился, смаргивая слезу, и нажал на спусковой крючок.

Выстрел Семенов не услышал — уши были забиты грохотом и звоном, увидел только, что немец перестал жевать и остановился, резко вскинув голову, будто хотел этим движением поправить каску, съехавшую на нос, глянул в одну сторону, потом в другую и повалился на землю.

— Один пишем, шесть в уме, — пробормотал Семенов хрипло, подхватил на мушку второго немца, суетливого, кадыкастого, в большой, похожей на семейный казан каске, из ее притеми поблескивали два светлых рысьих глаза.

Этот немец был полной противоположностью первому — он боялся казаков, стрельбы, пуль, что могут быть выпущены из окопа, где сидели русские, делал мелкие броски то в одну сторону, то в другую, то неожиданно пригибался и едва ли не животом ложился на землю...

— Во глист! — произнес Семенов с удивлением. — Нервный слишком! — Повел стволом карабина за «глистом» влево, потом вправо и выстрелил.

«Глист» взвился в воздух едва ли не на метр, выронил винтовку, заверещал и легким колом покатился по земле.

— Два пишем, пять в уме, — пробормотал Семенов. Ни выстрела, ни голоса своего он по-прежнему не слышал — уши были словно землей забиты.

Вокруг поднялась стрельба, выстрелы звучали вразнобой, беспорядочно — и хорошо, что хоть звучали, поскольку организовать залповый огонь было уже невозможно — казаки очнулись и теперь, тряся чубатыми головами, передергивали затворы винтовок и карабинов.

Сотник взял на мушку следующего немца — тяжелого, согнувшегося под плотно набитым ранцем, высовывающимся из-за спины, и широким, раздвоенным посередине подбородком. Немец этот на ходу вскидывал винтовку и стрелял по окопу, на который шел, почти непрерывно — будто гвозди вколачивал.

— Дурак! — просипел Семенов, чуть приподнял мушку и мягко надавил на спусковой крючок.

Винтовка отлетела от немца метров на пять — семеновская пуля попала в приклад, взбила сноп искр и, отрикошетив, угодила немцу в низ подбородка. Нырнула под челюсть, вошла в мякоть, будто в кашу.

— Три пишем, четыре в уме, — отметил Семенов, потряс головой.

Сотник еще никак не мог отойти от оглушения, от противной слабости, пробившей дрожью все его тело, застывшей глаза белесой, схожей с туманом пленкой. Он стер пленку с глаз, увидел совсем недалеко от себя проворного, как блоха, унтера с нашивками на рукаве, торопясь, выстрелил, промахнулся и, выругавшись зло, хрипло, прицелился тщательно, совсем не беспокоясь о том, что унтер уже почти навис над

ним — вот-вот и он пырнет Семенова своим штыком... Либо опередит своим выстрелом.

Унтер, не спуская глаз с Семенова, качнулся влево, потом вправо, затем снова влево, неожиданно опустился на колени и, стремительно вскинув винтовку, выстрелил в сотника.

Семенов точно уловил момент — угадал, нутром поймал миг, когда унтер надавил пальцем на спусковую собачку своей тяжелой винтовки, — сделал это вовремя; если сотник запоздал хотя бы на малую долю, на мгновение, пуля снесла бы ему верх черепашки, а так она лишь скользнула по верку фуражки, выжгла клоч материи и всадила в дымящуюся кучу земли, поднятую снарядом в трех метрах от задней стенки окопа.

Унтер промахнулся, а Семенов нет, он всадил пулю немцу точно между бровями. Винтовка унтера хлопнулась в грязь, подняв целый сноп черных брызг, а его самого отбросило назад.

— Четыре пишем, три в уме, — прохрипел Семенов, прочистив горло.

До окопов оставалось пройти совсем немного, и немцы одолели бы эти три десятка метров, если бы не меткая, очень хладнокровная стрельба казаков. Они хоть и были оглушены и ослеплены артиллерийским налетом, хоть и потеряли многих своих товарищей, а смогли прицельной стрельбой разредить цепь наступающих ровно наполовину.

Атака захлебнулась, немцы проворно, валом, покатались назад, Семенов же сумел снять еще одного германца — гривастого, бородатого, с просторным мешком за плечами, в котором запросто мог поместиться человек — он убежал, делая огромные длинные прыжки, останавливался, оборачивался в сторону казаков и, зло кривя красное потное лицо, стрелял из винтовки и снова пластал пространство гигантскими прыжками.

В одну из таких остановок Семенов и поймал его на мушку.

— Пять пишем — два в уме.

Сотник как задачу себе поставил: срубить семь вражеских голов. Число семь возникло спонтанно, вроде бы из ничего, и походило на некий родительский наказ... Семь так семь. Он прислонился спиной к грязной стенке окопа, отдышался.

Немцев уже не было видно.

«Сейчас начнется. То, что немаков не видно — ничего не значит», — подумал Семенов с зажатой внутри тоской, оглядел своих: все ли целы?

Неподалеку от него, подложив под себя заляпаный грязью снарядный ящик, сидел, подергивая головой, Никифоров,

выковыривал что-то из уха и снова тряс головой. За ним виднелся Луков, тоже живой, не покалеченный, с бледным худым лицом. Семенов откашлялся.

— Мужики, сейчас немаки снова начнут нас снарядами обрабатывать, — предупредил он. — Будьте готовы.

Казаки в его сторону даже не повернулись — сил не было. Липь Никифоров подергал плечом и пробасил незнакомым, совершенно чужим голосом:

— Знаем, ваше благородие!

Сотник приподнялся над бруствером, выглянул. Неровное, изрытое воронками поле было усеяно трупами. Немцев валялось не менее пятидесяти, почти все с ранцами — полевым припасом, который всегда находился у них с собою. «Раз есть ранцы — значит есть жратва, — отметил про себя сотник, — казаки голодными не останутся».

Над полем, на малой высоте, будто птицы какие, тянулись хлопья дыма. Это горел фольварк Столповчина. Пахло прелю, гнилью, гарью — на этом поле присутствовали все запахи, все, кроме запаха жизни, и осознание этого рождало желание сделать маленьким, совсем маленьким, забраться в землю и раствориться в ней.

Через десять минут в воздухе послышалось бултыханье; казалось, по небу летел чемодан, набитый тяжелыми пожитками и раскрывшийся на ходу, пожитки должны были выпасть из него, но не выпали, громыхали внутри, крышка должна была отвалиться, но не отвалилась — летел «чемодан», трепыхался в воздухе, издавал неприятный, вызывающий зуд на коже звук — промахнул через поле, через реку и на той стороне, за водой, вдали от берега, всадили в землю, завалив несколько деревьев и порубив кусты. Вода в Дресвянице приподнялась от взрыва, очутилась в воздухе.

Перелет.

За первым «чемоданом» приехал второй, азартно повизгивающий в полете, раскаленный — воздух разрезал оранжевый, окруженный искорьем болид, лег в землю в трех метрах от кромки воды.

Снова перелет.

Третий снаряд шел беззвучно. Он летел, он ощущался, но звука его не было слышно. В окопе сразу сделалось нечем дышать. Это был один из тех самых опасных снарядов — беззвучных, что обязательно накрывают человека.

— Хы-ы... хы-ы... — донесся до Семенова странный звук. Кто-то из казаков давился воздухом, пробовал протолкнуть

его в себя, но никак это не получалось — он не мог продышаться. — Хы-ы-ы...

Сотник представил, как трудно этому казаку, схватился рукой за горло. Выкрикнул:

— Помогите же ему!

— Хы-ы! — Казак, которого кто-то ударил кулаком по хребту, в последний раз вздохнул, пробивая твердый воздушный комок.

Перед линией окопов плотным темным столбом поднялась земля, закрыла небо, превращая день в ночь, края окопа сдвинулись, сплюсывая казаков, вбирая в себя их тела. Послышались задавленные крики.

Горячий вонючий воздух промахнул над головой сотника, больно обварил его, Семенов замычал немо, пытаясь присесть на корточки, спрятаться, но сдвинувшиеся стенки окопа не дали ему опуститься, и сотник так же, как и казаки, находящиеся рядом, закричал. По голове его ударил крупный комок земли, как страшная черная курица, свалился на погон, следом ударил еще один комок, поменьше.

Семенову показалось, что это конец, но нет — конец отодвинулся, над макушкой скрипуче пропели осколки, и сделалось тихо.

Уши словно забило ватой. Несколько секунд ни один звук не доходил до сотника, потом чуть отпустило, и до него из далекого далека донесся крик:

— Слюдянкина убило!

«Слюдянкин, Слюдянкин... — тотчас забились молоточки в тупом, но не угасшем — все-таки не угасшем — мозгу. — Кто этот неведомый Слюдянкин?» В сердце воткнулось что-то острое, заусенчатое, будто пристрелял целый ворох верблюжьих колючек, Семенов напрягся, но в следующую секунду облегченно обмяк — ни в его сотне, ни в соседней казака по фамилии Слюдянкин не было. Значит, чужой, из полка уссурийцев.

Впрочем, на войне чужих быть не должно, чужими могут быть только враги. Слюдянкин — это тоже свой.

«Слюдянкин, Слюдянкин... Интересно, видел ли я когда-нибудь его?»

Сомкнувшись друг с другом стенки окопов медленно расплзлись, комок верблюжьих колючек, прилепившийся к сердцу, будто к порткам, отцепился, сделалось легче дышать. Семенов сбросил с плеча комок земли, сдернул с головы испачканную фуражку, отряхнул ее двумя ударами о руку.

Глаза слезились, ноздри разъедала кислая пироксилиновая вонь, кажется, сердце сидело где-то в глотке, готовое выскочить наружу, но в следующий миг оно нырнуло вниз, хотя полет очередного «чемодана» даже еще не был слышен, сердце уже чувствовало его. Семенов ощутил, вжался спиной в стенку окопа, ногами, ступнями уперся в стенку противоположную, напрягся.

На этот раз «чемодан» всадились в землю еще ближе — гудящая огненная простынь накрыла окоп целиком, выжгла редкие былки травы и унеслась к реке. Людей, сидевших в окопе, подбросило вверх, потом с силой загнало обратно. Земля, взметнувшись к небу вместе с раскаленными осколками, также понеслась обратно, на головы казаков, засыпая окопы, заваливая тех, кто в них находился.

— Э-э-э-э! — рассек сердце протяжный крик и умолк — жил родимец на белом свете, исполнял свой ратный долг, и не стало его.

Немецкие «чемоданы» падали один за другим. Когда прекращалась артиллерийская обработка, появлялась плотная цепь немецких солдат — цветная, разношинельная, состоявшая из егерей, пехотинцев и спешенных кавалеристов.

К вечеру из двадцати восьми офицеров Первого Нерчинского полка, где служил Семенов, в живых осталось только девять. Погиб и командир полка Кузнецов. У соседей уссурийцев, которые форсировали Дресвятицу вместе с забайкальцами, также погиб командир — полковник Куммант.

Пехота, которая должна была поддержать казаков, подпереть наступление, так и не подошла, с той стороны Дресвятицы не переправился ни один человек.

Фольварк Столповчина сгорел дотла, лишь в небо сиротливыми жерлами глядели высокие трубы трех печей да еще лезла, мозолила взгляд черная решетка одной из крыш, с которой ручьем стекла на землю потрескавшаяся черепица; лес, росший неподалеку, был изуродован — ни одного целого дерева.

И все время откуда-то тянуло вонючим, вышибающим слезы дымом.

Безрадостная картина окружала казаков. Ночью оставшиеся в живых стали подтягиваться к Дресвятице — надо было, пока всех не перебили, уходить к своим.

Кого из казаков можно было похоронить — похоронили прямо в большом длинном окопе, засыпав его землей и во-

гнав в длинный извивистый холмик несколько деревянных табличек с фамилиями убитых, среди которых — Семенов обратил внимание — была и неволью врезавшаяся в мозг фамилия Слюдянкин; у тех, кого не сумели похоронить, попросили прощения; тела убитых полковников — Кузнецова и Кумманта — унесли с собой, на поспешно сколоченном плотике доставили на другой берег.

Переправа происходила в полной тиши, в непроглядной черноте ночи: казаки ночных атак немцев не опасались — они темноты боялись больше казаков, — поэтому переправились на свой берег без потерь.

Уже стоя на своем берегу, мокрый, усталый, злой, Семенов попытался разглядеть в ночном мраке противоположный берег — и ничего там не увидел. Клубилось, пытался взнять к небесам, что-то черное, плотное, неслышно встряхивало землю, но никого и ничего не было видно, словно некий мор навалился на тот берег Дресвятицы. В двух метрах от ног плыла черная холодная вода, уползала куда-то вдаль, растворялась в пространстве, и вместе с ней уползали души погибших на этом несчастливом плацдарме людей — забайкальских и уссурийских казаков. Если бы генерал Орановский кинул бы на плацдарм хотя бы один пехотный полк — казаки смогли потеснить немцев километров на пятьдесят, не меньше, сидели бы сейчас в каком-нибудь замке, дули бы из бочек старое вино... Но нет, не получилось.

Предали казаков. Свои своих же и предали.

Днем, когда догоняли полк — конная армия, оказывает-ся, начала отступать к Цеханову, — на опушке сиротского, с облетевшей листвой леска увидели пехотинцев. При виде их Луков, обычно спокойный, погруженный в себя, не выдержал, в нем словно что-то лопнуло, сорвало сдерживающие клапаны, и он, громко втянув в себя воздух, выдернул шашку из ножен и кинулся на пехотинцев.

— С-суки! — закричал он. — Предатели! Вы нас предали! Предали!

Лицо у Лукова задергалось, поползло в сторону, глаза налились кровью.

— Нельзя, Луков! — наперерез взбесившемуся казаку кинулся Белов, вцепился в руку, сжимающую шашку, попробовал вывернуть ее, но Луков был мужиком дюжим, и тогда Белов ударил его кулаком, будто молотом, по голове — у Лукова только зубы лягнули.

— С-суки! — продолжал реветь Луков.

— Они-то тут при чем? Это генералов надо долбать, Луков, а не пехтуру. Окопались у нас в штабах немцы, что хотят, то и делают... Разные Ранненкампы, Орановские и прочие... Гадят нам, гадят, гадят... А пехтура тут ни при чем!

Луков ничего не слышал, продолжал бупшевать, спасибо, на помощь Белову подоспел Никифоров, вдвоем они посадили его на землю и отняли шашку. Липившись шашки, Луков словно враз сломался, опустил голову, плечи у него затряслись. Из его горла выпросталось, смолкло, возникло вновь тоненькое задвленное сипение — страшное, незнакомое, которого мужчина должен был бы стыдиться, но Луков не стыдился.

Потянулись фронтовые будни, похожие друг на друга. Семенов занялся тем, что хорошо умел делать, — носился с казачьими разездами по немецким тылам и сеял там страх.

Под началом генерала Крымова на Северном фронте находилось две дивизии — Уссурийская конная, куда входили и забайкальцы, и Четвертая Донская казачья. Идея более крупных рейдов по вражеским тылам витала в воздухе давно, увлекала и казаков и штабистов. Увлекся ею и генерал.

Вскоре на его счету было уже пять глубоких рейдов. Ужас при виде казаков охватывал немцев, докатывался до самого Берлина. Короткое слово «казакен» жестким ветром несло по хуторам и небольшим, очень уютным германским городкам, заставляло бюргеров прятаться в подвалы.

Один из самых лихих рейдов совершили обе дивизии сразу — с прорывом фронта в районе неприметного, но очень гадкого местечка Тришки — оно было укреплено слишком уж хорошо, ни обойти его, ни в лоб взять.

Задача перед казаками была поставлена простая: когда в лоб на Тришки пойдет наша пехота, ударить по этому зловредному, пропитанному кровью местечку с тыла.

После полуторачасового жестокого боя над издырявленными крышами местечка поднялся белый флаг — немцы сдались.

Семенов со своей сотней получил задание прорваться дальше и перерезать в немецком тылу Таурогенское шоссе. Пусть там наберется побольше «воды» — людей, повозок, грузовиков, а потом этот «котелок» накрыть поплотнее крышкой и под днищем разжечь жаркий огонь, все и сварят-ся. Подъесаул Семенов не удержался, азартно потер руки — такие задания ему нравились.

Сотня его была усилена двумя десятками казаков — получился довольно внушительный отряд. Сметая все на своем

пути, он пронесся по нескольким городкам, хуторам и местечкам, рубя выскакивающих к конникам немецких солдат, гикая дико и взбивая до небес серую снежную пыль.

— Казакен, — неслось по хуторам впереди отряда, — казакен!

И захлопывались кованые железные двери погребов, которые невозможно было взять гранатой, скрывая в своей темной глубине перепуганных бюргеров и их домочадцев; жизнь замирала не только на хуторах, где народу раз-два, и обчелся, но даже в городах с населением в несколько десятков тысяч человек. Казаков боялись.

Однако перерезать Таурогенское шоссе сотне Семенова не удалось — слишком большие силы немцев перемещались по нему, перекрыть такую трассу можно было только силами дивизии. Молва о казаках неслась далеко впереди семеновской сотни, и немцы стали заранее готовиться ко всяким неожиданнымностям, казаков старались не подпустить даже к насыпи — начинали бить из пулеметов. Кроме того, немцы организовали здесь патрулирование, и четыре грузовика постоянно курсировали по Таурогенской дороге туда-сюда: несколько раз казачки пробовали выбраться на шоссе и всякий раз наткнулись на грузовики и пулеметы.

Огонь немцы открывали сильный — мышь не проскочит. А казаки — не мышь... Приходилось откатываться от шоссе. И хотя сотню Семенова утяжелили несколькими пушками на конной тяге, но те не помогли летучему отряду — у немцев орудий было более чем достаточно.

Немцы, решив запереть отряд Семенова, бросили против него целый батальон — он-то и должен был загнать казаков в мешок, а заодно взять под усиленную охрану единственный мост через реку Венту.

Впрочем, в мешке этом оказался не только отряд Семенова — оказалась целая дивизия вместе с генералом Крымовым.

Тем не менее занять мост немецкий батальон не успел — его атаковали. Атаковали не только забайкальцы, но и уссурийцы, и приморские драгуны. Батальон отбил атаку, захлебнулась вторая атака, третья также не удалась — немцы выставили перед собой повозки, прикрылись ими и повели шквальный огонь из винтовок и пулеметов.

К той поре подтянулись застрывшие в сырых низинах проселочной дороги пушки, казаки поставили их на прямую наводку, и орудия дали по опрокинутым телегам и фурам несколько залпов. Земля задрожала под ногами — не даром ар-

тиллерию зовут «богом войны»: вверх полетели колеса от фур, доски, изломанные оглобли, измельченные в мусор деревянные станины повозок — любо-дорого было смотреть на работу артиллеристов.

Семенов стоял рядом с орудиями и наблюдал за стрельбой. Пушки после каждого удара подскакивали в воздух, затем вновь всаживались колесами в грязь, пушкари при выстрелах пригибались, ныряли вниз, словно хотели зарыться в холодную влажную землю; воняло прокисшей капустой, дымом, гнилью, кровью; в стороне безучастные битюги, ничего не слыша, что-то жевали. Битюги давно уже оглохли от стрельбы, но на всякий случай им в уши воткнули по пучку соломы.

После пятого залпа к Семенову подошел поручик-артиллерист, маленький, кривоногий, с красными от бессонницы глазами, и произнес просто:

— У меня все!

— По коням! — скомандовал подъяесаул, кивнул благодарно поручику и бегом, увязая в грязи, побежал к Белову.

Через две минуты казацкая лава уже неслась на немецкий батальон. Потемнело, предметы потеряли свои очертания, углы сгладились, небо заволокло тучами. Откуда-то из оврагов, стараясь стелиться пониже, приволокся холодный ветер, пробил до костей. Того гляди, снег с небес посыпется.

— Ы-ы-ы! — закричал кто-то испуганно, страшно.

Лава крик этот подхватила, и потащился он вместе с лошадьми над землей, протяжный, вышибающий дрожь на коже, дикий — Ы-ы-ы-ы! — так, наверное, кричали степняки-кочевники, идя в атаку на неприятеля.

Из-за перевернутых немецких фур ударил нестройный залп, но лаву он не остановил — слаб был, — лишь вызвал у казаков злость. Лошадь Семенова первой перенесла всадника через опрокинутую телегу, он изогнулся по-рыбьи и полоснул пашкой какого-то серолицего мальчишку в широкой, не по размеру шинели и разлапистым хомутом воротника, из которого тонким куриным стебельком вылезала немощная шея. На шею с трудом удерживалась крупная круглая голова. Жалко было, конечно, пашкой рубить куренка, но Семенов рубанул, поскольку тот держал в руках винтовку и азартно палил по казакам.

Голова с открытым ртом и хлопающими глазами, брызгаясь кровью, покатила в сторону.

— Ы-ы-ы! — взревел кто-то рядом с Семеновым, командир сотни на рев не оглянулся, настиг толстого немца в блестя-

щей парадной каске, рубанул его по спине, а когда немец остановился и с надсаженным щенячьим криком развернулся, рубанул его по шее.

На войне жалости быть не может. Не должно быть. Хотя бесследно не проходит ничто — и тот серолицый мальчишка еще возникнет в памяти, и этот толстый немец с жалобным детским криком. Семенов почувствовал, что у него неожиданно остановилось сердце, а в рот словно комок какой влетел; сотник вскинулся в седле, выпрямился по-сусличьи, грузным столбом, рассек впустую пашкой воздух, потом со свистом рассек еще раз — он будто вытирал о воздух клинок, как тряпку, — и в следующий миг вновь бросил коня вперед.

Под пашку попал унтер с худым, посеченным оспой лицом — видно, из породы вечных больных. Отбивая удар Семенова, унтер вскинул винтовку, лезвие пашки резануло по стальному стволу, взбило сеево искр, унтер ловко повел винтовкой в сторону, затем отбил второй удар пашки.

— Пся крив!²⁴ — прорычал Семенов, наполняясь злостью, сделал пашкой обманное движение, потом скользнул вниз, к стремени, и ткнул унтера острием в живот.

Тот поблднел и, выронив винтовку, осел на землю.

Четвертая атака заняла не более семи минут. Немецкий батальон был разгромлен. И артиллеристы поработали хорошо, и казаки от них не отстали, порубили около четырехсот человек, не взяв в плен ни одного немца. Да и куда их девать, пленных-то? Казаки сами могут в любую минуту угодить в плен.

— Хотя это... — Семенов вытер пашку о шинель убитого немца и с сомнением покачал головой, — плен — это вряд ли. Чему не бывать, тому не бывать.

В своей сотне он был уверен — никто из его казаков в плен живым не сдастся.

Так оно и было. Если забайкалец и попадал в плен, то, как правило, полуживой, находясь без сознания.

Вскоре казачья дивизия, в которой служил Семенов, была переброшена на Карпаты.

На фронте появились агитаторы, которые призывали солдат:

— Штыки в землю, славяне! Хватит воевать, по ту сторону окопов сидят такие же, как и мы, люди — мясные, костяные, также умеют плакать и ощущать боль. Они такие же, как и мы... Даеть революцию!

Слово «революция» стало звучать все чаще и чаще, у Семенова оно ассоциировалось со словом «переворот», а от этого слова у сотника всякий раз начинали нервно дергаться усы — все эти восстания и перевороты он не одобрял.

В Великую войну российская армия вопла обученной, одетой и оснащенной, с отличными командирами — и хорошо воевала! Но потом последовала всеобщая мобилизация, и на фронт широком потоком потекла сырая масса — более двенадцати миллионов человек, — которая ничего не умела делать.

Транспортные нити мигом оказались забиты пробками, экономика прогнулась, тылы разрослись, армию начали снабжать гнилью, от которой отворачивались даже собаки.

Появились дезертиры.

Вскоре беглецов стало так много, что с фронта пришлось снять целую казачью дивизию — ту, в которой служил Семенов, — и бросить ее в тыл, на перехват дезертирских потоков.

Больше всего дезертиров появлялось на узловых станциях — они стремились уехать на восток, домой, прилипали к вагонам — не отодрать. Иногда дезертиры разбирали рельсы, чтобы остановить поезд, и высылали вперед человека с плакатом: «Стой! Дорога повреждена!»

Кроме перехвата беглецов казакам поручили охранять Бессарабскую железную дорогу. Порою в день на одной только узловой станции казаки снимали с эшелонов более тысячи дезертиров.

Дезертиров поспешно судили — почти без разбирательства, да оно военно-полевым трибуналам и не нужно было — и под конвоем отправляли обратно на фронт. Случалось, кого-нибудь для острастки ставили к стенке, чтобы другим неповадно было, но это происходило редко, в основном беглецов снова ждали окопы — пусть уж лучше там, а не в тылу, на рельсах железнодорожной станции Узловая, какой-нибудь пустоголовый солдатик получит свою долю раскаленного свинца.

Когда приходил приказ поставить какого-нибудь бородастого бедолагу к стенке, Семенов недовольно морщился — не любил это дело, старался свою сотню оградить от «расстрельного исполнения», что удавалось, к сожалению, не всегда.

Особенно запомнился один дезертир — тщедушный, с впалой грудью чахоточника, донашивающего последнюю смену своей тяжелой одежды, измазанного паровозной сажой, с лицом старичка, которому все в этой жизни осточертело, и большегубым слюнявым ртом рабочего подростка, любящего сладкое. Когда его поставили под дула винтовок, он неверя-

ще глядел подбитыми глазами на шеренгу солдат, приготовившихся отправить его на тот свет, и восклицал жалобно:

— Мама! Мама! Мама!

Так ему эти негромкие надорванные вскрики и загнали пятью пулями назад, в горло.

Напряженность на фронте спала, пошли братания, в окопах верховодили уже не полковые командиры, а рядовые солдаты, которым не светили даже унтерские лычки. Один такой солдат по фамилии Собачкин взял в руки красный флаг и попер напрямик в германские траншеи договариваться о мировой революции, которую они сделают сообща... Семенов, узнав об этом случае, даже кусок уса себе откусил.

Свои последние недели доживал 1916 год.

Зима в Бессарабии²⁸ была малоснежная, теплая, с частым солнцем, неузнаваемо преображающим невысокое бледное небо, с дождями, мамалыгой и виноградом, что смуглые кареглазые молдаванки дешево продавали казакам. Было много вина, но Семенов старался его не пить — русская водка все-таки лучше молдавской кислушки, от которой пучит живот, — и сотне своей запрещал.

А вот в соседнем полку даже лошадей поили вином, и однажды вдребезги пьяная и потому буйная лошадь в пыль раскатала глиняную бессарабскую мазанку. Пришлось приморцам скидываться хозяину на новое жилье: по кругу пустили папаху, доверху набили ее деньгами и вручили вислоносому, вислоусому бессарабу с влажными глазами-маслинами:

— Держи, паря! Сам виноват — слишком крепкое вино поставил нам, вот лошадь и развезло.

Бессараб поклонился казакам до земли:

— Мунцумеск, братья! Теперь у меня будет новая каса, — поблагодарил, значит, приморцев и о своих планах на будущее рассказал.

Казаки одобрительно захлопали в ладони:

— Ставь еще бочку вина! Мы тебе сейчас вторую папаху денег соберем. Кстати, что такое мунцумеск будет?

— Спасибо.

Казаки одобрили и это:

— Хор-рошо звучит!

Казакам было весело, а у Семенова от этого веселья, от испуганных физиономий дезертиров, которым не было числа — ведь несметь невозможно пересчитать, — от черного сверка железнодорожных путей болели зубы, так болели, что хоть физиономию полотенцем перепоясывай, а где-то глубоко вну-

три, в закоулках, под самым сердцем все чаще и чаще возникало странное сосущее чувство — ему тоже хотелось бежать.

Но не домой, на реку Онон, к голосистым раскосым гуранкам, способным поднять мертвого из могилы, а туда, где еще теплилась драка, где не было этого слюнявого братания, после которого хотелось взяться за пулемет, туда, где армия еще считалась армией, не была разъедена бациллами и ржавью, имела жесткую воинскую структуру.

Такая армия сохранилась у России в Персии, на тамошнем фронте, эта армия славно воевала, до нее еще не успели добраться разные солдатские, рабочие, крестьянские и прочие агитаторы и депутаты, она еще сражалась, теснила немцев и их союзников, разбиралась с ними так, что от противника только пух с перьями летели. Как знал Семенов, там, в Персии, дрались и конные забайкальские полки.

Семенов остро завидовал им — делом занимаются люди, ратным делом, к которому их призвали Отчизна с царем-батюшкой, а не сопливятся, не сюсюкают, не пускают слюни влюбленно, как на Западном фронте их далекие однополчане, распивающие с немцами чай.

Хоть и жалко было расставаться со своей сотней, с которой столько путей-дорог пройдено и столько соли съедено, а Семенов, помаявшись некоторое время, решил с нею расстаться — подал рапорт о переводе его на Персидский фронт, в Третий Верхнеудинский казачий полк.

Полк этот входил в Третью Забайкальскую отдельную казачью бригаду, которой командовал генерал-майор Дмитрий Фролович Семенов, троюродный брат подъясула*.

Полком командовал также знакомый человек — Прокопий Петрович Оглоблин, георгиевский кавалер, бывший сослуживец Семенова по Первому Нерчинскому полку, ныне носивший на своих плечах полковничьи погоны.

— Кругом свои! — обрадовался Семенов, когда узнал, кто воюет на Персидском фронте.

Вскоре пришло решение о переводе, и Семенов, собрав свою сотню, низко поклонился ей:

— Буназо, как говорят здешние жители-бессарабы...

Слово «буназо» было единственным, которое есаул выучил в Молдавии, да и то он все перепутал: хотел сказать «до свидания», а «буназо» — это «здравствуйте».

— Буназо, — эхом откликнулись казаки, хорошо, едва ли

* По другим сведениям — дядя Г.М. Семенова.

не на всю жизнь запомнившие правило: их командир не может ошибаться.

Эх, если бы на этом месте приостановить биографию Семенова — он национальным героем России стал бы, его, как многих храбрых русских солдат, поминали бы в веках, но нет, жизнь колесом покатила дальше, а вместе с нею и безоглядный рубака Григорий Семенов.

В январе 1917 года он прибыл в Персию, в местечко Гюльпашан.

Персия потрясла его. Во-первых, здесь царил самое настоящее лето, было тепло и светло, на тонких гибких ветках призывно распускалась, трепетала под ветром зелень и благоухали цветы, но не они удивили подьесаула Семенова. Второе, что буквально потрясло его, — это бабочки.

Бабочек была тьма, самых разных, словно все они слетели сюда на тепло, на запахи лета, которое лишь по недоразумению называется зимой и приходится на этот недобрый месяц — январь. Особенно много было огромных ярких полубабочек-полумотылей, которых Семенов видел на Амуре, — махаонон. Бабочки эти считались у тамошних казаков драгоценными, поимка одной такой красавицы считалась едва ли не воинской удачей, а здесь их было все равно что на Олоне грязи — хоть лопатой прищлепывай да собирай в фуражку.

Кстати, о фуражках. Семенов, едва в окно вагона ворвался теплый, припахивающий чем-то соленым ветер, стянул с головы папаху и сунул ее в сумку, откуда достал полёвую казачью фуражку с офицерской кокардой. Сбрызнул фуражку водой, чтобы мятая ткань расправилась побыстрее — ткань высохнет, сделается гладкой, будто из-под утюга, — нутро набил газетами и повесил на крюк. Через несколько часов фуражка выглядела как новенькая, Семенов натянул ее на голову, глянул в длинное узкое зеркало, привинченное к стенке вагона, улыбнулся довольно — сам себе понравился.

Пока Семенов трясся на мягкой, обитой залоснившейся тканью полке вагона, он от корки до корки изучил брошюру, которую получил в штабе генерала Крымова «для ознакомительных целей», когда выписывал себе проездные документы. В брошюру было напихано множество всяких сведений — начиная от описания того, как становилась на ноги Персидская империя домусульманского периода и откуда взялись воинственные турки Альптечин и Себуктегин, Торгул-бек и Низам-Ольмольк, до рассказов о войнах Аги-Мохаммеда, сумевшего поднять под себя огромные территории, в том числе и Грузию.

Ага-Мохаммед удивил Семенова своей жестокостью, жаждой проливать кровь — недаром про турок рассказывают разные страшные истории, о них есть что рассказать: он захватил город, в котором оборонялся его лютейший противник Лютф-Алихан — человек еще совсем юный, приказал бросить под ноги солдатам двадцать тысяч женщин, мужчин же, способных держать в руках оружие, — избить и ослепить. Ага-Мохаммеду было доставлено семь тысяч глаз. Глаза, выковырнутые из черепов, он принимал лично — поштучно и на вес.

— Во гнида! — не удержавшись, вслух прокомментировал прочитанное Семенов.

За окном тянулась зеленая земля, и ничто не напоминало о мрачной истории этих мест. Пели птицы, светило солнце. И летали бабочки.

Такого количества бабочек, как в полку, куда прибыл Семенов, он еще не видел — бабочки тут лепились даже к потным конским задкам.

— Невидаль! — восхитился Семенов.

Наряду с обилием бабочек его удивило и другое: казаки в эту летнюю теплынь ходили в лохматых, с длинными скрутками-висюльками шерсти папахах. К чему в такую жару ходить в папахах, ведь самое удобное дело — фуражка? Семенов решил, что при первом же удобном случае спросит об этом у командира полка.

— Насчет папах — история простая, — сказал ему Оглоблин. — Из штаба фронта пришел приказ — перейти на летнюю форму одежды, казаки на легкое обмундирование перешли без возражений, а вот насчет папах — словно что-то заколодило: не сняли. Я к ним: «Содрать немедленно с голов эти бараньи курдюки! Ведь в фуражке и голова дышит, и живется легче — мозги не плавятся...» Они мне в ответ: «Это в папахе голова дышит, а в фуражке просто запекается, как тыква. Разрешите, господин полковник, носить папаху!» Пришлось посылать рапорт к главнокомандующему великому князю Николаю Николаевичу, чтобы тот разрешил. Великий князь хоть и посчитал это казачьим чудачеством, но смилостивился и разрешил.

Удивляли и незнакомые названия. Зенгян, Хурем-Абад, Хамадан, Хунсар, Султан-Абад, Боразджун, Вакиль-Абад, Джувейн Кух — не названия, а строчки из воинственной, сопровождаемой барабанным боем песни.

Городок Гюльчашан, в котором квартировал полк, был небольшой, ухоженный, хорошо прогретый солнцем, с красными черепичными крышами и белыми стенками узкоглазых

турецких мазанок — окна в здешних домах были маленькие, как щели для стрельбы. «Для того, чтобы жара в дом не проникла, — понял Семенов, — летом здесь, говорят, такая жара стоит, что стекла в окнах плавятся».

Семенов больше любил холод, но тут вон какая вещь — любви не любви, а если грянет пятидесятиградусная жара и надо будет пойти в атаку на янычар²⁶, то расплавишься до костей, но в атаку пойдешь. Приказ есть приказ, военная судьба есть военная судьба.

Выстроив третью сотню на земляном плацу, загороженном от суховеев тутовыми деревьями, Оглоблин представил ей нового командира.

— Прошу любить и жаловать, — сказал он просто. — Для тех, кому это неизвестно, хочу сообщить: за боевые успехи на германском фронте Григорий Михайлович Семенов награжден не только офицерским «Георгием», но и Золотым оружием.

Сотня неожиданно грянула «Урал». Слово ее в честь некоего праздника угостили водкой. Семенов, не ожидавший такого приема, растрогался, на глазах даже слезы выступили, выползли из-под век, мелкие, горячие и — в этом сотник признался себе с неверием и смущением — приятные.

Командовал Семенов сотней недолго — вскоре полковник Оглоблин засобирался в отпуск. Вызвал к себе подъесаула:

— Григорий Михайлович, полк мне оставить больше не на кого — только на вас. Принимайте!

Так Семенов неожиданно для себя стал командиром полка.

Военные действия на этом участке фронта застопорились, дракой, к которой так стремился Семенов, уже не пахло, и он приуныл: может, напрасно покинул Бессарабию? Вдруг там начнется большое наступление? Но нет, и на тех участках фронта было тихо.

Изменения — и довольно бурные — происходили в других местах, в частности в российской столице. Слухи о возможном отречении Николая Второго приносились и сюда, в персидскую глушь, одинаково оживленно обсуждались и среди рядовых казаков, и среди офицеров, и надо заметить, ни одобрения, ни порицания не вызывали.

В полку все чаще и чаще стали появляться агитаторы-революционеры. Иногда среди них попадались очень симпатичные личности, умеющие толково говорить. Одного из них Семенов, цепко ухватив двумя пальцами за нос, выволок из казармы на улицу, но на большее не решился, хотя и была мысль набить этому дураку физиономию и охолостить рот на пару зубов, но

он ограничился тем, что сказал: «Больше не появляйся здесь, вонючка! Понял?» — и отпустил агитатора с миром.

В конце концов, что, Семенову больше всех надо, что ли? Пусть с агитаторами борются те, кто сидит повыше, в штабе.

Однако когда в полк пришло телеграфное сообщение об отречении государя от власти, Семенов ахнул: надо же, агитаторы свое дело сделали! Внутри у него шевельнулось что-то неспокойное и одновременно недовольное: что же теперь будет? Власть перешла к великому князю Михаилу...²⁷

Следом пришло известие об отречении Михаила — он отказывался вступить на престол без изъявления на то народной воли... Вот тут-то внутри у Семенова возник противный холодок: как же страна будет жить без самодержца, по каким законам? По бесовским?

Семенов почесал пальцами затылок и пошел к казакам — понял, что сейчас надо быть с ними, иначе разные приезжие агитаторы посадят полк на лошадей и уведут его в пески, подалше от зоны боевых действий.

Один из офицеров заявил Семенову:

— Григорий Михайлович, а вы, похоже, заискиваете перед революционными солдатами.

— Кто вам это сказал?

— Никто. Я сам вижу — вы с ними «сюсю» да «мусю»...

Семенов сжал зубы, но сдержался, хоть у него очень зачесался один кулак; если бы зачесались оба, сдержать себя не смог бы.

«Сюсю» да «мусю» дали свои результаты. Когда в полк пришел приказ № 1, упраздняющий в армии дисциплину, казаки отказались подчиниться ему.

— Не-е, это вы, господа-товарышши, перемудрили, — заявили они чинам из солдатского комитета, явившимся к ним, — какая же армия может быть без дисциплины и командиров? Нам тогда немцы на сапогах каблуки пооткусывают. Не-е, дуйте-ка вы отсюда, господа-товарышши, колбаской, пока мы пашки из ножен не повынимали...

И «господа-товарышши» спешно ретировались из полка. В следующий раз их также развернули на сто восемьдесят градусов — они явились с требованием немедленно образовать полковой комитет казачьих депутатов, призванный заменить офицеров.

— Молодцы, мужики! — похвалил подчиненных Семенов. — Орлы! — Голос у него был утрюмым, севшим. — Дай бог вам здоровья и воинской удачи!

Семенову было от чего быть угрюмым: на глазах рушилось то, во что он свято верил.

Обстановка накалялась.

Семенов ждал возвращения Оглоблина: все-таки Прокопий Петрович командовал полком дольше его, в людях своих разбирался лучше, надо полагать, ему были ведомы некие пружины, о которых Семенов знал понаслышке — возможно, у него есть другие способы держать полк в узде... Хотя одно Семенов знал твердо — сдавать полк разным басурманам-агитаторам нельзя.

Одно плохо, что не ведется никаких военных действий — немцы так же, как и русские, пребывают в состоянии тихого смятения, — иначе ни полку, ни бригаде не избежать позора... А с другой стороны, может, оно и лучше было бы: полк бы протрезвел, дрался бы лучше прежнего. М-да, с полком-то понятно, а вот с бригадой... Ее что, в бой поведет солдатский комитет — два унтера, которые войну видели лишь из седла собственной лошади, и трое рядовых, не способных разглядеть что-либо дальше штыка своей винтовки...

Базарить, плевать в суп командиру, отворачиваться с наглой мордой от офицеров, вместо того чтобы отдавать честь (эта форма приветствия была отменена едва ли не в первую очередь), требовать, чтобы им платили такое же жалованье, как командующему корпусом, — это они умеют, а вот провести грамотную атаку двух взводов или одной сотни — тут дохлый номер, голова, оказывается, растет не из того места. Тыфу!

К Семенову несколько раз наведывались различные делегации, состоявшие из крикливых унтеров, и требовали, чтобы он незамедлительно провел собрание для избрания полкового комитета и передал ему власть...

Семенов в ответ только насмешливо шевелил усами:

— Вот приедет из отпуска настоящий командир полка Прокопий Петрович Оглоблин, он и изберет комитет. А я — командир временный, я обязан сдать полк в том виде, в каком принял.

— У нас — самая свободная армия в мире, — базарили делегаты.

— Это у вас, — вполне резонно отвечал Семенов, — но не у нас.

Так никаких революционных нововведений в Третьем Верхнеудинском полку Семенов и не допустил, держался до последнего, пока наконец не прибыл Оглоблин, здорово задержавшийся в дороге. Железнодорожный транспорт начал

работать с перебоями, поезда застревали на станциях, порядка было все меньше и меньше. Семенов сдал Оглоблину полк и проговорил мрачно:

— Не нравится мне, что происходит...

— Мне тоже не нравится. Но делать нечего. Если мы воспротивимся революционным преобразованиям, нас убьют. На Западном фронте свои уже бьют своих, солдаты ставят к стенке командиров.

— Вот тебе и самая свободная армия в мире. — Семенов присвистнул.

Оглоблин печально повесил голову.

— Это я слышал по дороге много раз. В одном месте мне даже предложили снять погоны.

— Где это было?

— В революционном Харькове.

— Тыфу! — привычно отплюнулся Семенов.

В апреле Семенову пришло письмо из полка, в составе которого он воевал на Западном фронте — Первого Нерчинского. Офицеров в этом полку осталось с гулькин нос — кого-то выбили, кто-то под шумок «растаял» в дымке пространства, чтобы через некоторое время объявиться в отеческом доме, — и Семенов, который считал, что Россию может отрезвить только хорошая война, стал просить о немедленном своем возвращении в Бессарабию.

Вскоре было получено «добро» на обратный перевод. Однако картина, которую Семенов увидел на Западном фронте, была еще хуже, чем в Персии.

В мае на Западный фронт прибыл военный министр. Это был человек совершенно штатский, в темном тонком плаще и шляпе с захватанными краями, с тросточкой, черенком которой он почесывал себе нос — явление среди людей, носивших погоны, дикое, иного слова не подберешь. Никогда еще в России не было таких военных министров.

Первый Нерчинский полк, в котором Семенов получил под свое начало пятую сотню, был собран в пешем строю на станции Раздольная, под Кишиневом. Казаки, видя военного министра, почесывающего тростью нос, стыдливо отводили глаза в сторону. Семенов, стоя во главе своей сотни, тоже стыдливо отводил глаза в сторону: тянуться в струнку перед таким военачальником было все равно что вытягиваться перед поваром.

— Такие вот шпаки²⁸ в конторской одежде и разлагают армию, — процедил он сквозь сжатые зубы, — а потом хотят заставить ее воевать и одерживать победы...

Именно на этом земляном плацу под завывающую речь военного министра у Семенова и родилась мысль о создании «туземных» добровольческих частей — из народов Восточной Сибири. Это ведь верные люди, хорошие воины, всякие революционные идеи для них все равно что пустой ветер: пронесся — и нет его.

— Как фамилия военного министра? — спросил он у бывшего командира сотни Жуковского, получившего повышение и ставшего войсковым старшиной.

— Керенский!²⁹

Несколько дней Семенов, пыхтя от натуги и сдабривая тяжелую работу крупными глотками роскошного бессарабского спотыкача, вишневого водки, корпел над бумагой — излагал свои соображения по поводу создания боевых частей из числа ивородцев и «использования кочевников Восточной Сибири для образования из них частей «естественной» (природной) иррегулярной конницы, кладя в основу формирования их принципы исторической конницы времен Чингисхана, внося в них необходимые коррективы, в соответствии с духом усовершенствованной современной техники». Он торопился — войсковой старшина Жуковский собирался отбыть в Петроград, и Семенов рассчитывал отправить с ним свои соображения. Адресовал он их штатскому недотепе, «кантору», устройшему смотр Первому Нерчинскому полку в Раздольной, — Керенскому.

Отправить по почте бумагу, с таким трудом написанную, означало потерять ее всегда: она пропадет где-нибудь на перегоне между двумя станциями либо будет съедена мышами в канцелярии какого-нибудь третьестепенного чиновника. Чиновники — тыловые крысы — представляли для России опасность не меньшую, чем наступающие полки кайзера.

Всякая бумага бывает действенной, когда к ней «приделаны» ноги, в противном же случае максимум, на что она годится — быть надетой на гвоздь в солдатском сортире. Ноги войскового старшины Жуковского были как нельзя кстати: человек напористый, вьедливый, злой, много раз награжденный орденами, а значит — с авторитетом, он любого чиновника запросто мог перекусить зубами. Тем более хорошо известно, как фронтовики относятся к тыловым крысам — любителям французских круассанов и теплых сливок с шоколадом, которые надлежит подавать непременно в постель.

Жуковский уехал в Петроград и, надо отдать ему должное, сумел побывать там во многих начальственных кабинетах.

В результате Семенов был вызван телеграммой на берега Невы, в российскую столицу.

Эта телеграмма сыграла в жизни Семенова поворотную роль.

Одновременно из Читы пришло сообщение о том, что Забайкальское казачье войско собирается на свой круг³⁰. Требовался делегат от Первого Нерчинского полка. Им стал Григорий Семенов.

Одно совпало с другим. Надлежало ехать в Петроград, а оттуда — в Читу.

В Петрограде Семенов, ни на секунду не сомневаясь в том, что поступает правильно, первым делом явился в приемную военного министра...

Жуковского в городе уже не было, войсковой старшина отбыл в полк — они разминулись по дороге, поэтому Семенову теперь предстояло действовать самостоятельно.

Помощник военного министра князь Туманов отнесся к фронтовику благожелательно.

— Поезжайте на Мойку, двадцать, — сказал он, — найдите там полковника Муравьева³¹. Ваша докладная отправлена к нему.

Набережную темной замызанной речушки, окованной гранитом, но тем не менее по-деревенски припахивающей плесенью, Семенов нашел не сразу.

«Тут когда-то Пушкин бывал, — теснилась у него в голове тусклая мысль, — то ли жил он здесь, то ли учился, то ли был убит... В общем, что-то было. Но где же ты есть, набережная реки Мойки?»

В незнакомом шумном городе Семенов ориентировался слабо. Здесь было полно людей в солдатской одежде, он поглядывал на них неодобрительно. «С фронта, стервецы, утекли. Сюда бы моих орлов с шапками, я бы живо научил вас маму-родину любить». А вот женскую роту, с лихим топотом промаршировавшую по Невскому проспекту, он встретил с одобрением, даже языком поцокал:

— Патриотки! Сознательные! Знают, что Россия в опасности.

Несколько бородатых окопников с винтовками с открытым интересом разглядывали тугие икры маршировавших женщин, обтянутые нитяными чулками нежного персикового цвета, и завистливо ахали:

— Вот попасть бы в эту воинскую часть на пару дней — ох и намолотили бы мы тогда супостатов!

— Приходи, кума, кусаться — зубами щелкать научу!

— Харраши мандридаупки!

Отдельно от окопников стоял прапорщик в мятых погонах, на которых химическим карандашом была нарисована маленькая звездочка, держа на плече увесистую, с толстым стволом «люсюку» — английский пулемет «лююис», — он также с завистливым интересом рассматривал марширующий женский строй. Случайно перехватив взгляд Семенова, прапорщик неожиданно сделал брезгливое лицо и отвернулся. Тем не менее Семенов подошел именно к нему:

— Скажите, милейший, как мне отыскать Мойку, двадцать?

Прапорщик небрежно ткнул рукой под ноги:

— По этой набережной до поворота. Там — направо.

Семенов кивнул офицеру-окопнику и двинулся дальше. В конце концов он нашел нужный дом — внушительное серое здание с широким входом и тусклыми, давно не мытыми окнами.

Около дверей толпились матросы — на фронте матросы особо не утруждали себя атаками на окопы противника, но зато паек свой, морской, получали исправно. Высококалорийный морской паек пожирнее будет, чем сухомятная еда, выдаваемая казакам семеновской сотни.

Семенов взял пальцами за рукав одного из моряков:

— Скажи-ка, гвардеец, что тут за учреждение располагается?

— Всероссийский революционный комитет по формированию Добровольческой армии³².

Вот так, ни много ни мало. Туземные полки, которыми в последнее время грезил Семенов, вполне могли быть частью этой армии.

— А кто командует всем этим?

— Полковник Муравьев.

Семенов отметил, что привычного добавления к ответу «ваше благородие» не последовало, губы у него печально дрогнули. А ведь с уничтожением такой простой вещи, как это вежливое обращение, уничтожается нечто великое, то, из чего сколочен остов армии, — дисциплина. Если Господь будет благосклонен и Семенов станет командовать какой-нибудь крупной войсковой частью, он это обращение введет в действие в приказном порядке.

Полковник Муравьев оказался энергичным человеком в лаковых немецких сапогах, так называемых вытяжных —

вытянутых в виде изящных бутылок. Через двадцать минут он принял Семенова.

— Вы верите в надежность туземных частей? — спросил он первым делом, ногтем поправил щегольские, ровно остриженные усы.

— Верю, — твердо ответил Семенов.

Они проговорили не менее двух часов. После этого Семенов стал ходить в дом двадцать на Мойке как на работу — являлся туда каждое утро в девять часов.

В Петрограде Семенов пробыл больше месяца. Шестнадцатого июля он, как обычно, явился к Муравьеву на «утренний болтологический сеанс». Полковник, увидев его, встал, придал своему лицу торжественно-официальное выражение.

— Я предлагаю вам, Григорий Михайлович, торжественно вступить в должность помощника председателя комитета, — сказал он. — С правами помощника военного министра.

Вот она, звездная минута будущего атамана. Семенов даже услышал, что внутри у него что-то приятно екнуло, по телу разлилось тепло, усы, не удержавшись, задергались, рот расплылся в невольной улыбке.

Любопытный это был момент, очень любопытный. Интересно, что было бы, прими Семенов предложение полковника? Сам Муравьев через некоторое время стал, между прочим, главнокомандующим Красной армией, неплохо воевал, а потом, словно спохватившись, перешел на сторону белых, но оказался там генералом без войска, один как перст...

Вполне возможно, Семенов тоже стал бы большим человеком у «красюков», как он потом называл красных, командовал бы войсками, рубил головы белякам и зачитывался творениями великого Ленина. Вот ведь какие фортели может выкидывать жизнь, какие фиги иль маслины засовывать в сладкую гурьевскую кашу вместо изюма.

Однако Семенов, поразмышляя немного, отказался от лестного предложения полковника Муравьева.

— Это не по мне, — сказал он, — я не смогу сидеть в тиши кабинетов. Находясь в Сибири, я принесу вам больше пользы, чем здесь.

Говорил он искренне, и Муравьев поверил, покивал мленько, по-птичь, и огорченно махнул рукой:

— Ладно!

Он выдал Семенову командировочный мандат, из которого следовало, что есаул Семенов Григорий Михайлович является комиссаром по образованию Добровольческой армии в Иркут-

ском и Приамурском военных округах. На следующий день опять-таки не без помощи всеильного полковника Муравьева в кармане есаула оказалась еще одна бумага, более высокая, подписанная Верховным главнокомандующим: Семенов получал права военного комиссара ни много ни мало — всего Дальнего Востока. Вместе с полосой отчуждения КВЖД — Китайско-Восточной железной дороги²³. Одновременно его назначили командиром Монголо-Бурятского конного полка, местом формирования которого была станция Березовка, недалеко от Верхнеудинска.

На фронт Семенов больше не вернулся.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В Сибири Семенов не был три года — ни разу не отлучался с фронта. В Питере, на вокзале, забрался в уютный вагон трансконтинентального экспресса, пахнувший чистотой и душистым хвойным настоем, которым проводник — плечистый дядя с седыми усами — каждые три часа увлажнял ковровую дорожку, — уснул, а проснувшись, увидел за окном вагона такие чистые, такие зеленые, прибранные рощицы, что Петроград, оставшийся уже в прошлом, разом стал мниться ему пыльной заплесанной пепельницей.

Семенов приник к окну и часа два глядел в него не отрываясь, засекая все, что попадалось на глаза, всякую мелочь, на которую раньше мог обратить внимание только под пистолетным дулом, и слушая, как в груди растревоженно колотится сердце — он ехал на Родину, домой.

Редкие письма, которые приходили на фронт, шерстила военная цензура, делала это придиричиво, вымарывая не только то, что нужно было вымарать; письма эти производили странное впечатление неживых, будто были состряпаны неким бездушным деревянным человеком, иногда из них вообще ничего нельзя было понять.

Если в Петрограде было голодно — бабы в магазинах дрались за ржавую селедку, от запаха свежего хлеба люди стонали, на рынках продавали пирожки с собачьим ливером, то здесь, едва поезд подходил к станции, на перрон вываливались лоточники, миллион лоточников — и чего только на этих лотках не было! Что такое голод, в России, в отличие от Питера, не знали. Семенов записал на память на листке бумаги: «Печеная в духовке утка стоит 30 коп., жареный поросе-

нок — 50 коп.». Мало ли, вдруг эти пустячные сведения понадобятся когда-нибудь для большого дела...

На седьмой день Семенов прибыл в Иркутск. Здесь надлежало сделать остановку и отметить в штабе командующего войсками Иркутского военного округа генерал-майора Самарина. А затем спешно — вот-вот должен был открыться войсковой круг — перемещаться в Читу.

В Иркутске Семенов невольно обратил внимание на помощника командующего полковника Краковецкого — очень ему полковник не понравился; лоцный, с презрительным взглядом серых выпуклых глаз, он всегда словно смотрел сквозь человека, с которым разговаривал.

«На фронт бы тебя, в штыковую атаку на германцев — живо бы золотую пальцу с рыла растерял», — неприязненно и устало подумал Семенов и постарался выплеснуть полковника из головы — к чему там лишний мусор? Однако сутолока нескольких дней, проведенных в Иркутске, почему-то едва ли не каждый час упрямо подсовывала ему всякие сведения о Краковецком. Эсер, в армии был арестован и лишен офицерского чина, сослан в Сибирь. После отречения государя получил на плечи сразу полковничьи погоны.

— Свежеиспеченный калач! — Узнав об этом, Семенов выругался. Такие «хлебобулочные изделия» не были по душе никому, и прежде всего — солдатам-окопникам. На фронте это изделие продержалось бы недолго — застрелили бы свои.

Пятого августа Семенов выехал в Читу, на заседание войскового круга. Когда в пути поезд неожиданно замедлил ход и есаул увидел, как под колеса вагона тихо подкатывается мелкая, очень чистая, чище хрусталя, волна, он невольно схватился рукою за горло — что-то там возникло такое... Ни продохнуть, ни проглотить. Семенов махнул рукой расстроено и едва ли не бегом кинулся в вагон-ресторан: горькую соль, натекшую в горло, надо было немедленно смыть чем-нибудь крепким. Свободных столиков не было, лишь за одним столом, у окна, имелось свободное место. Семенов занял его, не спрашивая разрешения у человека, сидящего напротив, — а вдруг на этом месте уже сидит какая-нибудь столичная фифа в юбке с кринолином? Есаулу было на это наплевать. Уже потом, хватив водки и закусив ее тремя ломтями сочного омуля, он виновато посмотрел на соседа.

— Пустое, — махнул тот рукой и спросил сочувственно: — Расстроены чем-то?

— Есть немного... Расстроен.

Сосед все понял и произнес:

— Я тоже, когда не вижу долго Байкала, хожу будто чумной. Места себе не нахожу. Выпейте еще немного.

— Это можно, — смурным, севшим голосом проговорил Семенов, ухватился за пузатый тяжелый графин, налил себе водки, вопросительно глянул на соседа.

— Мне не надо, — сказал тот, — у меня есть, — показал на высокую граненую стопку. Предложил: — Выпейте за священное море, чтобы не укачало...

Те, кто живет на Байкале, никогда не позволят себе называть его озером — только морем: «Славное море, священный Байкал», — в этом определении сокрыты и робость, и уважение, и гордость, и любовь. Словом, все. Ведь Байкал и кормит и поит здешний люд.

— Когда я был на фронте, Байкал мне снился, — признался Семенов, хотя на фронте во время тревожных снов видятся обычно близкие люди да родной дом, а Семенов во сне Байкал видел. Онон видел. И, естественно, как и все казаки — родственников: отца, подпоясанного офицерским ремнем, царственную свою бабу, которой побавлялся, тихую, кажущуюся забытой мать. Видел табуны лошадей и залитую жидким белесым солнцем монгольскую степь.

Сосед потянулся через столик к Семенову со стопкой. Чокнулись. Выпили. Семенов вновь заел водку омулем, сосед его ограничился долькой свежего душистого огурца с нежной, темной, почти черной кожицей.

— Извините, — запоздало спохватился Семенов. — Я давно не ел омуля, поэтому и накинулся на него, будто с голодухи. На фронте с рыбой вообще было туго. Гранаты тратить на нее — жалко. Если только снаряд какой-нибудь шальной в реку грохнет... Но во время артиллерийских обстрелов было не до рыбы. — Есаул, опутив, как у него расстроено задержались усы, прикрыл их ладонью. Предложил: — Давайте еще выпьем.

— Давайте, — готовно отозвался сосед.

Небо расчистилось, из-за белесой мутной облачной гряды, уходящей к далекому горизонту, выплыло солнце — большое, круглое, арбузно-красное, окрасило воду в яркий багрянец, заставило запеть души у всех, кто сидел в ресторане поезда, но тут же все цвета погасли — на солнце словно опустился гигантский черный нож гильотины: сибирский экспресс втянул свое длинное тело в тоннель. К этому времени поспешно подскочивший к столику официант в форменной белой куртке зажег керосиновую лампу.

— Сейчас тоннели пойдут один за другим, — сообщил он, — без собственного света не обойтись.

— Не бойся, милейший, — успокоил его Семенов, — мы темноты не боимся и стопку мимо уха не пронесем. — Почти наугад наполнил свою стопку, поднял ее, обращаясь к соседу: — За наше славное и священное... Вы из здешних?

Сосед церемонно поклонился Семенову:

— Член российской Государственной думы³⁴ от Забайкальской области Сергей Афанасьевич Таскин.

Таскин также направлялся в Читу, на войсковой круг.

Семенов не удержался, азартно потер руки:

— Хорошо иметь знакомого члена Государственной думы!

Эту свою фразу он вспомнил на следующий день, когда войсковой круг начал свою работу — Таскина избрали председателем съезда.

Фронтовики здорово отличались от невоевавших станичников — усталостью, угрюмым видом, серыми лицами и по-вальной недоброжелательностью ко всем, кто не воевал.

— Вы, станичники, вообще должны спорить лампасы с шароваров, — заявили фронтовики.

— Это почему же?

— Да потому, что вы теперь не казаки.

Это был, по заявлению одного из фронтовиков — чубатого, с двумя Георгиями на гимнастерке, старшего урядника — «тонкий намек на толстые обстоятельства»: предыдущий войсковой круг — под нажимом агитаторов, к казакам имеющим примерно такое же отношение, как к исполнителям персидских танцев, а родная станица Семенова — к столице Португалии, отменил привилегии, данные когда-то казакам государем³⁵ всея Руси. Поэтому фронтовики намеревались поставить этот вопрос вновь и с предыдущим решением круга обойтись так же, как агитаторы, носящие красные тряпицы на пиджаках, обошлись с казачьими привилегиями.

Главной из привилегий была казачья вольница. Казак, дослужившийся до первого офицерского чина, получал личное дворянство; если он окончательно выбивался в люди и становился полковником, то автоматически получал потомственное дворянство; его дети, даже не родившиеся, уже считались дворянами.

У казаков существовало самоуправление, к которому с уважением относились российские государи, были свои зем-

ли, которые они кровью своей и потом, рубясь в различных сечах, присоединили к России. И так далее. А в остальном казаки — такие же, как и все, люди-человеки, обычные русские граждане, что любят Родину, давшую им жизнь.

На цареву службу казаки всегда выходили в собственном обмундировании, при собственном оружии, на собственном коне... Это что, тоже привилегия?

Семенов не удержался и выступил на казачьем круге.

После него из ложи гостей на трибуну стремительно вынесся некто Пумпянский — человек, известный не только в Чите, но и в Иркутске, и в Алексеевске, и даже в Хабаровске. Приподнявшись коршуном над трибуной, он лихо рубанул кулаком воздух.

— Казаки, самым позорным явлением в истории России была и есть опричнина. Крови опричники пролили столько, что корабли могут в ней плавать — море! Ныне многие сравнивают вас с опричниками. Снимите с себя это позорное пятно, смойте его, откажитесь от привилегий, за которые так громко ратовал предыдущий оратор, и будьте как все!

Семенов поморщился недовольно, проговорил тихо, в себя:

— Еще один болтун!

Пумпянский оказался главным оппонентом Семенова — никто из инородцев не выступал так велеречиво и умело, как он. Пумпянскому хлопали.

Дебаты продолжались три дня.

На третий день, когда Пумпянский увлекся собственным выступлением, Семенов взял с председательского стола графин, наполнил водой стакан, стоявший рядом, подошел к трибуне с обманчиво-рассеянным видом и протянул стакан оратору. Тот взял стакан, споткнулся на полуслове, словно в нем перестал работать некий движок, и непонимающе глянул на Семенова.

— Прекратите революционную трескотню, а свой горячий пыл залейте холодной водой, — сказал ему Семенов.

Пумпянский неожиданно покорно поднес стакан ко рту и стал пить. Зал захохотал. Услышав хохот, Пумпянский закашлялся. Говорить он больше не смог — у него сел голос. Произошло это стремительно, иногда такое случается даже с очень опытными ораторами. Дискуссия закончилась победой Семенова.

Заседания казачьего круга затянулись. Завершились они лишь во второй половине сентября 1917 года.

Вскоре к власти в России пришли большевики. Набрать в свой полк Семенов успел не более пятидесяти человек — причем в полк начали записываться не только агинцы-буряты и баргинцы-монголы, но и гураны — полукровки, в жилах которых текла и русская, и бурятская, и монгольская кровь, — и русские. Дальше все застопорилось: в штабе округа до сих пор не был подписан приказ о формировании монголо-бурятских частей.

Семенов торопился — понимал, что в воздухе все сильнее начинает пахнуть порохом, поехал в Иркутск к генералу Самарину. Тот прямо при есауле отдал распоряжение немедленно отпечатать на машинке приказ...

Прошло три дня. Пора возвращаться в Читу, но приказа так и не было, и Семенов вновь отправился к Самарину.

Генерал выглядел плохо, у него нервно тряслась голова, руки дрожали, под глазами вздулись темные мешки.

— Извините, есаул, — сказал он, — я не спал всю ночь.

— Ваше превосходительство, я прибыл за приказом о формировании монголо-бурятских частей, — напомнил Семенов.

— Такого приказа не будет, — сказал Самарин и опустил голову. — Увы!

— Почему? — Семенов не мог скрыть удивления.

— Я под арестом. Вся власть перешла к председателю местного Совдепа.

Семенов собрал все бумаги, полученные в Петрограде, и незамедлительно явился к председателю местного Совдепа — небольшому тощему мужичонке в рубчиковом мятом пиджаке — по виду, рабочему депо. Тот молча выслушал доводы Семенова и согласился подписать приказ.

— Только вот, — сказал он, — я вынужден буду связаться с Петроградом, они должны будут подтвердить ваши полномочия.

— Валяйте, — сказал Семенов небрежно. Он понял: власть в Петрограде сменилась, Муравьева нет и ему надо спешно покидать Иркутск. Через несколько часов может быть уже поздно. Чутье на опасность — звериное, острое, безошибочное — у него выработал фронт, Семенов научился ощущать опасность загодя, когда она еще не родилась...

Семенов поспешил на вокзал. Уезжал он не один — взял с собою пятерых иркутских казаков, решивших вступить в «туземный» полк.

Отбыл есаул вовремя. В Верхнеудинске, на станции, его уже встречали дружинники — человек пятьдесят, не меньше,

темной нестройной толпой высыпали на перрон — оказывается, начальник станции получил телеграмму о немедленном аресте есаула Семенова и намерился выполнить приказ. Едва Семенов спрыгнул с подножки вагона на серый деревянный настил перрона, как к нему поспешил станционный комендант. Небрежно прилепив пухлую чиновничью ладошку к козырьку железнодорожной фуражки и покосившись на красную повязку, обтягивающую рукав его пальто — этаким символом власти, он поинтересовался:

— Господин есаул, ваша фамилия случайно не Семенов?

— Случайно нет.

— А как, позвольте полюбопытствовать?

— Голубовский. — Семенов небрежно козырнул в ответ и неторопливым прогулочным шагом в сопровождении пятерых казаков двинулся вдоль перрона.

Комендант, напряженно наморщив лоб, поразмышлял несколько секунд, потом кинулся вслед, ухватил за рукав одного из казаков:

— Скажи, милейший, фамилия есаула действительно Голубовский?

— Так точно, Голубовский, — без запинки ответил тот и двинулся дальше.

Комендант снова застыл на несколько мгновений, потом, подозвав двух конвоиров с винтовками, совершил очередной бросок к Семенову.

— Позвольте ваши документки, господин есаул, — неожиданно зычным, хорошо поставленным голосом потребовал он.

Есаул придержал шаг, развернулся — комендант, пыхтя, на всех парах неся к нему, не замечая угрожающе-спокойного взгляда, обращенного к нему, — напрасно он был так невнимателен... Едва комендант приблизился к Семенову, как тот, резко пригнувшись, двинул несчастного служаку кулаком в подбородок.

Удар был короткий, быстрый, почти невидимый, внутри у коменданта что-то мокро чавкнуло, будто сырой тряпкой шлепнули по столу, фуражка колесом покатила по перрону. Враз ослабевшее тело опрокинулось прямо на конвоиров, но те не удержали начальника, и он шлепнулся на перрон.

— Вот мои документки, — спокойно произнес Семенов. — Предъявить еще какое-нибудь удостоверение?

Комендант, лежа на перроне, сплюнул кровь, натекающую из разбитой губы в рот, покрутил головой, не веря, что его можно вот так, при всем честном народе, отправить пахать истоп-

танный тысячько ног грязный настил. Снова сплюнул кровь, завизгнул громко, отдавая приказ в изумлении застывшим в нескольких шагах онемевшим конвоирам, которые никогда еще не видели, чтобы с начальством так обращались:

— Арестовать его!

Пока конвоиры раздумывали, как быть, на визг коменданта, спотыкаясь, мешая друг другу, устремились дружинники — целая орава: почувствовали кровь...

— Кровянки вам захотелось, — недобро пробормотал Семенов, — кровянки... Лучше бы в окопы отправились, немалую малость пощекотали, отогнали бы их на свою территорию. Там возбуждаться надо, а не тут... Ну-ну. — Семенов усмехнулся, повернулся к казакам, сопровождавшим его, и молча повел головой в сторону.

Те все поняли без слов и выдернули из ножен пашки.

Дружинники все одновременно, буквально единым движением, затормозили, некоторые — с готовностью вытянутыми в беге руками — как намеревались схватить супостата, так и застыли, лица их сделались нерешительными... Как же брать супостата, ежели его охраняют желтолампасники с саблями наголо, но комендант вновь подогнал их резким вскриком:

— Арестовать его!

И дружинники пошли на казаков.

Семенов выдернул из кобуры револьвер:

— Наза-ад!

— Арестовать его!

Через минуту дружинники уже бежали к темному, с сырым от мокрети верхом зданию станции, блажили испуганно, двое из них зажимали руками раны, оставшиеся после тычков казачьими пашками — дело дошло и до этого.

Недалеко от себя Семенов увидел дежурного по станции — меланхолического старичка в фуражке с красным верхом, махнул ему револьвером:

— Отправляйте немедленно поезд!

Старичок спокойно и деловито, будто и не было никаких стычек, щелкнул крышкой часов:

— Рано еще!

— Отправляйте немедленно поезд! — Семенов направил на старичка револьвер.

Тот вздохнул:

— Ладно, пусть начальство оторвет мне голову, но грех на душу я все-таки возьму! — Старичок дунул в свисток и поднял над головой разрешающий жезл.

Паровоз дал гудок, вхолостую проскреб колесами по стали рельсов, выпустил длинный горячий клуб пара, снова проскреб колесами по рельсам — колеса провернулись беспрепятственно, будто были намазаны жиром — и в следующее мгновение сдернул состав с места.

Семенов прыгнул в вагон, за ним последовали казаки. Вечером сибирский экспрессы прибыл в Читу.

Обстановка в Чите была более спокойная, чем в Иркутске, и Семенов вздохнул освобожденно — здесь ему некого было бояться. На следующий после приезда день он собрал своих сторонников, угостил их чаем, колбасой, поставил монопольку²⁶, призвал:

— Все на борьбу с Советами!

Наметил есаул Семенов и новую географическую точку для своей дальнейшей дислокации: станция Даурия — место глухое, припограничное, хорошо защищенное, да и навозом там не пахнет. Для Читы запах навоза — родовой. Город стоит на песках, всякий, даже самый малый ветерок вышелушивает городские улицы насквозь, выдувает песок, обнажает корни деревьев, отчего сосны валяются на крыши домов, дожди тоже вымывают песок... И вот некая мозговитая голова придумала способ борьбы с потерями почвы — навоз.

Смешанный с песком навоз — это вполне плодородная штука, позволяющая давать урожаи не меньше, чем в Воронежской губернии; березовый либо еловый росток, опущенные в такую почву, очень быстро превращались в деревца. Дело, конечно, благое, но вот амбре... Запахом конюшни пропахли все местные дамы, даже самые знатные.

В Даурии этого запаха, слава богу, нет.

И все же пока не сформирован штаб, из Читы уезжать нельзя. Плюс ко всему надо было получить, а точнее, пробить для будущего монголо-бурятского формирования кое-какие деньги. Нужно было заслать своего «казачка» и в местный Совдеп.

Как-то вечером к Семенову пожаловал младший урядник Бурдуковский, которого Семенов знал давно и ценил.

— Есть у меня, ваше высокоблагородие, один человек... Может быть, и никакого «казачка» засылать не придется, — сказал он.

— Кто?

— Член местного Совдепа.

— Как его фамилия?

Бурдуковский нагнулся к есаулу и произнес шепотом:

— Замкин. Очень надежный гражданин — любит, когда в кармане у него гремят серебряные монеты. Такие люди — самые надежные.

— Ну что ж... Надо повидаться, посмотреть, что это за гусь — товарищ Замкин, жареный он или нет?

— Он — «полу-полу», полужареный-полупеченый, он — и нашим, и вашим...

— Значит, тем более надо повидаться.

После знакомства с Замкиным Семенов решил, что никаких «казачков» в Читинский Совдеп не будет, пусть поработает Замкин, и выдал ему первый аванс — полрулона керенок. Замкин от керенок отказался:

— Лучше бы твердой деньгой, господин хороший.

Семенов достал из кармана золотую монетку — николаевскую десятирублевку²⁷.

— Это годится. — Замкин проворно смахнул десятирублевку к себе в ладонь.

С тех пор Замкин стал аккуратно поставлять Семенову совдеповские новости. Однажды вечером он явился к Семенову встревоженный, стряхнул с папахи снег, повертел ее в руках и снова нахлобучил на голову.

— Беда, — сообщил он. — Сегодня председатель Совдепа разговаривал по телефону с Иркутском... или, может быть, даже с Петроградом, я точно не засек. Вас велено арестовать.

— Как арестовать?

— Обычно. Руки за спину, на запястья — веревку и три штыка под лопатки.

— Они что, очумели?

— Видать, да. Иначе я бы к вам не пришел.

Семенов машинально порылся в накладном кармане френча — он сшил себе новый френч, по последней моде, роскошный, из тонкого мышастого сукна, — извлек оттуда золотую десятирублевку, звонко хлопнул ею о стол, потом достал вторую и также звонко хлопнул о поверхность стола. Замкин ловко смахнул монеты в руку. Очень большой мастак оказался по части продать какой-нибудь секретик. Или купить, а потом перепродать.

— Как же это они собираются сделать? — спросил Семенов. — Я ведь просто так не дамся...

— Соберут пленарное заседание Совдепа, проголосуют «за», потом пригласят на заседание вас и арестуют.

— Эх как простенько все получается, без затей, — Семенов не удержался, мотнул головой, — и хитренько в ту же пору. Хмы! Когда же состоится заседание?

— Завтра в четыре часа дня.

— Что и требовалось доказать. — Семенов возбужденно потер руки, глянул на часы — времени у него более чем достаточно.

К десяти часам вечера Семенов уже знал, кто из казаков будет делегирован на эту совдеповскую толкучку, и каждого из них поименно пригласил завтра к себе на обед. Следом каждому из них было сообщено, якобы от имени Совдепа — занимался этим младший урядник Бурдуковский, — что заседание Совета депутатов переносится на послезавтра, на утро. Семенову очень важно было отделить казаков от Совдепа...

На следующий день Семенов заказал большой обед в казакской шашлычной, расположенной неподалеку, отправил туда казаков, а сам вместе с верным Бурдуковским поспешил в атаманский дом, где шло заседание. Председательствовал на нем человек, воспоминания о котором вызвали у Семенова изжогу, — Пумпянский.

Войдя в зал, Семенов весело потер руки:

— Ба-ба-ба, сколько знакомых лиц! — И рявкнул так, что на окнах колыхнулись занавески: — Вы арестованы! Все до единого!

Зал замер — многие знали, что шутки с Семеновым плохи, мужик он крутой: и шашкой рубануть может, и из револьвера пулюнуть прямо в физиономию... Из фронтовиков. А фронтовики — они все «нервные».

— Командира конвойной сотни — ко мне! Пусть принимает арестованных! — повернувшись к Бурдуковскому, прорывал Семенов прежним громовым голосом, затем перевел острый секущий взгляд на председателя и укоризненно покачал головой: — Ай-ай-ай, господин Пупянский...

— Не господин, а гражданин, и не Пупянский, а Пумпянский, — мрачно поправил тот.

— Все равно. Вы знаете, господин Пупянский, казаки возмущены вашими действиями против меня и не прислали на заседание ни одного своего делегата. Вам это о чем-нибудь говорит?

Пумпянский обеспокоенно закрутил головой.

— Вы — интриган! — с пафосом воскликнул Семенов и угрожающе ткнул в Пумпянского пальцем.

— Да я... — вскинулся он в председательском кресле.

— Сидеть! — рявкнул Семенов. — Объясняться будете потом, когда приговор станут приводить в исполнение! — Повернулся к людям, сидящим в зале: — Если кто-нибудь взду-

вет покинуть свое место без моего разрешения, казаки, стоящие у входа, будут стрелять без предупреждения. Ясно?

Пумпянский снова вскинулся в своем кресле.

— Сидеть! — вторично рявкнул на него Семенов. Прошел к столу председателя, положил кулаки на сукно рядом со стеклянным графином — непременным атрибутом всех горюливых заседаний — и глянул Пумпянскому в глаза: — Ну и что вы хотите со мной сделать? Рассказывайте!

У Пумпянского дрожали губы, он прикладывал к ним ладонь, пытаясь унять дрожь, но это не помогало. Пумпянский не ответил — он не мог говорить.

— Значит так, мое условие такое. — Семенов повернулся к залу. — Арестовывать вас я пока повременю. Сейчас — немедленно расходитесь по домам. Через два дня соберемся на заседание снова. При моем участии... — Он рассмеялся. — На нем мы и решим, что со мною делать. Понятно?

Из зала, сразу из нескольких мест, донеслось робкое: «Понятно».

— А теперь по домам — разойдитесь! — скомандовал Семенов.

Подобные штуки Григорий Михайлович Семенов потом проделывал не раз — он оказался великим мастером по этой части. И почти всегда — за редким исключением — выигрывал схватки.

Пока собравшиеся, опасливо косясь на крутого есаула, покидали атаманский дом, Семенов подозвал к себе Бурдуковского и приказал ему:

— Срочно собирай вещи! Через два часа мы должны покинуть Читу.

Бурдуковский помчался выполнять приказание, а Семенов, поигрывая плеткой, пошел в шашлычную к казакам: уж коли пригласил их на обед, то надо угостить станичников так, чтобы обед этот остался у них в памяти до конца дней...

Напоил Семенов земляков знатно, половина из них не могла держаться на ногах, ползала по шашлычной на четвереньках — всех напоил и накормил, сам же прыгнул в пролетку, подогнанную Бурдуковским, и понесся на станцию — надо было успеть к маньчжурскому экспрессу.

Вместе с Семеновым и Бурдуковским Читу покинул и Замкин — совдеповец боялся, что его раскроют и тогда ему не поздоровится.

Вышел Семенов из поезда в Даурии — на небольшой, неожиданно оказавшейся шумной станции. Здесь была власть казаков и никакими солдатскими комитетами да советами не

пахло. Хотя Совдеп все-таки имелся, но он влачил жалкое существование.

На следующий день в Даурии появился войсковой старшина барон Унгерн³⁸. За ним — хорунжий Мадиевский, подхорунжий Швалов и другие. Семеновцы стали собираться в кулак. Есаул не замедлил выступить перед ним с речью.

— Все, игры кончились, — сказал он. — Мы вступаем на путь вооруженной борьбы с большевиками. Они нас предали — заключили с немцами договор, которой унижает нас. Брест-Литовским называется... Как комиссар Временного правительства я отказываюсь подчиняться этой власти. У меня все!

Собравшиеся поддержали Семенова, ни один не выступил против. А младший урядник Бурдуковский, покраснев — горячая кровь у него была размешена холодом, — вскочил с места и взметнул над головой кулаки:

— Все на борьбу с большевиками!

В Даурии нашелся свой Замкин. По фамилии Березовский. Член Совдепа не только местного, но и Совдепа Читинского. Кроме того, в Даурии он занимал довольно приметную должность коменданта станции. Семенов пригласил его к себе на чай с баранками и кедровой настойкой и после десяти минут сидения за столом понял, что гость — «человек никудышный, крайне вздорный и бестолковый, но с повышенным самомнением...». Это болезненное самолюбие в свое время сослужило Березовскому плохую службу — он попал под суд, угодил в дисциплинарный батальон; после революции, избравшись из себя рьяного борца с царизмом, благополучно избавился от всех ярлыков и дисциплинарных «хвостов»...

— Я предлагаю вам перейти ко мне на службу, — сказал ему Семенов после второй стопки великолепного горького напитка, пахнущего сухими орехами и давленной тонкокожей скорлупой, глянул на Березовского в упор. У того, бедного, на лбу выступил мелкий блестящий пот.

Березовский молчал. Только кадык у него на шее дернулся вверх, потом шлепнулся вниз. Семенов, услышав влажный звук, понимающе улыбнулся.

— Как военный комиссар Временного правительства³⁹ я через несколько дней произведу вас в прапорщики, — произнес Семенов торжественно, — иначе что же такое получается: вы занимаете такую приметную должность, командуете людьми, а на погонах у вас не то чтобы звездочек — даже лычек нет... Непорядок.

По неожиданно повлажневшим и потеплевшим глазам Березовского Семенов видел — тот клячет.

— Чем я могу вас отблагодарить? — сглотнув слюну, спросил гость хриплым шепотом.

— Чита вам доверяет?

— Вполне.

— Будете передавать в Читку, в Совдеп только ту информацию, которой буду снабжать вас я. Все остальное — задерживать и класть мне на стол. Больше ничего не надо.

«Пользуясь полным доверием Читинского Совдепа, он своей тенденциозной информацией спутал все расчеты Читы, — написал впоследствии Семенов об этом человеке, — и удержал ее от активных действий против меня в такой момент, когда мою деятельность можно было легко пресечь без всяких усилий».

Ставку Семенов решил сделать на генерал-лейтенанта Дмитрия Леонидовича Хорвата⁴⁰ — управляющего КВЖД. Денег у Хорвата было много, а вот собственных боеспособных частей — ни одной. Хотя времена наступали смутные и железную дорогу надо было защищать. Поэтому Семенов собрался поехать к Хорвату с предложением сформировать отдельную казачью бригаду. Для совместных нужд, как говорится.

Для начала Семенов отправил к нему поручика Жевченко с письмами, и тот вскоре по железнодорожной связи сообщил неутешительное:

— Генерал Хорват не собирается бороться с большевиками. Собственные воинские части ему не нужны.

— Как же он в таком разе собирается защищать железную дорогу?

— Хорват ведет переговоры с китайскими властями. Предлагает им ввести свои войска в полосу отчуждения КВЖД.

Это было неприятное известие.

В это время Иркутский Совдеп, согласовав вопрос со Смольным, назначил нового управляющего железной дорогой — большевика Аркуса. Он обитал в одном из поселков КВЖД, постоянно менял квартиры и собирался ехать в Иркутск за инструкциями и соответственно — за мандатом. Семенов, узнав об этом, усмехнулся, расправил усы и подкрутил на них колечки.

Попытка смены власти на КВЖД не удалась, как потом отметил Семенов, «исключительно благодаря моему своевременному вмешательству, которое повлекло за собой окончательный мой разрыв с советской властью».

Когда поезд, на котором Аркус следовал в Иркутск, остановился на станции Даурия, в вагон, где располагался новый управляющий КВЖД, ворвалась группа казаков и выволокла новоиспеченного «генерала» на перрон. Семенов не собирался его долго держать в кутузке — ну, неделю-две, не больше: ему важно было сбить с него начальственную спесь, а если Аркус заявит, что в Иркутск не поедет — и вообще отпустить его, и сделать это незамедлительно, посадить на поезд, уходящий в глубину Китая, и помахать вслед белым платочком.

Любой нормальный человек на месте Аркуса поспешил бы принять эти условия и бегом бы устремился в поезд, уходящий на восток, но только не Аркус. Он повел себя иначе. Презрительно смерил Семенова с головы до ног и проговорил сквозь зубы, сплевывая слова, будто подсолнуховую скорлупу:

— Я вас не знаю и знать не хочу.

— Ить ты! — Семенов усмехнулся и вновь подкрутил пальцами колечки на усах.

— Вы пойдете под суд, и вместе с вами — те лица, которые незаконно произвели мой арест.

— Ить ты! — вторично усмехнулся Семенов. — Произвели! Незаконно! — Повернулся к казакам, которые привели Аркуса. — Ну-ка, станичники, перетряхните вещички этого господина. Вдруг найдется что-нибудь интересное.

Интересное нашлось. Из багажа Аркуса были извлечены бумаги, одна — по поводу Семенова, другая — Хорвата, согласованные с китайскими властями, где черным по белому было написано: есаула Семенова Г.М. следует немедленно арестовать, генерал-лейтенанта Хорвата Д.Л. с должности сместить.

Семенов повертел бумаги в руках, весело оскалил зубы и подошел к Аркусу:

— Арестовать меня, значит, вздумали?

Аркус презрительно сжал глаза в щелки, разом становясь похожим на китайца, мотнул головой. Жест был непонятным: то ли он подтверждал возможность ареста Семенова, то опровергал его, а через мгновение есаул обнаружил, что в него летит плевков.

Еле-еле Семенов от этого плевка увернулся и не замедлил ответить — в нем мигом вскипела злость, и есаул коротко, без замаха, очень умело ударил Аркуса кулаком в лицо.

— Хватит разбираться с этим сукиным сыном! — просипел он неожиданно сдавленным голосом, позвал своего верно-го урядника: — Бурдуковский!

Бурдуковский подскочил к есаулу, козырнул лихо:

— Ваше высокоблагородие!

— Что у нас с военно-полевым судом? Он существует?

Этого Бурдуковский знать, естественно, не мог; не отрывая ладони от паха, он виновато приподнял одно плечо:

— По-моему, нет.

— Отрядить трех человек в военно-полевой суд, — приказал Семенов. — Немедленно!

Этот суд из двух солдат и одного офицера собрался на станции Даурия через десять минут. Заседание проходило в кабинете Березовского. Было оно недолгим: суд на одном дыхании, едва войдя в кабинет коменданта станции, вынес вердикт: смертная казнь. Приговор был окончательным, обжалованию не подлежал и в исполнение должен был приведен немедленно.

Аркус, не ожидавший такого поворота, побледнел, лицо его сделалось потным, он знакомо мотнул головой — не верил, что его могут расстрелять.

— Напрасно, голубчик, не веришь. — Семенов усмехнулся и приказал верному Бурдуковскому: — Решение военно-полевого суда — к немедленному исполнению!

Двое казаков подхватили Аркуса под локотки и поволокли за стационарный сарай. Аркус пробовал что-то кричать, но мороз, ветер, густой дым, валивший из стационарной трубы — там только что в печь засыпали полцентнера угля, — заталкивали слова ему обратно в глотку. И Аркус, поняв, что все кончено, что он проиграл свою партию окончательно, заплакал.

Через несколько минут за сараем грохнули два выстрела, один за другим. Несостоявшегося управляющего КВЖД не стало.

Семенову было понятно: промедление смерти подобно, к Хорвату надо ехать сегодня же. Но помешали спешные дела, и выехал есаул лишь на следующий день, через сутки, в девять часов утра восемнадцатого декабря 1917 года, вместе с урядниками Бурдуковским и Батуриным прибыл на станцию Маньчжурия.

Жизнь тут была много веселее, чем на станции Даурия, — здесь имелось несколько трактиров и лавка колониальных товаров. Из российских на полках лежали спички, произведенные еще до Великой войны на станции Седанка, что под Владивостоком, — видно, закуплены были спички в количестве сверхизбыточном, раз их до сих пор не сумели распро-дать, поскольку ныне фабрика в Седанке, ставшая японской,

спички не выпускала; были еще и бабьи ленты, которыми можно и одежду украшать, и волосы подвязывать, все остальное — иностранное: слабенькое японское пойло саке, которое — тьфу! — надо употреблять горячим, твердые американские галеты, напоминающие прессованную фанеру, такие они были невкусные, австралийская ветчина в железных банках, похожих на традиционные чайные коробки, украшенные ярким рисунком, и жесткая, как железо, выелая страусятина.

Есаул, увидев страусятину, лишь изумленно покачал головой:

— Ну и ну! — Спросил у лавочника: — Сам-то пробовал?

— Пробовал, — неохотно ответил тот и испуганно покопился на дверь, словно оттуда должен был выползти злой Змей Горыныч, — мясо и мясо, не отличается от коровьего, только зубы надо иметь хорошие.

— Зубы всегда надо иметь хорошие. А чего сидишь такой невеселый? Заболел, что ли? Или плохо позавтракал? А?

Лавочник неопределенно махнул рукой:

— Вот именно, «а», господин генерал.

— Да не генерал я. — Семенов поморщился.

— Все равно — большой человек. А быть невеселым есть отчего, извините великодушно. Сегодня обещают прийти посланцы из Совдепа. Слышали о таком?

— Слышал. И видел. И в Чите, и в Иркутске. Даже близко соприкасался.

— Вот и мы с хозяином соприкоснулись.

— И что же?

— Лавку нашу сегодня собираются экс... экс... тьфу! — отплюнул лавочник, выдернул из-под весов клочок бумажки, на котором было записано трудное слово, и прочитал по слогам: — Экс-про-при-и-ро-вать. Без стакана водки не выговоришь. Неприличное слово.

— Действительно, неприличное, — согласился Семенов и, купив страусино мяса и галет, вместе со спутниками двинулся в паспортный пункт.

Под ногами остро, будто стеклянное крошево, скрипел снег. На ветках деревьев сидели голодные, по-собачьи нахлебавшиеся вороны. А вот собак не было видно. Семенов удивился этому.

— Здесь, в зоне отчуждения, полно корейцев, — пояснил Бурдуковский. — Для них собачатина — все равно что для нас парная телятина, такое же желанное блюдо. Делают они

из собачатины мясо «хе» и наедаются так, что потом на ноги подняться не могут.

— Эге! — продолжал удивляться есаул. — А я-то думаю: где собаки?

В паспортном пункте сидело два офицера.

Увидев есаула — человека, старшего по званию, — хмурым военным чиновником представился:

— Куликов!

Его коллега, молодой, румяный, с двумя серебряными значками на гимнастерке — один был университетский, второй — об окончании школы прапорщиков — также не замедлил представиться:

— Прапорщик Кюнст!

Семенов положил на стол военного чиновника свой паспорт, рядом — бумаги Бурдуковского и Батурина, взял стул и, повернув его спинкой вперед, сел, как на коня.

— Направляемся к господину Хорвату, — пояснил он, глянул в окно, неожиданно заметил там китайского солдата и заинтересовался: — Расскажете-ка, господин хороший, что тут у вас происходит? Китайцы почему-то разгуливают в зоне отчуждения, как у себя дома.

На лице военного чиновника появилась грустная улыбка, он сбил с левого погона какую-то соринку и также глянул в окно.

— Вчера сюда пришла китайская пехотная бригада. При полной выкладке. Будут разоружать наших.

— Как разоружать? — Семенов привстал на стуле, будто в стременах. — Какое право имеют эти тыквенные головы разоружать наших солдат?

— Господин есаул, революционные преобразования доказались из России и сюда, на КВЖД. Никому ни до чего нет дела. Власть бездействует, железнодорожная рота и ополченческая дружина, составляющие гарнизон города, полностью деморализованы, на всех заборах, как воробьи, сидят и горланят агитаторы, в городе — грабежи, убийства, ночью за порог дома выйти нельзя... А-а! — Лицо военного чиновника исказилось, он отвернулся в сторону, расстроенный. — В общем, китайцы решили взять власть в свои руки, разоружить гарнизон и навести в городе порядок.

— Китайцы... Чтобы они разоружали русских?! — негодуя воскликнул Семенов. — Этого еще не хватало! — Словно о чем-то вспомнив, он достал из кармана кителя мандат, полученный им в Петрограде, положил на стол перед военным чиновником.

Тот медленно зашевелил губами:

— Военный комиссар Дальнего Востока. — Краска прилила к его лицу, и Куликов поспешно вскочил с места.

— Сядьте! — сказал ему Семенов. — Пригласите-ка лучше ко мне сюда, в здание станции, начальника китайского гарнизона, командира бригады, начальника дипломатического бюро Цицикарской провинции с драгоманом⁴¹, городского голову и начальника милиции.

Военный чиновник лихо щелкнул каблуками, перевел взгляд на прапорщика:

— Кюнст, выполняйте приказание!

Кюнст вскочил с обрадованным видом, как и его начальник, щелкнул каблуками и, сдернув со старой рогатой вешалки шинель, исчез.

— М-да, и вас, оказывается, тоже разложили большевики, — удрученно протянул Семенов, пригладил ладонью усы.

В разговоре он не сразу обнаружил, что сзади, в самом темном углу, у весело потрескивающей поленьями печки сидит еще один человек и неотрывно глядит на огонь. Поручик с седыми висками словно погружился в этот огонь целиком, стал частью его и на людей, заходивших в паспортный пункт, не обращал внимания.

Печать беды лежала на твердом, изрезанном морщинами лице этого человека — хорошо знакомая Семенову по фронту. Люди с такой меткой обязательно погибали в ближайшем бою. Семенову сделалось душно, и он повел головой в сторону, пытаясь освободить себе горло. Это не помогло, Семенов расстегнул на воротнике кителя крючок.

— Что-то случилось, поручик? — спросил он.

Вместо поручика ответил военный чиновник:

— Случилось. В нашем здании, на втором этаже, заседает революционный трибунал — солдаты судят поручика Егорова...

— Вас, значит? — Семенов ткнул пальцем в сидящего у окна офицера.

— Так точно, — ответил военный чиновник.

— И за что, простите великодушно... судят?

— Ни за что! — У Куликова от возмущения даже задергалась одна бровь. — За то, что отказался выполнять приказания разложивцев и дезертиров.

— Понятно, — тихо и очень отчетливо произнес Семенов, потискал рукою воздух, словно разминал застоявшиеся пальцы, выкрикнул зычно, будто в атаке: — Бурдуковский!

Урядник словно из воздуха возник, только что не было его, отирался на перроне станции — и вот он, уже стоит посреди комнаты.

— Я!

— Встань у дверей с винтовкой и никого сюда не впускай. Если явятся господа-товарищи за поручиком Егоровым — гони их в шею. Не послушаются — можешь врезать прикладом по зубам. Понял?

— Так точно!

— Действуй! — Семенов повернулся к поручику: — Не бойтесь никого и ничего. И тем более — самозванного революционного суда.

Через двадцать минут на лестнице послышался топот, дверь в приемной с треском распахнулась, раздались возбужденные голоса. Бурдуковский, державший винтовку у ноги, напрягся. Семенов со скучающим видом отвернулся к окну — в окно была видна колониальная лавка. Ее деревянная дверь, на манер сундука окованная рисунчатými полосками меди, открылась, и на улицу вывалился спустрый старичок. В руке он держал новенький кожаный баул ядовитого оранжевого цвета. Похоже, это был хозяин лавки, в которой Семенов купил два фунта вяленого страусиногo мяса. За хозяином торопливо потрусил тонконогий рыжеголовый паренек в треухе, сброшенном с головы на спину, — треух держался на матерчатых завязках, затянутых спереди в узелок.

Из приемной послышались крики.

— Бурдуковский, выйди разберись! — приказал Семенов.

Урядник решительно шагнул за дверь. Крики в приемной усилились, но через полминуты все стихло.

Семенову в окно было видно, как на улицу вывалился спутанный клубок, из которого с трудом выбрался здоровенный детина с испачканным чем-то темным лицом, прокричал высоким встревоженным голосом:

— Казаки!

Клубок рассыпался, пространство перед окном расчистилось. Бурдуковский вернулся в комнату.

— Ну и что? — спросил у него Семенов.

— Как вы и благословили, ваше высокоблагородие, прикладом дал по зубам. Пришлось.

— Подействовало?

— Еще как!

Семенов вновь повернулся к поручику:

— Повторяю, не бойтесь никого и ничего.

Егоров отозвался голосом тихим и благодарным:

— Я в полном вашем распоряжении, господин есаул.

— А вот это — любо! — Семенов употребил любимое слово донских казаков. — Ваша помощь мне понадобится.

Тем временем Кюнст привел в станционное здание китайских чиновников и начальника городской милиции — низенького кривонногого капитана с рябым, посеченным оспой лицом.

— Прошу, господа! — послышался бодрый голос Кюнста. — Прошу! Господин комиссар Временного правительства России находится в паспортном пункте. Направо, пожалуйста!

Группу китайцев возглавлял генерал Ган — мешковатый человек с опухшими подглазьями и вялым ртом, украшенным щеточкой усов. Именно ему было дано указание разоружить гарнизон Маньчжурии — полторы тысячи человек; останавливало Гана пока одно: сил у прибывшей пехотной бригады было для этого мало. Генерал ждал подкрепления.

— Не надо никаких подкреплений, — напористо начал атаку Семенов, — русских должны разоружить русские, и я это сделаю сам. Лично. Если их будут разоружать китайские солдаты, то может пострадать мирное население. Согласны, господин генерал? — спросил он у Гана.

Подумав немного, генерал наклонил голову — согласен, мол, затем поинтересовался глуховатым, чуть подрагивающим от возраста голосом:

— А как вы собираетесь это сделать, господин комиссар? У вас же для этого сил тоже недостаточно, вам нужен хотя бы полк...

— Полк будет. Это вопрос несложный, полк мне надо будет срочно перекинуть сюда со станции Даурия.

— А одного полка хватит? — спросил Ган.

— Если не хватит — буду просить помощи у вашей бригады.

— Помощь будет оказана, — пообещал Ган.

Семенов блефовал: весь его «полк» вместе с Бурдюковым и Батуриным состоял всего из семи человек. Еще трое были направлены в разные места с письмами, один казак находился в Харбине вместе с поручиком Жевченко.

— Мне нужен транспорт, — потребовал Семенов.

— Он будет вам предоставлен, — почти автоматически пообещал китайский генерал.

— Тридцать теплушек, оборудованных нарами и печками...

— Дадим, — охотно ответил Ган, и Семенов понял, что меньше всего этому старому человеку хотелось заниматься тем, к чему его приставили — ратным делом, войной. — Если надо сорок

или сорок пять теплушек, оборудованных этими самыми... диванами — дадим сорок пять. Назовите номер полка.

— Полк именной, такие в русской армии номеров не имеют. Называется — Монголо-Бурятский.

Генерал задумался, он о таком полке не слышал, но в следующий миг вяло махнул рукой — ладно!

На том совещание закончилось.

Через час в распоряжение Семенова были предоставлены тридцать теплушек, прицепленных к старому зеленобокому паровозу — пассажирскому, когда-то водившему составы в Париж. Семенов написал письмо Унгерну и вызвал к себе Бурдюковского.

— Срочно отправляйтесь с поездом в Даурию. Это — лично в руки войсковому старшине барону Унгерну, — отдал письмо Бурдюковскому. — В случае опасности письмо надо немедленно уничтожить.

Суть авантюры была проста: Семенов просил Унгерна собрать имеющихся на станции Даурия его людей (всего получалось семь человек, Семенов подсчитал точно), посадить их по теплушкам, во всех вагонах, затопить печки-буржуйки и зажечь свечи — то есть создать впечатление, что в составе полно людей, и прибыть на станцию Маньчжурия.

Ну, а как сложатся дела здесь, будет видно. Батурину же Семенов велел потолкаться в людных местах Маньчжурии и везде сообщать как бы невзначай, что на подходе Монголо-Бурятский полк.

В четыре часа утра девятнадцатого декабря состав с «полком», пыхтя, окутываясь белыми клубами пара и лязгая сочленениями, прибыл на станцию Маньчжурия. Есаул уже ожидал его. Было морозно, снег громко визжал под подошвами, от этого визга хотелось зажмуриться. Дышалось легко. У Семенова было хорошее настроение. Едва состав затормозил у воинской платформы, есаул выставил около него двух казаков с винтовками.

— Если кто будет подходить и любопытствовать, что за состав, отвечайте: «Прибыл Монголо-Бурятский полк», — напутствовал он казаков.

— Ясно, ваше высокоблагородие. Но ежели публика начнет интересоваться, почему двери теплушек закрытые, тогда что отвечать?

— Какой же дурак станет распахивать двери настежь в сокоградусный мороз? На улице — со-рок! Да ветерок еще тот... маньчжурский. А?

Семенов с казаком Батуевым поехал разоружать дружину, Унгерна — также с одним казаком — отправил в железнодорожную роту, хорунжему Малиевскому дал список с адресами и велел ехать по квартирам. Наказал:

— Это список наиболее отъявленных большевистских горлопанов. Если будут брыкаться — не стесняйтесь бить по зубам. Всех арестовать и — на вокзал.

На вокзале, на главном пути, около самой станции, уже стоял длинный состав, приготовленный для «разоруженцев» — их надо было немедленно вывезти в Россию.

— И без них хватит здесь вони! — резко высказался о них Семенов.

Капитан Степанов, начальник местной милиции, должен был помочь Унгерну, но, узнав, какими силами барон собирается разоружать целую роту, нехорошо побелел рябым лицом. У него даже губы затряслись от страха.

— Капитан, проверьте у себя штаны, — посоветовал барон, но Степанов на это никак не отреагировал, словно ослеп и оглох, и тогда Унгерн, не долго думая, отделал его ножнами пашки.

После этого капитан повесив голову, понуро поплелся вслед за бароном в казарму железнодорожной роты.

«Как я и ожидал, разоружение произошло быстро и легко, без всяких инцидентов, — написал впоследствии Семенов, — если не считать попытку одного из членов комитета дружины призвать растерявшихся товарищей к оружию. Призыв этот, однако, успеха не имел, так как винтовки были уже заперты нами на цепочку и около них стоял мой Батуев с ружьем на изготовку и взведенным на боевой взвод курком. В то же время, вынув пистолет, я объявил во всеуслышание, что каждый, кто сделает попытку сойти с места, будет немедленно пристрелен.

Я обратился к солдатам с соответствующей речью, объявив им именем Временного правительства о демобилизации и отправлении их по домам, причем дал 20 минут на сборы, объявив, что каждый опоздавший будет арестован и предан суду.

Услышав об отправке домой, солдаты повеселели и быстро начали свертывать свои пожитки и упаковывать сундучки. Через полчаса все было готово. Я выстроил дружину во дворе, рассчитал по два и повел вздвоенными рядами к вокзалу, оставив Батуева окарауливать казарму. На вокзале я подвел свою колонну к эшелону, уже готовому к отправлению, рассадил солдат по вагонам, назначив старших на каждую теп-

лушку. К этому времени и барон Унгерн привел разоруженных им солдат в количестве нескольких сот человек, которые также были размещены по теплушкам. От каждого десятка по одному человеку было командировано за кипятком, и вскоре все было готово к отправлению эшелона...

— Не хватало только хорунжего Малиевского, который должен был арестовать агитаторов и лидеров местных большевиков.

В конце концов прибыл и Малиевский — высокий усатый казак с наганом в руке, перед ним тащилось несколько сторбленных людей неопределенного возраста с испуганными лицами.

— Этих — в отдельную теплушку, — скомандовал Семенов. — И на дверь — пломбу, чтобы никто из них до места назначения и носа не высунул. — Он заглянул в теплушку, встретился глазами с печальным бородатым господином в каракулевой шапке-пирожке. Это был местный учитель. — Вы должны быть горды, что въедете в Россию в запломбированном вагоне, — сказал он учителю, большому любителю, как сказывал военный чиновник Куликов, поговорить на сходках о светлом будущем человечества, — ваш вождь Ульянов-Ленин также въехал в Россию в запломбированном вагоне. — Семенов засмеялся и тихонько похлопал ладонью о ладонь.

Учитель что-то пробурчал под нос и отвернулся от есаула.

— А морду воротить необязательно, — сказал ему Семенов. — Кстати, вы не знаете, почему ваш вождь избрал себе такой псевдоним — Ленин? Почему не Олин, не Манин, не Авдоткин, а Ленин? У него что, жена — Лена? Или та, которая ложится в постель вождя? Может быть эта дамочка — Лена?

Учитель молчал, он не хотел опускаться до общения с издавающимся над ним есаулом.

— Не хотите разговаривать? — В голосе Семенова послышались укоризненные нотки. — Напрасно! — Он повернулся к Бурдуковскому, стоявшему рядом и держащему в одной руке большой пломбир, похожий на кузнечные щипцы, и снизу свинцовых пломб — в другой, приказал: — Пломбируйте вагон, урядник. А господин Куликов пусть приклеит на дверь бумажный квиток и шлепнет на него печать. Открыть вагон разрешается только на станции Борзя. Отправление эшелона — в десять ноль-ноль. А станция Борзя — это во-он он где, за десятью землями, аж под самой Читой.

Конвоировал эшелон из тридцати семи вагонов всего один человек, подхорунжий Швалов, широкоплечий низенький казак с маленькими глазами-укусами: глянешь в них — обязательно уколешься. Он мрачно оглядел теплушки и поскреб пальцами голову — задание было ему явно не по душе.

— Эшелон пойдет до Борзи без остановок. Поедете на тормозной площадке, — сказал Швалову есаул. Казак, услышав это, невольно поежился: это же на семи ветрах, просквозит так, что все косточки будут звенеть, словно стеклянные. Семенов продолжил: — На станции Даурия машинист замедлит ход — прыгнете. Задача ясна?

Швалов молча, не по-уставному, кивнул.

Когда паровоз дал прощальный гудок, Семенов прокричал зычно, чтобы его было слышно во всех тридцати семи теплушках:

— Предупреждаю — если кто-то вздумает покинуть вагон по дороге, охрана будет стрелять без предупреждения. Это всем понятно?

Все тридцать семь вагонов хранили молчание.

— Тогда вперед, в Россию, на сытые красные харчи! — Семенов махнул рукой, давая команду отправляться.

Паровоз вновь дал гудок, с макушек деревьев посыпался снег, и вагоны, жестко стуча колесами на стыках, поползли на запад, скрывшись в розовом морозном тумане.

— Бай-бай! — сказал Семенов на прощание и отправился греться в помещение паспортного пункта.

Начальнику КВЖД Семенов отправил телеграмму: «Харбин. Генералу Хорвату. Разоружил обольщившийся гарнизон Маньчжурии и эвакуировал его в глубь России».

Вскоре со станции Борзя поступило сообщение, что эшелон благополучно прибыл...

Тем временем вспухла еще одна «болячка»: местный Совет неожиданно сошелся в здании железнодорожного собрания на некую «сидячую сходку», и, как почувствовал есаул, речь на этой сходке должна будет идти о нем. Семенов заслал на это собрание своего человека, «казачка» — поручика Алексева. Тот все выяснил и едва ли не с боем, выдернув из кобуры пистолет, выбрался из битком набитого помещения.

Оказалось, на повестке дня у местного Совдепа, еще вчера беззубого, вялого, стояло два вопроса. Первый — «О нарушении революционных свобод есаулом Семеновым и об отношении к нему в связи с этим» и второй — «О разгоне Учредительного собрания в Петрограде большевиками»⁴². Узнав об

этом, Семенов медленно, будто получил удар в лицо, подвигал нижней челюстью: а ведь этот Совет еще день назад искренне благодарил его за то, что он очистил город от «разнузданных солдат». Только что хвалили решительного есаула, и вона — развернулись на сто восемьдесят градусов. Перевертыши! Есаул выматерился и скомандовал зычно, будто вел сотню в атаку:

— Офицеры, к оружию!

К Семенову тем временем присоединились офицеры Маньчжурского гарнизона — винтовки схватили человек двенадцать. А вообще, народу набралось столько, что едва вместились на двух извозчиках.

Около здания железнодорожного собрания было тихо, все находилось в зале, заседали. Семенов ехидно усмехнулся:

— Ну-ну!

У всех выходов он поставил офицеров, а сам в сопровождении подполковника Скипетрова, подьесаула Тирбаха и поручика Цховребашвили стремительно вошел в зал, на ходу передернул затвор винтовки, загоняя патрон в ствол, легко взбежал на сцену. За маленькой трибункой, украшенной красной лентой, какими девочкам-модницам родители на рождественские праздники обычно подвязывали волосы, стоял сухонький человек в очках, с желчным цветом лица и как раз разглагольствовал о Семенове.

Семенов, оказавшийся тут как тут, смерил оратора презрительным взглядом и направил на него ствол винтовки:

— Руки вверх!

Оратор поперхнулся, пропищал что-то немощно, заданно, чужим голосом и сполз под трибуну.

Был оратор, и не стало его.

— Так будет со всеми! — рявкнул Семенов, взглядываясь в зал. — Со всеми, кто пойдет против меня и моей воли... Понятно? Руки, руки! Почему руки не все подняли? Я же русским языком приказал: всем поднять руки. Всем, а не только этому жалкому ораторишке. — Он заглянул под кафедру — оратора там уже не было.

В проходе встали с винтовками трое офицеров — спутники Семенова, — они были готовы стрелять.

Собравшиеся неохотно подняли руки; Семенов, со сцены увидев, что руки подняли все до единого, подал следующую команду — как на учениях:

— А теперь по одному подходите к сцене и сдавайте оружие. Если кто-то вздумает опустить руки — будем стрелять не

замедлительно. Все это слышали? Выстраивайтесь, господа большевики, в цепочку и по одному ко мне... Сдавайте-ка ваши стволы-стволы. И не шалите, не шалите. — Семенов pistolетом погрозил залу. — Я шалостей не люблю. Когда сдадите оружие, поговорим, как мне надлежит вести себя дальше.

Очередь в гнетущем молчании медленно двигалась к сцене, гулко шлепались на деревянный настил «стволы-стволы». Чего тут только не было! Один бравый дедок в железнодорожной фуражке с бархатным околышем сдал даже длинный, с посеребренным стволом дульный pistolет пушкинской поры; Семенов подхватил его, осмотрел — редкое оружие.

— Ты, старик, эту пищаль случайно не из музея уволок?

— Я, ваша степенность, никогда ни у кого ничего не волок, в жизни такого не было, — обиженным тоном ответил дедок. — Не приучен.

— Ить ты, какой сердитый! — Семенов рассмеялся.

Дедок отошел в сторону. Зал был гулким — слышен каждый шепот, каждый чих, каждое шарканье подошвы, и в этой гулкой недоброй тиши очень громко, отчетливо просипел шамкающий немощный голосок:

— У меня руки болят, разрешите их, гражданин начальник, опустить.

Похоже, именно в ту пору родилось знаменитое выражение — «гражданин начальник», хорошо знакомое не только уркам всех мастей, но и широкому кругу профессионалов — прокурорам, следователям, милиционерам, которых в двадцатые годы из-за их фуражек стали звать «снегирями», а чуть позже резко и презрительно: «мусорами», а также журналистам, пишущим на криминальные темы, и просто любопытствующим обывателям.

Есаул поискал глазами владельца немощного шамкающего голоса. Это был сгорбленный, совсем не старый человек с высокими потными залысинами на крупной голове, в затерханном пиджачке и скрюченными, очень большими руками. Если такой дядя сожмет пальцы в кулаки, то каждый кулак будет не менее лошадиной морды. Семенов даже присвистнул про себя: видно, когда в детстве растили, выкармливали этого человека, в чем-то ошиблись — корм пошел не в тело, а в кулаки.

— Разрешите опустить руки, гражданин начальник, — вновь раздался его шамкающий голос.

— Нет! — резко ответил Семенов. — Опустить — буду стрелять.

— У меня руки затекли, не могу держать...

— Нет! — рявкнул есаул. — Не надо было такие хомуты отращивать... Руки можно опустить, лишь когда будет сдано все оружие. Выход один — сдавать свои pistolетики быстрее.

Через пятнадцать минут на сцене лежала вся «карманная артиллерия» собравшихся. Семенов пересчитал оружие, цифра оказалась внушительной — девяносто стволов.

— Неплохо, однако, вы вооружились, — проговорил Семенов, устраиваясь за хлипкой кафедрой, — но оружие это вам не понадобится. Если снова возьметесь за него — будете иметь дело с регулярной армией и со мной лично. Понятно?

Зал угрюмо молчал.

— Я спрашиваю, это вам понятно? — повторил вопрос Семенов.

— Да куда уж, — наконец послышался одинокий голос. Прозвучал он негромко, но акустика усилила голос, он донесся до каждого в зале.

— Вот и хорошо, — удовлетворенно произнес Семенов. — За незаконное ношение оружия наказывать на сей раз никого не буду, но в следующий раз, если попадетесь — пеняйте на себя. Судить буду по законам военного времени. Это первое. Второе. Я считаю, нельзя такой важный вопрос, как разгон Учредительного собрания в Петрограде, отодвигать в дальний угол и отдавать пальму первенства обсуждению моей скромной персоны. Поэтому я предлагаю выслушать сообщение подполковника Скипетрова, который лишь сегодня ночью вернулся из Иркутска... В Иркутске, да будет вам известно, питерские события повторились. Есть возражения?

Зал угрюмо молчал.

— Не слышу что-то бодрых голосов, криков «ура» и вообще... Никакого воодушевления что-то нет в вас, господа большевики. Что-то вы увяли. — Семенов повернулся к подполковнику: — Господин Скипетров, начинайте!

Пока Скипетров выступал, положив поперек трибуны винтовку, вглядываясь в темные напряженные лица и фиксируя каждое движение, Семенов изучал проворно выскользнувший из-под тяжелой широкой кулисы и подкатившийся прямо к ногам есаула бумажный шарик. Семенов поднял шарик, развернул.

Это был список большевиков, находившихся в зале, тех, кто не попал в вагон, ушедший в Россию. Список уместился на маленьком клочке бумаги — и состоял всего из восьми фамилий. Семенов повертел его в руках, поиграл желваками. Вгляделся в зал. Ему было интересно угадать, как же выгля-

дят большевики, какие они? Вон тот, с небритой квадратной челюстью и маленьким лобиком, одетый в пиджак, сшитый из дешевой «чертовой кожи» — точно большевик. Или нет? Не угадаешь, но похож очень. Или вон тот, смахивающий на большую мрачную птицу, с маленькими, будто у рыбы-пескаря, глазками...

Есаул прошелся взглядом по залу, выбирая наиболее приметные лица, остановился на гривастом старике, седые волосы которого, будто у священника, пластались по плечам, потом задержался на худощавом человеке в пенсне, с интеллигентным лицом, очень похожим на доктора Чехова, следом — на студенте в дохлой, подбитой «рыбьим мехом» шинельке, украшенной погончиками горного института, подумал, что все эти люди бросаются в глаза, а большевики вряд ли будут приметными, они ведь мастера конспирации, и интерес его к этим людям, к угадыванию невиданно пропал. Остались только усталость да какая-то невнятная досада, ощущение того, что вся борьба его будет напрасной, и это неясное ощущение тревожило, пожалуй, больше всего.

Когда подполковник закончил речь и, ловко подхватив винтовку, сошел с кафедры, встал на изготовку сбоку, Семенов взгромоздился на невзрачную хлипкую трибунку, сжал пальцами узенькие борта, вглядываясь в зал, выдержав паузу, спросил тихо, словно обращаясь к самому себе:

— Большевики — члены партии среди вас есть?

Зал молчал.

Семенов повторил вопрос, на сей раз громче:

— Большевики — члены РСДРП среди вас присутствуют? Зал и на этот раз промолчал.

— Ладно, — примирительно произнес Семенов, развернул бумажку со списком, пробежался глазами по столбику фамилий и сунул ее в карман. — Объясню свое отношение к большевикам. Большевиков я не то чтобы не люблю — я их ненавижу. Разделяю большевиков на три категории. Первая — сознательные изменники и предатели типа Ленина, которых я буду уничтожать совершенно беспощадно; вторая категория — мерзавцы такого же ранга, только не идейные — они примкнули к большевикам ради собственного благополучия и выгоды... Этих я также буду безжалостно уничтожать. Третья категория — дураки и ослы, примкнувшие к большевикам по глупости и неспособности разобраться в сущности большевизма. Их я готов простить, если они искренне осознают свое заблуждение и признаются в этом...

Семенов вновь выдержал паузу, как актер, хорошо владеющий сценическим мастерством — не подозревал он, что у него обнаружатся такие способности, — похмыкал в кулак и достал из кармана бумажку со списком. Развернул ее.

— Значит, так... Карушидзе! — Поднял глаза, всмотрелся в зал: где тут находится большевик Карушидзе. Повысил голос: — Ну!

Наконец в середине зала поднялся щуплый, заморенный человек комплекцией не больше воробья, глянул настороженно на есаула.

— Выходи на сцену, — махнул тот рукой. — Становись рядом с трибуной. — Снова глянул в бумажку. — Колмаков.

Поднялся высокий плечистый парень с худым лицом и щелью во рту — два передних зуба у него были выбиты.

— На сцену! — приказал Семенов, выкликнул следующего: — Блаунштейн! — Подумал, что такую фамилию может носить местный доктор, но оказалось, что ее обладатель — счетовод на здешней лесопилке и он как две капли воды похож на Карушидзе, словно они были близнецами-братьями. — Лукин! На сцену! — Семенов сделал повелительный жест.

Через пять минут вся фракция большевиков местного «Учредительного собрания» оказалась на сцене. Есаул прошелся вдоль шеренги, внимательно рассматривая каждого. Хмыкнул:

— Хор-роши гуси! — Остановился на краю сцены, качнулся с каблучков на носки сапог. — Давайте решим, что с вами, господа члены РСДРП, делать? То ли сразу поставить к стенке по приговору полевого казачьего трибунала, то ли отпустить на все четыре стороны?

Стоявший ближе всех к трибуне Крушидзе побледнел. Блаунштейн сглотнул слюну и проговорил едва слышно, сдавленным голосом:

— Отпустить!

— Правильно, вас надо отпустить, — неожиданно благодушным тоном произнес Семенов, — и вы свою коммунистическую заразу понесете дальше... Э? — Есаул весело хлопнул в ладоши. Звук получился громким, как выстрел.

Карушидзе съезжился. Счетовод держался лучше, после хлопка только отвел глаза в сторону, его губы задрожали — неглупый Блаунштейн понял, что казаки могут расстрелять всех восьмерых и надо спасать жизнь. Семенов сделал еще один проход вдоль шеренги, остановился около Карушидзе.

— Вот вы, господин-товарищ по фамилии... — Семенов заглянул в свою мятую бумажку, — Карушидзе... Вы к какой категории большевиков относитесь — к первой, второй или третьей?

— К третьей, — не задумываясь, на едином дыхании ответил Карушидзе.

— Значит, признаете, что вы дурак?

— Признаю.

— Признаете, что вы кто? Полностью, пожалуйста!

— Признаю, что я — дурак.

— Отлично, — весело проговорил Семенов и снова с пистолетным звуком хлопнул ладонью о ладонь. — Хэ! Дурак, который признает, что он дурак, — уже не дурак. — Семенов остановился около парня с выбитыми зубами. — А вы, Колмаков?

— Отношусь к третьей категории большевиков, — ровным, очень спокойным голосом произнес тот.

«Врешь ты все, братец, — незамедлительно отметил про себя Семенов, — врешь, не верю я тебе», — но вслух проговорил:

— Хорошо, верю. А вы, господин-товарищ Блаунштейн? — Семенов остановился около счетовода. Рот у счетовода дрожал. — Хэ?

— И я... Я тоже отношусь к третьей...

— Как мясо третьего сорта... Ни в суп, ни в жарено употреблять нельзя. Так?

— Так, господин есаул.

— Люблю чистосердечные признания!

Семенов вновь прошелся вдоль всей шеренги, и все восемь человек ответили, что они в партию свою попали по дурости. Случайно. Ослы они, дураки, верно сказал господин есаул.

— Я вас отпускаю, — великодушно произнес Семенов. — Но предупреждаю: если где-нибудь когда-нибудь засеку на большевистской сходке или поймаю с оружием в руках — пощады не ждите. Разойтись мирно, как сегодня, не удастся. Что же касается вашего отношения ко мне, — Семенов повернулся к залу и всмотрелся в него. Вдоль рядов стояли офицеры с винтовками. Есаул специально выдерживал паузу — такие паузы сильно действовали на людей, и ему это нравилось, — того, что я зажимаю ваши революционные свободы, то у меня к вам один вопрос: хотите, чтобы уехавшие солдаты вернулись и вновь воевали в городе?

— Нет, — раздался в зале одинокий голос.

— А то ведь им очень нравилось избивать прохожих, отнимать у них последние деньги, измываться над молодухами,

грабить лавки, прихватывать с собой все, что плохо лежит... Они были бы не прочь вернуться в Маньчжурию и продолжить все это.

— Не надо! — прозвучал все тот же одинокий голос в зале.

— Вот эти революционные свободы я и ограничил. Других ограничений не будет.

Зал зашумел, заволновался. Одна его часть поддерживала есаула, другая осуждала, но все же тех, кто поддерживал, было больше. Семенов посмотрел на зал, стукнул кулаком по хлипкой трибунке, едва не развалив ее, и объявил:

— На этом заседание считаю закрытым.

Через четыре дня из Харбина от генерала Хорвата пришла ответная телеграмма: «Есаулу Семенову, Маньчжурия. Прошу не препятствовать населению устраивать свою жизнь путями, предвещенными Временным Всероссийским правительством. Хорват».

После этой телеграммы ехать к управляющему КВЖД расхотелось, да и смысла никакого не было — с Хорватом все было ясно. Нужно было искать других вождей, другие деньги. В тот же день Семенов узнал, что в Шанхае находится адмирал Колчак, и попросил поручика Жевченко немедленно выехать к нему — было бы здорово, если бы адмирал прибыл в Маньчжурию и возглавил борьбу с большевиками. Вот это был бы фокус! Однако адмирал приехать отказался — вместо себя прислал Семенову телеграмму с вежливыми, ничего не значащими словами и пожеланием успеха. Есаул подержал телеграмму и, скривив губы, выругался:

— Чистоплюй!

Но были и удачи, жизнь ведь — полосатая штука, за темными полосами обязательно следуют светлые: на станцию Маньчжурия неожиданно прибыл транзитом из Сибири итальянский батальон, сформированный из пленных. Командовал батальоном майор со звонкой фамилией Гарибальди. Семенов незамедлительно пригласил его на обед в лучший ресторан города. Майор оказался человеком обаятельным, податливым, все понимал с полуслова. Спешить ему было некуда, на родину возвращаться было еще рано, ведь Первая мировая война не закончилась и соотечественники майора молотились на различных фронтах до изнеможения, поэтому Гарибальди решил поступить на службу к Семенову.

Формирование огромной семеновской армии продолжалось.

Вернувшись вечером в номер гостиницы, есаул положил перед собой лист бумаги и написал на нем: «Мои враги (декабрь 1917 г. — январь 1918 г.)». Задумчиво погрыз кончик ручки. Тяжелая это штука — писанина. Потом решительно провел под заголовком одну линию, за ней другую и третью. После скобок поставил восклицательный знак, через минуту добавил еще два знака. Снова подумал о том, что пером царапать — не пашкой махать. Дело это тяжелое. Поставил цифру один и написал: «Генерал Хорват плюс маньчжурская общественность».

Впоследствии из-под пера Семенова появились такие строки: «Мои отношения с генералом Хорватом состояли из сплошных недоразумений, т. к. генерал, дороживший своей дружбой с китайцами, весьма косо смотрел на мою работу среди монгол, вызывающую острое недовольство китайских властей».

Следом Семенов вывел цифру два. Задумался.

В дверь раздался тихий, какой-то излишне аккуратный стук. Есаул посмотрел на револьвер, лежавший в стороне от бумаг, сунул его под расстегнутый китель за ремень и тихо прошел к двери. Рывком открыл. За дверью стоял морщинистый, с улыбкой от уха до уха китаец. Поклонился Семенову в пояс:

— Мозет, каспадина хочет цаю?

Семенов резко захлопнул дверь и уже из-за нее проговорил:

— Не надо, бачка!

Снова сел за стол. Цифру два обвел кружком и написал: «Китайцы».

Когда Семенов всерьез занялся писательством, он заметил по поводу китайцев: «Вторая группа, опасавшаяся меня и старавшаяся помешать созданию моего отряда, возглавлялась тогдашним командующим китайскими войсками в Маньчжурии. Он поверил заявлению большевиков об отказе их от прав России на КВЖД и смотрел на меня, как на препятствие к полному подчинению Маньчжурии китайской администрации. Отношения с ним так и не наладились, и только замена его другим генералом разрядила остроту обстановки...»

Семенов вывел цифру три и, не раздумывая ни секунды, стремительно, заваливающимся от быстроты вправо почерком написал: «Большевики».

С большевиками ему было все ясно: они есаулу Семенову — враги до гроба.

...Следом за Маньчжурией Семенов разоружил гарнизон в Хайларе, где находилась железнодорожная бригада и конные части Корпуса пограничной стражи. Все было сделано по тому же сценарию, что и в Маньчжурии.

Китайские военные в этот раз восприняли разоружение болезненно, но виду не подали. А вскоре барон Унгерн, которого Семенов назначил комендантом Хайлара, был ими арестован. Сделали это китайцы по-восточному, с улыбкой...

В Хайларе на сторону Семенова перешла конная сотня штабс-ротмистра Межака и двести пятьдесят человек баргутов — монголов, живущих в Барге, а с правителем Барги, князем Гуй-фу, Семенов был знаком давно и поддерживал добрые отношения. Из баргутов Семенов образовал дивизион — первую полновесную боевую единицу, вошедшую в состав Монголо-Бурятского полка.

Унгерн взял с собою сто пятьдесят человек из этого дивизиона и переместился на следующую станцию КВЖД — Бухэду. На перроне Бухэду его встретили кланяющиеся, улыбающиеся китайцы, угостили стопкой рисовой водки и каким-то сладким, начиненным курятиной пирожком. Унгерн стопку опрокинул лихо, остатки — несколько капель — выплеснул себе на ладонь и смазал усы, затем съел пирожок и выжидающе глянул на китайцев. Произнес довольно:

— Ох, хорошо!

— Харасо, харасо, — закивали китайцы. — Это мы у русских научились так встречать дорогих гостей — воткой и хлебом. Мы лювим российские обыцаи. А вы?

— И мы любим, — подтвердил Унгерн.

— Поэтому, согласно российским обычаем, просим позаловать на опед к нацальнику нашего гарнизона.

И Унгерн пошел на обед. Сделал ошибку — ему показалось, что обстановка благодушная, располагает к милой беседе на международные и прочие темы, он размяк и принял приглашение.

Начальник гарнизона оказался очень приятным человеком. Это был рослый китаец с широким лицом и большой лысиной, которая у него смыкалась с затылке. Стол был накрыт в темной комнате, завешенной бамбуковыми шторами. Хозяин поклонился Унгерну и указал на стул:

— Прошу!

Унгерн сел, огляделся.

— Славно у вас тут...

— Да-а, — неопределенно отозвался китаец, — тепло.

— И тепло, — согласился Унгерн.

Солдат перед ним поставил чашку с теплой водой, заправленной несколькими дольками лимона, протянул полотенце. Унгерн вымыл руки. Похвалил:

— Хорошее дело. В походах мы обычно снегом обходимся.

— Мы тоже, — произнес начальник гарнизона ровным приятным голосом. Русский язык он знал прилично — видимо, давно работает в зоне отчуждения КВЖД, — в разговор включался охотно, но на гостя поглядывал исподлобья, настороженно, и этот его взгляд рождал в Унгерне неясную тревогу. Впрочем, это неприятное ощущение вскоре пропало — раза два шевельнулось что-то в душе, и только...

Подали куриную похлебку, заправленную острым соусом.

— Люблю китайскую кухню! — искренне проговорил Унгерн, ухватил полотенце, которым только что вытирал руки, и заткнул его за твердый стоячий воротник кителя.

— Китайская кухня — хорошая кухня, — подтвердил начальник гарнизона, глянул остро на гостя и тут же прикрыл глаза тяжелыми, складчатыми, как у черепахи, веками. Лысина его при свете двух ярких ламп блестела будто лакированная. — Лучшая кухня в мире.

— Самая изобретательная, — поправил Унгерн, — изобретательнее кухни, чем китайская, в мире действительно нету.

Едва была съедена куриная похлебка, как в комнату вошел высокий молодой офицер и что-то сообщил начальнику гарнизона. Унгерн пожалел, что не знает китайский язык, но тем не менее в певуче-лающих словах неожиданно обнаружил что-то угрожающее для себя.

Так оно и оказалось. Начальник гарнизона поднялся из-за стола и вежливо поклонился Унгерну:

— Обед окончен.

Тот растерялся:

— Ка-ак? А второе?

— Второго не будет. Вы арестованы. Отряд ваш разоружен. Все сто пятьдесят человек.

Унгерн выматерился, выдернул из-за воротника полотенце и швырнул на пол. Офицер немедленно наставил пистолет на барона.

— Гостеприимные же вы люди, оказывается, господа китайцы, — произнес Унгерн удрученно.

— Такими нас сделали вы, русские, — немедленно парировал начальник гарнизона.

Через полчаса о происшедшем стало известно Семенову —

телеграфная связь между станциями продолжала работать, ее поддерживали всеми силами; одно было плохо — если мороз перегибал палку, нырял за отметку сорок, провода, какую бы слабину ни имели, натягивались, как струны на гигантском музыкальном инструменте, и с тихим стоном лопались. Очень часто сразу в нескольких местах. И тогда в тайгу, отчаянно матерясь, укатывали на ручной дрезине связисты — железная дорога без связи существовать не могла.

Несколько минут Семенов постоял молча у окна, глядя, как два мукденских купца в толстых бархатных халатах, подбитых изнутри бобровым мехом, и в роскошных рысьих малахах, из-под которых салными темными прутиками выползли, устремляясь к поясу, длинные тонкие косички, пытались войти в русскую ресторацию с песенным названием «Сопки Маньчжурии». Купцы были толстые, бокастые, денег у них в карманах было набито много, это еще более увеличивало их бокастость, и оба хотели услужить друг другу, но из этих благих намерений ничего не получилось: купцы застряли в дверях.

Хмурое выражение, припечатавшееся к лицу Семенова, исчезло. Он приложил палец ко лбу и произнес внезапно загустевшим басом:

— О! — Накинул на себя шинель и поспешно выскочил на улицу, дважды повторив про себя пресловутое «о»: — О! О!

Это означало: Семенов придумал, как надо действовать, чтобы выручить Унгерна с его безмозглыми цириками, так бестолково угодивших в лапы к коварным китайцам.

Есаул приказал подогнать к воинской платформе два товарных вагона, на которых были установлены чугунные печки, и открытую платформу. На нее поставил колеса от обозной двуколки, велел водрузить на них обычное бревно и накрыть эту декорацию брезентом. По виду она напоминала орудие. В теплушки Семенов загнал по тридцать баргутов, товарищей тех солдат, что сопровождали Унгерна, велел посильнее раскопечгарить печки-буржуйки, чтобы солдаты не замерзли по дороге, и гнать в Бухэду. Сам же есаул отправился на станционный телеграф, которым управлял старенький интеллигентный связист с хрящеватыми крупными ушами, украшенными железными дужками очков, буквально вросшими в кожу.

— Отстучите телеграмму начальнику гарнизона станции Бухэду, — велел он старичку.

— Сей момент! Сей момент! — засуетился тот около аппарата, покрутил озабоченно головой: — Совсем обнаглели китаезы! Раньше они себя так не вели.

— Текст следующий: «Прошу немедленно освободить моих людей и вернуть им оружие. В противном случае бронепоезд, высланный в Бухэду, разгромит и станцию и поселок».

Телеграфист отстучал текст, выжидательно поднял голову:

— Подпись ставить?

— Обязательно. Подпись такая: «Военный комиссар Военного правительства по Дальнему Востоку Семенов».

Получилось очень внушительно, это подтвердил и старичок, он покивал довольно, одобрительно и произнес:

— Оч-чень хорошо!

Через два часа Семенова позвали на станционный телеграф. Старенький связист, победно улыбаясь, протянул ему узкую бумажную ленту — начало разговора с абонентом, находящимся по другую сторону «электрической проволоки».

— Станция Бухэду.

На той стороне «проволоки» находился сам Унгерн. «Меня освободили», — сообщил он.

— Отстучите вопрос: «Солдатам оружие вернули?»

«Так точно, — ответил на вопрос Унгерн, — начальник гарнизона станции Бухэду приносит извинения».

— Спросите: «Что намерены предпринять?»

Связист ловко, будто птица, решившая раздолбить старый, значительный разной съедобной пшавской пень, отстучал вопрос. Унгерн ответил незамедлительно.

«В Бухэду стоит сильный гарнизон. Инцидент может повториться. Оставаться здесь нельзя».

Подержав ленту с ответом в руках, Семенов недовольно шевельнул ртом и велел телеграфисту:

— Отстучите приказ барону Унгерну: «Возвращайтесь вместе с отрядом в Маньчжурию».

Телеграфист, одобрительно кивнув, вновь склонился над аппаратом.

Утром следующего дня «бронепоезд» вместе с Унгерном и баргутами вернулся домой, остановился напротив длинного кирпичного здания станции. Паровоз устало выпустил длинную струю пара, скрылся в нем по самую трубу и затих. Семенов, не выходя из здания станции, посмотрел на творение рук своих — несуразный «бронепоезд» с бревном вместо пушки — и мстительно улыбнулся.

Пушки надлежало добыть. Хоть и выступал генерал Хорват против Семенова, хоть и противно было обращаться к нему с какими-либо просьбами, а все-таки Семенов, поразмыслив немного, решил преодолеть себя и съездить в Харбин. В

конец концов, от одного-двух поклонов спина кривой не станет. Зато можно обзавестись пушками. В том, что у Хорвата полно этого добра, Семенов не сомневался — ведь перестали существовать и многочисленные дружины, охранявшие КВЖД, и Корпус пограничной стражи, и артиллерийские дивизионы, которые прикрывали тоннели, крупные станции и железнодорожные склады, набитые разным барахлом. Кроме пушек нужные были и винтовки, и пулеметы, и патроны, и обмундирование, и обувь... Голова шла кругом от одних только снабженческих забот.

Есаул, конечно, понимал, что ехать опасно: у генерала Хорвата — семь пятниц на неделе, вдруг встанет не с той ноги и пошлет целую роту, чтобы арестовать его за неподчинение. Семенов задумчиво пожевал губами, кинул в рот несколько кедровых орешков, оказавшихся в кармане, и усмехнулся. Конечно, усы у генерала Хорвата знатные, любой дворник может позавидовать, но и есаул Семенов тоже умеет носить усы...

С собой в Харбин он взял взвод монголов из нового пополнения: монголы были хорошими солдатами, китайцев видеть не могли, а уж вряд ли уступят пирикам⁴³ Хорвата в боевом азарте, в хватке и в желании победить.

Остановился Семенов в Харбине в гостинице «Ориант» — добротной, каменной, с гулкими коридорами и, что важно — с несколькими запасными выходами. Обследовал выходы, остался доволен.

Воздух Харбина пахнул ананасами — свежим заморским ананасом, похожим на большую сосновую шишку. Купить бы сейчас десятка два ананасов да накормить сопровождавших его монголов — вот бы их крохотные черные зенки полезли бы на лоб, — но где сейчас в Харбине найдешь ананасы?

Из «Орианта» он решил пока не выходить. По длинной пыльной улице, уже накрытой вечерней синью, будто некой таинственной кисеей, катилась мелкая кудрявая поземка, в домах начали зажигаться бледные электрические огни. Семенов подумал о том, что Харбин в сущности — российский город, и народ тут живет такой же, и дома такие же, и нравы, и бани так же топят, только запах в городе заморский. Губы у него зашевелились сами по себе, словно он что-то хотел сказать, на лице появилось вопросительное выражение, в следующую минуту оно исчезло, глаза утасли, сделались настороженными и жесткими.

Семенов запросил канцелярию Хорвата, потребовал аудиенции у генерала, но ответа пока не было, и, с одной стороны,

это беспокоило, а с другой — есаул понимал, что Хорват — человек честолюбивый, мелочный, осторожный, пятнадцать раз обмерит тряпку, чтобы раз отрезать от нее клоч, все обдумает и только потом промычит что-нибудь невнятное.

Ответ пришел утром следующего дня — генерал ждал Семенова.

Дмитрий Львович Хорват был сама любезность; разговаривая с Семеновым, он любовно разглаживал свои роскошные пышные усы и старался походить на знаменитого генерала Скобелева, но это у него не получалось — Хорват больше напоминал сытого, отобедавшего свежей сметаной кота, щурился маслено, разглядывал есаула, похрюкивал что-то в кулак, на все вопросы отвечал осторожно, будто боялся испортить отношения с самим собою.

Семенов, примеряясь к собеседнику, также говорил осторожно, но потом его кольнуло что-то обидное — ему показалось, что Хорват не понимает его, и вообще генерал так же далек от России, как Земля далека от Луны, изображает из себя небожителя, — и тон его голоса изменился. Умный Хорват заметил изменения и улыбнулся понимающе. Семенова, который также был не глуп и по-мужицки приметлив, это разозлило еще больше, он нагнул голову, будто борец, вступающий в решающую стадию схватки, и произнес:

— Мне нужно оружие. Главным образом — артиллерийские орудия.

Хорват вспушил кончиками пальцев вначале один ус, потом второй и развел руки:

— У меня орудий, батенька, нет. Не-ту. Те, что остались, находятся при деле. Каждое орудие — на своем, утвержденном царем-батюшкой месте.

Высоко хватил Хорват насчет царя-батюшки, будешь из ружья стрелять — не достанешь.

— А артиллерия Пограничной стражи?

— Все вооружение Пограничной стражи я должен по договору с китайцами передать им. Вы знаете, они не сегодня-завтра войдут в полосу отчуждения КВЖД.

Семенов поморщился — быть стычке с китайцами.

— Это тоже обусловлено договором? — спросил он.

— Также обусловлено. Но... — Хорват поднял указательный палец, лицо его сделалось хитрым. Семенов неожиданно подумал, что Хорват сейчас произнесет примерно следующее: «Я для вас тут кое-что приберег... Пяток пушек и тридцать ящиков со снарядами. Можете сегодня же их забрать. И

лучше сделать это сегодня во всех случаях, пока на них не наложили руку китайцы». Однако услышал есаул другое: «Я вас снабжу кое-чем обязательно. Только... позже».

— Позже и меня может не быть, и солдат моих — тоже. Мы все погибнем.

— Ну, не надо так мрачно, есаул.

— Что есть, Дмитрий Львович, то есть. В артиллерии я нуждаюсь немедленно... Немедленно! — повторил Семенов напористо и поднял, как Хорват, указательный палец, — Иначе мне не выстоять. Сомнут.

Визит к Хорвату оказался обычным визитом вежливости, другими словами — пустым: Семенов не получил не то чтобы ни одного пушечного ствола, но даже одной латунной пуговицы для мундира.

— Пришивать к мундиру нечего, — грустно и в ту же пору озабоченно проговорил Семенов, шагая по растрескавшемуся обледенелому тротуару в гостиницу «Ориент». Несколько монголов-охранников двигались следом, пугая своим решительным видом прохожих.

Через полтора часа есаул забрался в свой вагон и дал команду к отправке — мандат военного комиссара Временного правительства продолжал действовать. Он имел не только свой собственный вагон, но и целый поезд. Около тоннеля на станции Хинган Семенов приказал машинисту остановиться.

Въезд в длинный, черный, пахнувший холодом и дымом тоннель охраняли две полевые пушки с изрядно поредевшими расчетами — на всю батарею осталось только три артиллериста, видно, большинство батарейцев, покидав в мешки свое нехитрое барахлишко, поспешили исчезнуть в туманных даях, именуемых Родиной.

— Все равно эти пушечки тут — не пришей кобыле хвост, — сказал вылезший из вагона на колючий снег будущий атаман и скомандовал монголам: — Грузи пушки на платформу, ребята!

Монголы хоть ни слова не понимали по-русски, а команду поняли правильно: на одном дыхании, подставив под колеса пушек плоские слуги, заволокли орудия на платформу; станины пушек, чтобы те не дергались при движении, связали веревками; под литые резиновые скаты вогнали отесанные в виде клиньев чурбачки, покидали зарядные ящики, рядом положили несколько снарядов россыпью — все, что имелось в каменном погребке, выбитом в скале. Это богатство накрыли брезентом, и Семенов махнул машинисту рукой:

— Поехали дальше!

Паровоз загудел победно, чихнул, выбивая из воронки, нахлобученной на торец трубы, дымный взболток, и аккуратно стронул вагоны с места — железная машина словно понемалу, какой дорогой груз везет...

В Маньчжурии есаула с пушками встретили криками «Ура!» — с артиллерией люди почувствовали себя увереннее.

Через два дня Семенову сообщили, что генерал Хорват, узнав, каким наглым образом у него умыкнули два орудия, вскричал в сердцах: «Сукин сын!» Но поделаться генерал ничего не мог — дотянуться до Маньчжурии было не в его силах.

«Пушечная» история испортила отношения Семенова с Хорватом окончательно — так что недаром есаул внес генерала в число своих врагов. Впрочем, Семенов мало с кем сохранил хорошие отношения — такой у него был характер: нахрапистый, въедливый, злой. Ошибок есаул не прощал ни себе, ни другим, на всякий выпад отвечал тем же; человеку, случайно бросившему на него косой взгляд, показывал кулак, а затем лупил им по косому глазу без всякого предупреждения — такой характер был у будущего атамана.

Вечером есаул Семенов вместе с войсковым старшиной Унгерном завалился в ресторан — низкий, дымный, уютный, слабо освещенный электричеством, полный вкусных запахов и некоего таинственного очарования, присущего только русским кабакам, где и накормить могут вкусно, и возвысить до высот веистину царских, и избить так, что потом будешь долго вспоминать собственное имя.

На всякий случай Семенов около ресторана поставил два монгольских наряда.

Едва сели за стол, как перед гостями появился завитой, с жесткими светлыми кудрями молодец в красной рубахе, выложил две толстенных пашки:

— Прейскурантик пожалуйста-с, господа.

Семенов окинул краснорубашечника опытным взглядом: по росту, по стати вполне в гвардию подходит, но киснет здесь, в тылу, у котла со щами. Спросил напрямик:

— В армии, на фронте был?

Краснорубашечник показал чистые крупные зубы:

— Не был.

— Сейчас идет запись добровольцев в освободительную дальневосточную армию... Пойдешь?

Краснорубашечник ответил не задумываясь, на одном дыхании:

— Не-а, господин хороший!

— Отчего так? — Семенов сощурился.

— А мне и без армии хорошо.

— Так и будешь тухнуть здесь, в ресторации, среди бабьих подолов?

Парень неопределенно приподнял плечо, улыбнулся обезоруживающе:

— Пора прејскурантик изучить, господа. Я готов принять у вас заказ.

— Торопыга! — Семенов осуждающе качнул головой, глянул на бесстрастное сухое лицо Унгерна. — Ну что, Роман Федорович, махнем по полной программе? Или как?

— Махнем по полной программе.

— Наливку будем брать или водку?

— Давайте наливку, Григорий Михайлович, здесь бывают очень вкусные наливки — из красницы, лимонника, черемухи и маньчжурской вишни.

— Значит, так, — сказал Семенов, — для начала — пару графинчиков наливки... Вишневая есть? — Уловив легкий наклон головы, Семенов похвалил парня: — Добре! Один графинчик черемуховой выпьем — далее закажем по кругу. На первое что есть посвежее, погорячее, повкуснее?

— Уха стерляжья с налимьей печенью.

— А стерлядь откуда берете? Она ведь тут не водится.

— С Ангары. Оттуда возим.

Есаул так и охнул:

— Эхма! Прямой тракт, что ли, проложили?

Молодец вновь едва приметно наклонил голову.

— Берем стерляжьку уху, — решил Семенов, — принеси нам с Романом Федоровичем целый чугунок.

— Будет исполнено.

— На второе что? Из того, от чего сам бы не отказался?

— Молочный поросенок с хреном, кореньями и кашей. Есть индейка в ягодно-соусе с черемшой, есть пулярка, есть цыплячьи лопатки, приготовленные по-китайски, со сладким соусом.

— К черту китайский кисель. Давай поросенка! — Есаул перевел взгляд на Унгерна: — А?

— Да, — подтвердил тот.

— На десерт есть южные плоды: корольки, персики, ананас...

— Это — потом.

— Господа забыли закуськи-с. Вы не выбрали закуськи-с. Есть сыр, свежепросоленные огурцы, редиска, прямо с гряд-

ки — ее нам зимой корейцы поставляют, выращивают у себя в домах, есть редька.

— К вишневой настойке — редька? — усмехнулся Семенов.

— Начальник городской милиции капитан Степанов очень любит вишневою настойку с редькой, прямо млеет. — Официант не удержался, прыснул по-кошачьи, подставил ко рту кулак.

Унгерн улыбнулся — вспомнил, как он отделал капитана Степанова ножнами шашки. Старался, правда, бить в основном по толстой твердой заднице — это и больно и обидно.

— Этот начальник — извращенец, — резко произнес Семенов, — за такой вкус надо сажать на «мягкую турецкую мебель»...

Официант вопросительно глянул на него.

— Иначе говоря — на кол, — пояснил Семенов. — А нам, любезный, давай что-нибудь посущественнее, для русской души.

— Есть осетровый балык, есть балык севрюжий, свежеспросоленный, есть лососина-двухдневка, во рту тает без всякого масла, есть провесная белорыбица, холодная телятина в желе с ягодами, мелкая дичь с французским салатом.

— Давай эту самую... белорыбицу провесную, — приказал Семенов, — не знаю, что это такое, но, наверное, вкусно, давай мелкую дичь... Только не такую, чтобы она в зубах застряла — покрупнее. А то застрянет птичка в зубах — не вытащишь. Икра есть?

— А как же-ть? И зернистая, и паюсная в пластинах — привезена через Китай и Туркестан с Каспия. Есть красная икра, местная.

— Красной не надо. Этой икры мы уже объелись. Давай паюсную. Ее жевать, как шоколад, можно.

Унгерн не выдержал, усмехнулся — все-таки он был из баронов, а Семенов — из тех дворян, которым дворянскую грамоту жаловали только после определенного числа офицерских звездочек на погонах. Впрочем, Унгерн слышал, что у Семенова то ли бабка, то ли дедка — из чингиситов, царственных кровей... Хотя, если честно, размышлять на эту тему Унгерну не хотелось, он согласно кивнул: если есаул считает, что паюсную икру можно поглощать, как шоколад, дольками, значит, так оно и есть.

— Ну все, — сказал Семенов официанту, тот в ответ весело тряхнул тутими кудрями, и есаул не выдержал, вспомнил строчки из собственного детства: — Катись колбаской по Ма-

дой Спасской. И-и, — он задержал официанта, взяв его пальцами за рукав рубахи, — все-таки для полноты чувств принеси нам граммов двести чистой водочки, без всяких примесей. Холодной. Чтобы зубы ломило.

Официант лихо щелкнул каблуками. Семенов не удержался, прищурился:

— Эх, парень, пошел бы ты ко мне в армию, я бы из тебя быстро сделал отличного унтера.

Официант улыбнулся обезоруживающе:

— Не мое это дело, господин хороший. К армии я неспособный.

— Попадешь к толковому воспитателю — сразу станешь способным.

— Не-а, не попаду, — вновь обезоруживающе улыбнулся официант, столкнулся глазами с угрюмым взглядом Унгерна и исчез.

— Как вам этот экземпляр, Роман Федорович? — спросил Семенов.

— Отвратительный. Не люблю таких. Я бы его высек плетью... Для начала — тридцать ударов.

Конечно, Унгерн всегда отличался крайностью суждений, но в этот раз был прав: парень ни стыда ни совести не имеет, прячется среди юбок, отсиживается за суповыми тарелками от армии, когда Россия находится в опасности. Не дело это...

Когда Унгерн злился, у него белели, делались бешеными, какими-то бездонными глаза, рот начинал нервно дергаться, четкая речь становилась невнятной. Семенову был известен случай, когда барон стрелялся с пехотным поручиком из-за рядового казака. Поручик ударил казака, и Унгерн этого не стерпел — вызвал обидчика на дуэль. Семенов спросил, не думая, что вопрос этот может быть неуместен:

— А чем закончилась та дуэль с поручиком?

— Ничем, — потербил пальцами подбородок барон и пояснил: — Нам не дали достреляться.

Народа в ресторане было немного — сидели мукденские купцы; они, шумно сопя, с громкими прихлебываниями тянули из блюдец жидкий чай, в углу тихо шушукались путейский техник и краснощекая девица, влюбленно глядевшая на него, да военный с узенькими серебряными погонами на плечах, проходящий по неведомому ведомству — то ли чиновник, то ли врач, то ли интендант, то ли военный ветеринар, то ли почтовик, — ел, торопливо работая вилкой. Вот и все посетители.

— Мы рано появились здесь, Григорий Михайлович, — сказал Унгерн, неожиданно повеселев, — народ еще подоспел. Тут, — он оглянулся, — тут такие песни да такие танцы-шманцы почтенная публика демонстрирует, что... — Слов у барона не хватило, и он помотал в воздухе рукой. — А главное, мы всех мазуриков из города вышибли, теперь народ без всякой опаски ходит по увеселительным заведениям.

— Ох, Роман Федорович! — Семенов засмеялся, ему сделалось ни с того ни с сего легко, словно душа его освободилась от некоего непосильного груза; он почувствовал, что вернулся в свою кадетскую молодость, когда на улицах Оренбурга они задирали девчонок и получали отпор, катались парами на катке и мечтали о погонах с офицерскими звездочками. Сколько времени прошло с той поры, что и не верится даже — было ли это? — Ох, Роман Федорович!

— Что, Григорий Михайлович? — Унгерн, удивленный голосом Семенова, его тоном, приподнял брови.

— Бедовый вы человек!

— Это почему же?

— Жизнь очень любите.

— Жизнь любят все. Даже мокрицы.

— Говорят, мокрицы не ощущают боли.

— Не верю я в это. Все живое ощущает боль, даже растения — например, крапива, или чертополох, или побеги березы — все, абсолютно все.

Около стола вновь возник официант в красной рубашке. Он оказался малым проворным, успел стородить не только закуску, но и наполнить все три графина: один имел густой янтарно-черный цвет, в него была налита черемуховая настойка, второй — яркий красный, это была настойка из мелкой маньчжурской вишни, кислой, как кавказская слива ткемали, пунцовой, будто морозное солнце на закате, третья посудина сияла первозданной прозрачностью, была чиста, как горная влага. Семенов не удержался, потер руки и сказал:

— Oго!

Нет, определенно в нем сегодня было что-то от мальчишки-кадета.

Унгерн ощутил в себе юношеский порыв, тряхнул плечами:

— Холодно что-то!

После первой стопки сделалось теплее. После второй стопки — еще теплее.

Ресторан начал наполняться людьми. Пришел железнодорожный рабочий в форменной гужурке, с петлицами, укра-

шенными молоточками, — нечастый гость в ресторации. Солидный, усатый, с докрасна раскаленными морозом щеками, в двойном ватном одеяльце он нес ребенка; рядом, держа мужа за рукав, робко двигалась жена, тоненькая, похожая на пичугу, в расписных теплых пимах, вдетых в новые лакированные галоши. Рабочий сегодня окрестил ребенка и зашел в ресторан отметить это дело. На щекастом лице папы играла довольная улыбка.

— Це-це-це, — укборизненно процедекал Семенов, — сейчас наш дитятя, хлебнув «смирновской», такой рев устроит — музыкантов не будет слышно.

— Он долго с ребенком здесь не пробудет, — успокоил Унгерн. — Выпьет пару стопок за здоровье и исчезнет.

Так оно и получилось: через десять минут жена начала беспокоенно дергать счастливого муженька за рукав, тот некоторое время поспотевлялся, задавленно мыча и крутя головой, потом махнул рукой, и тоненькая хвоцинка, звонко опечатавшая пол новенькими твердыми галошами, повела его к выходу.

Появился заезжий купец из русских с двумя приказчиками в одинаковых шелковых рубашках-косоворотках желтого цвета, поверх которых были надеты меховые жилеты. Следом за ними ввалилась большая компания сотрудников городской управы — чиновники праздновали чьи-то именины, галдели, как гимназисты; увидев есаула, они мигом смолкли — успели узнать его характер. Унгерн это засек и воскликнул весело:

— Вона как!

Впрочем, молчали чиновники недолго — вскоре развеселились вновь.

На крохотной деревянной сценке возник скрипач в бархатных штанах и мягких цыганских сапожках, приложил к плечу скрипку, чуть придавил ее острым, как у женщины, подбородком и вскинул смычок. Дымный воздух всколыхнулся, пополз в сторону, разрезанный тонким, жалающим, как нож, горьким звуком, обнажилось пространство, предметы стали видеться четче, звук завибрировал, задрожал и вдруг стих, будто омертвел, но в следующую секунду возник снова; из-за китайской ширмы, расписанной драконами — добрыми существами, спасающими «бачек» от неурожая и небесных напастей, — появился еще один музыкант. Также в бархатных штанах и в сапожках, очень похожий на скрипача — белозубый, кудрявый, с хмельными темными глазами. В руках у второго музыканта была гитара. Смуглая крепкая кисть взметнулась над струнами, скрипка подпела гитаре,

музыканты дружно топнули, гикнули, свистнули и... в общем, понеслось.

— Лихо! — одобрительно наклонил голову Унгерн.

Ресторан преобразился, в нем словно сделалось теплее, люди стали ближе друг к другу, даже чиновники из управы, эти бумажные кренделя, которых так не любил Семенов, и те стали походить на людей.

— Эка! Людьми себя почувствовали, — не удержался есаул от едкого смешка, — пожиратели промокашек.

Музыканты играли недолго. Гитарист хлопнул ладонью по струнам, обрывая их звон, скрипач опустил смычок, поклонился публике и произнес сильным чистым голосом:

— Выступает покорительница Харбина и Сингапура, несравненная Маша Алмазова!

Скрипач провел смычком по струнам, рождая долгий тонкий звук, и вновь поклонился публике. Добавил к тому, что сказал:

— Королева публики не только Харбина и Сингапура, но и Хабаровска, Владивостока, Посьета, Гензана, Шанхая, Мукдена. Ее талант отмечали Вьялцева и Вертинский, ее голос слушал сам Шаляпин. Все были в восторге. Ита-ак... выступаете-ет... — скрипач выпрямился, стал выше, грудь у него сделалась широкой, как чистое поле, и он выдохнул трубно: — Маша Алмазова!

Откуда-то сбоку, из помещения, куда ныряли половые, вышла легкая, с гибким станом и большими угольно-черными глазами девушка — вылитая цыганка, с длинной русской косой, украшенной красной лентой, — перекинула косу на грудь, поклонилась собравшимся и запела низким, очень сочным грудным голосом. Она пела про морозную степь, про умирающего ямщика. Семенов почувствовал, что по коже у него побежала легкая кусачая дрожь — голос этой красивой цыганки проникал в душу, доставал до сердца, распространялся вместе с кровью по жилам, — он поспешно налил в стопку черемуховой наливки, выпил и не ощутил вкуса напитка, помотал головой, словно освобождаясь от наваждения, наполнил стопку снова, выпил и опять не почувствовал вкуса спиртного.

— Это что же такое делается? — пробормотал он оглушенно, запоздало крикнул.

Унгерн заметил состояние есаула, также наполнил свою стопку:

— Колдунья, а не девка!

Печальная песня сменилась веселой, и в помещении словно светлее и просторней сделалось, воздух стал другим. На крохотную площадку перед эстрадкой выскочил один из чиновников, выдернул из кармана платок и, взмахивая им, будто девица, понесся по кругу, топая ногами и радостно гикая. Сделал круг около эстрадки, потом другой и хлопнулся перед певицей на колени.

В Семенове вдруг возникло что-то острое, завистливое, крапивно острекающее, он недовольно помял пальцами горло и произнес осуждающе:

— Вертопрах облезлый! Надо будет Бурмакину, городскому голове, сказать, он ему живо на валенки деревянные каблучки прибьет. Ба-альшими звездами. На молоденьких зарит-ся... А? Пень старый!

— Не такой уж он и старый, — вступился за чиновника Унгерн. — Да потом, представьте себе, Григорий Михайлович, радостей-то у него, кроме казенного стола с зеленым сукном, никаких. Дома — сварливая жена, крикливые детишки, теща с опухшими глазами, постоянно попрекающая его в том, что он испортил жизнь ее дочери, вот если бы дочка вышла замуж за сватающегося к ней купца второй гильдии Голозадова, то была бы счастлива, и так далее. Затюкан, задерган, замордован этот чиновник донельзя. Единственная отдушина — раз в месяц сходить в ресторацию, покуржиться перед эстрадкой. Не осуждайте его, Григорий Михайлович!

— Таких я не осуждаю, Роман Федорович, таким я голову отрубая, — сурово произнес Семенов, поднял кулак, обвел его пальцем, рисуя сабельный эфес. — Вжик — и нету кочана!

Он скосил глаза на эстрадку и вдруг столкнулся своим взглядом со взглядом поющей Маши Алмазовой, его словно бы пробило током. Семенов почувствовал, что тело его встряхнулось само по себе, в груди возникла и тут же пропала боль. Он с трудом отвел взгляд.

В дверях кто-то громко затопал, это отвлекло Семенова, он поднес ко рту кулак, удивленно крикнул в него:

— Ничего себе пламень души!

— Какой души? — не понял Унгерн.

— Я разумею — цыганской.

— А-а. — На этот раз до Унгерна дошло, он бросил на Машу быстрый взгляд. — Думаю, в этой женщине не только цыганская кровь присутствует, тут намешано столько всего, что

сам черт ногу сломит, наверное, вплоть до негритянской крови, не говоря уж о еврейской и румынской.

— Еврейской? — недоверчиво спросил Семенов.

— Мне кажется...

Семенов поспешно наполнил наливкой стопку барона, затем также поспешно налил себе.

— За то, чтобы не казалось, Роман Федорович! — Залпом, стремительно выпил.

Барон, улыбнувшись тонко, выпил следом, вилкой подцепил лаково поблескивающий брикетик паюсной икры, отправил в рот, разжевал с неким изумлением. Не выдержав, приподнял бровь:

— Вот уж не думал, что селедку можно есть с повидлом, сверху намазывать сливочным маслом, а потом — европейской кисловатой горчицей и жевать все это с большим удовольствием...

— О чем это вы?

— О том, что паюсная икра вполне совместима со сладкой наливкой.

— Такая изысканная вкусотень, как паюсная икра, Роман Федорович, совместима со всем, даже с соляной кислотой. — Семенов, как всегда, был резок, ловил себя на этом, пробовал остановиться, но это ему удавалось плохо — в следующую минуту он уже забывал, что только что чувствовал себя неловко, и вновь резал «правду-матку» в глаза, не выбирая выражений и не стесняясь собеседника.

Около стола появился хозяин заведения — крепко сложенный мужик с лукавыми черными глазами. Он держал в руке лампу-десятилинейку, спросил озабоченно:

— Господа столом довольны?

— Вполне, — ответил Унгерн.

Хозяин поставил на скатерть лампу — лампа была только что заправлена керосином, бок ее украсила длинная, блестящая, остро пахнущая дорожка. Семенов поднял голову, показал глазами на потолок, где под абажуром тускло помигивала электрическая лампочка:

— А этот стеклянный горшок что — уже дуба дает?

— Электричество скоро отключат, оно у нас, господин полковник...

— Есаул, — поправил Семенов.

— Электричество у нас, господин есаул, дают в вечернее и ночное время только на железную дорогу и на дистанцию.

Семенов повел головой в сторону Маши Алмазовой:

— А эта прелесть у вас откуда?

Хозяин перевел взгляд на крохотную гулкую эстрадку, где пела Маша, приложил ладонь ко рту:

— Очень серьезная девушка, должен заметить вам, господин полковник...

— Есаул, — поправил Семенов.

— Полковником вы все равно будете. И генералом тоже... У вас это на лице написано. Так вот, господин генерал, за ней пробовал тут приударить помощник городского головы, очень важный и богатый молодой человек, так она его отделила так, что он неделю пролежал в постели.

Есаул не выдержал, азартно хлопнул в ладони:

— Молодец девка!

Маша Алмазова тем временем подняла руку, и Семенов вновь столкнулся с ней глазами. Наступила тишина. Лишь дым, потрескивая, словно живой, неспешно плыл в сторону двери, втягивался в тамбур, в невидимые щели, исчезал... Хорошо было в ресторане, уютно. А главное — здесь была Маша Алмазова. Семенов чувствовал, что у него даже в виски натекло тепло, подействовало расслабляюще, и он, отведя глаза от Маши — словно не хотел сам себе признаться, что она ему нравится, — потянулся к графинчику с черемуховой наливкой, но посудина была пуста.

Есаул поднял руку, пощелкал пальцами, подзывая кудрявого официанта, тот мигом появился, выжидающе наклонил голову.

Показав ему опустошенную посуду, на дне которой застыло немного темной, цветом схожей с дегтем жидкости, Семенов приказал:

— Повтори!

Гитарист тем временем тихо колупнул пальцем струну, родив нежный долгий звук, потом подцепил вторую струну, и Семенов ощутил некую сладкую тоску, родившуюся внутри, — она подползла к горлу и застряла там, есаул потряс головой, словно хотел избавиться от некоего наваждения, но сил избавиться от него, да и, честно говоря, желания не было, он беспокойно втянул в себя воздух, задержал его в груди и вновь глянул на Машу.

Та не отводила от есаула глаз. Он попробовал глянуть на себя со стороны — в порядке ли одежда, не пристало ли что к кителю, на плечах ли погоны? — но ничего не засек и успокоился. Унгерн беспокойство есаула, конечно, заметил и молча отвел глаза в сторону. Он невольно подумал о том, что Семе-

нов, собственно, еще очень молодой человек — несмотря на генеральский иконостас орденов, украшающий его грудь, — есаулу всего двадцать семь лет. В этом возрасте можно сделать огромное количество ошибок, и все будут прощены... Напрасно считал Унгерн, что ошибки, сделанные в этом возрасте, будут прощены, что их перекроют некие победы, достижения, что на ошибки наложится положительный материал, все перемешается, одно нейтрализует другое. Ничего подобного! И Унгерну, и Семенову за свои ошибки пришлось отвечать.

На столе тем временем появился новый графин с черемуховой наливкой.

Семенов наполнил стопки.

— А вот вишневая, зар-раза, не так вкусна, — сказал он.

— Наверное, вишня не та. В Малороссии из вишни, например, делают такие спотыкачи — действительно споткнешься и закачаешься. Вкусноты и крепости необыкновенной. Голова свежая, ясная, все соображает, а ноги не идут.

— Малороссы — вообще мастера на такие штуки.

— Они и на другое мастера. Сало любят больше самодержца российского.

— Самодержца больше нет.

— Если Господь не отступится от России — будет.

Гитарная струна издала тонкий вздох, он повис в воздухе, рождая горечь и слабость одновременно; пронзительный звук этот был чем-то вроде позывного, через несколько мгновений все умолкло вновь, Семенов покосился на Машу и почувствовал, что ему, как мальчишке, охота сглотнуть слюну — во рту собрался сладкий комок, ни туда ни сюда. Выпив стопку, он поспешно налил из черемухового графинчика другую — Маша продолжала пристально смотреть на него. Гитарист тронул пальцем струну в третий раз — и верно ведь, это был позывной, — Маша поклонилась ресторанному залу и тихо, но очень отчетливо — ее услышали все, — объявила:

— «Гай-да, тройка!»

Смотреть же она продолжала на одного Семенова, она словно гипнотизировала есаула, старалась проникнуть в него, забраться внутрь, посмотреть, что там находится, и он — вот ведь как, исключительный случай — не был против этого.

— Из репертуара Анастасии Вяльцевой, — сказал Унгерн. Песни Вяльцевой ему нравились давно, с собой войсковой старшина возил целую коллекцию ее пластинок — полковые умельцы сколотили для них изящный чемоданчик, покраси-

ли лаком, и денщик барона следил за драгоценным чемоданчиком как за собственным оком.

Певица взмахнула рукой, поклонилась публике и начала петь тихо, низко, стараясь, чтобы голос ее дошел до каждого, кто здесь находился, проник в душу, потом повысила голос, и в ресторане на столах зазвенели бокалы...

— Все равно ей до Вяльцевой далеко, — сказал Унгерн.

— А мне она нравится.

— Мне тоже, — поспешно согласился с есаулом Унгерн — он увидел, как у того резко побледнело и сделалось беспощадным, будто в атаке, лицо, глаза сжались в узкие злые щелки.

Маша пела и продолжала смотреть на Семенова. Унгерн отметил, что, пожалуй, он первый раз в жизни видит есаула таким, усмехнулся едва приметно; о чем сейчас думал барон, понять было невозможно. Семенов вновь потянулся к графинчику. Пальцы у него неожиданно дрогнули, и он опустил руку.

— Аль наливка перестала нравиться? Григорий Михайлович? — поинтересовался барон участливо.

— Нет, наливка та же, и нравится так же... Просто я боюсь напиться. А напиться хочется.

— Я понимаю, — сочувственно произнес барон. — Со мной на фронте такое тоже случалось.

— А я на фронте не пил. Даже не тянуло. Иногда только полстопки за компанию с господами офицерами, и все. — Семенов вновь поглядел на Машу, та пела сейчас про солдата, в одиночестве умирающего у подножия маньчжурской сопки и, перед тем как отойти, посылавшего наказа своей невесте. Песня была печальной, тревожила душу, мужчины притихли, даже нестигаемый Унгерн и тот сгорбился — и его проняла песня...

Свет керосиновой лампы, отраженный круглым жестяным щитком, приваренным к ручке, упал на голову барона, рыжие волосы его сделались яркими, красными, как брусничный лист, вспыхнули огнем, в глазах тоже вспыхнули крохотные огоньки — не барон, а прямо черт какой-то, наряженный в казачий мундир...

Отведя взгляд, Семенов порылся в кармане, достал оттуда «катеньку» — сотенную бумагу, в России эти деньги уже не ходили, но здесь, на КВЖД, ими продолжали пользоваться, хотя упорно поговаривали о замене их местными деньгами; подумав немного, Семенов сунул деньги обратно в карман и из часового «пистончика» — маленького кармашка — достал три золотых червонца.

Это та самая валюта, которую никто никогда не отменит. Даже если ее запретят каким-нибудь дурацким указом, она все равно будет у людей в ходу.

Когда Маша закончила петь и поклонилась залу, Семенов положил монеты на тарелку, ловко, как официант, подхватил ее в ладонь и шагнул к эстрадке. На ходу встретился с Машинным теплым взглядом, уловил в нем что-то заинтересованное и одновременно удивленное, опустил ее около ее ног на колени и поставил тарелку с монетами на пол.

Ресторанный зал на мгновение замер, даже мукденские кушцы перестали дуть свой чай и жевать жирный сладкий рис, затихли все, лишь дым потрескивал, как порох, и плотными слоями плыл к выходу да на станции нервно повизгивала своим слабеньким гудком — пару не хватало — маневровая «кукушка»... Маша поклонилась есаулу, и ресторан взорвался аплодисментами.

Наутро весь городок заговорил о зарождающемся романе певички и военного комиссара Временного правительства. На Семенова на станцию приходили поглазеть местные сплетницы-старушки, но его в Маньчжурии уже не было, сразу после ресторана он ночью же уехал в Даурию — разведчики оттуда принесли сведения, что появились конные разъезды красных и, судя по всему, на Даурию будет предпринято нападение.

Это значило, что базу надо окончательно переводить в Маньчжурию и добровольцев в армию набирать уже там. А добровольцы уже потянулись из России к Семенову, и это радовало есаула — не было теперь и дня, чтобы не появилось несколько новых человек. Иногда добровольцы приходили группами.

— Хар-рашо! — довольно произносил будущий атаман и потирал руки.

Из Даурии Семенов вернулся поздно, едва улегся спать, как его разбудил дежурный ординарец — чернявый, с темной блестящей кожей парень в белой барашковой кубанке и двумя лычками младшего урядника на погонах.

— Ваше высочордие... — Едва он тронул Семенова за плечо, как тот стремительно вскинулся на постели, протер кулаками глаза.

— Что, большевики наступают на Даурию? Или уже прут на Маньчжурию?

— Никак нет. Прибыл адъютант командующего китайскими войсками.

— Чего-о?

— Китаец прибыл, ваше высочордие. Важный, как купец из Мукдена. Рожа сальная, глаз не разобрать. Хочет видеть лично вас.

— А больше он никого не хочет видеть? Час-то вон какой.

— Никого. Только вас.

— Охо-хо. — Семенов опустил ноги с кровати, натянул сапоги. Сапоги у него были знатные, спитые специально для студенческой сибирской зимы — на стриженном собачьем меху, тонкие. — Ладно, зови этого важного мандарина⁴⁵.

В спальню вошел китайский майор с реденькой нащепкой усов, поклонился есаулу и произнес на хорошем русском языке:

— Я от генерала Чжана Хуан-сяна.

— И что же потребовалось от меня господину генералу Чжан Хуан-сяну? Да еще не в самый подходящий час. — Есаул демонстративно зевнул и похлопал по рту ладонью.

— Господин генерал Чжан Хуан-сян требует до восьми часов утра сдать оружие и распустить людей. В этом случае он гарантирует вам и всем вашим людям личную неприкосновенность и полную безопасность.

Семенов не удержался от желания похлопать себя еще раз ладонью по рту. Похлопал. Снова зевнул. Ему нужно было оттянуть время.

— Знаете, майор, вопрос этот, несомненно, важный, но очень сложный. Поверьте мне. Он требует обсуждения с вашей стороны.

— Согласен. — Переводчик наклонил голову.

— Поэтому прошу пожаловать ко мне начальника штаба китайских войск.

— Хорошо. — Переводчик вновь наклонил голову и, бросив сочувственный взгляд на Семенова, исчез.

Есаул выругался. Потом потребовал от дежурного ординарца поставить самовар, достать из погреба пару бутылок водки и сунуть их в сугроб, чтобы напиток основательно охладился, приготовить также закуску и в большое блюдо налить варенья — так, чтобы было всклень⁴⁶: китайцы любят сладкое, и даже соленое свиное сало готовы есть с вареньем. Затем есаул приказал разбудить Унгерна.

— Роман Федорович, пока я тут буду разводить всякие «мерлихлюндии» и «утю-тю» с китайцами, немедленно выкатывайте пушки, которые я привез, на прямую наводку на китайские казармы. Расчеты пусть находятся наготове. Рядом с орудиями сложите все снаряды, что у нас имеются. И...

прислуги, кстати, пусть будет побольше. Все артиллеристы чтоб — при полной боевой выкладке.

— Понял вас. — Унгерн рассмеялся и приложил руку к козырьку.

Начальник китайского штаба — очень вежливый тихоголосый полковник — явился через час, сел за стол, закурил, не спрашивая разрешения у хозяина.

«Ладно, — зло подумал Семенов, — еще не вечер... А дылят, как известно, по осени считают. Посмотрим, как ты будешь вести себя в восемь часов утра». С улыбкой налил начальнику штаба чашку чая, затем поцеловал пальцами.

На призывный щелк явился лихой младший урядник, разбудивший Семенова, и поставил на стол на плоскую закусочную тарелку обмерзшую, в искристой ледяной махре бутылку водки.

— Давайте, господин полковник, по русскому обычаю, — предложил Семенов, — тем более разоружение — штука грустная. По другим знаю. Видел, как это делается.

Поколебавшись немного, китайский полковник махнул рукой: с этими русскими как свяжешься, так обязательно напьешься.

А Семенову только это и надо было. Он наполнил стопки, поспешно поданные дежурным ординарцем, поднес свою стопку к носу, зябнул крепким спиртным духом.

— Государственную водку от частной можно отличить так же, как коньяк господина Шустова от керосина. — Семенов столкнулся взглядом с глазами переводчика, понял, что до того не дошел смысл сказанного, улыбнулся и одним махом осушил стопку. Поднял ее, уже пустую, перевернул, поймал в ладонь несколько капель. — За добрососедские отношения. Между вами и нами. — Он тряхнул рюмку снова, опять поймал несколько капель. — За добрососедские отношения всегда пьют до дна.

Переводчик понимающе кивнул, что-то проговорил, наклонившись к уху начальника штаба, — не проговорил даже, а пропел.

— Прошу последовать моему примеру, — призывно произнес есаул и вновь взялся за бутылку.

Едва начальник штаба выпил, как Семенов опять наполнил его стопку. Налил и переводчику. Произнес душевно, с широкой улыбкой:

— Чувствуйте себя как дома, господа.

— Спа-си-бо, — медленно, с трудом произнес начальник штаба.

Есаул продолжал действовать по старому русскому обычаю — такого дорогого гостя, как этот начальник штаба, напойте так, чтобы он разучился не только ходить, но и даже шевелить бровями. Несколько раз начальник штаба пробовал завести разговор о разоружении, но Семенов поспешно поднимал руку в протестующем жесте:

— Это потом, потом! Вначале поьем чаю, а потом будем вести деловые переговоры.

Чаепитие затянулось. Из-за стола вылезли, когда желтовато-черное глухое небо за окном пошло пятнами, будто гнилое, а с деревьев посыпался иней — было уже восемь часов утра. К подъезду был подан штабной автомобиль китайцев, но Семенов, подхватив гостя под локоток, протестующе замахал рукой:

— Нет, нет, нет, мы малость прогуляемся... Подышим воздухом.

Сопровождали их два казака с винтовками; один из них Белов, лишь недавно появился в Маньчжурии, одолев все красные кордоны, рассказал о том, что на Слюдянке — станции, расположенной недалеко от Иркутска, — красные установили плотный кордон, проскочить который, не зная местности, очень трудно, и на кордоне этом всех добровольцев заворачивают назад. «Значит, встревожились совдеповцы, — есаул довольно улыбнулся, — значит, почувствовали в Семенове силу».

Еще Белов передал есаулу газету со статьей о Семенове.

— В Иркутске на вокзале купил, — сказал он, — из газетки-то я, собственно, и узнал, что вы тут находитесь, в Маньчжурии.

Газета была тиснута на плохой серой бумаге, часть букв не распечаталась, плыла. На второй странице была напечатана статья, рисованный заголовок которой с изображением стекающих черных капель крови гласил: «Палач в казачьей форме».

— Это про меня, что ли? — недоверчиво спросил Семенов, ткнув пальцем в рисованный заголовок.

— Про вас.

Есаул взгляделся в текст, натянуто усмехнулся:

— Ну что ж, выходит, большевики начали меня ценить. Скоро, глядишь, и крупную сумму за мою голову назначат.

— Нет худа без добра, — резонно произнес Белов, — если бы не эта газета, я бы вас не нашел.

Но вернемся к Семенову, который, демонстративно пошатываясь и держа под руку китайского полковника, шел по морозной Маньчжурии.

Спекшийся крупитчатый снег так громко скрипел под подошвами, что хотелось заткнуть уши.

Полковник, едва шевеля ногами, пару раз умудрился завалиться в сугроб, но Семенов его оттуда выдернул.

— К-куда мы идем? — заплетающимся языком поинтересовался полковник.

— На площадь.

— Разве русские казармы находятся там?

— Нет, там находятся китайские казармы.

Полковник, остановившись, долго соображал, при чем тут китайские казармы, и, так ничего не сообразив, махнул рукой:

— Все равно. Пусть будут китайские казармы.

— Это надо же так нализаться, — укоризненно сжал глаза в щелочки Семенов, словно не был причастен к тому, что китаец так здорово захмелел. — Ай-ай-ай! — Сам есаул был трезв как стеклышко — ни в одном глазу.

— А когда будет разоружение? — икнув, спросил полковник.

Семенов посмотрел на часы:

— Минут через десять.

— Хорошо, — удовлетворенно произнес китаец.

— Или через пятнадцать...

— Можно и через пятнадцать, это тоже хорошо. — Полковник остановился, втянул сквозь зубы воздух, помотал головой: хотел отрезветь, но это у него не получалось. — Во всем виноват русский чай, — сказал он.

— Так точно — русский чай, — подтвердил есаул.

— Очень он крепкий.

— Ну-у, смотря на какую голову...

Миновав два узких, кривых, забитых поленницами проулка, они вышли на площадь, где располагались китайские казармы.

— О, знакомые места, — обрадовался полковник. Он уже забыл, о чем шла у него речь с русским есаулом по дороге.

В следующую секунду полковник увидел два орудия, снятые с передков и развернутые стволами к казармам.

— Как вам это нравится? — спросил у полковника Семенов.

Хмель слетел с китайского начальника штаба в несколько мгновений; от такого быстрого преобразования полковник, будто от холода, застучал зубами.

— Что это такое? — спросил он дрожащим голосом.

Есаул, не глядя на полковника, скомандовал артиллеристам:

— Заряжай!

Те послушно лязгнули замками орудий и вогнали в стволы по одному снаряду.

— Молодцы! — похвалил артиллеристов Семенов и повернулся к полковнику: — Значит, так... Передайте вашему командующему мой ультиматум: в течение четверти часа он должен быть здесь, около орудий, с ручкой и чернилами — мы подпишем договор о дружбе и союзе со мною. Если это требование не будет выполнено, я разгромлю ваши казармы и все, что в них находится.

— Хорошо, хорошо, все путет хорошо, — скороговоркой пробормотал начальник штаба и бегом припустил в казармы. Переводчик споро потрусил за ним.

Китайский генерал вместе со свитой прибыл к орудиям через десять минут — это Семенов засек по часам. Адъютант нес следом за генералом чернильницу, укутанную в дамскую меховую муфту, чтобы чернила не замерзли, ручку и несколько листов бумаги. Подойдя к есаулу, генерал козырнул ему, словно старшему по званию. Семенов небрежно козырнул в ответ.

— Я же сказал — принести ручку и чернила, бумага не нужна... Бумага у нас есть своя. — Есаул щелкнул пальцами, и бравый дежурный ординарец протянул ему изъятую где-то у чиновников — только у них на столах можно найти такое — кожаную папку.

Семенов открыл папку. Там лежали два листа бумаги, на которые был нанесен — от руки — текст на русском и китайском языках. Это был «заранее заготовленный, немногословный, но сильный по духу и определенный по содержанию приказ», в котором говорилось, что «китайский генерал приказывает всем подведомственным ему чинам относиться к есаулу Семенову и его частям как к союзным войскам и строго запрещает всякие выступления против них».

Китайский генерал, не произнеся ни слова, подписал приказ. Один экземпляр Семенов отдал ему, другой оставил себе.

На этом всякие попытки разоружить зарождающиеся семеновские части закончились. Собственно, и разоружать-то некого было, некого и нечего — вряд ли бы китайцы смогли поживиться чем-нибудь в семеновских казармах — оружия у есаула было мало.

Разоруженный гарнизон Маньчжурии довольствовался в основном берданками — убийными однозарядными винтовками системы Бердана, старыми и очень неудобными в бою, современных мосинских трехлинейек не было почти совсем —

единицы, поэтому спешно надо было доставать винтовки, снабженные магазинами.

За оружием Семенов поехал в Харбин — сербы обещали поделиться и винтовками и пулеметами, — с собой взял баргутский взвод, поэтому первое, что он увидел в Харбине, — кислые лица китайцев, которым баргуты⁴⁶ были поперек горла.

Пришлось нанести визит заместителю коменданта Харбинского гарнизона — сухощавому полковнику с замедленной реакцией: прежде чем что-то сказать, он сосредоточенно и долго жевал губами.

— Баргуты не уедут, пока я не получу оружие, — сказал Семенов полковнику, голос у него был твердым.

На том разговор и закончился, у Семенова были свои интересы, у полковника — свои.

За первым посещением Харбина последовало второе, потом третье. Китайцы хоть и морщились, но присутствие баргутского взвода в Харбине терпели.

Харбин был совсем не похож на китайские города, он был русским, совершенно русским городом с милыми сердцу домами, украшенными голубыми ставенками и белыми наличниками, с затейливыми резными нахлобучками на дымовых трубах, похожими на царские короны, с рублеными баньками и купальнями, вынесенными на реку, — чтобы купальни не мешали движению лодок и пароходов, китайские власти велели их укоротить. В ресторанах гремела русская музыка.

Весна в 1918 году в Харбине намечалась ранняя, уже в конце января воздух был насыщен теплой розовиной, на деревьях набухали почки...

Поезд пришел в Харбин утром. Дышалось легко. Семенов приехал в сопровождении трех офицеров — полковника Нацвалова, подьесаула Тирбаха и сотника Савельева. Еще на вокзале есаул заметил, что к ним пристроился хвост — два бедненько одетых господина в шапках с беличьими хвостами, оба — русские. О своем открытии Семенов ничего не сказал своим спутникам, только похмыкал в кулак.

На площади подозвали извозчика, поехали устраиваться в гостиницу. Извозчик оказался старым, опытным, он мигом выделил Семенова из остальных — понял, что тот старший, и проговорил густым, чистым, будто у певца Шалапина, басом:

— А я, ваша светлость, когда-то по КВЖД первый паровоз провел.

— Ого! — воскликнул есаул удивленно. — Это было так давно!

— Так давно, что я и сам не помню число и год, когда это было, а вот все детали в памяти сохранились очень хорошо, словно это произошло лишь вчера. — Извозчик поддел ружью бороду, впустил ее. — В какой отель прикажете вас доставить?

— В гостиницу «Харбин».

— Здесь недавно, ваша светлость, были американцы...

— Не зови меня «светлостью», я не князь.

— Извиняйте, ваше высочорodie. Так вот, говорю, американцы мне все уши просверлили: «хоутэл, хоутэл»... Я им — «хотел», а они мне «хоутэл» — едва поняли друг друга.

Дед оказался болтливым.

В «Харбине» не нашлось ни одного свободного места. Семенов недоверчиво хмыкнул:

— Странно!

Гостиница была большой, свободные места должны были иметься — не видно, чтобы в гулких просторных коридорах толпились люди, — но гостиничный халдей-приказчик, по обыкновению услужливый, с хорошо прогибающейся спиной, неожиданно колотче глянул на Семенова, будто гвоздями уколол...

— Я же по-русски сказал: «Мест нет», значит, их нету. Могу повторить это на наречии удэге.

— Поехали дальше, — скомандовал есаул спутникам, — здесь нас не захотели понять.

Во второй гостинице, также гулкой, просторной, пустой, тоже не оказалось свободных мест.

— Странно, — произнес Семенов, вновь почесал пальцами подбородок, — дай бог, чтобы в этом «хоутэле» жило хотя бы три человека. Ну, от силы четыре. — Он покосился на тощего, с высокими залысынами юношу, скучающего за стойкой регистрационной конторки. — Значит, говорите, любезный, мест нет?

— Мест нет.

Семенов усмехнулся:

— Ладно, поедem дальше.

Свободные места нашлись только в гостинице третьего разряда — в «Харбинском подворье». Сняли два двухместных номера: сам Семенов и подьесаул Тирбах остановились на первом этаже, полковник Нацвалов и сотник Савельев поднялись на второй. Хоть это и неудобно было — по двое в

одном помещении, но зато надежно: один всегда может подстраховать другого.

Утром Семенов проснулся рано — за окном было еще темно, — тихо, стараясь не разбудить Тирбаха, в носках прошел к двери, выглянул в коридор. В конце коридора увидел какого-то малого, тихо дремлющего на старом венском стуле. Позвал хрипло и излишне громко, не рассчитав голоса:

— Эй, казак!

Малый поспешно вскочил со стула.

— Сгороди-ка нам с подъяесаулом самоварчик! — попросил Семенов.

— Сей момент! — произнес тот скороговоркой, поклонился Семенову. — Только это минут сорок займет, не меньше.

— Пусть будет сорок. Раскочегаривай свой тульский, семимедальный...

— Обижаете, господин. У нас подворье хоть и трехразрядное, а самовар — с девятью медалями.

Пока Семенов тер «зеленкой» ремень и наводил блеск на бритвенном лезвии, пока чистил зубы порошком, сдобренным ментоловым маслом, пока растирал полотенцем шею и грудь, прошло минут тридцать. Неожиданно в двери раздался стук.

— Самовар? Так быстро? Вот молодец! Входи!

Услышав стук, с кровати поспешно вскочил Тирбах, протер пальцами глаза. Удивился:

— Никак, я проспал?

— Нет-нет. — Семенов осадил его ладонью и, поскольку стук прозвучал повторно, открыл дверь. Невольно сморщился: как же он не сообразил, что у того славного парня руки должны быть заняты самоваром, стучать он никак не может — если только пару раз бухнуть ногой... Но это — совсем иной стук.

На пороге стоял плечистый паренек в гимназической шинели.

— Я хочу вступить в вашу армию, — сказал он.

— Зачем?

— Чтобы бороться с большевиками.

— Откуда такая ненависть к большевикам?

Голос парня задрожал, налился чем-то звонким и горьким одновременно.

— Они в Екатеринбурге убили моего отца.

— Сколько тебе лет?

— Шестнадцать.

— Хорошо, пройди в коридор, подожди меня там, я сейчас оденусь.

Едва Семенов достал китель и застегнул его на несколько пуговиц, как в коридоре раздался топот, крики, что-то рухнуло, от грохота деревянный пол даже задрожал, дверь распахнулась, и в номер ворвался полицейский — дюжий, кудрявый, в сбитой на одно ухо фуражке, на которой блестели хорошо начищенные мелом металлические цифры, обозначающие номер околотка, в котором служил молодец, и — к Семенову:

— Вы арестованы!

— Чего-о? — не поняв «намека», протянул есаул. Глянул на погоны полицейского — обычный служивый, ни одной лычки, ни одной звездочки, а в России испокон веков было положено, чтобы офицера арестовывал офицер старше по званию, рядового — унтер.

Следом за кудрявым полицейским в номер втиснулись еще семь человек, один за другим.

— Вы арестованы! — что было силы гаркнул кудрявый, обдал есаула духом женьшеневой водки и начесоченного сала.

Семенов, не долго думая, впечатал свой кулак под глаз кудрявого. Выкрикнул азартно, как некогда в детстве, в пору кулачных боев:

— Тирбах, бейте их!

Ошеломленный Тирбах сидел на постели и крутил головой, не веря увиденному. От одного удара кудрявый устоял на ногах, и тогда Семенов с хаканьем, как настоящий боксер, всадил ему кулак под вторую глаз. Кудрявый рухнул на пол. Семенов устремился на второго налетчика — белобрысого, курносого рязанского Ваню, который стоял опустив руки и недоуменно хлопал глазами, ударил его с лету, коротким прямым тычком в разъем грудной клетки; курносый клацнул зубами, захватывая ртом воздух, и, по-птичьему взмахнув руками, повалился на своего товарища, стоявшего у него за спиной. Тот ухватил Ваню под мышки, удержал на весу, но сделал только хуже — Семенов вновь всадил кулак в живот рязанцу, у которого даже печенка нехорошо екнула от удара, это есаул услышал отчетливо. Ваня обвис на руках товарища. Семенов, не долго думая, атаковал и «благодетеля» — через голову рязанца ткнул его кулаком — раскровянил и нос, и верхнюю губу. Прорычал грозно, брызгая слюной:

— Кто вас прислал ко мне, сволочи?

Тем временем опомнился Тирбах и с криком «Ах вы, полицейские хари!» налетел на непрошенных гостей.

Через несколько минут Семенов и Тирбах разоружили всех семерых полицейских и загнали их в каморку, располо-

женную под лестницей, где дворник хранил метлы. На дверь каморки Тирбах навесил замок.

Семенов вернувшись в коридор:

— Гимназист, ты где?

— Здесь!

Из бокового отсека показался гимназист, Семенов перекинул ему револьвер, отнятый у одного из полицейских:

— Держи! И если хоть одна из этих бандитских рож вылезет из каморки, стреляй прямо в рожу. Никого не бойся! Ни единого человека!

Семенов поспешно натянул на себя плащ, на голову — шляпу, подошел к окну, отогнул занавеску и едва не закричал зубами: вся площадь у «Харбинского подворья» была запружена полицейскими. Выругался. Услышал в коридоре тяжелые шаги — это в номер возвращался подьесаул Тирбах.

— Григорий Михайлович, от полицейских шкур — темно в глазах.

— Вижу. Но нам они ничего не сделают.

У выхода Семенова остановил полицейский офицер — уса-тый молодой человек с темным румянцем на щеках — признак отменного здоровья.

— Вам отсюда выходить нельзя, — сказал он.

— Чего-о? — расвирипел Семенов, лицо у него дернулось.

Ударом кулака он свалил офицера с ног, выскочил на улицу и, оскользнувшись на тонкой черной наледи, едва не полетел на землю.

В следующую секунду выхватил из плаща револьвер, саданул из него в воздух — пуля, тонко взвизгнув, унеслась в розовое кудрявое облако. Следом за Семеновым в воздух выстрелил Тирбах. Толпа полицейских заколыхалась и неожиданно, громко топя сапогами, понеслась по неровной улочке прочь от «Харбинского подворья». За полицейскими, размахивая револьвером, устремился подьесаул Тирбах, Семенов остался у гостиницы — заметил, что с другой стороны к «Харбинскому подворью» бодрой рысцой направляется рота китайских солдат, вооруженных винтовками. Это уже посерьезнее всех харбинских полицейских, вместе взятых. Во главе роты, отделившись от нее метров на пять, бежал высокий сухощавый майор, как впоследствии выяснилось — командант пристани.

Семенов нарочито неспешным раскованным шагом двинулся навстречу майору. Пальцем поманил к себе китайчонка, исполнявшего в «Харбинском подворье» роль посыльно-

го, ткнул ему в руку серебряный двугривенный и сказал, что бы слова его слышал только этот парнишка и больше никто:

— Потолмачь мне. И не вздумай мои слова переиначить сикось-накось. Перевернешь — шашкой уши отрежу. Понял? Это китайчонок понял хорошо.

— Ну и чудно! — одобрительно произнес Семенов.

То, что он наплел майору, было сущей сказкой, небылицей, изобретенной тут же, на ходу. Есаул объяснил коменданту, что на него напали русские хунгузы, переодетые в полицейскую форму.

— Они угнали моего человека, офицера, — пожаловался он.

Майор в ситуации сориентировался мигом и лихим движением руки послал солдат в погоню. Те с улюлюканьем помчались по кривой улочке. В полицейский участок солдаты ворвались вовремя — там озверелые стражи порядка уже повалили Тирбаха на пол и умудрились поранить его саблей.

Вскоре выяснилось, что налет полицейских — это не самодеятельность некоего надутого дурака, упивающегося своей властью, что приказ об аресте есаула был подписан самим господином Сечкиным, прокурором окружного суда. Семенов немедленно связался по телефону с Хорватом и, чувствуя, как каменеет лицо, а нижняя челюсть становится тяжелой, будто наливаясь металлом, сказал генералу:

— Я требую, чтобы вы, Дмитрий Львович, немедленно назвали виновных. Если это не будет сделано, я за последствия не отвечаю.

— А что вы сделаете? — с неожиданным любопытством спросил Хорват.

— Вызову из Маньчжурии свой отряд и произведу переворот в Харбине.

Это было серьезно. Хорват прекрасно понимал, что Семенов даже минуты раздумывать не будет — сделает, что обещает. В телефонной трубке было слышно, как тяжело и нервно начал дышать генерал. Семенову даже жалко его стало. Есаул молчал.

— Я не допускаю мысли, чтобы приказ о вашем аресте исходил от Сечкина, — наконец сказал Хорват. — Для того чтобы разобраться в этой истории, я посылаю к вам господина Крылова — помощника окружного прокурора, а кроме того — приглашаю вас завтра, уважаемый Григорий Михайлович, к себе на обед.

«Впоследствии я выяснил все подробности происшедшего столкновения и убедился, что генерал Хорват не был со мною

вполне искренен, — написал Семенов через восемнадцать лет в своих воспоминаниях. — Попытка моего ареста исходила именно от него и преследовала цель моего удаления из Маньчжурии».

Оружия по-прежнему не хватало, и тогда Унгерн предложил сделать налет на станцию Оловянная, где располагался отряд красногвардейцев, имелась и вооруженная рабочая дружина при местном железнодорожном депо. Унгерн отправился на эту станцию, взяв с собою двадцать пять человек с двумя прапорщиками — Сотниковым и Березовским. Последний окончательно предал своих, за верную службу был произведен Семеновым в прапорщики и носил теперь полевые офицерские погоны защитного цвета с нарисованными химическим карандашом звездочками — по одной на каждом погоне: настоящие знаки различия купить было негде, поэтому новоиспеченные офицеры, чтобы выделиться, использовали подручные средства.

Через два дня отряд Унгерна вернулся. Привез с собою 175 винтовок и четыре ящика патронов.

Так Семенов создавал и вооружал свою армию.

Тем временем под Читой то в одном месте, то в другом, в основном на станциях, случались стычки, в частности все время они происходили между Первым Читинским казачьим полком и красноармейцами; пришло сообщение о том, что в борьбу с большевиками вступил и Нерчинский полк. Семенов решил объединить силы и создать ОМО — Особый Маньчжурский отряд.

Основной головной болью Семенова были не люди — их он мог привлечь много, они шли к нему сплошным потоком, — основной заботой было оружие, в частности артиллерия. Без пушек ему нечего было думать о борьбе с красными. Пушки он в конце концов добыл и создал четыре батареи — одна была вооружена тяжелыми орудиями системы «Арисака», две полевые батареи имели восемь орудий среднего калибра и одна — четыре французских горных пушки. Кроме того, на рельсы были поставлены четыре бронепоезда с пулеметами и орудиями.

Теперь можно было воевать.

На пороге стоял апрель 1918 года. Гражданская война еще не началась, но запах ее уже носился над землей вместе с запахом цветущего багульника, пробудившейся земли, боли, тоски и еще чего-то такого, что заставляло влажнеть глаза даже у бывалых людей.

Люди чувствовали беду — и белые, и красные в одинаковой степени, — ни тем, ни другим в общем-то не хотелось воевать. Люди устали и от войны, и от паскудной жизни, но слишком много нашлось гордецов и умельцев, которые усердно дули на этот то разгорающийся, то затухающий костерок, старались сделать пламя побольше да пожарче. К этим людям принадлежал и Семенов.

Виноваты в том, что Гражданская война разгорелась, были, по сути, немногие, а расплачиваться за это пришлось всем. Даже тем, кто к той поре еще не родился.

Огонь войны, поначалу совсем слабый, разгорался все сильнее.

Одной из причин, втянувшей в войну фронтовиков — бывалых людей, уставших от бойни, — было подписание унижительного мирного договора с немцами. Фронтовики никак не хотели считать себя побежденными, это не укладывалось у них в сознании: били германцев в хвост и в гриву, и на тебе — побежденные. Действительно, ситуация создалась странная: с немцами воевала не только Россия — воевали союзники, французы и англичане, хотя главную тяжесть русские взяли все-таки на себя, однако когда стали подводить итоги, России достался позорный мир, навязанный ей Германией, а союзники России, объявив Германию побежденной страной, заставили выплачивать им крупную контрибуцию. История таких примеров еще не знала.

С унижительным положением солдаты не могли согласиться, горькое осознание несправедливости и заставило их вновь взяться за винтовки.

С подписанием такого договора не были согласны ни Колчак, ни Алексеев⁴⁷, ни Корнилов⁴⁸, ни Каппель⁴⁹. Не был согласен и будущий атаман Семенов.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Семенов искал, на кого бы из союзников опереться, многие подталкивали его к французам, но при упоминании о них он морщил нос, будто на него повеяло отстойным воздухом из ближайшего сортира; есаул считал, что французы похожи на легкомысленную бабу, которая дает и нашим, и вашим (впоследствии оказалось, что он прав: французы и чехи выдали большевикам адмирала Колчака, как только Брангель⁵⁰ стал

им не нужен, он был брошен в Крыме на произвол судьбы, были и другие примеры, с такими историю делать нельзя).

Чехи во главе с Яном Сыровым⁵¹ и новоиспеченным генералом Гайдой⁵² — последний в прошлом, как сказывали Семенову, был фельдшером, служил в австро-венгерской армии и попал в плен, добровольно сдавшись нашим солдатам, — тоже вели себя по-бабьи, на них тоже нельзя было опереться, особенно в бою.

Тогда на кого же мог опереться Семенов?

На англичан? Но у них были свои интересы, на Дальний Восток они поглядывали лишь с вялым любопытством, их больше привлекала европейская часть России, в частности Архангельск и Романов-на-Мурмане. Так что англичане — не помощники и вообще не игроки.

Кто же игроки? Китайцы? Боже упаси! Китайцы поглядывали на Семенова враждебно и своего отношения к нему менять не собирались. Монголы? Монголов Семенов считал надежными союзниками, но их было мало.

Оставалась одна сила — японцы.

К японцам Семенов всегда относился с симпатией, они ему отвечали тем же, и будущий атаман пошел с ними на сближение.

Японской военной миссией в Харбине командовал капитан Куроки, он вскоре и сделался другом Семенова. Куроки отрядил двух своих сотрудников в штаб есаула для формирования специального японского батальона.

Такой батальон в количестве шестисот человек вскоре был сформирован. Командиром его стал капитан Окумура. Поскольку Семенов со своими омовцами ввязался в затяжные бои с красными частями, то японцы выполняли роль этакой затычки: если возникала тяжелая ситуация и красные начинали теснить омовцев, то Семенов немедленно бросал в бой Окумуру, и тот выпрямлял прогнувшуюся линию фронта.

Успешно действовал и отряд бронепоездов, которыми командовал капитан Шелковый, хотя к нему самому есаул по-прежнему относился настороженно — имелось в капитане что-то такое, чего нельзя было уловить — например, никогда он не глядел в глаза собеседнику; пальцы у него, покрытые рыжеватым редким пухом, были вялыми, бескостными, как сосиски; холодная ладонь при рукопожатии оказывалась неприятно влажной, — «поручкавшись» с капитаном, хотелось вымыть руки либо вытереть их о платок. Был Шелковый исполнителен, слушая есаула, старался не пропустить ни одно-

го слова, стоял навтыяжку с наклоненной головой и не поднимал взгляда, словно был в чем-то виноват.

Как-то Семенов попробовал поговорить с капитаном по душам, но разговора не получилось. Капитан будто залез в скорлупу, мигом сделался угрюмым, не потеряв, правда, при этой угрюмости обычной своей вежливости, и на все вопросы будущего атамана отвечал однозначно — «да», «нет», «да», «нет» — словно не знал никаких других слов. Семенов морщился недовольно, дергал усами — не нравился ему Шелковый, и все тут.

А затяжные бои с красными стали носить тяжелый характер: Семенов не думал, что у красных найдется столько сил, упорства, оружия, чтобы так героически воевать. Беспортошные, голодные, холодные, а воюют. Это Семенова раздражало. Он не мог понять, почему эти люди зубами держатся за эфемерную волю, за своего картавого предводителя... как его фамилия? Кому доверились мужики? А люди, которые находятся рядом с картавым, те, что его окружают, — они же сплошь с нерусскими фамилиями. Но ведь расхлебывать-то все и страдать за все приходится русским — им за все предстоит расплатиться собственной шкурой. И как только этого они не понимают?

Еще донесся до Семенова слух, что воюют красные под началом опытных немецких инструкторов. Слишком уж толково, напористо, с выдумкой начали драться красные — они стали теснить Семенова буквально всюду, даже японский батальон не всегда мог выручить его омовцев.

В те дни Семенов повидался с Колчаком — адмирал получил назначение командующего русскими войсками в полосе отчуждения КВЖД и прибыл в Маньчжурию. Поразмышляв немного, Семенов решил отсидеться у себя в штабе и не встречать адмирала: если понадобится, Колчак сам найдет его. Это было, конечно, обычным хамством, ведь Колчак имел всероссийскую славу, а Семенов, хоть и лихой вояка, все-таки больше был известен по походам в бордели да по нескольким заметкам в иркутской и читинской большевистских газетах — величины это были несопоставимые.

Но как бы ни было, встреча все же состоялась — там же, в Маньчжурии. Адмирал пригласил Семенова к себе. Семенов явился к новому командующему настороженный, набычившийся, у него даже волосы на затылке встали дыбом. Адмирал не понравился Семенову: был он нервный, сухой, делал слишком много движений и ничего не понимал в лошадях. Зато

вздумал учить — Семенов почувствовал, как у него потяжелело, сделалось горячим лицо, кончики усов нервно задергались.

— Вы, Григорий Михайлович, на мой взгляд, недооцениваете китайцев, — сказал ему адмирал. — И слишком переоцениваете японцев.

Семенов едва сдержался, чтобы не вспыхнуть — угрюмо стиснул зубы и на это высказывание не ответил. Он понял, в чью «дуду» дует Александр Васильевич — генерала Хорвата, готового мыть ноги своим китайским хозяевам.

Адмирал нервно заходил по комнате. Некоторое время он молчал — похоже, как опытный психолог, выдерживал паузу, и Семенов молчал, но поскольку по части психологии он не имел совершенно никакого опыта, то не смог справиться с собою и хлопнул кулаком по столу.

— Вы — ярый противник японской ориентации! — произнес он тоном судьи, выносящего вердикт — «окончательный, бесповоротный, обжалованию не подлежащий».

— Совершенно верно, — неожиданно спокойно отозвался адмирал, — ориентация на Японию в нынешних условиях — преступление.

— А на кого вы предлагаете ориентироваться? — с ехидной угрюмостью спросил Семенов.

— На Англию и Францию.

При упоминании о Франции Семенов поморщился, потом мотнул головой и произнес по-мальчишески резко, с фистулой⁵³ — голос его не выдержал нагрузки:

— Нет! Ни Англия, ни Франция для меня не существуют. Нет таких государств!

Колчак удивленно посмотрел на него:

— Я попробую вас разубедить в этом.

— Я — человек упрямый. Переделывать меня поздно и трудно.

— Восстановление прежней России — в интересах этих стран. Они — наши союзники в войне с немцами, им нужна сильная Россия, как говорил Столыпин⁵⁴. А Японии и вместе с нею Америке нужна Россия слабая, им в одинаковой степени важно, чтобы влияние России на Дальнем Востоке было минимальным.

— Что вы от меня хотите?

— Чтобы вы перестали колени преклонять перед Японией и прислушивались к тому, что говорят в Харбине.

В Харбине — значит, в канцелярии генерала Хорвата. А канцелярия целиком состоит на довольствии у китайцев, ест

и пьет из рук этих тыквенных голов. Плюс ко всему китайцы сумели здорово снюхаться с красными — ну ровно родные братья стали, — а раз они родные братья, то Семенов очень скоро, спеленутый по рукам и ногам какой-нибудь тростниковой веревкой, сплетенной в одной из деревушек на реке Янцзы, будет передан красным... Семенов вновь по-мальчишески упрямо мотнул головой:

— Нет!

За кого его принимает адмирал, давая такие рекомендации? Семенов почувствовал, как у него недовольно, сама по себе задергалась щека, он приложил к ней руку, останавливая дрожь — не помогло, и тогда он снова потряс головой, не слыша уже ни себя, ни адмирала:

— Нет, нет и еще раз нет!

Расстались они холодно, почти враждебно, очень недовольные друг другом, адмирал даже не пригласил Семенова на чашку чая, хотя считался гостеприимным человеком.

Это была единственная встреча Семенова с Колчаком, больше встреч не было, но и одной встречи оказалось достаточно, чтобы их взаимоотношения определились раз и навсегда.

Адмирал откровенно презирал Семенова. Семенов же считал адмирала «мокрорепутным» дураком, белоручкой, не знающим, чем пахнет «родная земля», совершенно не способным руководить сухопутными войсками.

В тот же вечер Колчак покинул Маньчжурию.

А дела Семенова становились все хуже и хуже — красные продолжали теснить его, и тогда он решил совершить обычный свой финт — мастером по этой части он оказался несравненным: сбрасывал все карты в кучу, быстро перемешивал их, а потом, почти наугад, но очень ловко, зная, что конкретно вытащит, вытаскивал из колоды пару незначительных «особ» — шестерку и, скажем, дамочку — и объявлял их «особами, приближенными к императору».

Вот что впоследствии Семенов написал о финте, который он совершил, когда красные ему вообще наступили ногой на горло:

«В один день особенно тяжелого боя усталые части были выведены с позиций и сосредоточены вблизи границы. Китайским властям я объявил, что в ближайшие дни намерен сдать им оружие и выйти с людьми из боя, отдавшись под их покровительство. Зная наверное, что это мое намерение немедленно будет сообщено красным, я, рассчитывая, что, осведомившись от китайцев о моем решении уйти за границу,

большевики потребуют от китайцев выдачи меня и моих людей и что последние вступят в переговоры по этому вопросу, что даст мне возможность ввести в заблуждение как тех, так и других и уйти в полосу отчуждения КВЖД, сохранив оружие и боеспособность отряда».

Как всегда, Семенов вел игру, балансируя на лезвии ножа — то одна его нога зависала в воздухе, то другая. Порою ему казалось, что он только тем и занимается, что затыкает дырки на своем — пусть маленьком, но своем — фронте. Бывший прапорщик Лазо, командовавший красными, воевал умело — в этом ему отказать было нельзя. Семенов посерел от забот и бессонницы, кашлял. Наступившую было весеннюю теплую погоду смял хундун — свирепый ветер, приносящийся вместе с песком из Китая, ветру нельзя было подставить лицо, он кровянил кожу, выжигал ноздри, норовил выстебать глаза. С неба неслись обледеневший снег — крупа не крупа, лед не лед, а скорее всего толченое стекло — от неожиданных снежных зарядов страдали не только люди, но и лошади.

Семенову больно посекло кожу на лице, наутро он попробовал побриться — не удалось, лезвие соскребало тонкие точки коросты, на срезах тут же появлялась кровь, есаул плюнул и, даже не протерев лезвие, бросил бритву в полевую сумку — придется пару дней походить небритым. Казаки, надо полагать, это поймут.

Светлых дней не было — сплошь задымленная холодная темнота.

Ранним холодным утром Семенову пришла неприятная новость: участок фронта, который держали бронепоезда Шелкового, оголился. У есаула сжались челюсти, а небритое, в коричневом крапе коросты лицо сделалось железным — будто покрытый ржавью кусок металла. Семенов тихо, едва приметно шевеля побелевшими губами, выматерился и спросил слабым, чуть обозначившимся голосом:

— Как это произошло?

— Неведомо, ваше высокоблагородие. Вечером бронепоезда стояли на месте, держали под прицелом позиции красных, а сейчас нет — ушли!

— Куда ушли?

— Скорее всего в Харбин.

— А что капитан Шелковый?

— Без капитана дело тут, ваше высокоблагородие, не обошлось.

— К стенке мерзавца!

Но чтобы поставить мерзавца к стенке, его надо было изловить.

Семенов послал команду на небольшой, но очень пустой, с хорошим ходом дрезине проверить, действительно ли на фронте образовалась большая дыра. Оказалось, так оно и есть.

Почувствовав, как горло сжали чьи-то железные пальцы, Семенов даже схватился за шею, чтобы оторвать эти пальцы от глотки, но их не было. А вот хватка была. Семенов хватил ртом воздух, обжегся им, снова хватил, стараясь взять побольше, словно думал проглотить пространство, но это не помогло — невидимые пальцы продолжали стискивать глотку. Никогда, даже на фронте, когда попадал в ситуации совершенно безвыходные, он не чувствовал себя, как сейчас. Не думал не гадал Семенов, что он так уязвим.

— Вот сука! — вновь шевельнул он белыми губами.

Неподалеку раздался выстрел. По снегу, твердому, как асфальт — корка наста держала не только человека, но и лошадь — дюжий косматый казак гнал какого-то пустрого сморчка, проворно, будто зверек, перебирающего ногами лапками. Казак пальнул в него из карабина, но ствол у новенького, еще не обтертого в деле оружия оказался с изъяном, и казак промахнулся.

Семенов велел привести к нему казака.

— Чего произошло?

— Да гад этот, видать из красных, продукты у меня спер. Бродяжка. Без хлеба оставил, надо же ж! — Казак, не стеснясь Семенова, выругался матом, показав темные, наполовину съеденные зубы.

— Ты застучал его на воровстве?

— На самом воровстве — нет, а вот на том, как он поедал мой хлеб, застучал.

Семенов повернулся, поискал глазами дежурного адъютанта — молодого усатого человека с погонами сотника на длинной кавалерийской шинели — и распорядился:

— Поймать мерзавца — и на сук его! Расплодись, дармоеды!

Плотное темное небо разорвалось, в расплзшуюся щель вывалилась холодная сыпучая лава, снег с железным скрипом, с визгом и хохотом устремился вниз. Он громко всаживался в землю, в наст, сбивал с ног людей. Адъютант поспешил накинуть на плечи Семенова бурку.

— Господин военный комиссар, пойдемте в штабной вагон. — Адъютант упрямо звал есаула военным комиссаром, и тот не возражал.

Из штабного вагона Семенов связался со станцией Цицино, с китайским генералом Чжаном Куиу, с которым был дружен (это один из немногих китайцев, кому есаул доверял), бронепоезда надо было срочно задержать; генерал ответил, что они уже прошли Цицино. Более того, у него имелось специальное распоряжение, пришедшее из Харбина: оно предписывало пропустить бронепоезда беспрепятственно. У Семенова от этого сообщения вновь перехватило горло: что угодно можно простить человеку, но только не предательство, с чем угодно можно смириться, но только не с низким торгом. Шелковый предал Семенова и — есаул готов был отдать руку на отсечение, что это произошло, — получил за это хорошие деньги.

В образовавшуюся дырку Семенов бросил японцев, и сделал это вовремя: красные, конечно, засекли уход бронепоездов, но не поверили, что фронт перед ними оголился, в атаку пошли с запозданием, сбили сидевший на Атамановской сопке китайский батальон, но зацепиться не успели — на них навалились японцы.

Капитана Куроки в батальоне не было — он выехал в Японию, его замещал майор Такеда; майор положил половину батальона, но сопку отбил. Захватил четыре десятка пленных и несколько пулеметов.

Есаул немедленно отправил в Харбин ходоков — угнанное имущество, четыре бронепоезда, надо было во что бы то ни стало вернуть. Оказалось, команды бронепоездов не знали о предательстве своего командира, думали, что совершают обычный тактический маневр, и, выслушав семеновских ходоков, дружно выругались и повернули поезд обратно.

Семенов собрал Георгиевскую думу — старших офицеров — георгиевских кавалеров, главенствовали в думе Семенов и барон Унгерн. Есаул приказал двум дежурным денщикам разогреть двухведерный баташевский самовар, на манер бравого вояки увешанный медалями, и сказал:

— Предлагаю японского майора Такеду наградить русским военным орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия четвертой степени.

Георгиевские кавалеры, зная, в чем дело, молча подняли руки.

Унгерн задал вопрос, который кто-то обязательно должен был задать:

— Какого образца будет орден?

— Для чинов ОМО, Роман Федорович, — пояснил Семенов и, поймав недоуменный взгляд одного из членов думы, добавил: — Орден уже чеканится. Скоро к нам поступит пробный образец.

Отношения между Семеновым и японцами сделались еще более тесными.

Было в ту пору Семенову всего двадцать семь лет, но он ощущал себя старше, много старше своего возраста, иногда ему вообще казалось — он прожил долгую жизнь, все лучшее осталось позади и ничего хорошего в его жизни уже не будет. По ночам ломило руки, терпеть боль было трудно; когда шел снег, боль делалась яростной. Семенов метался на неудобном деревянном ложе в своем штабном вагоне и тихо стонал. К утру боль утихала, и он получал возможность немного поспать.

Фронт трещал по всем швам, но все-таки окончательно одолеть Семенова никак не могли. Есаула здорово выручали бронепоезда. На ночевки он останавливался на станциях, а в чистом поле, на рельсах, не заночевал ни разу.

В то утро боль отпустила его на рассвете, он поспал два часа и вывалился из штабного вагона наружу умыться снегом. Растегнул крючки кителя, зачерпнул ладонью крупитчатого жесткого снега и, не боясь обжечься холодом, швырнул себе прямо под китель, на грудь. На мгновение задохнулся от резкого холода, но на его лице это никак не отразилось, затем отер снегом щеки и виски.

Было на удивление тихо, заиндевелые рельсы, на которых стоял его поезд, сделались такими же серыми и грязными, как снег на обочинах запыленного угольной крошкой железнодорожного пути. Чтобы набрать снега почище, надо было отойти от поезда шагов на тридцать. На всякий случай Семенов страховал Белов с винтовкой, он справедливо полагал, что хоть есаула и прикрывают бронепоезда, а родная трехлинейка — надежнее.

Впрочем, сам Семенов к такой страховке относился неодобрительно, всем видом давал понять, что недоволен, но вслух ничего не высказывал: он ест свой хлеб, а отдел контрразведки, специально созданный в ОМО для борьбы с разными лазутчиками и наемными убийцами, ест свой. Хотя Белов к контрразведке никакого отношения не имел и охранял есаула добровольно, по старой фронтовой привычке.

— Куда же вы пропали? — неожиданно услышал Семенов звонкий, с ликующими высокими нотками голос.

Семенов поднял глаза и уткнулся взглядом в стройную фигурку, одетую в нарядный, украшенный воротником-палью романовский полушубок, в высоких кожаных сапожках, подбитых мехом, недовольно дернул плечом и неожиданно для себя улыбнулся. Было в этой улыбке что-то застенчивое, непохожее на Семенова, мальчишеское, жесткое лицо его размякло, поплыло, глаза обрадованно посветлели.

— Вы? — проговорил он растерянно, тихо, и внутри у него возникло что-то сосущее, сладкое. Семенов отметил невольно, что раньше это ощущение ему не было знакомо, и вновь повторил прежним растерянным тоном: — Вы?

Это была Маша Алмазова, певица из ресторана.

— Я, — ответила она, улыбаясь.

— Как вы сюда попали? Ведь здесь опасно.

— Я опасностей не боюсь, — ответила Маша, — это дело для меня привычное. А потом... — она еще раз улыбнулась, улыбка ее была кокетливой, — чего не сделаешь, чтобы оказаться рядом с мужчиной, к которому испытываешь... — она замаялась, подыскивая нужное слово, — уважение.

Семенов оглянулся неожиданно беспомощно, увидел Белова, поманил его к себе:

— Белов, только на тебя могу рассчитывать. — Он дотронулся до Машиного локтя: — Отвечаешь за нее головой. Чтобы никто даже дохнуть на нее не смог. А уж насчет обидеть... — Семенов сжал пальцы так, что в них что-то захрустело. — Понятно, Белов?

— Куда уж понятнее, ваше высокоблагородие!

Так в жизни будущего атамана появилась красивая женщина. Была ли Маша Алмазовой — как ее объявляли в харбинских и маньчжурских ресторанах — или носила какую-то другую фамилию, никто не знал.

На следующий день Семенов велел спать ей офицерскую казачью форму — правда, без погон, выдать маленькие шпоры с малиновым звоном и отдельно стачать любимый сердцу каждого забайкальского казака головной убор — лохматую папаху.

В своих записках Семенов делает интересное признание. «Ведя силами О.М.О. вооруженную борьбу с большевиками, я одновременно поддерживал через подполковника Краковецкого оживленную связь с противобольшевистскими орга-

низациями в Иркутске и далее на запад. Благодаря материальной поддержке, которую я мог оказать им из средств, отпускаемых мне союзниками, эти организации крепили морально и материально...»

Вот почему Семенов был так предан японцам, так любил их. «Благодаря материальной поддержке...» Как же не любить их!

Краковецкий — лощеный, одетый в безукоризненно пошитый мундир травянисто-серого цвета, с воротником «а-ля Керенский» — несколько раз являлся к Семенову на доклад. Тот, видя на пороге подполковника, старался освободиться от присутствующих — лишние уши при этом разговоре были ни к чему, поднимался из-за стола, оживленно потирая руки:

— Ну?

Подполковник подробно рассказывал ему, что происходит в Иркутске, в Чите, и Семенов, продолжая увлеченно потирать руки, каждый раз задавал один и тот же вопрос:

— Может, пора грохнуть кулаком о стол? Может, начнем? — Терпя поражения на фронте, едва удерживая свои позиции, он был готов запалить огонь еще в одном месте — в тылу у красных.

В ответ Краковецкий каждый раз отрицательно качал головой:

— Рано еще. Во-первых, информация о нашем подполье известна большевикам, и они все время держат в Иркутске значительные силы, во-вторых, начинать надо одновременно с выступлениями наших людей в Западной Сибири и на Волге...

— У вас и там есть свои люди, подполковник?

— Есть.

Семенов проникался уважением к лощеному, с утонченными чертами лица подполковнику...

В Сибири тем временем подняли голову чехи — так называли плененных русскими войсками на западе и тысячами перевезенных в Сибирь в лагеря и словаков, и сербов, и венгров, и самих чехов, которых было больше всего, — они отняли у большевиков оружие и по железной дороге двинулись на восток.

В Омске было сформировано Сибирское правительство под председательством Вологодского. На Дальний Восток прибыл генерал Пепеляев и предложил Семенову занять пост командующего Пятым Отдельным Приамурским корпусом с расположением штаба в Чите.

Семенов предложение принял — от таких подарков судьбы не принято отказываться.

Японский батальон в ОМО перерос в дивизию, в начале октября 1918 года она заняла Читу. Положение на фронте изменилось. На востоке успешно воевали амурские казаки под началом атамана Гамова и уссурийцы, возглавляемые атаманом Калмыковым. Территории под их контролем были значительные.

Гражданская война была в разгаре.

Чита — город наполовину деревянный, наполовину кирпичный, и вовсе не потому, что там поровну было деревянных домов и кирпичных или улица деревянная перемежалась улицей кирпичной. Здесь было полно домов «фифти-фифти»: нижняя часть у таких домов сложена из кирпича, утолщенная, надежная, как крепость, с подвалами, потайными кладовками, схоронками, до которых незнакомый человек никогда не доберется, и верхняя — деревянная, жилая, спальная, с легким сосновым духом, вытягивающим из всякого простуженного организма разную гнойную мокроту и хворь. Семенов любил останавливаться в таких домах. Любил здешние сосны, сизые пади, полные груздей, рыжиков и голубики, кедровые заросли, из которых никогда голодным не уйдешь, любил золотой песок мелких речек и чистый, пахнущий смолой воздух.

Любил и городки Читинской округи, забайкальские — Кяхту, Троицкосавск, их церкви и тишину. В Кяхтинском соборе с изящной колокольной и высоким стрельчатым куполом он всегда ставил к иконе Казанской Божьей Матери свечки — благодарил за везение, потом шел в городской сад, под деревья, просто сидел на скамейке, отдыхал душой и мыслями. Хоть и переводилась Кяхта на русский язык как «Пырейное место», а знаменита Кяхта была не пыреем, а чаем. Она стояла на Великом чайном пути, чай шел сюда через Монголию из Южного Китая и отправлялся дальше — на лошадях гигантскими возами доставляли его на нижегородскую ярмарку, откуда растекался он по всей стране, а когда открылась Транссибирская магистраль, пошел по железной дороге прямо в Москву.

От Кяхты рукой подать до Маймачена, который хоть и разделен был границей, а от Кяхты мало чем отличался.

В Читу Семенов въехал на белом пугливом коне, около городского собора остановился, легко выпрыгнул из седла. Лицо у есаула было осветленным, даже глаза и те посветлели.

Он опустил повод, который держал в руке, поклонился городскому собору. Посветлевшие глаза его сделались блестящими, влажными, он огладил пальцами истертые серые камни, попавшиеся под руку, и с пафосом, который не ожидал в себе обнаружить — выходит, появились в нем некие новые качества, недаром ведь говорят: «Жизнь течет — все изменяется», — громко, так, что птицы, сидевшие на портале собора, насторожились, — произнес:

— Здравствуй, милая моя родина! Здравствуй, земля моя дорогая! — Неожиданно закашлялся, почувствовал, как вискам сделалось горячо. — Ты мне снилась по ночам... Отсюда я уже никогда не уйду. Что бы ни произошло.

Он не заметил, как рядом оказалась Маша — она вообще умела возникать из ничего, из воздуха, из бестелесной тени — также опустилась на колени. Взяла из рук Семенова серый грязный камень и поцеловала его.

По рядам казаков, окруживших предводителя, поползли одобрителный говорок:

— Молодец девка!

— Ей дать саблю, она и саблей будет неплохо махать.

— И атаман — молодец! Такую кралю себе оторвал! Царица, а не краля, любой казачий круг украсит.

Семенова все чаще и чаще стали называть атаманом: атаман да атаман. Не есаул, не «ваше высокоблагородие», а — атаман. Сам Семенов понимал, что самое лучшее — величать себя атаманом. Эта мысль запала ему в голову — действительно, есаул не может командовать ни корпусом, ни дивизиями — это дело генерал-лейтенантов да генерал-майоров, в царское время даже полками иногда командовали генералы, поэтому быть есаулом — этого мало, Семенов перерос это звание.

Вскоре приказы и разные штабные документы он начал подписывать «Атаман Семенов», а на погонах семеновских солдат появились литеры «АС». Ему казалось, что центр мира переместился в Читу, но это было не так — центр мира находился в Омске.

В Омске произошел переворот. Директория⁵⁵, правившая Сибирью, была свергнута. Слишком уж криворукой, разноногой, пустоголовой была Сибирская Директория, максимум, что умели делать купчишки и прочий люд, заседавший в ней, — пить водку и в нетрезвом состоянии палить из охотничьих ружей по пустым бутылкам и глиняным горшкам... Поэтому когда в Читу поступило телеграфное сообщение из Омска о свержении Директории, Семенов лишь похлопал в ладошки: браво!

Малость поразмышляв, поддержал он и назначение адмирала Колчака военным министром Сибирского правительства. Хотя в следующую минуту задумался и озадаченно потер пальцами лоб — а сможет ли Колчак, которому до сих пор была подвластна водная стихия, подчинить себе стихию суши? Да и человек он нервный, чуть что — в бутылку лезет, голос у него, вместо того чтобы быть железным, в пиковой ситуации начинает дрожать, как у обиженного гимназиста. Конечно, из самого Семенова военный министр был бы получше, но до Омска было далеко, ехать туда не хотелось, и поэтому Семенов дал согласную отмашку: Колчак так Колчак.

В Омске тем временем были арестованы три офицера, свергнувшие Директорию, — Катанаев, Красильников и Волков. Этих людей, не будучи знакомым с ними, Семенов считал своими: все трое принадлежали к Сибирскому казачьему войску, — поэтому он отправил в Омск телеграмму с требованием немедленно освободить их. С ним по прямому проводу соединился Омск, и новоиспеченного атамана в лоб спросили: готов ли он поддержать назначение адмирала Колчака Верховным правителем России?

— Верховным правителем России? — изумленно переспросил Семенов, стоя в аппаратной и перебирая пальцами длинную узкую ленту. — Это что-то новое.

— Поддерживаете или нет? — настаивал на ответе Омск.

— Нет.

— Почему?

— Его характер и личные качества не соответствуют требованиям, которые мы должны предъявлять Верховному правителю России.

— Кого бы вы хотели видеть в этой роли?

— Генерала Деникина⁵⁶, генерала Хорвата или, на худой конец, атамана Дутова⁵⁷.

В Омске усмехнулись:

— На худой конец... Интересно.

Связь оборвалась.

К вечеру Семенов получил ответ на свою телеграмму по поводу арестованных казачьих офицеров. «Не ваше дело вмешиваться в дела Верховного правителя». Подпись — «генерал Лебедев».

Атаман с брезгливым видом повертел телеграмму в руках, потом приподнял ее двумя пальцами, как дохлого лягушонка, и спросил у Унгерна:

— Лебедев — это кто такой? Откуда взялся?

— Откуда взялся — не знаю. Знаю, что до недавнего времени он был полковником, звезд с неба не хватал... Обычная серая мышь, усердно грызущая штабные бумаги... Но вот повезло: Александр Васильевич Колчак его поднял, и он стал начальником его штаба.

Семенов разжал пальцы, и телеграмма полетела на пол. Атаман наступил на нее сапогом, придавил покрепче. Был скорбителен не только тон телеграммы, но и то, что она была отправлена без всякого шифра, открытым текстом, что смаживало на попытку подорвать авторитет Семенова.

Вечером он настроил гневное письмо адмиралу, в котором не оставил у Колчака ни одной не перемытой косточки. Выражения Семенов не стал выбирать — что в голову пришло, то и «стелил» на бумагу.

Он ждал, что от адмирала придет ответ, который все расставит по полочкам, но вместо этого его вызвал к прямому проводу генерал Лебедев. Атаман поморщился, дернул головой недовольно — очень не хотелось ему отправляться к прямому проводу, в аппаратную, но не идти он не мог — Лебедев был его начальником, а Семенов как командир Отдельного корпуса считался его подчиненным.

Лебедев был категоричен, он задал атаману знакомый вопрос:

— Вы признаете Колчака Верховным правителем России?

Семенов пожевал зубами, услышал каменный скрежет — зубы у атамана были крепкие, такие стачиваются не скоро:

— Прежде чем ответить на этот вопрос, ваше превосходительство, я должен получить исчерпывающую информацию о том, какова будет линия поведения нового правительства и каковы его цели...

Генерал Лебедев прервал связь — человеком он оказался дерганым, вздорным, обидчивым, Семенов тоже был не сахар и хорошо знал это, но никогда не позволял себе так вести.

— Баба! — выругался он и покинул аппаратную.

Через два дня атаман получил из Омска, из ставки Колчака, приказ под номером 61, где объявлялся изменником, отстранялся от всех должностей и предавался военному суду. Прочитав приказ, Семенов невольно присвистнул.

— Вместо того чтобы бороться с большевиками, мы занимаемся тем, что вышибаем сопли друг из друга, — оказал он. — Стараемся это сделать побольнее, кровянистее. Эхма! — Он потянулся, услышал хруст собственных костей. — Интересно, что же мне инкриминируют?

Инкриминировали атаману многое. Первое — то, что он прижал чехов. Их развелось много; они, как блохи, прыгали по всей железнодорожной линии от Урала до Владивостока, грабили население, не прочь бывали забраться в иной банк и выудить из его подвалов последнее золотишко; воевать они не умели, зато умели вкусно есть и пить, гусарить и приставать к бабам; вреда от чехов, по мнению атамана, было больше, чем пользы. Второе, что ставили в вину атаману, — задержку оружия, снаряжения, боеприпасов, идущих с востока, с приморских причалов в Приуралье, на фронт; и третье, последнее: бунт, который поднял Семенов против существующего строя, то есть против Колчака, Лебедева и прочих, кто составлял с ними одну компанию.

Атаман выругался — во рту у него неожиданно сделалось сухо, горько, он швырнул бумагу, на которой жирной типографской краской было отшлепнуто ярко, так заметно, что не прочитать мог только слепой: «Приказ». Ниже, на отдельной «полочке», стоял номер — 61, а еще ниже машинистка на плохо отремонтированной, с прыгающими буквами машинке напечатала этот дурацкий текст. Семенов выскочил в приемную — надо было срочно увидеть Унгерна, посоветоваться с ним. Около столика адъютанта сидел человек в добротном, хотя и поношенном костюме и, насмешливо щуря глаза, пускал в воздух дым колечками. Лицо его показалось атаману очень знакомым. Он столкнулся с ним взглядом, остановился. Человек перестал пускать дымные колечки в воздух и поднялся со стула.

В ту же секунду атаман узнал его — это был Таскин, — но тем не менее проговорил неуверенно:

— Сергей Афанасьевич?

— Он самый!

Вот чья светлая голова была нужна атаману. Семенов, забыв про Унгерна, про злосчастный приказ, широко распахнул дверь своего кабинета:

— Прошу!

Таскин неспешно погасил сигарету о край пепельницы, услужливо придвинутой ему адъютантом, и вошел в кабинет.

— Сергей Афанасьевич, мне нужен помощник по работе с гражданским населением, — с ходу начал Семенов.

— Можете располагать мною, — широко раскинул руки в стороны Таскин.

Так у атамана появился новый заместитель. Однако приказа номером 61 никто не отменял. Более того, до Семенова

дошел слух, что расквартированный в Иркутске Четвертый Сибирский корпус готов выступить в Читу и начать против атамана карательную операцию. Командовал корпусом генерал-майор Волков.

— Уж не тот ли это Волков, за которого я пытался заступиться и послал телеграмму в Омск? — спросил Семенов и начал наводить справки.

Оказалось — тот самый. Атаман незамедлительно связался по прямому проводу с Волковым. Связь была отвратительная; узкая бумажная лента, выползавшая из аппарата, останавливалась; казалось, что злобно щелкающий передаточный механизм с большой бобиной вот-вот вырвет ее из рук атамана, но проходило несколько секунд, и лента вновь начинала сползать с бобины.

Волков подтвердил, что имеет приказ о выдвигении на восток и об аресте атамана Семенова.

— Вы надеетесь меня арестовать? — в лоб спросил атаман.

— Не знаю, — честно ответил Волков.

— Это вряд ли вам удастся. Ведь вам придется вступить в бой с превосходящими вас силами...

— Я готов, — сказал Волков.

То ли этот Волков дураком был, то ли упрямым солдафоном, то ли еще кем-то — не понять. Во всяком случае, Семенов не понимал его. Сам атаман так никогда бы не поступил.

— Все это может кончиться дискредитацией власти, — предупредил Семенов, — мы оба обязаны предотвратить столкновения... Хотя бы для того, чтобы сохранить дисциплину в рядах возрождающейся национальной армии. Момент ответственный.

— Это из области политики, а я в политику не вмешиваюсь, — довольно резко ответил Волков. — Я солдат, и приказ, данный мне, выполняю.

— Я считал вас более умным человеком, — в том же тоне, что и Волков, произнес Семенов и прервал связь. Проговорил в сердцах, морщась: — Дурак!

В конце концов Семенов уйдет вместе с Машей и близкими ему людьми в Монголию, там его ни одна собака не сыщет, не то что генерал Волков.

Вечером атаман вместе с Машей и Таскиным закатился в тихий, уютный трактир под названием «Забайкальский купец»; трактир считался перворазрядным, хотя и был размещен на тушиковой улочке, в стороне от больших дорог, его очень уж хвалил Таскин: «Таких расстегаев да поросятины с хреном во всей

Сибири, Григорий Михайлович, не сыщите». Атаман подумал немного и, крикнув: «Была не была!», согласился сходить в трактир. Он был рад встрече с Таскиным, да и новую должность, как это и положено по обычаю, надо было обмыть.

Чита была погружена во тьму — лишь кое-где тускло помигивали электрические фонари да в небе висело несколько захватанных, будто покрытых грязью звезд. Лаяли собаки. Было тревожно.

Улочку, на которой располагался трактир, окружила охрана. Неподалеку от «Забайкальского купца» стояли наготове два казачьих разъезда со свежими оседланными лошадьми — на случай, если на атамана нападут.

В трактире Маша увидела небольшой, с обтертыми боками клавесин, подошла к нему, тронула пальцем одну клавишу, потом другую, третью. Оказалось, что клавесин, внешне разбитый, обшарпанный, настроен и имеет хороший звук.

— Маша, ты споешь нам или сыграешь? — спросил Семенов.

В казачьей, мастерски подогнанной форме Маша была хороша, на ней невольно останавливался взгляд. Семенов, глядя на нее, чувствовал, как в нем все размякает, он сам себя не узнает, а под сердцем начинает что-то сладко ныть.

— Не спою и не сыграю, — ответила Маша. — Нет настроения...

— Ну, Маша! — Атаман пробовал повысить голос, но из этого ничего не получилось, лишь в голосе его возникли какие-то противные щечящие нотки, и все.

Маша медленно покачала головой:

— В другой раз это сделаю обязательно, не сейчас. — Она посмотрела на свои пальцы, прошлась ими по воздуху, словно перебрала клавиатуру инструмента, села за стол и произнесла решительно, с нажимом, окончательно отсекая все просьбы о пении и игре: — Нет.

— На нет и суда нет, — миролюбиво проговорил Семенов. При Маше он терял всю свою воинственность, отмякал.

Стол тем временем преобразился — появились блины с красной, нежного посола икрой, тесаный омуль, копченое монгольское мясо и водка.

— А дамочка-с что будет? — спросил у Маши официант, выжидательно склонив голову.

— Дамочка-с будет шампанское, — ответила Маша.

— Сергей Афанасьевич, как считаешь, выступит этот дурак Волков из Иркутска или нет? — Поскольку Таскин стал подчи-

ненным атамана, то обратился к нему на «ты», как было заведено в штабе, и вообще, быть на «ты» — это проще, понятнее, ближе, нет этого противного липкого ручкания, заглядывания в глаза, сладких слюней, которые так противны атаману.

Таскин был в курсе разговора по прямому проводу, который состоялся у атамана с Волковым.

— Вы же сами сказали, что Волков — дурак...

— Ну и что?

— Раз он дурак, то, значит, выступит.

Семенов задумался, потом произнес с тяжелым хриплым вздохом:

— Жаль. Прольется кровь. Нам с Машей придется уходить в Монголию.

Провидцем Таскин оказался плохим. Когда на иркутский вокзал были поданы железнодорожные вагоны для волковского корпуса, на погрузку явилась только учебная команда. Корпус отказался воевать со своими. Генерал-майор Волков был опозорен. В таком положении он должен был либо снять с себя погоны, либо застрелиться, но генерал не сделал ни того, ни другого — понятия о чести претерпели изменения: ныне можно было сколько угодно жить с пятном на физиономии...

Атаман зашел в затененный угловой кабинет, который занимал Таскин:

— Ну что, Сергей Афанасьевич, прогноз не подтвердился?

Таскин не сразу понял, о чем идет речь, а когда понял, то произнес обрадованно:

— И хорошо, что не подтвердился.

Через несколько дней адмирал Колчак прислал в Читу комиссию, которая пришла к выводу, что все обвинения, предъявленные Семенову, яйца выеденного не стоят, это — обычный пшик, сотрясение «воздусей», и приказ номер 61 был отменен.

Жизнь в Чите шла своим чередом. Контрразведка хватала красных лазутчиков, обходилась с ними жестоко, пытала, но читинцы, любившие поспать подольше, не слышали предсмертных криков этих людей, заодно контрразведчики прихватывали разных мазуриков, воров с мешками, «медвежатников», расправлялись и с ними — правда, без пыток. Пули для какого-нибудь мазурика, завалявшего двух купцов с приказчиками, семеновцы никогда не жалели.

Атаман распорядился посылать в гибельные места города казачьи патрули; случалось, что патруль прихватывал иного мазурика на месте преступления и действовал по своему ус-

мотрению. Если у начальника патруля было хорошее настроение, то мазурика волокли в околоток на допрос, если плохое, то старший извлекал из ножен клинок и разваливал разбойника, как барана, пополам, от шеи до копчика.

Безопасно можно было ходить только в центре — там горели электрические фонари, а когда с электричеством случались перебои, зажигали фонари газовые, там веселилась публика, было много толстосумов, сбежавших от красных и сумевших ускользнуть от чехов, которые научились обирать богатых пассажиров не хуже большевиков. Толстосумы старались устроиться в крупных городах — в Омске, в Иркутске, в Чите — к воинским штабам — знали, что тут их в обиду не дадут.

Двадцатого декабря Семенов решил появиться в городском театре на малозначительном спектакле — атаману важно было показать себя здешней публике и, как тогда было принято говорить, произвести впечатление. Об этом узнали эсеры-максималисты. Они, как было известно, не останавливались ни перед чем, если надо было кого-то убрать. Под видом добропорядочных граждан двое из таких господ, вооруженные бомбами и наганами, проникли в театр. Это были Неррис и Сафонов.

Спектакль был скучный, Семенов откровенно зевал и подумывал, а не покинуть ли это невеселое заведение, но уйти было нельзя, и он, хмурия брови, продолжал раздраженно смотреть на сцену, оживляясь, лишь когда там появлялась какая-нибудь дамочка в кринолине либо в панталонах с розовыми оборками и бантиками. В темноте в ложу, где сидел Семенов, театральный служка — худенький и юркий, как гимназист-младшеклассник, одетый в черную униформу с золотыми галунами, — поставил ведро со льдом, из которого призывно торчало обернутое серебряной фольгой бутылочное горло, блюдо с бутербродами с черной икрой, подал атаману бокал холодного шампанского. Семенов повеселел. Шампанское подействовало ободряюще. Он выпил бокал, потом еще, зажмурил глаза и задумался. Вспомнил об Унгарне, пожалел, что его нет рядом. Роман Федорович находился в Кяхте — навел там порядок, красных, попавших в руки, не задумываясь, ставил под винтовочные стволы. Как сообщили Семенову, Унгерн расстрелял уже почти две тысячи человек: по одним данным — тысячу семьсот, по другим — ровно две тысячи. Вот у кого рука не дрожит при встрече с большевиками, мигом делается стальной и тянется к пистолету... Молодец мужик!

Атаман налил себе еще шампанского, покосился на погон, косо приподнявшийся на плече, — надоели эти есаульские звездочки с невнятными просветами вдоль золотого полотна. Человек, находящийся на таком месте, как он, минимум должен быть генерал-майором, а то и генерал-лейтенантом.

Говорят, Колчак как Верховный правитель России начал присваивать генеральские звания — уже кое-кому присвоил... Кому-то, но не Семенову. Атаман почувствовал, что у него сами по себе задержались усы. Это нервы... Нервы сдают, будь они неладны. Он недовольно шевельнул литым плечом — ни раскисать, ни нюнуть, ни сдаваться, ни раздражаться Семенов не собирался, жизнь еще только начинается. Хотя многое в ней уже увидено и испробовано.

Народ распустился. Большевики вбили в людские головы разные гнилые идеи, в основном насчет того, что все принадлежит всем — неосуществимые это идеи, они раздражают не только атамана, но и людей куда более терпимых.

Недавно взбунтовалось одно из казачьих поселий — местным дедам не нравился Семенов, у них были свои герои, свои Семеновы. Взбунтовавшихся дедов попробовали уговорить, но куда там — уперлись, а казак если упрется, то уж как баран рогами в землю, упрется навсегда, рога сшибать надо обязательно, иначе с места не сдвинуть, поэтому у Семенова оставалось одно средство — сшибать у казаков «рога» и пороть, сшибать и пороть. А если рядом окажутся людишки в матерчатых шлемах, с красными звездами на «лбу», то этих людей — под винтовочные стволы. Без суда и следствия, иного они не заслуживают. Ведь кто, кроме них, мог разложить казаков? Из-за кого и поползли оболваненные станичники во все стороны с вонью, будто клопы.

На взбунтовавшееся поселье налетели ночью, внезапно. Окружили его и из изб выволокли пятнадцать сонных, перепивших с вечера самогонки красноармейцев. Станичников, наиболее активных, решили выпороть, дедам прочитать нотацию, а красноармейцев — расстрелять. Атаман приехал на место, когда порка закончилась — по домам раздавались только стоны да рычание.

Командовал налетом подьесаул Греков — лощеный, с жестким умным лицом и артистическими манерами. Человек, который никогда не скажет ничего лишнего. Подьесаула представили Семенову. Лихо щелкнув каблуками, Греков склонил голову, разделенную ровным, будто струна, пробором, назвался.

— Чем заняты? — неожиданно спросил Семенов.

— Сейчас господ-товарищей будем уму-разуму учить. — Греков покосился на кучку избитых красноармейцев.

— Хорошее дело, — похвалил Семенов. — Берите человек десять казаков, пол-ящика патронов и — вперед! Покажите краснозадям дорогу в места, где их ждет... — Семенов усмехнулся, — где их ждет счастливая жизнь.

— Пол-ящика патронов — слишком жирно будет, — неожиданно возразил атаману подьесаул, — и десять человек казаков — тоже жирно. С краснозадями я справлюсь один. А патронов мне нужно ровно пять.

— Пять?

— Да, пять.

Атаман диковато глянул на Грекова, перевел взгляд на серый столб дыма, что поднимался к облакам — казаки подпалили чью-то баньку, — пробормотал неверяще:

— Значит, всего пять? Интересно, интересно, подьесаул... Покажите, что это за фокус.

Фокус оказался очень простым. По команде Грекова к стенке сарая подволокли избитых, едва державшихся на ногах красноармейцев, всех сразу.

Подьесаул рассортировал их.

— Ты — в первый ряд, — сказал он одному красноармейцу, высокому, жилистому мужику, и казаки поспешно схватили его, выволокли из кучи пленных. — Ты — тоже в первый ряд, — велел Греков другому красноармейцу, как две капли воды похожему на первого, такому же длинному, кадыкастому, носатому. — Ты — во второй ряд. — Греков брезгливо ухватил испачканного кровью, бледного, как бумага, молоденького красноармейца за рукав, отвел в сторону. — Ты — тоже во второй ряд. — Греков вытянул из кучки пленных еще одного человека — сгорбленного, седого, в железных очках, похожего на сельского учителя.

Не сразу понял Семенов, по какому принципу подьесаул выбирает людей, но минут через пять сообразил — Греков ставит их по росту.

Ухмыльнулся довольно, отер рукою усы:

— Лихо!

Из открытой двери сарая на атамана пахнуло крутым спертым духом — запахом мочи, крови, кала, еще чего-то гадкого; Семенов понял, что красноармейцев держали здесь, поспешно отвернул голову в сторону и сморщился.

Подьесаул Греков, поставив пленных в рядок, друг за другом — таких рядков образовалось пять, — расстрелял этих лю-

дей из нагана прямо тут же, у стенки сарая. Бил в затылок красноармейцу, стоявшему в рядке последним. Пуля насквозь прошибала голову не только этому человеку, но и двум красноармейцам, стоявшим впереди него — протыкала словно шампуром. Семенов подивился изобретательности Грекова, на всякий случай отошел подальше, чтобы его случайно не забрызгало кровью, похвалил подьесаула, когда на земле, оплывая в ямы, лежали пятнадцать трупов с развороченными мозгами: — А вы, право, великий мастер! Достойны звания есаула. — Атаман загнул пять пальцев, жестко, будто гвозди, притискивая их к ладони. — Пять патронов, надо же! — В голосе его вновь послышались удивленные нотки, словно он не верил в то, что одним патроном можно уложить трех человек. — Всего пять! Сегодня же канцелярия начнет оформлять документы на присвоение вам очередного звания.

Греков сунул наган в кобуру и лихо щелкнул каблуками.

— Главное в этой работе — не испачкаться мозгами, — сказал он. — Мозги очень плохо отмываются. Много хуже крови.

— Какая экономия патронов! — пробормотал атаман восхищенно, садясь на коня...

Греков через две недели получил звание есаула и пошел на повышение — был назначен на должность заместителя начальника контрразведки. Предприимчивые люди не должны пропадать. До сих пор у Семенова в ухах стоят эти его слова: «Какая экономия патронов!» Атаман усмехнулся. Стараясь, чтобы бутылка не громыкнула о ведро, он налил себе еще шампанского.

Театр, несмотря на слабую игру актеров и интеллектуальную хилость пьесы, был полон, на галерке люди сидели даже на перилах, напряженно следили за тем, что происходит на сцене. Семенов не удержался, вздохнул, жалеючи публику: «Народ этот понять не дано, для этого надо иметь мозги огого какие! Какое-то жалкое театральное действо для них интереснее яви, самой жизни... Охо-хо, грехи наши тяжкие. — Семенов невольно, по-старчески закричал. — А жизнь — она много острее, интереснее, неожиданнее театра... Охо-хо!»

Недавно в Чите побывала специальная комиссия из Омска в составе пяти человек — разбиралась в сути конфликта между атаманом и Омском. Руководил комиссией генерал-лейтенант Катанаев, человек неразговорчивый и строгий. Интересно, какие выводы сделает эта комиссия? Семенов вновь выдернул бутылку из серебряного ведерка. Шампанского в бутылке

оставалось всего ничего — на доньшке. Атаман ощутил, как у него раздраженно задергалась щека, следом дернулся ус — тоже одна сторона. Нервы, нервы, все проклятые нервы.

В зале изменилось освещение, оно делалось тусклым, сцена вообще погрузилась во тьму; откуда-то снизу, как из-под земли, принесли мерные удары барабана. Барабан словно отсчитывал годы, веки жизни, чем-то эти удары напоминали лесную кукушечью песню, и Семенов начал считать удары — раз, два, три... В углах сцены зажглись свечи — тусклые слабые огоньки, не способные одолеть тьму; грохот барабана стал угасать. Вдруг сверху, с галерки, расположенной чуть в стороне от ложи атамана и тяжело нависшей над пространством, прямо под ноги Семенову плелся тяжелый предмет...

Стук был чугунным, тупым, что упало, что за предмет — в темноте не разобрать. Семенов опасливо и подслеповато взгляделся в темень, поджал недоуменно губы и только накренил бутылку, чтобы вылить в бокал остатки шампанского, как ложа его, вся целиком, оказалась в пламени.

Огненный полог накрыл Семенова с головой, рядом о стену зацелкало железо — горячие осколки врубались в кирпичи, крошили штукатурку и дерево, несколько кусков железа впились и в атамана, следом невидимая рука выгребла из ведерка лед, швырнула Семенову в голову — в этом нестерпимом жаре, в огне, у него на зубах неожиданно захрустели куски льда. Семенов застонал, задергал руками и ногами, будто пловец, выбирающийся из бурного потока, — ему надо было как можно быстрее вылезти из огня, и, словно отзываясь на это желание, неведомая сила оторвала его от пола и швырнула к стенке.

Вниз, прямо на головы людей, полетели куски штукатурки, кирпича, какие-то железки, обрубленные куски дерева, потом пламя пожигело, разбавилось едким, пахнущим забродившей капустной кислятиной дымом. Пол под ногами атамана загромыхал, затрясся, словно по нему проехала телега с железными колесами и прицепленным сзади тяжелым орудием. В следующую минуту Семенов потерял сознание.

К атаману, прямо в огонь, бросился адъютант, накрыл собою — молодому хорунжему показалось, что следом за первой будет брошена вторая бомба, закричал надсаженно, когда почувствовал, что волосы у него на голове горят, потрескивая и больно прижигая кожу, но продолжал прикрывать тело атамана.

В зале возникла паника, в проходах встали казаки в полушубках, перепоясанных ремнями, с карабинами в руках —

они патрулировали улицы, примыкающие к театру, потому так быстро и оказались здесь. Несколько молодых людей попробовали смять казаков, но те сдержали натиск — имели по этой части опыт; один из казаков, старший урядник в барсучьей папахе, взметнул над собой карабин и грохнул громким голосом:

— Тих-ха, граждане!

Семенова, находящегося без сознания, тем временем вынесли из задымленной, ободранной ложи, уложили в пролетку, остановленную рядом с театром, и увезли в госпиталь.

Бомбистов не поймали, главный из них — Василий Неррис — был взят случайно, лишь несколько дней спустя, его задержали в поезде около Нерчинска. Изменивший внешность, в седом парике и с такой же седой жесткой бородкой, опирающийся на клюшечку — ни дать ни взять дед, достойно проживший жизнь — он, несмотря на маскировку, был выслежен глазастыми контрразведчиками и арестован.

Очнулся Семенов, а у изголовья его Маша сидит, крохотным кружевным платочком глаза вытирает, в углу палаты на стуле дремлет сгорбившись, будто большой носатый ворон, адъютант, кобура с кольцом была передвинута у него на живот. Рядом с адъютантом дремал на стуле поручик. Между коленями у него была зажата винтовка. Адъютант с поручиком охраняли атамана — контрразведка предприняла меры по его безопасности.

— Очнулся, атаман? — неверяще прошептала Маша.

— Очнулся, — шевельнул сухими губами Семенов. — Я долго находился без сознания?

— Долго, — тихо, подрагивающим от слез голосом проговорила Маша.

— Не плачь!

Вечером из Омска, из канцелярии Колчака в палату был доставлен пакет. Вскрывать его имел право только атаман.

Прочитав присланную бумагу, атаман не сдержал обрадованной улыбки, сухие обелесенные губы его растянулись так широко, что на них полопалась кожа, в ломинах появились крохотные капельки крови. Сведения, содержащиеся в секретном пакете, были приятны — атаману Семенову был присвоен чин генерал-майора. Кроме того, он был назначен командующим войсками Читинского военного округа.

Конфликт между Читой и Омском закончился.

Маша чувствовала себя в Чите королевой, перед ней мигот открывались любые двери, даже дверь такого серьезного учреждения, как контрразведка — в контрразведке ее всегда ожидал горячий вкусный чай, настоящий китайский, пряники и холодное белое вино. Есаул Греков оказался большим мастаком по этой части, сумел наладить прямую связь с Владивостоком, и ему оттуда доставляли вкусное вино, производимое на юге Китая, которое нравилось Маше.

Греков при ее появлении обязательно вскакивал из-за стола и щелкал каблуками. Это лихое щелканье Маше также нравилось.

— Полноте, полковник, — милостливо говорила она, протягивая руку для поцелуя.

— Не полковник, а всего-навсего есаул, — поправлял ее Греков.

— Все равно.

Однажды она появилась в контрразведке раскрасневшаяся, с блестящими глазами, — малость навеселе, понял опытный Греков; он поспешно встал из-за стола и щелкнул каблуками; Маша улыбнулась ему ободряюще, и у Грекова мелькнула в голове шальная мысль: а не подкатиться ли к атамановой красотке, не предложить ли ей свои услуги? Атаман сутками занят, мотается по Забайкалью то на машине, то верхом на коне, то в собственном вагоне, прицепленном к паровозу, а молодая красивая женщина пропадает... Не дело это. Лицо у Грекова было доброжелательным и одновременно бесстрастным.

— Скажите, у вас в тюрьме много сидит невинных людей?

— Есть такие, — осторожно проговорил Греков.

— Почему они сидят?

— За недоказанностью вины.

— Раз вина не доказана, то тогда почему вы держите их в тюрьме?

— Чтобы доказать эту вину.

— Словоблудие какое-то. Я хочу осмотреть камеры и поговорить с каждым, кто в них сидит.

— Не советую делать этого, Маша, — мягко проговорил Греков. — Там вообще опасно появляться.

— А я возьму с собою двух боевых офицеров. С револьверами. Они в случае чего меня защитят.

— Не делайте этого, Маша, — прежним мягким тоном произнес Греков, оципал прищуренными глазами ее фигуру, восхитился про себя: «Хар-раша!» Лицо его ничего, кроме доброжелательного бесстрастия, не выражало.

— Ах! — Маша махнула рукой и покинула кабинет Грекова.

В коридоре со скамейки поспешно вскочил юный розовощекий прапорщик в новенькой, очень хорошо спитой шинели...

Вечером атаману сообщили, что Маша вместе с прапорщиком Дитерихсом и поручиком Волковым провела ревизию Читинской тюрьмы и освободила сто человек.

Есаул Греков, доложивший об этом атаману, с любопытством ждал его реакции — Семенов славился тем, что бывал крут на решения, ежели что, рубил пашкой, только брызги летели в разные стороны, — у атамана подобрались и отвердели щеки, взгляд сделался жестким, темным, но в следующее мгновение в нем появились крохотные светлые брызги, будто рыба, выметнувшись из воды, взбила пенный столб, около глаз возникли морщины, целая сеточка, они состарили Семенова, а вот взгляд его неожиданно помолодел. И помягчел. Улыбка, возникшая на его лице, была дряблой.

— Ну что ж, есаул, отпустила Маша хануриков — значит, отпустила, так тому и быть. Если честно, я и сам собирался побывать в тюрьме, посмотреть, что там у вас за мусор понатухан.

Греков молча щелкнул каблуками.

— Да не щелкайте вы сапогами, — поморщился атаман. — Я не дама, на меня эта музыка не действует. Подготовьте-ка мне списки тех, кто там у вас сидит. — Атаман прищурился, глянул оценивающе на есаула, хмыкнул. — А насчет того, чтобы одной пулей сразу трех большевиков на тот свет отправлять — это вы, есаул, очень ловко придумали.

В ответ на похвалу Греков на этот раз щелкать каблуками не стал, лишь склонил тщательно причесанную голову, проговорил четко, хотя и тихо:

— Рад стараться!

— Мозги у вас светлые, — еще раз похвалил атаман. — А в тюрьме я бываю завтра же. Сегодня мне предоставьте списки заключенных.

— Их много, несколько тысяч человек.

— Ничего страшного, — сказал Семенов. — Чем больше — тем лучше.

Он выпустил на волю из Читинской тюрьмы сто пятьдесят человек — переплюнул свою гражданскую жену Машу Аязову. Хотя в ее действиях ему не все понравилось, особенно то, что она приехала в тюрьму не одна, а с Дитерихсом и Волковым.

Нельзя сказать, чтобы Греков был обижен вниманием прекрасных мира сего, но довольно часто он получал, что называется, щелчки по носу, хотя был неглуп и пригож собою. Женщины видели в нем что-то опасное для себя: исходили от есаула некие невидимые токи, заставляющие всякую женщину настораживаться и пристально оглядывать этого аккуратно одетого и тщательно намаженного человека. Грекова не принимали даже проститутки — убегали от него.

И Греков, случалось, запивал: злость поднималась в нем клубами, душила его, осадить ее можно было только водкой, и Греков пил. Пил, пил, пил. Те, кто видел Грекова в таком состоянии, качали головами, отмечая про себя: «Опасный человек!»

А вот Маша не боялась его — не испугалась и не поспешила отстраниться, отгородиться от Грекова, и это рождало в есауле внутреннюю истому, сладкое чувство, которое невозможно было залить водкой.

Холодным декабрьским вечером Маша, потоптавшись на крыльце старого купеческого особняка и сбив снег с аккуратных валенок, вошла в дом.

Это было здание контрразведки. В коридоре ее встретил Греков; он словно ждал Машу, но тем не менее проговорил удивленно:

— Сударыня, в такой час?

— А что, нельзя?

— Наше учреждение гостеприимное, к нам всегда можно. — Шутка понравилась Грекову, и он растянул губы в улыбке. Улыбающимся Грекова в контрразведке видели редко.

— Вот и хорошо. — Маша неожиданно потянулась. Греков даже услышал, как у нее в плечах хрустнули косточки. — Скучно, — ни с того ни сего призналась она.

— В таком разе позвольте пригласить вас в ресторацию. — Греков невольно оглянулся — вдруг его кто-нибудь слышит? — На ужин.

— Все эти ресторации у меня уже во где находятся. — Маша «попилила» себя пальцем по горлу.

— Тогда прошу пройти ко мне в присутствие. — Греков любезно распахнул дверь своего кабинета. — Сейчас нам подадут роскошный китайский чай. И свежие бублики, теплые, мягкие, их лишь полчаса назад принесли из булочной...

Маша вошла в кабинет Грекова.

— О, у вас на окнах новые гардины!

— Обживаемся потихоньку. — Есаул взял в руку ямщицкий колокольчик с деревянным сучком, воткнутому в дужки,

позвонил. На звонок в дверь просунулась кучерявая седая голова — денщик — ну будто дядька Черномор с заботливым взглядом, вылезший откуда-то из-за стены.

— Весь внимание, вашбродь, — проговорил дядька Черномор хриплым голосом.

— Чаю покрепче, погорячее, Лукич. И меду, который сегодня привезли... И, разумеется, свежие бублики.

Через пять минут стол был накрыт.

— В ресторане, право, было бы лучше, — проговорил Греков и поспешно отвел взгляд от Маши в сторону: во рту у него внезапно сделалось сухо, и он остро позавидовал атаману, обладающему таким богатством.

— Я же вам сказала — я начала ненавидеть рестораны.

— Простите, сударыня. — Греков, не поднимаясь с места, прямо под столом лихо щелкнул каблуками...

Маша рассмеялась звонко; вид у нее был, будто у расшавшейся гимназистки. Впиалась крепкими чистыми зубами в бублик.

— Вы медом бублик намажьте, — посоветовал Греков, — медом. Не скромничайте, берите больше! Не жалейте! Мы тут пасечника одного в тайге ковырнули — меда на целый год хватит.

У Маши улыбка сползла с лица, и она произнесла растерянно:

— Да?

Греков все понял, замотал протестующе рукой.

— Только вы не подумайте, что мы его — того, — Греков приставил указательный палец к виску, — ни в коем разе. Пусть живет медведь. А вот мед, выражаясь модным большевистским словечком, реквизировали.

Маша подцепила ложкой большой кусок янтарно-воскового засахаренного меда, положила его на бублик, вновь впиалась в бублик зубами. Похвалила:

— Вкусно!

— В контрразведке все вкусно, — похвастался Греков, — даже плоть из сыромятной кожи, если ее намазать медом.

Он подсел ближе к Маше, шумно втянул ноздрями воздух — от Маши исходил дух чистоты, каких-то сухих трав, хорошего мыла, еще чего-то, у Грекова под сердцем шевельнулась далекая боль, и он неожиданно подумал: а может, один раз надо сделать так, чтобы покушение на атамана удалось? А? Есаул протестующе покрутил головой.

— Вкусно, — вновь похвалила мед Маша.

— Скажите, Маша, — вкрадчивым голосом произнес Греков, — атамана ведь часто не бывает дома...

— Верно, часто, — подтвердила Маша.

— И чем же вы занимаетесь в это время?

— Я? — Лицо Маши обрело растерянное выражение. —

Ну-у... Иногда пью, иногда пою, иногда играю на гитаре...

— Иногда выпускаете из Читинской тюрьмы заключенных. Маша засмеялась:

— Да, иногда выпускаю из тюрьмы заключенных и замечу, занятие это — интересное.

— Стоп! — Греков поднял указательный палец. — Как же мы с вами забыли про сладкое китайское вино?

Маша засмеялась снова:

— Доставайте ваше китайское вино. Если вы настаиваете.

— Настаиваю.

Выпив две стопки вина, Греков осмелел еще более.

— Маша, вы прекрасны, — пробормотал он, с трудом раздвинув губы. — Похоже, я в вас влюбился...

— Стоп! — Маша предостерегающе подняла указательный палец — повторила жест есаула. — Не переступайте через запретную черту.

Однако Греков не обратил на предупреждение внимания, поскольку полагал: контрразведке дозволено все. А у Маши оказалось хорошо развито чувство опасности, она разгадала мысли Грекова. Чай в контрразведке действительно был горячим и вкусным. И вино было вкусным. И мед. И бублики свежие. Не хотелось все это терять...

Контрразведки Маша совершенно не боялась. И те разговоры, что ходили по Чите, что здесь, мол, клещами выдирают у людей ногти и зубы — суцая ерунда. Ну никак не могут в этом чистом уютном кабинете, с домашней зеленой лампой, с изразцовой печью, за которой мирно шуршат тараканы, ломать людям пальцы и выдирать изо рта зубы.

— Я пью за контрразведку. — Маша подняла стопку.

— А от чего стопка пустая? — Греков потянулся к пузатой, отлитой из толстого розового стекла бутылке. — За контрразведку не стопкой надо пить, а целым стаканом, Маша.

— Стаканом — не умею.

— Я могу научить.

— Ну-ну. — Маша усмехнулась, лицо ее внезапно исказилось, сделалось незнакомым, чужим, но Греков этого не заметил, все его естество было подчинено единственному желанию, он был таким же уязвимым, что и все люди. Напрасно

говорят, что контрразведчики — это особая статья людей, сработанная из другого материала, — ничего подобного! Материал на них пошел тот же самый, что и на остальных, вот только твердость духа, твердость характера у контрразведчиков будет иная...

Брови на лице есаула игриво приподнялись:

— Ну что, Марья Батьковна, будем учиться пить из стакана?

— Нет.

— Тогда за контрразведку на брудершафт. — Греков наполнил вином Машину стопку, потом свою, чокнулся и, стараясь глядеть Маше в глаза, выпил медленными смакующими глоточками. — Й-эх!

Маша тоже выпила. Греков поставил свою стопку на стол и потянулся к Маше:

— А теперь надо поцеловаться.

— Нет!

— Так положено, когда пьют на брудершафт.

— А мы с вами на брудершафт и не пили.

Маша предупредительно выставила перед собою ладонь, поморщилась недовольно, но есаула уже было невозможно остановить, что-то ударило ему в голову, в висках сделалось горячо — он преодолел границу, которую ни в коем случае не надо было преодолевать — следовало остановиться, но он этого не сделал.

Маша ощущала запах, исходящий от этого человека, — незнакомый, какой-то животный — и, отшатнувшись, коротко хлестнула его ладонью по лицу.

Есаул стремительно выпрямился, лицо его залилось бледной краской, он неожиданно учтиво поклонился Маше и проговорил просяще:

— Простите меня, Маша, помутнение какое-то нашло.

Маша произнесла холодно, с некой долей артистической безразличности:

— Не стоит извиняться, хорунжий.

Лицо Грекова из бледного превратилось в белое, будто бы он обморозился: стоит только Маше обратиться к своему благоверному, как тот мигом понизит его в звании, сделает хорунжим, а это всего лишь первое офицерское звание, которое получают выпускники юнкерских училищ: погон с одним просветом и две тусклые звездочки на нем.

— Маша, очень прошу вас — помните, что повинную голову меч не сечет, — произнес он глухо.

Через несколько минут она покинула дом, в котором размещалась семеновская контрразведка. Атаману она ничего не сказала — пожалела Грекова.

Есаул же решил вести себя по-другому. Наутро он напросился к атаману с докладом, пробыл у Семенова сорок минут. Из кабинета вышел с крепко сжатым ртом и победным взглядом.

В полдень читинцы наблюдали, как из особняка, который занимал командующий войсками Читинского военного округа генерал-майор Семенов, дюжие молодцы в казачьей форме вытаскивали вещи и складывали их в большую армейскую фуру, поставленную на полозья и запряженную двумя артиллерийскими битюгами. Затем к парадному подъезду был подан возок, в него уселась Маша с печальным растерянным лицом, и возок медленно тронулся по улице к круглой площади, украшенной старым замерзшим фонтаном.

Больше Машу в Чите никто не видел.

Отношения у Семенова не складывались не только с генералом Лебедевым и колчаковскими штабистами, но и с генералом Каппелем — самым молодым в окружении Верховного правителя и, пожалуй, самым толковым, самым боевым командующим армией.

После Машиного ухода Семенов посмурнел, потяжелел лицом и характером, от хорошей еды погрузнел и предпочитал теперь больше передвигаться на автомобиле, чем верхом, в седле. Генерала Каппеля он называл обычной выскочкой, вороной, нацепившей на лапы кавалерийские шпоры, при упоминании его имени имени насмешливо дергал усами:

— Очень шустрый молодой человек, из грязи — сразу в князи. На Великой войне он был всего-навсего подполковником, а сейчас глянь-ко — генерал! — Семенов нагонял в голос старушечьи нотки и коверкал речь по-старушечьи...

Взаимная неприязнь Семенова и Каппеля перенеслась и на подведомственные им части. Если каппелевец видел солдата с литерами «АС» на погонах, то обязательно хватался за винтовку, а уж что по части оскорблений, то тут и те и другие оттягивались по полной программе, хотя надо отдать должное — каппелевцы были изобретательнее.

Увидит иной каппелевец волосатого бородатого семеновца, обязательно проорет: «Ну чего папаху свою разинул? Закрой хлебало — навозом так несет — не продохнуть». И семеновец теряется — сказать в ответ ничего не может, закрывает «папаху».

И дисциплина у каппелевцев была лучше, чем у семеновцев, и боевая выучка.

Когда атаману докладывали о стычках между семеновцами и каппелевцами, он лишь раздраженно махал рукой:

— Пустое все это! Ничего серьезного за этими стычками не вижу. Русский человек всегда был драчлив, это заложено у него в крови, идет от рода... Ну повесил один солдатик другому фонарь под глазом, ну и что? Обычная молодецкая игра! Да и не так уж и часто мои люди встречаются с каппелевцами. Точек-то соприкосновения почти нет...

В этом Семенов был прав.

В офицерской столовой он заметил юную, очень красивую официантку с точеным лицом и крепкими ногами, вызвавшими у Семенова молодое волнение. Раньше он эту девушку в столовой не видел. Спросил заинтересованно у седого услужливого поручика, исполняющего обязанности начальника столовой, кто это.

Поручик нагнулся к уху атамана, приложил ко рту ладонь, словно сообщал Семенову что-то сверхсекретное:

— Это племянница атамана Дутова.

— Она носит ту же фамилию, что и сам атаман?

— Фамилия ее, ваше превосходительство, — Терсицкая.

— Терсицкая, Терсицкая... — Атаман наморщил лоб — списки сотрудников штаба, в том числе и технических, он иногда просматривал, стараясь все держать под контролем, и после паузы отметил: — Нет, не помню.

Поручик глянул на атамана понимающе:

— С этого дня, ваше превосходительство, она будет прикреплена к вашему столу.

Это Семенова устраивало, он подправил пальцами усы и поднял голову. Через три минуты новая официантка принесла на расписном подносе атаману первое — наваристый украинский борщ, на отдельном блюде — горку свежих, посыпанных рубленым чесноком пампушек.

— Прошу отведать, Григорий Михайлович, — певуче, на казачий манер, произнесла девушка. — Пампушки только что из печи, еще жаром пышут.

Атаман указал пальцем на стул:

— Прошу присесть.

— Ой, Григорий Михайлович, — неожиданно засмуцалась новая официантка, прикрыла лицо рукой, — нам нельзя.

— Когда я велю — можно.

Девушка присела на краешек стула, хлопнула пару раз глазами, и Семенов почувствовал, что в этих глазах можно утонуть, — в затылке образовался жар, сделалось трудно дышать, — он невольно растегнул крючки на воротнике кителя. Терсицкая пробормотала смущенно:

— Простите меня!

Она продолжала хлопать глазами, а бравый атаман чувствовал себя все более потерянно и робко. Наваристый борщ остывал на столе.

— Как вы к нам попали? — наконец спросил атаман и остался недоволен своим вопросом: обыкновенный тупой вопрос, ничего в нем такого, что может заинтересовать красивую женщину, по-солдатски прямолинейный... Хорошо, что хоть портянкой от него не пахнет.

— Я здесь с братом, — просто ответила девушка. — Он тоже в Чите находится.

— Офицер?

— Офицер.

— Где служит? По какой части?

— У генерала Капшеля. У Владимира Оскаровича Капшеля.

И тут Капшель! Семенов ощутил, что внутри у него что-то досадливо сжалось, и он проговорил недовольно:

— Капшель — это хорошо, но почему бы вашему брату не перейти на службу к нам? Литеры «АС» на погонах наших солдат — самые уважаемые в Восточной Сибири.

Терсицкая приподняла хрупкое узкое плечико.

— Не знаю, право... У вас, конечно, лучше, чем у Владимира Оскаровича, но надо переговорить с братом.

— Вот и переговори... Переговорите, — поправился Семенов.

— У вас стынет борщ, Григорий Михайлович, — напомнила Терсицкая.

Как ни странно, именно ее голос помог ему преодолеть некую внутреннюю зажатость, сделаться самим собой. Не то ведь совсем в мальчишку, краснеющего по любому поводу, превратился... Тьфу!

— Спасибо, — произнес Семенов коротко и придвинул к себе тарелку.

Через некоторое время атаман объявил в штабе, что он женится на Терсицкой. Никто из штабных работников этому не удивился: о романе атамана с юной официанткой знали едва ли не все.

Чита считалась глубоким тылом, жизнь, протекавшая здесь, была полна светского доска и обычных земных усад. Хотя фронт проходил не так уж и далеко от города. Там, на фронте, ценности были совсем иные, горсть патронов для винтовки и кусок черного хлеба стоили дороже, чем солдатская каска, доверху наполненная золотым песком.

Истати, о золоте. Поскольку фронты на западе трещали по всем швам, то атаман Дутов — родственник новой жены Семенова — вынужден был покинуть Россию и бежать в Китай. Терсицкая попросила мужа выслать Дутову в Сибирь сто тысяч рублей золотом, иначе тот пропадет на чужбине, и Семенов сделал это незамедлительно.

К золоту Семенов относился трепетно — не потому, что этот металл был красив, завораживал, ласкал глаза блеском, не потому, что был мерой расплаты за товары и позволял богатому человеку жить так, как тот хотел, а потому, что желтый металл этот обладал некой привадой, властью, способностью перестраивать жизни людские. Иногда Семенов клал перед собою на столе три ярких, колко бьющих в глаза лучиками света золотых кругляша — пяти-, десяти- и пятнадцатирублевые монеты, долго смотрел на них, пытаясь понять, что же в этих монетах — кроме цифири, пробитой на них, и изображения государя, — есть хорошего? Где сокрыта тайна? И не мог ничего понять. На все вопросы, что возникали, ответа не было.

Дела в Омске, вообще на западе, становились все хуже. Даже здесь, в Забайкалье, Семенов ощущал, насколько сильны красные, как толково они дерутся — особенно толков бывший прапорщик, а ныне крупный красный командир Сергей Лазо⁶⁴. С ним атаман один раз столкнулся в Иркутске, в неприятный для себя момент, когда Семенова запросто могли шлепнуть, и они с Лазо, как фронтовики, поняли друг друга с полуслова, и патруль, случайно задержавший Семенова, отпустил его.

Плохи были дела и на Юге России у Деникина — одного из самых сильных, по мнению Семенова, русских генералов, нашедших погону с позументом еще в царское время.

Именно Деникин не побоялся бросить прямо в лицо горлопану, любителю жареных куриных ножек, Керенскому: «Вы втоптали наши знамена в грязь. Теперь поднимите их и преклонитесь перед ними... Если, конечно, у вас есть совесть». Совесть у Керенского не оказалось.

«Главный болтун России», как называл его генерал Корнилов, смылся из страны. А самого генерала от инфантерии

Корнилова уже нет в живых — убит где-то под Екатеринодаром прямым попаданием снаряда в хуторской домик, где тот находился в эту минуту. Совсем плохи дела у Деникина...

И вот как странно: чем больше неудач преследуют нас в жизни, тем чаще мы думаем не о том, чтобы сопротивляться судьбе, стараться что-то поправить, — думаем о покое. Семенов тоже начал все чаще и чаще думать о покое, и странные мысли эти совсем не казались ему странными.

Шел 1919 год. Зима. На улицах бесновалась метель, грузные снежные хвосты с треском вламывались в окна, грозя выдавить их, на душе было беспокойно.

Одинокий железный фонарь с тоскливым визгом раскачивался на столбе перед входом в особняк, мигал противно, грозя в любую минуту погаснуть, но не угасал, хотя, может быть, было лучше, если бы он погаснул — не было бы так муторно на душе. Перед домом ходили два казака в тулупах с высоко поднятыми бараньими воротниками, в огромных папахах, с трехлинейками за плечами — круглосуточная охрана атамана. Дважды из мглы выталяли конные разъезды; оба разъезда остановились на свету, казаки чистили лошадям обледенелые ноздри, выковыривали оттуда льдинки и вновь исчезали в крутящейся несметы снега, в гоготе ветра, в ведьминском вое тяжелых серых хвостов, носившихся над домами.

Муторно было на душе, неопределенность добавляла в душу тоски, холода — никогда еще на Семенова не наваливалось такое странное одиночество, никогда он не был так неуверен в своем будущем. Словно болезнь какая на него навалилась.

Ослепление от юной Терсицкой прошло, эта девочка оказалась хваткой, блеск золота любила больше, чем самого атамана. Вот такое неприятное открытие сделал он для себя. Может, потому, что у него не складывалась личная жизнь, было ему так одиноко и горько?

Косые, стремительные хвосты снега, вьющиеся вокруг тусклого фонаря, делали ведьминские прыжки, завораживали взгляд своей хаотичной пляской, рождали в душе горечь, маету — беспокойно было на душе от этой буйной шаманской пляски. Атаман затынул окно занавеской — больше не хотелось видеть эту угрюмую картину. Беззвучно, стараясь не издавать ни шороха, ни скрипа, опустился в кресло, прислушался к тиши, царившей в доме.

В нескольких метрах от кабинета находилась спальня. Там безмятежно посапывала во сне жена. Легкая бабочка, ко-

торой начертано порхать по жизни, в этом — главное ее предназначение. И как только он, ослепший от любви, не разглядел такую простую вещь? В Семенове шевельнулось глухое раздражение, внутри родился задавленный рокот, пополз вверх и, словно прихлопнутый чем-то, остановился.

Вот Маша... Маша — это совсем другое дело. Полная противоположность Терсицкой. В нем вновь зашевелилось, распуская острые, больно колющие отростки, раздражение. Он вздохнул зажато, словно грудь ему сдавило обручем, помассировал пальцами виски. Надо хотя бы немного поспать... Но нет, не уснуть. Металлическая тяжесть продолжает наползать в голову, накапливается там, вызывает боль.

Интересно, где сейчас Маша? Она покинула Читу и будто растворилась, исчезла навсегда в этой воюющей метели, в огромных российских пространствах.

Утром Семенов получил несколько сообщений, которые никак не способствовали улучшению настроения. На Юге России была окончательно разбита конница генерала Маркова и красные уже начали производить перегруппировку сил. Это означало, что скоро они будут давить на сибирском направлении так, что у белых из ноздрей только пузыри ползут. Значит, надо быть готовым ко всему.

Генерал Деникин продолжал терпеть одно поражение за другим — словно никогда и не воевал: необученные, голозлые красные били его, как мальчишку, больно и обидно. Генералы, имеющие понятие об офицерской чести, после таких поражений стрелялись. Деникин же ограничился тем, что отступил и дал несколько интервью для газет.

Вскрылись факты предательства в собственных рядах здесь, в Сибири. Иркутский губернатор Дунин-Яковлев, оказывается, уже давно втихомолку сотрудничает с красными, на станции Иннокентьевская регулярно снимает с эшелонов, идущих к Колчаку, оружие, патроны, теплое обмундирование, ящики со снарядами — якобы для Иркутского гарнизона, на деле же передает все партизанским отрядам Калашникова и Щетинкина...⁵⁹ Сообщение это привело Семенова в ярость — к партизанам попадал самый добротный товар — американский, а раз уплывали американские гостинцы, то делалось это явно не без ведома генерала Грэвса, представителя Штатов в России.

Грэвс был еще известен тем, что за спиной Колчака метелил и самого адмирала, и его правительство, называл действия Верховного правителя судорожными и критиковал почти

каждый его шаг, всякий раз вспоминал старую русскую «поговорку»: «Это все равно что мертвому припарки».

Наверное, так оно и есть.

В Монголии появился свой Лазо — некий Сухэ-Батор⁹⁰. Судя по всему, от него тоже вряд ли чего приятного можно ожидать. Дерется он лихо.

И последнее, самое печальное сообщение — правительство Колчака начало спешно грузиться в эшелоны — Колчак собирался покидать Омск.

Час от часу не легче! Было отчего болеть голове.

Самому Семенову также доставалось на фронте, хотя к этому он уже привык. Не спасали даже хваленые самураи, способные одним пальцем уложить человека, — красные поднимали их на штывки, как обыкновенных безродных людшек, а потом шмякали о твердь, и те лежали на сырой земле, как куклы, с искаженными лицами.

Наступила пора подумать о самом себе: вдруг ему не удастся удержаться в Чите и давать отсюда деру в Монголию либо в Китай... Все может быть. А любой дер должен быть обеспечен. Золотом, бриллиантами, деньгами.

Семенов вызвал к себе подполковника Краковецкого — старого мастера по подковерным и закулисным операциям. Тот явился незамедлительно, тщательно одетый, наутюженный, в модном кителе с отложным воротником и ровненькими, без единой морщины, полевыми погонами. У всех — даже у генералов, прибывающих в Читу с фронта, — погоны помятые, звезды едва ли не чернилами нарисованы, а у Краковецкого все новенькое, все блестит, словно он собрался на парад. Семенов это отметил с внезапно возникшей неприязнью, но быстро подавил ее в себе, ткнул пальцем в кресло, приглашая гостя сесть.

— Вы когда-нибудь бывали в подвалах Читинского государственного банка? — спросил атаман.

— Никогда.

— Жаль. Эти подвалы представляют особый интерес для нашего войска, — сказал Семенов, взял со стола несколько листочков бумаги с записями. Это был перечень того, что имелось в банке. Но перечень был составлен не сегодня и даже не вчера, неясно, соответствовал ли он нынешнему положению дел. Семенову же надо было знать точно, что там имеется... Это как минимум.

— Отправляйтесь в банк, — приказал он Краковецкому после двадцатиминутной беседы, — оформите в штабе соот-

ветствующие полномочия. Если в банке будут сопротивляться — ни бумаги, ни слов нужных, вплоть до угроз, не жалейте... Понятно? Предупредите, что в будущем все траты из золотого запаса должны согласовываться со мною... Лично! — Семенов поднял указательный палец. — Если это распоряжение будет нарушено, управляющего ждет суд по законам военного времени. — Атаман ткнул указательным пальцем в пётолок. — Объясните ему это популярно.

Подполковник кивнул. Что такое суд по законам военного времени, он знал хорошо. Обвиняемого ждет одна мера наказания — пуля.

Через сорок минут Краковецкий, сопровождаемый усиленным нарядом казаков, отправился в Читинский государственный банк.

Минула неделя. Омск заняли красные.

На восток медленно, ужасающе медленно двигалось несколько литерных эшелонов. Нелитерные шли без задержек, они вообще не интересовали ни красных, ни белых, ни союзников — чехов, венгров, французов, сербов, а вот литерные — особенно поезд Колчака, премьера правительства Пепеляева и эшелон с золотым запасом, который шел вместе с адмиралом, — волновали всех. Прежде всего — чехов. Те тормозили литерные эшелоны едва ли не на каждой станции и держали сутками.

Застряв на станции Татарская, Колчак вызвал к прямому проводу Семенова. Атамана поразила некая безнадежность, сквозившая в каждом слове Колчака. Это было что-то вещественное, горькое, обладающее едва ли не материальной силой...

Еще месяц назад Семенов предупредил адмирала о том, что союзники могут не то чтобы подвести его — это было бы частью беды, — могут предать Колчака. Адмирал в это не поверил, сейчас же он неожиданно признался:

— Вы были правы, Григорий Михайлович.

То же он сказал и по поводу плана Семенова, представленного Верховному правителю в октябре 1919 года:

— Ваш план был верный.

Это признание тронуло атамана, но он ощутил и другое — материально, словно по коже его провели наждаком, с нажимом, широким полем, оставляя кровавый след, — адмиралу было плохо, ему хуже, чем Семенову, много хуже, Колчак нахаживался в ловушке.

— Я все-таки надеюсь со своей ставкой прибыть в Иркутск, — тем не менее сказал Колчак. — Очень прошу вас, Григорий Михайлович, подготовьте к этой поре свои соображения по выходу из кризисной ситуации.

Атаман поморщился: с одной стороны, это было лестное предложение, а с другой, означало — надо вновь отвлекаться от повседневья, от забот о подопечных частях и садиться за бумаги.

— Сделаю, Александр Васильевич, — пообещал он.

— Поздравляю вас, Григорий Михайлович, — сказал тем временем адмирал, — состоялось назначение вас на пост главнокомандующего вооруженными силами Дальнего Востока и Иркутского военного округа.

Сердце у атамана приятно сжалось: теперь в подчинении у него будет даже этот дурак генерал Волков, голову ему свернуть набок можно будет хоть сегодня вечером, Семенов не сдержал улыбки, широко расплылся всем своим и без того раздобревшим лицом — ответил же сухоовато, по-солдатски коротко:

— Благодарю вас!

— Это еще не все, — сказал адмирал, — я предвижу неизбежность общего крушения Белого и вообще национального движения в России. Это произойдет из-за досадной, просто преступной разобщенности наших действий на разных фронтах. Мы каждый воюем сам по себе: я сам по себе, Деникин сам по себе, Миллер сам по себе... А нам надо было действовать одним кулаком. Если бы мы были объединены, большевикам давно бы пришел конец. Союзники нам не помогают, а только мешают. Проку от них — ноль, вы были правы, Григорий Михайлович. Будьте готовы принять на себя всю полноту государственной власти в России.

— Зачем мне это, Александр Васильевич? — с искренним удивлением спросил Семенов. — При живом Верховном правителе?

— Так надо. И прежде всего для того, чтобы выехать за границу на переговоры с иностранными политическими деятелями с целью склонить их в пользу возобновления борьбы с красными в более широком масштабе. Большевики объявили о мировой революции, а это угроза не только России — угроза всем передовым странам. Если большевики победят — они всех достанут. И Англию, и Францию, и Америку. Всем придется задуматься о своем будущем...

Разговор оборвался. В восьми сотнях верст от Читы на железнодорожные рельсы, оборвав телеграфный провод, рухну-

ло дерево, мороз, как гигантская секира, расщепил дерево пополам — по всей длине, от макушки до корявого дуплистого комля. Только ветки полетели в снег да неподалеку, недобро закладав клювом, взмыла вверх сова.

«Прямой провод» был исправлен лишь через трое суток.

К этой поре литерный эшелон, в котором ехал Колчак с Анной Васильевной Тимиревой⁶¹ и четырьмя сотнями офицеров охраны, переместился на следующую станцию.

Зима продолжала лютовать.

Каждое утро на читинских улицах находили замерзших людей. Иногда бедолаге не хватало пяти метров, чтобы дотянуться до родного порога, так и умирал человек со скрюченной, направленной к дому рукой.

Терсицкая все больше раздражала атамана. Красота жены была очень расчетливой и подчеркнута холодной, если она на кого-то бросала недобрый взгляд, человек этот должен был немедленно исчезнуть из дома, иначе Терсицкая начнет над ним издеваться и доведет до такого состояния, что у бедняги, словно у загнанной лошади, будет с губ срываться пена.

Семенова же больше волновали женщины Машиного типа, непоседливые, жгучие, с огненными глазами, способные совершать непредсказуемые поступки, нежные в постели. Терсицкая была полной противоположностью прежней пассии атамана, с ней приходилось вести себя в постели, будто со Снегурочкой — лежать, как в сугробе, согреваясь собственным дыханием.

Дела на фронте становились все хуже и хуже, и Семенов решил при первой же возможности отправить Терсицкую в Монголию либо в Китай. Пусть побудет там немного.

Морозы тем временем вывернулись такие, что на улице невозможно было открыть рот — дыхание вырывалось с ревом, будто из пасти Змея Горыныча, зубы слипались, стянутые ледяным припаем, по хребту пробегало что-то жгучее, острекающе стылое, ныряло в сапоги — несмотря на стужу, атаман ходил в ладно сидящих на ноге, сшитых из тонкой кожи сапогах, начищенных до черного сверка...

Дело дошло до того, что под Читой замерз казачий разъезд — угодил в пургу и сбился с дороги.

Краковецкий представил атаману список того, что находилось в укрепленных — снарядом не возьмешь — подвалах Читинского государственного банка. Семенов внимательно прочитал список и в правом верхнем углу начертил собствен-

норучно: «Секретно». И расписался. Потом перед словом «секретно» добавил «особо».

Следом за Краковецким на прием попросился Греков. Новость он принес неприятную.

— Ваше превосходительство, содержание вашего разговора с Колчаком стало известно большевикам.

— Откуда вы это знаете?

— Вот. — Греков щелкнул замком роскошного портфеля и достал оттуда газету. — Из Иркутска привезли.

Семенов не сдержался, выругался. Скоро в собственной спальне невозможно будет поговорить с женой — об этом станет известно большевикам.

— Это все Дунин-Яковлев... Связь-то шла через Иркутск.

— Так точно!

Иркутский губернатор, которого адмирал так и не снял с должности, продолжал вести двойную игру.

— Кругом одни предатели, — прорычал атаман и бессильно сжал кулаки.

Обстановка продолжала накаляться.

Противнику стало известно и то, что Семенов предложил адмиралу покинуть поезд и пересечь вместе с близкими людьми на лошадей, а там через тайгу, через снега двинуться на Урянхой, куда атаман вышлет большой отряд казаков. Под их охраной адмирал вышел бы на линию железной дороги уже за Байкалом — здесь, на подведомственной атаману территории, он мог бы чувствовать себя в безопасности, но Колчак отказался от этого.

— Я нахожусь под защитой пяти иностранных флагов, — сказал адмирал, — и чувствую себя в совершеннейшей безопасности.

— Жаль, Александр Васильевич. Ни чехам, ни французам я не верю, подведут они вас, — произнес Семенов.

Атаман подумал: адмирал сейчас непременно заявит, что он, в свою очередь, не верит японцам, но Колчак вместо этого загрузил телеграфную ленту популярной русской пословицей:

— Бог не выдаст — свинья не съест.

Слишком уж надеялся Колчак на иностранцев; эта надежда ослепила его, сделала незрячим — он доверился тем, кому Семенов не то чтобы свою судьбу не доверил бы — не доверил даже судьбу собаки из соседней подворотни.

Вскоре к Семенову поступило известие, что литерный поезд Колчака задержан чехами, они окончательно блокирова-

ли его, другие же поезда, в том числе и эшелон с золотым запасом, отрезали от Верховного правителя.

— Видать, не страшна смерть адмиралу, раз он не послушался моего совета, — помрачнев, произнес Семенов.

По Сибири широко распространилась слава, что они с Колчаком недолгоблизки друг друга, ставят в колесо истории валки, один с одной стороны, другой с противоположной, идут, когда ось лопнет... Может, это и правда... но только частичная. Пусть это останется на совести генералов Лебедева, Волкова и тех, кто дует с ними в одну дуду, сам же Семенов старается продемонстрировать обратное. Атаман выругался и приказал соединить его с генерал-майором Скипетровым.

Кстати, к этой поре Семенов был уже «вашим высокопревосходительством»: к двум генеральским звездочкам, расположенным поперек погона, прибавилась третья — атаман стал генерал-лейтенантом.

Через две минуты он у слышал в телефонной трубке далекий, надсаженный пространством голос Скипетрова. Атаман приказал ему взять три бронепоезда. Маньчжурский стрелковый и Монголо-Бурятский конный полки и срочно двинуться на выручку к Колчаку.

— Когда надо отправляться, ваше высокопревосходительство? — спросил Скипетров.

— Вчера, — резко ответил Семенов, потом добавил, уже смягчаясь: — Чем раньше — тем лучше.

Стрелковый полк был незамедлительно погружен в теплушки, конный двинулся своим ходом (впрочем, на ближайшей станции полк ожидали два состава с обогреваемыми вагонами и вагонами для коней, и дальше он отправился по железной дороге), следом в небо взвились высокие черные дымы и бронированные чудовища с пушками, торчащими из склепанных листов стали, загромыхали колесами: бронепоезда также двинулись на запад.

Отряд генерала Скипетрова остановился на станции Михалево, в тридцати километрах от Иркутска, где тем временем произошли кое-какие политические изменения: власть взяли эсеры во главе с Политическим центром⁶². В городе вспыхивали редкие перестрелки, солдаты капитана Калашникова, обывавшего себя командующим едва ли не всеми вооруженными силами Сибири и Дальнего Востока, успешно добивали юнкеров, а вместе с ними и несколько десятков офицеров, не признавших Политцентр, да сотню иркутских казаков, призывавших полосовать спины здешних работяг нагайками.

Железнодорожная станция, как и все подъезды к Иркутску, находилась в руках чехов. На первом перроне, самом главном, где останавливались трансконтинентальные экспрессы, идущие из Парижа во Владивосток, теперь находился личный поезд командующего союзными войсками французского генерала Жанена.

Капитан Калашников готовился расправиться не только с непокорными казаками, но и с бронепоездами генерала Скипетрова. Поняв, что для этого силенок у него маловато, Калашников попросил помощи у чехов. Те усилили части капитана бронепоездом, стрелками в голубовато-мышинной форме, драгунами и артиллерией, а личный представитель генерала Гайды пообещал показать Скипетрову кузькину мать.

В тяжелую вьюжную ночь тридцать первого декабря 1919 года над землей с гоготом носились ветры, поднимали в воздух снег, обрушивали его на людей, ломали деревья, сдували с домов крыши, выдавливали стекла. Наступал год 1920-й, но никто наступления Нового года не чувствовал... На этот раз никто не отмечал, не встречал его. Это была обычная ночь, за которой должен был последовать обычный день.

Скипетров, боясь, что к бронепоездам могут подползти калашниковские добровольцы, выставил дозоры из маньчжурских стрелков — людей, для которых мороз и пурга были не напастью природы, а состоянием души, — и те мигом растворились в снегу. Ни один из лиходеев не сумел подобраться той ночью к бронепоездам.

Ранним утром первого января 1920 года Скипетров подошел к Иркутску.

По небу тянулись придавленные облаками тяжелые черные хвосты, их подгонял ветер. В Иркутске что-то горело; похоже, были подожжены склады, и их никак не могли потушить; пахло гнилью и жженой шерстью, это был запах ада, — многим в городе казалось, что вот-вот наступит конец света. В серой мгле неожиданно прорезалась яркая красная полоска — это за бронепоездами, на востоке, обозначилось солнце, послало людям некий ободряющий сигнал, но даже яркий высверк этот никакого облегчения не принес.

Воздух от мороза сделался крупитчатым, жестким, нарядную красную полоску прищепнуло сразу несколькими облаками, сдавило, и она исчезла. Небо опустилось — черные хвосты дыма пластались теперь над самой землей, и Скипетров,

перекрестившись, дал команду продвинуться еще немного вперед.

Чувствовал себя генерал неважно, полное живое лицо его угасло, лоб обметала испарина — в таком состоянии надо лежать в госпитале, а не командовать войсками. Минут десять генерал, высунувшись из башенки с биноклем, обследовал Вездочку и Глазково — невзрачные иркутские предместья, заняты калашниковцами, — засек две пушки, выдвинутые к железнодорожному полотну на прямую наводку. По ним можно было ударить прицельно и уничтожить, но стрелять было рано, снаряды могли смести игрушечные, какие-то куриньи домики работяг — жителей предместий, а Скипетров этого не хотел. По железной лесенке генерал спустился вниз, попросил у адъютанта воды, достал из баула коробку с порохами, один конвертик расковырял ножом и высыпал лекарство в рот. Запил. Поморщился. Адъютант обеспокоенно глянул на генерала:

— Что, ваше превосходительство, вода слишком горячая?

— Не слишком горячая, а слишком холодная, — сказал генерал. Предупредил: — Вы от меня держитесь подальше, у меня, похоже, инфлюэнца⁴³. Заразная штука. Можно весь бронепоезд заразить.

Под железным полом вагона громыхал металл. Бронепоезд двигался с черепашьей скоростью — командир бронепоезда боялся наткнуться на разобранные пути, оказаться в вязкой насыпи, из которой вагон не выдернуть — все уйдет в землю. Машинист бронепоезда подавал частые тревожные гудки. Противник молчал. У орудий не было видно ни одного человека. Похоже, люди Калашникова, а может, и сами чехи затевали какую-нибудь пакость, Скипетров ощутил, как внутри у него что-то завыло, изгоняя противное ощущение, он протестующе помотал головой и приказал:

— Глядеть в оба!

Выпив еще один порошок, генерал снова полез в башенку, держа в руке тяжелый бинокль: хотелось разгадать, какой сюрприз готовит ему капитан Калашников с чехами, чем раньше он это разгадает — тем лучше. Поднес к глазам свою мощную артиллерийскую оптику, привезенную с Западного фронта, и выругался — линзы залепило чем-то черным, вонючим, словно ошметок мазута принесся по воздуху и всадились в них.

В воздухе пахло бедой; дух ее носился над головами, прилипал к одежде, вызывал в висках нехорошее жжение. Бро-

непоезд, и без того плетущийся со скоростью дохлого червяка, стал двигаться еще медленнее — то ли машинист, то ли командир бронепоезда что-то увидели... Скипетров подумал, что надо бы увеличить расстояние между головным бронепоездом и составами, идущими сзади, но сейчас поправлять что-либо было уже поздно. Скипетров сначала протер линзы бинокля мягкой тряпочкой, смоченной в керосине, счищая их от густой жирной налипши, затем протер чистым кусочком замши.

Раздался длинный тревожный гудок, затем еще один. Скипетров поспешно приложил бинокль к глазам: на бронепоезд, лихо попрыгивая трубой, из которой вместе с черным дымом летели целые снопы искр, несся чумазый, с наполовину выколотой передней решеткой, прикрывающей колесную часть, паровоз, пыхал дымом, паром, масляной грязью, угольной крошкой, сажой, пылью, ржавью, кипящей водой. Скипетров неожиданно задрожавшими пальцами — не хотелось думать о худом — покрутил колесико наводки на резкость, но разобрать, по своей колее идет паровоз или по встречной, было невозможно. Но машинист бронепоезда видел то, чего не видел генерал, и теперь непрерывно давал тревожные гудки. Старый, уже отзвучавший рев накрывал рев новый, гудки звучали почти без паузы, и через мгновение Скипетров увидел, как из паровоза, идущего навстречу, выпрыгнул в сугроб человек.

— Паровоз идет по нашей колее, — прокричал Скипетров, соскальзывая с неудобной железной лесенки, взмахнул рукой командно, собираясь отдать какое-то приказание, но в ту же секунду увял — а какое, собственно, приказание он может отдать? Первый бронепоезд подпирает другой, следом идут полковые эшелоны... Принимать удар шального паровоза придется на себя. — Эх-рех! — горестно прохрипел Скипетров и умолк.

Паровоз тем временем вынесся на прямую; корявый, страшный, с выщербленной решеткой и мятым носом, с дырявой трубой, с одним огромным циклопским глазом-прожектором, он неотвратимо приближался к бронепоезду. Скипетров почувствовал во рту вкус железа.

— Орудие первой платформы — огонь по паровозу! — командовал он.

Открывать огонь было поздно. Дырявый паровоз врезался носом в переднюю платформу, обложенную для защиты расчета набитыми песком мешками.

В паровозе что-то гулко ухнуло, лихо подпрыгнув, на обочину насыпи закувыркалась сорванная труба, длинное железное туловище паровоза обнажилось, из него вынесло кусок котла, сыпнуло жарким искрищимся пламенем.

Следом раздался новый взрыв.

Сцеп платформы с паровозом оборвался, рассыпались обе буферные тарелки; платформа, которая уже заваливалась на насыпь, неожиданно поползла вверх, становясь на попа.

Машинист закричал, но собственного крика не услышал.

Платформа, встав вертикально, прилипла к паровозу, будто огромный ломоть, загородила свет, машинист кинулся к двери, к лесенке, плотно прикрытой наваренными с двух сторон листами стали, вцепился рукой в поручень, сделал судорожное движение, чтобы втянуть свое тело в узкий проем, но в это мгновение его обожгло огнем. Сдирая с себя одежду, кожу, кровавые руки, голову, он все-таки втиснулся в проем и, раскрылавшись по-птичьи, понесся в снег. Над его головой промахнула пушка с оторванными колесами, взрыхла стволем снег.

Раздался резкий, выворачивающий уши наизнанку свист, за ним — оглушающее шипение, потом снова свист, и внутри паровоза, тянувшего бронепоезд, громыхнул взрыв, следом еще один. Бронепоезд затрясло.

Скипетров боялся, что бронированные вагоны посыпятся в разные стороны с рельсов вместе с пушками, с пулеметами, но вагоны устояли. «Неужели все это — капитан Калашников? — мелькнуло у Скипетрова в голове усталое и одновременно горькое. — Не может быть, это не он... Это — чеки». Генерал был прав: акцию придумали и осуществили чеки. Скипетров с грохотом отжал рычаг, запирающий бронированную дверь вагона, отжал скрипучую, с перекосившимися петлями створку и выпрыгнул наружу.

Иркутск, который Скипетров рассчитывал взять к десяти часам утра, лежал перед ним в серой недоброй дымке, и у генерала уже почти не было шансов овладеть этим городом. Он подумал, что солдаты Калашникова сейчас пойдут в атаку, используют удобный момент для нападения, но те тихо сидели в Звездочке и в Глазково, прикрывались стенами домов и чего-то ждали.

Утопая в снегу, Скипетров прошел несколько метров и прокричал громко и хрипло:

— Солдаты!

Люди в теплушках молчали — не слышали либо не хотели слышать генерала.

— Солдаты! — вновь прокричал Скипетров, выдернул из кармана пинели небольшой никелированный пистолет, похожий на дамскую безделушку, пальнул в воздух.

За первым выстрелом последовал второй. Залязгали отдвигаемые двери вагонов, из головной теплушки на снег выпрыгнул прапорщик в длинной шинели; новенькие жестяные звездочки на погонах призывно блестели и были хорошо видны издали.

— Прапорщик! — прокричал Скипетров. — Выводите людей из вагонов!

Прапорщик картинно козырнул и прыгнул в теплушку. Через несколько секунд оттуда посыпались люди — прыгали неловко, неохотно, кривоного.

Через семь минут, — генерал Скипетров засек это время по часам, — они пошли в атаку на Звездочку.

Из-за крайних домов громыкнуло несколько разрозненных винтовочных выстрелов. Один из солдат, идущих в цепи, упал, остальных пули не зацепили. Следом раздался залп. Еще трое человек остались лежать в снегу.

Цепь перестроилась.

В бинокль было видно, что калашниковцы, прятавшиеся за домами, не выдержали. Цепь веревкой напозла на Звездочку, сдавила ее. На помощь стрелкам-маньчжурцам подошли выгрузившиеся из эшелона всадники. Калашниковцев резво погнало к реке, к Иркуту, сбросили на лед. А вот переправиться на ту сторону Ангары, на городской берег, не смогли: черная вода реки, которая даже в самые сильные морозы не уходит под лед, опасно дымилась. Понтонный мост был разведен. Маньчжурцы в нерешительности затоппались на берегу. От досады лицо у Скипетрова сделалось свинцовым.

Наступление не удалось. С пресловутым Политическим центром да с калашниковцами, обутыми в драные валенки, Скипетров справился бы шутя — только заплатки, оторвавшиеся от валяных чуней, плавали бы в воздухе, а вот с чехами совладать было трудно — слишком уж большую силу те заимели.

Тем не менее генералу удалось часть маньчжурцев переправить в город. Как только это произошло — на иркутских улицах уже звучали выстрелы, — в дело вновь вмешались чехи: на дрезине к Скипетрову примчались люди из штаба генерала Сырового, командовавшего чешским войском, хорошо экипированные, в коже и мехах. Они потребовали немедленно прекратить бой, и в подтверждение их угрозы на железно-

дорожных путях, лязгая составами и громко пыхтя, появился бронепоезд. Это был «Орлик». Три бронепоезда Скипетрова, вместе взятые, были слабее его одного.

— Все понятно, генерал? — ехидно полюбопытствовали у Скипетрова представители чешского командования.

— Что конкретно вы от меня хотите?

— Для начала — чтобы вы отвели свои части на станцию Байкал.

— Станция Байкал — это солидный бросок назад.

— А что потом?

— Что будет потом — переговорим.

— Чье это приказание? Сырового?

— Берите выше. Генерала Жанена.

Было известно, что Жанен люто ненавидит Колчака, он много раз пытался ограничить власть адмирала, но тот не пошел на уступки... И генерал Жанен обиделся. Теперь — мстил. Мстил жестоко, подло — предав адмирала, он, по сути, решил уничтожить его.

Приказу Жанена Скипетрову пришлось подчиниться. Шансов прорваться в Иркутск и выручить Колчака, чей поезд подходил в эти часы к Иркутску с запада, не осталось ни одного.

Скипетров сидел в стыллом, гулком вагоне бронепоезда и, погрузившись в мрачные размышления, несколько раз пробовал связаться с атаманом — связи не было. Генерал чувствовал себя человеком, угодившим в ловушку. С одной стороны, он не выручил из беды Колчака, к которому относился с глубоким почтением, с другой — его ждал гнев Семенова. Скипетров понимал — без команды атамана он отсюда не уйдет. Даже если ему доведется тут погибнуть. Генерал добыл новый паровоз вместо разбитого, достал и прочную длинную платформу, покалеченную пушку извлек из снега и послал восстановленный бронепоезд в сторону Иркутска на разведку. Но едва бронепоезд прошел Михалево, как на путях впереди немедленно возник «Орлик», пришлось возвращаться на станцию Байкал.

Скипетров не знал, что к этому времени чехи уже сдали адмирала Колчака, взамен получив разрешение беспрепятственно, вместе со всем награбленным добром — а везли чехи все, на что падал их взгляд, от старых графских карет с золочеными колесами до медных слитков с клеймом Демидовских и Строгановских заводов, — проехать на восток, в Харбин, либо сразу к морю.

На второй день православного Рождества к станции Байкал подкатил нарядный, украшенный флажками штабной поезд, состоявший из двух вагонов. Из переднего вагона вышли три старших офицера.

— Примите наши поздравления по случаю Рождества, — бегло, очень чисто, по-русски произнес старший из них, войдя в вагон к генералу. — Примите подарок от чешского командования и заверения в нашем дружеском к вам расположении.

Скипетрову была вручена бутылка французского коньяка, небольшой ящичек сигар «а-ля Латинос», к которым генерал, надо заметить, относился равнодушно, и кошелек с засунутой в него золотой пятирублевой монетой.

Чехи выпили по чашке чая, по паре стопок коньяка, заели выпивку бутербродами с икрой и на прощание вторично заверили генерала в лояльности и отбыли восвояси. Скипетров так и не понял, зачем они приезжали.

Это стало понятно через полдня, когда его эшелоны были неожиданно окружены чешскими стрелками. Из Иркутска подошел «Орлик», за ним еще один состав, сцепленный из бронированных вагонов. Обедавшие солдаты Скипетрова не успели и котелки с кашей отставить в сторону, как на них со всех сторон были направлены пулеметные стволы.

— Сдавайте оружие! — прозвучала команда на хорошем русском языке. Голос показался Скипетрову знакомым.

Кто-то кинулся было к козлам с винтовками, но добежать не успел — поверх голов была пущена пулеметная очередь, и несколько человек кубарем покатались по земле.

Сопротивляться было бесполезно, и вскоре отряд генерала Скипетрова был разоружен полностью. Солдат загнали в теплушки и приказали не высовывать оттуда носов. Около каждой теплушки выставили по двое часовых.

Скипетров ходил по пустому гулкому командному вагону бронепоезда и сжимал кулаки:

— Предатели! Иуды!

В тот же день Скипетрову удалось связаться по восстановленному прямому проводу с атаманом, он все рассказал Семенову, и тот в свою очередь связался со штабом генерала Жанена.

Обидчивый француз предупредил, что если Семенов попытается предпринять что-нибудь против чехов, то союзники будут действовать против него единым фронтом. И не дай бог, если в Забайкалье, на подведомственной Семенову территории, хотя бы на час прервется железнодорожное сообщение и остановятся чешские эшелоны...

Угроза была серьезная, у Семенова даже нервно задержались усы.

В те минуты атаман еще не знал, что его офицеры, остановив под Читой поезд командующего чешскими войсками генерала Сырового, вручили ему под расписку тридцать серебряных двугривенных монет — плату за предательство.

Узнав об этом, атаман довольно кашлянул в кулак:

— Жаль, что тридцать серебряников мы не можем вручить генералу Жанену!

Чешские эшелоны, доверху нагруженные награбленным, тем временем продолжали ползти на восток.

Седьмого февраля 1920 года Верховный правитель России Александр Васильевич Колчак был расстрелян на окраине Иркутска.

За месяц с небольшим до расстрела — четвертого января — Колчак подписал указ о передаче всей власти в России генерал-лейтенанту Семенову Григорию Михайловичу.

Дела на фронте продолжали идти на спад, в тылу было не лучше: части атамана постоянно общипывали красные партизаны, население ненавидело новоиспеченного Верховного правителя, контрразведчики целыми отрядами носились по Забайкалью, сжигали деревни вместе с людьми, не жалели даже детишек, — по мнению контрразведки, если бы не эти деревни, партизанские отряды давно бы замерзли в тайге от холода и голода.

Когда атаману докладывали о бесчинствах контрразведки, он отмалчивался. Лишь однажды в разговоре с Таскиным обронил успокаивающе:

— Они делают свое дело, не надо им мешать.

Среди белых генералов также зрело недовольство новым Верховным, они ругались открыто, не стесняясь даже солдат:

— Бабник, разбойник, хапуга, казнокрад, палач! И как только земля терпит такого человека! Вошь и та будет благороднее атамана Семенова!

Атаману доносили, что наиболее активно против него выступают генерал-лейтенант Дитерихс⁴⁴, генерал-майоры Акинтиевский, Пучков, Сукин, они — закоперщики, ядро заговора. Все остальные крутятся около них.

Мечта этих генералов была проста — выманить атамана из его столицы Читы и арестовать, а потом взять власть в свои руки. Узнав об этом, атаман только усмехнулся едко,

сложил популярную фигуру из трех пальцев и потыкал ею в воздух:

— Вот!

Выкурить атамана из Читы, где все было подчинено ему, где контрразведка обнюхала каждый камень, каждую щель и все держала на прицеле, было невозможно. Атаман хорошо знал, что значит для него Чита и как опасно ее покидать.

Однако ожидал Семенова еще один удар: японцы собрались уходить из Забайкалья, поняли, что им здесь ничего не светит, около этого вкусного пирога копошится слишком много разного народа, и поэтому подданные микадо решили переместиться на восток, в район Хабаровска и Волочаевки и укрепиться там.

Эта новость повергла атамана в смятение. Он понял, что теперь вряд ли сможет удержаться в Чите и надо спешно подготавливать запасную площадку, куда бы в случае опасности можно было бы переместиться. Он просидел целый вечер за картой, перебирая один вариант за другим, и пришел к выводу, что лучшего места, чем старая, надежная, хорошо знакомая и обжитая станция Даурия, у него нет.

Но уйти просто так из Читы атаман не мог...

Погода опять испортилась. В Чите неожиданно куда-то исчезли птицы — ни воробья, ни вороны, словно они нырнули в снег и растворились в нем. Неожиданно одиноко, неуютно, пусто сделалось в большом городе.

Семенов появился у себя в кабинете рано утром — стрелки часов не приблизились к шести, — следом в кабинет вошел хорунжий Евстигнеев. Атаман хмуρο глянул на лоценого полноватого хорунжего:

— Пошлите дежурный автомобиль за Таскиным.

Евстигнеев лихо щелкнул каблуками — он умел делать это бесподобно.

Через двадцать минут Таскин, заспанный, с узкими слезящимися глазами и мятым опухшим лицом, приехал в штаб.

— Сергей Афанасьевич... пора, — сказал ему атаман.

— Понял. — Таскин не удержался, зевнул, потянулся сладко; атаман услышал, как у него громко захрустели кости. — Приступаю к операции.

Через полчаса к внушительному, с толстыми крепостными стенами и узкими окнами-бойницами зданию Читинского государственного банка подъехали шесть грузовых автомобилей с солдатами, на рукавах у которых белели повязки.

Из здания выглянул вислозадый дедок, наряженный в старую форму с галунами, глянул вопросительно на офицера, стоявшего рядом с одетым в штатское Таскиным, которого дедок просто не заметил — для него значимой фигурой был офицер, — спросил надсаженным табаком голосом:

— Чего надо, вашбродь?

— Вы кто?

— Ночной комендант.

— Так вот, господин ночной комендант, вызывайте сюда управляющего.

— Зачем?

— Больно уж ты любопытный, дед. Банку сейчас топить будем.

Баня в госбанке действительно имелась. Управляющий, предвидя голодную и холодную пору, обзавелся кое-каким хозяйством, в том числе и баней. Дедок расплылся в улыбке:

— Баню я могу и без управляющего сгородить. Только прикажите!

Офицер поморщился недовольно, втянул в себя сквозь сжатые зубы воздух:

— Зови управляющего, старый хрен! У него на квартире есть телефон?

— Есть, есть.

— Исполняй приказание.

Через двадцать минут на взмыленном лихаче прибыл управляющий банком — бледный господин с водянистыми мешками под глазами и нервно подрагивающей верхней губой. Офицер сунул ему под нос бумагу, подписанную Семеновым:

— Читайте!

Управляющий захлопал глазами:

— Что это?

— Армия берет под свою охрану весь золотой запас, имеющийся у вас в банке.

— У нас он и так находится под надежной охраной, еще никто не покусился.

— Ваша охрана — это недоразумение. Прискачет какой-нибудь красный командир Пупкин с парой орудий, и вы, господин управляющий, драться за государственное золото не будете. Так и уплывет оно...

— Или зайвится кто-нибудь из белых... — неожиданно насунился управляющий.

— Или кто-нибудь из белых, — подхватил офицер, фами-

лию его история для нас не сохранила, — из войска покойного господина Капшеля...

— А разве Капшель уже покойный? — любопытствовал управляющий. — Молодой ведь еще был...

— Недавно погиб. Провалился под лед, обморозил себе ноги, легкие, нутро и скончался.

— Не знал. — Управляющий сожалеюще покачал головой.

— Капшель погиб, а последователи его остались. Очень жадные, замечу, до всего, что блестит. Например, такой господин, как генерал Петров.

— Я с ним знаком лично. Неприятный господин, вы правы.

— Или чехи. Так что ведите в свои подвалы, господин управляющий, показывайте, что храните, мы вам расписочку потом рисуем. Сергей Афанасьевич, — офицер повел подбородком в сторону Таскина, — будет все принимать по реестру.

— Но это... — верхняя губа у управляющего задрожала еще сильнее, — это же противозаконно! Атаману Семенову я не подчиняюсь.

Офицер усмехнулся.

— Между прочим, атаман Семенов — Верховный правитель России. Ему подчиняются все. — Офицер оглянулся на Таскина, словно за поддержкой, потом сделал призывный знак подчиненным: — За мной!

В тот же день все банковское золото — семьсот одиннадцать ящиков — было перевезено в военное училище. Там дорогой груз заперли в подвал. В казарме училища разместились рота охраны. Завладев золотом, Семенов не захотел оставлять его без присмотра ни на минуту.

В банке остался любопытный документ под названием «Акт № 1», который вскоре был опубликован в местной газете. В нем перечислялось все, что семеновцы взяли в глубоких, обложенных специальным, поглощающим сырость кирпичом, банковских подвалах. Список был внушительным.

Единственное, что отсутствовало в документе — точная сумма, в которую оценивался тот запас. Впрочем, не только точная сумма — не была проставлена сумма даже приближительная. Огромную цифру эту во всем семеновском войске знали только два человека — сам атаман и Таскин.

О том, откуда это золото взялось в Чите, говорят следующие факты. В августе 1918 года белые захватили в Казани золотой запас России. Был он велик — шестьсот пятьдесят один с половиной миллион рублей золотом. Кроме золота он

включал запасы платины, серебра и кредитных знаков — этого добра тоже было немало: сто миллионов рублей.

За несколько месяцев до своей гибели адмирал Колчак отдал приказ отправить часть золота во Владивосток. Как свидетельствуют документы, в специальные вагоны, имеющие стальные клетки, были погружены двадцать два ящика со слитками, девять ящиков с золотыми полосами, семь ящиков с кредитками, тридцать четыре ящика с драгоценностями. Через неделю в вагоны были загружены еще сто семьдесят два ящика со слитками и пятьсот пятьдесят ящиков с монетами. В итоге тянул этот золотой эшелон примерно на пятьдесят миллионов рублей.

Золотой рубль той поры — не чета нынешней мировой валюте, хваленому доллару. За маленькую пятирублевою монетку с изображением Николая Второго ныне в любой стране мира дают как минимум семьдесят долларов и принимают эти деньги в неограниченном количестве.

Недавно появились более точные цифры. В одной из бумаг, найденных в Пражском архиве русской эмиграции, черным по белому написано, что «в октябре 1919 года во Владивосток было отправлено, но задержано в Чите, золота в слитках на 10.557.774 руб. 06 коп. и в монете российской на 33.000.000 — всего 43.557.744 руб. 06 коп.»*

Вот что находилось в ящиках, которые атаман Семенов вывез из подвалов Читинского государственного банка.

Небольшая деталь. Когда настала пора отправлять в Монголию жену атамана, отношения с которой у Семенова становились все более и более прохладными, то красивую юную даму с печальным лицом и крепко сжатыми бледными губами сопровождало несколько «золотых» возов. Драгоценного металла, посуды и камней она взяла с собою столько, что на это состояние можно было безбедно прожить три человеческие жизни**.

Много раз Семенов пробовал открутить свою жизнь назад, словно некую ленту синематографа, понять, где он споткнулся, промахнулся, не рассчитал, нащупать тот порог, с которого он покатился вниз, к жизненному поражению, и так этот порог не находил. Удалой в атаке, лихой в расправах, добившийся того, что его боялась уже едва ли не половина России, в быту, в обыденной жизни он оказался очень уязвимым... В

* Эта справка была обнаружена русскими архивистами Я. Леонтьевым и Л. Петрушевой.

** По свидетельству очевидцев — 21 пуд.

общем, такой же, как и все, подверженный тем же хворям и напастям, что и все.

Белая армия терпела поражения не только на фронте, но и в тылу. Становилось все больше генералов, не признававших за Семеновым прав, переданных ему четвертого января 1920 года Колчаком.

— Из этого атамана, привыкшего сморкаться правым пальцем, Верховный правитель не больше, чем из меня папа римский, — кричал генерал-лейтенант Лохвицкий, примкнувший к заговору.

Однако когда командующий каппелевской армией старый генерал-лейтенант Войцеховский⁶⁵, к которому власть в армии перешла после гибели Капделя, решил оставить службу и уехать из России и Семенов подписал приказ о назначении на этот пост Лохвицкого, он благодарно поклонился атаману, произнеся: «Буду служить России верой и правдой». Назавтра он о своем обещании забыл и стал поносить Семенова громче, чем раньше.

Следует заметить, что каппелевцы продолжали все так же ненавидеть семеновцев. Атаман решил взять каппелевскую армию изнутри — включил в ее состав Азиатскую конную дивизию барона Унгерна и первый корпус Дальневосточной армии под командованием своего родственника генерал-лейтенанта Д.Ф. Семенова, потерявшего в боях ногу и теперь лихо скакавшего по камням на деревяшке. Но из этого также ничего не получилось — ни Д.Ф. Семенов, ни Унгерн выполнить свою миссию не смогли.

Через две недели в штаб к атаману приехал генерал Лохвицкий — красный, потный, с дрожащими руками. Он еле сдерживал себя и через каждые пять-шесть слов срывался на крик, потом резко переходил на шепот.

— Вопрос я ставлю ребром, — выкашлял он, — или я остаюсь в армии, или барон Унгерн — одно их двух.

— Что случилось? — холодно поинтересовался Семенов. Он-то прекрасно знал, что Унгерн может вывести из равновесия кого угодно.

— Вы же знаете Романа Федоровича, — простонал Лохвицкий, шепотом добавил что-то невнятное и опять сорвался на крик: — Или я остаюсь в армии или он!

— Или — или, — проговорил Семенов задумчиво, хотел было сказать этому прыщу, что он не стоит даже шпоры с сапог барона Унгерна, но сдержался и произнес еще более сухо и холодно: — Сдайте армию командиру Второго корпуса гене-

рал-лейтенанту Вержбицкому и отправляйтесь на все четыре стороны... В отпуск.

Настроение у атамана было хуже некуда.

Порою ему казалось, что разваливается не только армия — разваливается, ползет в разные стороны земля под ногами. Когда японцев в Забайкалье не осталось, он вдруг ощутил страх. Непонятный секущий страх, будто его живого облепили муравьи, зашевелились, забегали и спешно начали есть. Пройдет совсем немного времени, и от плотнотелого мускулистого атамана ничего не останется — только воспоминание да белые, словно обмытые дождем, кости...

Даурия после Читы показалась обыкновенной серенькой провинцией. Атаман, переместив сюда свой штаб, старался не замечать убогости поселка, понимал — все равно тут надолго не задержится.

В один из дней он, упрямо нагнув голову, набычась, пешком пересек Даурию, вышел на открытое пространство — конвойная полусотня, грохоча сапогами и звеня шпорами, оскользаясь на весенних наледях, давя хрупкое черное стекло замерзших лужиц и отвердевший до фанерного хруста снег, растянулась едва ли не на весь поселок, но тем не менее не отрывалась, волоклась следом, — там остановился, огляделся и произнес неожиданно горько и тихо:

— Жизнь проходит.

Казак в недоумении переглянулись: как же она проходит, когда атаману еще жить да жить, он — мужик самый раз, в соку, бабы на него поглядывают с вожделием и обливаются, будто кошки при виде крынки со сметаной, но в позе атамана было сокрыто что-то такое, что заставило их разом поугрометь, утихнуть — словно он познал некую тайну, которую никак не могли познать они... А атаман, будто ничего не видя и ничего не слыша, вновь проговорил едва различимым слабым голосом:

— Да, жизнь проходит. И прожита она не так, как надо.

Что он имел в виду, для конвойных казаков осталось загадкой.

Семенов нагнулся и неожиданно выдернул из-под ног, прямо из-под сапога крохотный мохнатый цветок, проросший из черной льдинки, прозрачно желтый, водянистый, с лохматушкой посерединке, похожей на шмеля, прилепившегося к холодной, замороженной, но живой — живой! — плоти цветка, поднес цветок ко рту, дохнул на него. Ему показа-

лось, что лепестки у цветка зашевелились... Семенов дохнул на цветок еще раз и, не оборачиваясь, спросил у конвойных казаков:

— Что это за растение?

Казаки не знали. Вперед выступил хорунжий с выцветшими погонами на коротком черном полушубке.

— Вообще-то местные, ваше высокопревосходительство, зовут его весенним цветком... А как будет по науке — лепший его знает.

— Весенний цветок, и все? Без всяких прибауток и красивых слов? Неужели никак не зовут?

— Никак, ваше высокопревосходительство.

Атаман покачал головой сожалеюще, поднес цветок к носу: от жестких, покрытых коротким волосом лепестков исходил нежный, едва приметный сладковатый дух. Запах понравился атаману.

— Какая в нем все-таки сила жизни, — пробормотал он восхищенно и бросил цветок под ноги. Резко, по-строевому, на одном каблуке развернулся и двинулся назад, к деревянным домикам станции Даурия.

Охрана поспешила следом.

Хоть и много золота взял с собою Семенов из Читы, а таяло оно стремительно: за все приходилось расплачиваться звонким металлом. За перевозку по КВЖД семей казаков, спасающихся от красных, платили золотом, за уголек для паровозов — золотом, за патроны для винтовок — золотом, за сукно для казачьих шинелей — золотом, за упряжь и седла — золотом, за провиант — золотом... Всюду шло только золото, оно текло, будто вода, не держалось в руках, и чем меньше его становилось, тем то склинее делалось атаману.

Забегая вперед, скажу, Семенов хоть и прижимист был, а золото не очень-то берег, транжирил его налево-направо. Небезызвестный Таскин на «обеспечение войск довольствием» получил, например, почти 3 миллиона рублей золотом плюс 3,6 миллиона — на покупку обмундирования и снаряжения, плюс 420 тысяч — на оплату секретных командировок и еще сверх того — 3 миллиона золотых рублей плюс 30 ящиков со слитками — на обеспечение так называемых закупок за границей — это помимо обмундирования и снаряжения, — значит, из этих денежек оплачивались и агенты атамана, шурующие по всей России, а также в Китае и в Монголии, террористические акты и подкупы нужных людей, кражи

секретных документов из красных штабов и дорогие украшения, приобретаемые для любимых женщин атамана.

С четырнадцатого января по тринадцатое сентября 1920 года золотой запас, изъятый из Читинского госбанка, уменьшился, говорят, на 638 ящиков. Когда же семеновцы окончательно побежали из России в Монголию, то за уголь для паровозов, который взяли на Харанорских коях, пришлось выставить 8 ящиков с золотыми слитками.

Четырнадцатого декабря 1920 года газета «Дальневосточная республика», издававшаяся в Чите, написала: «Громадная сумма денег ушла на «интендантские заготовки», вокруг которых грелись и русские, и зарубежные спекулянты. Эти интендантские заготовки прогремели на весь свет, а чрезмерное злоупотребление семеновских фаворитов возбудило в свое время массу конфликтов между ними и строевыми генералами и привело армию к полному развалу».

Интендантские генералы Рудаков и Лихачев для проведения закупок за границей (опять закупки за границей) получили сто семьдесят пудов золота на сумму 63,4 миллиона рублей и 4 миллиона рублей отчеканенной монетой.

Главный тыловик, финансист и снабженец семеновской армии генерал Петров (за границей он более известен как Петрофф), на дух не принимающий шефа, не выбирающий выражений, когда речь заходила об атамане, получил от Семенова 1,3 миллиона золотых рублей. Барон Унгерн получил 350 тысяч рублей, барон Тирбах — командир сводной Маньчжурской дивизии — 380 тысяч карбованцев, отлитых из звонкого драгоценного металла. Даже генерал-каратель Афанасьев, отправляясь в очередной поход, чтобы показать бородастым староверам кузькину мать, получил на руки 600 тысяч рублей. Часть денег он положил к себе в карман. В конце 1920 года, находясь уже в эмиграции, в Китае, Афанасьев решил развестись с женой, но не сумел поделить с нею 200 тысяч золотых рублей — ту сумму, что он так ловко отщипнул от «карательных» денег. Харбинская газета «Русский голос» рассказала об этом очень подробно.

Ближнее окружение атамана также без капитала не осталось: личная канцелярия Семенова получила, например, 180 тысяч рублей, комендант штаба — 100 тысяч и так далее. Вокруг атамана крутилась самая настоящая рублевая карусель, которая могла остановиться лишь тогда, когда из банковских ящиков будет взята последняя монета.

Но все равно золота было много, и Семенов, чувствующий, что черные дни уже не за горами, понимал, что столько золота он ни унести, ни увезти с собою не сможет. Золото надо было спрятать.

Где спрятать, каким способом, с чьей помощью — этот вопрос решали, пожалуй, только два человека, больше никто — сам атаман да Таскин. Когда речь шла о золоте, атаман становился недоверчив и раздражителен.

Операцию по захоронению золота он готовил тщательно, но оказалось, что даже такую тайну сохранить невозможно. Когда золотой запас был погружен в железнодорожный вагон и под охраной двух бронепоездов отправлен к границе, ценный груз встретили каппелевцы. Они были об этой операции осведомлены также хорошо, как и сам атаман.

Семенов попросил, чтобы дали список сопровождающих груз, а также на каждого из этих двадцати человек «хваленку» — чем тот отличился, — и остался списком недоволен, несколько фамилий вычеркнул и приказал на их место найти новых людей. Имелись у атамана свои соображения, довольно жестокие — в духе контрразведки, закрутившей гайки до отказа: убрать всех, кто будет сопровождать груз, положить их рядом с золотом, превратить в вечных стражейклада. Иначе, понимал Семенов, ему не сохранить тайну золота — к золоту потянутся все, кому не лень.

Утвердил атаман только третий список «золотого конвоя» — прихлопнул лист бумаги ладонью и проговорил:

— Годится!

Уходили поезда со станции в предрассветной тиши, когда все было очень хорошо слышно — даже тоскливые вздохи медведя, в неурочное время вылезшего из берлоги в двенадцати километрах от железнодорожных путей. Вначале, шумно вздохнув и прокатав вхолостую колеса по рельсам, ушел бронепоезд с проржавелыми боками, украшенными следами свежей клепки, несколько минут спустя станцию покинул укороченный, облегченный поезд, состоявший из трех вагонов — в одном находилось золото, в двух других — охрана, в распакнутые двери угрожающе поглядывали коротко обрезанные, похожие на поленья, дула пулеметов «максим», затем, тяжело пытая, будто его давила астма, ушел второй бронепоезд.

Некоторое время был слышен их гул, потом все стихло.

Ни один человек не заметил, как с окраины станции, от темного дома почти беззвучно отделились два всадника на легконогих каурых конях и растворились в пространстве...

«Вскоре на востоке сонно заворчалось, стараясь выбраться наружу, неяркое тревожное солнце...

Два бронепоезда и маленький кургузый состав усердно дымили, давили колесами изношенные чугунные рельсы, машинисты чутко прослушивали дорогу — ошибаться им было нельзя...

Ничто не предвещало ни беды, ни схватки с противником, ни какой-нибудь ловушки, такой как завал бревен или телеграфной опоры, опрокинутой на рельсы.

Над головным бронепоездом возникло белесое светящееся облако, устремилось вверх, и до машинистов двух других составов донесся глухой рев — машинист бронепоезда предлагал увеличить скорость. Так на скорости, под стук колес и шум ветра проехали одну крупную станцию, за ней другую. Машинист головного поезда повеселел, глянул в узкое, обрамленное кусками железа оконце, довольно кивнул — рельсы, поблескивая черными плоскими ребрами стыков, уходили к горизонту, хорошо накатанное полотно было ровным, как железная дорога из Петрограда в Москву. Путь был свободен.

Скорость бронепоезд набрал приличную, внутри всё бултыхалось, погромыживало, звенело, ездило, скорость пора было сбрасывать.

Рябя ветками, назад соскользнули еще несколько худосочных, с тощими стволами деревьев, голая сосна, с которой стекла вся хвоя, расшелеперившаяся страшно, будто гигантский мертвец, вытаявший из земли; машинист сбросил скорость и выругал себя — слишком резко это сделал, буфера лягнули громко, протестующе... Это означало, что два последних вагона, обычных, без брони — в одном находился уголь, в другом мука, — которые машинисту надлежало отцепить от состава на номерном разъезде, указанном в карте, — всадились в броневой вагон, идущий впереди.

Помощник машиниста это почувствовал, глянул удивленно на своего старшего напарника.

— Ты в бою еще ни разу не был? — спросил у него машинист и, зная, что помощник пороку не нюхал, ответил, не дожидаясь, когда парень откроет рот: — Не был! Челюсти будут стучать так, что их веревками придется привязывать к ушам, иначе они из своих гнезд повыскакивают... Понял?

— Вреге вы все, дядя Петя, — проговорил помощник неверяще.

— Вру, — согласился с ним машинист, — но знай, малый, что во всяком вранье есть только доля вранья, все остальное —

правда. Честно, я тебе не соврал. Когда бронепоезд начинает бить из орудий — не только челюсти клацают — голова оторваться может. Понял?

На этот раз помощник согласно кивнул.

Машинист вновь сделал едва приметное движение крупной, вытертой до желтого сверка рукоятью реверса, осаживая идущие в жесткой сцепке с паровозом вагоны; на этот раз он не промахнулся, сделал все как надо и удовлетворенно сказал помощнику:

— Учись, как реверсину по одной зарубочке спускать на нет. Умру ведь — и никто не научит. Большинство машинистов сбрасывают ход шаром — в три движения. И технику коржат, и зубы себе ломают, и паровозы вверх лаптями опрокидывают. А я... я тебя плохому не научу, у меня ты лоб никогда не расшибешь.

Вдруг глаза у машиниста округлились, сделались оловянными, будто пуговицы, разом потеряли живой разумный блеск, и машинист сделал резкое движение реверсом, разом осаживая и паровоз, и вагоны.

Помощник машиниста впечатался лбом в металлическую переборку, украшенную крупными шляпками клепок.

— Гэх! — вырвалось у него из горла хриплое, кожа на лбу украсилась тремя кровависто-багровыми метками, парня будто кто клеймом опечата.

В самом крутом месте поворота поперек полотна лежали толстые, испачканные глиной и мазутом бревна, заваленные одно на другое, и венчал этот завал огромный, не менее трех обхватов пень с торчащими в стороны кривыми щупальцами корней. От резкого торможения машинист также припечатался к реверсу, прокричал что-то невнятное, одной рукой схватился за висящую над головой проволочную петлю ревуна, потянул ее вниз. Раздался длинный тревожный гудок.

Под паровозом скрежетало железо, горел металл, раздавался оглушающе резкий свист пара, в обе стороны летели длинные струи огня, что-то рвалось, лопалось, визжало.

Двое артиллеристов кинулись к пушке, установленной на носовой платформе; один из них, кривоногий, в прожженной на спине шинели поспешно вогнал в казенник снаряд; второй, вывернув голову с широко открытым ртом, яростно хлопнул замком, досылая снаряд в ствол, потом, прильнув к окуляру, поспешно потянул вниз цепочку спуска — он видел то, чего не видел машинист.

Гулко ударил выстрел. Затем артиллеристы сделали второй выстрел — справа от завала они углядели мелкий и длинный, похожий на червя, наспех вырытый окоп, наполненный людьми. Это были капелевцы. Снаряд просвистел над окопом, поднял высокий черный султан земли, прихватив заодно и пару человек.

По платформе грохнул залп, и артиллеристов будто сильным ветром завалило.

Заряжать пушку было больше некому.

Одна из пуль влетела в узкое паровозное оконце, вцепилась машинисту прямо в голову. Помощник машиниста, увидев мозги, жидкой струей брызнувшие из головы дяди Пети, согнулся кренделем, заикался, выворачиваясь наизнанку.

Над самой головой, оглушая паренька, рывкнуло орудие; снаряд — хорошо видимая в воздухе раскаленная чупка — всадила в капелевский окоп, в самую середину земляного рва, приподнял его вместе с людьми, вытряхнул их, швырнул в сторону.

На обочине леска — недалекого, черного, с рваной верхней кромкой — обозначилась пушчонка, рывкнула по-собачьи, и принесшийся снаряд проворно нырнул под шпалы, будто поросенок, разом прожег в земле дырку, заерзал, зашел велился, забрызгал огнем; помощник машиниста, которого отбросило к оконцу, а по спине хлестнуло так, что он невольно схватился обеими руками за поясницу, отнять руки не успел и со всего маху влип лицом в оконце.

Снаряд оказался бракованным. Не взорвался.

Через мгновение из гнилого леска принесли еще три снаряда, два хлобыстнулись в землю и никакого вреда бронепоезду не принесли, а один чиркнул по стальному боку вагона, увенчанному двумя плоскими, недавно выкрашенными в черный кладбищенский цвет башенками, выбил длинную жгучую струю искр и унесся в чистое поле.

Обе башенки окрасились огнем, рывкнули, и в сторону леска понеслись два снаряда.

Завязался бой. Головной бронепоезд завалил неряшливо извивистую окопную линию землей, снарядами, осколками, сровнял ее с поверхностью; со второго бронепоезда высыпал десант, и капелевцы, имеющие славу людей, не знающих, что такое отступление, побежали.

Вдогонку им ударил не только первый бронепоезд — несколько раз пальнул из пушек второй, потом густо полил бегущих свинцом из пулемета. Несколько капелевцев остались лежать на земле.

Но и участь семеновцев была незавидной — стало попятно, что без потерь не прорваться, засада сильная — она подкреплена артиллерией.

Руководил этой экспедицией один из доверенных людей атамана, полковник — история не донесла до нас его имени, — человек обстоятельный, дотошный, привыкший все делать надежно.

— Вот сволочи! — выругался полковник. — Союзнички по Белой армии называются. Нет бы чехи или французы генерала Жанена, а то — свои! Неужто пронюхали про золото?

Он был прав — каппелевцы знали о движении трех составов все, или почти все, они даже место для засады смогли выбрать такое, что лучше не выберешь — оба бронепоезда потеряешь, прежде чем пройдешь.

Со стороны леса вновь ударили пушки, ударили парой, дружным залпом, третья пушка молчала.

Полковник приказал готовить десант для расчистки завала, взялся за трубку в внутренней связи, скомандовал командиру бронепоезда:

— Дайте по пушкарям еще пару залпов, чтобы они не перебили наш десант шрапнелью.

Вновь загрохотали пушки головного бронепоезда. Следом ударил второй бронепоезд.

Двумя залпами не обошлось — дали пять. Воздух сделался от дыма черным. Пушки, прикрытые деревьями, перестали отвечать, но когда из бронепоезда высадился второй десант и двинулся к завалу, из леса ударили пулеметы, а следом рывнула пушка.

— Пожалуйста, еще несколько залпов, — совершенно по-штатски попросил полковник; командир бронепоезда коротко матюкнулся и вновь скомандовал артиллерийской прислуге:

— Три залпа — пли! А потом — беглыми.

Тут в башенное помещение всунулся прапорщик в мятой темной фуражке и испачканной мазутными пятнами гимнастерке — «механисъен» бронепоезда.

— Машиниста убило!

Полковник ошалело глянул на прапорщика:

— Как убило? Он же кругом защищен, сидит в железе. Сверху железо, внизу железо... Как убило?

— Шальная пуля залетела, — просто пояснил прапорщик.

— Срочно найдите замену машинисту! Ежели замену не отыщете, тогда сами встаньте к рулю... — полковник поперх-

нулся, — или чего там у паровоза есть? Штурвал, рычаги, педали? Встаньте, в общем, к управлению паровоза сами.

По лицу прапорщика пробежала тень.

— Вы умеете управлять этим чертовым чайником? —

Полковник повысил голос.

— Теоретически да, а на практике... — Прапорщик неопределенно приподнял плечо.

— Это же война, прапорщик, — укоризненно проговорил полковник, — здесь различия между теорией и практикой нет. Ступайте на паровоз!

Бой оказался затяжным, горячим — каппелевцы долго не давали подняться обоим семеновским десантам, вбивали людей в землю, пушки и пулеметы бронепоездов пытались подавить огневые точки каппелевцев.

Прапорщик-«механисъен» под колесами прополз к паровозу, вместе с хныгущим паренком-помощником отволол тело машиниста в угольную кучу, пристроил там; поскольку глаза у машиниста не закрывались, натянул ему на голову кусок рогажи. Затем прапорщик кинулся к топке, распахнул ее, зажмурился, уклоняясь от двух угольков, по-блошиному проворно прыгнувших на него, и прикрикнул на помощника машиниста:

— Хватит корячиться! За котлом чего не следишь?

Паренек приложил ладонь к уху, показывая, что ничего не слышит, и «механисъен», матюкнувшись, сбросил давление в котле, выпустив длинную струю пара.

Помощник машиниста прижался к теплой железной перегородке, лицо у него дернулось, съезжая набок, губы по-мальчишески обиженно затряслись, и он, запрокинув голову назад, заплакал.

За спиной прапорщика дважды рывкнул звонок — сигнал отхода.

Стрелки, залегшие перед завалом, начали поспешно отходить.

Прапорщик рывками, неумело стал отводить бронепоезд от завала. По бронированным щитам паровоза продолжали щелкать пули.

Стрельба смолкла, лишь когда бронепоезда отошли на безопасное расстояние.

Но через двадцать минут они снова пошли в атаку. Обработали опасный лесок, где стояли пушки, в ответ — ни одного звука.

Тяжело гудящие снаряды, оставляя после себя черный дымный след, снова унеслись в лесок, и начальник экспеди-

ции приказал немедленно, пока не рассеялся дым, опять выбрасывать десант.

Цепь семеновцев быстро миновала завал, прокатилась еще метров сто, и из леска, из зыбкой притеми кустов ударили пулеметы. Цепь залегла. Полковник выругался, на щеках у него нервно заходили желваки, глаза сжались от гнева и досады.

— Если бы была возможность откупиться — откупился бы, — проговорил он жалобным голосом, обращаясь к командиру бронепоезда, — отдал бы им пару ящиков — и дело с концом*. Пусть отправляются в Хабаровск и едят там свои калачи... И Григорий Михайлович меня понял бы. Но не возьмут же, каналы.

Начальник экспедиции ошибался. Семенов не простил бы ему не то чтобы потерю двух ящиков с золотом — но даже исчезновение двух монет.

Командир бронепоезда деликатно промолчал, вопрос о золоте он считал вопросом высших сфер.

Когда семеновцы пошли в очередной раз в атаку, пулеметы каппелевцев, которых угодили прапнелью, уже не отвечали.

Завал разобрали быстро — уложились в сорок минут, но и бронепоезда не решились идти дальше. Поразмышляв немного, начальник экспедиции пришел к выводу вполне логичному — раз каппелевцы устроили одну засаду, то устроят и другую.

Надо отходить, надо связываться с Даурией, где атаман дожидается вестей, и задать Григорию Михайловичу вопрос в лоб: «Что делать?» А тот двинет ответный вопрос: «Кто виноват?» Кажутся вечными эти два вопроса, сплетенные друг с другом, вопросы, на которые пытаются ответить потные, заикающиеся, будто нерадивые гимназисты, вполне степенные важные дяди и не могут ответить.

Когда же ответят, наверное, всем бедам на Руси придет конец. Хотелось бы в это верить.

Один бронепоезд снова попятился назад, потом остановился, окупал стволами пушек пространство и вновь попятился, прикрывая неуклюжим бронированным телом скромный трехвагонный состав, в который не всадила ни одна пуля — каппелевцы не осмелились в него стрелять, даже осколки и те обошли этот состав стороной.

* Тайное стало явным. По свидетельству уцелевшего в тех боях прапорщика Вырлана и команды бронепоездов, и сопровождавшие золотой груз стрелки уже после первой стычки с каппелевцами знали, ради чего их заставляют умирать. Тайну открыл один из солдат конвоя, и она быстро распространилась по экспедиции.

А первый бронепоезд, пофыркивая паром, чихая, ржаво покрякивая дырявым ревуном, остался около завала, не рискуя переползти через невидимую черту, неожиданно сделавшуюся для него запретной, хотя, как говорится, сам Бог велел подойти к раскуроченному леску, посмотреть, что там осталось. Прапорщик Вырлан спрашивал разрешения у командира бронепоезда продвинуться дальше хотя бы километра на два, но тот пробухал в трубку связи металлическим голосом:

— Не дергайтесь, не суетитесь... Всею свое время.

Что ж, как говорится, начальству виднее.

— Я совсем не по паровозной части «механисъен», — грустно произнес Вырлан, глянул с невольным вздохом в узкое железное оконце, — мое дело совсем другое...

— Какое же? — спросил помощник машиниста, дернув нервно плечом.

— Я ведь в Санкт-Петербурге, в политехническом институте, курс прошел... По рудной части...

Был прапорщик человеком еще молодым, моложе тех лет, на которые выглядел, просто жизнь, разные фронты, ранения, газовые атаки помяли его. И хотя Вырлану было всего двадцать три года, а голову уже тронула ранняя седина, но, несмотря на седину и обретенную осторожность опытного человека, прапорщик смог сохранить юношескую живость и любопытство.

Прапорщик спустил пар: раздался клекочущий, режущий уши звук — если пар не спускать, в машине разорвет котел, и тогда живьем сварит не только людей, находящихся в паровозной будке, — разломает половину паровоза. Помощник стрельнул в прапорщика приметливым глазом, оценил его действия — прапорщик все сделал правильно. Помощник кивнул. В следующий миг веснушчатое, с разжиженным загаром лицо его дрогнуло, он оглянулся на черную скособоченную дверь, за которой в куче угля лежал машинист, и скривился жалобно:

— Дядю Петю надо бы похоронить.

— Без приказа командования хоронить нельзя, — строго произнес прапорщик.

— А как же... не по-христиански это. Да и дядя Петя может... — Помощник машиниста неожиданно зажал себе нос двумя пальцами, будто хотел высморкаться.

— А ведь парень прав, покойник на горячем тендере протухнет очень быстро, — проговорил Вырлан вслух, — если бы тендер обдувало воздухом — тогда подержался бы, а так...

Командир бронепоезда хоронить машиниста не разрешил.

— На станции Хада-Булак или Шерловая Гора — пожалуйста, а здесь нет, здесь мы как на ладони.

Но через двадцать минут к паровозу подбежали трое здоровых дядьков с желтыми лампасами на штанах — похоронная команда, — проворно сгребли машиниста с угольной кучи и поволокли к редкой грядке кустов, уцелевшей от снарядов и пуль.

— Вот так, жил человек, небо коптил и в один день коптить перестал — дым кончился, — грустно произнес Вырлан, перекрестился. Выругал себя — что-то на сантименты потянуло.

Вскоре убитый машинист был закопан в землю, в ноги ему поставили крест, сколоченный из двух неопшуренных жердин, помощник машиниста, боязливо зыркнув глазами вначале в одну сторону, потом в другую, выскочил из паровозной будки с банкой дегтярно-черного угольного лака и, быстро хонько скоблив крест лезвием ножа, намалевал криво: «Здесь покоится дядя Петя. Убит в 1920 г.»

— Будь моя воля — я бы покинул это гибельное место, — проговорил прапорщик. — Воевать со своими очень не хочется.

Лицо у него было испачкано масляной отработкой, угольной пылью, копотью, в углах рта образовались мелкие колючие складки, придавшие Вырлану скорбный вид; прапорщик подумал о том, что хотя на войне смерть стала такой же привычной, как насморк, а умереть всегда было — и будет — страшно, поскольку человек все-таки заряжен на жизнь, а не на смерть и подчиняется жизни...

— Иван Алексеевич, — позвал он помощника. — Возьми чайник, полей мне на руки.

Помощник медленно наклонил чумазый, с погнутыми боками чайник; из носика, также погнутого, вытекла тонкая струйка. Закончив умывание, Вырлан стер воду с лица, отряхнул руки и выглянул в оконце...

— Хоть помирать чистым буду, — произнес он тихо, для себя, помощник не должен был его услышать, но помощник слух имел острый, нехорошо поехался от этих слов.

— Тьфу, тьфу, тьфу, типун вам на язык, господин прапорщик.

— Типун не типун, а все может быть, — проговорил прапорщик, продолжая смотреть в узкое железное оконце. — А обстоятельство, похоже, складываются не в нашу пользу. — Вырлан вновь стяхнул с рук воду. — Сколько же и-их! — протянул он изумленно, ухватился пальцами за петлю гудка, резко потянул ее вниз.

Раздался низкий горький рев. Вырлану показалось, что люди, сидящие в железных коробках-вагонах бронепоезда, у орудий и пулеметов, совсем не видят, что капшелевцы уже несколькими цепями берут бронепоезд в кольцо, — и если они не видят врага, то пусть хоть услышат паровозный рев... Прапорщик вновь резко потянул кольцо гудка вниз. В то же мгновение где-то совсем рядом, будто очнувшись, загрохотал пулемет.

Утопающая в вязкой земле капшелевская цепь также ответила пулеметным огнем — в цепи шли три расчета с английскими «люськами» — ручными пулеметами «люис»; опытные воины со стальными руками могли стрелять из этих пулеметов прямо на ходу; один из расчетов оказался особо метким: пулемет, бивший с бронепоезда, умолк.

Грохнули и также смолкли два орудия. Вырлан выругался — они находились одни в этом насквозь продуваемом пространных, совершенно одни: второй бронепоезд вместе с «золотым» составом ушел два часа назад, а головной бронепоезд остался у разобранного завала сторожить дорогу один и, похоже, досторожился...

Противно, вызывая ломоту на зубах, затрещал телефон внутренней связи. Потрещал немного и умолк. Вырлан запоздало сдернул трубку с держателя, прижал ее плечом к уху:

— Але!

Телефон молчал — шальной выстрел из капшелевской цепи перебил тонкий проводок соединения. Вот и связи не стало.

— Приходи, кума, на рынок, будем медом торговать. — Прапорщик потянул вниз реверс, прибавляя скорость.

Уже можно было рассмотреть потные сосредоточенные лица капшелевцев. Они подходили к бронепоезду все ближе, и, несмотря на то что бронепоезд двигался, громыхал колесами и железом, пытаясь выскочить из обжима, тот становился все теснее. Нули яростно щелкали по броне.

Вырлан метнулся к оконцу, увидел копошащихся позади бронепоезда людей, глянул в сторону леска, на расчищенные пути — там тоже появились люди, начали возводить новый завал.

Вот и все, вот и зажат бронепоезд.

Где-то совсем недалеко, обреченно, через силу, запел рожок тревоги — «рожковое» правило переключало на бронепоезда с флота, — ударил одинокий пулемет, пробивая дробью своей, стуком железную облицовку поезда; дрожь эта докатилась до паровоза, потом ударил второй пулемет, но было поздно. Капшелевцы уже штурмовали бронепоезд. В будку

машиниста сунулся молодой, конопатый солдат. Вырлан двумя ударами ноги сбил его на землю, выглянул наружу.

Цепи капшелевцев уже прилипли к поезду, молотили в броню прикладами, кое-где шла рукопашная. Самое время бежать. Вырлан обернулся, выкрикнул призывно:

— Иван, за мной!

Но Иван не услышал его, он уже выпрыгнул из другой двери на противоположную сторону.

Вокруг раздавались глухие удары, вскрики, мат, сопение, стоны — шла обычная кулачная драка, не слышно ни одного выстрела, словно в руках солдат не было винтовок, а оборонявшиеся не были вооружены пулеметами; на Вырлана даже никто не обернулся... Он бросился в высокую сохлую траву, оставшуюся в низине с прошлого года...

В живых капшелевцы — из корпуса генерала Бангеровского — не оставили никого; всех, кто был в бронепоезде, положили на насыпь и расстреляли, били лежащих из винтовок в затылок.

Второй семеновский бронепоезд вместе с «золотым» составом вернулся через четыре с половиной часа. От завалов даже следов не осталось. Второй бронепоезд подходил к первому уверенно, неспешно, будто к верному другу; прибывших не смутило, что никто не высовывается с любопытством из бронированных отсеков, не приветствует их.

Машинист, подойдя к стоящему на путях бронепоезду метров на двести, дал гудок. В ответ гудка не услышал, и тогда он, опытный мужик, много раз мятый жизнью, молвил озадаченно:

— Чегой-то тут неладно!

— Да, — согласился унтер, — такое впечатление, будто весь состав выбили.

Машинист вцепился рукой в тормозной рычаг, колеса заскользили по рельсам, и бронепоезд остановился. Тревожно и горько прохрипел гудок, всколыхнул пространство, и машинист, глядя в оконце, вяло зашевелил побелевшими, ставшими неожиданно чужими губами:

— М-мать моя!

Из первого бронепоезда, из всех закутков и углов, выпрыгивали капшелевцы.

— М-мать моя! — повторил, с трудом шевеля губами, машинист и поспешно заскрежетал реверсом.

Бронепоезд начал двигаться назад, но оказался зажатым между «золотым» составом, в котором находилось двадцать

человек охраны плюс два паровозника, и внезапно ожившим мертвым бронепоездом.

Застучали пулеметы — вначале на одном бронепоезде, потом на другом. Бить из пушек друг по другу боялись — слишком мало было расстояние между составами — снаряд, отрякошетив, запросто, бумерангом, мог вернуться к тем, кто его пустил.

— Не жалея угля! — прохрипел вахмистр командно, но унтер и без того подбрасывал уголек — мелкий английский кардиф, горящий как порох, припасенный специально для пиковых ситуаций, когда надо удирать, — лопату за лопатой в ревущее жерло топки. — Не жалея!

В следующий миг вахмистр услышал — точнее, ногами, телом своим, пятками, коленями почувствовал удар поезда о поезд, броневой состав даже не дрогнул от этого удара. «Золотой» состав устоял на рельсах, он словно отпрыгнул от бронированного чудовища на десятках метров, застучал учащенно колесами на стыках, будто конь копытами на камнях — звонко, грубо... Перенести второй удар для него было проще, он уже сам двигался, а всякий удар на ходу здорово смягчается, и это уже не удар, а пол-удара, треть его, это уже можно выдерживать. «Золотой» состав покотился проворнее; казаки, сидевшие в вагоне, высунулись наружу, кто-то пальнул из винтовки вверх бронепоезда, толкающего их состав, но тут же на него навалились товарищи:

— По ком стреляешь, дурак? Это же наш бронепоезд. На-аш!

— И верно, — произнес очумелый казак и поспешил убираться внутрь вагона.

Вместе с бронепоездом, который, как поняли теперь семеновцы, попал в руки противника, несколькими цепями, очень густо наступали капшелевцы.

Машинист «золотого» состава уже сообразил, что надо делать; паровоз, отфыркиваясь длинными кипящими струями, прибавил скорость и оторвался от бронепоезда.

Капшелевцы продолжали наступать. Вскоре загрохотали и орудия. Все перевернулось на вольном даурском просторе: небо поменялось местами с землей; над деревьями, ломая им макушки, а иногда вообще выворачивая с корнями, срубая головы людям, находящимся рядом, пронеслись огненные болиды; облака сделались антрацитовыми от копоти.

Бой закончился уже в ночи, когда в небе зажглись звезды, но из-за черного дыма их не было видно. Ни один человек из

семеновцев — кроме Вырлана — не остался в живых, полегли все.

Но и кашпелевцам ничего не досталось, они несколько дней искали золото, его следы, и ничего, даже малой монетки не смогли найти — нич-чего. «Золотой» вагон был запечатан на три пломбы, их вроде бы никто не трогал, но внутри вагона была пустота.

За те несколько часов, которые «золотой» поезд отсутствовал, все и произошло. Начальник экспедиции получил команду спрятать золото и команду эту выполнил, спрятал остатки золотого запаса. Так надежно спрятал, что золото это до сих пор никто не может найти.

Искал его потом и сам атаман, но все попытки оказались тщетными: золото словно сквозь землю провалилось, ушло туда, откуда и явилось людям, — в недра, в тяжелую темную глубь. Нет его!

В Чите атаман старался больше не появляться — одолевали нехорошие предчувствия, от которых все тело, руки, ноги делались чужими, кожа на лице немела, около рта возникали глубокие горькие складки. Он пытался представить себе свою дальнейшую судьбу и ознобно передергивал плечами: ничего хорошего в ней он не видел.

За атамана в Чите остался генерал Вержбицкий. Семенов много раз задавал себе вопрос — доверяет он Вержбицкому или нет, и всякий раз ловил себя на мысли, что не может дать точный ответ.

Россия, восточная ее часть — огромный кусок — начала разваливаться на куски, и это рождало у Семенова боль, еще — невольное ошеломление: неужели так все и рухнет, неужели?

Только на одном Дальнем Востоке образовалось три независимых правительства: одно заседало в Верхнеудинске, второе — в Чите, третье — во Владивостоке.

Каждое правительство имело собственное народное собрание, а всякое собрание — это громкий ор в сотню глоток, это амбиции и ужасное самомнение каждого из депутатов, пустота мыслей и пьяный перегар поутру... В общем, порядок на этих территориях можно навести, только послав туда казаков с плетками. В противном случае все эти правительства, эти безмозглые говоруны из народных собраний окончательно доломают Россию.

В конце октября Семенова к прямому проводу вызвал генерал Вержбицкий.

— Григорий Михайлович, вам надо обязательно приехать в Читу.

— Что произошло?

— Надо принять участие в создании единого буржуазно-демократического правительства на Дальнем Востоке, совершенно независимого от Советской России.

— Иначе говоря, это будут переговоры по созданию Дальневосточной республики⁶⁶. Так?

— Совершенно верно, Григорий Михайлович.

Ехать в Читу Семенову не хотелось, но ехать надо было: если он не примет участия в переговорах, то лишится шансов стать первым лицом в Дальневосточной республике... Хотя власти у него — Верховного правителя России — и без того вроде бы достаточно, но власть эта, к сожалению, бумажная. Дальневосточная же республика — это не журавль в небе, а синица в руке. И Семенов решил.

— Ладно, — сказал он, — приеду.

Он прибыл в Читу на бронепоезде, с большим количеством охраны. На предложение поселиться в гостинице, в роскошном «люксе», ответил отказом, лишь усмехнулся ехидно да пропихнул сквозь сжим крепких серых губ:

— Я в бронепоезде сплю лучше.

Ночью Семенов был разбужен начальником Читинского гарнизона, который сообщил, что красные перерезали железную дорогу в районе станции Карымская, разрушили мост через реку Ингоду и демонтировали часть путей.

Час от часу не легче: атамана Семенова отрезали от собственного штаба, от станции Даурия, от своих.

— Бросьте на Карымскую Маньчжурскую дивизию, — приказал он, — маньчжуры отобьют станцию в два счета.

Атаман был уверен в своих маньчжурах.

Хотя Семенов уже привык к «броневнику», обжил небольшое, специально приготовленное для него купе с узким, затянутым железными шторками окном и мягким диваном, на котором он действительно спал лучше, чем в гостиничных хоромах, — но теперь бронепоезд для него становился обузой. У Семенова неожиданно начали мелко трястись руки да виски обжигало чем-то горячим — накатывала душная волна, брала голову в обжим и откатывала назад. Через час пришло сообщение, от которого атаману сделалось еще хуже: оказалось, что с вехома здешнего штаба, — а значит, самого Вержбицкого — делегаты Народного собрания Забайкальской области ведут переговоры с красными о капитуляции

армии и одновременно — об аресте Семенова. Это было предательством. Обстановка накалялась. Остаться в Чите было опасно. Надо было срочно бежать. Если он не сделает это сейчас, через двадцать минут будет поздно.

Помогли контрразведчики — на своем автомобиле доставили атамана в расположение авиационной эскадрильи, здесь он мог чувствовать себя в безопасности — относительно, конечно. В бронепоезде он демонстративно оставил на видном месте свой роскошный баул. Это была некая примета того, что хозяин скоро вернется, вот-вот будет.

Едва сделалось светло и над Читой поднялось крохотное, белого лунного цвета холодное солнце, Семенов забрался в аэроплан.

Механик протянул атаману шлем.

— Чего? — не понял атаман и надвинул поглубже на уши папаху.

Жестами механик объяснил ему, что шлем надо надеть на голову и под подбородком застегнуть ремешок, а шикарную генеральскую папаху, из меха барсука, сунуть себе под задницу. Атаман крикнул огорченно, но подчинился, а папаху бережно устроил на коленях. Следом механик подал ему очки-консервы с большими плоскими стеклами, также велел натянуть. Атаман нехотя подчинился.

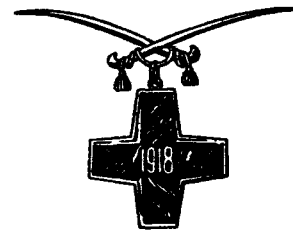
Через несколько минут появился пилот — полковник Кочурин, — вежливо поздоровался с атаманом и скомандовал механику стать к винту.

Мотор чихнул, скрежетнул чем-то внутри, снова чихнул; из бортового патрубка выхлестнул дым, затем — длинная струя огня, будто из пулеметного дула, и тщедушное тело старого самолета затряслось, задергалось болезненно. Семенову понравилось, что мотор так быстро завелся, обычно самолетные двигатели капризничают. Механик проворно забрался в самолет, Кочурин дал газ, и мелкие, еще не зимние — осенние сугробы, прикрывающие взлетную полосу с обеих сторон, понеслись назад. Вскоре самолет подпрыгнул и повис в воздухе.

Через несколько минут Семенов глянул вниз, увидел там небольшие домики, крыши, поленницы дров, колодцы, темные натоптанные дорожки в сером снегу и закрыл глаза. Ему захотелось спать.

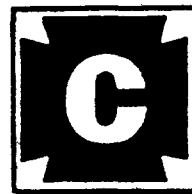
Жаль было только бронепоезд, брошенный в Чите, он Семенову здорово бы пригодился. Но что поделаешь, борьба есть борьба, она обязательно предполагает потери.

Потерь у Семенова было больше, чем приобретений...



КНИГА ВТОРАЯ

ПЕРЕВОРОТ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

танция, на которой вагон атамана Семенова окружили китайские солдаты в мятой форме, с непомерно длинными для них русскими трехлинейками. Даже жестяная вывеска

с названием станции и та была неприметна — смята, издырявлена, буквы на ней расплзлись, их невозможно было прочитать, были они смыты войной, бедой, огнем, временем.

За первой цепью китайских солдат, окруживших вагон атамана, выстроилась вторая, получше одетая, хотя вооружена была похуже — японскими «арисаками».

Впрочем, пренебрежительно о японцах и японском оружии высказываться при атамане Семенове было нежелательно, можно было нарваться на отповедь, а то и на плеть — он считал японцев старшими братьями, а к микадо относился как к божеству.

— Чего это они? — отдернув шелковую занавеску и глянув на китайских пехотинцев, недоуменно поинтересовался атаман.

Крутой лоб с прилипшим к нему завитком темных влажных волос покраснел, крылья носа сделались выпуклыми, как у негра, один кончик усов приподнялся, а другой опустился, придав лицу атамана перекошенный вид.

Через плечо атамана перегнулся хорунжий Евстигнеев — адъютант:

— Ваше высокопревосходительство, поаккуратней, пожалуйста! Не показывайтесь. Китаезы, увидев вас, могут прямо в окно пальнуть.

— Пошел вон! — спокойно и довольно беззлобно обрезал адъютанта атаман, так, наверное, обрезал бы и своего сына, если бы тот находился рядом; Семенов взгляделся в китайцев и неожиданно одобрительно хмыкнул: — Надо же, как осмелели узкоглазые!

За второй цепью солдат маячили два офицера — один пожилой с унылым лицом, второй, на японский манер, одетый в хорошо сшитый френч песочного цвета, с блестящим стеклом в руке, в кожаных крагах. Может, это действительно был японец? Нет, в это Семенов не верил. Не могли японцы окончательно отвернуться от него, с японцами у атамана сложились очень тесные отношения, что называется «вась-вась». В то, что офицер со стеклом — японец, Семенов решил не верить. Это — китайский офицер, щеголь, из богатых мандаринов-курошупов; подняв стек, он нетерпеливо постучал им по маленькой, детской руке. Офицеры явно ждали кого-то. Может быть, даже генерала...

«Генерал этот нужен тут только для того, чтобы отдать мне честь, — Семенов усмехнулся, перекошенные усы у него выпрямились, заняли нормальное положение, — либо отшлифовать бархоткой мои сапоги».

Атаман поднялся, перекинул свое плотное, ладно сбитое тело к противоположному окну вагона, через коридор, отодвинул штормку. Там тоже стояли китайские солдаты. Двойной цепью.

— Ну-ну, — произнес Семенов вслух, — сейчас мы по вашему стеку казацкой нагайкой врежем и... перешибем. — Скомандовал резковатым, от постоянной простуды сделавшимся каким-то птичьим голосом: — Выкатить пулеметы!

Семеновский конвой решил на этот раз взять с собою пулеметы — два станковых «максима» с хорошим боезапасом, не говоря уже о двух английских ручных «люисах» — от этой кучи китайцев они оставят только жижку. Удобрение для здешней земли. Чтобы гаолян лучше рос и давал богатый урожай.

Железный пол вагона, застеленный ворсовой дорожкой, загрохотал — плотный ворс не смог смягчить стук тяжелого железа пулеметных колес. Двери вагона распахнулись одновременно в обе стороны, распахнулись с лязганьем, очень по-

хожим на лязганье орудийного затвора, досылающего снаряд в ствол, от такого звука военному человеку всегда делается веселее, а в сердце возникает что-то хмельное — веселее сделаться и атаману Семенову.

Он вернулся в купе, несмотря на предупреждение адъютанта, пошире раздвинул штормки на окне и ахнул кулаком по лакированному столику:

— Ну! — Сжал глаза в крохотные щелки, становясь похожим на китайца, и снова азартно ахнул кулаком по лакированному столику: — Ну!

Увидев тупые, холоднее рыльца пулеметов, первая, ближняя к вагону цепь китайцев дрогнула, попятилась, офицеры засуетились. Щеголь, в руках которого находился стек, взмахнул им и что-то певуче прокричал.

Наверное, этот командно-грозный крик подействовал, и вторая цепь не попятилась, осталась стоять на месте.

Небо над станцией было лиловым, печальным, откуда-то тянуло гарью, сизые плоские хвосты ползли над тоненькими, насквозь светящимися, будто облитыми огнем, пихтами, ныряли к стальному полотну дороги, скреблись по крыше семеновского вагона и подбирались к оголенной кривобокой сопке, большим прыщом вспухшей на теле земли, и скрывались за ней.

Щемящий вид, тоскливая природа — ничего радостного. В сердце вместе с сизым дымом обязательно наползает боль, от которой делается трудно дышать. Семенов понимал, что поставлен в условия, которые родные отечественные и прочие мудрецы городят: его вытесняют из России, вытесняют из Маньчжурии, вытесняют из Китая. Куда податься? Хорошо, что хоть верные люди не бросают его, иначе вообще оставалось бы только одно: пистолет к виску.

— Для остратки разрешаю дать одну очередь из «максима», — казал Семенов. — Поверх голов.

Хорунжий, стоявший в дверях купе навтыжку, исчез беззвучно, а через минуту уже снова застыл в дверях. Пулеметная очередь не прозвучала.

— Чего? — Семенов приподнял одну бровь.

— Выжидают момент, ваше высокопревосходительство, — почтительно пояснил адъютант, — сейчас дадут.

Уголки рта у Семенова дрогнули, усы снова перекошились, словно у него что-то в некоем внутреннем механизме заклинило.

— Если китаезы сделают еще хотя бы один шаг к вагону — пусть пулеметчики бьют без предупреждения. По лысынам. — Семенов, почувствовав, что с усами у него происходит что-то не-

ладное, поправил их пальцами; и как в ответ на это под правым глазом нервно дернулась жилка; атаман выругался и прикрыл ее ладонью: еще не хватало, чтобы адъютант стал свидетелем его слабости. — Передай это пулеметчикам, — сказал он.

Ему хотелось, чтобы адъютант исчез, не маячил у входа в купе.

— Есть! — произнес адъютант и вновь, как и прежде, бесшумно, бестелесно покинул свой пост.

Когда адъютант вновь возник в проеме дверей, Семенов, почувствовав, как под глазом опять задергалась заполосная жилка, приказал:

— А теперь узнай, почему стоим? И как долго еще будем стоять?

Из теплого вагона было хорошо видно, как холодно китайцам. Они почему-то медлили — то ли действительно ждали какое-то начальство, то ли имели приказ продемонстрировать силу на расстоянии, то ли у них была другая цель. Ясно было одно — они с удовольствием арестовали бы атамана Семенова, слишком уж надоел он всем — красным, белым, голубым, зеленым, желтым — для всех как кость в горле. В следующий миг передняя цепь неожиданно зашевелилась и сделала к вагону дружный шаг.

В ту же секунду из тамбура ударили пулеметы: один — в одну сторону, второй — в другую. Пули кучно вонзились в снег, взбили несколько синеватых кудрявых султанов. Китайцы, согнувшись по-старчески, попятились и остались стоять в полусогнутой старческой позе, будто калеки. Пулеметы молчали, и солдаты молчали.

— Еще очередь! — скомандовал Семенов, но очередь не прозвучала. Атаман недоуменно глянул в проем двери — забыл, что отослал адъютанта, крикнул недовольно и, когда тот появился на пороге, скомандовал: — Еще очередь!

Адъютант поспешно унесся в тамбур. Пулеметы загавкали снова, от стрельбы мелко задрожал пол вагона да по металлической обшивке пошел долгий густой звон.

Семенов видел, как пулеметная строчка подкатилась к ногам китайских солдат и цепь не выдержала, сбилась в кучу. Послышались плачущие крики. Китайская речь вообще всегда напоминала Семенову плач. Он махнул рукой: довольно! И пулеметчики, словно услышав команду, прекратили стрельбу, сделали это дружно, почти в унисон.

— Так будем поступать всегда, — назидательно произнес атаман. — Вначале поработаем пулеметом, а потом скажем:

«Здравствуйте!» И уж потом, в третью очередь, поинтересуемся, чего хотят эти ребята... Ну и чего они хотят? — спросил Семенов у затыхавшегося адъютанта.

— Не ведаю. В контакт с ними никто не входил.

— А ты войди. Узнай, — ласково проговорил Семенов и, прежде чем адъютант исчез, произнес: — Стоп!

Хорунжий послушно застыл на пороге.

— Когда мы тронемся дальше? — спросил Семенов.

— Я до самого машиниста добрался, ваше высокопревосходительство. Трогаться можем в любую минуту.

— Тогда почему не трогаемся?

— Семафор опущен.

— Раскардашить семафор из пулеметов — и дело с концом.

Эти каналы специально закрыли его, чтобы устроить нам мышеловку. — Лицо у Семенова налилось нездоровой бурой краской, круглые, гладко выбритые щеки еще более округлились, сделались тугими, как сталь, в дыхании появились скрипы — все-таки он был простужен, но в руки штабному врачу не давался — микстуры не пил, порошки не глотал и вообще гнал в три шеи от себя любых эскулапов.

«Раскардашивать» семафор не пришлось — через минуту длинная железная рука его, украшенная неровной дыркой-глазом, испуганно дрогнула и поднялась. Путь был открыт. Паровоз подал гудок — сочный, свежий, чувствовалось, что машина застоялась, перекипела, — и поезд двинулся дальше.

Очередная попытка китайцев снять атамана Семенова с поезда, арестовать его, вообще придавить — хватит, мол, властвовать, надоел хунгуз! — не удалась.

В Приморье стояла затяжная, очень яркая, цветистая, солнечная осень. Собственно, это уже не осень была, а предзимье: ночью приморазивало, кое-где успевал выпасть хрусткий снежок, но дневное солнце слизывало его, и приметы грядущей зимы исчезали напрочь.

Семенов подъезжал к Владивостоку. Он злился — хотелось отведать настоящего «кофею», но такого не было, вместо него подавали странный растительный напиток, который называли «инго-го» — это была крепко заваренная пыль из ячменя, морковки, желудей и какой-то резковато пахучей травы. Но он терпел. Будет Владивосток — будет и кофе.

Поезд шел медленно. Где-то совсем рядом находилось море, оно еще не было видно, но уже ощущалось — во влажном плотном воздухе плавал хорошо осязаемый морской аромат —

вонький смешанный запах водорослей, йода, рыбы, сырости, еще чего-то сложного, трудно уловимого, но присущего только морю.

К окнам вагонов стали подлетать чайки. Одна из чаек утлядела Семенова — очень понравился этот упитанный дядя в огромной волосатой папахе, она долго летела рядом с вагоном, глядя на Семенова. А тот глядел на нее и завидовал — никаких забот у птицы, никаких тяжестей, куда захотела, туда и полетела. Захотела в Россию — поднялась и пошла туда, в Читу, в Иркутск, на станции Ерофей Павлович никакой пограничный кордон не задержит, захотела в Японию, встрепенулась утречком, позавтракала парой рыбешек и помчалась туда. Было чему позавидовать. Семенов почувствовал, как у него неволью дернулась щека.

Владивостокский вокзал был шумен, радостен, на перроне поезд встречал духовой оркестр. У человека непосвященного могло сложиться впечатление, что окраину России война совсем не затронула.

Едва поезд остановился, как у семеновского вагона выросли несколько японских солдат с «арисаками». Семенов ощутил, что тяжесть, гнездившаяся у него в последние часы в груди, шевельнулась, будто живая, сдвинулась, ему сделалось легче дышать. Он сдернул с головы лохматую казачью папаху, сбросил солдатскую шинель, в которой ехал, и оказался в хорошо сшитом мундире с генеральскими погонами. Приосанился. Адъютант и охрана, находившиеся в соседних купе, тоже приосанились.

Через несколько минут в вагоне появился японский офицер — широколицый майор в новенькой форме и круглых блестящих очках, плотно двумя маленькими колесами припечатавшимися к его лицу.

— Каспадина кенерал Семенов, вас хоџет видеть каспадина кенерал Таканаяги, — довольно внятно проговорил майор.

Генерал-майор Таканаяги был начальником штаба японских экспедиционных войск. Война у японцев называлась «экспедицией», поэтому и войска были экспедиционными.

По лицу атамана проскользила улыбка, он довольно кивнул:

— Всегда готов! — Спросил: — Не надо ехать в штаб?

— Нет, не нада. Каспадина кенерал Таканаяги сам приедет сюда.

Автомобиль японского генерала, распутивая носильщиков, въехал на перрон, трижды квакнул резиновой грушей и остано-

вился около семеновского вагона. Таканаяги легко выскочил из авто и через минуту уже был в вагоне атамана, в его купе.

— Рад видеть вас, господин Таканаяги, рад видеть. — Речь Семенова сделалась ласковой, журчащей.

— И я рад, — произнес Таканаяги, — хотя вести я привез не совсем радостные...

— Какие? — Семенов почувствовал, как на него снова навалилась тяжесть, нагнул голову, словно собирался встретить прямой удар кулаком в лицо.

— Вас предали несколько ваших сподвижников. — Таканаяги достал из кармана серебряный портсигар с изображением лихой русской тройки, извлек тоненькую душистую сигарету.

В Семенове что-то вспыхнуло, он сжал кулаки, хотел выmaterиться, но сдержал себя — японец-то тут при чем — и промолчал.

— Это генералы, — раскурив сигарету, японец пыхнул вкусным дымом, — Вержбицкий, — Таканаяги выговорил трудную фамилию легко, словно заучил ее, — Петров, Смолен, Молчанов...

— Та-ак, — наконец произнес Семенов.

— Официальное заявление об этом сделал полковник Генерального штаба Ловцевич начальнику императорской японской военной миссии в Харбине генералу Хамоомоте.

— Та-ак, — вновь произнес Семенов, он словно больше ничего не мог сказать — внутри что-то застопорилось, или «закололо», как выражаются казаки, ни туда ни сюда. Накопец он одолел себя. — То, что эти козьявки выступают против, я знаю, — сказал он.

— Владивосток вам мы советуем покинуть, — сказал Таканаяги, — ради вашей же безопасности. Хотя мы вас в обиду не дадим, но-о... чем черт не шутит? Так, кажется, говорят русские?

— Кого же они, интересно, хотели видеть Верховным правителем России вместо меня? — спросил Семенов.

— Называют господина Деникина, господина Врангеля. — Японец вытолкнул изо рта колечко душистого розового дыма. — Ваши противники считают эти кандидатуры самыми серьезными.

— М-да, надо разбираться с тылами.

— Совершенно верно. Почистить тылы и сконцентрировать силы под рукой, собрать их. Тогда Владивосток покорится вам, — сказал Таканаяги. — Впрочем, если хотите, из Вла-

дивостока можете не уезжать, — неожиданно произнес он, — здесь мы вас всегда сумеем защитить. — Японец немного помолчал и добавил с внезапно прорезавшейся в его голосе грустью: — Пока мы находимся в Приморье.

Из этой грусти Семенов сделал вывод, что до деру японцев из Приморья на восток осталось теперь совсем немного времени. Вывод был неприятен. Семенов отер рукою пот, похливившийся на лице.

Звонкий осенний день, свет, расплзшийся по лиловым городским сопкам, потускнел, краски выцвели буквально на глазах, постарели, сделались белесыми настолько стремительно, что Семенов даже задохнулся; ему показалось, что в лицо ударил крутой студены́й воздух.

Когда генерал Таканаяги покинул семеновский вагон, Семенов погрузился в тяжелые раздумья. Через полчаса он принял решение: переместиться из Владивостока в Порт-Артур.

Он выехал в тот же день, следом отправился и его штаб.

В этих диких местах, среди безлюдья и звонкой тревожной тиши, среди тайги на этой говорливой болтунье-речке, посреди рыжих, кое-где уже присыпанных редким снежком сопкок человек являлся частью природы — едва ли не главной ее долей, и если человек попадался сильный, природа начинала подчиняться ему, будто ласковая кошка хозяину.

А в городах, в Хабаровске, в Чите, во Владивостоке, в Порт-Артуре, природа стремится обязательно воспротивиться человеку, выйти из подчинения, устроить ему какую-нибудь пакость, человек отвечает тем же, давит, уродует природное естество, огораживается камнями и железом, изо всех сил стараясь показать свое превосходство, но все-таки справиться с ней не может.

Отъехав сотни полторы километров от Владивостока, Семенов вновь натянул на себя солдатскую шинель с погонами урядника и вывалился из вагона. Из-за неказистого, заваливающегося набок здания станции вымахнуло десятка два казаков, подскакало к поезду.

Поезд ушел дальше, к китайской границе, а Семенов, окруженный казаками, остался на коротеньком деревянном настиле. Втянул в себя сыроватый горький запах паровозного дыма, подумал о том, что надо бы перекусить, но вместо этого потребовал резким, очень похожим на птичий, голосом:

— Коня!

Через несколько минут он уже скакал с казаками по темному, стиснутому с двух сторон угрюмыми гольцами распадку. Здесь не было ни одной лиственницы, ни одной пихты, способных ярким осенним окрасом, золотой рыжиной поднять настроение — росли только недобрые, будто погрузившиеся в тяжелый черный сон, ели.

Атаман ехал молча, лишь иногда поигрывал плетью, и лошадь, чувствуя эту плеть, вскидывалась нервно, напрягалась, но удара не следовало — человек будто забывал про нее, — и лошадь вновь переходила на обычный оскользящийся шаг.

К Семенову подъехал Таскин, также одетый в солдатскую шинель, с мятыми, криво сидящими на плечах погонами, вытащил из кармана американскую никелированную фляжку, отвернул высокий колпачок-стопку:

— Не желаете, Григорий Михайлович?

— Что это?

— Виски.

— Обычная ячменная самогонка. — Семенов взял фляжку, сделал несколько крупных энергичных глотков, пожаловался: — Муторно мне что-то.

— Мне тоже.

— Японцы уйдут отсюда уже очень скоро, — тихо, словно боясь, что его услышат казаки, произнес Семенов и добавил: — Я так полагаю.

— И я так полагаю.

— Ах, друг, — Семенов неожиданно расслабленно вздохнул, протянув руку, ткнул спутника кулаком в плечо, — друг ты мой разлюбозный...

Было сокрыто в этом движении что-то растерянное, размягченное, на Семенова, известного своим жестким характером, не похожее.

— Что делать будешь, Сергей Афанасьевич, когда японцы уйдут? — неожиданно спросил Семенов.

— Если бы я знал, — произнес Таскин, — что велишь, Григорий Михайлович, делать, то и буду делать. Без вас я никуда.

— Что велю... — Семенов невольно усмехнулся, обнажил желтоватые крепкие зубы. — Держись пока меня, а там видно будет. Что-нибудь придумаем. Во всяком случае, пока мы будем воевать с коминтерновцами, нас без подмоги не оставят. Если не японцы, то... то заокеанские друзья помогут. — Он снова приложился к фляжке. — Крепкая все-таки гадость. Бр-р-р! — Семенов отдал фляжку спутнику. — Зубы аж выворачивает.

Тот взял фляжку, отпил немного.

— Зато в холод хорошо греет.

— Баба греет лучше.

Взмахнув плетью, Семенов со свистом разрезал тугой холодный воздух и тяжелым концом-свинчаткой опечатал лошадиный круп. Лошадь всхрапнула от боли, рванулась вперед, перенеслась через широкий замшелый валун и припала на левую ногу.

— Плохая примета! — Атаман с досадою крикнул.

— Плохая примета — когда лошадь на правую ногу спотыкается, — поспешил отозваться на реплику атамана Таскин, — а на левую — примета нормальная. Даже — счастливая.

На самой вершине перевала, на сломе, тропу неожиданно пересек темный пушистый зверек с длинным искрящимся хвостом, Таскин поцокал языком от восхищения:

— Соболь! Баргузинский соболь!

— Амурский. — Семенов небрежно махнул рукой. — Баргузинский — это царская порода, за него в свое время пять амурских давали... Это — амурский!

— Баргузинский соболь — темный, а амурский — рыжий, с лисою скрещенный... Этот был темный.

— Амурские тоже темными бывают. Все зависит от того, что они жрут в тайге. Так что, друг ситный, — Семенов вновь поднял руку с плеткой, — не спорь со мной!

Тяжелое лицо Семенова при мысли о здешнем зверье посветлело, угрюмые глаза тоже посветлели, появилось в них что-то теплое, сочувственное, словно он жалел тех, кто населяет эти сопки, лакомится солью на гольцах и сторожко реагирует на каждый посторонний звук, прослушивает пространство.

У всякой тайги есть свой хозяин. В сибирской — приметливый, хрюкастый, с вонючей пастью и страшными клыками Михайло Иваныч — бурый медведь; в уссурийской, дальневосточной, водится зверь посильнее и половчее — тигр. Или мама-цигра, как его зовут местные чалдоны-охотники. Китайцы и корейцы зовут амбой. Силищу амба имеет невероятную, годовалому бычку запросто перешибает лапою хребет, взваливает себе на спину и с такой поклажей перемахивает через забор.

Больше всего мама-цигра любит собачатину. Собака для нее — как удовольствие, желанное лакомство — только жрет с урчанием и облизывается. Бывает, на охоте собака идет рядом с хозяином, жметя к сапогу — и вдруг из зарослей выманивает рыжая молния. Р-раз — и собаки нет. Человек даже

не успеваешь заметить, как исчезла собаченция — амба оказывается быстрее взгляда.

Вполне возможно, что сейчас сидит амба где-нибудь недалеко, в распадке, и следит за небольшим конным отрядом, втягивающимся на хребет. Атаман недовольно шевельнул плечами — холодно; откуда-то из камней потянул стылый, сырой ветер, просадил солдатскую шинелишку насквозь, будто решето — до костей достал.

Думы скрапивают дорогу, не будь этого — всякий путь был бы бесконечно длинным и тоскливым.

Едва перевалили через хребет, как сделалось теплее. В этой небольшой долинке существовал свой климат, тут варились свое собственное варево. Сделалось легче дышать.

Через два часа они были у цели.

В том распадке и снега не было, как в других местах, и зелень еще сохранилась, несмотря на то что на календаре уже стояло начало декабря, и день, кажется, был чище, солнечнее, теплее, чем во всем Приморье. Речка, рассекавшая распадок на два неровных ломтя, была широкая, чистая, говорливая — она словно обрадовалась людям, затараторила оживленно, забормотала что-то свое; со дна на поверхность поднимались мелкие чешуйки, попадая на солнце, они били в глаза яркими блестками и исчезали.

— Слюда, — пояснил Таскину Семенов, — вечный спутник золота.

Проехали немного по распадку, миновали каменную горловину — две скалы тянулись друг к другу, словно живые, но ровили сомкнуться в едином движении, но неведомая рука остановила их и теперь держала скалы на близком расстоянии друг от друга — и очутились в широкой солнечной долине.

Справа от горловины, на берегу реки стоял ладный дом с широкими стенами, сложенными из старых крепких бревен, таких, что получают из умерших деревьев, два-три года продержавшихся на корню и не поддавшихся сырости. Стволы их тогда становятся розовато-сизыми, тяжелыми, звонкими и очень прочными, никакая напасть уже не возьмет такую древесину — ни гниль, ни жуки-короеды, ни ядовитая всепожирающая мокреть, ни время.

Едва сделали несколько шагов по долине, как послышался негромкий, но жесткий окрик:

— Стой!

Неосторожный Таскин на окрик внимания не обратил — скорее всего не услышал и не придержал лошадь, — тут же

раздался выстрел. Пуля взбила фонтанчик рыжей земли под самыми ногами лошади, умное животное остановилось как вкопанное. Таскин едва не вылетел из седла, выругался. Американская фляжка, которую он держал в руке, выпала из некрепких пальцев, шлепнулась на землю, загромычала пусто.

Раздался второй выстрел — из другого угла долины, из камней. Кто стрелял — не было видно.

— Стой! — повторно раздался жесткий окрик.

— Стой! — продублировал команду Семенов.

Всадники замерли с вытянутыми шеями. Трое казаков сдернули с плеч карабины.

— Не надо! — Атаман окоротил их движением руки.

— Кто такие? — поинтересовался голос из камней.

— Тимофей Гаврилович, это я... Я! — Атаман сдернул с головы лохматую папаху, чтобы стрелявший видел его. — Смотри, не подстрели ненароком. — Семенов сдержанно засмеялся, смех его был похож на кашель.

Из камней, метрах в семидесяти от всадников, поднялся старик с густой седой шевелюрой, приложил руку ко лбу.

— Ты, что ль, Григорий Михайлов? — неуверенно проговорил он.

— Я! Я это. Не признал?

— А чего не в генеральской форме? Разъезжаешь, как простой казак-разбойник.

— Да жизнь такая нынче пошла, Тимофей Гаврилович... Нехорошая жизнь. Всякий, кому не лень, норовит нож в спину всадить. Поэтому и приходится в маскарады играть.

Старик махнул винтовкой, крикнул в другой угол долины:

— Кланька, можешь не прятаться — свои! Вылезай!

Из-за растрескавшегося каменного зуба, венчавшего завал, на кривом срезе которого росли две черненькие веселые березки, поднялась тоненькая большеглазая девушка в темном платке, надвинутом на самые брови. В руке она так же, как и дед, держала винтовку.

— Это моя младшая, — представил девушку старик.

— Дочка?

— Внучка. Но поскольку родителей у нее нет, она мне как дочка... — Старик приложил к бороде темный, словно вырезанный из камня кулак, кашлянул: — Давайте скачите к дому, — он обернулся, ткнул винтовкой в синевато-розовую пятистенку, — а я сейчас подспею. Кланя! — скомандовал он позвончевшим голосом. — За мной!

— Григорий Михайлович, поясните ради бога, кто это? — попросил атамана Таскин, когда они, подскакав к дому, осадили коней. — Не пойму что-то...

— И понимать не надо, — обрезал атаман. — Таких, как Тимофей Гаврилович Корнилов, зовут насельниками. Они селятся на земле там, где нет людей, и обживают ее.

— Давно с ним знакомы?

Атаман кивнул:

— Давно!

Старик держался с атаманом на равных — никакой робости, пригласил казаков в избу, но Семенов отрицательно качнул головой:

— Разговор секретный будет.

— А как же насчет перекусить, а? Может, вначале перекусим, а потом разговор?

— Нет, время не ждет.

— Тогда вот что, мужики, — обратился старик к казакам, ткнул рукой в высокую поленницу дров, — вот вам топливо, чтобы огонек пожарче был, вот летняя печка, — ткнул в широкое, похожее на огромную квадратную бадью сооружение, сложенное из самодельных, неровно нарезанных желтых кирпичей, — вон кострище, — опечатав кулаком черный выжженный пятак, над которым вздымались две железные рогульки, — где хотите, там и можете огонь развести... А Кланька вам в помощь. Она знает, где мясо взять, где рыбу, а где лежит щепка для растопки. За дело, мужики!

В избе старик проворно побросал на стол несколько тарелок с едой — из той, что осталась с утра, — в центр, будто знамя, поставил бутылку смирновской водки с потемневшей этикеткой — видно сразу, из давних запасов. Семенов неожиданно почувствовал, как у него что-то защипало в горле, смущенно покрякал, прикрыв рот ладонью, потом покрутил головой, как будто сильными движениями этими хотел свернуть крючки, пришитые к воротнику.

Что-то с годами он слабеть начал — слюнявым стал делаться, мягким, словно могильная земля, так, глядишь, и плакать скоро научится — вот напасть-то! И это он, про которого в казачьих сотнях ходят легенды и казаки передают один другому его слова: «Если я днем не убью ни одного красного — ночью плохо сплю».

Атаман взял бутылку, перевел взгляд на Таскина — помощник атамана по работе с гражданским населением был, само собою разумеется, допущен до секретного разговора.

— Раньше Россия пила настоящую водку, сейчас хлебает напитки из сосновой щепы, обломков табуретов и конских яблок. Тьфу! Опустилась Россия! — Семенов, ставя бутылку на стол, тяжело вздохнул, сел на лавку.

Старик тем временем запалил самовар — действовал он проворно, выволок из подвала здоровенный шмат соленой кабанятины, шмякнул его на стол.

— Вот. Порося из здешних. Сам завалил, сам засолил, сам чесноком нашипиговал. Блюдо вкусное. Испробовано не раз. — Старик перевел взгляд на Таскина: — А ты чего же, мил человек, бутылку не откупориваешь? Не умеешь, что ли?

Таскин вопросительно глянул на атамана.

— Открывай! — велел тот.

После первой стопки атаман спросил у старика:

— Золото попадается?

Тот не стал скрывать, хотя и плохая это примета у золото-добытчиков говорить правду:

— А куда ж оно денется? Естественно, попадается.

— Если я дам тебе, Тимофей Гаврилович, бригаду в помощь, сумеешь золотишка намыть?

Старик ответил не задумываясь:

— Сумею, но... — он отхватил ножом кусок соленой кабанятины, отправил в рот, потом разрезал луковичную головку, содрал с половинок шелуху, посолил и также отправил в рот, захрустел смачно, — но... Одной бригады, думаю, будет мало.

— Неужто тут так много золота? — удивился атаман.

— Много.

— Тогда людей дам столько, сколько потребуешь. И расцелую тебя, Тимофей Гаврилович, за верную службу России. — Атаман расчувствовался, голос его сделался проникновенным.

Таскин смотрел на атамана и удивлялся: неужто это он, Семенов?

— Особо много не надо, Григорий Михайлов, но бригад пять самый раз будет. По пять человек в каждой, — попросил старик. — Я их расставлю по ручьям да по горным выработкам, по жилам.

— Зимой мыть сумеешь?

— Почему бы и нет? Лишь бы морозы не прижали да твои люди холодной воды не боялись. А так возьмем не меньше, чем летом.

— Ах, дорогой ты мой Тимофей Гаврилович, — прежним проникновенным голосом произнес Семенов, — всю мою армию этим здорово выручишь. История тебя не забудет.

Старик насмешливо кашлянул в кулак:

— А мне, Григорий Михайлов, если честно, до истории никакого дела нету.

— Тогда не забудет Россия, — поспешил поправиться Семенов.

— Кроме намывного золота здесь много жильного, — сказал старик.

— Покажи! — загорелся Семенов, приподнялся на скамейке — было в этом движении что-то ребячье.

— Ить ты! — усмехнулся старик. — Шустрый какой! Не суетись!

Таскина вновь удивила лихая, накоротке вольность, с которой старик позволял себе обращаться с генералом — и не просто с генералом, а с атаманом, перед которым трепетал весь Дальний Восток. Может быть, причина скрыта в прошлом и они встречались в давнюю пору, когда атаман был кадетом, или еще раньше, в родном селе Семенова на реке Онон?

Через двадцать минут они втроем на лошадях поскакали в низовье гостеприимной долины. Пестрая земля — то в рыжи-не обвядшей травы, украшенной палыми листьями и яркой листовичной хвоей, то в темных голых пятнах, из которых прорастали камни, то в молодой сочной зелени обманутой теплом и проросшей на поверхность травы, — проворно уносились под екающие крупы лошадей, в ушах разбойно посвистывал ветер, да пулеметным стуком всаживался в барабанные перепонки дробный топот копыт.

Скакали минут десять, потом свернули в мрачноватое, поросшее высокими черными елями ущелье, затем свернули во второе, такое же узкое и темное, промахнув под сросшимися камнями, образовавшими круглую ровную арку, оказались на сыром каменном пятаке.

Старик остановился первым, спешился. Следом спрыгнул Таскин, привычно огляделся.

— Что, все продолжаешь исповедовать заповеди пулеметчика? — засмеявшись, спросил атаман.

Таскин давно уже исповедовал эти заповеди. Первая, и главная, заповедь в профессии пулеметчика — если запахло жареным, вовремя смыться. И чтобы пути отхода были открыты.

Каменный пятак имел два выхода: один прямой, похожий на специально прорубленную сквозь камни штольню, голый, без единого растеньица, здесь можно было передвигаться верхом, второй — небольшой, густо поросший облетевшим орешником, тесный, пролезть в эту щель мог только человек.

— Неприметное место, правда? — спросил у атамана старик.

— Место как место, есть тысяча других таких же, — шумно прокачав сквозь ноздри воздух, отозвался атаман.

— Вот это и хорошо. — Старик довольно засмеялся. — Никогда такое место не запомнишь. А между прочим, оно самое золотиносное из всех, что я знаю.

— Ну-ка, ну-ка, — оживился Семенов, выпрыгнул из седла.

Старик подвел Семенова к скале, показал на кровависто-рыжую тонкую неровную струйку, текущую по каменной плоти:

— Вот, Григорий Михайлов... Пожалуйста!

— Это золото? — не поверил тот. — Не может быть!

— Самое что ни есть, — старик снова рассмеялся: неверие атамана, его естественное изумление было ему приятно, — самое первостатейное золото.

Он достал нож, провел острием по кровавистой нитке. Место «пореза» засияло лучисто, дорого, брызнуло слепящим светом в глаза. Лицо у атамана порозовело, распустилось молодое, он восхищенно поцокал языком.

— И много его тут можно наковырять? — не удержался он от вопроса.

Над головой раздался скрипучий могильный вскрик. Старик задрал голову, проследил глазами за плавным тяжелым полетом древнего, черного как уголь ворона.

— Из этой скалы пудов шестьдесят, думаю, можно взять. — Старик скребнул ножом жилу в другом месте — глаза опять ослепил золотой электрический сверк. Подумав, добавил: — А то и больше.

— И сколько таких мест у тебя в загашнике? — неосторожно спросил атаман.

— Сколько есть — все мои.

Старик — опытный хитрован, хорошо знал, что на такие вопросы не отвечают, и атаман это знал, но тем не менее ему обязательно надо было определиться, на что он может рассчитывать, если все-таки придется ввязаться в войну с коминтерновцами, с китайцами, с красными, с капшелевцами. Дед это тоже понял и молча начал загибать пальцы: на одной руке — все пять, на другой также загнул пять пальцев, потом переключался на «третью» и снова загнул всю пятерку, на «четвертой» руке — лишь один заскорузлый мизинец.

Семенов восхищенно прицокнул языком:

— Молодец, Тимофей Гаврилович! Ой какой молодец! — Не выдержал, прижал к себе старика, неловко ткнулся усами

в его щеку, откинулся назад. — А бригады у тебя будут. Через неделю приплю к тебе два десятка толковых мужиков. На первые полмесяца хватит, а там я еще добавлю.

— Это еще не все, — сообщил старик неожиданно вызволившимся молодым голосом — похвала атамана была ему приятна, — если еще немного пошастать по моему хозяйству, по темным углам, то можно прибавить еще мест шесть-семь. Их пока не добил, не разведал.

— Это надо сделать обязательно! — В голосе атамана появились просящие нотки.

— И куда тебе столько золота? — неожиданно спросил старик. — Ведь его тьма, не проглотить.

Ну что объяснять этому наивному хитровану? Неужели он думает, что все золото это, все пуды и центнеры положит себе в карман — нет, не положит. Атаман же объяснил, что золото пойдет на содержание армии. Ее надо кормить, поить, обеспечивать патронами и оружием, кроме того, надо регулярно кидать вкусные «косточки» японцам, китайцам, разным сербам и чехам, застрявшим на Дальнем Востоке, да и своим глотам, которых он рассчитывает держать на коротком поводке, тоже нужно кое-что подкидывать, иначе будут скалить зубы и за спиной поигрывать ножичком. В конце концов, надо учитывать и вероятность поражения. Если он проиграет «свою» войну и ему придется уйти из России и он с казаками оседет где-нибудь в Монголии, в Китае либо в Сингапуре, то надо будет возводить крышу над головой, а на это понадобятся деньги.

Нельзя сказать, что у атамана не было золота. Было. И часть колчаковского золота ему перепала, Читинский банк он взял целиком, все до последней крупинцы... На этом «рыжьем» Семенов сейчас и держится. Настоящее ему обеспечено. Но надо думать о будущем.

— Не мне это золото нужно, а России, — наконец произнес атаман.

— А-а, России, — протянул старик неопределенно.

— Да, Тимофей Гаврилович, России. — Атаман подвигал по-боксерски челюстью, ощутил, как один ус привычно поехал вверх, а второй пополз вниз, будто увидев себя со стороны, поправил перекос пальцами. — Я присылаю к тебе людей, а ты берешь их под свою команду, договорились? А через месяц, через полтора постараюсь и сам навеститься посмотреть, как идут дела. Если, конечно, мне это удастся... Только, Тимофей Гаврилович, — атаман прижал к губам палец, — об этом — никому. Ни гугу...

— Не держи меня за девушку-несмышленку, — грубовато отозвался старик, — не первый год замужем. Кстати, парутройку урядников с оружием также пришли... Для охраны. Это не помешает.

— Пришло, — пообещал Семенов.

— Места тут хоть и дикие, человек забредает редко, но бережного Бог бережет. Да и золото, ты знаешь, имеет натуру нелюдимую. Сколькo его ни приваживай, ни приручай — все сторониться будет. Ко мне оно привыкло, а придут другие люди — золото себя по-иному может повести. Может спрятаться, может вцепиться по-собачьи в какого-нибудь бородастого молодца, и тогда все — будет блазниться ему и днем и ночью, пока не сведет с ума. А оружие оно чувствует и подчиняется ему. Не-ет, Григорий Михайлов, охрана нашему предприятию обязательно нужна.

— Я же сказал — будет охрана. — Семенов закричал нагужно, сплюнул и, легко вскинув свое тело в седло, спросил с внезапным интересом: — А кто же тебя охранял, когда ты мыл золото?

— А я и сейчас мою.

— И кто охраняет?

— Я сам. Кланька еще помогает.

— Ну, Кланька — не солдат.

— Как сказать, как сказать... Пулей гвоздь в дерево за просто заколотить может. Хочешь посмотреть?

— Видал такие фокусы. Прodelьвали разные люди...

— Небось мужики, а то — девка. Хочешь на спор, Григорий Михайлов, с двух патронов Кланька загонит гвоздь в дерево по самую шляпку? А?

— Спорить не буду, поскольку считаю, что один из спорщиков — дурак, другой — подонок: один знает, что он прав, и спорит, а другой ничего не знает и тоже спорит. Но посмотреть на этот фокус не откажусь.

— Тогда поехали. — Дед, довольный разговором, забрался на лошадь. Ему нравилось внимание атамана.

Семенов позавидовал деду — до самой старости человек сохранил способность радоваться. Это значит — не умрет долго. Если, конечно, кто-нибудь не подсобит...

Казакi расположились около дома кружком — пили чай из черного задымленного котла и гоготали. Старик, услышав гогот, встревоженно придержал лошадь и глянул на атамана — ему пришла в голову запоздалая мысль, что эти

люди могут обидеть Кланю. Атаман все понял и успокоил старика:

— Не бойся, не обидят. — Вскинул плетку, хлестнул ею воздух. — Иначе... Они мой нрав знают.

О крутом нраве атамана знали не только казаки, знал и старик. Он успокоенно осел в седле.

Около костра всадники спешились. Казаки мигом приехали.

— Кланя! — позвал старик, и когда та оказалась около деду, он обнял ее за плечи. — Хочешь удивить господина атамана Григория Михайлова?

Девушка бросила на Семенова быстрый, будто у птицы, взгляд:

— Хочу!

— Тогда давай! — Старик на мгновение прижал ее к себе, затем поцеловал в ухо. — Тащи-ка из избы свою трехлинейку. И пару гвоздей возьми в ящичке, что в сенцах стоит...

Кланя поняла, к чему идет дело, унеслась в дом. Старик расправил бороду, улыбнулся — безмятежно, по-ребячьи открыто, как-то победно.

Из избы показалась Кланя. Было видно, что винтовка-трехлинейка для нее тяжеловата.

— Может, все-таки казачий карабин ей дать? — спросил атаман.

— Не надо. — Старик мотнул головой.

Дед взял из рук девушки гвоздь, потрогал пальцем острие и, косолапя, отошел метров на пятьдесят к широкому, с развесистыми оголенными ветками дереву, изрытому длинными черными бороздами, с силой ткнул гвоздем в ствол, потом, чтобы гвоздь держался, постучал по шляпке кулаком. Проговорил громко, чтобы слышал атаман:

— Вот!

Отошел в сторону, глянул на гвоздь — тот стоял ровно, под прямым углом к стволу, дед остался доволен и махнул рукой внучке:

— Даю тебе два патрона. Заряжай!

Девушка проворно передернула затвор винтовки.

Старик закричал, закосолапил от дерева — пуля, попав в гвоздь, могла от ricochetить, — вновь командно махнул рукой:

— Теперь — пли!

Кланя лихо вскинула винтовку и в ту же секунду, почти не целясь, нажала на спусковой крючок. Резкий звук выстре-

ла подбил вверх бранчливую стаю воробьев, сидевшую на недалеком дереве.

Пуля попала точно в шляпку, взбила сноп искр и с гудящим шмелиным звуком ушла в облака.

Гвоздь словно от сильного удара молотка влез в ствол на добрые две трети.

Казачи одобрительно загалдели:

— Молодец девка!

Не обращая внимания на возгласы, Кланы спокойно выбила из патронника дымящуюся гильзу и загнала в ствол новый заряд. Вскинула винтовку и в ту же секунду вновь нажала на спусковой крючок. Стреляла, как и в первый раз, не целясь.

Пуля звонко щелкнула о шляпку, обрызгала дерево яркой электрической каплей и вогнала гвоздь в плоть ствола по самую шляпку, скрывшуюся в бархатистой коре, затем резво скакнула в сторону.

Казачи снова восхищенно зашумели:

— От те фокус-покус! Наши бабы так не умеют. Молодец девка!

Атаман взял из рук Кланы винтовку, тяжело подкинул ее, пробуя на вес, и также восхищенно цокнул языком:

— Однако!

Дед поспешно подтянул брюки и зашаркал ногами к атаману.

— Когда меня Бог приберет, — проговорил он, запыхавшись и отирая ладонью влажную бороду, — возьми ее к себе, в свое войско... — во взгляде старика появилось что-то тревожное, ищущее — видать, он что-то чувствовал, иначе бы с чего ему обращаться с такой просьбой к атаману, — не пожалеешь!

— погоди себя хоронить. — Атаман предусмотрительно оградился от старика рукой.

— А я не хороню, — бороду деда раздвинула смущенная улыбка, — но одно знаю твердо: о таких вещах договариваются заранее.

— Возьму, — пообещал атаман неохотно: война все-таки дело не женское.

— Твердо обещаешь?

— Твердо.

Старик протянул атаману руку. Тот пожал ее.

— А теперь — чайку испить.

— Нам пора. Если мы здесь застрянем — опоздаем к поезду, идущему в Порт-Артур.

— Тогда что ж. — Лицо старика помрачнело, скулы проступили двумя крупными каменными болбаками, и, неожиданно круто развернувшись, он потрусил в дом.

Дед, как и большинство казаков, прискакавших с атаманом в эту теплую долинку, был гураном. Русские люди тесно перемешались с местными — с бурятами, с монголами, появилась некая третья нация, к которой Семенов причислял и себя, — гураны: смелые, сообразительные, быстрые, жесткие, способные к войне и охоте.

Вернулся он, держа в руках две бутылки с золотистой, ярко посверкивающей на солнце настойкой, ткнул их прямо в руки атаману:

— Возьми, Григорий Михайлов! Это настойка — от любой простуды спасение. Даже если обморозишься от макушки до пяток и будешь из себя выкапливать либо, того хуже — выблевывать легкие... Только этим и спасешься... Держи, держи, родимый, не бойсь!

Атаман взял бутылки, распахнул их по карманам шинели, сказал на прощание:

— Жди людей, Тимофей Гаврилович!

Старик махнул рукой и ушел в дом. Долгие проводы — лишние слезы.

В Порт-Артуре было тепло, но, несмотря на теплую погоду и розовые, почти летние закаты, над городом стояли вертикальные, будто над эскадрой кораблей, дымы — печи в домах не заставались.

— Теплолюбивые людишки, — недовольно пробормотал атаман, — не знают, что такое настоящий холод. Под Читу бы их или на Байкал, на открытый лед — вот позвенели бы костями!

Поразмышляв немного, в своей владивостокской игре атаман решил сделать ставку на братьев Меркуловых. В-первых, это были богатые люди — надо полагать, братьям известно, что и он, атаман Семенов, тоже небедный — им принадлежали корабли и прииски, коптильни и магазины, отели и заводы... Значит, есть что терять, и красюки и коминтерновцы со своими вселенскими замашками братьям — как нож в хорошо набитое пузо: все съеденное вылезет наружу. Во-вторых, умны и хитры, а раз это так, то братишки хорошо понимают, что путь у них только один — поддерживать Семёнова. В-третьих, когда атаман совершит переворот и сбросит очередного князька-правителя — плевать, кто это будет,

Краснощеков или Никифоров, кадет или монархист, большевик или заезжий цыган*, — братья будут твердо знать: в семеновском правительстве их ждут теплые кабинеты и толстые портфели. Кто же от такой перспективы откажется?

Семенов знал, как будет действовать — зиму проведет здесь, в Порт-Артуре, сделает здесь всю подготовительную работу, а весной нагрянет во Владивосток. Главное, чтобы его не подвели агенты, направленные туда. Насчет Меркуловых он был спокоен, это — верные союзники. Что касается богатства, он готов был потягаться с ними, только время это еще не наступило. Вот когда все успокоится, когда они создадут самостоятельную Дальневосточную державу, тогда он и выгачит свои капиталы из кармана и встанет в один ряд с братьями.

Итак, главная его цель на ближайшие полгода — взять власть во Владивостоке и создать отдельное государство, которое не подчинялось бы ни большевикам с их лысым пряником Лениным, ни лихим масонам-коминтерновцам, у которых нет ничего святого, ни родственникам убиенного царя с олухами и арапами, образующими свиту, больше всего на свете любящую вкусно попить и поесть, — подчинялось бы только атаману. Это главное.

И помогут в этом атаману японцы.

На кого же сейчас опираться? На русских? Да чистокровных-то русских осталось — раз-два, и обчелся. Обитают они где-нибудь на севере, около Архангельска, в поморских деревнях, да под Вологдой, в тайге, комарье кормят... Все остальные, что русскими зовутся, — давно уже не русские, а неведомая смесь, в которой какой только крови нет — и татарская, и монгольская, и немецкая, и шведская, и турецкая. Да нет, наверное, той крови, которая не влилась бы в кровь русскую.

На политическом небосклоне Владивостока сейчас маячат только два светлых человека — братья Меркуловы.

Спиридон Дионисьевич — видный адвокат и журналист, большую часть своего времени проводил в Петербурге, потрясал тамошнее общество богатством и умными речами, считался крупнейшим специалистом по Дальнему Востоку, любил налить в ванну шампанского и искупать в нем какую-нибудь красивую женщину, завоеванную им... Атаман невольно

* Владивосток по части переворотов и создания новых правительств побил все рекорды: за пять лет власть там менялась четырнадцать (!) раз.

вдохнул, другое дело — Владивосток, тут Спиридон ведет себя осторожно. Брат его Николай — также адвокат, мужик хозяйственный, очень хваткий, по части заработать будет половчее всех остальных, в том числе и старшего брата.

Меркуловы — популярные люди и не только во Владивостоке. И они люди богатые, такие не будут требовать овою долю у Семенова и прятать золото по карманам, такие сами вложат свои деньги в святое дело.

Через десять дней в каменной теснине, выводящей в небольшую уютную долинку, где стоял дом Тимофея Гавриловича, появился конный караван. Верхом на лошадях приехали двенадцать человек, одетые, как на подбор, в новенькие, совершенно негнувшиеся, еще не обмятые шинели, с шапками и карабинами, под командой лихого урядника, украшенного солдатскими Георгиями; в поводу у двенадцати всадников шло одиннадцать вьючных лошадей, по одной на каждого казака, только урядник, следовавший первым, шел без «прицепа».

Старик заметил гостей, когда те были еще километра за два, выкрикнул в глубину дома:

— Кланька, будь готова! К нам кого-то несет!

Спустя некоторое время разглядев, что всадники — это казаки с желтыми лампасами на штанах, дед опустил винтовку:

— Это, Кланя, от Григория Михайлова люди, от атамана.

Вечером гости поужинали наловленными в речке ленками, а утром старик, разделив казаков на три бригады, поставил их на золотоносные места: одну бригаду — на боковой ручей, из которого целыми хлопьями выплывала слюда, две — в каменные распадки, на жилы.

Шло время.

Сидение Семенова в Порт-Артуре затягивалось, он думал, что обойдется двумя-тремя неделями, максимум месяцем, но недаром говорят, что человек предполагает, а Бог располагает: атаман пробыв в Порт-Артуре с седьмого декабря 1920 до двадцать шестого мая 1921 года. То одно у него не клеилось, то другое, то третье. Он думал, что его поддержат все казаки, откатившиеся в Приморье, но некоторые из них решили поддержать каппелевцев. Части Каппеля, который уже больше года как умер, были показательными в колчаковской армии, и при виде семеновцев каппелевцы хватались за оружие. Вот незадача-то! Под одним белым знаменем ходят, а друг друга ненавидят.

Когда атаман размышлял об этом, горло ему будто бы стискивала невидимая рука. Оставалась у атамана надежда, что Унгерн вырвется из своей Урги и подстрахует, хотя Семенов получил секретнее донесение, где говорилось, что барон увяз окончательно, но даст Бог, это не так... Во-первых, своим присутствием он сковывает красных по рукам и ногам, во-вторых, он заткнул монгольскую границу, в-третьих, красная конница — а это свои же братья казаки — собралась переметнуться на его сторону, если Унгерн уйдет, казакам переметнуться некуда будет.

Унгерна трогать пока нельзя.

Но приходится учитывать, что барон — человек непредсказуемый, неуправляемый*.

Атаман вытянул перед собою руку, сжал ее, разжал, сжал, разжал. Правый его ус суматошно задергался, запрыгал, левый неподвижно, будто парализованный, опустился вниз.

Старый волк, стерший на золоте зубы до корешков, как говорил Тимофей Гаврилович про себя, не ожидал, что добыча золота пойдет так успешно — и двух недель не минуло, а казаки выдали на-гора первый пуд золота.

В помощь уряднику, командовавшему казаками, прибыл прапорщик с насмешливыми глазами и тонкими темными усиками. Фамилия его была Вырлан. Дед Тимофей подумал, что прапорщик, китель которого украшал значок выпускника Горного инетитута, будет мешать ему, совать в колеса палки, но он оказался человеком умным, слушал старика и наматывал услышанное на ус.

Кланя расцвела, когда в доме у них появился прапорщик, а у деда встревоженно застучало сердце, он стер с глаз появившуюся мокреть и вполне резонно рассудил — а ведь не девичье это дело — чахнуть в тайге да обихаживать деда в угрюмых горах. Ей на волю, в свет, в город надо. Дед пошипел еще немного и решил — что будет, то и будет.

Правда, решил за Кланькой приглядывать — мало ли чего! Прапорщик же вел себя безукоризненно, с Кланей вежливо раскланивался, будто на балу в высшем свете, та даже вспыхивала, как свечка, начинала светиться по-сараночьи ярко и нежно, с дедом Вырлан тоже раскланивался, словно с графом, и углублялся в работу.

* Словно иллюстрируя эту точку зрения атамана, Унгерн, не дожидаясь, когда к нему переметнется конница красных, вместо того чтобы выступить на восток, на помощь атаману, выступил совсем в другую сторону, на запад.

Когда в одной из жил пошло грязное, с сильными примесями золото, прапорщик сокрушенно покрутил головой, прихватив винтовку и казака, ускакал, ничего не сказав никому.

Вернулся он через два дня, посеревший, с опухшими от бессонницы воспаленными глазами. К седлу у него была приторочена плоская американская фляга литров на двадцать пять.

— Канистру отнеси в сарай. На дверь повесь замок, — приказал подбежавшему уряднику.

— Что-нибудь дорогое? — деловито осведомился урядник, отвязывая флягу от седла.

— Скорее — ядовитое. Это ртуть.

Дед покряхтел немного, почесал пальцами затылок:

— Про это я слышал: в Сибири золото вымывают из грязной породы с помощью ртути.

— Не только в Сибири, Тимофей Гаврилович, — вежливо заметил Вырлан, — в Забайкалье тоже берут, и под Хабаровском берут — метод этот распространенный.

— Слышал, слышал, — дед вновь поскреб пальцем затылок, — токо... — Лицо у него сделалось непонимающим, отчужденным, и, взглянув на старика, Вырлан понял, что тот не знает, как берут золото из «грязной» породы.

Прапорщик хотел было объяснить старику, но в это время над ним навис урядник:

— Ваше благородие, у нас взрывчатка кончается.

— Тьфу! — Прапорщик хлопнул перчаткой по шинели. — Час от часу не легче! Сколько еще сможем продержаться на том, что есть?

— День.

— Вот жизнь! — Прапорщик не удержался и вновь хлестнул себя по боку кожаной перчаткой, звук получился громким, как удар бича. Потянувшись, погладил лошадь по морде: — Устала, голуба? — На лице Вырлана возникло что-то размягченное, сочувствующее; прапорщик, не оборачиваясь, приказал уряднику: — Лошадь мне — сменить, эта пусть отдыхает, дальше — подготовьте мне двух казаков с конями на поводу... Пусть еду кой-какую возьмут с собой. Я пообедаю и — назад.

— Й-йесть «пообедаю и назад», ваше благородие. — Урядник вскинул к лохматой папахе твердую, покрытую рыжим волосом руку — будто зверек какой собрался нырнуть в лохматуру.

Вырлан глянул на него насмешливо и ничего не сказал.

Через час он вновь покинул дедову долину. Снег уже добрался и сюда; на каменных склонах он оброс серой опушкой,

покрылся пылью, которая приносилась из ущелья после взрывов породы; вода в реке посветлела, обросла ледяным окоемом; рыба, которая раньше плескалась у самых ног, скадилась в ямы, залегла там либо ушла вообще. Что-то пустынное, неуютное, чужое проступило в природе, черты ее сделались незнакомыми, рождали в душе сиротское чувство.

Кланы проводила прапорщика долгим взглядом. Дед взгляд этот заметил, вздохнул!

После обеда Тимофей Гаврилович решил съездить на дальний участок: надумал одну четверку перевести туда, где золотая жила была побогаче той, на которой пошло грязное золото, — в узких местах толщину имела не менее спички, а в ином месте вообще делалась приметной до ослепления — была толстой, как карандаш.

Лохматый широколобый пес Буян после обеда неожиданно исчез, и с дедом в дорогу увязался второй кобель с кокетливым прозвищем Жоржик. Старик хотел отогнать его плеткой, но потом передумал — пусть привыкает пес к тому, что в тайге надо держаться человека, без человека ему — хана. Пришпорил лошадь, галопом одолел ровный твердый бережок и свернул в обрамленную ледовыми наростами каменную теснину.

По дороге дед думал о Кланьке, и такая тоска, такая тревога подступила к его сердцу, что захотелось до крови закусить губы, забить болью тяжелые мысли, но они все лезли и лезли в голову. Дал бы Бог прожить еще хотя бы пяток годов — он, глядишь, помог бы Кланьке, защитил бы и от обидчиков — да, к сожалению, не в его это силах. Надо молить Бога, молить, молить, молить... Пусть даст хотя бы... ну, если не пять, то хотя бы четыре года жизни. Старик неожиданно для себя вскрикнул. Тимофей Гаврилович вскинулся в седле, отер ладонью глаза.

— Эх, старость, — вздохнул он, — старость — не радость.

Жоржик, беспечно носившийся вокруг, остановился около камней, чтобы пометить их, и вдруг поджал хвост: кого-то почуял — то ли человека, то ли зверя.

— Ну-ну, — подбодрил его старик своим голосом, — не бойся. Здесь — наша вотчина.

Голос на Жоржика подействовал, он забегал с прежней беспечностью. Старик покашлял виновато: понимал, что не прав — тут ничего своего нет. Все — Богово. И сам он пришел на эту землю по воле Божьей, по воле Божьей и покинет ее. Это во-первых. А во-вторых, тайга — это тайга, она обмануть

может запросто. Старик не раз в этом убеждался: и тонул он, и со скалы срывался, и под внезапно рухнувшим деревом побывал, и под медведем, напавшим сзади. Сюда тот же медведь, вспугнутый войной, запросто может прийти.

Старик потрогал приклад винтовки, будто желая убедить-ся, на месте ли трехлинейка или нет — такая необходимость возникает у всякого человека, когда он начинает чувствовать опасность.

Он миновал две каменные, сырые даже в зимнюю пору теснины и очутился на светлой, почти лишенной снега поляне, где росли редкостные даже для уссурийской и сихотэалиньской тайги деревья — бархатные, — и почувствовал на себе чей-то взгляд: за стариком кто-то следил. Тимофей Гаврилович, не поворачивая головы, скосил глаза в одну сторону, потом в другую. Никого.

На этой поляне он изредка появлялся — приезжал сюда за пробкой. Под нежной кожицей бархатных деревьев скрывается хороший пробковый слой. А пробка в хозяйстве нужна всегда.

Неужели шатун? Скосил глаза на Жоржика — как тот себя ведет? Ведь зверя чувствует любая, даже самая завалающаяся, ничемная собачонка — жизнь-то дорога, она что у человека, что у собачонки — одна. Жоржик вел себя беспечно, не ощущая никакой тревоги, влзаивая, носился вокруг.

Старик вновь тронул пальцами приклад винтовки, командовал остановившейся лошади:

— Но!

Та не послушалась команды, не тронулась с места.

Через несколько секунд на поляну свалился черно-красный вихрь, уследить глазом за ним было почти невозможно. Будто по мановению палочки злого волшебника Жоржик неожиданно пропал: только что был кобелек, всего секунду назад смешно подрагивал на бегу его кривой, лихо задранный хвост — и не стало кобелька.

Лишь черно-красная молния рассекла пространство и исчезла. Дед охнул, словно в грудь ему всадились ножик, дышать разом сделалось трудно, губы его едва слышно шевельнулись:

— Тигра!

Старик оказался проворным. Он вцепился пальцами в приклад винтовки, сделал резкое движение, переворачивая трехлинейку дулом вперед, и едва перед ним оказался тусклый винтовочный ствол, выстрелил вдогонку исчезающей «молнии». Пуля прошла у лошади между ушами, даже нежный короткий волос задымился в междуустье, — и всадились в «молнию».

Тигр выронил Жоржика, который, дергая лапами и визжа, покатился по камням, старик выбил из казенника стреляную гильзу, загнал в винтовку новый патрон. Выстрелил, но было уже поздно — тигр исчез, а пуля, пусто вживкнув, врезалась в камень, вышибла длинную струю искр, перерубила пополам чахлую, с трудом зацепившуюся своими слабыми корнями за каменную породу березку и, остывая, унеслась в небо. Лошадь запоздало присела, запрядала ушами.

Старик соскочил на землю, сдернул с плеча винтовочный ремень — наконец-то, — перезарядил. Огляделся — не сидит ли тигр где-нибудь за камнями, не пожирает ли его голодным злым взглядом? Но было тихо. Только Жоржик продолжал с визгом дергать лапами — похоже, тигр перекусил песику хребет. Если же не перекусил, то Жоржик очень скоро оклемается. Старик присел на корточки, глянул поверх камней — почувдилось, что вновь показался тигр.

Раненый тигр — зверь куда опаснее шагуна.

Не видно амбы. И слава богу. Старик, пригибаясь, подошел к кобельку. Тот перестал уже сучить лапами и открыл глаза. В глазах у него стояли слезы.

— Ах ты, однако, — пробормотал старик жалостливо, подсунул под кобелька руки, чтобы поднять его с камней.

Кобелек заскулил тонко, будто ребенок. Старик в ответ потрепав уши, шмыгнул носом.

Собачатина для тигра — все равно что сахарный петушок для ребенка. Сладкая штука. Всей иной «дичи» тигр предпочитает собаку. Бывает, что тигр вымахивает из зарослей и слизывает собаку, которая бежала рядом с охотником, к ногам их жалась, делает это так стремительно и незаметно, что люди даже не успевают тигра засечь.

— Потерпи, потерпи немного, — произнес дед ворчливо. Жоржик потянулся к нему, стараясь лизнуть руку. Раз потянулся — значит, хребет ему тигр не перекусил, и пойдет кабысдох на поправку.

Старик вытащил из-под кобелька руки и проворно, не вставая с четверенек, переместился на несколько метров в сторону, вновь притиснулся к земле, зорко глянул поверх камней — не обозначится ли где черно-красная шкура, не засечет ли он промельк? Дед выставил из-под шапки крупное, с морщинистой мочкой ухо — вдруг шорох какой-нибудь донесется?

Нет, ни движения, ни промелька, ни шороха. Дед невольно поморщился: дело-то хреновое, тигр спокойно жить те-

перь не даст, оклемается и начнет охотиться за людьми... Его надо обязательно выследить и добыть.

— Пришла беда — отворяй ворота, — сокрушенно пробормотал старик, переместился еще на несколько метров в сторону, наткнувшись на капли крови, ярко блестящие на камнях, дед исследовал их, даже на вкус испробовал. Сплюнул: — Дерьмо!

Судя по следам крови, тигра он задел серьезно — значит, тот может находиться где-нибудь недалеко, в сотне метров отсюда... Брать сейчас тигра бесполезно — к себе не подпустит — придется отложить на завтра-послезавтра.

Подхватив пса на руки, крихтя и ругаясь, дед взгромоздился на лошадь, привез скулящего, подергивающегося, будто от сильного холода, кобелька домой, промыл ему рану травяным настоем, перетянул тряпкой и уложил у порога, на чистой дерюжке.

— Дедунь, он не умрет? — внезапно охрипшим от сочувствия к чужой боли голосом спросила Кланы.

— Через три дня бегать, как молодой, будет.

Действительно, подтверждая пословицу, через два дня кобелек уже носился по берегу речки, оскользался лапами на ровном, будто стекло, припае и звонко лаял — словно бы с ним никакая беда и не стряслась.

Дед, увидев это, лишь восхищенно покрутил головой.

Всем бригадам он велел брать с собой оружие — тигр далеко не ушел, затаился где-то рядом, а раз он не ушел, то будет мстить.

— Зверь красивый, но ежели тронешь — непредсказуемый, — сказал дед за ужином казакам; ели картошку, тушенную в печи с английской говядиной — на столе стояло три тяжелых черных чугуна, — в тайге с ним лучше не встречаться. Лучше тридцать раз с медведем встретиться, чем один раз с тигрой...

— У нас в Забайкалье такой пакости нету, — заметил урядник Сазонов, закрихтел побито и, схватившись за поясницу — намял здорово, добавил: — Медведи есть, а тигров нет, они до нас не доходят.

— Думаю, что доходят, просто ты, мил человек, с ними не сталкивался. Они даже до самого Якутска доходят. Силищи тигра бывает необыкновенной, — в голосе старика появились восхищенные нотки, — просто невероятно, откуда у кошки, хотя и большой, берется такая сила... У меня однажды была история. Возвращался я с охоты, вышел на берег реки, ре-

шил малость отдохнуть. Пора была хоть и зимняя, но еще теплая, снег был такой, м-м-м, — старик помял пальцами воздух, — ну, знаете... словно нежная детская ладошка, очень приятный снег. Нашел я, значит, поваленное деревце, сел, достал кусок копченой кабанятины, хлеб, жую. Вдруг чую — в спину мне кто-то дышит. У меня аж мороз вдоль хребта пробежал, нырнул в задницу и затих. Хочу повернуть голову и не могу, словно мне в шею вогнали железный шкворень. Кусок кабанятины, что был во рту, дожевал с большим трудом, проглотил и наконец нашел в себе силы повернуться. Повернулся, значит, смотрю, а в трех шагах от меня стоит...

— Медведь, — ахнул юный, с тяжелыми натруженными руками байкальского рудокопа казачок Емеля Сотников, глаза у него распахнулись широко, сделались круглыми, наивными, нестерпимо синими: так и заструился из них синий свет.

— Нет, — качнул головою дед. — Тигра стоит, настоящая мама, здорова-овая кошка, пудов на двадцать.

— Это сколько же в килограммах будет? Э? — Емеля озабоченно зашевелил губами, переводя вес в новую меру. — У-у-у!

— Емеля! — предупредил урядник.

— Я таких кошек ранее никогда не видел, — лицо у деда жалобно сморщилось, он пошмыгал носом, — зверина такая, что лобому коню хребет одной лапой запросто перешибет. Ну что делать в этой ситуевине? Для начала главное — не делать резких движений, поэтому я осторожно поднялся и говорю тигре: «Ты хорошая мама, умная, ты все понимаешь... Я тебе ничего дурного не собирался делать и не сделаю, отпусти меня, ради бога. С миром отпусти. Извиняй, ежели вторгся в твои владения. Сделал я это, мама, без всякого злого умысла. Отпусти меня, пожалуйста...» Тигра смотрит на меня, значит, круглыми глазами и, чувствую, все понимает. Абсолютно все. До последнего словечка. Но только я сделал шаг в сторону от нее, как смотрю — тигра тоже сделала этот шаг, за мной следом. Э-э, думаю, так просто он меня не отпустит. Стрелять нету возможности — ружье лежит на снегу, не успею дотянуться, тигра меня срежет в прыжке. Снова стал ее уговаривать: «Отпусти, меня, мама, с миром. Я ничего худого делать тебе не собирался. Отпусти, пожалуйста! И извини, ради бога, за вторжение в твои владения...» Говорю я ей это, значит, говорю, а голос у меня, слышу, уже дрожит от напряжения. Тигра меня слушает очень внимательно и все понимает. Вот какая это умная гада...

Дед замолчал. За окном в реке раздался сильный всплеск. Скорее всего обломился кусок ледового припая. Речка эта

всегда замерзала с трудом — уходила под лед, лишь когда прихватывали сильные, за тридцать градусов, морозы.

— Ну и что дальше? — не выдержал Емелян.

Лицо дедово потемнело, по нему пробежала легкая судорога, старик словно пытался определить, точно ли это грохнулся ледовый припай? Вдруг тигр? Но тогда бы собаки подняли лай... Да и не пойдет тигр сейчас к дому, не дурак.

— А, дедуня? — снова заканючил Емелян.

Старик просел в плечах, тревога на его лице исчезла.

— В общем, чувствую я, кранты вот-вот должны мне прийти — тигра меня по-доброму не отпустит. Не хочет отпустить. В глазах у нее появилось что-то такое, — дед повертел пальцами в воздухе, — что не оставляло мне ни одного шанса на спасение, и что это было — словами не передать. Но сдаваться все равно нельзя. Я продолжаю уговаривать тигру, а сам делаю еще шаг в сторону. Она — за мной да при этом облизнулась так смачно, так голодно, что у меня не только лоб, даже уши стали мокрыми.

— Хы-ы-ы, — вновь не выдержал Емелян, — вот шкура!

— Емеля! — привычно прикрикнул урядник, с досадою кругнул головой.

— А жить-то хочется, — тем временем вздохнул старик, — ох как хочется жить! И что делать, чтобы остаться в живых — не знаю. Потом до меня дошло — выдернул я из-за пояса одну рукавичку, кинул ей. Тигра остановилась, понюхала рукавичку, начала рвать зубами. Я отошел чуть — аккуратно так продвинулся, мелкими шажонками, думал — получится, но тигра это засекала и сделала за мной длинный, метров на пять, прыжок. У меня внутри все так и ухнуло, а ноги, те к земле просто приросли — двинуться не могу. Сейчас ведь врежет лапой по черепушке, и пустая голова моя покатится по земле, словно смятая консервная банка. Кое-как я совладал с собою, вновь начал уговаривать тигру. «Милая, — говорю, — прости меня, неразумного...» Она стоит, слушает. Вроде бы что-то доброе в ней появилось, но отпускать меня она не собиралась. Я кинул ей вторую рукавичку и стал пятиться к воде, — вспомнил, что здесь неглубоко. Воду тигра не любит и вряд ли за мной устремится. Но до воды еще надо было дойти. Словом, отдал я тигре и пояс, и шапку, затем из-за пазухи выгачил утирку, в которую был завернут хлеб, бросил ей кусок кабанятины, что у меня оставался, здоровый шмат, следом еще что-то — ушел... Как залез сапогами в воду — так полегче себя почувствовал, надежда у меня обозначилась. Вода сапоги залила — хо-

лодно, в голеница затекла... У меня ноги простуженные, чуть что — сразу стрельба по всему телу начинается...

— А тигра? — не удержался от вопроса любопытный Емельян.

— Что тигра? Она тоже пробовала сунуться в холодную воду, да тут же назад. Лапами только подергала и с такой тоской и такой, извиняйте, нежностью посмотрела на меня, что я чуть с головой в воду не ушел. Но тем не менее, как ни приваживала меня взглядом тигра, как ни колдовала, я задом, задом от нее — так, пятясь, и ушел, не посмел повернуться к ней спиной. Воды в том месте действительно немного было — по пояс, но и того с лихвой хватило.

Вечером, уже в темноте, возвратился прапорщик Вырлан, привез несколько перетянутых веревками ящичков. Казаки опасливо, с предосторожностями сняли их с лошадей.

— Динамит новой марки, усиленный, изготовлен в Швеции, — предупредил Вырлан.

Хоть и изготовлен был динамит в Швеции, а маркировка на ящичках стояла японская — иероглифы в несколько столбиков.

— Японцы сейчас все товары перепаковывают и маркируют иероглифами, — пояснил прапорщик, — даже австралийские гранаты и бананы из Сиамы. Но динамит действительно шведский и, замечу, качественный, обращаться с ним надо аккуратно, на «вы». Понятно, славяне?

Казаки промолчали: в большинстве своем они были азиатами, гуранами.

Старик выследил тигра на третий день, нашел две его лежки в камнях, почерневшие потеки крови, тропку, которую тот пробил к дедову дому. За домом тигр наблюдал издали, несколько раз провожал казаков на золотиносные выработки, но не нападал.

Старик понял: зверь пока слаб, чтобы нападать, но когда окремаеется — сделает это обязательно. Несколько раз старику чудилось, что он вот-вот наступит этой кошке на хвост, и тогда он, задержав дыхание, снимал винтовку с предохранителя, делался сторожким, как сама «тигра» — готов был стрелять на каждый шорох, — но опасения оказывались напрасными.

И вот дед обнаружил зверя.

Он увидел тигра сидящим между камнями метрах в пятидесяти. Зверь был красив — гибкий, сочного окраса, с ярки-

ми, яростно польхнувшими при виде человека глазами. Хвост тигра несколько раз приподнялся и, словно сам по себе, хлестнул по камням. Только крошка полетела брызгами в разные стороны.

— Я не буду в тебя стрелять, — спокойно, стараясь, чтобы в голосе не было дрожи, проговорил старик, — не сердись на меня, что стрельнул в прошлый раз... Сама, тигра, понимаешь — я спасал собаку. Не ругай меня, тигра, — в голосе старика появились молящие нотки, — извиняй, что стрельнул...

Тигр внимательно следил за стариком. Хвост снова хлбытнулся по камням.

— А теперь уходи, тигра, — попросил старик, — иначе мы спшибемся, и один из нас окажется на верхнем небе. Уходи, чтобы не было беды... Прошу тебя!

Хвост в очередной раз сгреб с камней остатки крошева, глаза засветились еще большей яростью, и старик почувствовал, что по вискам у него прямо из-под шапки потек пот. Но он не отступал от своего.

— Уходи, тигра! — прежним уговаривающим тоном попросил он. — Иначе предупреждаю — беда будет.

Из тигриного горла, подобно свинцовой дроби, выкатилось задушенное рычание, и зверь попятился от старика. Глаз тигр в сторону не отводил, не закрывал, не моргал — глаза по-прежнему польхали яростно и сильно. Через минуту зверь исчез.

Старик стер с висков пот, пробормотал хрипло:

— Вот дела... Как легла, так и дала.

Он понял, что зверь из этих мест не уйдет. Минут двадцать дед еще бродил среди камней, в одном месте снял с острого среза несколько красных волосинок, долго разглядывал их.

Вернувшись домой, дед предупредил казаков:

— Мужики! Будьте осторожны. Тигра следит за домом и, как я разумею, готова напасть. Держите ухо востро!

— А уговорить ее нельзя? — подскочил к старику Емельян. — Вы мастер по эти делам, Тимофей Гаврилович.

— Цыц, вертопрах! — прикрикнул на него старик строго, но в следующий миг смягчился: — Пробовал и уговорить, да только хрен что из этого получилось.

— Тогда чего же делать?

— Ждать и опасаться, — коротко ответил старик.

Сообщение о добытом золоте обрадовало атамана Семенова. Он восхищенно потер руки и сказал Таскину:

— А дедок-то большим молодцом оказался. За такого не грех и выпить. Как считаешь?

— Я всегда готов. — Таскин одобрительно потер руки. — У нас есть виски из Японии. Целый ящик.

— Рисовое пойло, — пренебрежительно отозвался Семенов, хотя о Японии и всем японском всегда говорил только в уважительном тоне. — Лучше русской водки нет ничего. Будь я на месте заводчика Смирнова, я бы русской водкой залил весь мир.

— Смирнов, наверное, давным-давно расстрелян большевиками.

— Царствие ему небесное в таком разе. Хороший, наверное, был человек, раз выпускал вкусную водку.

— Ну что, Григорий Михайлович, ударим по виски?

— Если нет приличного пойла — неси виски. Но лучше уж бы была холодная водочка с соленым огурцом.

— Найдем и это, — сказал Таскан и исчез.

Семенов вновь прочитал телеграфную ленточку зашифрованного сообщения, где золото называлось «рыжьем», пуды — «возами», а Тимофей Гаврилович — «дедом», кем он, собственно, и был. «Дед приготовил два воза рыжья, скоро привезем». Вот, собственно, и все сообщение, непосвященный в нем ничего не поймет.

— Молодец дедок! — восхищенно повторил атаман. — Нам это золотишко здорово пригодится. Первый орден, который будет учрежден в Дальневосточной республике, повешу тебе, дед, на меховую доху!

Вернулся Таскин в сопровождении Афони. Денщик держал в руках серебряный поднос с бутылкой водки, двумя хрустальными рюмками, на тарелке аппетитной горкой высилась толстая порезанная американская ветчина, а блюдец, стоявшее рядом, было доверху наполнено крохотными солеными пиккулями.

Пока Афоня ставил поднос на стол — делал он это умело, научился же где-то: выдернул из кармана шаровар чистый рупничок, расшитый красными петухами, ловко расстелил его на лаковой крышке стола, сбоку положил бледный, с сильным запахом цветок, — Таскин назидательно потыкал пальцем в двухпудовую гирю, которой любил баловаться атаман, покачал головой, будто классный наставник, поймавший гимназиста на чем-то неприглядном:

— А выпивка с гимнастикой разве сочетается, Григорий Михайлович? Сердца не надорвете ль?

— У меня сочетается, — добродушно проговорил атаман. — А раз я сказал, что сочетается, то эти еврей-доктора мне никогда ничего не возразят.

— Да-а, вам возрази, — Таскин иногда бывал излишне настырен, чем вызывал раздражение у атамана, — живо окажешься меньше в росте на высоту головы. И все-таки смотрите.

— Сергей Афанасьевич, не порть мне настроения, — предупредил Семенов.

Таскин прижал к губам ладонь: молчу, мол.

Ручка двухпудовки, лежавшей на полу, была обварена мягкой гуттаперчей — чтобы при броске вверх не сорвать себе кожу на ладони.

— И сколько раз подбрасываете эту... дуру? — уважительным тоном спросил Таскин, используя во фразе неуважительное слово.

— Сколько надо, столько и подбрасываю. — Брови у Семенова расползлись, будто две гусеницы, и Таскин понял: атаман врет.

— Пятьдесят раз подбрасываете?

— Больше, — произнес атаман с усмешкою, потом провел пальцами по рту, будто соскребая с него усмешку, спросил с неожиданной озабоченностью: — От штабс-капитана Писарева из Владивостока ничего не было?

— Нет.

— Надо послать к нему курьера. Мы должны владеть обстановкой в городе, знать, что там происходит, каждый день. Если можно знать каждый час — то каждый час.

— Это нереально, Григорий Михайлович.

— Значит, нереально надо сделать реальным. Понял, Сергей? — Брови атамана стремительно сдвинулись, один ус раздраженно задергался.

Таскин отметил с сожалением, что кокетливые колечки на усах Семенова развились, усы теперь уныло смотрели вниз: перестал следить за собою атаман. То ли устал Григорий Михайлович, то ли годы начали брать свое. Хотя о каких годах можно говорить, ведь атаману еще жить да жить — ему и сорока нет.

— Хорошо. Я попробую, — глухо проговорил Таскин.

— И денег на это не жалея. — Атаман повысил голос: — Не жалея! Когда мы в последний раз получали сообщение от Писарева? — спросил Семенов, хотя хорошо знал, когда пришла последняя депеша от бывшего штабс-капитана, ныне

успешно занимающегося бизнесом, но ему хотелось, чтобы такие вещи знал и Таскин.

— Шесть дней назад, — без запинки ответил Таскин.

Атаман одобрительно наклонил голову, приказал:

— Готовь сегодня же курьера!

— Курьера так курьера, за этим дело не станет. — Таскин задумчиво поскреб пальцами подбородок. — Григорий Михайлович, скажите, вы доверяете братьям Меркуловым?

Семенов насторожился, брови его сомкнулись:

— А что?

— Ничего особенного, — Таскин вяло поболтал в воздухе ладонью — будто воду разгреб, — просто чутье подсказывает: братики могут нас обмануть. Или как говаривала Сонька Золотая Ручка — кинуть.

— Не кинут. Побоятся.

— Вы не ответили на мой вопрос, Григорий Михайлович.

— Ну и зануда же ты. — Под глазом у атамана задергалась и тут же утихомирилась нервная жилка, он улыбнулся с неожиданной печалью: — Верю.

— Может, не надо верить?

— А на кого же еще мне опереться во Владивостоке? Кому верить? Скидельскому? Ванхитену? Кунсту? Герману? Графу Кайзерлингу? Жебровскому? — Семенов называл одного за другим известных дальневосточных промышленников, богатеев, политиков, банкиров и рубил рукою воздух, как бы срезал что-то под корешок. — Если бы фамилии у них были Иванов, Петров, Михайлов — может, и верил бы, может, и опирался бы на них, а так — уволь!

— Значит, Меркуловы?

— Значит, Меркуловы, — твердо произнес атаман.

— Значит, ориентируемся на них?

— Значит, ориентируемся на них. Скажи, Сергей, почему ты затеял этот разговор? У тебя что, есть сомнения?

— Чутье у меня, Григорий Михайлович, проверенное. — Таскин смешно подергал кончиком носа, потрогал его пальцем. — Никогда еще не подводило. Всякий дым я чувствую за десять километров. И заранее. — Таскин поднял указательный палец. — Ни разу не обманулся.

— Фактов нет — молчи, — сказал Семенов, — в чутье я не верю. Будут факты — приходи. А сейчас — разливай. Как младший по званию. — Семенов растянул губы в улыбке. — Давай выпьем за старого пердуна и его золотые яички. В конце концов, он на нас с тобою работает. На нас! Его удача — наша удача!

— Святая правда. — Таскин ребром ножа обколот сургуч на водочном горлышке, затем кончиком остря, как шилом, поддел пробку, та не поддалась, и Таскин с досадливым шипеньем втянул в себя воздух.

— Не шипи, не шипи, — засмеялся Семенов, — чем прочнее пробка в бутылке — тем крепче водка.

— Не крепче, а вкуснее, Григорий Михайлович.

— Что в лоб, что по лбу. Главное, чтобы не разбавленная. А то у нас на Олоне трактирщик любил разбавлять водку, пока не приехали строители с колесухи* и не избили его лопатами. А курьера сегодня же отправь во Владивосток. И передай Писареву — пусть поосновательнее пощупает братьев Меркуловых. Но только чтобы не засветился дурак, а то испортит нам всю обедню. — Атаман помолчал немного. — Возможно, в твоих сомнениях есть доля правды. Чужая душа — потемки, правду люди говорят.

Три дня тигра не было — он словно сквозь землю провалился, — старик, не находя новых следов, облегченно крестился.

— Неужто послушалась умного совета тигра, а? А ведь ушла мама, точно ушла...

Выпал снег. Уже ни на сопках, ни на низинах не оставалось обнаженных мест — все накрыло пушистое одеяло; дед по свежему снегу, как по первотропу, сделал на лыжах круг, обследовал места, где мог затаиться тигр, не нашел ни единого следочка, — и, вернувшись в дом, объявил казакам:

— Все, опасность, похоже, миновала. Послушалась меня тигра...

Старый урядник молча перекрестился.

— Но винтовочки с собою в выработки все-таки берите, — предупредил дед. — Мало ли что. Береженого Бог бережет.

Он как в воду глядел.

Прошло еще два дня. Вызвездился небольшой звонкий морозец. Сопки преобразились, обрели сказочный вид, огрузли в снегу, острые углы камней сгладились, воздух сделался розовым, в тайге запахло яблоками — свежими, только что снятыми с дерева. Деревья тоже принарядились — даже самые чахлые, самые заваливающие, задавленные своими сородичами, кривые и те обрели красу.

Но казаки красе этой неземной словно совсем и не радовались, лица их делались все более задумчивыми, печальными,

* Колесуха — Транссибирская железнодорожная магистраль, ведущая во Владивосток. Колесухой ее прозвали строители-каторжники.

озабоченными, и печаль их была понятна: они находились далеко от дома, ни на Рождество Христово, ни на Новый год — 1921-й — им со своими родными увидеться не было дано. Да и война, похоже, еще продлится — бывалые люди чувствовали это своими жилами, кожей, костями, кровью, — и крови этой им придется еще пролить немало — это люди тоже чувствовали. Что происходит дома, что с родными, живы ли? — неизвестно. Вот и мрачнели лица казаков, на глаза набегала тоска, люди тревожно и молча переглядывались, и тревога их была понятна.

В тот вечер ужинать сели рано. Кланы приготовила «царскую» еду — три чугунка картошки с консервированной говядиной и, как заправский повар в ресторане, набросала в варево различных трав и корешков, поэтому дух от распаренной картошки распространился такой, что молодой Емельян не выдержал, облизнул губы, словно кот, потом достал из кармана ложку, облизал и ее.

— Маладец, мадама, — произнес он, специально картавя. — На тебе, мадама, даже зениться можно.

Кланы никак не отреагировала на эти слова, лишь глянула сквозь Емельяна, будто сквозь стекло или воздух — пустое место, мол, — и ухватом выкатила из печи четвертый чугунок.

— Это ежели кому не хватает — добавка, — объявила она.

Добавка была сметена так же быстро, как и первые три чугунка.

— Ваше благородие... — урядник Сазонов отложил свою ложку в сторону, тарелку перекинул Клане, чтобы помыла, — а как нам быть со сродственниками?

Он задал вопрос, который вертелся у всех на языке, но никто задать его не решался.

— А что родственники? — машинально спросил прапорщик.

— Да повидаться б надо!

— Они где у вас, у красных остались или в Монголию ушли?

Большинство казаков, примкнувших к атаману Семенову, вывезли за собой семьи — часть успела переправиться в Гродеково, часть осталась в Монголии.

— Погрузили манатки на две телеги и ушли... Под краснюками я их не оставил.

— Краснюками, — прапорщик улыбнулся печально, — а нас они зовут беляками. Кромсаем друг друга почем зря, мутузим, кровь льем для удовольствия тех, кто Россию ненавидит. Русские люди истребляют русских людей. Где это раньше было видано? Эх, Россия!

— Да, Россия, — урядник вздохнул, скопилось в нем что-то тяжелое, никак он от этой тяжести не мог избавиться, — Расея! Так как же насчет моего вопроса, ваше благородие?

— Не знаю, Сазонов, — признался прапорщик. — Приказа такого, чтобы кого-то куда-то отпускать, не было. Наоборот, есть другой приказ, совершенно свежий, — чтобы... — Емельян крепко сжал руку в кулак, — чтобы всех держать в руке, вот так держать. Очень большое значение атаман придает нашей работе. Мне даже велели передать — от нашей работы зависит, будет жива Россия или нет.

— Россия будет жива всегда, кто бы чего ни делал, — убежденно произнес урядник, — это факт. А вот то, что родные подохнут без нас — это тоже факт.

— Поймите, Сазонов, рад бы я вас отпустить, да не могу, — проговорил прапорщик с сочувствием, — не имею права.

Сазонов понурил голову, задышал горестно.

— Жаль, — пробормотал он.

Прапорщик развел руки в стороны, потом прихлопнул ладонями по столу, лицо его приобрело виноватое выражение.

Разморенные от вкусной еды казаки расположились тем временем на полу, кинув на него несколько шинелей, и начали играть в извечного подкидного, популярного в каждой станице, в каждом полку.

Емельян, не дождавшись своей очереди, поднялся, накинул на плечи шинель и тихо выскользнул за дверь.

— Ты куда? — прокричал вслед старик.

— Звездами малость полкуюсь да воздушком свежим подышу, — произнес Емельян уже из-за двери.

Дед озабоченно качнул головой и стал натягивать на ноги валенки.

На улице все было белым-бело, из-за недалекой горы, украшенной зубчаткой голых, облезших по зиме лиственниц, выползла луна — огромная, неестественно яркая, слепящая, мертвенная, таинственная, залила все вокруг зеленоватым пламенем — сделала это так ровно, что на земле даже не осталось теней, все было окрашено в сплошной, без полутонов колер.

Емельян передернул плечами от стеклистого колючего холода, не замедлившего забраться под шинель, и по целине, не видя растворившейся в слепящем свете тропки, побрел к ближайшему дереву, на ходу расстегивая штаны.

У дерева оглянулся на дом — не дай бог, следом выйдет Кланы... Щеки его сделались горячими — Кланы он стеснялся.

В доме скрипнула дверь, Емельян оглянулся, торопливо доделал свое дело, накапал на катанки и чертыхнулся от досады, в следующий миг закричал недорванно, страшно, но крика своего не услышал — сверху на него стремительной тенью свалился сильный гибкий зверь, играючи мазнул лапой Емельяна по голове, и она с вывернутым наизнанку правым глазом и разорванным до уха ртом, разбрызгивая кровь, покатилась по снегу и уткнулась в комель дерева.

Сам Емельян, уже безголовый, продолжал стоять — пальцы скребли по гульфику, короткими стыдливвыми движениями стараясь его поскорее застегнуть.

От дома, прямо от дверей, хлопыстнул выстрел, следом еще один, кто-то громко выругался, но голова Емелина этой ругани не услышала.

Через несколько секунд над телом наклонился старик, пробормотал слезно, неверяще:

— Ах ты боже ж ты мой!

Прошло еще несколько секунд, и рядом с ним оказался запыхавшийся Вырлан.

— Что произошло?

— Тигра начала мстить, ваше благородие. — В голос старика натекла мокреть, он вскрикнул. — Вот гада! Пока мы ее не убьем, она нас не оставит. — Он горько покрутил головой. — Я стрельнул в нее два раза, но не попал, — пожаловался старик, — разве в темноте в нее попадешь? Верткая, гада. — Он вскрикнул. — Как же я ошибся, а? Купился на то, что по перетропу не нашел ее следов, а? Виноват я!

Вырлан увидел оторванную голову Емельяна, болезненно сжался, боль стиснула ему сердце; прапорщик сквозь зубы всосал в себя воздух, потом захватил его открытым ртом, стараясь взять побольше, чтобы облегчить боль, но это не помогло, боль, внезапно возникшая в сердце, продолжала там сидеть, жгла живую плоть, и прапорщик пошатнулся — его неожиданно перестали держать ноги.

Тело Емельяна перенесли в сенцы, с ног сдернули катанки — теперь они ему все равно не нужны, рядом, завернутую в мешок из-под сахара, положили голову. Похоронить Емельяна решили завтра же. Как солдата, павшего в схватке, — здесь же, на поле боя, хотя на него уютная долинка эта мало походила.

— На родину бы отвезти его, на реку Онон — там Емелины родственники живут, — жалеючи погибшего парня, проговорил казак Белов — рыжеусый, не похожий на чернявых

дальневосточников. Белов храбро воевал, его форменную рубаху с высоким стоячим воротом украшали три Георгиевских креста, а полученные им на германской две награды, врученные ему за службу у Семенова, не носил, и когда его спросили, в чем причина, не брезгует ли он ими? — Белов ответил:

— Все награды для меня одинаковы, все дорогие, да только жизнь моя разделилась на две части: «до» и «после», до семнадцатого года и после него, и награды я ношу точно так же... Если кого-то это смущает, могу поменять один иконостас на другой. — Отцепил Георгиев, спрятал их в походный сидор⁶⁷, нацепил новые награды — семеновские, а точнее — колчаковские.

Утром вырыли могилу. Земля только сверху была твердая, промерзла на полштыка лопаты всего, а дальше была мягкая, теплая, жирная, парила — такую землю человеку, привыкшему к полю, к хлебу, так и хотелось распахать, бросить в нее зерно — хороший урожай мог уродиться. Казаки мяли землю пальцами, нюхали ее, шурились, отводили в сторону влажно блестящие глаза — соскучились по домашним, по хозяйским делам. Дед быстро сколотил из досок гроб, обстругал его. Емельяна одели в чистую рубаху, дратвой пришили голову, лоб и глаза завязали полотенцем, опустили его пониже, чтобы не было видно вывернутого наизнанку и лопнувшего глаза, тело поудобнее уложили в гробу, чтобы молодому парню в нем лучше лежалось, перекрестили трижды и на веревках опустили в могилу.

— Вот и стало это место обжитым, — неожиданно тоскливо проговорил старик.

— А разве раньше оно не было обжитым?

— Обжитым место становится, лишь когда на нем появляются могилы.

Над свежим холмиком земли хотели дать залп из винтовок, но прапорщик запретил:

— Не надо! Патроны нам могут пригодиться — это раз. И два... В общем, есть еще кое-какие причины. — Повернулся к старику: — Ну что будем делать?

— Искать тигру. Найти и уничтожить ее, гаду! На выработку ходить пока не будем. Тигра нам все равно покоя не даст...

— Искать так искать, — согласно проговорил прапорщик, тронул деда за рукав: — Берите командование в свои руки. Я по части тигров не силен.

Штаб Семенова, обосновавшийся в Порт-Артуре, приобрел два автомобиля — длинные, мощные, с золотисто-корич-

невыми лаковыми дверцами и большими хромированными фарами «Паккарды». Семенов когда-то видел «Паккард» у великого князя Дмитрия Павловича; с тех времен роскошная машина запала атаману в душу, поэтому когда из Европы в Порт-Артур пришел транспорт, на палубе которого, тщательно укрытые брезентом, стояли три «Паккарда», два из них Семенов решил забрать себе, третий должен был идти морем дальше, во Владивосток, к крупнейшему судовладельцу Жабровскому.

Занюханый провинциальный Порт-Артур японцы после унижительного для России 1905 года⁸⁸ даже не удосужились восстановить, они палец о палец не ударили, чтобы разгрести каменные завалы, оставшиеся от батарей генералов Белого и Кондратенко, заявив Семенову, что бояться заразы от оставшихся в завалах трупов русских солдат, а то, что не построили чего-нибудь приличного на парадной Адмиральской пристани, объяснили отсутствием денег... Но деньги у японцев были — были! — и это атаман знал хорошо, он им сам передал тридцать ящиков золота из тех, что взял в Чите.

Конечно, надо было бы сказать об этом японцам, но тут Семенов завязывал, как говорится, губы в узелок и помалкивал, не расшнуровывая рта — не годится, дескать, идти против воли благодетелей... Атаман был верен этому правилу.

Да что трупы, сгнившие в завалах земли и камней! Афоня, ходивший к китайцам на рыбный рынок, на обратной дороге остановился на мосту через реку Лунхэ и заметил, что в серой мутной воде плывет по течению и подвораживает к берегу что-то громоздкое.

Смышленный казак не поленился спуститься вниз, палкой подтянул к себе тряпку — оказалось, это вываренная в воде, выпцветшая в земле форма японского солдата той поры, когда микадо воевал с Россией, из одного рукава торчала целехонькая кисть — мясо отслоилось, сгнило, а кости остались, во втором рукаве была прищиплена нитяная перчатка, внутри мундира сохранились целыми также несколько костяшек.

Видно, лежал, гнил самурай под завалом целых шестнадцать лет, а потом, когда пошли дожди — в нынешнем году они шли особенно сильно, — вода и вымыла его.

Так что подданным божественного микадо — впрочем, сами японцы зовут своего императора не микадо, а тинно, — надо о своих солдатах заботиться, хоронить их, а о чужих позаботятся чужие... другие, в общем, люди. О русских, например, — атаман Семенов.

Один «Паккард» Семенов велел загнать в ангар, смазать у машины все блестящие части, чтобы не поржавели, и держать пока там.

— Позже мы его во Владивосток переправим, — сказал он, — автомобиль нам там послужит, — лицо его неожиданно обрело мечтательное выражение; присутствовавшие штабные чины, заметив это, невольно переглянулись, — очень неплохо послужит...

Второй лимузин Семенов велел утром подать к подъезду особняка, который он арендовал: пусть японцы видят, что русские генералы не в дырявых телегах, задевая о колеса заскорюзлыми лаптями, ездят, а в настоящих «Паккардах».

Конечно, было бы удобнее сразу оба автомобиля отправить во Владивосток, раз уж выдается такая оказия — ведь Семенов все равно намерен туда переместиться, — но... такая дорогая штука, как «Паккард», запросто могут прилипнуть к чужим рукам. Ищи их потом, свищи...

Таскин внимательно оглядел автомобили, простучал пальцем лакированные крылья, будто спину человека, чье драгоценное здоровье внушало опасение — вдруг закашляет, зачуфыркает что-нибудь в организме? — ничего худого не нашел и одобрительно кивнул:

— Шик-модерн!

— Что из Владивостока? — спросил Семенов — ему было неприятно, как Таскин обследовал «Паккард». — Есть новости?

— Есть!

— А чего не докладываешь?

— Не успел еще, Григорий Михайлович. — На лбу Таскина в виноватую лесенку собрались морщины.

— Что-то уж очень быстро пакет пришел, — Семенов подозрительно сощурился, — нет ли в этом подвоха?

— Нет, — твердо ответил Таскин.

Ответ действительно пришел быстро, но это не насторожило Таскина: случилась оказия, и курьер ею воспользовался: вернулся из Владивостока с литерным почтовым поездом, на который его посадил знакомый диспетчер — тоже, кстати, семеновский агент.

Бывший штабс-капитан Писарев сообщал, что видится с братьями Меркуловыми регулярно, в преданности их атаману Семенову не сомневается — уверен стопроцентно, и что ситуация уже почти созрела, а если атаману захочется «проткнуть нарыв», то он может сделать это хоть сегодня... Готов ли только к этому господин Семенов?

— Я к этому всегда готов, — сказал атаман, специально усилив голосом слово «этому».

И все-таки что-то сидело в атамане, что-то мешало ему свободно дышать, что-то угнетало, он никак не мог понять, что это.

Семенов расстегнул крючки на воротнике — он начал дуть на него.

— Деталей никаких штабс-капитан не сообщил?

— Нет. Все изложено в общих чертах.

Атаман, освобождая шею, повел головой из стороны в сторону.

— Григорий Михайлович, есть предложение прокатиться на «Паккарде» по Порт-Артуру не завтра, а сегодня, — ласковым голосом предложил Таскин.

— Зачем? — спросил Семенов, и по оттаявшему тону его было понятно, что Таскин угодил в точку.

— Город осмотреть, старые русские укрепления... Если откопать наши засыпанные траншеи, хороший музей может получиться.

Глаза у Семенова приняли металлический оттенок.

— Все это я уже видел, — чеканя слова, произнес он, — больше смотреть не хочу.

Упустил из виду Таскин, совсем упустил, что стоит Семенову появиться на старых русских позициях, как японцы — полновластные хозяева Порт-Артура — это мигом заметят, защебечут про себя презрительно, что сколько этого русского волка хлебом и мясом ни корми — все равно в лес смотреть будет.

— Тут, говорят, есть даже остатки батареи, которой в начале девятьсот пятого года командовал сам Колчак, — сказал Таскин.

— А на Колчака я тем более плевать хотел!

Таскин хлопнул руками по бокам:

— Ну тогда просто прокатимся, Григорий Михайлович!

Шофер Евстигнеев уселся за руль, рядом — его однофамилец — осанистый, очень похожий на памятник хорунжий — личный адъютант атамана. Семенов с Таскиным расположились сзади, и «Паккард» мягко тронулся с места.

Старик хитрил, и тигр хитрил, оба были опытными хитрецами и еще более опытными таежниками, места здешние знали как собственное дыхание и пытались подкараулить друг друга, а подкараулив, — завалить. Дед лишь удрученно крутил головой:

— Вот, гада, какая умная! Ну, погоди, погоди, я тебя все-таки перехитрю.

Он сел на лошадь и отправился на место, где имелись соленые гольцы. На солонцы эти любили выходить изюбры, олени, козы. Без приманки тигра не убить, надо было добыть приманку.

Часа через полтора к соленому гольцу прискакало с полдесятка коз — шустрых, изящных, тонконогих. Козы замерли, слушая пространство.

Старик взял на мушку вожака, но стрелять не стал — жалко сделалось, без вожака стадо может пропасть, — перевел ствол на молодого грудастого козелка, в картинной позе застывшего на выступе, и нажал на курок.

Витовка больно лягнула деда в плечо, выстрел был сухой и негромкий, без эха, он увяз в воздухе, козелок взвился вверх, запрокинул голову назад так резко, что рогами воткнулся себе в спину, и рухнул в сугроб, сгребенный ветром у подножия выступа. Старик поспешно передернул затвор и, прежде чем стадо исчезло, успел выстрелить еще раз — срезал старую, с седой мордой матку.

Все, больше ему не надо. Матку он разделает и предложит в качестве прощального обеда полосатому бандиту-тигру — мясо у матки все равно жесткое, а молодого мускулистого козелка положит на стол мужикам.

До своей заимки он добрался глубокой ночью. Казаки уже спали. Утром дед спросил у Вырлана:

— Скажи-ка, пожалуйста, ваше благородие, кто у тебя будет самый лучший стрелок?

Прапорщик оглядел казаков.

— Судя по количеству орденов — Белов.

Старик сказал Белову:

— После обеда собирайся... На тигру засаду делать будем.

— Приваду в сенцах я уже видел, — сказал Белов.

— А ты, — сказал старик Клане, — свари из свежанины казакам хороший шулюм. Козелок вчера подвернулся — самый раз для шулюма.

Клания бросила на прапорщика стремительный взгляд и, кокетливо приподняв одно плечо, потерлась о него щекой. Дед едва не крикнул — так изящно у Кланьки это получилось.

— С травами, с корешками, Клань, — добавил старик, — как ты умеешь. Чтобы шулюм получился нашенский, фамильный. А?

После обеда он перебросил тушу матки на санки, впрягся в них и поволок вместе с Беловым в недалекое, дышащее холодом ущелье.

Атаман вызвал к себе Таскина.

— Переворот во Владивостоке совершим в мае, — сказал он, — точную дату определим позже. Единственное что — в это дело надо включить части, которые находятся на станции Гродеково.

— Мудрое это решение — подтянуть части генерала Савельева к Владивостоку. Главное, чтобы братья Меркуловы не дрогнули.

— Ты все еще продолжаешь сомневаться в Меркуловых?

— Разговор об этом у нас уже был. — Голос Таскина приобрел жесткий оттенок.

— Не веришь, значит... — укоризненно проговорил Семёнов, нервно дернул плечом — ему не нравилось, когда кто-то с ним не соглашался.

— Офицера к Савельеву я отправлю сегодня же, — переводя разговор в другое русло, сказал Таскин.

— Желательно, чтобы это был кто-то из штаба, — атаман снова дернул плечом — неприятное ощущение не проходило, — из старших офицеров. Я сейчас дам такое распоряжение. А генералу Савельеву напишу личную записку.

— Неплохо бы его вообще вызвать сюда.

— Нельзя. Части не должны оставаться без командира.

Это было правильно: казаки в Гродеково должны были знать, кто ими командует — это раз, и два — по весне, как только станет тепло, предстоит подтянуть части генерала Савельева к Владивостоку.

Ободранную матку-козу положили на видное место, на самое видное: откуда ни глянь — видно красное мясное пятно. Вербкой прикрутили к старому пню.

— Вдруг тигр не найдет это мясо? — усомнился в успехе предприятия Белов. — Ветер подует в другую сторону и зверь мясо не учует?

— Найдет, еще как найдет, — уверенно ответил дед.

Они посидели немного под старым дубовым стволом, отдохнули, затем старик поднялся.

— На этом пока все. Поехали!

— Как поехали? А стрелять когда будем?

— Стрелять будем позже.

Через сутки на это место вернулись снова. Козьей туши не было.

Белов с досадою хлопнул себя по колену:

— Я же говорил, сидеть нужно было, ждать... Надо же — подлая котяра схавала все!

— Не схавала. Уволокла.

От веревки остался лишь развившийся лохмоток. Так срабатывать могла только кошка. Тигр.

— Порядок, — удовлетворенно произнес старик.

— Какой же это порядок, какой порядок? — разгоряченно проговорил Белов, глянул расстроено на старика, но тот на суровый косой взгляд даже не обратил внимания, присел на корточки, крикнул, осматривая широкий след, оставленный козьей тушей — тигр пробороzdил белое, задубевшее от мороза одеяло как плугом, — качнул головой восхищенно: ну и сила же у этой сволочи!

Белов присел рядом, тоже взгляделся в широкую борозду.

— Ну и где же мы будем искать наше мясо?

— Километрах в двух отсюда.

Казак не удержался, присвистнул.

— Так далеко? Утащила котяра мясо и не сожрала?

— Всякому мясу тигра дает возможность малость вылежаться, подвднуть и только потом ест.

Кошка действительно оттащила козью тушу на два километра, пристроила на хранение под плотным, со сбитой шапкой кустом, лапой подгрести немного снега и ушла в тайгу.

— Кого-нибудь из наших выслеживать отбыла, — мрачно произнес дед, — рассчитывает со всеми разделаться, как с Емельяном.

— А чего она, падла этакая, не осталась стеречь свою добычу? Придут волки, все сожрут.

— Не сожрут. Любог волк, любой медведь, любая росомха обойдут тигровую схоронку стороной, побоятся тронуть...

Люди посмотрели на схоронку издали и, устроившись в снегу, стали ждать.

Было холодно. Приносившийся с гольцов ветер поднимал снеговую крупку. Она припорошила, сделала невнятными и их след, и широкую тигровую борозду.

Тигра не было.

Тоска это смертная — караулить кого-нибудь в схоронке, находясь в одеревеневшем состоянии — через полчаса уже перестаешь чувствовать и руки, и ноги, и самого себя, все немеет, делается чужим, сердце останавливается. И пошеве-

литься нельзя — всякое легкое движение может быть мигом засечено.

Не видно старика, не видно семеновского казака Белова, даже козьей туши — и той стало не видно — тоже засыпало снегом. Но тигр хорошо знает, где спрятал свое мясо — зверь обязательно вернется на это место.

Тигр появился в ночи — неслышно вытаял из густоты деревьев, пробил мощным торсом с полдесятка глубоких снеговых наплывов и, сделав несколько длинных плывущих прыжков, очутился в крохотной лощинке, около куста, где он оставил козью тушу.

Старик первым заметил шевеление в темном ночном пространстве — будто возникло там привидение, взнялось над землей и исчезло. В следующее мгновение старик увидел тигра — душа сжалась в комок, показалось, что тигр смотрит на него.

Здоровая, весом не менее двенадцати пудов кошка стояла рядом с присыпанной белой крупкой козьей тушей и, как и старик, слушала пространство: не раздастся ли какой-нибудь подозрительный звук? Хоть и сильна была кошка, хоть и принадлежала к породе зверей, которые повелевают миром, а что-то простодырное, земное, даже мужицкое проглядывало, как показалось старику, в ее повадках. Он смахнул с ресницы примерзшую слезку и приложился к прикладу трехлинейки.

Задержал в себе дыхание. Одна лишь мысль, поспешно возникшая, сверлила сейчас его мозг: «Только бы тигра не почувала чего, только бы она не ушла...»

Все в старике напряглось, глаза сделались молодыми, зоркими — каждый предмет обрел свои четкие, будто бы хорошо прорисованные очертания... Кошка неожиданно насторожилась, хотя людей, похоже, не обнаружила, учуяла лишь их дух, — но кто знает, может, они неподалеку проходили и их запах остался в морозном воздухе, завис и теперь висит в пространстве, никак не хочет истаять; морда ее сделалась хищной, узкой, незнакомой, шерсть на спине вздыбилась, и кошка раздраженно хлестнула себя хвостом по одному боку, потом по другому. Раз крутит хвостом — значит, нервничает. Деда внезапно пробило холодом, он сжался, превращаясь в человека совершенно крохотного, по макушку вмерзшего в снег, сросшегося со своей винтовкой, также ставшей крохотной, игрушечной, к горлу подступал кашель, и старик торопливо подвел мушку винтовки под морду зверя, потом чуть опустил ствол — словно уперся им в белый шерстистый лох-

моток, на манер манишки украсивший грудь тигра, — и в следующее мгновение нажал на спусковой крючок.

Раздался выстрел. Приклад запоздало ударил старика в плечо. Второй выстрел он успел сделать за несколько мгновений до того, как кошка исчезла. В тот же миг старик уловил сырое чмокание — пуля поцеловала живую плоть.

Дед проворно поднялся на ноги, стряхнул с одежды снег, он успел выстрелить два раза, Белов — ни одного.

— Чего же ты не стрелял? — спросил старик Белова с досадой.

— Я ее, лихоимку, даже увидеть не успел, все так быстро произошло.

— Быстро, — недовольно проворчал старик, — а если бы дело было на фронте? Ты бы уже без головы был. — Держа винтовку наперевес, он по снегу двинулся к засыпанной крупкой приманке.

— Фронт — совсем другое дело, — миролюбиво произнес Белов, — там все проще... Ни германцев, ни японцев, ни французов, ни англичан я с тигром сравнить не могу. — Белов так же, как и старик, держа винтовку наперевес, а палец не опуская с крючка, двинулся вслед за дедом.

Ложбинку с приманкой они обогнули, поднялись на макушку гольца. Дед вдруг остановился и резко присел. Белов также присел, проговорил хриплым одышливым шепотом:

— Ты чего, старый?

— Показалось, что тигра затаилась, схитрила, а теперь решила взять нас.

Но старик ошибся: на этот раз он стрелял точно — обе пули попали в цель. Кошка коlobком скатилась с гольца и пушистым темным комком застряла в снегу у подножия.

— Все. — Старик поставил трехлинейку на предохранитель, повесил ее на плечо, выкаплял в ладонь какую-то пакость, вытер руку о наст и выругался: — Еще пара таких засад — и можно на погост.

— Мертвая, что ли? — настороженно вытянув шею и вглядываясь в шерстистый клубок, спросил Белов.

— Мертвее не бывает.

Одна из дедовых пуль угодила амбе в череп — вошла в глаз и застряла в прочной костяшке. Старик ногой сдвинул голову тигра в одну сторону, проверяя, не изуродована ли она пулей — голова была цела, проверил другую сторону и остался доволен.

— Шкуру подарим нашему атаману, — сказал он.

— А то, что эта гадина съела человека — ничего?

— Во-первых, не съела, а убила, а во-вторых, Григорий Михайлов такие штуки очень любит... Пусть тигровая одежда украсит ему спальню.

В пылу разборок с тигром неожиданно исчез урядник Сазонов, исчез внезапно, словно сквозь землю провалился.

Первым урядника хватился прапорщик Вырлан:

— Где Сазонов?

Этого никто не знал. Лицо прапорщика нехорошо перевернулось, будто Вырлана оглушила сильная зубная боль.

— Тигр его не мог слопать?

Но тигра к этой поре старик уже освеживал и шкуру растянул на деревянные расчалки.

— Тогда где же он? — спросил прапорщик.

— Я видел, как он коня из сарая выводил, — неожиданно сообщил обычно молчаливый казак по фамилии Козерогов. По фамилии его никто не звал — обращались по кличке, почему-то женской — Коза. — Я еще спросил у Сазонова, ты что, во Владивосток за бимбером собрался?

— Что он ответил?

— Ответил, что конь совсем завшивел, надо почистить...

— Вот и почистил. — Вырлан усмехнулся горько, накинул на плечи шинель и вышел на улицу.

Рассвело, хотя день еще не вступил в свои права, серое ровное небо даже не окрасилось утренней розовиной, оно угрюмо расстиралось над землей, смыкалось с нею. Макушки сопки и старые, разъеденные временем и непогодой, расщепленные, расшелушенные скалы растворялись в пространстве. По тяжелому холодному воздуху, по стылости, которая исходила от земли, ощущалось — конец вселенной, сам краешек находится где-то совсем рядом, и это ввергало людей в какое-то странное гнетущее состояние, производило опустошение внутри — люди невольно приходили к мысли, что жизнь осталась позади, былое никогда не вернется, ничего, кроме смерти, не осталось.

Бывает, люди ломаются только от одного такого ощущения, бывает, что крепятся, крепятся, но потом тоже ломаются, как это произошло с урядником, во что Вырлан еще не хотел верить, а бывает, крепятся, держатся до конца и лишь тогда сгорают. Вот и выходит, что на войне народ погибает не только от пуль. И не на войне — тоже. Одно закономерно — происходит это в основном с фронтовиками.

Вырлан осмотрел следы, оставшиеся около сарая, где стояли лошади, осмотрел узкую тропку, ведущую к каменной

горловине, — на тропке, присыпанной легким липким снежным пухом, отпечатались два следа, восемь кованых копыт, и Вырлану стало не по себе.

Это что же, урядник Сазонов ушел не один, еще кого-то подговорил? Пока они валались с полосатым разбойником, были заняты только этим, Сазонов воспользовался моментом и утек? Кто же ушел с Сазоновым?

Прапорщик бросился к дому. Там пересчитал казаков. Вроде бы — за вычетом урядника — все, и со списком число совпадает, — но тогда кто же ушел с урядником на второй лошади? Прапорщик снова пофамильно проверил список. За исключением Сазонова все были на месте.

Мда-а. Вырлан захлопнул полевую сумку и проговорил брезгливо:

— Слабак! Не выдержал.

Разгадка была проста: вторую лошадь Сазонов взял для хозяйственных нужд — пахать, боронить, сеять, возить сено, а если так, значит, он направился к себе домой, к красным... и постарается привезти домой свою семью... Только где она у него — в Маньчжурии, в Гродеково, под Владивостоком, в Никольске-Уссурийском?

Конечно, если бы у прапорщика была возможность отпустить Сазонова по-хорошему, он отпустил бы. Но права такого у Вырлана не было.

Об исчезновении человека — да еще с такого места, как добыча золота, — прапорщик обязан был немедленно сообщить в штаб к Семенову, в контрразведку, а каковы нравы у контрразведки, известно всем...

Единственное, что Вырлан мог сделать — и этого было вполне достаточно, чтобы спасти беглецу жизнь, — задержать сообщение: сославшись на то, что перевал, мол, закрыт, но если и контрразведка проведаст об этом обмане, Вырлану несдобровать. Но на свой страх и риск он задержал отправку донесения.

Очередная депеша из Владивостока привела Семенова в приподнятое расположение духа. Штабс-капитан Писарев сообщал, что встречался со старшим Меркуловым, тот как главный среди приморских богачей целиком поддерживает программу атамана, признает его верховодство. В беседе он называл Семенова не иначе как «милейший Григорий Михайлович» и дважды подчеркнул — сделал это специально: «Без генерал-лейтенанта Семенова возрождение России невозможно».

Атаман вызвал к себе Таскина, кинул ему послание.

— Прочитай. А потом поговорим. Может быть, ты после этого перестанешь быть Фомой неверующим.

Семенов продолжал готовиться к перевороту в Приморье.

Казачьи бригады в дедовых распадках работали ударно. Через полтора месяца атаман Семенов снова получил пуд каменного рудного золота.

Прапорщик Вырлан еще дважды ездил за ртутью, последний раз вернулся пустым и виновато развел руки в стороны:

— Ситуация такая, что хоть градусники в аптеках скупай да отправляй их на бой — нет ртути!

Тимофей Гаврилович озадаченно глянул на него:

— Как же быть?

Вырлан, поморщившись от натуги, расстегнул заиндевевший воротник шинели, стянул с головы башлык и, обессиленный, опустился на лавку. Пожаловался:

— Устал, как сукин сын... А насчет ртути есть одна идея...

Минут пять он сидел молча, отдыхал. Старик тоже молчал, ждал, когда прапорщик придет в себя. Наконец тот глубоко вздохнул, затем снова, полной грудью — было слышно, как у него что-то несмазанно заскрипело в легких, — потом стащил с себя шинель.

— Чайку, Тимофей Гаврилович, не найдется?

— Как не найдется? Кланы!

Кланы, которой не было ни видно, ни слышно — вообще ничто не выдавало ее присутствия, — мигом очутилась на середине избы, словно специально ждала команду, — радостная, со светящимся лицом и такими ликующими горящими глазами, что дед невольно, будто боясь обжечься, отвел взгляд в сторону, внутри у него что-то тоскливо и одновременно довольно сжалось. В который уж раз, когда он засекает такой взгляд у внучки, у него тоскливо сжимается сердце. Эх, Кланы, Кланы...

У прапорщика тоже посветлело при виде Кланы лицо, порозовело по-мальчишески, а глаза... глаза сделались такими же ликующими, как у Кланы. Старик подумал, что надо бы аккуратно, не вызывая ни подозрений, ни протеста, расспросить у прапорщика, кто он и что он, кто его родители, чем дышит этот человек сейчас и чем собирается дышать дальше. Кланы в этом тонком материале не разберется, а старик разберется обязательно.

Чтобы побыстрее сготовить чай, Кланы разожгла керогаз-машинку, которой старик пользовался очень редко и берег

лучше глаза. Запасы керосина у Тимофея Гавриловича были маленькие, достать его негде, поэтому старик так же, как и керогаз, лучше глаз берет стеклянную четверть с керосином. Он ведь и для многого другого в хозяйстве нужен — и банки поставить, когда легкие от простудного жара начнут разваливаться, и горло смазать, если там возникнет нарыв, да и лампа без керосина, как известно, гореть не будет.

Доставать керосин становится все труднее и труднее. Перед приходом семеновцев старик начал уже зажигать свечильники, заправленные звериным жиром. Хорошо, постойцы выделили ему небольшой запас.

Привозят керосин в здешний край в основном по морю с Сахалина, там этого добра — завались, черпают его кружками прямо из луж, наполняют бочки и доставляют во Владивосток. Так, во всяком случае, сказывали деду. Зовут на Сахалине горючку «керосин-водой».

Кланы он не попрекнул тем, что зажгла керогаз, наоборот, мысленно одобрил: правильно поступаешь, внучка, держи форс и дальше, покажи лишний раз дворянству, что мы тоже не пальцем деланы.

На керогазе чай вскипел быстро. Прапорщик обеими руками обхватил горячую кружку, затянулся чайным духом и пробормотал благодарно:

— Хороший чай... Спасибо.

— Из Китая.

— В России, говорят, давно сидят на морковной заварке.

Старик в ответ лишь вздохнул: жалко было «Расею», людей, которых он знал, — уехали на запад и сгинули на бескрайних просторах, лежат на неведомых погостах, а может, просто догнивают в канавах. Дедово лицо расстроено дрогнуло, он отер рукой нос; немо зашевелившиеся губы готовы были произнести имена людей, навсегда исчезнувших, за которых надо бы помолиться, да все недосуг — все спешим, спешим, на Бога совсем не оглядываемся, а это — большой грех. Сердце у Тимофея Гавриловича защемило еще больше.

А прапорщик тем временем еще полкружки чая успел осилить, молодое усталое лицо его покрылось каплями пота.

— Раньше мы ведь как поступали, Тимофей Гаврилович, — наконец заговорил он, — брали руду, дробили, мельчили ее и — в ртуть. Она растворяла золото. Дальше ртуть из раствора мы выпаривали, а золото оставалось. Сейчас мы будем поступать по-другому: мы перестанем выпаривать ртуть, будем собирать ее, а как — я уже придумал.

— Говорят, очень опасная это штука — ртуть. Вредная, — проговорил старик и умолк. Ну будто бы Вырлан этого сам не знал.

— Вредная, верно, — сказал Вырлан. — Народу на Байкале погубила немало. Каждый второй копальщик, который сидел на рудном золоте, уже закопан сам. И ни золота ему не надо, ни ртути. Риск имеется, правильно. Но как говорят купцы, кто не рискует, тот не пьет шампанского.

— Не люблю купцов, — пробормотал старик.

— Ну хорошо, а выход другой у нас есть?

Дед пошевелил плечами, отвел глаза в сторону.

— Я человек маленький, не мне решать, есть у нас выход или же нет. Все равно ртути не хватит, — добавил упрямый старик.

— Тогда скупим все градусники во Владивостоке. — Вырлан, когда речь заходила о деле, тоже был упрям.

Старик сощурился, хмыкнул:

— Это во что же тогда обойдется каждый фунт рыжья?

— Не так дорого, как кажется с первого взгляда.

Вместо ответа старик лишь пусто пожевал губами, в глазах у него промелькнуло сочувствие к прапорщику — дескать, молодой еще, не знает, какую подножку ему способна поставить жизнь, вот поживет, сколько он — будет осторожнее. Рыжья этого, золота, к которому тянется так много народа, старик пропустил через свои руки столько, что вряд ли можно сосчитать... железнодорожный вагон. Самородки даже самому государю Николаю Александровичу подносили. Были и самородки, и песок. Один самородок размером с кулак продал Тимофей в Китае. Ядовитую ртуть эту он и вовсе черпал пригоршнями.

Пацаном, помнится, он не раз шариками ртути забавлялся. Занятно было делить эти шустрые, лихо катающиеся по полу горошины, сгребать их в блюдце, собирать воедино, потом снова пускать по полу — часами можно было наблюдать за веселой игрой зеркально-блестящих тяжелых капелек.

Первое свое золото — рудное — старик взял из раздробленных камней с помощью ртути. Выжарил ее на обычной черной чугунной сковороде — на донье сковороды остался сияющий золотой блин. Старик аккуратно снял его и долго держал в руках, млея от восторга. Глядеться в блин можно было как в зеркало. Позже блинов этих у него было — не сосчитать. И неблинов тоже.

В двадцать лет он уже имел на Байкале свою баржу и счет в банке. Жизнь его кидала то вверх, то вниз. То делала его та-

ким богатым, что он мог подметки к своим сапогам прибивать гвоздями из червонного золота, то швыряла в вонючую бездну, и он вынужден был протягивать руку за подающим. А однажды молодой, дурной, вконец изломанный стужей, ревматизмом Тимоха Корнилов докатился до того, что попал в приют, где древние бабульки крестиком вышивали платки и рушники. Со стоном, зажатым в зубах, покорно он сел за пьалцы и занялся вышивкой. И ничего — жив остался. Одна из насельниц — говаривали, что обедневшая графиня, — оказалась великолепной врачевательницей — он ее с благодарностью вспоминает до сих пор. Видно, воля Божья на то была, чтобы он избавился от ревматизма.

Однако говорить прапорщику обо всем этом дед пока не стал. Не подспела пора.

Прапорщик из подручных материалов соорудил железный короб, впаял в него трубку, а на сковороду, где из желтой, сверкающе-раскаленной амальгамы выпаривалась ртуть, надел колпак. К сковороде приставил казака по прозвищу Коза.

— Ты, Козерогов, привыкай к агрегату, ни на минуту не выпускай его из вида, — наказал ему прапорщик. — Я сейчас людей на жилу вывести должен, две бригады, а ты следи, понял, Козерогов? Главное — поддерживай огонь под сковородой, не давай ей остывать. Огонь должен быть равномерным и жарким. Понятно? Это ты должен усвоить железно, как святую истину. Колпак со сковороды не снимай, что бы ни случилось. Процесс контролируй по звуку. Когда ртуть выпарится, сковорода начнет сильно трещать. Понял, Козерогов?

Прапорщик по тропке увел людей в ущелье, следом, метров двадцать отступя, Белов вел на поводу лошадь с двумя перекинутыми через спину ящиками с динамитом. Белова прапорщик назначил старшим вместо сбежавшего урядника, надо отдать ему должное — он отпирался от новой напасти как мог.

В тот день они взяли рекордное количество золотоносного камня — целую гору, ранее столько не брали — то ли порода пошла помягче, то ли динамита закладывали побольше, не жалея, то ли в воздухе витала сама удача — сразу не сообразить. Вырлан сдвинул с затылка на нос старую офицерскую папаху:

— Неплохо бы нам прямо в распадках пару жаровень поставить и выплавлять золото на месте. Чего таскать породу к дому, лошадям бабки бить, а?

— Хорошая мысль, — поддержал прапорщика Белов. — Топоры у нас есть, толковые руки — тоже, да и народ у нас по такому делу соскучился.

Когда добрались до дома, было уже темно. Но глазам Тимофея Гавриловича к темноте не привыкать.

— Это чего такое? — спросил он, и голос его дрогнул. — А?

— Что? — устало поинтересовался прапорщик.

— Кланька чтой-то сидит на пороге и плачет. — Старик протер пальцами глаза, беспомощно оглянулся на лошадей и, взмахивая рукой, в которой была зажата трехлинейка, побежал к дому.

Вырлан, давясь воздухом, который неожиданно сделался твердым, побежал следом. К дому они подбежали вместе. Дед кинулся к Клане, обеспокоенно сгреб ее в охапку:

— Ты чего?

— Там этот самый... лежит. Глаза закатил и лежит. — Она потыкала рукой в сторону сарая, украшенного шпёнком новой оцинкованной трубы. — Я боюсь.

Вырлан кинулся в сарай. Огонь в плите, на которой стояла золотая жаровня, еще не прогорел, поухивал басовито, грозно, щелкал искрами, защитный колпак соскочил с жаровни, в сарае пахло какой-то странной острой химией, будто в цеху по производству «о'де колона». Вырлан попятился назад, вывалился на мороз, продышался, натянул на нос башлык и снова нырнул в сарай.

Около плиты, скорчившись улиткой, откинув в сторону неестественно белую, с черными пальцами руку, лежал Козерогов.

— Ах ты, Коза, Коза... — глухо пробормотал прапорщик в башлык, ухватил казака под мышку и поволок к двери.

Выволок на последнем дыхании — у Вырлана кончился запас воздуха, и он закусил зубами ткань башлыка — боялся закашляться и хватить ядовитой гадости, — выволок и, не удержавшись на ногах, сел в снег.

Дед наклонился над Козероговым, затряс его:

— Эй! Милый! — Голова Козерогова мотнулась безвольно один раз, другой и замерла. Дед снова затряс его, потом остановился, стянул с головы шапку и опустил руки. — Все, — молвил он горестно, — тут мы, человеки слабые, совершенно бессильны.

Козерогов был мертв, прапорщик неверяще покрутил головой, откинулся назад, с горечью глянул в белое, уже заострившееся лицо Козерогова и раздернул тесемки у башлыка.

— Э-эх! — произнес он с далеким сожалеющим стоном.

— Бог дал, Бог взял, — рассудительно проговорил старик, голос его по-прежнему был угрюмым. — Не надо было оставлять его в сарае, на жаровне.

— Это моя недоработка, — горько произнес прапорщик, — я его к жаровне определил, думал, что он с ртутью будет осто-рожен, а Козерогов дал маху. Лучше бы мы его определили в забой... Я виноват.

— Ты, молодой человек, ни в чем не виноват, — успокоил Вырлана старик. — Просто на этом человеке уже стояла печать, он должен был отойти... Если не здесь, так в другом месте. Золото свою плату всегда брало человеческими жизнями и будет брать впредь. Вот металл и забрал очередную мзду — Козерогова.

Вырлан покрутил головой протестующе — он не хотел в это верить. Но верь не верь, этим не поможешь. Козерогова не стало.

На следующий день рядом с заснеженной могилой Емельяна Сотникова возникла еще одна могила — Козерогова.

Зима пролетела быстро. Собственно, в Порт-Артуре ее не было: вместо снега с небес сыпалась серая холодная мокреть, впитывалась в землю, от земли шел пар, было душно; атаман, вспоминая забайкальские зимы с их буйными морозами и лихими рождественскими тройками, нервно ходил по кабинету, скрипел сапогами, думал о чем-то своем, никому не ведомом; подглазья у него набухали мешками, лицо делалось темным, усы дергались косо.

Главными для него сейчас были новости, что приходили из Владивостока. Если они были хорошими, атаман добрел, глаза его делались мягкими, искристыми, с подчиненными говорил ласково — тон этот для них был незнаком, но, получая что-нибудь недоброе, становился лютым, как во время карательных операций, а при их проведении атаман не задумывался, сжигать, допустим, какое-нибудь село или нет, альтернативы для атамана не было — сжечь.

Как ни странно, но только здесь, в Порт-Артуре, Семенов впервые по-настоящему осознал, что существует такое понятие, как свободное время, и что иной человек, случается, поволчь воеет, если этого времени у него оказывается чересчур много. Деятельный, капризный, с железным мотором вместо сердца, он относился именно к этой категории людей... В слякотные дни порт-артурской зимы он подумал, что надо будет

время от времени братья за перо, поработать не только пашкой, но и ручкой, в которую вставлено «золотое рондо». И хотя мысль эта вызвала у него раздражение, — податься в писаки? Ну уж дудки! Никогда и ни за что! — но Семенов не был бы Семеновым, если бы не сломал самого себя.

Последствия он написал: «Пребывание мое в Порт-Артуре продолжалось с 7 декабря* по 26 мая 1921 года. Время это было потрачено на преодоление всяких препятствий к намеченному плану — перевороту в Приморье, причем я с грустью вспоминаю, что многие мои агенты на местах не только не оказали мне какой-либо помощи в этом деле, но своим образом действий портили его и восстанавливали против него представителей иностранного командования, еще оставшегося на российской территории».

Штабс-капитан Писарев считался среди семеновцев верным человеком, который ни при каких обстоятельствах не предаст атамана. Хотя и происходил Сергей Артамонович Писарев из купеческого сословия, но заваску имел дворянскую, даже грассировал, как дворянин, — был с милой французской картавинкой. Комплекцию он имел мощную, однажды на спор сумел с одного удара отрубить голову быку. Правда, и оружие у него в руках было достойное — тяжелый самурайский меч с длинной двойной рукоятью.

Но все равно силу для такого удара Писарев должен был иметь не меньше, чем имел тот несчастный бык.

Лысый, с густой рыжеватой бородой и цепким взглядом, Писарев любил жизнь — и выпить был не дурак, и по части ухватить за репчатую пятку голоногую девку тоже не промахивался, а уж по части рыбалки... Тут Писареву не было равных. Ловля трепангов с выездом на яхте на пустынные живописные острова или мелкого красного лосося прямо в море — из такого лосося уха получается такая густая, что ложка стоит в ней, как в загустевшем повидле, вытащенном из погребца, не падает. Купчишки, что приезжали к Бринеру из Китая, из Сингапура, из Сиамы, отведав этой ухи, восклицали потрясенно: «О-о-о!» — и долго не могли закрыть рот. В общем, бывший штабс-капитан мог организовать нужным людям отдых по первому разряду и ни разу в этом не подвел хозяина.

Жизнью своей бывший штабс-капитан был доволен и иногда ловил себя на недоуменной мысли: а чего это он раньше

* 1920 года.

относился к гражданским «шпакам» с таким пренебрежением? Это приличные люди, очень неплохо живут — во всяком случае, много лучше, чем офицерская братия.

А уж сейчас, когда не стало царя и Дальний Восток зашевелился, расцвел, когда можно открыть свою собственную контору в Сиаме или в Сингапуре, а нежного здешнего лосося морем можно доставить даже в «туманный Альбион», совершенно не знающий, что такое пробойная красная икра, тающая во рту, и копченый чавычий балык слабого посола, легче легкого сделаться миллионером и стать владельцем счетов в банках Бельгии, Англии, Франции, Северо-Американских Соединенных Штатов. И такие счета у Писарева имелись.

Зимние вечера во Владивостоке — шумные, кого только не встретишь в галдящих компаниях.

Все дни подряд, до самого утра, призывно светились огни ресторанов — в те, что располагаются на набережной бухты Золотой Рог, невозможно было попасть, спасали только связи да обаяние Писарева. По городу на высоких местах были расставлены рекламные щиты — американская новинка, — представляющие роскошные пароходы графа Кейзерлинга, совершавшие регулярные рейсы в Сингапур. В Морском офицерском собрании давали балы, на которых играло сразу четыре оркестра. На улицах корейцы торговали свежими розами и редиской, хрустящей соблазнительно, только что с градки (и как только они умудряются выращивать розы и редиску в снегу — уму непостижимо). Богатые дамы на автомобилях подъезжали к универмагу Кунста и Альберса покупать последние парижские новинки — туалеты с пуговицами из зеленого арабского золота и большим количеством кружев.

Пароходы господина Жебровского — впрочем, обращение «господин» во Владивостоке, охваченном демократическими преобразованиями, стало немодным, в моде было слово «гражданин», — привезли из Европы несколько контейнеров божественнейшего «о'де колона», который полюбили не только местные красотики, но и морские офицеры.

Запах моря, пространства, ветра, чужих земель, которым всю жизнь были пропитаны мореплаватели, теперь не был в почете, в почете был дух мадагаскарского «эланго-эланго» — самого дорогого и стойкого цветочного масла в мире, и лаванды, растущей на полях Нормандии.

В сквере Невельского по вечерам играл оркестр Флотского экипажа, и туда на «променады» ходили принаряженные матросы, которых отпускали на берег до двадцати двух ноль-ноль,

себя показывали, наивных круглоглазых барышень высматривали, чтобы завести любовь, широкую и бурную, как море, а те, кому было невтерпеж, сразу бежали на Миллионную улицу, где можно было найти все — и выпивку с закуской, и бабу с задом, напоминающим тендер паровоза, и опиум, чтобы, покурив, забыть эту отвратительную жизнь, нищету и боль.

Причем поодиночке старались не ходить, иначе можно было получить удар заточенным напильником в бок от какого-нибудь гопника. Поэтому матросы старались держаться кучно, и крик «Полундра, наших бьют!» мигом срывал иного моремана с задстой бабы, и он, наматывая на кулак ремень, немедленно мчался на зов. А если «клеши» брались за ремни, мало кто мог устоять. Не тянули гопники против матросов, но форс старались держать, внушали обитателям Миллионной улицы: «Матросы пришли и ушли, а мы тут были всегда и всегда будем!»

Иногда Писарева тянуло зайти на Миллионку. Сергей Артамонович, случалось, долго стоял в прихожей около зеркала и рассматривал свое отражение, мял пальцами лысину и выдерживал из носа торчащие жесткие волоконцы — прикидывал, удобно ему посетить Миллионку или неудобно? По всем статьям выходило, что неудобно — совсем не того полета он птица, и Писарев сокрушенно вздыхал, оглаживал лицо медленными округлыми движениями и с сожалением отходил от зеркала.

Зато в остальном Писарев мог позволить себе что угодно. Мог снять номер в отеле с видом на бухту Золотой Рог, наполнить ванну шампанским, загнать в нее двух, а то даже и трех симпатичных певичек и устроить себе праздник на всю ночь, мог отдать повару собственные перчатки и велеть зажарить их с луком, гренками, сыром и подать к столу в фарфоровых тарелках с грибным соусом, мог купить безлюдный остров в двух милях от берега и заселить его русалками — деньги на это у Писарева были... И свои собственные имелись, и Бринер, щедрый хозяин, очень неплохо платил, и атаман Семенов отваливал червонцы не считая — именно золотые червонцы, не бумажные, — не мелочился...

Атаман Семенов просил немного — держать его в курсе того, что подельывают братья Меркуловы, чем дышат, что едят, на чем ездят, где бывают, как отзываются о нем, не шлют ли куда подметных писем и не ведут ли двойной игры. Писарев в посланиях честно рассказывал атаману обо всем, что видел — рассказывал и о том, что на Приморье сосредоточены интересы не только милой сердцу атамана Японии, но и Америки. А

это значит, что стычка неминуема: американцы ничего не пожалеют, чтобы укрепиться на здешней земле, японцы поставятся им не уступить.

Семенова это донесение не встревожило, и Писарев, который, зная крутой нрав атамана и побаиваясь его, неожиданно обнаружил: а атаман-то копает совсем неглубоко...

В руки Писарева попали документы, принадлежавшие нефтяному акционерному обществу «Итокорода»: справки, донесения инженеров, проводивших буровые работы на севере Сахалина, в Луньском заливе и Москальво, и он из этих документов понял: нефть на Дальнем Востоке есть немалая. Промышленная.

Несколько раз подряд прочитал он эти бумаги и невольно облизнулся: дали бы это в руки ему... Стали понятны причины толкотни, устроенной японцами, — они хотели закрепить на Дальнем Востоке окончательно и воспрепятствовать появлению здесь американцев, хотя те уже загнали сюда фирму «Синклер». Русские же купцы, привыкшие сшибать копейку даже на продаже теплых конских яблок и дождлых мух, разбились на два лагеря: одни примкнули к японцам, другие — к американцам.

Перевес все-таки оказался на стороне японцев — они загнали сюда свою армию, гостям из Штатов доставлять армию в эти края долго и дорого — достаточно того, что они получили по физиономии на Русском Севере, в Мурманске...

Писарев отправил на имя атамана донесение, в котором изложил «нефтяной вопрос», а заодно и усомнился: такие уж агнецы Божьи братья Меркуловы, те ли они, за кого себя выдают?

Вечером он собрался повеселиться. Пароходом из Китая прибыли актрисы странствующего цирка-шапито — девушки гибкие, как кусок тонкого каучука, большеглазые, нежные, опалевшие от приставучих узкоглазых китаезов. Бывший штабс-капитан отстрелил актрисочек опытным взглядом и через несколько мгновений оказался около них. Дамочки были притихшие — значит, не в себе, понял Писарев.

— Чем могу быть полезен? — спросил он.

Одна из циркачек — белокурая, голубоглазая — подняла голову, поинтересовалась устало:

— Во Владивостоке есть извозчики?

— Как и в прошлые времена, мадам. — Писарев по-офицерски щелкнул каблуками.

— Мадемуазель, — поправила его белокурая.

Писарев с сомнением глянул на нее: в таком возрасте и — мадемуазель?

— Пардон! — произнес он небрежно, наклонил голову, оценивая, оглядел девушек, ощутил, что внутри у него зажегся некий торжествующий огонь, улыбнулся — белокурую он уже «раздел» донага, она была то что надо — в его вкусе. — Похоже, вы давно не были в России?

— Четыре года.

— Это большой срок. Сейчас иногда все меняется за два дня. Вы не видели самого страшного...

— Слава богу!

— Мой мотор — к вашим услугам! — не стал дальше тянуть резину Писарев.

— У нас — цирковой реквизит.

— Найдем место и для реквизита.

Вечером он принимал у себя белокурую одесситку Оксану, гимнастку, выступающую под куполом цирка без страховки, и ее подругу Елену. На столе стояло французское шампанское «Мадам Клико» и «Мум», экзотические фрукты громоздились в двух вазах, в подсвечниках, потрескивая, горели свечи.

Оксана потянулась к одной из свечек и пальцами, не боясь обжечься, сняла нагар. Свечка продолжала трещать.

— Не к добру это, — сказала она.

— Почему так считаете?

— Есть примета: раз трещат свечи, значит, произойдет что-то недоброе.

— Я человек везучий, — произнес Писарев неожиданно хвастливо, — ни в одной из передраг не увяз, из всех благополучно выскочил.

Оксана потянулась ко второй, отчаянно трещавшей свече, аккуратно сощипнула с фитиля отгоревший кончик. Пламени прибавилось. Свеча стала трещать еще сильнее.

Через десять минут в дверях звякнул колокольчик — Писарев встрепнулся, брови на округлом, внезапно покрасневшем лице его вопросительно подпрыгнули.

— Это кого же леший к нам несет? — Он встал, одернул бархатную домашнюю тужурку, на гусарский манер распустил шелковыми галунами. — Впрочем, я жду посыльного от генерал-лейтенанта Семенова Григория Михайловича.

Решительно и одновременно важно открыв дверь, он на лестничной площадке увидел двух хорошо одетых господ в котелках, с дорогими тростями.

— Вы ко мне по торговому делу? — спросил Писарев.

— Нет, не по торговому. Мы из контрразведки. — Стоявший ближе к Писареву резко шагнул вперед и, больно ухватив бывшего штабс-капитана пальцами за нос, втолкнул в квартиру. — У вас, похоже, гости? — произнес он неожиданно вежливым тоном и усмехнулся. — Дамы-с?

— Дамы-с, — подтвердил Писарев гнусавым из-за зажатого носа голосом.

— Ну, они нам не помешают, — проговорил контрразведчик, отпуская нос Писарева. — Пожалуйста на кухню.

Писарев покорно прошел на кухню — ссориться с контрразведчиками ему не хотелось, тем более что атаман, под чье спасительное крыло он мог нырнуть, находился далеко... У Писарева от мысли, что может произойти, мелко задрожал подбородок. Сохраняя остатки самообладания, он гостеприимным жестом указал господам из контрразведки на стулья, предложил, заранее зная, что те откажутся:

— Может быть, по бокалу шампанского?

Но господа из контрразведки вообще не обратили внимания на его предложение, они сели на стулья, не сняв котелков.

— Сегодня утром вы, Сергей Артамонович, отправили пакет атаману Семенову, — произнес старший утвердительно тоном. — В своем сообщении вы не очень одобрительно отозвались о братьях Меркуловых...

Писареву ничего не оставалось, как пробормотать вяло:

— Не помню.

— А я помню, — с напором произнес старший, улыбнулся зубасто, и Писарев понял: если этот человек захочет, то за просто перекусит его пополам. — Но... — Улыбка на лице контрразведчика сделалась еще более зубастой. — Я хочу на будущее уберечь вас от ошибок. Осознайте это, Сергей Артамонович, и скажите мне спасибо.

«Господи, — с запоздалым сожалением подумал Писарев, — они ведь перехватывают не только моих курьеров, но и курьеров атамана... Они все знают — все, о чем я писал Григорию Михайловичу. Надо срочно поехать в Порт-Артур и предупредить его...»

— Порт-Артур вам не поможет, — неожиданно произнес старший, — не надейтесь. А к нам... — он испытующе оглядел Писарева, — в контрразведку мне вас доставлять не хочется.

Холодных мурашиков, бегающих по хребту у Писарева, стало больше.

— Да уж... — пробормотал он и смолк. Внутри что-то сжалось, сердце стянулось в комок, и Писарев сам себе сделался

противен. Он, набираясь сил, втянул в себя воздух и произнес фразу, которую от него ждали контрразведчики: — Хорошо, что я должен делать?

— Пожелание одно — не сомневаться в преданности Меркуловых атаману Семенову. В ваших донесениях не должно быть ни слова сомнения. Только поддержка и еще раз поддержка деятельности братьев Меркуловых, искренне считающих: единственный человек, имеющий исключительное право на власть в Приморье, — это Григорий Михайлович Семенов. Земля здешняя спит и видит его на владивостокском троне, и Меркуловы делают все, чтобы это произошло как можно скорее. Понятно, Сергей Артамонович?

— Да.

— Ну вот, видите, нам даже не пришлось ехать в контрразведку, — произнес непрощенный гость, поднимаясь со стула. — Только предупреждаю вас, господин Писарев: если хоть один раз заметим, что вы нарушаете нашу договоренность — обижаться будете на себя. Вам все ясно?

Бывший штабс-капитан почувствовал, как на горле его сомкнулись жесткие пальцы, проговорил подавленно, глухо, словно бы хотел загнать собственный голос в самого себя:

— Да.

С этой поры атаман Семенов получал от Писарева донесения, полные оптимизма и веры в то, что Григорий Михайлович скоро станет коронованным королем Приморья, братья же Меркуловы поддерживают его во всем, что еще немного, еще чуть-чуть — и американцы отсюда побегут.

Такие сообщения грели душу атамана, он готовился ступить на владивостокский причал полновластным владыкой. Он вызвал к себе Таскина, ногой придвинул к нему стул — садись, мол, в ногах правды нет. Сам атаман подошел к окну и из-за портьеры стал смотреть за тем, что происходит на улице. На улице ничего особенного не происходило. Двое китайцев били зеленщика-корейца, забредшего со своей тележкой, поставленной на тяжелые гремучие колеса, на их территорию; еще двое китайцев стояли в стороне, наблюдали за происходящим. Семенов не выдержал, недовольно поморщился:

— Во короеды! Отчаянной храбрости насекомые!

Таскин приподнялся на стуле, заглянул в окно.

— Четверо на одного — по китайским понятиям нормально, и шестеро на одного — нормально, а вот если семеро, то — перебор. Толкотни много, дерущиеся мешают друг другу.

Таскин так же, как и атаман, не любил китайцев.

— Из всех восточных народов самые боевые — японцы. Это — настоящие солдаты. Самураи.

Таскин насмешливо скривил уголок рта, соображая, возразить собеседнику или нет: у него было свое отношение к самураям. Он подумал немного и произнес:

— А ведь японцы-то — того... К самураям относятся по-разному.

Семенов немедленно набычился, свел брови в одну прямую линию:

— Это как так?

— В провинции Идзуми, например, есть городок Сакаи, где самураи вообще предпочитают не появляться. Там, в Сакаи, кстати, родилась знаменитая чайная церемония — тядо.

— Это когда чай пьют в час по чайной ложке? — Семенов насмешливо хмыкнул.

— Да, но в этой медлительности сокрыт глубокий жизненный смысл. Чайные домики сакайцы делали такие крохотные, что самураи могли вползать в них лишь на четвереньках, стучаясь лбом о землю.

— Все-то ты знаешь! Но сабля, Сергей, все равно в конце концов победила твои чайные хитрости.

— Это совсем не означает, что вся Япония стала поклонницей самураев.

— Главное, чтобы они к России относились хорошо. А без чайных мерлихлюндий мы обойдемся легко. Но я тебя вызвал не затем, чтобы выслушать истории о друзьях-самураях.

— Догадываюсь.

— Дело с Приморьем на мази. Готовься — в мае будем перемещаться во Владивосток. К той поре придется сделать кое-какие крупные вливания... Золотом, Сергей, золотом! Понял? — Семенов поднял указательный палец и взглянул в окно и с удивлением смог наблюдать завершение драки.

Ловко развернувшись в прыжке на сто восемьдесят градусов, кореец с лету ткнул китайца, который напал на него, ногою в пах, отскочил на метр и нанес еще один удар ногой — все туда же, в «причинное» место. Затем снова развернулся и, качаясь в прыжках из одной стороны в другую, сделавшись по-кошачьи гибким, опасным, пошел на китайцев; одного, не мудрствуя лукаво, ткнул пальцем в глаз, китаец с оканьем, складываясь пополам, будто куль, ткнулся головой в землю, второй, увидев такое дело, поспешно развернулся и дал с площади деру.

Кореец тоже предпочел здесь не задерживаться, подхватил свою тележку и с грохотом помчался прочь...

Атаман удовлетворенно хмыкнул и отошел от окна.
— Давно бы так!

Кланя за зиму вытянулась, похорошела, в глазах у нее появилось что-то загадочное, влекущее. Как заметил старик Тимофей Гаврилович, прапорщик стал тщательно следить за собой, под воротник заношенного кителя начал подкладывать белую, свежую полоску ткани и мелом чистил пуговицы, не позволял себе отпускать на лице щетину, как это делали другие казаки, — каждое утро скреб щеки немецкой бритвой.

Иногда дед подкатывался к Вырлану с вопросами насчет его прошлого, родителей. Очень хотелось знать Тимофею Гавриловичу, богат прапорщик или беден, есть ли у него надежное место, где он может обосноваться в будущем — ведь не век же ему воевать, придется прибиваться к родному берегу, — но Вырлан от этих вопросов уходил, вежливо улыбался, смотря сквозь деда, и это деду не нравилось. Он тревожился не за Вырлана, а за Кланю, подавленно стискивал в кулаке бороду и, поскольку был человеком стеснительным, то отставал от прапорщика.

Вырлан тоже был человеком стеснительным, он ощущал себя виноватым, поскольку не все мог рассказать деду. Отец у Вырлана, образованный сельский учитель, был комиссаром одной из красных дивизий, мать — начальником госпиталя там же, старший брат — командиром разведэскадрона у Буденного, второй брат вообще работал в секретариате у Ленина, один только Дмитрий Вырлан — непутевый человек, по определению родичей, а по определению товарища Троцкого — вообще классовый враг — служил у белых...

Ну разве расскажешь об этом славному старику Тимофею Гавриловичу? Он не сдержится где-нибудь, проговорится и тут же подпишет Вырлану смертный приговор: семеновская контрразведка особо церемониться не будет.

На нынешний день только одна радость и освещает прапорщику дорогу, словно некий теплый огонек — Кланя. Он влюбился в нее сразу, безоглядно, едва увидев в большом мрачном доме с крохотными подслеповатыми окнами.

При встречах с Кланей прапорщик делал строгое учительское лицо, вид у него становился неожиданно неприступным, даже высокомерным, а внутри все мигом приходило в смятенное состояние, сердце начинало сладко ныть. Он замечал заинтересованные Кланины взгляды и боялся в них поверить.

К апрелю артели — если, конечно, старательские казачьи бригады можно назвать артелями — поставили атаману три

туда двенадцать фунтов рудного золота. Это было много, очень много — ни одна артель на Дальнем Востоке не могла похвастаться такой добычей, хотя в войну золото, словно почувствовав людскую кровь, само полезно на поверхность, найти его было легко, но легкое золото обладало способностью колдовски улетучиваться, исчезать либо притягивать к себе другую кровь. Вырлан, размышляя об этом, лишь мрачнел да украдкой поглядывал на Кланю — ему, как и деду Тимофею Гавриловичу, хотелось, чтобы жизнь у этой славной девушки была безоблачной, и если Богу будет годно, чтобы они соединились, уж он постарается сделать все, чтобы так оно и было.

Однажды — это случилось уже давно, сразу после Рождества, дней через пять или шесть, в мягком и теплом апреле уже и не вспомнить точно, когда это было, — повалил снег. Густой, крупный, каждая снежина в лепешку, снег шлепался на землю с тяжелым чавкающим звуком, очень быстро украсил ее, сделал нарядной, прикрыл белым одеялом грязную человеческую топанину, обнажившиеся макушки гольцов, камни, выступившие по обеим берегам реки, привел не только природу, но и души людей в некое очищенное, приподнятое состояние.

Бригады продолжали работать под присмотром Белова, а Вырлан, почувствовав себя неважно, решил малость подлечиться. Две недели назад у него в груди появились хрипы, организм прапорщика начал работать теперь, будто дряхлая корабельная машина, давно не видевшая ремонта, иногда Вырлан просыпался ночью от шлепанья мокрети, скопившейся в собственной груди, ослабевший, сам себе противный, с липким лбом и тяжело бьющимся сердцем. Всякие хвори и простуды в Сибири всегда вышибали хорошей банькой.

Дед выкатил из-под навеса десяток березовых чурок и принялся ловко расколупывать их старым, с истесанным лезвием топором. Через двадцать минут труба над банькой, похочая на обломок орудийного ствола, грозно нацелившегося в небо, выпустила на волю первое колечко дыма. Вырлан, глянув, нет ли неподалеку деда, попытался откашляться и пропустил момент, когда под окном невесомой тенью проскользила Кланя, увидел ее уже в проеме двери, испуганную и озабоченную одновременно.

— Это когда же вы успели простудиться? Ведь еще вчера ничего не было. Или было?

Вырлан произнес неопределенно:

— Да вот, проворонил... — Улыбнулся натянуто: — Попробую банькой клин вышибить.

— Дедуня баню уже затопил. Но баня — этого мало, господин прапорщик.

— Кланя, не зовите меня, пожалуйста, господином прапорщиком, — неожиданно попросил Вырлан, дивясь собственной смелости, — не надо. У меня есть имя.

— И как вас зовут?

— Родители звали Митей.

— А отчество?

— Алексеевич. Дмитрий Алексеевич. Но лучше без отчества.

— Я вам, Дмитрий Алексеевич, к бане травяной отвар сготовлю.

— Лучше просто Дмитрий. Митя.

— Извините, — Кланя засмушалась, — я так не могу.

— Я тоже с ходу не могу, — признался Вырлан, — пороку не хватает, а некоторые предлагают с ходу обращаться на «ты». Это уж совсем. В общем, у меня так не получается.

— После бани выпьете отвару, потом через час еще и подтулуп до утра. Пропотеете хорошенько, а утром встанете как новый целковый.

Так оно и вышло. Утром он был здоров, в легких ничего не чуфыркало, не сипело, не хрипело, не чавкало. Поев немного копченой медвежатины — целебного мяса, предложенного Кланей, — Вырлан собрался было проверить, чего там накопили подопечные старатели. Увидел Кланю, поклонился ей.

— Благодарю вас, — Вырлан приложил руку к груди и еще раз поклонился, — если бы не вы, я бы наверняка еще пару месяцев прокашлял.

В ответ прапорщика обдало таким радостным сиянием, сыпанувшим из девичьих глаз, что он едва не зажмурился, в висках что-то громко застучало.

Через неделю ночью Вырлан проснулся от того, что почувствовал на себе чей-то взгляд. Не открывая глаз, прапорщик для вида всхрапнул, перевернулся на бок, сунул руку под подушку и, выхватив оттуда наган, спросил, вглядываясь в сумрак:

— Кто здесь?

В тусклом свете коптишки, горевшей в комнате всю ночь, заметил в полутора метрах от топчана, на котором спал, Кланю. Она, увидев, что Вырлан очнулся, проговорила шепотом:

— Вы сильно кричали во сне. Я подумала, не случилось ли что?

Вырлан сунул наган под подушку.

— Простите, мне приснилось, что меня снова ранило.

Кланя сделала шаг вперед, неожиданно нагнулась над ним и погладила пальцами по щеке:

— Бедный вы!

Прапорщик вспыхнул свечкой, словно мальчишка, но ничего не сказал. Кланя еще раз погладила его по щеке — прикосновение было невесомым, — выпрямилась. Глаза ее в коптишечьем сумраке были огромными, темными, как у великомученицы. Кланя вздохнула и исчезла. Будто шаманка. Вырлан протер глаза — девушки не было. Огляделся по сторонам: Белов бормотал, переговариваясь во сне с братом, который погиб в Хабаровске от бандитского ножа, его «земеля» казак Сотников — дальний родственник заваленного тигром Емельяна — хрипел: во сне он угодил в газовую атаку...

Вырлану было жаль этих людей, но он ничем не мог им помочь; поморщившись горько, уронил голову на подушку и уснул, разом погружаясь в красную горячую муть, в некий чертенычий котел, в звуки стрельбы, в крики, в шипенье осколков и пуль.

В самом конце марта в распадок деда Тимофея Гавриловича прискакали два офицера в сопровождении полутора десятков казаков: один — капитан с серым, словно запыленным лицом, другой — молодой лоцный поручик с ухоженной, лоснящейся от американского бриолина прической.

Поручик лихо спрыгнул с коня, бросил на землю повод и с интересом посмотрел на деда, поспешившего выйти из дома. Произнес неодобрительным тоном:

— Неплохо, однако, спрятались!

Дед виновато развел руки в стороны:

— Извиняйте, ежели что не так, ваше благородие!

Капитан неспешно слез с коня, засунул руку под седло, проверяя, сильно ли вспотел его гнедой, произнес спокойно:

— Ты, Емцов, без нужды не придирайся.

Поручик на одергивание капитана даже не обратил внимания, увидел, что брошенный им повод никто не подхватил, грозно щелкнул плеткой по голенищу сапога. К поводу в тот же миг подскочил низенький казак в вытертой мерлушковой папахе.

— А где, дед, у вас прапорщик Вырлан? — спросил поручик.

— Как где, ваше благородие? Там, где ему и положено быть — на добыче металла. А вы чего, — дед сощурился же-

стко, словно выслеживал дичь, — с проверкой приехали, что ли?

Емцов не посчитал нужным ответить старику, щелкнул плеткой по сапогу и обратился к капитану:

— Может, сейчас мы и поедем на эту до-бы-чу, а? Посмотрим на благородный металл?

— Не спешите, Емцов. Знаете, где нужна спешка?

Емцов расхохотался, поправил пробор на набриолиненной голове.

Прапорщик Вырлан после первого же вопроса понял, зачем пожаловали эти господа. Собственно, тут и понимать было нечего.

— Как и при каких обстоятельствах урядник Сазонов был включен в вашу команду? — с ходу спросил Емцов.

— Команду формировал не я, — спокойно ответил Вырлан, — я ее принял, когда она уже была собрана.

— Допустим. Но по сути, Сазонов был вашим заместителем в команде. И вы хотите сказать, что раньше не были знакомы со своим заместителем?

— Не был.

Емцов с восхищенным видом покрутил головой:

— Не верю!

В конце допроса выяснилось, что Сазонов был задержан во Владивостокском порту — он пристроился к бригаде докеров. Если бы в семеновскую контрразведку не стукнул один из осведомителей, беглеца вряд ли бы сумели задержать.

— И что же будет с Сазоновым? — спросил Вырлан, подписывая протокол допроса — гости оказались ревнителями процессуального производства, потребовали, чтобы прапорщик подписал каждую страницу в отдельности.

— Военно-полевой суд решит, — равнодушно ответил поручик, — Сазонова будут судить как дезертира. По законам военного времени.

Вырлан почувствовал, как у него задергалось левое веко: что такое военно-полевой суд, он хорошо знал — похоронил двух своих товарищей, расстрелянных по приговору «полевиков».

— Но война кончилась.

— Война кончилась, а закон никто не отменял, забыли, прапорщик? — В голосе Емцова послышались издевательские нотки. — Гражданская война переросла в классовую. Это единственное, в чем мы сходимся с большевиками.

— Все-таки скажите, что ждет урядника?

— Пуля, — коротко и спокойно ответил поручик.

— Альтернативы нет?

— А что вы хотите?

— Прислали бы урядника к нам, мы бы поставили его на рабочее место, добывал бы металл на пользу России.

— Он у вас уже был, только ничего путного из этого не получилось.

— Пришлите в цепях, но не убивайте. Пусть работает.

— Я против этого. Сазонова надо наказать обязательно. Хотя бы ради одного — чтобы другим было неповадно.

Во второй половине апреля, когда дедов распадок сделался белым от цветения — рано и очень густо зацвела дикая вишня, — пришло печальное известие: урядник Сазонов был расстрелян.

Во Владивостоке установилась небывалая для апреля жара — набережные дымились, исходили сизым струистым паром, к железным бортам судов невозможно было прикоснуться.

В один из таких жарких дней к Писареву на квартиру вновь пожаловали контрразведчики, одетые, несмотря на жару, в плотные, отлично сшитые костюмы.

— Господин Писарев, вам положен гонорар, — произнес один из них и достал из кармана ведомость и тощую пачечку денег, перетянутую полосатой банковской бумажкой.

Писарев бросил на пачечку быстрый взгляд и поморщился: во Владивостоке, где принимали либо золотые николаевские пятерки с червонцами, либо йены и доллары, на эти бумажки даже пустую пачку от папирос не купишь.

— А в долларах или йенах нельзя? — спросил он.

— Нет.

Бывший штабс-капитан вздохнул.

— Недорого же вы цените наш труд.

— Совсем напротив. Как истинно русскому человеку мы выдаем вам истинно русские деньги — рубли. Патриоты от иностранной валюты обычно отказываются.

— Ну, это обычные люди, а я — человек необычный.

Старший промолчал, извлек из кармана расписку, заранее отпечатанную на машинке.

— Для того чтобы окончательно поставить точки над «i», нужны две подписи — в ведомости и в расписке.

— Не оставлять следов нельзя?

— Об этом следе никто никогда не узнает. — Старший достал из кармана пиджака вечное перо, открутил колпачок.

Писарев взял перо, вздохнув, дурашливо поплевал на него и расписался. Вначале в одной бумаге, потом в другой.

— Осталось провести заключительный этап операции, — сказал старший, — и мы с вами, Сергей Артамонович, разойдемся, как в море корабли. Красиво, торжественным строем.

— Хорошо, что без салюта, — Писарев выразительно щелкнул пальцами, — таких салютов я боюсь.

— Завтра вы должны послать Григорию Михайловичу депешу следующего содержания: «Все готово к восстанию. Владивосток, соскучившийся по сильной руке и порядку, уставший от мелких переворотов, в результате которых к власти приходили никчемные люди, безоговорочно поддержит Вас. Последний разговор с братьями Меркуловыми состоялся два часа назад. Они делают ставку на Вас, Ваше высокопревосходительство, и только на Вас. Сообщите о дате Вашего выступления из Порт-Артура». — Старший умолк и удивленно поднял брови. — Сергей Артамонович, да вы, никак, обладаете памятью Цезаря, Сенеки и Фомы Аквинского, вместе взятых?

— А что, собственно, я такого сделал? — уловив опасные нотки в голосе контрразведчика, жалобно произнес Писарев.

— Почему не записываете текст?

— У меня хорошая память. Я все запоминаю.

— В этом тексте важны не только слова — важны даже запятые. Ну-ка, возьмите бумагу, напишите, что вы запомнили.

Писарев покорно взял лист бумаги и протянутое ему дорогое вечное перо, быстро накидал несколько строчек, отдал лист старшему.

— Проверьте, все верно?

Тот прочитал текст, наклонил голову:

— Верно, но запятые стоят на месте не везде.

— Винюват! — пробормотал Писарев сконфуженно.

На следующий день секретное сообщение бывшего штабс-капитана ушло к атаману Семенову.

Май в распадке выдался розовым — даже белая черемуха и та цвела розовыми, будто обрызганными разбавленной кровью кистями, людям делалось жутковато от этой розовины, слова прилипали к языку, застревали, казаки разводили руки в стороны да вздыхали: одна Гражданская война осталась позади, как бы не грянула вторая...

Это больше всего беспокоило казаков. Они устали, от всего устали...

Утром четвертого мая казак Сотников выбрался из дедова дома до «ветра». Солнце еще не поднялось, плавало где-то за сопками, в прозрачном розовом воздухе тени, прилипшие к каменным горбушкам, были ослепительно синими, от них даже слезились глаза. Сотников потер веки кулаками, сделал несколько шагов по тропке, ведущей к домику, на двери которого было вырезано кокетливое сердечко — прапорщик Вырлан распорядился, чтобы все удобства в распадке были, как «в городе Владивостоке», хватит ходить в кусты, — и охнул: в правую руку его кто-то ширнул гвоздем. Рука сразу внезапно сделалась чужой, тяжелой — в следующий миг Сотников увидел уползающую от него маленькую темную змейку.

«Стрелка!» — мелькнула в голове встревоженная мысль.

Стрелки — самые опасные в здешних местах змеи, тугой пружиной прыгают на человека прямо с тропы, достают не только до руки, могут вцепиться и в лицо. Что самое гадкое — осеңью змейка бывает не так опасна, но ее весенний укус — смертельный.

Сотников попробовал еще раз поднять укушенную руку — не получилось, она налилась горячей тяжестью, онемела. Казак вяло зашевелил белыми губами, пытаясь позвать кого-нибудь на помощь, но голос исчез, горячая тяжесть стремительно переползла в грудь, заполнила ее. Сотников развернулся лицом к дому, сделал коротенький пажок, засипел удавленно и рухнул на дорожку.

До подъема оставалось пятьдесят минут, все спали. Эти минуты, как известно, самые сладкие, сон же — самый здоровый, не доберешь какой-нибудь четверти часа — весь день потом пойдет насмарку.

Вырлан видел счастливым сон — видел в нем себя и Кланю: держась за руки, они шли по незнакомой цветущей улице. Вчера он, перебарывая неудобную тяжесть, возникшую в нем, сказал Клане:

— Я хочу добиться невозможного...

— Чего же? — Кланя, словно что-то почувствовав, залилась краской.

Сладкий спазм перехватил прапорщику дыхание, он, сглотнув, произнес внятно, четко, будто сдавал экзамен в офицерском училище:

— Я хочу, чтобы вы вышли за меня замуж.

Девичье лицо сделалось совсем вишневым, она отрицательно мотнула головой. Вырлан почувствовал, как спазм

ему вновь перекрыл дыхание, он опять, во второй раз, справился с собой, спросил с печальным недоумением:

— Почему?

— Мне это... Мне дедушке об этом надо сказать.

У Вырлана отлегло от сердца.

— Дедушка, по-моему, уже все знает.

— Я ему ничего не говорила.

— А ему и не надо ни о чем говорить, он — человек мудрый, давно уже сам обо всем догадался.

Кланя протестующе мотнула головой:

— Как же так?

— Я сам с ним переговорю, — предложил прапорщик, — ладно?

— Ладно.

— Главное, чтобы вы, Кланя, были согласны.

Кланя обожгла Вырлана протестующим взглядом, вытащила из кармана старый, обметанный ажурной ниткой шелковый платок, прижала его к губам.

— Я вас не тороплю с ответом, — тихо проговорил Вырлан, — все в ваших руках. Как вы решите, так и будет.

Вечером он перехватил у реки старика — тот налаживал, готовясь забросить в воду, небольшую сеть-закидушку: в этом году в реке рано появился голец. Из его сочного, как у лосося, красного мяса уха — та самая, что надо, вязкая, нежная, такая, что даже если будешь переполнен едой по самые уши — все равно пару-тройку тарелок съешь, вот дед и обрадовался нашествию этой хищной пятнистой рыбы. Вырлан присел рядом на камень.

— Тимофей Гаврилович, есть разговор.

Дед взглянул на него и все понял. Вздохнул.

— Самое дорогое, что у меня осталось в этой жизни — Кланя, — сжав глаза в щелки и оглядев распадок внимательно, будто прощаясь с ним, произнес старик, — больше никого и ничего нет. Держать ее около себя не могу. Не имею права... Да и жить осталось мне... — старик не выдержал, обреченно махнул рукой, — поэтому понимаешь, ваше благородие, как важно мне пристроить ее в надежную семью, отдать человеку, которому я верю.

— Мне можете верить, Тимофей Гаврилович, — горячо, слыша, как его собственный голос наполняется каким-то испуганным звоном — вдруг старик определит Кланю куда-то еще, — произнес Вырлан. — Хоть я вам ничего не рассказывал о своей семье, об отце с матерью и родственниках, но это ничего не значит...

— А чего не рассказывал? Боялся, что выдам? — Старик сощурился сожалеюще и одновременно с усмешкой. — В жизни не выдал ни одного человека. Даже когда меня пытали.

— Было и такое? — удивился Вырлан.

— Я — человек старый, у меня все было, — назидательным тоном произнес старик. — Трепали меня как-то насчет золотишка. Ноги, правда, не переломали, но иголки под ногти загоняли.

— Кто это был?

— А! — старик махнул рукой. — Кто был, тот сплыл, ваше благородие. — Он помолчал немного, глядя в реку. Край сетки, к которому было прикручено несколько поплавков, вырезанных из пробкового дерева, задергался, вода под поплавками зарыбила, и старик удовлетворенно потер руки: по-ложке, в сетку попал крупный голец.

— Знаком я с такими людьми, мне они тоже попадались.

— Богатства особого за Кланей не будет, чего нет, того нет, но кое-что из золотишка, что мне удалось добыть, я дам, — сказал старик. — Есть у меня и самородки — пара штук вполне приличных, есть песок, есть рудное рыжье, очень чистое — во Владивостоке в лаборатории проверяли, дали очень хорошее заключение. Лет на пять—семь, чтобы вам с Кланей прожить без особой натуги, хватит, а там, глядишь, благоприятный ветер подует и жизнь изменится. Сам же я отсюда никуда не уйду. Если только силой меня выволокут... Либо ногами вперед унесут.

— Из армии я демобилизуюсь. Я же горный инженер и на золотых приисках для того же Семенова больше пользы принесу, чем в строю какой-нибудь пешей роты...

— Никто из армии тебя не отпустит, ваше благородие. На прииски, может быть, и отпустят, но погоны снять не дадут. Время для этого еще не поспело, я так разумею. — Старик пожевал губами, словно хотел что-то ими перетереть, вздохнул. — Из армии надо бежать, вот что я скажу.

— Насадят на пулю, как это сделали с Сазоновым, и дело этим закончится. Бежать нельзя, Тимофей Гаврилович. Надо добиться демобилизации.

— Не получится, ваше благородие, помани мое слово, — старик с сомнением покачал головой, — как только подашь рапорт, так контрразведчики возьмут на особую заметку и вместо двух глаз будут следить в шестнадцать.

Поплавки, привязанные к краю сетки, продолжали дружно приплясывать, взбивали на воде рябь — похоже, в ячее сидело уже не менее пяти рыбин, сетку можно было снимать, но

старик медлил: то ли разговор прерывать не хотел, то ли считал, что снимать снасть еще рано.

— Мне сказывали, что вы близки к атаману Семенову, — осторожно проговорил Вырлан, замолчал, не решаясь продолжить фразу.

— Знаком, — поправил его старик, — но это ничего не значит. Думаю, Григорию Михайлову не всегда бывало и бывает ведомо, что творят его люди. — Лицо у деда подобралось, сделалось жестким. — Не будем об этом.

— Не будем, — согласным эхом повторил Вырлан.

Прапорщик расстался с дедом счастливый — давно не ощущал в себе такой легкости, какой-то мальчишеской беззаботности, как в эти минуты, старик на прощание улыбнулся ему ободряюще и ухватился руками за тугой, вырывающийся из пальцев край сетки, Вырлан сделал движение, чтобы помочь, но старик отстранил прапорщика:

— Я сам!

...Неожиданно прапорщик выгнулся рыбой на кровати, засипел раздосадованно. Вырлан не удержался, выругался, в ответ услышал испуганный вскрик, пробившийся к нему из-за непрочной оболочки сна, и открыл глаза.

Его теребил за плечо молоденький пухлогубый казак из последнего пополнения:

— Ваше благородие!

Вырлан сел на топчане, покрутил головой.

— Там это... — потрясенно проговорил казак и потыкал рукою в сторону двери. — Там это...

Прапорщик быстро натянул брюки, сапоги и выбежал на улицу.

Сотников лежал в трех метрах от порога, скорчившийся, похожий на большую улитку, пытавшуюся в последнем, предсмертном движении сбросить с себя панцырь. Укушенная рука вспухла и почернела, пальцы сделались толстыми, будто скоропортящиеся вареные колбаски из мясного магазина господина Елисеева, которые в детстве любил Вырлан, глаза закатились, обнажив красные кровянистые белки. Вырлан прижал пальцы к шее казака, там, где вспучилась артерия жила — не проклюнется ли пульс? Кожа под пальцами была холодной, неживой. Все поняв, прапорщик удрученно произнес:

— Ах, Сотников!

Наверное, дед Тимофей Гаврилович прав, когда говорит, что во всех бедах виновато золото, это оно берет страшную плату.

...Информация о золотодобытчиках поступала к атаману Семенову под грифом «Секретно», что и сообщения Писарева, но если писаревские сообщения Таскин не держал под своим контролем, то информацию о золоте старался держать. Безмятежным майским утром он пришел в кабинет к атаману.

— У деда на золоте погибают люди, — сказал он.

— Ну и что?

— Да так, ничего...

— Считаешь, нет ли в этом чего-нибудь такого? — Атаман сложил пальцы бокалом, повертел ими в воздухе. — Происков красных либо коминтерновцев, а? Да и свои братья однополчане по белой гвардии могли насолить... Правда?

— Насчет своих пока исключено.

— Нет, значит? Ну, а раз нет, то пусть все остается так, как есть, — успокоенно произнес атаман. — Людей у нас достаточно. Люди и патроны для того и существуют, чтобы их жечь в бою. Кто там у деда из офицеров сидит?

— Прапорщик, горный инженер с дипломом.

— Человек проверенный?

— Контрразведка проверяла, замечаний особых нет... Так, кое-что по мелочи.

— По мелочи — не в счет, — великодушно произнес атаман. — Главное — как работает?

— Работает хорошо.

— Раз так, то контрразведка пусть не придирается. Вот когда будет работать плохо, тогда — пше прашем, панове! Если этот прапорщик потребует еще людей — дать! Людей ради достижения крупной цели жалеть не следует.

Оставшись один, Семенов достал из стола красную кожаную папку, в которой держал все сведения о движении золота — сколько где взято, на что потрачено, какие пополнения следует ожидать, что поступило из тайги, с рек, сколько еще предстоит истратить. Атаман подсчитал, крикнул от досады и поскреб пальцами затылок — потратить предстояло еще столько, что в глазах невольно делалось темно.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Идти во Владивосток Семенов решил морем, на японской шхуне.

По прямому проводу из японского штаба в Порт-Артуре Семенов связался с японским штабом во Владивостоке. На-

чальник штаба отказался говорить с Семеновым — он проводил совещание, а заместитель уехал в Раздольное к японским рыбакам, недавно побывавшим на Сахалине, их шхуна потерпела там крушение. Японцы начали очень внимательно приглядываться к Сахалину, и их штабисты были заняты теперь этой стратегической задачей.

— Каспадина атамана, ваше появление во Владивостоке сейчас будет рано, нада подождать, — сказал оказавшийся у аппарата начальник оперативного отдела, владеющий русским языком.

У Семенова от такого странного предупреждения перед глазами даже желтые блохи заскакали: ничего себе заявочки — надо подождать! По мнению атамана, сейчас самое то — ни рано, ни поздно. А вот далее... Далее будет поздно.

— Вы чего, очумели там все? — грозно прорычал атаман.

Слово «очумели» японец не знал, спросил озадаченно:

— Как это?

— А так! — вскричал атаман и умолк — в горле у него что-то застряло, голос сел, и Семенов обиженно помотал перед лицом ладонью.

— Японское военное командование считает, что ваше появление сейчас во Владивостоке будет рано, — бесстрастным голосом повторил японец, — надо подождать.

— Сколько ждать?

— Это вам будет сообщено.

Семенов швырнул трубку в руки телефонисту, тот едва успел ее поймать, и, с грохотом двинув дверь, покинул аппаратную.

Происходило нечто странное, непонятное, что вызвало у Семенова ощущение тревоги, злости и какого-то далекого, спрятанного внутри страха — неужели японцы отвернулись от него? Неужели? А ведь он ни разу не подвел их, не остушился, не предал — выполнял все, что они диктовали, передал им часть золота из российского государственного запаса, за что ему потомки вряд ли будут благодарны... Семенов не выдержал, вскрикнул горько. Кто-то за его спиной решил сыграть по-крупному. Но кто? Японцы? Американцы? Особого влияния американцев на дальнем Востоке Семенов что-то не замечал — значит, не они. Тогда кто? Братья Меркуловы? Каппелевцы?

Кто же оказался таким сильным, что даже стойкие подданные микадо не выдержали, дрогнули? Семенов поймал себя на мысли, что ему становится все труднее брать себя в ру-

ки — что-то сработалось в нем, стесалось, и вот результат — начали отказывать тормоза.

Он стиснул пальцы в кулак, разжал, снова склепнявил их, сжал, разжал... На улице по-мальчишески ловко, несмотря на грузность тела, прыгнул в автомобиль и приказал «шофферу» Евстигнееву:

— В штаб! Срочно!

В штабе его ждал Таскин.

— От братьев Меркуловых пришла телеграмма, — сообщил он.

По кислому лицу Таскина без слов было понятно, что это за телеграмма.

— Давай телеграмму! — Семенов сделал резкое движение рукой.

— Григорий Михайлович, телеграмма секретная..

— Плевать! Мне же она адресована, а не уряднику Попкину. И не тебе. Давай ее сюда! — Семенов начал горячиться, нетерпеливо пощелкал пальцами, загорелое лицо его набухло нездоровой темнотой, под глазами рельефно обозначились мешки, ус нервно задержался: кто же повел против него гнусную игру? Наверняка один из тех, кто еще вчера клялся в верности до гроба... тьфу!

— Телеграмма у шифровальщика. Он сейчас ее принесет. В кабинет, — специально подчеркнул Таскин.

Семенов стиснул зубы, но ничего не сказал.

Через несколько минут он держал телеграмму в руках, нервно шевелил губами, стараясь вникнуть в текст, но слова проскальзывали мимо сознания, Семенов ничего понять не мог и начинал читать телеграмму снова. Наконец текст прочтено впечатался в мозг, но и теперь Семенов отказывался поверить тому, что ему сообщали братья Меркуловы — в это просто нельзя было верить. Неужели Меркуловы оказались обыкновенными лжецами?

Меркуловы сообщали, что ситуация во Владивостоке резко изменилась и появление Семенова в городе нежелательно — это первое, и второе — они рекомендовали атаману немедленно отказаться от вооруженной борьбы с красными.

Это был удар ниже пояса.

— Ничего себе клубок завязался! — не удержался атаман от восклицания. — Змеиный.

Семенов тяжело опустился в кресло. Несколько минут сидел молча, лишь поглядывал в окно на залитую солнцем площадь. Пахло цветущей черемухой. Порт-Артур накрыла си-

речевая дымка, рождающая благостное состояние, но никакой благостности атаман не ощущал — на душе было мрачно, темно, горизонт душевный заслонили черные тучи. Лицо его обвело, просело, утяжеляясь в подбородке, гневные глаза обрели гороховый цвет, выделялись лишь зрачки — жесткие, злые; наконец-то атаман ожил, упрямо подвигал нижней челюстью, словно боксер, проигрывавший бой, но решивший держаться до конца.

— Значит, так, Сергей, — сказал он Таскину, — надо срочно послать к этому... вшивому штабс-капитану — пусть немедленно просветит нас — что там происходит? Послать также людей к другим нашим осведомителям, собрать данные у них — это раз. Два — послать оперативного офицера к генералу Савельеву. Сдается мне, хваленый наш Савельев прохлопал ситуацию. Три — пошли курьера к Буйvidу.

Полковник Валериан Буйвид был человеком, безгранично преданным атаману, ему Семенов верил как самому себе, поскольку Буйвид вместе с гродековцами выдвинулся во Владивосток и как природный разведчик явно имеет свою информацию. Глаз у Валериана цепкий, мозги работают отлично, реакция — как у кошки, вышедшей на ночную охоту. Имелись в семеновском войске и другие Буйвиды, но они Валериану и в подметки не годились.

— Надо спешно собрать информацию. Что происходит, Сергей, что происходит... Непонятно. Похоже, мир стал раком и люди стряхивают пепел своих папирос в задницу старушке-планете.

— Ну что, Григорий Михайлович, Владивосток отменяется?

— Совсем наоборот. Мы будем во Владивостоке обязательно. В те сроки, которые сами же и определили.

Генерал Савельев отозвался стремительно — «аллкор три креста», — сообщил, что и сам он, и его заместители генералы Глебов и Нечаев гарантируют (Савельев так и написал в своем донесении — «гарантируют») лояльность братьев Меркуловых; точно такое же донесение прислал и Писарев.

Буйвид с ответом замешкался, но зато послание его резко контрастировало с тем, что сообщали другие: полковник не верил братьям. «Лживые, двурушные, с душою предателей, — написал он, — на Россию им наплевать. Главное для них — чтобы собственная мощь не оскудела. А народ, люди разные, людишки — это мошка. Люди существуют для Меркуловых только для того, чтобы угождать. Не верьте братьям, Ваше превосходительство!»

Время шло.

Сообщение Буйвида озадачило атамана. Никогда Таскин не видел его таким озабоченным и растерянным, как в те дни. Из глаз Семенова не исчезало какое-то загнанное животное выражение, и Таскин понимал: Семенов был великолепным рубакой, знал, где у кобылы зад с хвостом и где перед с зубами, мог развалить любого пентюха пополам от ушей до копчика, мог командовать эскадромом и полком, мог беседовать с политиками, не подавая им руки, но когда ему самому надлежало принять политическое решение — терялся. Такими, собственно, в мирную пору оказались многие военные.

Поймав вопросительный взгляд Таскина, атаман пожаловался:

— Голова болит!

— Может быть, коньячку? А? Для расширения сосудов. Головную боль как рукой снимет.

— Нет. Головную боль снимет, но не снимет ничего другого. Мутные от коньяка мозги плохо, кстати, работают.

Нужно было принимать решение — идти во Владивосток или не идти?

— Знаете, как будет по-турецки стакан, Григорий Михайлович?

— Ну?

— Бардак.

— Верно. Бардак. Кругом один бардак.

Через час атаман принял решение — пора отправляться во Владивосток.

Хотя и собрались отправляться туда морем, на всякий случай обсудили, каким еще способом можно добраться до столицы Приморья. Можно по воздуху, аэропланом, но своих аэропланов у Семенова не было, пользоваться чужими опасно — могли запросто посадить на половине пути, где-нибудь в утрюмом месте, среди сопок, и угнать в тайгу — врагов у атамана более чем достаточно, он сам всех их не мог перечислить, поэтому воздушный вариант отпадал.

Еще более опасным был железнодорожный вариант: поезд могли остановить ночью на глухом полустанке — любимый прием китайцев, могли отцепить атаманский вагон или вообще кинуть роту капеллецев либо пару эскадронов казаков, враждебных Семенову. Взять же с собою пулеметы, чтобы в случае чего отбиться, как это было совсем недавно, атаман не имел права — он находился на чужой территории, в чужом государстве и вынужден был подчиняться чужим законам...

Для путешествия на автомобиле не было хороших дорог, да и долго... долго ехать и верхом, конвой и атаман задницы себе поотбивает так, что потом будет ходить целую неделю враскорячку, а для атамана это — потеря авторитета.

Оставалось море, только море.

В порт-артурской гавани, недалеко от Адмиральской пристани, стояла японская шхуна «Киодо-Мару». Это современное, с хищным пиратским носом судно, приспособленное для быстрого хода, имело молчаливую команду, не привыкшую интересоваться, кто находится у нее на борту, в просторных каютах, отделанных красным деревом. «Киодо-Мару» могла идти и под парусами, и на машинной тяге — универсальная была штучка. Таскин заслал на нее контрразведчиков, чтобы те «промяли» обстановочку — можно ли на этой шхуне плыть во Владивосток или есть какие-то сомнения?

Контрразведчики вернулись с «Киодо-Мару» довольные:

— Команда от наших дряг и вообще от политики далека так же, как навозный жук с байкальского огорода от задницы африканского бегемота. Команду интересуют только деньги, а кому служить верой и правдой, им плевать — хоть микаде своему, хоть эфиопскому негусу... Лишь бы платили.

— Значит, готовы обеспечить стопроцентную безопасность?

— Готовы!

К вечеру капитан «Киодо-Мару» получил от казначея семеновского штаба аванс в йенах. Казначей предложил и русские золотые червонцы, которые по-прежнему были в ходу в большинстве стран мира, но капитан от золота отказался.

— Доктору Когану все равно, чем платить — тугриками, лирами, латами, балалайками или динарами с дырками, — сказал казначей и выдал аванс йенами.

Капитан пересчитал деньги и произнес, не меняя мрачного тона:

— Мало!

Казначей покачал головой осуждающе, прохрюкал в кулак: «Однако» — и добавил еще.

Капитан вновь пересчитал деньги, кивнул — на этот раз довольноно:

— Через десять минут мы будем готовы выйти в море.

Однако в море вышли через восемь часов, вечером, когда в черной пузырьчатой воде начали подслеповато помаргивать отражения звезд. Проходя мимо маяка, капитан включил ре-

вун, и тяжелый тревожный звук стгреб все звезды в одну кучу. Капитан глянул в эту кучу и, поиграв желваками, произнес знакомым мрачным тоном:

— Будет шторм.

— Этого еще не хватало, — возмутился Таскин, который плохо переносил штормовую качку, — может, нам повернуть обратно?

— Нет, — твердо произнес атаман, — возвращаться — плохая примета.

«Киодо-Мару» взяла курс на Владивосток.

Ночью установилась такая пронзительно-полая, такая огромная тишина, что в ней было слышно, как переговариваются звезды, плещется рыба в воде далеко от шхуны, как рычит прибой у скалистого острова, расположенного в пятнадцать миль отсюда; присмирившие волны покорно подкатывались под нос «Киодо-Мару» и, раздавленные тяжестью шхуны, истерзанные, смятые, прекращали свою жизнь и уползали назад, под корму судна.

«Дурак капитан, — довольно подумал Таскин, перевернулся на скрипучем деревянном ложе. — Вон какая тишина стоит — даже зубам больно. И — никакого шторма!»

Через час тишина кончилась. В черных ночных небесах что-то лопнуло с тугим хрустом, будто в куче гнилого картофеля разорвалась граната, — Таскин однажды видел, как казак швырнул гранату в старый картофельный бурт, тот вспучился, словно в него бросили горсть дрожжей, превратился в огромный пузырь и лопнул, вонючие картофельные ошметки потом счищали с домов в двух станицах, — затем раздалось пушечное аханье.

Черноту прорезала длинная зеленая стрела, будто выпущенная из орудийного ствола, по плоским твердым волнам заскакали круглые яркие ядра, вода зашипела, и перед шхуной неожиданно взгорбилась огромная пузырьчатая гора.

«Киодо-Мару» поползла на макушку горы, все ползла на нее, а гора делалась все выше и выше, казалось, ей конца-края не будет — шхуна все поднималась, а гора словно отодвигалась от нее, она никак не могла кончиться. Штурман определил место, где они находились — точно на траверсе острова Фузан.

Едва одолели одну гору, как перед шхуной возникла другая — боле грузная, с крутым пузырьчатым склоном; «Киодо-Мару» поползла на небо, но мощности у машин мигом перестало хватать; капитану показалось, что шхуна поползла с

водяной горы назад, и он резким толчком плеча отбил от штурвала молоденького рулевого, рыкнул на вахтенного штурмана:

— Проверь еще раз курс!

Внутри шхуны, где-то очень далеко под машинами, раздавался железный скрежет, от которого у капитана разом заломило зубы, мелькнула испуганная мысль, что они напоролась на каменный приглубый зуб, но здесь их быть не должно, это капитан знал точно. Скрежет раздался снова, капитан неверяще покрутил головой, нос шхуны задрожал, сместился в сторону, и «Киодо-Мару» медленно поползла с пузырячатой горы вниз. Машины работали на полную мощность, из широкой, как печной зев, трубы летели снопы искр, судорожно пыхтел винт, но движение вперед прекратилось.

Такого с «Киодо-Мару», маневренной и очень ходкой посудинной, еще не случалось. Капитан сцелил зубы, резко заложил штурвал в одну сторону, потом в другую, затем снова развернул шхуну носом к горе.

— Все! Началось! — со злостью проговорил он.

— С этими русскими нам будет весело, — мигом отозвался штурман. — До икоты. С громким хохотом пойдем вместе на дно.

— Зато они заплатили хорошие деньги: можно целый год не работать.

— Мертвым деньги не нужны, — резонно заметил штурман.

— Не каркай! — обрезал его капитан. — Где мы находимся?

— На траверсе Фузана.

— Скорость?

— По количеству оборотов машины... или по данным машинного отделения... десять узлов. Реальную скорость смогу определить через час.

— Лучше через полчаса, — пробурчал капитан недовольно.

Спустя тридцать минут выяснилось, что фактически шхуна стоит на месте — скорость — ноль. Ладно, пусть так, хоть назад не ползет. Скоро, чтобы волны не перевернули шхуну, придется идти лагами, что на деле означает ходить между огромными волнами, лавировать, увертываться от водяных гор в «ущелья», а когда это не удастся — разворачиваться к огромной горе носом либо кормой и со скрипом и чихами ползти вверх. Важно не зевнуть, не подставить гигантскому вихрю воды бок, иначе точно сыграешь в оверкиль⁸⁸ и задерешь вверх «башмаки». Сыграть в оверкиль — значит перевернуться, показать дно.

Через час штурман вновь сообщил капитану:

— Скорость — ноль.

Капитан по-прежнему не отходил от штурвала. Прямо над рубкой грохотал гром, но его не было слышно — забивал рев воды, шхуна скрипела, дрожала, под днищем ее раздавался железный визг, словно судно ползло по камням, небо вспарывало широкие зеленые и оранжевые полосы; капитан вертелся волчком у штурвала, щерил крупные редкие зубы, худое, словно сохшееся лицо его напоминало штурману лик мертвеца, — капитан уже ощущал сильную усталость, мышцы у него ныли, пальцы дрожали, срывались с торчков рулевого колеса.

Через час штурман вновь произнес слова, ставшие для капитана схожими с болью, — он цапнул зубами воздух, стиснул челюсти, приходя в себя, и попросил глухо, чужим голосом:

— Повтори!

— Скорость — ноль!

Шхуна продолжала находиться на траверсе острова Фузан.

В предраассветных сумерках, стараясь не оторваться от надраенного латунного поручня, проложенного между каютами, Семенов, невыспавшийся, с колкой щетиной, проступившей на щеках, постучал в дверь Таскина:

— Открой! Это я!

Таскин не спал, щелкнул вертушкой внутреннего замка.

— Чего-то я перестал слышать твой храп, — сказал атаман. — Понял — не спишь. Решил зайти.

— Какой сон может быть в такой грохот! Вы обратили внимание, что шхуна вертится между волнами, будто флюгер. Туда-сюда, туда-сюда...

— Как пескарь на сковородке. Блевать хочется.

— Не потонуть бы!

— Кому надлежит быть повешенным, тот не потонет.

— Ну и шуточки у вас!

— Не дергайся, не дергайся! Ничего обидного в моих словах нету. Похоже, из-за этого шторма мы прибудем во Владивосток на пару дней позже положенного.

— Пока поводов для беспокойства нет, Григорий Михайлович!

— Это сейчас нет, а через час, когда переговорим с капитаном, появятся. Вот увидишь. Это меня беснокоит.

Таскин поскреб пальцами щетину на лице, приподнял одно плечо и не ответил атаману. В квадратных, мертво закрученных на барашки иллюминаторах ничего не было видно — лишь втекала серая противная сукровица нездорового рас-

света да срывающиеся с волн крупные капли дробью лупили в стекла, грозя выбить их. Семенов сел в кресло с жестким бамбуковым подголовником, проговорил недовольно:

— Мы слишком оторвались от Владивостока. Далеко уехали и... надолго. Потеряли контроль над тем, что происходило в Приморье. И все эти... все эти капустные штабс-капитаны с их лукавыми сообщениями, после которых хотелось выпить стакан чаю... Все эти писаревы — обычные хорьки, едоки денег. Сколько им ни кинь на лапу — все съедят. А что касается России, ее развала, нищеты, болезней, красной заразы, нашего будущего — им на это плевать. Глубоко плевать. И ладно бы только один Писарев — желающих пожрать вволю золотишка на шармачка оказалось слишком много.

— Про Писарева давайте забудем, Григорий Михайлович. Считайте, что этого человека уже нет на свете.

— Правильно. Иуды должны знать, что они иуды, и это — наказуемо.

— Оставаться на зиму во Владивостоке было нельзя. Решение пересидеть эти месяцы в Порт-Артуре — правильное. Во Владивостоке на вас наверняка совершили бы не одно покушение. Чека у красных, надо признать, работает профессионально. — Увидев, что лицо у атамана нервно дернулось, Таскин продолжил безжалостно: — Это во-первых. Во-вторых, власть там все время менялась — в эту зиму и большевики умудрились попереходить, и монархисты, и жида с черными флагами, и меньшевики, и мои бывшие коллеги-эсдеки, которые тоже не очень-то жалуют нас с вами, и кадеты, и обыкновенные хриstopродавцы, ничего, кроме денег и собственного желудка, не признающие...

— К чему ты все это говоришь?

— Да к тому, что заткнуть всякую щелку, из которой лезет гниль, нам все равно не удалось бы. В приморских перипетиях сам черт ногу сломит. А опасностей, опасностей... — Таскин цыкнул языком, покрутил головой. — Нет, игра не стоит свечек, как любил говорить мой мудрый дед. Все было сделано правильно. И то, что мы едем... пардон, плывем во Владивосток сейчас — тоже правильно. Вчера было рано, завтра может быть поздно.

— Ладно, убедил, краснойбай, умеешь доказательно говорить.

— А еще, Григорий Михайлович, я умею собирать деньги и хранить секреты...

Капитан «Киодо-Мару» продолжал стоять за штурвалом — держался на последнем дыхании.

— Штурман, скорость? — выдохнул он пусто.

Штурман поднял на капитана измученный взгляд:

— Скорость — ноль.

Капитан нашел в себе силы, чтобы похмыкать небрежно:

— Хорошо, что хоть назад не ползем, на поле стоим...

После девяти часов пути судно все еще находилось на траверсе острова Фузан.

Во время последнего свидания контрразведчики заявили Писареву:

— Вы — молодец, штабс-капитан! Усердие ваше не будет забыто!

Тот ухмыльнулся, щелкнул каблуками, произнес с пафосом:

— Честь имею!

Контрразведчики поморщились: чего-чего, а чести Писарев не имел, старший произнес:

— Вы понимаете, что мы имеем в виду?

Бывший штабс-капитан просиял радостно:

— Так точно!

Это означало, что ему светил приметный пост в правительстве братьев Меркуловых — не на первых, конечно, ролях, а на вторых, но светил. Став же членом правительства, Писарев покажет, на что способен. Об атамане Семенове бывший штабс-капитан старался не думать.

Старший улыбнулся зубасто:

— Возможно, что и по нашей части дельце найдется.

Радость, горячим костром запалившаяся в Писареве, угасла — иметь с контрразведкой дело дальше не хотелось. Он помял пальцами горло, подыскивая нужные слова, но их не было, и Писарев вновь щелкнул каблуками:

— Б-буду рад!

Старший это просек — человеком он был проницательным, улыбнулся более зубасто, сунул руку в карман, достал оттуда пухлый конверт с печатью известного владивостокского банка:

— Это вам — на ресторанные расходы. — И добавил: — В городе появилось много семеновцев, будьте осторожны.

Бывший штабс-капитан об этом знал, с одной стороны, он опасался встречи со своими прежними сослуживцами, а с другой — чего ему опасаться? Опасаться ему нечего — вряд

ли Семенов, находясь за тридевятью землями от Владивостока, мог что-либо разгадать.

— Ну и что? Капелелевцы тут тоже появились. А они опаснее семеновцев.

— В отличие от последних капелелевцы приехали по КВЖД без оружия. А вот хлопцы вашего патрона, Сергей Артамонович, появились тут вооруженные до зубов. И мозги у них — того... — старший покрутил пальцем у виска, — вначале стреляют, а потом уж задают себе вопрос: надо было стрелять или нет? А Владивосток — город цивилизный, от большевиков и коминтерновцев до монархистов, евреев, американцев и китайцев — всех принимает одинаково радушно. Владивостоку дороги все люди, которые имеют капитал. — Старший поднялся, поправил на голове котелок, проверил, достаточно ли низко он опущен (между фетровым низом шляпы и правой бровью должно пролезть ровно два пальца), затем два пальца приложил к виску: — Как вы сказали? Честь имею? Хм. — Старший хмыкнул в кулак и исчез. Следом исчез и его напарник.

Жить во Владивостоке стало лучше, веселее. В ресторанах не найти свободных столиков, икру в них подавали теперь только в серебряных ведрах, во льду, по три килограмма в каждом ведре — по левую сторону стола знатоки местного этикета ставили ведра с черной икрой, по правую — с нежным красным слабосолом-пятиминуткой — на приготовление такой икры, еще теплой, вынутой из брюха живого лосося, уходило ровно пять минут, передерживать было нельзя.

Бухта Золотой Рог пропиталась духом искусно приготовленного шашлыка, дикой козлятины, вымоченной в красном французском вине, лобстеров, сваренных в оливковом масле двойной очистки.

Жирной семгой и чавычей мореманы с рыбацких шхун считали грязь со своих сапог, а блеск на коже союзок наводили схожей с шелком тяжелой нерки; заезжие канадские китобой лососей вообще за рыбу не считали — отъедались осетриной, невесть откуда взявшейся во Владивостоке — то ли с Волги ее сюда притаранили, то ли с Аляски, то ли вообще с необъятных просторов большевистской Сибири, где, как известно, осетры водятся в количестве бесчисленном... На дамах — соболиные горжетки, обувь — только парижская, украшения — сплошь золото с бриллиантами и изумрудами, итальянский жемчуг у владивостокских модниц вообще перестал считаться дорогим товаром — это, мол, так себе, тьфу, пыль!

Писареву нравились владивостокские рестораны с их купеческой удалью, с ухарством танцоров — белогвардейских офицеров, награжденных колчаковскими орденами, со стоном гитар и надрывной музыкой заезжих цыганских оркестров, сбежавших из России, с волоокими певцами «а-ля Вертинский», тоскующими по оставленным на далеком западе усадьбами, утопающими в майском вишенье, по милым своим невестам, к которым теперь пристают большевики, по осенней фиолетовой земле, снящейся здешними удушьявыми ночами, по поздним садовым астрам, цветущим в снегу, — самым лучшим российским цветам...

Но главное — Писарев даже не подозревал, что Владивосток может собрать столько красивых женщин. Лучшими из них были, конечно, актрисы, они все знали, все умели, их не надо было ничему учить, не надо было уговаривать... Только вот имена их — все эти Луизы, Венеры, Оксаны, Елены, Ксении, Ирины, Жоржетты — смешались, стали путаться в голове. Все смешалось... Такая жизнь нравилась Писареву.

Впрочем, нет правил без исключения. Одно имя врезалось в его мозг мертво. Елизавета Гнедюк. Статная, с большими, полыхающими ярким черным огнем глазами, остроумная. Прodelала из Харькова — города, в котором родилась и служила в театральной труппе, — до Владивостока огромный путь... Большевики пытались расстрелять ее как колчаковскую лазутчицу, но Елизавета — актриса ведь! — так здорово сыграла роль невинной жертвы, девушки, которая ищет стореvшего в огне Гражданской войны отца, что в нее влюбился комиссар следственной тюрьмы. Он самолично отворил дверь застенка, охранника, пытавшегося воспротивиться этому, прикончил из именного маузера, но был пойман и казнен по решению революционного трибунала. А Елизавета ушла... Ушла на восток.

Когда Писарев в первый раз увидел ее на площади около универмага Кунста и Альберса в окружении лоценых путейских инженеров, то невольно охнул — слишком уж не по земному красива была эта женщина. Потом он дал знакомому путейцу Сержу Горенбергу денег, чтобы тот познакомил его с очаровательной богиней.

Писарев, рассыпая ласковым смешком, будто дробью, лучась, словно солнце, не замедлил пригласить Сержу и Елизавету Аркадьевну в дорогой японский ресторан на Фонтанную; Серж, с ложной скромностью потупившись, выдернул из жилетного кармана золотой «лонжин» и, стукнув ногтем по стеклу, отказался:

— С удовольствием разделил бы компанию с дорогими для моего сердца людьми, но... Я — человек подневольный, у меня — служба.

Писарев взглянул на бывшую харьковскую актрису:

— А вы, Елизавета Аркадьевна? Познакомьтесь с изысканной японской кухней... Будем есть чрезвычайно вкусную рыбу, пойманную в теплых тропических водах — желтого тунца. Японцы едят тунца сырым, окуная кусочки рыбы в соевый соус. Вкус — божественный. Если вы никогда не пробовали этого, значит вы — беру на себя смелость утверждать это — не пробовали самого вкусного в жизни, это не сравнимо ни с чем...

— Не пробовала, — с улыбкой произнесла Елизавета Гнедюк.

— Эту ошибку надо немедленно исправить.

— Серж, вы позволите? — спросила Елизавета Аркадьевна у путейского инженера.

— Сергей Артамонович — один из самых порядочнейших и честнейших людей во Владивостоке, — горячо проговорил Серж Горенберг, прижал руку к груди, — если бы у меня было хотя бы десять свободных минут, вы не представляете, с какой радостью я присоединился бы к вам. Но увы! Завидую вам!

Со своей новой знакомой Писарев отправился на моторе — роскошном старом «Руссо-балте», сверкающем, как никелированная кастрюля, в японскую ресторацию. Вывеска ресторана была украшена иероглифами, вырезанными из пробкового дерева, название в переводе на русский язык означало «тихий ветер в цветущем утреннем саду». В «Тихом ветре» было все для гурманов, и главное — в нем имелись неиссякаемые запасы французского шампанского «Мум», которое постоянные клиенты прозвали коровьем, и официантам-японцам, не очень сведущим в русском языке, показывали два или три пальца и складывали губы по-телячьи: «Му-у-у!» Официанты, опытные сотрудники разведотдела японского генштаба, делали вид, что в русском языке они ни «бе» ни «ме», учтиво улыбаясь во все свои зубы, вплоть до коренных, и бегом волокли то, что требовалось.

Нравилось Писареву бывать в ресторации «Тихий ветер», очень нравилось. Здесь его также считали приятным клиентом: официанты-разведчики из его болтовни узнавали много нового.

— Вам тут тоже понравится, — пообещал Писарев Елизавете Гнедюк.

Нагрузился он в тот день так, что перестал даже различать цвета, а свою милейшую спутницу начал путать с бывшим ординарцем, погибшим в бою под Читой два года назад.

Утром он проснулся с ощущением великого конфуза, купил гигантскую корзину цветов, которую с трудом подняли два схожих с битюгами грузчика, и на моторе поехал к Елизавете Аркадьевне просить прощения.

Она открыла ему дверь с улыбкой:

— Теперь я знаю, как пьют настоящие гусары.

Писарев не замедлил плюхнуться на колени и так, на коленях, переполз через порог.

— Помутнение произошло от радости, — забормотал он — у него словно камень с души свалился. Писарев боялся, что Елизавета Гнедюк отвернет от него свое прекрасное лицо. — От великой радости, что вчера я обедал с вами.

— О-ох! — Елизавета Аркадьевна погрозила ему тонким розовым пальчиком, будто нашкодившему шалунишке. — А вы, оказывается, большой любитель французского шампанского «Мум».

Елизавета Аркадьевна засмеялась. Писарев понял, что он влюбился. Влюбился на тридцать седьмом году своей непростой жизни, вот ведь как... Это значит — пора отваживаться от себя других женщин, пора прибавиться к берегу — из Елизаветы Аркадьевны должна получиться прекрасная заботливая жена. С такой женщиной он будет каждое утро начинать с чашки кофе, поданной прямо в постель, и гренок с американским беконом и сыром.

От радужной перспективы у Писарева перехватило дыхание.

— Ладно, поднимайтесь с коленей, — разрешила ему Елизавета Аркадьевна, — сейчас будем пить кофе.

Писарев поднялся на ноги, огряхнул брюки.

Ему показалось, что в окна квартиры, которую снимала Елизавета Гнедюк, заглянуло солнце, хотя солнца на улице и в помине не было, день выдался пасмурный, с низкими неряшливыми тучами, наползшими с востока на небо, на землю, на воду недалекого залива, еще немного — и посыпется нудный дождь. Весенняя погода — что улыбка на лице красивой дамы — явление неустойчивое, вспыхнувшее на небе солнышко может исчезнуть в любую минуту. Но на душе у Писарева было светло, с лица его не сходила яркая улыбка.

Время идет, моложе он не становится, поэтому надо делать выбор сейчас, пока он еще и в силе и в цвету... О чем Писарев и не замедлил сообщить Елизавете Аркадьевне.

Та улыбнулась неожиданно печально и невесомо провела своими легкими чистыми пальцами по щеке Писарева.

— О чем печаль? — встревожился тот.

— О родителях. Ведь и благословение дать некому...

— Во всем виновата Гражданская война, — глубокомысленно заметил Писарев.

— Многие относятся к ней хорошо — видят единственную возможность сведения счетов. А как относитесь вы?

— Без особого восторга. Я в этой войне хлебнул столько... — Писарев не выдержал, попилил себя пальцем по кадыку. Около рта у него образовались скорбные морщины, взгляд потяжелел, сделался далеким — Писарев на несколько мгновений переместился в свое прошлое, но в следующую минуту он пришел в себя. — В общем, об этом неинтересно рассказывать.

— Ну почему же, — на губах у Елизаветы Аркадьевны возникла сочувственная улыбка, — мне это, напротив, очень даже интересно.

Писарев подумал, что былое долго держать в душе нельзя, о нем надо обязательно кому-нибудь рассказать, только так происходит очищение от прошлого, — и согласно кивнул:

— Ладно!

— А как вы познакомились с Григорием Михайловичем Семеновым? — неожиданно спросила Елизавета.

— В Чите я был сотрудником оперативного отдела штаба, несколько раз ходил к атаману на доклад. Знакомства и не было. Не думаю, чтобы он запомнил меня.

Губы Елизаветы Аркадьевны вновь тронула улыбка, продержалась она лишь мгновение и исчезла.

— Жаль, — сказала Елизавета Аркадьевна.

— У меня на этот счет — своя точка зрения. От великих надо держаться подальше, чем дальше — тем реже болейш насморком.

— Григорий Михайлович — богатый человек. Во Владивостоке много говорят о читинском золоте, которое он вывез... — Елизавета Аркадьевна хотела еще что-то добавить к этим словам, но сдержалась, и Писарев усмотрел в этом некий знак: Лиза не хочет лишний раз тиражировать различные слухи, почти год будоражившие Владивосток, и он оценил это — все-таки благородное она создание!

— Насколько я знаю, у него и сейчас несколько бригад сидит на Сихотэ-Алине, золото людшки добывают... — проговорил Писарев неохотно. — Григорий Михайлович действительно человек небедный, но... — добавил, подыскивая под-

ходящие слова, — в общем, думаю, что за его богатством сейчас охотится немало людей.

Губы Елизаветы Аркадьевны округлились в невысказанном вопросе, в глазах возникло и исчезло выражение ожидания, в следующий момент она совершила необъяснимый поступок — потянулась к Писареву и поцеловала его в висок. От нахлынувшего восторга он зажато вздохнул, перехватил пальцы женщины, поцеловал их.

— К кофе у меня есть шартрез, — сказала она, — настоящий, привезенный из Франции. Сейчас будем пить кофе с шартрезом.

У Писарева сладко сжалось сердце, глаза от восторга увлажнились.

— Вы, Елизавета Аркадьевна, как говорил драматург Островский, — лучик света в темном царстве. Вы даже не представляете, сколько радости приносите рядовому офицеру Белой армии, уставшему от войны.

— А вы — непростой человек, Сергей Артамонович.

Писарев поймал себя на том, что готов был мурлыкать от удовольствия. Господи, да этого шартреза, самого что ни на есть подлинного, он может поставить ей три ящичка, четыре, пять... достаточно только телефонировать в магазин, но они не будут стоять одной скромной, уже початой бутылочки, что сохранилась у Елизаветы Аркадьевны.

— Какая вы все-таки душенька, — простонал он, — что же я не был знаком с вами раньше? Где вы были, почему я вас не знал, из какой сказки вы появились?

Елизавета Аркадьевна воркующе рассмеялась. Глаза ее излучали ласку.

— И я... Я-то, дур-рак, где был? — Писарев не удержался, схватился за голову, повернул ее вначале в одну сторону, потом в другую, будто кочан. — Ведь я же явно встречал вас раньше на фронте...

— Где? В Харькове? — Елизавета Аркадьевна с сомнением покачала головой. — Наша группа несколько раз выступала на фронте перед офицерами Добровольческой армии, но вас я там не видела. Вы на Юге не воевали, Сергей Артамонович.

А ведь Писарев был прав — он действительно встречал Елизавету Аркадьевну два года назад, весной девятнадцатого, в Иркутске, но тогда сотрудница семеновской контрразведки Елизавета Гонченко была подстрижена по-мужски и одета в обычную пехотную форму, носила погоны подпоручика и от других, опаленных порохом фронтовых офицеров ни-

чем не отличалась. И мало кто обращал на нее как на женщину внимание. Всякие истории про харьковский театр, про выступления с труппой на фронте, про бедных родителей, погибших от большевистских пуль, — это всего лишь истории.

— Да, на Юге я не воевал, — запоздало согласился Писарев, — но мир-то тесен. Я все равно должен был встретить вас раньше.

Он был готов говорить с ней о чем угодно. Иногда к нему подступало желание немедленно овладеть Елизаветой Аркадьевной, как это бывало с другими женщинами, но он останавливал себя — боялся ее оскорбить, унижить, порвать ту тонкую нить взаимного доверия, установившуюся между ними... Сейчас самое важное — то, что есть он и есть она, все остальное — пустяки.

За початой бутылочкой шартреза последовала бутылка «коровьего» шампанского, за «коровьим» — бутылка первоклассного коньяка, также французского, словно и не в России они жили, а где-нибудь в Тулузе, все французское да французское, — и Писарев под напитки разговорился.

Он говорил, говорил, говорил — рассказывал про свою изломанную войной жизнь, про потерянное поместье, про сгинувшую сестру, про самого себя, про то, откуда у него деньги — большие деньги, про агентурную работу у атамана и про контакты с владивостокской контрразведкой, близкой к братьям Меркуловым. Он ничего не утаил от Елизаветы Аркадьевны, он посчитал, что она должна знать про него все. Как и он про нее должен знать все. Жизнь супругов должна быть открыта друг другу, только тогда она будет доставлять им радость. И — никаких тайн, никаких недоговорок, никаких темных пятен.

Писарев до того расчувствовался, что даже не заметил, как у него повлажнели глаза и он стал вытирать их кулаком, пальцами, будто мальчишка.

— Бедный вы, бедный, — вздохнула Елизавета Аркадьевна, выдернула из-за обшлага платяя небольшой шелковый платок, промокнула им глаза расчувствовавшемуся поклоннику, — пострадали вы много.

— Много, — прошептал Писарев согласно, ему сделалось жаль самого себя, так жаль, что показалось, будто его сердце остановилось.

Домой он уехал поздно, расстроенный и одновременно счастливый. У порога квартиры Елизаветы Аркадьевны он задержался, поцеловал ей пальцы и неожиданно предложил:

— Переезжайте ко мне жить. А? Ведь нам в будущем все равно придется идти вместе... по жизни. — Шепот у него сделался горячим, страстным. — А?

Елизавета Аркадьевна прижала к его губам пальцы. Улыбнулась загадочно:

— Все может быть.

— Прошу вас... А, Елизавета Аркадьевна! Переезжайте прямо сегодня же, — умоляюще пробормотал Писарев. — Хотите, я снова встану на колени?

— Нет. На колени не надо...

— Тогда приходите ко мне в гости... Посмотрите, как я живу. Мы будем пить кофе с... С шартрезом! — произнес он патетически.

— Хорошо, — наконец решила она, — если я к вам приду, то постучу в дверь. — Елизавета Аркадьевна вновь загадочно улыбнулась.

Писарев хотел было сказать, что в квартиру проведен электрический звонок, но сил на это уже не осталось.

Приехав домой, Писарев быстро разделся и повалился на постель. Через минуту уснул. Сон его был оглушающе глубоким — будто он провалился на дно пропасти, огляделся настороженно, но ничего опасного, удушающего на этом дне не было.

Очнулся он в темной тиши. По стене медленно проползли два светляка — один за другим проехали два мотора и скрылись в переулке, ведущем к проспекту адмирала Шефнера. Писареву почудилось, что он слышит тихий, едва различимый стук в дверь, легкий, нежный. Как и пообещала Елизавета Аркадьевна, озаренная загадочной улыбкой Джоконды.

Вспомнив о Елизавете Аркадьевне, Писарев вскинулся на постели, зажег большую стеклянную лампу, украшенную синим абажуром, зачем-то выглянул в окно. Улица была пустынна.

До него снова донесся стук, едва слышный, деликатный, и сердце у Писарева мигом вскинулось к горлу. Он поспешно натянул на ноги роскошные американские штiblеты с низкими кожаными «гетрами» — таким подобием гамашей, — скрывающими щиколотки, сшитыми по заказу из белого опойка, щелкнул кнопками, набросил на плечи калат, запахнулся и поспешил в прихожую. На ходу пропел звучно:

— Сейчас откроею... Айн момент! — Провел рукою по лицу, стирая с него остатки сна. — Цвай момент!

Улыбаясь широко, широко распахнул дверь. На лестничной площадке стояла женщина, которую он ждал. Писарев улыбнулся еще шире, надеясь увидеть на лице Елизаветы Аркадьевны ответную улыбку, но лицо ее хранило сосредоточенное холодное выражение.

В следующий миг в сумраке лестничной площадки Писарев засек промельк вороненой стали — Елизавета Аркадьевна вытащила из сумочки короткоствольный французский «бульдог» — Писарев видел такие револьверы у союзных офицеров, прикомандированных к штабу генерала Жанена, — колючий холод пополз по спине; он, продолжая улыбаться, отступил на полшага назад.

— Если на вас вздумает напасть бандит, Елизавета Аркадьевна, я сумею дать ему отпор и без оружия, — проговорил он, услышал себя будто со стороны, отметил, что его голос противно дрожит.

— Я и сама сумею себя защитить, — произнесла Елизавета Аркадьевна холодно.

Мягкое, едва слышимое клацанье курка обрушилось на Писарева ударом грома, он хорошо знал, что это значит, лицо у него побледнело, обвисло, он медленно опустился на колени.

— За что, Елизавета Аркадьевна? — Это был единственный вопрос, который сейчас был у него в мозгу. — Что я вам сделал плохого?

— Мне — ничего, — равнодушно проговорила Елизавета Аркадьевна, — а вот генерал-лейтенанту Семенову Григорию Михайловичу сделали.

Горло Писареву перехватило — обжим был холодным, удушливым, очень цепким. Он все понял, но тем не менее продолжал хвататься за некую непрочную соломинку:

— Что же именно... что?

— Вы предали его.

— Нет! — вскричал Писарев. — Этого не было!

— Было. Доподлинно известно — было. Вы предали идею свободной от большевиков России, вы променяли честь офицера на продукты японской кухни и французскую парфюмерию, на шампанское «Мум» и кредитные бумажки в банковской упаковке. — Елизавета Аркадьевна поморщилась, ей было неприятно произносить слова, которые она произносила, они были не из ее лексикона, но инструкция есть инструкция, она ее получила и отступать от заданного даже в малом не собиралась — инструкция точно определяла, что говорить и как себя вести.

По лицу Елизаветы Аркадьевны пробежала тень, она повела стволом «бульдога» снизу вверх, поднимая Писарева с коленей.

— Не унижайтесь хоть напоследок, — резко произнесла она. — Встаньте!

— Нет! Нет! — Писарев затряс головой. — Нет! Прошу вас, разберитесь в этом деле. — В нем родился далекий тихий скулеж. — А к-как же... как же быть — мне ведь утром надо на службу в компанию Бринера... Как же там без меня?

— Господин Бринер даже не заметит вашего исчезновения, — произнесла Елизавета Аркадьевна прежним холодным тоном и вторично повела стволом «бульдога» снизу вверх: — Ну!

Писарев попробовал подняться, но ноги уже не держали его. Он умоляюще глянул на Елизавету Аркадьевну и не увидел ее — глаза Писарева наполнились слезами, в серой мокрети все расплылось. Он ухватился рукой за косяк двери, приподнялся. Облизнул мокрые чужие губы.

— Я хотел сделать вашу жизнь счастливой, Елизавета Аркадьевна, — с трудом проговорил он, — так хотел...

— Вот этого-то мне как раз и не надо. — Елизавете Аркадьевна едва слышно вздохнула, вспомнив что-то свое, и нажала на курок.

Грохнул выстрел. Глаза у Писарева мигом высокли, выражение их сделалось изумленно-неверящим. Он хоть и скис, но, похоже, до конца не верил, что Елизавета Аркадьевна выстрелит... Сполз вниз.

А его возлюбленная подобрала с пола лестничной площадки гильзу, сунула ее в карман светлого летнего пыльника, в который была одета, затем, прицелившись в голову бывшего штабс-капитана, сделала второй выстрел, чтобы до конца быть уверенной в выполненном задании. Действовала она с завидным хладнокровием, по-мужски обстоятельно, движения ее были размеренными, даже чуть замедленными — она хорошо знала свое дело и была уверена, что на выстрелы не откроется ни одна дверь в этом доме. Так оно и было.

Елизавета Аркадьевна подобрала вторую гильзу, также сунула в карман — этому ее научил в контрразведке старый штабс-капитан, служивший когда-то в Петербурге в уголовной полиции, — спокойно огляделась и неторопливо спустилась по лестнице вниз.

На улице ее ожидали два мотора — это признак того, что в контрразведке Елизавета Аркадьевна была персоной важной.

...А «Киодо-Мару» продолжала бороться с волнами.

Поначалу, когда отплыли из Порт-Артура, судно представлялось пассажирам очень надежным, внушающим уважение своей прочностью, сейчас же от этого впечатления не осталось и тени: «Киодо-Мару» казалась им маленькой хрупкой скорлупой, совершенно не способной сопротивляться волнам.

Капитан уже более суток не отходил от штурвала, щеки у него втянулись в подскулья, резко обозначились кости, лицо стало походить на обнаженный череп.

— Штурман, скорость? — прохрипел он в очередной раз, не отрывая глаз от крупной пузырчатой волны, наползающей на нос шхуны, увенчанный длинным, похожим на зубчатую костяную пластину рыбы-пилы бушпритом.

Сменный штурман оторвал усталое лицо от стола, на котором были разложены несколько карт:

— Скорость — ноль!

Судно стояло на месте, хотя машина уже охрипла от нагрузки, она работала на полную мощность.

Перед русскими, которых обещал доставить во Владивосток быстрее железнодорожного экспресса, капитан чувствовал себя неловко, хотя не его вина в том, что из благих намерений ничего не вышло... Особенно неуютно он себя чувствовал, когда в рубку заходил адъютант генерала Семенова и с молчаливым вопросом в глазах смотрел на него. Капитан вместо ответа лишь приподнимал одно плечо: увы!

«Киодо-Мару» за время шторма не продвинулась вперед ни на милю.

Когда небе немного очистилось, сделалось светлее и можно было уже что-то рассмотреть в рябшлом штормовом море, слева от «Киодо-Мару» был виден все тот же остров Фузан — горбатый, похожий на огромного нахохлившегося зверя.

После двух суток плавания — впрочем, топтание на месте вряд ли можно было назвать плаванием — в небе образовалась чистая прореха, в которой показалась незамутненная праздничная голубизна. Волны, словно придавленные этой ангельской незамутненностью, разом опали, и капитан «Киодо-Мару», неожиданно безвольно опустив руки, сел на табурет, привинченный к полу у штурвала.

— Рулевой! — обессиленно прохрипел он. — Принимай управление. Курс — Владивосток.

Странный город Владивосток, не поймешь, когда он веселится, а когда печалится — порою во время чьих-нибудь пышных похорон он хохочет и пьет «Луи Родрер» — шампан-

ское, которое с «Мумом» даже на одной полке не стояло, недаром фирма «Родрер» добрые полсотни лет являлась поставщиком шампанского ко двору российского императора, — а в пору массового нашествия клоунов-циркачей, когда хохотать должны все, от бродяг Миллионки до гарнизона Русского острова, город неожиданно начинает печалиться, и дамы ходят по тротуарам с влажными глазами.

Нет, этот город нормальному человеку не понять. Власти у нем менялись и продолжают меняться.

Впрочем, у Владивостока с некоторых пор появился старший «брат», точнее, «сестра» — город Чита. Недавно Чита была объявлена столицей ДВР — Дальневосточной республики, под подведомственную территорию был нарезан огромный кусок суши от Байкала до Тихого океана. То, что происходило в Чите, было тревожно — белогвардейцев и контрреволюционеров вырубали там под корешок: если, допустим, ребенок семи-восьми лет никак не мог подойти для роли белогвардейца — по возрасту еще не мог таскать винтовку, — то контрреволюционером мог сделаться запросто; расстрельные команды носились по Чите на грузовиках, лютовали безудержно, людей в расход пускали направо-налево, и служи, что приходили во Владивосток из Читы, заставляли вздрагивать все Приморье.

Зимой было избрано Учредительное собрание ДВР, которому административно подчинили и Владивосток. Депутатами Учредилки стали двое популярных генералов — командующий каппелевской армией Вержбицкий и командир Третьего корпуса Молчанов. Однако в Чите, где их ждали, они не появились, держались настороженно, не поверили до конца, что большевики ушли из города, а значит, и все разговоры о так называемом коалиционном правительстве папахивают обыкновенным политическим вымыслом.

Председателем правительства ДВР стал большевик Краснощек⁷⁰, его ближайшим помощником — также большевик, Никифоров⁷¹ — очень хорошо, к слову, знавший Владивосток, поскольку некоторое время, вплоть до середины 1920 года, вместе с сотоварищами правил им.

Потайные квартиры у Никифорова остались во Владивостоке до сих пор — неподалеку от пристани Эгершельда, на Алеутской, в Маньчжурском переулке, на Миллионке, откуда хорошо просматривалась бухта Золотой Рог, — Никифоров обосновался во Владивостоке прочно. И вместе с тем — потерял его.

Краснощекоев послал во Владивосток один циркуляр, второй, третий, Владивосток в ответ обозвал правительственные бумаги «пустыми указивками» и бросил их в урну. Подчиниться Чите он отказался.

Сил у Читы, чтобы подавить Владивосток, не было, как не было и своих людей. Никифоров, пойдя на повышение, допустил ошибку — перевез их в Читу, поэтому оказалось, что рассчитывать Краснощекоеву не на кого. Не на японцев же! Те ненавидели большевиков. Бывшего прапорщика, а позже краскома — красного командира — Сергея Лазо живьем сожгли в паровозной топке.

Конечно, большевики попытались через Хабаровск сунуться во Владивосток, но из этой попытки ничего не вышло. Семенов точно уловил момент — в начале мая 1921 года Владивосток жил без крепкой властной руки.

Японцы уже давно пришли к выводу, что в Приморье им хлопотно, тут время от времени стреляют, да и чувствуют они, островные люди, на большом континенте себя неуютно.

На огромную Россию маленькой Японии было уже наплевать. С другой стороны, она не сомневалась, что проглотит этот жирный, истерзанный раздорами, будто раком, кусок. Может же маленькая, размером всего в два спичечных коробка, собачонка умять большой пирог! Будет жрать и повизгивать от удовольствия.

Дальний Восток ослабел. За кордон, в Монголию, в Китай, ушла вместе со скарбом, с домочадцами, со скотом, с деньгами едва ли не половина казачества, хотя официально было объявлено, что ушла примерно шестая часть, чуть более пятнадцати процентов. Атаман Семенов, когда слышал об этом, то довольно пощипывал усы — это ведь за ним ушли казаки, и сколько их ушло, никто лучше его не знает. Раз ушли казаки за атаманом — значит, считают его своим.

Последние казаки покидали Россию уже в апреле 1921 года, перед вскрытием рек. Лед хоть и вспухал горбами на реках, был пористым, непрочным, но лошадей, телеги, людей, скот держал хорошо. Казаки матерились отчаянно, сопливились, вытирали рукавами мокрые лица, с тоскою глядели назад, на «Расею», эту самую «Расею» ругая... Не все из них понимали, зачем покидают родную землю, выдергивали из карманов пачедей бутылки с самогоном, пили прямо в седлах, плакали.

Не всем удалось уйти на китайскую территорию, это Семенов тоже знал: им выставляли на пути пулеметные заставы, и когда появлялись казаки, гнавшие перед собою скот, «макси-

мы» красных начинали яростно, по-собачьи, лаять. Особенно много таких заслонов стояло на реках — коровьи туши потом долго лежали на льду, а затем, когда наступало тепло, плавали в заводях, гнили, заражая воду и распространяя вонь.

Владивосток гулял — у местных жителей и будни были праздниками. Вдруг в городе совершенно неожиданно закрылись все магазины, все лавки — даже те, которые хозяйка открывали в любое время дня и ночи — по первому же требованию... Слухи здесь распространяются стремительно, хотя в воздухе ничем пороховым не пахло, закрытые магазины подсказали обывателям, что будет вооруженный налет.

И точно — двенадцатого числа, в цветущую майскую ночь, по Владивостоку прогрохотал, резвясь в лихой скачке, большой конный отряд. Стрельбы не было, конники действовали пашками. Если кто-то из них ловил слишком удивленный, слишком непонимающий взгляд бараньих глаз — пашкой вжик — и глаза эти теряли удивленное выражение.

Так во Владивосток ворвался отряд полковника Буйвида.

Около здания, где располагался городской почтамт, Буйвид поднял коня на дыбы и ловко соскользнул на землю, прогрохотал, обращаясь к своему спутнику — сотнику с монгольским скуластым лицом:

— Как там говорил главный батюшка большевиков товарищ Ленин: самое важное у всякой власти — почта и телеграф? Да? Прежде всего надо захватить их, потом все остальное — и, считай, власть у тебя в кармане... А, сотник?

— Так точно!

— Сотник, действуйте! — Буйвид сделал повелительный жест. — Почта и телеграф — в вашем ведении!

С сотником осталось двадцать человек, а Буйвид поскакал дальше — брать банк, следом — пристань, у которой сбились в кучу пароходы разных стран, с нарядными пассажирскими павильонами, над которыми плавали привязанные за веревочку цветные надувные шары. Остатки вчерашнего карнавала, шарики эти почему-то вызвали у Буйвида особое раздражение, он нервным движением выдернул из кобуры маузер и — щелк, щелк, щелк! Через минуту над оцинкованными крышами пассажирских павильонов уже не плавало ни одного шарика — Буйвид был метким стрелком.

Через час Владивосток был в руках Буйвида.

Расставив своих людей на всех ключевых точках — даже на две колокольни были подняты пулеметы — мало ли что, вдруг каппелевцы захотят свести счеты с семеновцами, —

сам Буйвид поскакал на пристань. Из Порт-Артура ему сообщили, что атаман Семенов отплыл на японской шхуне во Владивосток. По прикидкам Буйвида, шхуна с атаманом вскоре должна быть в порту.

Буйвид ожидал подхода двух генералов — Молчанова и Глебова: поскольку сам не в силах был удержать власть в городе, ему требовалась их помощь, а также «грубая физическая сила» — три-четыре казачьих сотни.

Рассветало. С моря тянулся многослойный розовый туман, крупные чайки носились низко над водой, рублили крыльями воздух, над людьми круто взмывали вверх, орали голодно и противно.

— Отвратительная птица, — пробормотал Буйвид, завывая на шее шнур бурки — с моря потянуло промозглой сыростью, пробило его насквозь.

— Глупая и жадная, ваше высокоблагородие, — добавил сидевший на рыжем бокастом коне казак в новенькой бекеше, украшенной георгиевской ленточкой. — Смотрите, как она себя ведет...

Он достал из кармана длинный толстый гвоздь, очень похожий на стилет, швырнул его вверх. На гвоздь тут же спикировала тяжелая, с отвисшим зобом чайка, клацнула клювом, сделала два судорожных движения телом и проглотила гвоздь. В следующую секунду закричала, завизжала жалко — гвоздь мешал ей не только развернуться в воздухе — он не давал ей возможности вообще повернуть головы.

Казак рассмеялся.

— Вот вам наглядный пример.

— А гвоздь зачем носил с собою? — неожиданно спросил Буйвид.

— Мало ли что, ваше высокоблагородие... Вдруг пригодится? Валялся на дороге — я его и подобрал.

Буйвид покачал головой. Непонятно было — то ли он осуждает казака, то ли одобряет.

Первое, что бросилось в глаза Буйvidу на пристани — здесь почти не было видно японцев. И кораблей под флагом микадо было очень мало — раз, два, три... — а вчера стояло не менее двадцати судов. Буйвид невольно присвистнул: это что же выходит? Неужто японцы начали эвакуироваться? Или получили по каналам разведки кое-какие данные и, как истинные друзья атамана, решили не мешать его подопечным?

С одной стороны, это хорошо — мешать никто не будет. А с другой — кто же в случае чего прикроет спину Семенову? Усы

у Буйвида — совсем как у атамана — дернулись. Ах, каппелевцы, каппелевцы! В конце концов может случиться так, что атаман сойдется с большевиками, но с каппелевцами — никогда.

Над головой у Буйвида пронеслась чайка — раскоряченная, с далеко отставленными лапами и вытянутой, будто у гуся, шеей — та самая, что сожрала гвоздь. Казак, угостивший чайку этим шкворнем, засмеялся:

— Не жри что попало! Впредь наука будет.

— Не будет, — мрачно проговорил Буйвид.

Он неожиданно почувствовал себя усталым. Устал он от владивостокской вони, от портовой духоты, от промозглого воздуха, что тянется с моря, от настороженных взглядов каппелевских солдат, которые, будто последние бандюги, норвят всадить в спину заточенный напильник, устал от китайской еды — жареного бамбука, вяленых червей и засахаренной саранчи... устал от самой жизни...

Только бы приплыл Семенов, приплыл бы и уселся в здании на берегу бухты Золотой Рог, которое он присмотрел для атамана. Тогда Буйвид будет считать, что все эти годы молотился с разными серо-буро-малиновыми нелюдьми не напрасно, не напрасно лил кровь свою и кровь чужую, не напрасно замерзал, голодал, тонул на весенних лихих переправах, блуждал по тайге.

Он взгляделся в белесое пространство моря, надеясь изловить в нем маленькую серую точку — долгожданную шхуну, но ничего не обнаружил и дернул болезненно головой, будто его подсекли дробью. Надо было ждать.

Над головой, развернувшись по длинной дуге, снова пролетела, судорожно взмахивая крыльями, чайка с вытянутой шеей. Полковник вспомнил о своем мелком пророчестве, повторил прежним мрачным тоном:

— Не будет... Никакой науки для этой птицы уже никогда не будет.

Пальцами приподнял крышку деревянной кобуры, привычно потянул маузер за округлую тяжелую рукоять. Целился он недолго — набил глаз, стреляя по двуногим мишеням. Сухо клацнул курок. Выстрела не последовало. Буйвид вновь мрачно дернул головой — не ожидал такого, вновь взвел курок, нажал на спуск. Пуля точно всадила в чайку — птица перевернулась раскоряченными лапами к небу, попыталась что-то проорать напоследок, но не сумела, плюхнулась в воду, дважды дернула серыми лапами и ушла в глубину.

Буйвид с мрачным видом засунул маузер обратно в кобуру — знай наших! — вновь взгляделся в бесцветно-серое пустое пространство моря — ничего...

Надо было ждать дальше. А ждать Буйвид не умел — мучительное это дело.

Именно в эти минуты с железнодорожной станции в Читу ушло телеграфное сообщение. На станции находились казаки Буйвида, в комнате телеграфиста сидел офицер — юный прапорщик с алыми, будто у барышни, щеками, — но ему, на несчастье, приспичило, и он побежал на двор, а телеграфист не замедлил этим воспользоваться. Он тут же отстучал ленту Никифорову, которого знал лично: «Власть Владивостоке ночью захватил семеновский полковник Буйвид. Обстановка в городе тревожная. Японцы начали покидать Приморье. Меня контролирует белогвардейский прапорщик. Ответ передайте шифром. Что делать?»

Ответа телеграфист не получил — за дверью затопал сапогами юный семеновский офицер.

А на пристани тем временем появились солдаты с винтовками, Буйвид оглянулся на них, определил безошибочно: кашпелевцы! Поиграл железными желваками — вряд ли горстка солдат полезет на его казаков, но быть готовым надо ко всему. Вытянул из ножен пашку, с язганьем вогнал ее обратно.

— Ваше благородие, кашпелевцы! — запоздало предупредил кто-то за спиной. — Что будем делать?

Буйвид на возглас не обернулся — ответил, не поворачивая головы:

— Ждать!

Время шло, а шхуны с атаманом Семеновым все не было.

По набережной пронеслись несколько китайцев в синих застиранных куртках — зеленщики. Буйвид проводил их взглядом, мотнул головой, пальцем подозвал ординарца:

— Иван! Биноколь!

Спирин извлек бинокль из громоздкой коробки — бинокль был хороший, артиллерийский, Буйвид выменял его у одного французского майора на лошадь, — подал полковнику.

Буйвид прошелся биноклем по горизонту и обеспокоенно дернул головой: куда же подевался атаман?

Оглянулся назад, на кашпелевцев.

Кашпелевцев было немного, и что главное — число их не увеличилось: как прибыло полтора десятка «винтовочников», так полтора десятка и осталось, казаки Буйвида могли смять их в несколько минут.

— Передай хлопцам, пусть пулемет на всякий случай расчехлят, — попросил Буйвид ординарца, — чтобы кашпелевцы видели. И знали — нас не взять. И чтобы они лишний раз не напрягались... Нас отсюда не выкурить. — В тихом голосе Буйвида возник металлический звон. — Даже если союзное командование пришлет сюда английские танки. Мы своего атамана встречаем...

Спирин поспешно отъехал от полковника, копыта его лошади звонко зацокали по бетонной пристани — будто барабанную «тревогу» сыграли.

А «Киодо-Мару» барахталась в зеленовато-сером огромном пространстве моря, продвигаясь на север, к невидимому Владивостоку.

О том, что происходило в городе, Семенов не знал — ни о победном марше Буйвида, приготовившегося преподнести ему власть, как золотой ключик, на блюдечке с голубой каемочкой, ни о том, что японцы начали потихоньку покидать Приморье. Их все больше и больше увлекали планы захвата Сахалина, где не только нефть имелась, но и крабы, и лес, и рыба, и уголь, и ценное морское растение агар-агар, а главное — захватив Сахалин, Япония хомутом садилась на шею России — это было очень выгодно стратегически...

На «Киодо-Мару» конечно же была рация, и установить связь с Владивостоком ничего не стоило, но Семенову не с кем было связываться — на берегу у него не было ни одного узла радиосвязи, поэтому атаман и ощущал себя сейчас слепым.

Хотя в одном он был уверен твердо — во Владивостоке его ждут.

Телеграфную ленту, пришедшую от железнодорожного связиста — длинную желтовато-серую бумажную змейку, испещренную рябью букв, в Чите вручили лично Никифорову; тот, прочитав сообщение, помрачнел:

— Вот скоты поганые, эти семеновцы! Все не успокаиваются. Пока не обломаем им окончательно рога — не успокоятся... Ну погодите!

Он допил чай и пошел к Краснощекову — эту неприятную новость он не имел права держать у себя.

Тот в своем кабинете тоже пил чай. В приемной у него сидел народ, но Никифоров имел право беспрепятственного прохода к Краснощекову в любой ситуации — даже если тот будет сидеть на ночном горшке либо, устроив у себя на коле-

нях мслодую рабочую девчонку, заниматься «интернациональным просвещением»... Ну, насчет последнего — это, конечно, шутка, но недаром говорят, что во всякой шутке есть только доля шутки, все остальное — правда.

Увидев Никифорова, Краснощекков укоризненно покачал головой и перестал дуть на блюдце.

— Дело тут, понимаешь, — Никифоров прошел к столу председателя правительства, положил телеграфную ленту между двумя телефонными аппаратами, — не терпит отлагательств. Читай!

Краснощекков ловко подцепил пальцем бумажную скрутку, зашевелил губами, вглядываясь в текст, потом хлопнул ладонью по столу, будто из пистолета пальнул:

— Неймется его высокопревосходительству атаману Семенову, ох неймется... ждет, когда мы ему последние зубы выбьем. А мы ведь ждать себя не заставим — обязательно выбьем.

Никифоров молчал.

— Мы его раздолбали, когда он вон какой силой был, — Краснощекков вытащил из стола лист бумаги, — вон какой силой... Ты смотри, чего он имел перед тем, как уйти в Монголию... Двадцать тысяч сабель, девять бронепоездов, сто семьдесят пять орудий — это же мощь! И то голову засунули ему под микитки, а когда он встал в позу прачки над корытом, дали ему под зад сапогом. Это было раньше. Раньше — а сейчас для нас Семенов — тьфу! Обыкновенный клоп-вонючка из-за печки. Главное не это, главное — японцы уходят.

— Как с ними и договаривались.

— Молодцы желтоголовые! Соблюдают условия.

— Ну я бы, понимаешь, не стал бы особо радоваться — дыплят надо по осени считать. Когда выведут все части, тогда и будем япошек хвалить.

— Выведут, никуда не денутся. А с этим что предлагаешь делать? — Краснощекков приподнял пальцем скрутку телеграфной ленты.

— Оперативно вмешаться мы никак не можем. Если только поднять подпольщиков... Но силы неравны: основная масса семеновцев явно уже передвигается из Гродеково во Владивосток.

— А что, если вернуться к переговорам с генералом Вержбицким? А? Каппелевцы его слушаются. А?

Никифоров озадаченно похмыкал в кулак: конечно, каппелевцы своего генерала слушаются, но он ведь, гнида этакая, — белый генерал, это раз, и два — где его сейчас найти?

Если бы он находился под боком, сидел бы в Чите и пил в гостинице при железнодорожном вокзале кофе с ликером — тогда можно было бы найти, а так — нет, не отыскать им Вержбицкого. Он то ли в Монголии сидит, то ли в Китае, то ли в зоне отчуждения КВЖД, где боевые действия никогда не велись... Мог Вержбицкий и в Туве скрыться, мог в Бурятии — скоронок у него много.

— А? — спросил Краснощекков.

— Думаю, что вряд ли.

— Что же ты предлагаешь? Давай быстрее, у меня тут чай стынет.

— Единственная реальная сила сейчас во Владивостоке — братья Меркуловы.

— Хитрозадые, неверные, — поморщился Краснощекков, — с Семеновым все время заигрывают: то вась-вась, обнимаются, то зубы показывают.

— Да вась-вась — это для обмана, для рисовки, и оскаленные зубы — для рисовки, братья в основном все гребут под себя, минуя Семенова. Как только почувствуют, что Семенов им наступает на хвост — тут же выступают против него.

— Мироеды, я и говорю. Рабоче-крестьянской кровушкой питаются, пьют ее из бокалов, будто вино, рабоче-крестьянским мясом закусывают. Семенов для них — так, развлечение для крепких зубов.

— Но в силу они вошли большую. И это надо использовать.

— Как?

— Есть кое-какие рычаги. — Никифоров замолчал: то, что он говорил, было секретом — имелись у него люди и в окружении братьев Меркуловых, и в штабе генерала Дитерихса, который также перебазировался во Владивосток, и в штабе каппелевской армии, и в тамошней контрразведке. Надо было только хорошо и раскинуть мозгами — за какой рычаг уцепиться, нажать и не промахнуться.

На бесстрастном лице Никифорова возникло жесткое выражение — будто в глаза ему ударил железный зимний ветер, который сечет живое тело до крови, взгляд посветлел. Единственная сила, которая может сейчас встать на пути Семенова, — братья Меркуловы. Значит, ставку надо делать на них.

— Ну что, делаем ставку на Меркуловых? — после затянувшейся паузы спросил Никифоров.

Краснощекков поморщился, налил в блюдце чая и привычно подул на него, хотя чай был уже едва теплым. Произнес неожиданно, с придыханием:

— Эх, варенья бы сейчас сюда... Из ирги. Ты ел когда-нибудь варенье из ирги?

— Саму иргу ел, варенье нет. Ирга и без сахара сладкая.

— Божественная штука. Ни с чем не сравнить. — Краснощекков снова подул на чай. По лицу его было видно, что он лихорадочно соображает: как быть? Принять предложение своего верного зама или выдвинуть собственную идею подавления и мятежа, и семеновцев вообще? Он громко склебнул с блюдца чай.

Голова у Краснощеккова напряженно работала, он быстро просчитывал варианты, лицо побледнело, обузилось, на нем остро проступили маленькие аккуратные скулы.

— Братья Меркуловы, говоришь? — Краснощекков сощурился, колко глянул на Никифорова.

— Да.

— Ладно. — Краснощекков склебнул с блюдца остатки чая, встал, словно бы специально хотел подчеркнуть торжественность момента. — Пусть будут Меркуловы... — он повозил во рту языком, потом поездил нижней челюстью, словно готовился к боксерскому кривому хуку, — только я не очень верю в них.

— Я — тоже. Но выбора у нас нет.

Ставка была сделана, требовалось срочно передвинуть фишки на игровой доске. Сейчас пусть будет такой ход, а дальше... какой ход сделать дальше, станет видно через несколько дней.

А Буйвид со своими казаками, вытянувшимися в длинную цепочку вдоль каменной кромки причала, продолжал ждать атамана.

Откуда-то с высоты, из-за домов, тесно опоясавших ближайшую сопку, послышались медные звуки — невидимый духовой оркестр исполнял знаменитый флотский марш «Кронштадт-Тулон»; играл оркестр слаженно, звуки бередили души казаков, действовали расслабляюще — ровная цепочка на пристани зашевелилась, поползла, лошади зацокали копытами.

— Стоя-ять! — раздался громкий, похожий на охлест кнута выкрик Буйвида.

— Господин полковник, посмотрите, что у нас за спиной, — послышался возглас одного из казаков.

Буйвид оглянулся. Каптелевцы все так же редкой строчкой держались в отдалении, а вот с сопки, откуда доносились

звуки невидимого оркестра, на казаков черными холодными жерлами смотрели четыре пушки. Буйвид выругался от досады — пушки он проворонил, мог не проворонить, а проворонил, понадеялся на казаков двух боевых генералов, Глебова и Нечаева, но те, похоже, оказались любителями поболтать языками, вроде обычных бабушек, что сидят где-нибудь в тени на скамеечке. Ни Глебов, ни Нечаев на помощь к Буйvidу не подошли, и если они не появятся, то красивый рейд, который Буйвид совершил по ночному Владивостоку, окажется обычным показушным выступлением. Как в цирке.

Полковник натянул на правую руку — ту, которая в бою срывается с пашкой, становясь с ней единым целым, — перчатку, щелкнул кнопкой. Прикинул расстояние до пушек, понял, что те сделают два залпа — только два, больше не успеют, но и этого будет достаточно, чтобы Буйвида с казаками не стало. Чтобы доскакать до пушек, не хватало каких-то тридцати-сорока секунд.

Все, игра проиграна! По жесткому загорелому лицу полковника проскользила тень, пальцем он смахнул с уголка правого глаза какую-то влажную налип, удивился ей — никогда раньше не замечал за собою таких слабостей, — потом оглядел казачью шеренгу, выщелкнул взглядом Спирина и подозвал к себе:

— Скачи на гору, к пушкарям, спроси у командира батареи, каковы их условия?

— Есть! — откликнулся Спирин и, подняв коня на дыбки, развернул его.

— Погоди! — осадил ординарца полковник. — Если будет возможность затянуть разговор — затяни. — Буйвид вновь оглянулся на линию рейда — не видно ли на горизонте какого-нибудь пятнеца с японским флажком на корме? Нет. Ни пятнеца, ни флага. Атаман Семенов где-то застрял, и яичко, что бывает так дорого к Христову дню, на этот раз просто-напросто протухло. Полковник снова оглядел пустынный горизонт и обескураженно махнул рукой: — Йэ-эх! — Скомандовал: — Скачи, Ванька!

Захотелось в тепло, в высокую пышную постель, захотелось опутить рядом со своей головой прекрасную женскую головку, захотелось втянуть в себя запах женского тела, духов, мыла, чистоты... Захотелось также на расстоянии вытянутой руки поставить бронзовый колокольчик, чтобы было удобно вызывать повара-китайца или слугу-японца. Для того чтобы хорошо жить во Владивостоке, как здесь говорят,

надо иметь русскую жену, китайского повара и японскую прислугу.

Большинство японцев, находящихся во Владивостоке и с трудом бормочущих «моя твоя совсем не понимаю», русский язык знают очень даже прилично. Они притворяются, поскольку являются обычными кадровыми разведчиками армейского генштаба. Армия уходит, а разведчики остаются. Буйвид посмотрел на сопку, ощерившуюся стволами пушек. Около орудий в стойке «смирно» застыли расчеты, ожидающие команды.

Вести себя так дисциплинированно могут только каппелевцы, у всех остальных, даже у японцев, расчеты разболтанные — что хочу, то и ворочу. Буйвид помрачнел, усмехнулся угрюмо, захватив зубами кончик уса, пожевал его и решил, что не станет вязываться в драку.

Да и каппелевцы не дураки, чтобы палить по портовым сооружениям. Буйвид снова взгляделся в водное пространство, пощелкал пальцами, подзывая Спирина с биноклем, но, вспомнив, что отослал его к каппелевцам, выплюнул изо рта ус и выругался. Ни любимого атамана, ни гродековских генералов, обещавших поддержать его, не было. Во всем Владивостоке, этом огромном городе, он остался один. Что-то щемящее, далекое, сожалеющее возникло в нем, родило легкое удущье. Буйвид достал из кармана вторую перчатку, натянул ее на руку и также защелкнул кнопку.

Снизу было видно, как Спирин вихрем пронесся вдоль домов, тормознул у одной из пушек — крохотной, с неуклюже расставленными колесами каракатицы, окруженной людьми, что-то спросил, потом помчался дальше — ординарец искал командира.

Вернулся Спирин не один. Он шел, держа в поводу коня, в сопровождении артиллерийского поручика и очень молодого полковника с гвардейской выправкой — явно каппелевского выдвигенца — уж больно молодым он был.

Увидев гостя, Буйвид неторопливо спешился, вскинул руку к виску и с места взял в карьер — привык в любой атаке действовать напористо:

— Не слишком ли жирно, господин полковник, на полсотню казаков — пять орудий? Да еще среди жилых домов? Вряд ли после этого вас будет поддерживать население.

— На поддержку населения мы и раньше не рассчитывали, полковник, — ответил каппелевец, — а сейчас — тем более. Пушки стоят не только здесь, но и напротив главпочтам-

та, где находятся ваши люди, стоят они и в других местах. Если начнется стрельба, то она начнется по всему городу.

— Полковник, должен заметить, что забайкальские казаки и владивостокские обыватели — это две большие разницы, — немного сбавив пыл, произнес Буйвид, — казаков пушками вы не испугаете, мы к ним привыкли.

— А я и не собираюсь вас пугать, — сказал каппелевский полковник, — я вас просто уничтожу.

— Прямо так и уничтожите? Русские люди русских людей? — Буйвид нервно дернул уголком рта. — А где же славянская солидарность?

— У вас что, все славяне? — Каппелевский полковник обвел глазами лица казаков. — Все до единого?

— Все до единого.

— Я вижу слишком много монгольских лиц. На поверку Иван, глядишь, окажется Батмунхом, а Кузьма — Жолсораном.

— В России, полковник, как известно, едва ли не в восьмидесяти человеках из ста течет монгольская кровь.

— В моих — вряд ли. — Каппелевский полковник улыбнулся, обнажив чистые белые зубы, ровные, будто с рекламных плакатов универмага Кунста и Альберса, с которых на светских женщин, приходивших покупать модные парижские шляпы величиной с колесо от бронепоезда, смотрел господин с точно такими же безукоризненными зубами. А вот зубы у Буйвида были попорчены болезнями, таежными голодовками, плохой водой, часто болели, и поэтому он после первых минут общения с каппелевским полковником люто невзлюбил его. В крови этого человека не было не то чтобы ни одной монгольской капли, но даже полукапли, даже четверть капли. В жилах каппелевского полковника текла кровь северная — шведская, например, либо немецкая.

Разговор закончился неожиданно резко, в ультимативной форме, которой Буйвид, впрочем, не испугался — встречался и не с таким, однако если в течение ближайших двадцати минут не подспеют гродековские генералы с подмогой, он будет обречен на поражение.

— Если через час ваши люди не покинут пристань, а также места, где они сейчас находятся, мы откроем огонь, — произнес каппелевский полковник с доброжелательной, очень откровенной улыбкой.

— Какие конкретно места? — попробовал потянуть время Буйвид.

— Вы их знаете лучше меня... Честь имею! — Каппелевский полковник вскинул руку к виску и запагал с пристани прочь.

Артиллерийский поручик молча двинулся за ним. Буйвид оценивающе посмотрел им вслед, словно прикидывал, стоит связываться с каппелевцами или нет, нервно пощелкал кнопкой левой перчатки. Все правильно, если в течение ближайших двадцати минут не появятся гродековские казаки, игру можно считать законченной. Все ставки сгорят.

На пристань тем временем вылетел автомобиль — номерной извозничий мотор с открытым верхом. На заднем сиденье хмельной морской офицер с узкими погонами на кителе — корабельный доктор — одной рукой обнимал за плечи даму в розовом атласном платье, в другой держал бутылку с шампанским. На каменной площади мотор, устало дребезжа спицами колес, сделал круг, офицер лихо вскинул руку с шампанским и отсалютовал бутылкой казакам. Потом, увидев, что это семеновцы, кисло сморщился и прокричал шоферу:

— Поехали отсюда! Я думал, тут люди встречают возвращающиеся с моря корабли, а здесь — одни сортирные черви, семеновцы.

Автомобиль взревел мотором и лихо попер в гору. Буйвид, ощерив зубы, выдернул шашку из ножен и хотел было броситься вслед за моряком, но, глянув на сопку, где застыли пушки, со звоном вогнал шашку обратно — задача перед ним стояла совсем другая.

Буйвид поиграл желваками и вновь глянул в серое задымленное пространство моря. Нет. Ничего нет. Буйвид ощутил в себе зажатую тоску; в нем словно что-то перевернулось, на тоску напластовалась обида — он окончательно понял, что в этой сложной игре остался один. Без козырей, без сильной масти, вообще без карт, с которыми можно было бы достойно проиграть. Не выиграть, а проиграть, сохранив собственное лицо.

Через двадцать минут он приподнялся на стременах, махнул казакам рукой: «Уходим!» — и поскакал по розовеющим в солнечном свете владивостокским улицам — подальше от пушек, крови, каппелевцев, от самого себя, поскольку ему перед самим собой было стыдно.

Попытка переворота не удалась.

Вечером того же дня братья Меркуловы объявили о создании коалиционного правительства, во главе которого встал

старший Меркулов, Спиридон Дионисьевич. Николай Дионисьевич получил пост военного министра.

Атамана Семенова братья надули безбожно.

А Семенов пока по-прежнему ничего не знал — ни о боевом марше верного полковника Буйвида, ни об окончательном предательстве братьев Меркуловых, ни о том, что власти во Владивостоке ему теперь не видать как собственного затылка. Атаман плыл на «Киодо-Мару» на север, нетерпеливо выбегал на палубу и прикладывал к глазам ладонь: не покажется ли наконец исчезнувший в морском пространстве Владивосток? Владивостока не было, и Семенов, ощущая, как тело его становится дряблым, незнакомым, каким-то старческим, возвращался в каюту.

Вечером двадцать восьмого мая атаман вызвал к себе Таскина. Выглядел Семенов усталым, словно его выпотрошили, по сытым розовым щекам пролегли морщины, и, когда Таскин вошел, атаман ткнул пальцем в кресло:

— Садись!

Таскин сел, прищурил глаза, как будто хотел рассмотреть атамана получше, тот поймал его взгляд, усмехнулся через силу:

— Что, плохо выгляжу?

— Плохо, — не стал скрывать Таскин.

— Это Колчак мог плавать по морям, по волнам как жук-водомерка, а я — человек сухопутный. — Семенов помял пальцами виски, потом помассировал затылок, затем снова — виски. — Море мне — беда разливанная.

В открытый иллюминатор неожиданно плеснулась вода — в бок шхуне ударила тугая, будто сбитая из металла волна, рассыпалась в брызги, атаман брезгливо стряхнул с лица морось, пробормотал: — Вот за это я и не люблю море. — Рывком захлопнул иллюминатор, засунул в рожки уплотнителя барашки, тщательно завернул их. — А что там бригада наша, в горах которая... Есть от нее прок или нет? Что-то я давно ничего не слышал о ней.

Таскин поднял указательный палец, словно опытный оратор, который просит внимания, на губах у него заиграла блеклая улыбка. Проговорив по-приказчичь «сей момент», он запустил руку в карман пиджака, извлек из него тощенькую записную книжку в обложке из козлиной кожи.

— Сей момент! — повторил он громко, перелистнул не-

сколько страничек. — Сей... Та-ак, запись сделана пятого мая тысяча девятьсот двадцать первого года... А четвертого мая, Григорий Михайлович, я вам докладывал по золоту, четвертого мая, у меня записано...

— Не помню, — проговорил атаман с усмешкой, — давно это было.

— Пятого мая я принял новый груз, оприходовано драгоценного металла... два пуда десять фунтов ровно. — Таскин показал запись атаману и захлопнул записную книжицу.

— Два пуда — это немало...

— Не знаю, мало это или немало, но баржу на это золото можно купить.

— Ты не о баржах думай, а о броневиках и бронепоездах.

— Пяток броневиков можем приобрести у наших японских друзей, они нам продадут их по дешевке. Но золото это в несколько раз вырастет в цене, если из него сделать украшения и понатыкать драгоценных камней. Алмазов в наших приморских горах, конечно, нет, но сапфировые и рубиновые друзья встречаются. А это означает — если поискать получше, то и рубины, и сапфиры можно найти.

— Отсюда вывод: как только возьмем власть во Владивостоке, надо будет организовать кучку геологов, собрать ее в кулак, обеспечить инструментом и отправить в горы на разведку камней.

— Я вам говорил четвертого мая, что в горах у деда сидит очень толковый геолог, прапорщик, только за ним глаз да глаз нужен.

— Забыл... — Семенов сморщился. — Напомни!

— Биография у него такая... — Таскин по-крабьи пошевелил в воздухе пальцами, — кривая.

— Передай это дело контрразведке, у себя не держи.

— Контрразведка проверяла его дважды, ничего худого, кроме мелочей, не нашла, но перед самым отъездом у меня побывал полковник оттуда и кое-что сообщил... Не знаю, верить этому или нет?

— Контрразведчики часто преувеличивают, из таракана делают бегемота.

— Но все-таки там люди хорошо знают, где летают мухи и на какие кучи дерьма садятся. В общем, я должен в этом разобратся. А геолог он золотой. От Бога.

— Как его фамилия? — Атаман нетерпеливо пощелкал пальцами.

— Вырлан.

— Жизнь этого Вырлана будет зависеть от наших успехов... или неудач. Как ляжет карта. В случае, если мы прогорим, его придется уничтожить.

— И не только его, — поспешил добавить Таскин, — всю артель. Иначе представляете, сколько людей на белом свете будет знать об этом месторождении? Даже в Америке с Японией — и там будут знать.

— Меня это особо не страшит, но если считаешь, что этих людей надо уничтожить, значит, надо уничтожить. Деда только жалко. Да потом, то ли дочка у него подрастает, то ли внучка, не понял я... Ее тоже жалко.

— Жалко бывает у пчелки, Григорий Михайлович. — По лицу Таскина пробежала желтая жесткая тень, подбородок выпятился, как у кулачного бойца.

У атамана от этой фразы раздулись, стали широкими, как у негра, ноздри. Он не любил таких выпадов, но, поразмыслив немного, махнул рукой:

— Ладно, раз считаешь, что надо уничтожить, значит, надо уничтожить. Остается уповать на то, что мы победим.

— Если победим, — подхватил Таскин, — и геолог будет цел, и дедка с внучкой.

— Да, геолог нам тогда понадобится. Дадим ему людей в разведывательную партию, пусть ковыряет недра и отрабатывает кривулины в своей биографии. Орден какой-нибудь придумаем, наградим. — Атаман посветлел лицом и, не выдержав, подмигнул Таскину.

— Придумаем, наградим, — поддержал шефа Таскин. — Тем более я знаю геолога лично — сам его туда направлял.

— А я знаю лично деда, — произнес Семенов голосом, звучащим неожиданно металлически. Слишком часто меняется настроение у атамана. Нервничает, переживает. Впрочем, состояние атамана было хорошо понятно Таскину.

— У меня тоже есть сердце, Григорий Михайлович, — произнес Таскин, стараясь, чтобы голос его звучал как можно мягче. — Я ведь также видел и девку и деда.

— Ладно, хватит распускать сопли, — обрезал его Семенов. — Раз решили в случае провала пускать в расход, значит — в расход. Тем более нас с тобою самих запросто могут поставить под винтовочные стволы. — Металл в голосе Семенова пропал, послышались дряблые нотки — было видно, что сам он такую возможность все-таки исключает, просто не верит в нее.

Таскин же, стараясь, чтобы лицо его было бесстрастным, подумал: «А что?! Это очень даже может быть».

За бортом шхуны послышался тонкий жалобный звук, будто в воде заплакала русалка, обижаясь на невнимание к ней людей. Семенов, услышав плач, напрягся лицом, закурил головой, немо спрашивая у Таскина: «Что это?» Таскин непонимающе приподнял плечо, он, как и атаман, никогда не слышал, чтобы в море прямо из воды раздавался такой плач.

— Что за черт! — Семенов поспешно раскрутил бронзовые барашки иллюминатора. — Тонет кто-то, что ли?

В иллюминатор брызнула соленая морось. Таскин через плечо атамана заглянул наружу.

В пшпучей, недобро переливающейся воде мелькнула одна проворная тень, за ней другая. Это были дельфины. Атаман отер рукою лоб.

— Такое даже в худом сне не приснится... Посреди моря, в чистом пространстве, вдруг бабий плач. Заикой можно стать.

Таскин испытующе глянул на атамана — то ли что-то происходит с ним, то ли он просто шутит: Семенов всегда утверждал, что не знает страха, и это было так. А уж насчет того, чтобы стать заикой... Перегнул атаман.

Дельфин, который шел первым, разогнался и, с тугим хлопком прорвав поверхность воды, торпедой взметнулся в воздух. В ту же секунду раздался крик — тоскующий, печальный, предупреждающий людей о беде.

Второй дельфин вымахнул из воды следом за первым и, вторя ему, также закричал.

Некоторое время дельфины шли под водой, потом снова раздался тугий хлопок, и в воздух взвился первый дельфин. Опять послышался долгий, вышибающий мурашки плач.

Дельфины предупреждали людей о беде.

Военный министр нового приморского правительства Николай Меркулов вызвал к себе полковника фон Ваха — преданного педантичного человека с усами под кайзера Вилли, хотя в России это было немодно, однако фон Вах был негибким, как телеграфный столб, и если ему что-то не нравилось либо, наоборот, нравилось, он действовал вопреки всем приказаниям и инструкциям: поступал так, как считал нужным поступить. Он готов был снять с себя погоны и расстаться с орденами, если кто-то из начальства говорил, что он не прав, и требовал поступить иначе. Полковник фон Вах всегда был прав.

Войдя в кабинет военного министра, полковник щелкнул каблуками, огляделся. Кабинет был богатый, чего тут только не имелось: тяжелые бронзовые часы с золотыми стрелками

украшали длинный, обтянутый зеленым бильярдным сукном стол, на стене висел лакированный морской штурвал; рядом, в рамке из красного дерева — портрет самого министра Николая Дионисьевича Меркулова; по другую сторону штурвала — карта России, отпечатанная на плотном шелке (судя по всему, японская работа); под темным стеклом книжного шкафа слабо посвечивали дорогим золотым тиснением корешки толстых фолиантов.

«Очень лихо пускает пыль в глаза Николай Дионисьевич, — отметил про себя фон Вах, — незнающий человек может в эти книги поверить... А господин министр их ни разу и не открывал». Полковник фон Вах знал младшего Меркулова лучше, чем тот знал себя.

Министр в солидном, с высокой черной спинкой, украшенной замысловатой резьбой, кресле сидел уверенно, осанисто — что-то писал на листе бумаги, под который был подстелен кусок гладкой, как стекло, бычьей кожи — канцелярский шик, пришедший из Америки. Поставив точку, военный министр приказал фон Ваху на кресло, стоявшее у приставного столика.

Полковник кивнул, неторопливо опустился в кресло, устроился поудобнее и затих. Откуда-то снизу, будто из подвала, в этот роскошный кабинет принесся шум улицы. Вот простучал на камнях тугими резиновыми шинами старый автомобиль, рыкнув мотором, свернул на соседнюю улицу, вот пронеслись два китайчонка со свежей холодной водой — ведра они держали на голове и звонко постукивали по ним эмалированными кружками, — вот дзенькнул электрическим звонком трамвай. Звук усилился, потом начал слабеть, сделался глухим, словно бы ему приходилось просачиваться сквозь ватную прокладку, затем исчез.

Младший Меркулов устало протер глаза, пожаловался надтреснутым голосом:

— Вымотался как собака. Охота плюнуть на все и укатить куда-нибудь на Окиनावу есть ананасы с мандаринами.

— На все плевать нельзя, Николай Дионисьевич.

— Знаю. Слюней не хватит. И кое-что мы с вами, дорогой полковник, обязательно совершим.

Фон Вах выпрямился в кресле.

— Жду ваших приказаний.

— По нашим данным, четыре дня назад из Порт-Артура сюда на специально зафрахтованном японском судне под названием... — Меркулов глянул в бумагу, лежавшую перед

ним, — под названием «Киодо-Мару» отплыл атаман Семенов. Цель у него одна — совершить во Владивостоке переворот.

— Это какой же по счету? — не удержался от ехидного вопроса фон Вах, показал крупные желтые зубы. — Атаман, он что, сдурел?

— Судя по всему, сдурел. Голова у него всегда была набекрень... А тут, похоже, совсем от туловища отвалилась. Мы с братом всю зиму переписывались с ним, удерживали от разных безумных шагов, но в том, что он окончательно сбрендил, мы не виноваты.

— Завтра утром атаман должен быть во Владивостоке. Ваша задача, — Меркулов сделался строгим, — арестовать Семенова.

В ответ на это фон Вах скептически выпятил нижнюю губу.

— Да-да, — увидев это, с напором произнес Меркулов. — Возьмите два комендантских взвода, по паре обойм к винтовкам, два пулемета — по одному на каждый взвод, садитесь на крейсер береговой охраны «Лейтенант Дыдымов» и отправляйтесь в море встречать Григория Михайловича.

— Атаман этот крейсер пашкой изрубит. Лихой человек.

— А вы его — из пулемета, из пулемета! Не знаете, как пашку ломают о пулеметный ствол? Ах, полковник! Да еще пусть оба взвода передернут затворы у винтовок. Знаете, какой это прекрасный звук, а? На похмельную голову действует лучше холодного шампанского. Семенов быстро скумекает — раз солдаты передергивают затворы винтовок, значит, лучше вести себя тихо. Он разом протрезвеет.

— Семенов трезвым не бывает. — На лице фон Ваха появилось сомневающееся выражение.

— Ничего, когда речь пойдет о жизни и смерти — или — или, — разом хмель улетучится, — взгляд Меркулова сделался жестким, — станет трезвее стеклышка.

— Задача ясна. — Фон Вах поднялся с кресла, подождал несколько секунд — вдруг военный министр скажет что-нибудь еще — министры, они ведь на то и министры, чтобы делать многозначительные паузы, но Меркулов молчал, и фон Вах, щелкнув каблуками, откланялся.

Выйдя на улицу, невольно удивился яркому свету, ударившему ему в глаза — на веках даже вспухли слезы, — запоздало зажмурился. В кабинете Меркулова было сумеречно, как вечером, а здесь — солнце, полно жизни, толкотни, желаний, запахов, криков, говора, и так предстоящая миссия показала фон Ваху противной, что ему захотелось

плюнуть на все, сбросить с себя военную форму, переодеться в штатское и нырнуть в какой-нибудь подвальный кабачок, там за стопкой коньяка завести разговор с местными интеллигентами... О чем он будет с ними говорить? Да о чем угодно! Может же Спиридон Дионисьевич писать о чем угодно. Об ужении крупной камбалы на донную удочку с бастионов Русского острова, о сокращении продолжительности жизни среднестатистического русского мужика, округленный до нулей возраст которого равен всего пятидесяти годкам, о вкусе икры морских ежей, которая несколько не уступает паюсной икре — японцы в своих ресторациях подают роскошную ежовую «кашу», о моде на сатиновые сарафаны и женщин с аппетитными полными бедрами.

Прошло несколько минут, и желание «отвязаться» у фон Ваха исчезло. Он остановил извозчика и поехал в порт искать крейсер береговой охраны «Лейтенант Дыдымов».

На рассвете тридцатого мая Семенов поднялся в судовую рубку «Киодо-Мару». Капитан стоял рядом с рулевым и спокойно посасывал какой-то обмылок, отдаленно напоминающий трубку. Увидев атамана, капитан выудил обмылок изо рта, поинтересовался глуховатым, лишенным всякого выражения голосом:

— Господину генералу не спится?

Капитан знал полсотни слов по-русски, еще — несколько готовых, довольно неумело слепленных фраз, которые постарался заучить так, чтобы они звучали не по-японски, а по-русски, без сюсюканья, и в этом почти преуспел, иногда те, с кем он говорил, удивленно приподнимали брови: надо же, как здорово желтоголовый чешет по-нашенски; атаман Семенов знал полсотни слов по-японски, полсотни по-китайски и хорошо — монгольский язык, так что худо-бедно объяснить с капитаном они могли.

— Сна ни в одном глазу, — признался атаман.

В другой раз он вместо ответа на подобный вопрос рывкнул бы на этого капитанишку так, что кривая трубочка его улетела бы хрен знает куда, за окинавские пальмы, но сегодня Семенову было не до пустяков, он сдерживал себя — ему предстояла встреча с Владивостоком.

Ох и неверный, ох и хитрый же, блудливый и жеманный город! Будто и не русский он вовсе.

Справа по борту медленно проползала длинная каменная гряда — пустынный остров, очень опасный для тех, кто ред-

ко плавает в здешних водах — стоит только взять немного в сторону, и в корпусе любого, даже бронированного военного судна образуется дырка. Семенов раздраженно повел головой в сторону — воротник кителя зацемил горло.

— Когда будем во Владивостоке? — спросил он.

— В семь тридцать утра.

— О, значит, мы уже на подходе. — Семенов отогнул рукав кителя, посмотрел на ручные часы.

— Да, на подходе.

Опасная каменная гряда медленно отступила назад, ее накрыла волна «Киодо-Мару»; капитан оглянулся, провожая волну глазами, потом также посмотрел на часы — они показывали четыре тридцать утра. Солнце еще не встало — оно лишь умывается за кромкой горизонта, в низких, прилипших к воде облаках, напомнивших капитану деревню, в которой он родился; там, в деревне, над макушкой горы, где белеют аккуратные рыбацкие домики, всегда висели точно такие же облака, оторвать их от горы не мог даже ураган, и облака, и кромка моря были обычно окрашены в ядовитый красный цвет. Капитан вздохнул — он скучал по своей родной деревушке, названной по японскому обычаю красочно и романтично: «Розовое перо фазана на побегах молодого бамбука», русским прелести такого названия никогда не понять... Капитан постучал пальцем по стеклу часов и неожиданно предложил Семенову:

— Вы поспите немного, господин генерал... Когда мы будем подходить к Владивостоку, я вас разбужу.

Лицо Семенова в ответ жалобно сморщилось, под глазами вспухли мешки, и атаман не удержался от тяжелого вздоха:

— Эх, Россия!

Столько горячи, надежды, покаянного ожидания, чего-то тоскливого было вложено в этот короткий возглас, что капитан, который собирался произнести ободряющие слова, споткнулся, пробормотал что-то сочувственно и отвернулся от атамана — понял, что с ним происходит, как понял и другое — свидетелей у подобных проявлений слабости быть не должно.

А Семенов, сгорбившийся, с опущенными плечами, ушел из рубки, добрался на корму и замер там. Стоял на корме долго, похожий на изваяние, вглядывался в море, страхивал с шеи мелкие соленые брызги — шхуна шла на пределе своих мощностей, винт бешено рубил воду, усталый двигатель задыхался. Семенову казалось, что он, как и этот двигатель, тоже задыхается, ему не хватает воздуха, и почувствует он себя

нормально только тогда, когда ступит на владивостокский причал. Там — русская земля. Устойчивая, надежная, вызывающая благодарные слезы... А здесь... здесь — холодное ничейное море, равнодушное, как вселенная, которому нет никакого дела до бед и страстей человеческих.

Сзади раздались осторожные, какие-то крадущиеся шаги. Семенов резко обернулся — сзади стоял Афоня, ординарец, и держал в руках брезентовую накидку.

— Ваше высокопревосходительство, в брезентовичок пожалте... Смотрите, как волны лупят. Так недолго и шторму разгуляться. Ветер до костей прособачивает...

Семенов непонимающе смотрел на Афонию.

— Накидочку, пожалуйста, ваше высокопревосходительство, — жалобно закапючил Афоня, — вы же промокли...

— А-а-а, — наконец проговорил атаман, подставил ординарцу плечи.

Вода в море сделалась огненно-красной, яркой, над кромкой горизонта завиднелась светящаяся макушка солнца, осветила Семенова.

Ординарец на цыпочках отошел от атамана — понял, что тот хочет остаться один.

Крейсер береговой охраны «Лейтенант Дыдымов» оказался обычным пароходом с дырявой трубой, он был абсолютно штатской плаведицей, этакой расшлепанной скрипучей галошей, единственной военной приметой которой были две пушечки, установленные на носу, да одна пушка, побольше калибром, — на корме.

Фон Вах сокрушенно покачал головой — на такой коробке плавать неприлично, хотя и командовал ею настоящий морской офицер — рослый лейтенант со шкиперской бородкой, в безукоризненно спитом кители. Он сказал:

— От причала отходим в шесть утра. Погрузка — в пять тридцать.

— Надо еще взять с собою оркестр.

— Зачем?

— Чтобы сыграть атаманский марш. Походного атамана Забайкальского, Амурского, Уссурийского казачьих войск да к тому же — Верховного правителя России положено встречать атаманским маршем.

Лейтенант отвернулся от полковника и со скучающим видом поглядел в иллюминатор. Это были политические игры, он в них не играл и не любил их. А фон Вах любил и играл.

В иллюминатор была видна пристань с запрудившими ее солдатами. Все серое, серое, серое — ни одного черного пятна. Ни одного моряка, значит.

— Как скажете, полковник, — равнодушно произнес командир «Лейтенанта Дыдымова», — оркестр так оркестр. Нам, татарам, все равно.

— Вы татарин?

— Нет, это поговорка такая, мои матросы где-то подцепили — ходит по кораблю, никак отделаться не можем.

Фон Вах неожиданно заметил, что в лице лейтенанта проступило что-то мальчишеское, даже на щеках и то, кажется, появилась смущенная розовина.

Лейтенант все понял, встал.

— Сколько всего будет человек, господин полковник?

— Военных, вместе с оркестром, — примерно двести.

— О-о! Это гораздо больше, чем мне говорили.

Семенова готовились встретить торжественно. Так торжественно, как раньше еще не встречали — чтобы встречу эту он запомнил на всю жизнь.

Атаман стоял на палубе «Киодо-Мару» и вглядывался в далекий берег, покрытый белыми квадратиками домов, то одним пальцем, то другим стряхивал с глаз мешающую смотреть налипь. Момент был торжественный — он возвращался в Россию.

Из гавани, хорошо видимой на фоне зеленых взлобков, испятнанных квадратиками строений, неспешно попякивая трубой, к ним шел корабль. Озабоченный Таскин подскочил к атаману.

— Очень похоже на торжественную встречу, — произнес он, — только уж больно дырявая развалюха шлепает к нам... Не находите? Что у них там, посудины попримичнее не нашлось?

Атаман не ответил, приложил руку козырьком ко лбу, вгляделся в пыхтящий утюжок, направляющийся к ним.

— Если бы я знал, — проговорил он неуверенным голосом, — если бы... Думаю, что посудина нашлась бы... Но Меркуловы предупреждали нас с тобою, друг Таскин, чтобы мы повременили с приездом, а? Предупреждали. А мы не послушались их. Но ничего-о... Ничего. — Атаман сжал одну руку в кулак, потом сжал вторую, наложил кулак на кулак и сделал винтовое движение, будто гайку наворачивал на болт. — Вот что ждет неверных.

— Не надо было подкармливать их деньгами, золотом, — проворчал Таскин. — Нашими, между прочим, деньгами. И нашим золотом.

— Без тебя знаю, что надо и чего не надо, — поморщился Семенов. — Возьми-ка у кого-нибудь бинокль.

Сотрудники штаба, собравшиеся на палубе, толпились на почтительном расстоянии от атамана. Невыспавшиеся, мятые, зеленые от качки, они уже успели рассмотреть, что за судно идет к ним.

— Обыкновенный пароход с двумя пушками на носу, — сказал Таскину хорунжий Евстигнеев, — старая галоша, двумя плевками потопить можно, вымпел — пограничный...

— Бинокль для атамана, хорунжий! — приказал ему Таскин.

Через несколько секунд исчезнувший с глаз Таскина хорунжий вновь материализовался — в руке он держал старый артиллерийский бинокль.

Атаман проворно вскинул бинокль к глазам, покрутил колесиком наводки, прилаживаясь к оптике, поймал «утюжок», неспешно топающий по морю, и неожиданно начал считать:

— Один, два, три, четыре... Сорок два, сорок три, сорок четыре, — продолжал считать атаман.

Через несколько минут он замолчал и с довольным видом повернулся к Таскину:

— На палубе — человек двести, не меньше. И оркестр. Достойная встреча. Выходит, Меркуловы образумились.

Вместо ответа Таскин неопределенно приподнял плечо и по-ребячьи потерся о него щекой.

— Хотя судно действительно — тут ты прав — галоша галошей. Только гаолян⁷² на нем возить. Название его, — атаман вновь вскинул к глазам бинокль, — «Лейтенант Дыдымов». Кто такой лейтенант Дыдымов?

— Представления не имею, ваше высокопревосходительство, — подчеркнуто официально ответил Таскин, — наверное, обычный морской офицер, которого съели акулы.

— Тьфу! — отплюнулся атаман, хотел было отдать бинокль Таскину, но передумал и вновь поднес его к глазам.

На крейсере береговой охраны шло приготовление к встрече атамана. Фон Вах поднялся в рубку к командиру корабля.

— Пушки, что стоят у вас на носу, — действующие?

— Странный вопрос, господин полковник! — У лейтенанта от удивления даже дрогнуло лицо: как же пушки могут быть бездействующими? Губы у него расплылись в язвительной

улыбке. — Конечно, при желании они могут стрелять и конфетами, изготовленными на фабрике какого-нибудь сибирского купца, но мои пушки предпочитают стрелять снарядами.

— И боезапас есть?

— Как на всяком военном корабле.

— Прикажите канонирам и фейерверкерам быть готовыми к бою.

На лице лейтенанта насмешливо дрогнула и поползла вверх одна бровь.

— Вы хотите, извините за выражение, раздолбать этот безобидный деревянный горшок?

— Это не ваше дело. Ваше дело — выполнять приказы.

Командир сторожевика подвигал головой из стороны в сторону — ему было неприятно, что этот похожий на сытого кота полковник, то ли немец, то ли австриец, называющий рядовых артиллеристов канонирами, а унтеров фейерверкерами, заставляют его воевать с гражданскими корытами и со штатскими людьми... Тьфу! Бровь на лице лейтенанта резко опустилась. Но он — военный человек и не имеет права ослушаться приказа.

— Желательно, чтобы пушки стояли с забытыми в стволы снарядами, — сказал фон Вах.

Нет, этот человек решительно не понимает, чем отличается морская черепаха от сухопутной... Лейтенант сделал протестующий жест.

— Это же секундное дело — забить в пушку снаряд, — сказал он, — у нас снаряды подаются автоматически.

— Делайте, что вам сказано, — недовольно произнес фон Вах, — не занимайтесь отсебятиной, лейтенант. Момент ответственный, очень важно, чтобы все действия были согласованы.

Фон Вах фыркнул, как кот, вновь вспушил усы и покинул каюту командира сторожевика. Лейтенант проводил его изучающим взглядом, качнул головой, осуждая фон Ваха, — к тому, что требовал полковник, не лежало сердце, но не подчиниться он не мог — у него имелся приказ, привезенный из штаба, о полной подчиненности этому таракану.

С грустью лейтенант подумал о том, что, похоже, наступают времена, когда надо снимать с себя военную форму. Гражданскому человеку легче — прежде чем что-то совершить, он волен спросить свою совесть: а надо ли это делать? Военный же человек — получается, увы, так, — этого права лишен.

А генерал-лейтенант Семенов продолжал рассматривать в бинокль серый «утюжок», упрямо вгрызающийся носом в воду, разваливающий ее, будто плуг пашню, на два вала, пара пушечных зрачков колола атаману глаза, он недовольно подергивал уголком рта и не отводил бинокля от сторожевика.

Наконец он опустил бинокль и сказал Таскину:

— Я все-таки до последней минуты надеялся, что братья Меркуловы сохранили хоть каплю порядочности, а они, оказывается, не сохранили ничего. — Он подцепил ногтем большого пальца ноготь безымянного, лихо щелкнул. — Даже на полногтя не сохранили, даже на четверть... Вот и верь после этого людям. — Семенов покосился на золотой генеральский погон, украшенный небольшими серебряными звездами, словно желая убедиться, на месте ли он и на месте ли звездочки — символ атаманского величия, потом перевел взгляд на другой погон, тряхнул головой: — Вот и верь...

В голосе его прозвучали отчетливые горькие нотки.

— Подождите, Григорий Михайлович, — еще не вечер, — проговорил Таскин в ответ смято, — еще не кончен бал и не погашены свечи.

— Кончен бал, Сергей, кончен, жаль, я понял это только сейчас, — горькие нотки в голосе Семенова зазвучали сильнее, — и свечи погашены, только ты этого не видишь.

— Но я же не слепой!

— А не видят не только слепые, зрячие не видят гораздо чаще их. Степень падения человека не поддается измерению. Всем нам хочется верить в человека до последнего, и все мы жутко страдаем, когда веру эту нам подрубают под корешок.

— Что будем делать, Григорий Михайлович?

— Играть в игру, которую нам предлагают, — играть и выигрывать. Мы думали, этот корабль собирается встретить нас лаской, с хлебом-солью едет, — атаман ткнул биноклем в сторону «утюжка», — а там уже артиллеристы к орудиям встали, снаряды из погребов подают... Поторопились, поторопились господа хорошие защелкивать наручники на запястьях Григория Михайловича Семенова.

Крыть было нечем. Атамана, которому сам адмирал Колчак передал портфель Верховного правителя России, положено встречать литаврами, восторженной медью оркестров, хлебом-солью и доброй чаркой, наполненной до краев, но никак не пушками с боевыми снарядами.

Хотя, с другой стороны, на «Лейтенанте Дыдымове» оркестр был, поблескивал начищенной медью, теперь уже нево-

оруженным глазом можно было видеть, как оркестранты, подчиняясь команде капельмейстера, берут на изготовку трубы.

— Как видите, Григорий Михайлович, кроме пороха этот неуклюжий «карась» привез и «музыки слащавые звуки»...

— А ты поэт, однако. — Семенов усмехнулся.

— Похоже, духовики вот-вот грянут марш.

Словно в подтверждение слов Таскина с «утюжка» донеслась музыка.

— А вдруг это обман, маскировка для отвода глаз, — взгляд атамана был недоверчивым, — чтобы усыпить нашу бдительность... А?

— Но ведь играют, — Таскин вытянул шею, — играют атаманский марш.

Семенов прислушался, наклонил голову.

— Верно. Но это еще ничего не значит.

Атаман как в роду глядел: оркестр оборвал атаманский марш на полуфразе, затем, чтобы не молчать, затянул какой-то другой марш, ни Семенову, ни Таскину не ведомый, — видимо, из новых, родившихся во владивостокских ресторанах в прошедшую зиму.

Семенов внимательно посмотрел на собеседника.

— Ну и что я говорил?

Вместо ответа Таскин развел руки в стороны.

— Цыганщина какая-то.

— Ну что ж, будем играть в игру, которую нам предлагают братья Меркуловы, — сказал атаман, — а там посмотрим, кто быстрее к бабе под юбку заберется.

Через полминуты незнакомая мелодия перестала звучать, вместо нее оркестр вновь заиграл атаманский марш.

— Чехарда-а. — Таскин осуждающе покачал головой.

— Это называется «встреча по-меркуловски».

Атаманский марш вновь умолк на самой высокой ноте, на смену ему пришла незнакомая мелодия.

— Одного не пойму — неужели они осмелятся стрелять по иностранному судну, тем более — японскому? — Атаман поднес бинокль к глазам, хотя все уже было хорошо видно и без пейзажной оптики. — Ведь на Дальнем же Востоке под каждым кустом сидит по японцу, вооруженному «арисаками», ежели что — они же камня на камне не оставят... Нет, не пойму.

— Дуракам закон не писан, — пожал плечами Таскин.

— Если только.

На нос «утюжка» выскочил матрос-сигнальщик и начал семафорить флажками.

— Ну-ка, чего он там передает? — обеспокоенно спросил атаман. — Кто у нас специалист по флажковой болтовне?

— Есть и такие.

Напрасно Таскин сказал это атаману — людей, знающих флажковый язык, в штабе Семенова не нашлось, но был таковой среди японцев.

Сигнальщик все продолжал и продолжал семафорить. Сам «Лейтенант» уже перестал располовинивать тяжелым плугом воду, шел тихо, с каким-то покорным, вызвавшим у атамана неожиданное удовлетворение видом.

Японец — коричневолицый, скуластый, с удлинненным лысым черепом, на японца совсем не похожий — в сигналах разбирался слабо, но тем не менее понял, что передает «Лейтенант Дыдымов».

— Вас, господин генерал, приглашают пересесть на этот корабль, — сказал он Семенову.

— Вона! Приглашают! — Голос у атамана зазвенел. — Ты, Таскин, когда-нибудь сталкивался с такой наглостью, а? Приглашать могу я как старший по воинскому званию, но не меня... Пересесть в этот ботинок, фр-р-р! Спасибо большое, господин Меркуловы, спасибо от всего сердца! — Семенов по-птичь похлопал себя руками по бокам. — Да на палубе этого таза ни одного генерала нет. Ты, япона-мать, передать ответ сможешь?

— Попробую, — невозмутимо отозвался коричневолицый сигнальщик, доставая из-за пояса флажки.

Семенов невольно подумал о том, что этот совсем еще не старый человек, вполне возможно, где-нибудь в девятьсот четвертом году воевал в этих водах с эскадрой адмирала Макарова и на его счету, вероятно, есть русские жизни, но разбираться в ощущениях было некогда. Атаман цепко ухватил японца за плечо:

— Значит, так. Передай следующее. Вернее, спроси... Кто старший воинский начальник на «Лейтенанте Дыдымове»?

Кожа на лбу японца пошла лесенкой, он показал атаману неровные крупные зубы и старательно заработал флажками.

Ответ вызвал недоумение не только у атамана и окружающих его людей — вызвал недоумение даже у самого японца — какой-то полковник... Фамилию его сигнальщик «Лейтенанта Дыдымова» передал по буквам три раза: «Вах».

— Вах, вах, вах, — на кавказский манер закрутил головой атаман, — большой человек, видать, этот Вах. — Он звучно втянул воздух, ноздри у него гневно раздулись, Семенов рубанул рукой воздух, будто шапкой, — вспомнил, как когда-то на гер-

манском фронте разваливал пополам немцев, рубил как капусту, — в следующий миг лицо его сморщилось: показалось, что здешний морской воздух — затхлый, в нем много гнилой вони, и надо спешно перебираться в чистое место... Что это за запах? Запах того, что происходит сейчас? Или того, что происходило раньше, вчера, позавчера — гнилой дух, витавший над берегом, был сорван утренним ветром и принесен сюда? Тьфу!

Семенов, продолжая гневно раздувать ноздри, покрутил головой:

— Вах, вах, вах!

На «Лейтенанте Дыдымове» вновь засемафорил сигнальщик.

Атаман в очередной раз тряхнул стоявшего рядом японца за рукав:

— Узнай, чего он хочет?

Японец покорно зашуршал, захлопал флажками.

— То, что и раньше, — сказал он. — Чтобы вы пересели на крейсер береговой охраны.

— Зачем?

Японец поскреб пальцами коричневое лицо и вновь захлопал флажками.

— Чтобы вместе плыть на этом корабле во Владивосток, — медленно произнес он, прочитав ответ. — Там вас будет встречать почетный караул, а также население и армия.

Атаман, продолжая округлять ноздри, покрутил головой — жест выражал то ли восхищение, то ли досаду, японец не понял и вопросительно поднял брови.

— А вот это — ловушка, — произнес Таскин.

— Ну-ка, братец, — Семенов вновь дернул японца за рукав, — предложи-ка этому, с грузинской фамилией... явиться ко мне для доклада. Сюда, на «Киодо-Мару».

Сигнальщик на «Лейтенанте Дыдымове» молчал, издали хорошо была видна его немая фигурка, затянутая в черную форму.

— Чего это он? — насмешливо пробормотал Семенов. — Приступ желудочной боли, что ли, скрутил? Или пукнул прилюдно? Ну-ка, братка, — он снова тряхнул японца, — втори-ка текст, раз они там собрались такие непонятливые.

По-птичьи клюнув тяжелой головой, японец опять начал красовать флажками воздух.

В ответ — снова молчание.

— Не приплывет этот Вах сюда, ни за что не приплывет, — убежденно проговорил Таскин. — Это ловушка... даже не ло-

вушка, а хрен знает что — изобретение очень примитивного мозга. Похоже, нас хотят заманить на эту керосинку, а там, под прикрытием пушек, арестовать.

— Дудки! — Семенов выкинул перед собой фигу, повертел ею из стороны в сторону. — Дудки!

Лицо его покраснело, напряглось, в натуженной нездоровой красноте этой возникли белые пятна. Около глаз образовались старческие морщины, густая плетенка. Семенов спрятал фигу в карман и повернулся к Таскину:

— Поднимись к капитану. Мы уходим отсюда.

— Куда?

— К Русскому острову.

Когда под кормой «Киодо-Мару» взвихрился белый пенный бугор и шхуна начала отворачивать в сторону от «Лейтенанта Дыдымова», командир крейсера, смущенно рдея щеками — ему еще никогда не доводилось выполнять жандармские функции, — предложил фон Ваху насмешливым голосом:

— Может, господин полковник, вслед ударим из пушек? Пару снарядов всадим в корму, повеселим японцев, а заодно и господина атамана... Я так полагаю, мы встречали генерал-лейтенанта Семенова?

— Вы слишком много полагаете, лейтенант!

— А что, давайте шлепнем, господин полковник... А? Под вашу ответственность.

Странное дело, взгляд, который фон Вах бросил на командира «Лейтенанта Дыдымова», ничего, кроме усталости, не выражал.

Когда по курсу «Киодо-Мару» замаячил Русский остров — неровный, с угрюмыми толстыми стенами бастионов, — к шхуне устремился шустрый, окрашенный в белый адмиральский цвет катер.

Штаб Семенова и сам атаман с палубы не уходили, продолжали стоять там, дышали соленым воздухом. Глаза у Таскина были влажные, он, не стесняясь, промокнул их платком.

Атаман заметил это, подумал, что вид у него тоже такой же, как и у верного Таскина, прижал рукою расстроенно держащиеся усы и неожиданно залихватски, будто купец, собирающийся выкрасть из богатых хоромов красивую девицу, подмигнул.

— Прошу прощения, не сдержался, — пробормотал Таскин смущенно, — но такая слабость простительна. — Он сно-

ва приложил платок к глазам, озабоченно шмыгнул носом и оглянулся на сильно уменьшившийся и теперь похожий на точку, застывшую среди огромного серого пространства, «утюжок». — А они нам вдогонку не пальнут?

— Не пальнут, — уверенно произнес Семенов, — а если пальнут, то до берега вряд ли дотянут, японцы их потопят. Командир этой береговой галоши, надо полагать, все знает и глупостей делать не будет.

— Вах, вах, вах!

— Думаю, командир там не этот кавказец, а совсем другой человек. Кавказец — всего-навсего начальник арестантской роты, который прибыл надеть на меня наручники.

Катер вплотную приблизился к «Киодо-Мару». На носу его стоял человек, которому атаман доверял безоговорочно — полковник Буйвид.

— Вадерьян! — не удержался от радостного восклицания атаман, широко раскинул руки.

С борта «Киодо-Мару» немедленно был сброшен трап, Буйвид поднялся на шхуну, шагнул к атаману, лихо вскинув руку к фуражке, но Семенов не дал ему сделать доклада, обнял, стукнул кулаком по спине — жест этот выглядел очень дружественным.

По хлипкому раскачивающемуся трапу на шхуну тем временем ловко поднялся худенький усатый казак, похожий на недокормленного в детстве парнишку. Одной рукой он цеплялся за веревку трапа, в другой крепко держал поднос, на котором стояли две стопки, хрустальный «дамский» графинчик с прозрачной жидкостью, в предназначении которой сомневаться не приходилось, солонка и недавно испеченный, распространяющий вокруг себя дивный дух каравай.

Это был Ванька Спирин, верный буйвидский денщик. Пока его патрон обнимался с атаманом, Спирин пристроился за спиной Буйвида и застыл в ожидании, когда на него обратят внимание.

Буйвид не заставил себя ждать; закончив обниматься с атаманом, он, не поворачиваясь, просунул к Спирину пятерню и призывно пощелкал пальцами. Спирин незамедлительно сунул ему в руку стопку.

Атаман с удовольствием выпил, крякнул и вытер усы.

— Тут, на родине, и водочка пьется по-другому.

Присутствующие засмеялись.

— Пожалте закусить, Григорий Михалыч. — Буйвид протянул атаману поднос с караваем.

Тот отщипнул кусок мякоти, с восхищением затянулся хлебным духом.

— А пахнет-то как! От такого запаха в обморок, будто институточка, можно грохнуться, — произнес атаман совершенно неожиданно, и присутствующие вновь рассмеялись: ни один из них не мог представить себе атамана лежащим в обмороке.

Проглотив хлебный мякиш, словно вдохнув его в себя, Семенов восхищенно покрутил головой и предложил:

— Давай-ка, Валерьян, за возвращение на родину опрокинем по второй. А потом и по третьей. Бог, как известно, троицу любит.

Так и сделали.

— А теперь о деле, — сказал Семенов, глянул через плечо назад: не увязался ли за ними «утюжок», но его не было видно. — Что происходит во Владивостоке? Объясни хоть ты.

У Буйвида по лицу пробежала тень.

— В двух словах не объяснить.

— А в двух словах и не надо. Ты все как есть, так и рассказывай. Неторопливо.

Лицо Буйвида сделалось жестким, будто внутри у него пронеслась буря, встряхнула чресла, рот хищно сжался, отвердел, но в следующий миг в нем все обвяло, взгляд стал бесстрастным. Он рассказал, как взял власть в городе и несколько часов держал ее в своих руках, как замешкались и подвели его нерасторопные гродековские генералы, как с сотней преданных казаков держал порт, ожидая атамана, как всем случившимся воспользовались братья Меркуловы...

— На сколько долей они подели этот жирный пирог? — не выдержав, спросил Семенов, он еще не знал, кто из Меркуловых кем стал.

— Спиридошка — премьер, а бывший спичечный воротила Колька управляет армией, — небрежно ответил Буйвид. На щеках Семенова вздулись и опали желваки.

— Дальше, — потребовал он.

— Вчера Меркуловы объявили о прекращении вооруженной борьбы с большевиками, — произнес Буйвид и тут же поправился: вспомнил любимый термин атамана, — с коминтерновцами. Сегодня об этом напечатано во всех владивостокских газетах. Но не это главное, Григорий Михайлович. Главное то, что они объявили вас персоной нон грата...

— Чего-чего? — не понял Семенов.

— Человеком, не удобным этой власти, не имеющим права ступать на землю России...

— Чего-чего?

— В общем, вы сами понимаете.

— Суки, — выругался Семенов, на щеках его вновь вздулись и опали желваки.

— Меркуловы обвинили вас в том, что вы большой мастер пить братскую кровь и хотите сделать это и сейчас: чем больше крови, тем для вас, мол, лучше. А это в корне расходится с целями, которые поставило перед собой меркуловское правительство.

— И какие же цели оно поставило перед собой?

— Наладить на Дальнем Востоке мирную жизнь.

Семенов не удержался, зло похлопал в ладони:

— Браво! Как будто я этого не хочу.

— И последнее. Меркуловы заявили, что воспротивятся любой вашей попытке высадиться на берег.

— А что они со мною сделают? — Семенов оглянулся — не замаячил ли в сером морском пространстве старый пароход, гордо прозванный крейсером береговой охраны. «Утюжка» не было.

— Меркуловы — мужики подлые. И арестовать могут, и пулю пустить в спину могут, и яду в борщ подсыпать — они все могут. Хотя умеют очень ласково и убедительно говорить. Не глядите, Григорий Михайлович...

— А я и не гляжу, Валерьян, — Семенов сжал глаза в щелки, мелькнуло в них что-то тоскливое, далекое, незнакомое — мелькнуло и исчезло, — не гляжу. Я уже давно перестал верить людям. Хотя... — атаман сожалеюще развел руки, — Меркуловым верил, даже посылал им деньги.

— Зачем?

— Думал, им дорога Россия.

— Эх, Григорий Михайлович, святой вы человек... На берег вам сходить никак нельзя.

— Но оставаться здесь я тоже не намерен.

— Я понимаю, Григорий Михайлович, но для Меркуловых вы — очень лакомая добыча. — В голосе Буйвида появились просящие нотки.

— Бог не выдаст, свинья не съест.

Атаман понимал: Буйвид прав, у братьев Меркуловых хватит наглости и силы, чтобы попытаться задержать его не только в море, но и на берегу, хотя море и берег — это две большие разницы. В море он одинок и почти беззащитен, а вот на берегу — тут совсем иное дело... Во-первых, во Владивостоке у него много друзей, а во-вторых, есть люди, которые

никогда не видели его, но готовы будут отдать жизнь свою, чтобы с головы атамана не свалился ни один волос — Семенов был уверен в этом твердо... И, наконец, в-третьих, на берегу всегда можно предпринять какой-нибудь хитрый ход.

Лицо атамана приняло довольное выражение, в следующую минуту неожиданно сменившееся далекой тоской. Он приблизился к борту шхуны, ухватился за веревочный леер⁷³ и глянул вниз, в зеленовато-серую воду.

— Любите рыбалку, Григорий Михайлович? — спросил Буйвид.

— Баловство все это, Валерьян. Хотя жизнь наша — сплошная рыбалка. Одни выступают на ней в роли рыбаков, другие — в роли рыбок. Когда я был пацаном, то ловил в Ононе ленков. Руками. Вода — бр-р-р, зуб на зуб не попадает, ноги сводит, тело не гнется, пальцы — деревянные, но желудок, он требует своего — гонит в воду. Когда хочется жрать — ни о чем не думаешь — только о том, чего бы кинуть в рот. Но это, Валерьян, была не рыбалка, а что-то другое, чему, думаю, и не сразу название подберешь.

— Здесь знатная рыбалка, Григорий Михайлович. Камбала попадает такая, что два мужика еле поднимают. На телегу грузят с трудом.

— Свят, свят, свят! — Атаман, кривовато приподняв одно плечо, будто в костях у него произошел перекос, перекрестился. — Такая дура ведь и руки оторвать может.

С неба сверзнулась тяжелая чайка, ударилась о волну, взбила высокий столб брызг и низом, низом, почти цепляясь концами крыльев за воду, унеслась в сторону.

— Скажи мне, Валерьян, если я выступлю во Владивостоке в открытую, народ поддержит меня или нет? — Семенов вновь сжал глаза в щелки, ухватил полковника за край кителя, притянул к себе. — А?

Буйвид глаз не отвел.

— Ну, как сказать, Григорий Михайлович...

— Как есть, так и говори. Мне нужно знать правду. Только правду...

— Я считаю, пятьдесят на пятьдесят, так на так.

Черный пламенек, загоровшийся было в глазах атамана, угас, Семенов выпустил из пальцев китель полковника, невольно крикнул:

— М-да.

— Два дня назад была другая ситуация — вас бы поддержали две трети населения, но Меркуловы сумели переломить ситуацию.

— Столы с чаем и баранками накрывали, что ли?

— Примерно, Григорий Михайлович. Примерно... Деньги на это потратили немалые.

— Потрудились на славу, значит. От всей души. Недаром говорят: труд разогнул обезьяну и согнул человека.

Семенов решил не рисковать, в этот день остался на борту «Киодо-Мару», заночевал под охраной крупнокалиберных орудий Русского острова.

Надо было обмыслить, как он сам потом написал, «создавшееся положение, поискать путей к выполнению моего плана». А план был один — взять власть в Приморье, создать здесь добротный кулак, подождать, когда Унгерн ударит по большевикам из Монголии — он должен сделать это не сегодня-завтра, если уже не сделал, — и начать беспощадную борьбу со всеми этими «кухаркиными детьми», с большевиками и меньшевиками, с политическим мусором, ни в грош не ставящим Россию, с Лениным и Коминтерном. Всех их... Семенов не выдержал, привычно наложил кулак на кулак, повернул один кулак в одну сторону, второй в другую — всем пора свернуть голову.

Главное только — не наделать сейчас ошибок, не нарубить дров сгоряча. Все требовалось обдумать на холодную, спокойную голову.

Чем Семенов и занялся.

Военный министр нового приморского правительства распекал в своем роскошном кабинете полковника фон Ваха. Всегда добродушный, улыбчивый, вальяжный, Николай Дионисевич был не похож на себя: его бородавка вздыбилась, лицо пошло пятнами, глаза от злости приобрели железный блеск. Когда фон Вах явился к нему на доклад, младший Меркулов держал во рту сладкую лакричную таблетку; увидев полковника, он чуть не подавился, лакричная лепешка вылетела изо рта вместе с брызгами слюны и шлепнулась на ворох бумаг.

— Вам, полковник, только кур щупать, и то, прежде чем доверить это дело, надо узнать, умеете ли вы это делать или нет. В вашем распоряжении был целый крейсер с солдатами, орудия, в кармане — мандат со всеми полномочиями, и вы... Вы, имея все это, не смогли арестовать какого-то рубаку, пожирателя малосольных огурцов. А если дело дойдет до серьезного, тогда как быть? Тоже спасуете? Вас будут лупить кулаками по лицу, а вы, вместо того чтобы дать сдачи, станете отворачиваться в сторону да платочком вытирать сопли?

Фон Вах молчал, напряженное лицо его было бледным. Меркулов понимал, что перегибает палку, говорит слишком резко, но остановиться не мог. Наконец он умолк, объял в кресле и, выдернув из кармана пиджака платок, вытер мокрый лоб.

— В следующий раз, полковник, если не выполните задания, лишитесь погон. Понятно? — Меркулов с внезапно проявившимся интересом посмотрел на полковника, собрал бородку в кулак, пригладил волосы и сразу стал походить на очень аккуратного добродушного купчика.

Фон Вах, поняв, что гроза прошла, выпрямился и тихо щелкнул каблуками.

— Учитесь рыть землю, — сказал ему на прощание Меркулов, — чтобы на старости лет не остаться без куска хлеба.

Утром Семенов понял, что совершил ошибку. Не потому, что приплыл во Владивосток — это дело бесспорное, тут он может только лишиться своей шкуры, чего он никогда не боялся, — ошибка заключалась в том, что он позволил Азиатскому корпусу Унгерна отойти на запад и ввязаться в борьбу с бородатыми дядями в драных галифе и в шлемах, спитых из шинельного сукна, — этот корпус позарез нужен был здесь, в Приморье.

Если корпус не вел уже бои где-нибудь под Читой, его спешно нужно перебросить сюда, во Владивосток.

Нужна связь, связь, связь! Нужна срочная связь с бароном.

Семенов в серой утренней тиши поспешно оделся и вымахнул на палубу. С тоскою и надеждой посмотрел на бастионы Русского острова. У моряков должна быть эта связь — бегают у них там по проволоке какая-то веселая яркая искорка, скачет, как блоха, новости с кораблей снимает — поработают моряки и в этом разе... Должны поработать.

Если Унгерн не ушел на запад, то считай, что братья Меркуловы уже лежат в канаве, ногами дергают, Семенов их легко закопает, а если вот ушел, дело худо — опять какой-нибудь Вах потребует, чтобы Семенов встал перед ним, как Сивка-Бурка перед Иваном-дураком.

Моряки обещали помочь — незамедлительно отправили запрос.

Ответа Семенов дожидаться не стал — решил переместиться на новое место, в бухту Золотой Рог, и бросить там якорь — пусть народ, праздно шатающийся по берегу, видит, что приплыл Верховный правитель России, тот, кому власть

на здешней земле должна принадлежать по закону — ему она принадлежит, генерал-лейтенанту Семенову, а не каким-то шаромыжникам в лаковых штиблетах... Он поднялся к капитану, привычно пошаркал сапогами о деревянную решетку, прикрученную болтами к настилу около высокого бортика-порога, атаману нравилась чистота, в которой японцы содержали свою посудину; войдя в рубку, бросил открыисто:

— Выбираем якорь!

Капитан обеспокоенно глянул на него: о том, что творится во Владивостоке, был осведомлен не хуже Семенова.

— Выбираем, выбираем! — Поймав обеспокоенный взгляд, Семенов усмехнулся, представил, что будет твориться на городской набережной, когда народ узнает, что приплыл сам Семенов — давка будет, как в очереди за бесплатными пряниками.

— Куда плывем?

— В бухту Золотой Рог.

В бухте шхуна «Киодо-Мару» появилась в десять часов утра. Розовое солнышко проворно бегало по владивостокским сопкам, выхватывая то дерево, криво вставшее на взлобке, то одинокий домик, притулившийся к грузному земляному телу сопки, то темный, заросший костлявыми кустами и бурьяном междусопочный провал, в котором явно затаился какой-нибудь зубастый Змей Горыныч с расплавленными форсунками ноздрей.

Атаман вглядывался в земные, странно увеличивающиеся, будто он смотрел в бинокль, предметы и думал о том, как все-таки дорога ему здешняя земля. До крика, застрявшего в глотке, до стога, до дырки в сердце, до слез... Может, потому все предметы так странно и приблизились к нему, что глаза его застилают слезы? Нет, глаза были сухи. Он запустил руку под борт кителя, помял пальцами левую сторону груди — ему показалось, что боль гложет сердце... Но боли не было.

Отсюда, с борта шхуны, было видно, как в порт стекается народ, по косому взлобку серой сыпучей струйкой спускаются солдаты, вот солнечный луч пробежался по ним, на черных штыхах — винтовки у солдат были новенькие, только что очищенные от смазки — возник и угас темный, почти приметный отсвет.

Братья Меркуловы демонстрировали свое гостеприимство. Семенов выругался.

Кто-то тронул атамана за плечо. Семенов резко, с искаженным лицом обернулся — Таскин. Дергающиеся усы

атамана обвяли, он спросил недовольно и одновременно расстроено:

— Чего тебе?

— На берег сходить нельзя, Григорий Михайлович.

— Что от Унгерна? Есть какие-нибудь сведения?

— Пока нет.

— Чешутся моряки, телятся, простой вещи никак сделать не могут.

— Связь с Романом Федоровичем очень сложная.

— Смотри, сколько солдат Меркуловы понагнали! — не удержался атаман от восклицания; маленькие, узко сжатые глаза его влажно блеснули. — Но в то, что все они готовы выполнить приказ братьев Меркуловых и арестовать меня, не верю...

— И я не верю. Но береженого Бог бережет. — Таскин смахнул с глаз налип, мешавшую смотреть, на его морщинистом лбу проступило несколько крупных капель, поймал себя на том, что фразу насчет береженого в последнее время он произносит слишком часто.

От берега тем временем отвалил катер, плоско развернулся — атаман увидел его белый, сияющий свежей краской борт — и уверенно раздвинул носом воду. По обе стороны катера вспушились пенные усы, разошлись широко — у катера была хорошая скорость.

— Попроси Буйвида, пусть еще раз свяжется с моряками — нет ли чего от Унгерна? — велел атаман Таскину. — Пора бы Роману Федоровичу уже и отозваться.

— Тридцать минут назад не было. — В голосе Таскина слышались колюче-капризные нотки, морщин на лбу сделалось больше, и неожиданно сгорбившийся, увядший, с кривоватой фигурой и угасшими глазами Таскин стал похож на недоброго старичка, впустую прожегшего свою жизнь.

— Давай, давай, не ленись, — подогнал его атаман, не отрывая глаз от приближающегося катера, — от ответа барона Унгерна будет зависеть наше поведение.

«Киодо-Мару» продолжала тихо ползти к берегу, целя длинным, хищно вытянутым бушпритом в причал, на котором собирались люди. Вдруг атаман увидел капитана шхуны, неожиданно очутившегося рядом с ним.

— Ну? — спросил Семенов, не поворачивая головы.

— Что будем делать, господин генерал? — капитан совершенно по-русски, по-мужицки поскреб пальцами затылок. — Идем к причалу или нет?

— Нет, — атаман дернул головой. — Нет!

— И что же? — капитан вопросительно приподнял брови. —
Что будем делать?

— Бросим якорь здесь. На рейде.

Капитан кивнул согласно, он хоть и знал многое, но не все, нутром чувствовал: генералу, который заплатил ему за этот рейс хорошие деньги, грозит опасность, эти сумасшедшие русские могут снести его именитому пассажиру голову. Капитан, добрая душа, очень не хотел этого — вдруг в будущем жизнь снова сведет его с этим человеком и он вновь отвалит ему кучу денег за какой-нибудь незначительный рейс? Он еще раз кивнул, одобряя решение генерала, и исчез.

В корпусе шхуны что-то беззвучно дрогнуло, под ногами пробежала дрожь, но свое движение к берегу «Киодо-Мару» не остановила — как медленно наваливалась своей тяжестью на пузырчатую, испятнанную медузами воду — чем ближе к берегу, тем больше становилось медуз, — так и продолжала плющить корпусом рябь волн.

Катер приближался к шхуне. Атаман, не сводя с него глаз, достал из кармана старую сохлую травинку, случайно оказавшуюся там, начал нервно покусывать ее зубами.

Через минуту около него вновь обозначился Таскин, смахнул пальцами пот со лба.

— Похоже, жара собирается, — проговорил он. — Жарится, как в Африке.

— Не тяни кота за резинку. Чего там с Унгерном?

— Пока ничего. Связи нет.

— Тьфу! — Семенов выругался, сплюнул и растер плевком носком сапога.

Раздался скрежет — на носу «Киодо-Мару» дернулась и, цепляясь звеньями за ржавый обод клюза¹⁴, поползла вниз цепь — боцманская команда шхуны освободила якорь.

Едва якорь ушел на дно, как около борта, взревев двигателем, лихо развернулся катер. На корме его висел французский флаг.

Около флага, держась рукой за древко, стоял одетый в черный костюм высокий носатый человек, похожий на ворону.

— Пакет его высокопревосходительству генералу Семенову, — хрипло прокаркал он.

Атаман почувствовал, как у него дернулись усы — ни этот человек, ни его голос Семенову не понравились.

— Пакет пусть примет дежурный офицер штаба, — не обращившись, приказал он.

— Пакет его высокопревосходительству генералу Семенову, — вновь хрипло прокаркал француз, помахал в воздухе белым конвертом, украшенным толстой сургучной нащепкой.

— Хватит орать, не на плацу! — довольно грубо оборвал француза дежурный офицер — тучный поручик с солдатским Георгием на кителе.

Посыльный передал пакет, приложил два пальца ко лбу, и рулевой на катере незамедлительно заложил крутой вираж, отходя от «Киодо-Мару».

Пакет подали атаману. Семенов небрежно сколупнул сургучную нащепку, швырнул ее в воду, разорвал конверт. Прочитал, медленно шевеля губами, будто не верил тому, что было написано в бумаге. Выругался:

— Вот собаки! — Передал конверт Таскину: — Прочитай, что они тут наваляли.

— Кто? Братья?

— Если бы братья. Бумагой братьев Меркуловых я бы подтерся и спустил в ватерклозет.

Это было постановление консульского корпуса города Владивостока, подписанное дуайеном — старейшим консулом, французом, это объясняло, почему к шхуне и прибыл катер под французским флагом, — с требованием, чтобы атаман Семенов воздержался от появления во Владивостоке... Иначе здесь могут возникнуть большие беспорядки.

— Ну и наглец этот дуайен! — воскликнул Таскин. Не сдержавшись, постучал себя пальцем по виску. — Если и есть у него извилины, то только в заднице. Он хоть понимает, что за бумагу подписал? И главное, как казуистически все сформулировал, а! «Во избежание могущих быть на почве враждебного отношения к Вам, Ваше высокопревосходительство, правительства и населения беспорядков...» Похоже, этого господина никто никогда не бил по лицу. — Таскина от возмущения трясло.

— Готовь ответ, — приказал атаман. — На берег пошлем Лучича. Пусть отвезет этому... как его... — Семенов заглянул в бумагу, — дуайену и посмотрит хорошенько ему в глаза.

Лучич был начальником иностранного отдела личной канцелярии атамана.

Впоследствии Семенов написал, что «ответ был средактирован в форме запроса, адресованного консульскому корпусу Владивостока о том, что «не находят ли гг. консулы, что я, как Главнокомандующий российской армией, имею право предложить им покинуть российскую территорию, и не нахо-

дят ли они, что их письмо ко мне как к главе Российской национальной власти является не чем иным, как вмешательством во внутренние политические дела России».

Извигательный тон запроса подействовал: уже через два часа Лучич привез ответ. Дуайен был сама любезность — приносил атаману свои извинения, пояснил, что был введен в заблуждение правительством Меркуловых, которые просили его воздействовать на атамана — не следует, дескать, господину Семенову рисковать и появляться на владивостокском берегу — это чревато последствиями. Сам же дуайен не имеет к атаману никаких претензий и готов в любое удобное для его высокопревосходительства время пригласить в консульство на обед...

— Вот так, — довольно произнес Семенов, листок с ответом сложил по длине в несколько раз, звонко хлопнул им по голенищу.

Вечером к борту «Киодо-Мару» пристал катер с несколькими владивостокскими богатеями. Двое из них занимались рыбным промыслом, один — лесом, третий — тучный молодой человек с неподвижным взглядом базедовых глаз — держал под своим началом четыре банка. Прибывшие поспешили расписаться в своей преданности Семенову.

— Мы всецело поддерживаем вас, Григорий Михайлович, вас и только вас, — заявил банкир, не сводя с атамана тяжелого деревянного взгляда.

— А чего допустили к власти этих дураков Меркуловых?

— Таков получился политический расклад.

— Расклад, — правый ус у атамана нервно дернулся, — расклад... Тоже мне, нашли игру в карты.

Когда гости отбыли, Семенов выругался:

— Шкуры продажные!

«Мое пребывание на владивостокском рейде вызвало посещение меня большим количеством делегаций от разных групп населения и политических партий, — написал атаман. — Все они выражали негодование образом действий Меркуловых, находя их преступными перед делом борьбы с Коминтерном. Конечно, я ни минуты не обольщал себя надеждой, что мне удастся заставить Меркуловых уйти без того, чтобы не пришлось вступить в вооруженный конфликт с поддерживающими их частями армии, чего я совершенно не допускал, и все делегации, посетившие меня, расценивались мною лишь как фактор, подтверждающий лживость Меркуловых о неприемлемости меня для большинства населения Приморья.

Тем не менее надо было искать какой-то выход из созданного Меркуловыми тупика».

К полуночи атаман, совершенно вымотанный речами, поцелуями, стопками водки, которые надлежало пить до конца, хлебом-солью, заверениями, признаниями в верности, обессиленно опустился в кресло, тщательно отер надушенным платком усы и повторил то, что сказал утром:

— Шкуры продажные!

Таскин тоже был вымотан донельзя — сидел в каюте атамана, растекшийся по креслу, будто мешок с жидко сваренной кашей, и вяло крутил головой. Атаман невольно подумал о том, что он выглядит точно так же, как и Таскин, — сделалось неприятно, и он поморщился. Несмотря на дряблое дребезжанье, прочно засевшее в голосе, атаман произнес жестко:

— Таскин, не раскисать!

— Й-есть не раскисать! — раздалось из кресла.

— Срочно сходи к Буйvidу, пусть снова отправляется к офицерам Русского острова, узнает, есть связь с Унгерном или нет?

Буйвид уже устал от челночных бросков со шхуны на Русский остров, где он здорово надоел, матросня уже тыкала в него пальцами, а офицеры деликатно отводили взгляд в сторону, делая вид, что не замечают полковника.

Через полчаса Буйвид вернулся с острова.

— Связи с Унгерном нет, — доложил он.

— Надо срочно посылать человека к Роману Федоровичу. —

Семенов поднялся из кресла, нервно походил по каюте, стукнув кулаком о кулак, повторил ставшее любимым движение, в котором теперь будто была заключена формула жизни атамана. — Только вот кого? — произнес он задумчиво.

— Кого-нибудь из тех, кого и Меркуловы не могут арестовать, и в Китае с Монголией не могут задержать...

— Уж не тебя ли? — Атаман презрительно сощурил глаза.

— Нет, не меня.

— Тогда кого же?

— Монгольского князя Цебена.

Атаман фыркнул.

— Где его взять-то, Цебена? Это топор можно взять под лавкой; если его туда положил — потянулся и взял... А Цебен?

— Князь находится во Владивостоке, — торжественно сообщил Таскин.

Брови на лице атамана сложились горкой.

— Ну да!

— Более того, он находится здесь, на судне.

У атамана нервно дернулась щека, и он произнес восхищенно:

— Ну, Таскин, ну, фокусник!

Оказывается, десять минут назад монгольский князь Цебен прибыл на шхуну и теперь в каюте Таскина приводил себя в порядок.

Лучшего посыльного, чем Цебен, и придумать было трудно: его хорошо знал и Унгерн, и генерал Чжан Куйю, с которым атаман также хотел связаться, и князя Внутренней Монголии.

Атаман потер руки и вновь произнес восхищенно:

— Ну, Таскин, ну, фокусник!

Ночью от «Киодо-Мару» отчалила веселая шлюпка, доставила князя на берег. Цебен проворно спрыгнул на песок, отпихнул шлюпку ногой и исчез в тревожной гулкой темноте.

Стрелки часов показывали пятнадцать минут четвертого.

Ночь прошла тихо, а вот утром, в предрассветном туманном сумраке, на берегу раздалась частая стрельба.

Семенов закричал, поднялся с постели и переместился в каюту Таскина:

— Уж не Цебен ли наш попал в молотилку? А?

— Нет. Цебен уже далеко. По моим подсчетам, он два часа назад пересек городскую черту. — Таскин зевнул и так выразительно посмотрел на атамана, что тот только крикнул и громко хлопнул дверью каюты — еще немного, и дверь от удара вылетела бы из проема.

— Ну, Таскин, ну, Таскин! Совсем обнаглел!

Пулемет на берегу ударил снова, прострочил вдоль кромки берега, достал до воды — на шхуне было слышно, как пули с жирным чавканьем всаживаются в беспокойную морскую рябь, — на пулеметное гавканье поспешно отозвались две винтовки, затем трижды ударил маузер — раз за разом вогнал в воздух три раскаленные свинцовые плоски и смолк.

Что-то там происходило, но что, откуда, с рейда, невозможно было понять. Впрочем, Семенов за свою жизнь мог не опасаться, Буйвид ночевал здесь же, на шхуне, на берегу находились его казаки, прочесывали проулки и тупики, в нескольких местах на всякий случай вообще были выставлены засады — вдруг кто-нибудь попадет в эту сеть? И все-таки, когда на берегу бьет пулемет, способный достать до шхуны, — это тревожно.

Семенов вспомнил, что жена дала ему с собою пузырек брома — она всегда навязывала атаману это успокоительное, даже когда он выезжал на фронт под Читу, где шли костоломные бои, и то брал его с собою.

— Возьми, Григорий, — едва ли не со слезами упрашивала она, — хорошее лекарство. Снимает усталость, нервные тики, дрожь. Дергаться меньше будешь. Возьми!

Правда, после капель этих Семенов чувствовал себя полумужчиной — не тянуло смотреть даже на хорошеньких заданных официанток, обслуживающих его стол, но зато спал он действительно хорошо. Даже в грохочущем стальном нутре бронепоезда, где всякий звук усиливается многократно и где человек чувствует себя как в большой консервной банке, он с бромом спал очень хорошо... Цель, вернее, несколько целей, которые жена ставила перед собой, были достигнуты.

Он вздохнул, достал из модного фанерного чемодана, украшенного эмблемой крупного парижского магазина, пузырек брома и накапал себе целую ложку. С отвращением выпил и, натянув на голову подушку, завалился спать. Засыпал он с единственной мыслью: как только проснется, снова послать к морякам Буйвида — пусть познергичнее потолкает их локтем в раздобревшие бока. Если с Унгерном удастся связаться раньше, чем до него доберется Цебен, будет сэкономлено много времени.

Утром стало известно, что за стрельба вспыхнула на берегу. Оказалось, банда мазуриков, вооруженная несколькими винтовками и маузером, попыталась ограбить пароход, прибывший из Сингапура с колониальными товарами — индийским шелком, дешевыми золотыми цацками, добротным чаем и традиционными восточными приправами. Мазурики хотели взять золото и почти уже взяли, да помешали казаки Буйвида, сидевшие в двух засадах.

Мазурики огрызались яростно, и хорошо, что у казаков был пулемет, он все и решил... Половина банды осталась лежать на причале.

Буйвид без всяких команд сладко заснувшего под утро атамана смотался к морякам, но новостей не было, и он эту грустную весть привез на «Киодо-Мару».

Отсутствие связи наводило на печальную мысль: Унгерна нет ни в Урге, нет даже в Монголии, он выступил на Байкал, на Мысовск.

Эх, переиграть бы все, повернуть бы Унгерна назад, заставить его двинуться на Гродеково, а оттуда — на Владивосток.

И вообще — затормозить бы время, повернуть его вспять, возвратиться хотя бы дней на десять в прошлое, к точке отсчета, с которой все началось. Но чего не дано, того не дано.

Первым вопросом, соскользнувшим у атамана с языка, когда он проснулся, было:

— Ну что там от Романа Федоровича? Срочно надо послать к морякам Буйвида — пусть потряхнет мокропутных!

Таскин, незамедлительно, как по мановению волшебной палочки, появившийся в каюте атамана, развел руки в красноречивом жесте:

— Новостей от Романа Федоровича никаких. Буйвид уже бывал у моряков.

Семенов помял пальцами виски, затылок, переносицу, пошлепал себя по щекам, освобождаясь от остатков сна.

— М-да. Это называется — подтереть пальцем задницу. Ох и вонять же будут братья Меркуловы, когда узнают, что мы не так сильны, как они себе представляли. Вот покуражатся вонючки.

— Покуражатся, — согласился с атаманом Таскин.

— Что посоветуешь?

— Только одно — вступить с Меркуловыми в переговоры.

Семенов досадливо потерев пальцами усы, выбил из горла в кулак хрипоту, откашлялся. Он соображал.

— Не хотелось бы, — наконец произнес он.

— Но выхода другого нету. — Таскин вновь развел в красноречивом жесте свои маленькие, хорошо ухоженные руки. — Главное сейчас — зависнуть на несколько дней в том состоянии, в котором мы находимся, а там все станет ясно... Там будет полная ясность.

— Зависнуть, зависнуть, — пробормотал атаман недовольно. — Ты прямо циркач какой-то, Сергей Афанасьевич.

— Вся жизнь наша — это цирк. И будущее наше — тоже цирк. Я уж не говорю о политике, там — сплошной цирк.

— Но-но-но! — грозно прикрикнул на него атаман. Насчет будущего он имел свои оценки.

— Беру слова обратно, — произнес Таскин с улыбкой.

— А насчет Меркуловых ты прав, — сказал атаман. — С ними придется встречаться.

На завтрак повар «Киодо-Мару» приготовил тушеного осьминога с овощами. Семенов хоть и не любил разных морских тварей, кроме рыбы, естественно, — не употреблял в еду даже знаменитых королевских крабов, привозимых с Камчатки, но осьминога одобрил:

— Не думал, что эта гадость может быть вкусной.

— Главное — не осьминог, а соус, в котором он подан. Наполеон считал, что под хороший соус можно съесть что угодно.

— Эх, съел бы я сейчас молодой картошечки с малосольным байкальским омулем. — Атаман сладко потянулся. — Нет лучше рыбы на белом свете, чем малосольный байкальский омуль.

Таскин был знаком с этой манерой атамана — говорить о чем-нибудь незначительном, мелком, совершенно постороннем и параллельно обдумывать главное, обкатывать его в мозгу, делать прикидки; вот и сейчас Семенов обмозговывал, как ему лучше вести себя с Меркуловыми, какой тон избрать, какое лицо сделать при встрече — добродушное или злое, хитрое или простецкое, льстивое или же неприступное, умное либо сыграть под дурачка? За последние годы атаман многому научился у политических лицедеев, в том числе и таким тонкостям, как и какое делать лицо при встрече с недоброжелателями.

— А мы в детстве рыбу обмазывали глиной и запекали, — произнес Таскин, — очень вкусно получается, рыба тает во рту. Из соков ничего не уходит, все остается внутри... М-м-м! — Таскин не выдержал, восхищенно покрутил головой.

— Не знаю, как рыба в глине, я такую не ел, а вот на рожне... насадишь ее на длинный прут и — на две рогульки... — Семенов неожиданно замолчал, в упор глянул на Таскина. — Вот что мы сделаем... Давай-ка позовем братьев Меркуловых на «Киодо-Мару», на обед.

Глаза у Таскина изумленно округлились.

— А если не приедут?

— Надо уговорить. Должны приехать. Вот я тебе, Сергей Афанасьевич, и поручаю уговорить этих разбойников. — Семенов хлопнул рукой об руку, потер ладони. — Пусть плывут и не гужуются — угощение будет первоклассным. В другой раз не пригласим — только сегодня, сейчас, и больше никогда!

Семенов дозрел, он окончательно понял, что Унгерна не вернуть, он ушел из Монголии, и вполне возможно, что барон сейчас дает хорошую трепку красным, поэтому надо срочно изменить тактику поведения. Насчет братьев — ход правильный.

— М-да, задачка. — У Таскина от этого поручения даже голос изменился, сел.

— Все, Сергей Афанасьевич! — Атаман привычно разрубил рукой воздух. — Начинай действовать.

И все-таки, если честно, атаман Семенов не рассчитывал, что кто-то из братьев Меркуловых осмелится принять его приглашение — кишка у этой породы людей тонка, но тем не менее на «Киодо-Мару» прибыл один из братьев, Николай Дионисьевич, военный министр.

Был он сух и деловит, все время поглядывал на часы, словно боялся куда-то опоздать. Рот у младшего Меркулова был твердо сжат, казалось, что он собирался навесить на него замок с маленькой дужкой и никогда не размыкать.

Прибыл Меркулов на юрком катерке с хорошей машиной — ход у катерка оказался завидным, в волну, поднимающуюся крутым бугром за его кормой, опасались садиться даже чайки, хотя из бугра этого, выплунутые страшной силой, вылетали мелкие рыбехи, призывно серебрились в воздухе и шлепались обратно в воду. Следом за катерком, гулко ухая машиной, приперся миноносец и встал едва ли не в пятидесяти метрах от «Киодо-Мару», навел на шхуну свои пушки.

— Вполне в духе этих этических собачатников, — мрачно прокомментировал прибытие миноносца атаман и, подвигав из стороны в сторону нижней челюстью, добавил: — Впрочем, чего другого можно ждать от Меркуловых? Они способны на все.

Появился Меркулов в каюте атамана в сопровождении секретаря — худощего, похожего на жердь молодого человека с длинным костистым носом-клювом, на котором, казалось, вот-вот повиснет капля, вытекающая из глубины этого нескладного существа, но капля не появлялась, клювастый секретарь даже не шмыгал носом. «Интересно, куда спрятал военный министр свой револьвер? — неожиданно подумал атаман, ощущая глазами фигуру гостя. — Не видно. Может, в кальсонах спрятал? Такие люди в гости без револьверов не ходят».

Атаман молча ткнул рукой в кресло, приглашая Николая Дионисьевича сесть. Секретаря он не замечал, тот продолжал стоять около двери и так, стоя, распахнув твердую папку, приготовился работать.

— То, что вы сделали, в конце концов вас и погубит, — сказал атаман гостю.

— Не будем обсуждать мои действия и действия моего брата. — Меркулов резко выпрямился в кресле, с тонких губ его слетел прочный нераскрывающийся замочек. — Я не за этим сюда приехал.

— А вы не дергайтесь, не дергайтесь, Николай Дионисьевич, — прежним недобрый голосом произнес Семенов, — лучше скажите мне какую-нибудь гадость, и мы будем квиты.

— Положение не всегда позволяет мне говорить гадости.

— Полноте! — Семенов махнул рукой и неожиданно скрипуче, как-то по-старчески, захлебываясь собственным скрипом, рассмеялся. — Положение... Положение бывает, когда ноги в брюки не попадают, Николай Дионисьевич, — вот это положение. А ваше... это легкий флирт с дамой по имени История, который закончится вашим поражением. А точнее — положением... Интересным положением. — Семенов двумя руками нарисовал себе живот, для пущей убедительности поцокал языком. — Вот так-то, Николай Дионисьевич.

Атаман взмахнул кулаком и рассек воздух длинным, с оттяжкой, ударом. Меркулов невольно вжался в кресло.

А Семенов рассмеялся и, показав гостю колокольчик, который невесть откуда взялся у него в руке, позвонил.

Появился адъютант-хорунжий. Несколько раз атаман собирался его выгнать, но так и не выгнал.

— Что у нас там есть из французских вин? — небрежно спросил Семенов, которому важно было показать этому червяку Меркулову, что атаман может хорошо себя чувствовать не только во дворце, но и на этом хлипком пароходике.

— Кларет из провинции Кат дю Гон, — не моргнув глазом ответил адъютант.

Молодец, хорошо сыграл свою роль.

— Поддай-ка, голубчик, нам пару бутылок, — потребовал атаман, потом пощелкал пальцами: — А что у нас имеется из вина? А?

— Вяленое мясо по-монгольски, шашлык по-турецки, шашлык по-кавказски, бастурма...

— Вот все это нам и поддай, — велел атаман.

— Все сразу?

— По очереди. Мы с Николаем Дионисьевичем все сразу не съедим.

— Я сюда не ест пришел, — мрачно произнес Меркулов, запустил палец под воротник рубашки, оттянул его, словно ему нечем было дышать.

— Отпустить вас без угощения было бы не по-русски. — Семенов опять скрипуче, по-старчески одышливо рассмеялся. — Или вы боитесь, что я вас отравлю?

В глазах гостя метнулась и исчезла тень — наверное, действительно боялся, что атаман его отравит, рот у Меркулова снова плотно сжался, губы сплюснулись.

Атаман обрезал смех.

— Однажды на фронте, когда мы воевали с германцами, меня угостили шашлыком по-оттомански. Его готовят в большом лаваше — это лепешка такая... Объедение получается еще то, доложу я вам. Служил у меня в сотне казак, который побывал в рабстве у турок. У басурманов он прислуживал на кухне, там и научился всяким фокусам-покусам. Брал он, значит, свежую баранину и прокручивал ее на мясорубке полтора раза...

— Как это полтора раза? — неожиданно разжав плотно стиснутые губы, спросил Меркулов озадаченно.

— Ну, вначале прокручивается все мясо, а потом половина его...

— А-а, — с поглупевшим лицом протянул Меркулов, и атаман понял, что переиграет гостя, неведомо, что будет завтра, а вот сегодня переиграет.

— В детстве мы с вами, Николай Дионисевич, ведь часто моргали полтора раза. Помните? Была и у вас такая игра, вспомните! Признайтесь, была! — Атаман навис над Меркуловым, и тот снова вжался в кресло. — А тут мясо. Полтора раза через мясорубку... В общем, казачок потом засовывал в фарш специи — все, что положено: чеснок, лучок, петрушку, немного укропа, еще что-то. Дух от фарша поднимался такой, что даже кони облизывались, как коты. Потом бывший раб наш ставил перед собой тарелку с водой, окунал в нее руки, чтобы мясо не прилипало, и лепил маленькие котлетки. Насаживал их на шампур, жарил, затем снимал и засовывал в лаваш. Добавлял приправы уже в лепешку и запечатывал ее края. Жарил все это в духовке либо просто на сковороде и подавал на стол...

На шею Меркулова гулко дернулся кадык — он сглотнул слюну. Ага, проняло человека до самого донышка. И превратился Меркулов в крохотное подобие самого себя — в маленького-премаленького жучка, у которого только контур человечий, а все остальное — жучковое. У атамана тем временем в ладони вновь оказался колокольчик — просто наваждение какое-то, — атаман тряхнул им, рассыпая по воздуху тонкий стеклистый звон. Отзываясь на звон, распахнулась дверь каюты. В проеме показался хорунжий с подносом в руках.

— Красное вино, говорят, идет к мясу, — атаман азартно потер руки, — белое — к рыбе и к сыру, а к чему идет розовое вино?

— И к тому, и к другому, — вновь с трудом открыл рот Меркулов.

— Неверно. Розовое вино идет к любви. — Атаман поставил рядом с креслом Меркулова еще одно кресло, ногою придвинул низенький столик, к которому за едой надо было сгибаться в три погибели, по-японски приказал адъютанту: — Поднос — сюда!

Семенов по-прежнему делал вид, что не замечает клювастого меркуловского секретаря, словно того не было в каюте. Секретарь, угрюмо вжав голову в плечи, водил клювом из стороны в сторону и переминался с ноги на ногу, чувствовал себя здесь неуютно, не в своей тарелке. Атаман налил вина Меркулову, налил себе, с удовольствием отпил глоток, звучно поболтал языком во рту и прикрыл глаза тяжелыми сизоватыми веками.

— Умеют, однако, французики готовить вкусное пойло, — похвалил он. — Умеют.

Ему было интересно, решится все-таки Меркулов выпить вина или нет. Тот колебался. Правая щека начала у него нервно подрагивать, в хрупких височных выемках появился пот. Меркулов смахнул его пальцами и, преодолев себя, решительно взялся за бокал. Глухо, съедая слова произнес:

— За победу нашего оружия! — И — выпил.

А Семенов решил продолжить наслаждение, поднял бокал, посмотрел, играет ли в нем вино? Вино играло, в жгучей темной красной глубине его происходили некие перемещения, вспыхивали и гасли крохотные таинственные огоньки. Атаман восхищенно чмокнул губами, втянул в ноздри терпкий виноградный дух, исходящий от напитка, потом осушил бокал до дна, стараясь делать глотки маленькие, изучающие, продлевая наслаждение.

— Гост ваш был хороший, Николай Дионисевич, — сказал он. — Я тоже за него выпил. — Семенов запоздало крикнул и обвел рукою еду, выставленную на подносе: — Угощайтесь. На голодный желудок нам будет трудно разговаривать.

В ответ Меркулов только поморщился, затем сделал рукой вялый невыразительный жест.

— Нет, вы ешьте, ешьте, — напористо воскликнул Семенов, — из дома атамана еще никто не уходил голодным! — Он совсем забыл, что и дома-то своего у него нет, что дом его остался за дальними далями, в добрых двух тысячах километров отсюда, в станице Куранжа. Иногда он видит его во сне и тут же просыпается: очень бывает ему охота вернуться хотя бы на мгновение в собственное прошлое. Однако все-таки он — Верховный правитель России, а посему значит, что дом его — вся

Россия. — Ешьте! — Семенов ухватил вилкой несколько скибок⁷⁵ жесткой бастурмы, отправил в рот и неожиданно спросил: — Скажите, Николай Дионисьевич, большевики — это ваши друзья или все-таки враги?

— Враги, — поспешно отозвался Меркулов.

— Тогда почему же вы объявили о прекращении вооруженной борьбы с ними? — Атаман перестал жевать, сжал глаза в щелки, остро впился ими в военного министра Приморья.

— По одной причине. Большевики, если бы мы не пошли на мир с ними, раскатали б нас в лепешку, сделали плоскими, как камбалу. А в остальном ни цели, ни ориентиры наши не изменились — мы считаем большевиков своими врагами.

— Ах, какое вино! — Вновь уводя Меркулова в сторону, воскликнул атаман. — М-да, молодцы, господа французы! Умеют потешить брюхо — и свое, и чужое. В отличие от нас, русских дураков. — Он помотал рукою в воздухе, будто ожегся обо что-то.

— Это — временное отступление, — добавил Меркулов и на манер атамана также рубанул рукою воздух: — Ы-ы-ы! — Только получилось это не столь лихо, как у Семенова, и Меркулов сделал сожалеющий жест.

— Попали бы вы ко мне, Николай Дионисьевич, в четырнадцатом году в сотню, когда мы немцев рубали как капусту, я бы из вас лихого кавалериста сделал.

— Чего не получилось, того не получилось. — Меркулов невольно рассмеялся. В смехе послышались торжествующие нотки.

Атаман снова наполнил бокалы.

— Николай Дионисьевич, вы напрасно считаете, что большевики оставят вас в покое. Это сегодня они с вами друзья и братья, а завтра повесят вас с братом на столбах, и будете вы на ветру раскачиваться, как рождественские игрушки. Туда-сюда, туда-сюда... Кто вас вынудил предать меня?

Лицо у Меркулова напряглось, в уголках рта появились старческие звездочки, он плотнее вдавился спиной в кресло. Сделалось тихо. Атаман ждал.

— Японцы, — помедлив, ответил Меркулов.

— Японцы? — тихим неверящим голосом переспросил атаман.

— Японцы, — подтвердил Меркулов.

— И в обмен, простите, на что? На какие шиши и заверения?

— Нам обещают дать заем в двенадцать миллионов йен.

Атаман отставил бутылку в сторону, посмотрел на нее с тоской и отвращением, словно накануне перепил и теперь не мог понять, каким образом какая-то жалкая бутылка сумела вогнать его в болезненное состояние.

— Двенадцать миллионов йен — это большая гора денег, — произнес Семенов тихо, перевел взгляд с бутылки на военного министра, нижняя часть лица у атамана, словно налитая свинцом, потяжелела — он не верил тому, что слышал. — И кто конкретно вам это обещал?

— Человек, работающий в штабе экспедиционных войск.

Атаман почувствовал, что у него сделалось потным, противно липким не только закаменевшее плотное тело, но даже усы и брови, а в затылок начала медленно вползать металлическая тяжесть: не может быть, чтобы японцы отвернулись от него!

— И кто он такой есть, этот высокий чин? — спросил он прежним тихим, будто утасшим, голосом.

Меркулов не ответил.

Секретарь министра, понимая, что может услышать нечто не предназначенное для его ушей, затоптался неловко, потянувшись рукою в сторону двери, но, словно уловив невидимую команду хозяина, отдернул руку и вновь распахнул только что закрытую кожаную папку. Из кармана поспешно достал модное вечное перо.

— Кто именно? — вновь потребовал ответа атаман.

Меркулов шумно вздохнул.

— Фамилию называть не буду, фамилия вам мало чего даст...

— А должность?

— Драгоман русского языка, — помедлив, ответил Меркулов.

Драгоман — значит, переводчик. Фигура не самая крупная в штабе японских экспедиционных войск, не в генеральском, естественно, звании и даже не в полковничьем и, следовательно, не по себе шапку напялившая на макушку.

У Семенова отлегло от сердца — вряд ли за этим толмачом стоят люди из правительственных кругов, вряд ли стоят серьезные банкиры и промышленники и вообще фигуры первого ряда. А те, кто стоит, — это обычная пьяная самостоятельность, не больше.

— Ничего у вас из этой затеи не получится, — убежденно произнес Семенов, снова подтянул к себе бутылку с вином, глянул на свет — в глубине бутылки зарезвились, заскакали

веселые огоньки. Ему сделалось жалко вина — потратил его впустую.

— Скажите, Григорий Михайлович, верно, что вы собираетесь идти на Хабаровск? — аккуратно поинтересовался Меркулов.

— Верно.

Меркулов с облегчением вздохнул: если Семенов пойдет на Хабаровск, то там и увязнет, ему будет уже не до Владивостока, не до Меркуловых. Он осторожно насадил на вилку кусок бастурмы, съел, даже не почувствовав ее вкуса — настолько был увлечен своими мыслями. Он перестал бояться Семенова: раз тот идет на Хабаровск — значит, им с братом не страшен.

А Семенов смотрел на него в упор и размышлял невесело: «Ну и лиса же ты, Меркулов! Однако морда твоя все выдает — и то, что ты думаешь в сию минуту, и то, что только собираешься подумать. Продам меня за тридцать серебряников, продашь и других, в том числе и братца. Только вот Россию продать я тебе не дам... Понял, Меркулов? И в Хабаровск я пойду только тогда, когда укреплюсь в Приморье, понял?»

Меркулов, словно прочитав эти мысли, потянулся к Семенову с бокалом:

— Григорий Михайлович, хочу выпить за ваше здоровье.

— Пожалуйста! — отозвался атаман, голос его был доброжелательным, налил гостю вина и только сейчас, словно о чем-то вспомнив, перевел взгляд на клювастого секретаря: — А ты чего переминаешься с ноги на ногу, как ворона на погосте? Иди на камбуз, там тебе дадут кусок мяса с атаманского стола.

Секретарь жалобно посмотрел на своего шефа. Тот молча отвел глаза в сторону.

— Иди-иди, — прежним доброжелательным тоном проговорил Семенов. — Иначе голодным останешься! — Он вытянул руку, разжал пальцы — в ладони у него вновь звякнул колокольчик, и на пороге каюты тотчас возник хорунжий.

— Проводи паренька на кухню, — приказал ему атаман, ткнул пальцем в секретаря: — Пусть там ему наложат в тарелку чего-нибудь. А мы пока с господином Меркуловым один на один покалякаем...

Но ничего нового Семенов узнать не смог: то, что можно было сказать, Меркулов уже сказал.

И все-таки атаман Семенов не учел того обстоятельства, что все владивостокские стены — все без исключения — дырявые: когда его посланцы сговаривались с братьями Меркуло-

выми о встрече, то они предупредили братьев — атаман хотел бы встретиться с ними с глазу на глаз, без каких-либо посредников, особенно иностранных, — информация об этом условии атамана немедленно улетучилась в дырку, будто дым.

Третьего июня 1921 года Семенов получил от начальника иностранной военной миссии во Владивостоке полковника Гоми неприятное письмо. Полковник выражал недоумение: почему атаман настроен против иностранных военных, находящихся во Владивостоке? А ведь Гоми и его коллеги готовы всячески помогать русским — особенно по части мира, — чтобы русские не ссорились друг с другом, не драли друг друга чубы, а больше выпивали в одной большой компании, ели вкусное мясо, зажаренное на проволоке, и угощали им иностранных друзей. Это типично русское блюдо под названием «саплик» Гоми и сам любил.

Атаман прочитал письмо и, побурев лицом, сжал кулаки.

— Ну Меркуловы, ну Меркуловы, ну братцы-козлодранцы! Отыграется это все на ваших мохнатых задницах!

Впрочем, у атамана тоже имелся вопрос к полковнику Гоми: как стало известно Семенову, полковник никак не хотел давать разрешение на пропуск в Гродеково фур с продовольствием для казаков и овсом для лошадей, и, как с тревогою сообщили атаману, гродековцы уже начали голодать. Надо было срочно встречаться с полковником.

Атаман кожей своей, нутром ощущал, что его обволакивает некая липкая паутина, он пробует содрать ее с себя, соскребает пальцами, матерится, но ничего из этого не получается — паутина немедленно прилипает к телу вновь...

Временами он, усталый, с ноющим телом и набухшей чужинной тяжестью головой, опускал руки — не было желания ни жить, ни драться, ни дышать, хотелось вернуться в свое детство, к родителям, к мелким голоштанным заботам, сделаться маленьким-маленьким...

— Я устал от человеческой подлости, — сказал атаман, бросая письмо полковника Гоми себе под ноги.

— А что, бывает подлость звериная? — Таскин усмехнулся неожиданно печально, свел брови в одну лохматую линию.

— Не-ет, подлее человека зверя не существует.

— Звери тоже едят друг друга, также охотятся, устраивают ловушки, западни, норовят укусить, — Таскин потянулся, поднял с пола письмо, — а укусив и познав вкус крови, стараются съесть. — Он развернул письмо, прочитал. — Всюду видны грязные следы братьев Меркуловых.

— Договаривайся о встрече с полковником Гоми, — сказал ему Семенов, — ссора с ним нам совсем ни к чему.

Встреча с полковником Гоми неожиданно получилась «ветвистой» — на ней пожелал присутствовать сам председатель правительства Дальневосточной республики Спиридон Дионисьевич Меркулов. Встретиться договорились на крейсере береговой охраны «Лейтенант Дыдымов», поскольку других кораблей в распоряжении правительства не было.

Меркулов прибыл на крейсер в сопровождении двух секретарей и еще нескольких важных лиц — в основном сытых молодых людей, больше похожих на охранников, чем на советников. Вместе со старшим Меркуловым на крейсер приплыл и полковник Гоми — щеголеватый, в форме песочного цвета, в крагах, плотно подогнанных по ноге. Чем-то он напомнил Семенову китайского офицера, пытавшегося выкурить атамана из вагона на безвестной заснеженной станции. Воспоминание было неприятным, Семенов виду не подал, но почувствовал, как под глазом задергалась нервная жилка.

Конечно, в поездке на «Дыдымов» был риск, здесь Семенова могли скрутить, но и атаман тоже подстраховался: вокруг крейсера барражировал катер с двумя пулеметами под командой Буйвида, на берегу сотня казаков ждала тревожного сигнала — если что-то произойдет, то свой человек с «Лейтенанта Дыдымова» даст ракету.

В общем, то, что не надо друг друга трогать, одинаково хорошо понимали и старший Меркулов, и полковник Гоми, и атаман Семенов.

Старший Меркулов держался увереннее брата, в глазах у него появилось какое-то застывшее, очень властное выражение, будто главное кресло в Приморье этот человек захватил навсегда. У Семенова при виде Спиридона Дионисьевича даже что-то нехорошо заныло в груди, и он отвел глаза в сторону — не хотелось смотреть на этого человека.

И все-таки атаман, желая захватить инициативу на переговорах, произнес громко, грубым командным голосом:

— Ну что, начнем наше совещание?

Полковник Гоми поспешно произнес:

— Та, та! — Букву «д» он осилить не мог, поэтому заменил ее на более легкое «т».

«Интересно, понимает ли Меркулов, что находится в тупике? — задал атаман сам себе вопрос, но ответить на него не смог: сбивал самодовольно-властный вид Спиридона Диони-

сьевича. В конце концов пришел к выводу: понимает. — Но и ведь и ты, друг-атаман, тоже в тупике. Вы оба загнали себя туда. Из тупика надо выбираться. И вопрос, как выбираться, нужно решить сегодня, сейчас же».

Если бы атаман находился в Гродеково, среди своих, то вопрос решался бы очень просто, но он — среди чужих.

— Начнем, — нехотя, с запозданием отозвался Меркулов. Он был спокоен, как скала, надменно-властное выражение его лица не исчезло.

Политическую ситуацию Меркулов обсуждать отказался, заметил лишь, что надо действовать по принципу «Ты меня уважаешь?». Если ты меня уважаешь, то и я буду тебя уважать, если не уважаешь, то и я поступлю так же... Этакая логика мужика из шалмана, перебравшего домашней свекольной самогонки. Меркулов говорил спокойно, будто классный наставник, рассказывающий гимназистам об азах жизни, подбирая слова и прорисовывая каждую букровку, он был уверен в себе, и эта уверенность рождала в атамане ощущение злости, какого-то нервного нетерпения, заставляющего чесаться кулаки. Усилием воли Семенов сдерживал себя. Впрочем, по лицу его ничего не было заметно, только усы мелко подергивались, и атаман, чувствуя это, приглаживал их рукой, засовывал кончики в рот и тут же выплевывал обратно.

Совещание имело нулевой результат.

Главный вопрос — отказ от борьбы с большевиками — Семенов и Меркулов, не сговариваясь, решили не обсуждать. В присутствии полковника в роскошных кожаных крагах этого делать было нельзя, оба это поняли сразу и, хотя были недовольны друг другом, мигом пришли к единому мнению. Решили обсудить вопрос частный: как лучше доставить продукты в Гродеково, семеновским казакам.

— Как доставить? Поездом. Колесами. Железными, — провозгласил атаман гневно, удивляясь, что Меркулов не понимает таких простых вещей. — Об этом я позабочусь сам. Лично. Мне нужны продукты и фураж, а доставку их в Гродеково я обеспечу. Понятно? — Атаман ударил ладонью по столу, отбил ритм: — О-бе-спе-чу!

— Та, та. — Полковник Гоми словно проснул. — Люти в Кротеково не толшны колотать.

— Вы пропустите транспорт с провиантом через свои порядки? — спросил у него Меркулов.

— Пропущу.

— Ладно, — Меркулов хлопнул ладонью по колену, — я распоряджусь, чтобы завтра вам выделили продукты. Запиши, — он, не оборачиваясь, показал пальцем вверх, на секретаря, стоявшего за его спиной с блокнотом в руке, — выделить фураж и провиант генералам э-э-э...

— Глебову и Савельеву, — подсказал Семенов.

— Так и запиши.

Но назавтра произошел сбой. То ли секретарь не то и не так записал, то ли фамилии генералов были неверно переданы по местной морзянке, то ли Меркулов решил отобрать свое обещание назад, но когда восемь грузовиков, выбивая из выхлопных труб вонючие сизые кольца дыма, подкатили к интендантским складам, вырытым в сопках, их встретили солдаты с пулеметами, в которые были заправлены патронные ленты.

— Тю-тю-тю! — заломил папаху на затылок командовавший продуктовым десантом полковник Глазков, чей мундир был украшен тремя орденами, в том числе и Святого Георгия, высшего среди офицерских орденов, неспешно расстегнул большую кожаную кобуру на поясе. — Вот так теплая встреча! Очень достойная. В русском духе — с пулеметами! — Глазков выпрыгнул из кабины, иронически подбоченился, глядя на пулеметчиков. — А начальство у вас есть, господа хорошие?

— Так точно, — довольно стройно ответили солдаты, — есть!

— Пригласите-ка ко мне!

— Не велено, — отозвался один из пулеметчиков — первый номер, скорчившийся за щитком «максима», — не дозволено.

— А если я тебе сейчас пулю в лоб всажу, как ты к этому отнесешься? — веселым тоном спросил Глазков. — А? Велено это или не велено? Дозволено или не дозволено?

Пулеметчик молчал. Морщил лоб и молчал.

— Туго соображаешь, дядя, медленно, — сказал Глазков и выдернул из кобуры тяжелый, с длинным потертым стволом, — оружие не раз побывало в деле — наган. — А ведь я так и сделаю, если ты сейчас не позовешь караульного начальника.

То, что полковник не боялся пулеметов, подействовало — боевой мужик. Да и грудь у него блестела от орденов, будто хорошо начищенный тульский самовар. Вскоре из новенького допцаника, стоявшего между двумя складскими штольня-

ми, вышел прапорщик-бурят, кривоногий, плосколицый — так же, как и полковник, орденосец: на груди прапорщика болтались два солдатских креста на мягких лентах. Подойдя к полковнику, он отдал честь и проговорил виновато:

— Не велено вам отпускать продукты и фураж, господин полковник.

— Как не велено? Кем не велено?

— На этот счет у меня есть бумага.

— Покажите!

— Показать не могу, господин полковник, — твердо произнес бурят. — Я солдат и выполняю приказ. Будет приказ отпустить — тут же отпущу вам провиант. С большой радостью, — добавил он.

— Кто хоть подписал бумагу-то? — спросил Глазков, засовывая наган в кобуру.

— И этого сказать не могу. — Бурят замаялся, оглянулся на солдат, вздохнул. — Распоряжение пришло сверху, из меркуловской канцелярии.

Прапорщик был из каппелевцев, а у них дисциплина всегда находилась на первом месте, и если он сказал «нет», то на этом будет стоять до конца. Даже если в него будут стрелять.

— Жаль, прапорщик, — с огорчением произнес Глазков, голос у него сел едва ли не до шепота, — у нас люди голодают, ремни уже начали есть. Гужи, упряжь, уздечки... Э-эх!

Прапорщик опустил голову, переступил с ноги на ногу разбитыми сапогами — он, находясь при складах, мог бы подобрать себе обувь получше, но не делал этого, — проговорил виновато:

— Извините, господин полковник. Помочь ничем не могу.

Через двадцать минут о случившемся доложили атаману. Тот от ярости даже голос потерял, из его глотки начал вырываться какой-то шипящий птичий клекот, лицо побурело, несколько минут он впустую рубил кулаком воздух, потом неожиданно обвьял и сел в кресло. Молчал минут пять, приходя в себя, обводя глазами каюту, жалкое ее убранство, ловя зрачками свет, отражающийся от воды и проникающий в иллюминатор. Таскин выпроводил всех из каюты и остался с атаманом один.

Семенов знал, что голод обладает способностью наваливаться на людей стремительно: еще сегодня было вроде бы ничего, а завтра люди уже начинают есть кожаную упряжь, и не только ее — вяленая всырую кожа, так называемая сыромьятина, быстро становится лакомством, — варят супы из

крапивы и конского щавеля, перелопачивают брошенные огороды, извлекая прошлогоднюю картошку, подбираются на станции, кляпча у поездных бригад кусок хлеба, — все это, увы, было. Голод не миновал и Хабаровска, куда Семенов также собрался идти. Там пайка хлеба стоит целое состояние, люди за буханку хлеба отдают гарнитуры красного дерева, золотые кольца, за мешок муки расплачиваются бриллиантами и перстнями с изумрудами. Страшен лик голода, беззуб, отвратителен, злобен, голодные люди превращаются в нелюдей, очень быстро падают духом и телом. Все это атаман Семенов знал, но помочь ничем не мог. Впрочем, в Хабаровске помощи от него не ждали, там что атамана Семенова, что атамана Калмыкова⁷⁸ знали хорошо: оба сумели оставить на хабаровской земле недобрый след.

— Бог покарает Меркуловых, — наконец произнес атаман. — А эта гнида заморская в кожаных крагах, — атаман хлопнул ладонью себя по ноге, по хромовому сапогу, — Гоми этот, вместо того чтобы помочь, только цидульки строчит да козью морду с обиженным выражением делает... Тьфу! Бог русского человека в обиду не даст, покарает и эту гниду. — Он почувствовал, что у него начал спекаться от внезапно навалившегося жара рот, язык прилип к небу, и попросил хрипло: — Таскин, дай воды!

— Может, чего-нибудь покрепче?

— Воды!

Во всей этой истории имелась одна пикантная деталь: атаман договорился о выдаче провианта и фуража со Спиридоном Дионисьевичем, а отказал Николай Дионисьевич.

В своих записках атаман отметил следующее: «4 июня состоялось мое совещание с С.Д. Меркуловым на «Киодо-Мару», на котором мы решили обсудить политическое положение и найти свободно приемлемый выход из создавшегося тупика. Совещание это закончилось новым обострением наших взаимоотношений, ввиду того что С.Д. Меркулов продолжал настаивать на прекращении мною борьбы с большевиками, заявляя, что если я отстранюсь от активной деятельности, то и красные не смогут, при наличии иностранных штыков, уничтожить его правительство. В свою очередь я пытался уверить Меркулова, что, во-первых, никакого займа от Японии в 12 миллионов йен он не получит; во-вторых, большевики никогда не согласятся на сохранение в Приморье какой-то меркуловской вотчины и, в-третьих, прежде, чем последний солдат иностранной армии покинет Приморье, возглавляе-

мое им правительство перестанет существовать. Главное же, на что я упирал, это тяжесть ответственности, которую взял на себя Меркулов, помешав мне и армии выполнить свой долг перед родиной, продолжая вооруженную борьбу с коминтерном до конца.

На это С.Д. Меркулов мне ответил, что перст Божий указал на него как на избранника и Он, Всемогущий, поможет ему выйти из создавшегося положения. Этот «мистический» ответ и тупое упорство, с которым мой собеседник шел против логики и фактов, вывели меня из терпения настолько, что я не сдержался и сказал Меркулову, что сильно сомневаюсь, чтобы у Господа Бога нашлось время и желание заниматься братьями Меркуловыми.

На этом наше совещание закончилось. С.Д. Меркулов немедленно уехал с «Киодо-Мару», и больше я с ним не виделся.

Атаман понял, что у него возникнут сложности при любом исходе дела, даже при немедленном отъезде из Владивостока.

Если же он останется во Владивостоке — будет война, если двинется на Хабаровск — тоже будет война... А жаль — пойти на Хабаровск было бы самое время: там почти не осталось крупных красных частей, красные оттянулись по железной дороге к Чите, к границе, где находится Унгерн (с которым так и не удалось связаться), а размять оставшуюся мелкоту Семенову ничего не стоило, он бы от этого только удовольствие получил... Но вот на тебе — возникли бывшие союзники, братики-кондратики, чтоб им приподняться да хлопнуться задницей о землю, перекрыли дорогу на Хабаровск.

Встретиться со старшим Меркуловым еще раз? Бесполезно.

Тем временем к атаману подоспели новости от Унгерна. Унгерн увяз. То ли его казаки разучились драться, то ли, наоборот, красные научились хорошо воевать: барона били сейчас так, что только казачьи папахи летели по воздуху, будто тряпки. В такой ситуации Семенову в самый бы раз пойти на Хабаровск, оттянуть на себя часть красных сил, а не нет — дороге перегородят все те же Меркуловы, поддержанные капцелевцами. Тьфу! Давно атаман не ощущал себя таким униженным, как в эти дни.

Если он поднимет якорь и уйдет на «Киодо-Мару» в сторону Порт-Артура, на юг, то не факт, что доберется туда — следом может увязаться какой-нибудь «Лейтенант Дыдымов» с пушками помощнее и прямо в море расстрелять шхуну... Ес-

ли спуститься на берег и попытаться отбыть по железной дороге в том же направлении (либо остановиться в Гродеково), то... братья Меркуловы дорогу на Гродеково ему обязательно перекроют. Этот вариант еще более опасный — вагон могут остановить капшелевцы, как это уже попытались сделать в конце прошлого года китайцы, и... Учитывая, что капшелевцы — это не китайцы, отбиваться от них будет много труднее, и вряд ли можно себе представить, что произойдет в результате. Но и оставаться на рейде было больше нельзя.

Ночью вахтенными около «Киодо-Мару» было замечено несколько шлюпок, они двигались в темноте бесшумно — за веслами сидели опытные гребцы, — пытались подойти близко к шхуне, но Буйвид, взявший охрану атамана на себя, особо не церемонился: когда одна из шлюпок пересекла незримую черту, намеченную им, полковник Буйвид в растрепанной гимнастерке, с растрепанными волосами выскочил на палубу с английским «льюисом» в руках и от живота, стараясь прижимать пулемет крепче к себе, сыпанул очередь.

Горячий свинец с шипением вошел в воду, взбил ее, будто винтом. На шлюпке кто-то испуганно вскрикнул, убыстрено зашлепали весла, и она растворилась в вязкой черной тьме. Буйвид вдогонку ударил прожектором, но сколько ни ездил лучом по пространству, шлюпку так и не нащупал, она словно бы ушла под воду.

Буйвид выругался.

— Присобачат к борту мешок с динамитом, чиркнут спичкой, и вознесем мы на воздуси как миленькие. — Он отщелкнул от теплого, неожиданно повлажневшего от стрельбы пулемета опустевший диск, кинул «льюис» в руки подбежавшему казаку, приказал: — Смотреть в оба! Если кто попытается пристрять к шхуне — стреляй без предупреждения.

— А если это обычные гуляющие окажутся, ваше высокоблагородие?

— Ага! В море! Цветочки тут нюхают и нашептывают друг другу на ухо стишата о любви! — Буйвид хрипло рассмеялся. Рыкнул: — Также стрелять без предупреждения!

Ночью атаман позвал к себе Таскина.

— В Порт-Артур нам уйти не дадут, — сказал он, потыкав пальцем в змейстую горку телеграфной ленты, лежащую на полу. — Надо срочно прорываться в Гродеково. Там мы будем в безопасности. Да и на месте будет виднее, что надо делать дальше.

— А что, момент для этого удобный, — произнес Таскин, зевая и протирая пальцами глаза — он еще не отошел от сна. — Меркуловы отдали приказ о выводе из Владивостока Маньчжурской дивизии и Забайкальской казачьей бригады. С ними мы можем и уйти.

— Хорошая мысль, — одобрил атаман, остановился около иллюминатора, прислушался к разговору двух часовых — к борту «Киодо-Мару» попыталась подойти незнакомая шлюпка, часовые отогнали ее лучом прожектора. — С забайкальцами можем уйти и мы. Под шумок.

За шхуной «Киодо-Мару» и днем и ночью велось наблюдение, ни один человек не мог покинуть борт незамеченным. Более того, утром Семенов узнал, что береговая охрана получила распоряжение открыть огонь по атаману, как только он ступит на сушу. Огонь на поражение.

Семенов решил немного выждать, затихнуть — пусть пригугнется бдительность тех, кто за ним наблюдает, — и собственную эвакуацию подготовить как можно тщательнее. Конечно, уходить с «Киодо-Мару» ему придется одному либо с людьми, о которых никто не подумает, что они близки к атаману. Никого из приближенных, ни Таскина, ни Буйвида, с ним не будет — одно их присутствие рядом может выдать его — примерно так же рыбы-прилипалы, неотступно следующие за акулой, выдают владычицу морей...

Буйвид порекомендовал атаману одного верного человека, офицера, который вместе с семеновцами прошел и огни, и воды, и медные трубы, — капитана-серба Авдаловича.

О том, как и когда атаман покинет «Киодо-Мару», отныне знать будут только три человека — Буйвид, Авдалович и сам Семенов — даже Таскин, он хоть и свой человек, а, приняв на «грудь лишнего», может проговориться и потому об этом узнает в самый канун исчезновения атамана со шхуны. Как и те, кому это также положено узнать в последнюю очередь. Ну, а те, кто ничего не должен знать — ничего знать и не будут.

Капитан Авдалович — внешне неприметный, с сухим темным лицом и тонкими, не больше нитки усиками, с бесстрастным взглядом выпуклых глаз — незамедлительно обследовал владивостокский причал, к которому могла пристать шхуна с атаманом, и обнаружил ни много ни мало — двадцать три шпика. Двадцать три человека были готовые в любую минуту пустить в ход оружие, внимательно наблюдали за шхуной, не упускали ничего. Атаман, узнав об этом, грустно поскреб пальцами усы:

— Высоко подняли меня братья Меркуловы, ценят...

Оказалось еще, что и из города выбраться незаметно не удастся: все дороги перекрыты, всюду посты, засады, шпики, каппелевские патрули. Появиться, например, на железнодорожном вокзале — упаси Господь: тут же заломят руки...

И вообще обстановка в городе была нервной, напряженной, это было видно невооруженным глазом, ощущалось даже кожей — все, начиная с дворников, кончая пьяными докерами в порту, понимали: власти чего-то замышляют.

— Ладно, попробуем поиграть с братьями в кошки-мышки, — сказал Семенов Буйvidу, — посмотрим, кто кого переиграет.

Он потерял руки, демонстрируя полковнику, что любит запах пороха. Но вот глаза атамана... Они выдавали его, в них появилось что-то загнанное, угрюмое, свидетельствующее о неком внутреннем разладе, о боли, сидевшей в нем. Атамана можно было понять — он не ожидал такого приема, не ожидал, что его так нагло предадут Меркуловы, ожидал совершенно другого — что народ поднимет его на руки и понесет во дворец: царствуй, мол, Григорий Михайлович, управляй... Но этого не произошло.

Поскольку все выезды из Владивостока были запечатаны, выход оставался один: в ночной мгле подогнать к борту шхуны катер с погашенными топовыми огнями, забрать атамана и двинуться вдоль берега к железнодорожной станции Надеждинская, это далеко — верст семьдесят от Владивостока, — зато безопасно.

В Надеждинской атамана будет ждать взвод забайкальских казаков с лошадьми в поводу. Имелась еще одна тонкость, которую Авдалович должен был учесть в своих расчетах: сделать это надо в тот момент, когда через эту станцию будет проходить Забайкальская бригада.

Авдалович, сухой, бесстрастный, изложил свой план Буйvidу; тот, мрачный, неожиданно сделавшийся грузным, неповоротливым, будто внутри у него проснулась некая болезнь, вызывающая у человека полноту, почесал ногтями небритую, сахарно захрустевшую щеку и произнес одно-единственное слово:

— Годится!

Серб отправился на берег подыскивать подходящий катер.

Владивосток бурлил, людям не было дела до страстей, разыгравшихся вокруг атамана, до братьев Меркуловых и полковника Гоми, до самого Семенова и кресла, в котором он воз-

намерился сесть, до каппелевцев и звероватых казаков-маньчжурцев, до тайных дипломатических уловок, трюков и вообще всей этой политической эквилибристики, о которой завтра же забудут сами участники событий. Люди веселились: по Владивостоку разъезжали цыгане в красных атласных рубахах, гремели бубнами, приглашая в большой кочевой палатке на представление, с цыганами успешно соперничали гастролирующие циркачи — на набережной рисовали на ходулях кренделя двое клоунов, смешили публику и звали ее к себе, — шапито было по своим размерам в несколько раз больше цыганской палатки. Элегантные морские офицеры поили хорошеньких дамочек шампанским «Мум» и дарили им охапки красных саранок, георгиевские кавалеры устроили в тире на Миллионной улице соревнования по меткости — стреляли из американских пневматических винтовок хвостатыми гвоздиками. Улицы благоухали ананасами — шустрые раскосые продавцы на тележках вывезли горы крупных, похожих на потемневшие вилки капусты плодов... Из Сингапура пришел пароход, под самую завязку нагруженный этим скоропортящимся товаром.

Внешне ничто не свидетельствовало об опасности, но капитан Авдалович, как и любой фронтовик, эту опасность чувствовал своими лопатками — ему все время казалось, что кто-то целит ему в спину и вот-вот нажмет на курок. Люди устроены одинаково — атаман, сидя в своей каюте, в четырех стенах, сделавшимися похожими на тюрьму, чувствовал то же самое.

Впрочем, лицо Авдаловича во всех ситуациях оставалось бесстрастным. Он спустился к причалам, прошел по гулким, почерневшим от воды мосткам. Причалы, где обычно толпились веселые суденышки, носившие в основном женские имена «Елизавета», «Ирина», «Александра», были пусты. В воде плавали обрывки бумаги, две заткнутые фабричными пробками пустые бутылки из-под старой, еще царского разлива водки-монопошки да огромные женские панталоны со следом утюга на заднице. Ни одного катера. Куда они подевались? Не может быть, чтобы все они были зафрахтованы и кагали сейчас богатых клиентов.

Капитан достал из кармана портсигар, вытащил папиросу. Спичек он не держал — научился ловко высекать огонь из куска кремня изящной стальной завитушкой.

Авдалович неспешно прошел в конец причала: увидел в будке спящего человека с плоской от сна физиономией — сто-

рож, несмотря на то что катеров не было, свое место не покидал, стерег воду, настил, воздух, мусор, плавающий в ряби бухты.

Остановившись около будки, Авдалович поманил сторожа пальцем. Сторож зашевелился, выбил в руку кашель, пробкой закупоривший ему глотку, оценивающе оглядел незнакомца.

— Ну?

Авдалович, не меняя бесстрастно-каменного выражения на лице, извлек из бокового кармана френча золотую николаевскую пятерку — монету, при всех властях не теряющую своего веса, — подкинул ее и выразительно посмотрел на сторожа.

— Ну? — не выдержал тот. — Спрашивай, чего надо?

Авдалович неспешно обвел рукой причал:

— И куда же подевалось все это плавающее имущество?

— Дык, — сторож зорко глянул на капитана и почесал пятерней в затылке, — секретное распоряжение на этот счет было...

В следующее мгновение монета яркой чешуйкой сверкнула в воздухе и очутилась в руке сторожа.

— Распоряжение военного министра господина Меркулова, — пояснил он.

— А хотя бы одним глазком взглянуть на это распоряжение можно?

— Дык... документик-то секретный. Велено никому, кроме контрразведки, его не показывать.

Авдалович снова загустил руку в карман и вытащил из него еще одну монету, перекинул ее к сторожу.

— А я и есть та самая контрразведка, — сказал капитан.

— Понятно, — произнес сторож догадливым тоном, всунулся вновь в свою будку, похожую на вокзальный сортир, поковырялся там несколько минут и извлек на свет бумагу, на которой стоял гриф «ДСП» — «документ секретного пользования».

Авдалович взял в руки этот мятый, затертый до дыр, хотя на нем и стояла свежая дата, циркуляр, пробежался глазами по строчкам. Странное дело, неужели эту бумаженцию читало так много людей? По распоряжению правительства, подписанного младшим Меркуловым, все катера и моторные лодки должны быть перегнаны на станцию Океанская...

Океанская находилась в семнадцати верстах от Владивостока. «Вон как плотно обложили атамана — мышь не проскочит». Авдалович взглянул на «Киодо-Мару», уныло застыв-

шую в воде — силуэт шхуны отсюда был хорошо виден... Сторож предупреждающе захрюкал в кулак, капитан, продолжая смотреть на шхуну, машинально протянул ему бумагу, сторож проворно схватил ее узловатыми цепкими пальцами и вновь что-то прохрюкал в кулак. Авдалович и на этот раз не обратил на хрюканье никакого внимания.

В следующий миг он почувствовал за спиной чье-то легкое, совершенно беззвучное дыхание, именно почувствовал, а не услышал, — резко обернулся. Перед ним стоял невысокий плечистый человек с седыми баками, выбивающимися из-под шляпы. «Ну и морда! — не замедлил отметить про себя Авдалович. — Кирпичом будешь целить в колено, а попадешь в морду. Измельчал корпус шпиков».

— Чем интересуетесь, господин капитан? — вкрадчивым голосом поинтересовался шпик.

Авдалович молчал. Оценивающе окинул шпика с головы до ног взглядом.

— Дык вот, — сторож угодливо захихикал, — интересуется господин катером. Пикничок, значит, собирается устроить на безлюдном острове. Катерок им нужен... А катеров немає. — Сторож выкинул в стороны свои клешнястые руки. — Немае!

— Сдается мне, что это не так, не ради пикничка господин капитан интересуется катером, — сомневающимся тоном произнес шпик и, неожиданно проворно сунув руку за пазуху, выдернул оттуда «бульдог» — короткоствольный, до тусклоты вытертый револьвер. — Сдается мне, что господин капитан должен посетить одно заведение.

— Какое же? — холодно спросил Авдалович, усмехнулся неожиданно: — С шампанским и заливными поросятами?

— Ага, с шампанским, — довольно рассмеялся шпик, шутка ему понравилась, — а ресторанчик этот милый называется контрразведкой.

Шпик снова засмеялся, но в следующий миг смех у него сплюснулся в горле — Авдалович коротко, без размаха, в печатал свой кулак шпику в живот, потом всадил второй кулак.

Револьвер вылетел у шпика из руки и шлепнулся на настил. Авдалович ударил шпика в третий раз — в самый верх живота, в разъем грудной клетки.

Шпик захлебнулся воздухом, захрипел сильнее и рухнул с настила в воду. Авдалович спокойно подобрал «бульдог», разъял ствол, крутнул барабан, словно собирался пересчитать оставшиеся патроны. Патронов оказалось мало, полови-

на положенного, он выколушнул их из гнезд, швырнул в воду. Револьвер же бросил на настил — не то ведь за потерю казенного имущества этого бакенбардистого взгреют в его шпиковском околотке за милую душу. Хотя шпик, ей-богу, ни в чем не виноват.

Тем временем шпик сумел протолкнуть болевую пробку, мешавшую ему дышать, онемение прошло, и он энергично зашлепал руками по воде, заорал сипло, дырявым голосом:

— Гхы-ы-ы! Тону-у!

— Помоги ему, — приказал Авдалович сторожу, — не то ведь действительно утонет.

Сторож проворно сдернул со стенки своей хлипкой избушки багор, подал кривой, турецким полумесяцем загнутый конец шпику:

— Держись, родимый!

Когда шпик наконец выбрался на настил и отплевался теплой, вонючей от бензиновых сбросов и отходов мазута водой, Авдаловича и след простыл.

Лишь чайки, хрипло гогоча, будто смеясь над незадачливым шпиком, кружились в каком-то странном хороводе над лодочной станцией, надеясь получить от находящихся здесь людей еду, но еды не было, и они продолжали горласто хрипеть и кружиться над причалом, похожие на больших, белых, очень злых ворон.

На станцию Океанская Авдаловичу пришлось ехать на поезде. Он хотел взять мотор и прокатиться с шиком, с ветром, как и положено блестящему боевому офицеру, ловя восхищенные взгляды дам, но владельцы моторов, несмотря на то что капитан предлагал повышенную плату, в Океанскую ехать отказывались наотрез, ссылались на плохую дорогу.

Пришлось ехать на чумазом, задымленном и закопченном до самых колес кучем поезде, состоявшем всего из трех вагонов — поезд этот развозил работяг из ремонтного депо и слесарных мастерских, живущих в пригороде, голосистых торговков и прочий несановный люд... С другой стороны, может быть, и хорошо, что в Океанскую капитан поехал на поезде. Так он был менее заметен.

Берег в Океанской был пестр от народа — владельцы катеров, в большинстве своем наряженные в капитанскую форму, со шкиперскими бородками и трубками, собирались в кучки и последними словам ругали братьев Меркуловых.

Во Владивостоке у них простоев не было, заказы шли один за другим — больше всего от путейских инженеров, желающих покатасть по морю своих барышень либо сгородить на безлюдном острове пикничок; невозможно было отбиться и от молодых людей, купеческих сынков, выстраивающихся за катерами в очередь, а тут — на тебе, подарок: дикое распоряжение местного правительства. И не подчиниться нельзя — мигом конфискуют «плавсредство».

Авдаловичу сразу все стало понятно.

К нему кинулось сразу несколько человек.

— Чего желаете, господин хороший? Катерок с каютой, отделанной красным деревом? Двухмоторную шаланду для незабываемого интима? В шаланде — стол на двенадцать человек и шесть изолированных кают. Или, может, хотите покатасться на яхте под парусами?

— Стоп-стоп-стоп! — Авдалович поднял руку. — Что тут было сказано насчет шаланды с каютами для незабываемого интима? Где эта шаланда? Можно посмотреть?

Шаланда Авдаловичу не приглянулась — плавучий вертеп, насквозь пропитанный запахом пота, с облезлыми диванами в каютах. На стеклах иллюминаторов были видны следы давленных мух — он медленно покачал головой:

— Нет, шаланда не годится.

— Почему-у? — изумленно округлил глаза владелец шаланды — лысый толстяк с лиловыми губами. — Всем годится, а вашему благородию не годится... Почему?

— Эта шаланда — для того, чтобы вывозить в море кокоток, а я хочу вывезти серьезных барышень. — Кто следующий? — Авдалович выдернул из кармана кипенно-белый платок, вытер им пальцы — после посещения шаланды хотелось не только вытереть пальцы — вымыть руки.

Он остановился на шестом катере — прочном, с хорошим ходом, приземистом суденышке, мачта которого была украшена полосатым георгиевским флажком.

Владелец катера — георгиевский кавалер, на груди у него побренькивали две серебряные медали и крест, — понравился Авдаловичу. В капитане, как и в самом катере, очень важно было не ошибиться.

Катер соответствовал облику хозяина — был ухоженным, окрашен скромно — ни одного броского пятна — то самое, что надо...

С достоинством приняв аванс — несколько золотых монет, — капитан молча глянул на Авдаловича.

— Будьте готовы к пикнику, — сказал ему Авдалович, — седьмого, восьмого и девятого июня, — это были дни, когда через Надеждинскую должна проходить Забайкальская бригада и несколько батальонов Маньчжурской дивизии. — В один из этих дней мы и выйдем в море.

— Куда конкретно?

— Скажу позже. Думаю — на один из безлюдных островов. У вас есть на примете такие?

— Есть.

— Если ваш остров окажется лучше — поплывем на него, если лучше будет мой остров — пойдем на мой остров.

Лицо георгиевского кавалера тронула скупая улыбка: заказчик ему, в свою очередь, тоже понравился.

— Я чувствую, полковник, вы на операции с атаманом Семеновым либо погоня потеряете, либо орден получите, — мрачно проговорил младший Меркулов, вызвав к себе фон Ваха. Дальневосточное правительство, чтобы укрепить свою власть и показать народу, что будет править серьезно и долго, решило учредить свои ордена. На один из таких орденов и намекал Николай Дионисевич. — Либо — либо...

Фон Вах молчал, а Меркулов распался все круче, голос его делался все громче. Наконец он перестал говорить, махнул на полковника рукой, словно хотел выставить его из кабинета, и тяжело, по-стариковски захрустев костями, опустился в кресло.

— В общем, я все сказал, полковник. Столько у нас народа, столько штыков и сабель, а с одним бурдюком, по самую пробку налитым прокисшим вином, справиться не можем...

— Но бурдюк этот — Семенов, ваше высокопревосходительство, — осторожно напомнил фон Вах.

— Плевать! — Меркулов потянул шеей в одну сторону, потом в другую, словно бы в горле у него возник комок. — Любый человек, идущий против законной власти, — преступник. Ваш Семенов — тоже преступник. Поэтому к нему надо так и относиться. Его нужно судить. А для того чтобы судить — надо арестовать. Выходит, вы, полковник, не можете справиться с простой задачей — арестовать негодяя. Что, скажете, не так? Не по зубам вам бурдюк в японском мундире и американских сапогах? Или по зубам? — Меркулов вскинул к глазам пенсне, посмотрел на полковника сквозь стекла, хотел нацепить «окуляры» на нос, но передумал, швырнул на стол.

Фон Вах молчал.

— Нет у вас ответа, — произнес Меркулов укоризненно. — Надеюсь, с «Киодо-Мару» ни одна щепка не падает в воду немеченной?

— Так точно — ни одна щепка!.. Шхуна обложена плотно. Более того, мы сейчас стараемся заслать на «Киодо-Мару» своего человека.

— Эт-то хорошо. — Меркулов повеселел. — В общем, Семенова надо арестовать во что бы то ни стало. Сделать это нужно при первой же возможности. Если сойдет на берег поухать розы — арестовать немедленно, запрется в гальюне, чтобы сделать по-большому, — тут же выламывайте дверь и волоките со спущенными штанами в околоток, застрянет на корме, чтобы понежиться на солнышке, — подплывайте к корме и хватайте его за ноги! Не мне вас учить, полковник. — Меркулов сделался задумчивым, побарабанил пальцами по столу. — А когда арестуете, полковник, получите не только орден за номером один, но и генеральские погоня. У меня все. Слово — за вами.

Капитан Авдалович продолжал действовать. Он еще раз побывал на Океанской, переговорил с георгиевским кавалером, — тот оказался душевным человеком, рассказал, где заработал крест и медали, пригласил серба даже отобедать с ним.

— Правда, пицца моя — не бог весть что, отварная картошка, укроп, огурцы, жбан кваса и несколько ломтей малосолевого кижуча. Но, господин хороший, чем богаты, тем, как говорится, и рады. Не побрезгуйте.

— Не побрезгую, — сказал Авдалович и извлек из кожаной полевой сумки бутылку рисовой водки. — Моя доля! — объявил он. — Негоже за стол садиться с пустыми руками.

Ничто так не объединяет людей, не укрепляет дружеские отношения, как подобные застолия. Авдалович остался доволен обедом.

— И когда же конкретно будем отмечать ваш день рождения? — спросил георгиевский кавалер.

— Восьмого числа.

— Куда поплывем? — спросил георгиевский кавалер, оказавшийся полным тезкой атамана, звали его Григорием Михайловичем, и Авдалович увидел в этом добрый знак. — На необитаемый остров?

— Нет, в планы внесены коррективы. Поплывем в Надеждинскую, — сказал Авдалович, поймал себя на излишней откровенности, поправился: — В район Надеждинской.

— В район так в район, — все поняв, произнес георгиевский кавалер.

В тот же вечер Авдалович закупил в местном магазинчике, принадлежавшем бывшему капралу японской экспедиционной армии, шампанского, ананасов, вяленой козлятины, рыбы, засоленной по-окинавски, несколько поллитровок саке, привез все это на катер.

— Для полного душевного комфорта, Григорий Михайлович, чтобы глаза радовались, нарвите обыкновенных полевых цветов, — попросил он георгиевского кавалера, — и поставьте на стол.

Георгиевский кавалер шутливо притиснул ко лбу два пальца.

— Бу сделано!

— А главное, Григорий Михайлович, никому, ни одному человеку, кто бы это ни был, хоть сам царь-батюшка, поднявшийся из могилы, ни слова, ни полслова о том, что я восьмого числа собираюсь отмечать свой день рождения, ладно? Иначе, если об этом узнает моя жена, знаете, что со мною будет?

Григорий Михайлович понимающе сжал губы в жесткую линию, потом рассмеялся.

— Знаю. Ну, а что касается вот этого, — георгиевский кавалер вновь выразительно сжал губы, — то даже если главный владивостокский полицейский вытащит свою саблю из ножен, то я все равно буду нем, как рыба.

— У моего дня рождения есть еще одна особенность — он будет отмечаться ночью, при свете луны...

— Разве восьмого июня будет светить луна?

— Если не будет — закажем.

Фон Вах не спускал глаз с «Киодо-Мару» — в прямом смысле слова не спускал: иногда часами сидел с биноклем на берегу, в здании портовой таможенной службы, рассматривал шхуну. Когда видел Семенова — начинал материться: за всю свою жизнь, за все годы он не имел столько неприятностей, сколько схлопотал за эти несколько дней, у фон Ваха на языке сами по себе рождались ругательства, трескучим горлом выссыпались наружу.

В такие минуты он забывал русский язык и переходил на немецкий, хотя немецкий по части ругательств здорово уступает русскому, ругательства на немецком звучат слишком пресно и тупо, будто вареный картон, ничего из него соорудить нельзя, а вот ругательства на русском — звонкие,

хорошо отточенные, калиброванные, как артиллерийские снаряды, — выпустишь один такой снарядик, и на душе сразу легче делается, поскольку знаешь точно — он лег в цель. Поэтому фон Вах в немецкую речь совершенно произвольно, машинально старался вкрапывать русские ругательства. Получалось смешно, но нелитературно, публиковать высказывания фон Ваха нельзя.

Когда очертания «Киодо-Мару» начинали расплываться в окулярах, а усталые глаза прилипали к резиновым набойкам бинокля, фон Вах решительно отшвыривал дорогой цейсовский аппарат в сторону и прыгал в катер.

— Вперед, на «Киодо-Мару»! — командовал он.

Моряки, зная характер пруссака-полковника, топлива не жалели, едва ли не на самом причале врубали форсаж, и катер, ревя, будто неведомое чудовище, несся на огромной скорости прямо на шхуну, грозя вломиться ей в борт, в последний момент резко отворачивал в сторону, взбивал крупную пенную волну, тугую, как чугун, — волна клала «Киодо-Мару» набок, этим все и обходилось. Фон Вах, словно черт на помеле, уносился в морское пространство, там подавал команду сбросить обороты и снова подносил к глазам бинокль.

Конечно же эти катерные атаки не остались незамеченными на «Киодо-Мару», полковник Буйвид на них обратил внимание давно и фон Ваха засек — каждый раз, глядя, как тот сатанински уносится на катере, ловко увертываясь от столкновения с «Киодо-Мару», — бурчал себе под нос:

— Вот таракан! Прищепить бы тебе усы дверью! Погоди, пруссачок, все еще впереди — по саму репку. Свое ты получишь.

Фон Вах злился: Семенов со шхуны на берег не сходил и делать этого, кажется, не собирался.

Седьмого июня от «Киодо-Мару» на берег отплыло сразу несколько катеров, во всех находились подтянутые, бравые, пахнущие «о'де колоном» семеновские офицеры, при оружии — наганах в новеньких кожаных кобурах и пашках, с одинаковыми штабными папками под мышкой. На пристани Эгершельда офицеров ждали три автомобиля. Офицеры посетили несколько богатых контор, штаб японской экспедиционной армии, зашли даже в универмаг Кунста и Альберса, где вручили учтивому коммерческому директору толстый конверт, склеенный из дорогого «вержэ» ручной работы.

В конверт были вложены два билета на прием, который атаман Семенов давал на борту шхуны «Киодо-Мару».

Ни в одну из правительственных контор семеновские офицеры не завернули, приглашения не получил никто из членов меркуловского кабинета, ни один человек.

Первым о приеме узнал старший Меркулов, Спиридон Дионисьевич. Вызвал к себе младшего брата.

— Слышь, Коля, наш атаман решил устроить у себя прием на сто пятьдесят персон, — сообщил он по-домашнему.

— Когда? — спросил младший Меркулов, озабоченно посмотрел на часы.

— Завтра. Восьмого числа.

— А точнее? В котором часу?

— Не знаю. Приглашение, как ты сам догадываешься, он мне не прислал.

Младший Меркулов снова посмотрел на часы, машинально покрутил колесико завода.

— Ах, как было хорошо умыкнуть его с «Киодо-Мару» во время этой большой толкучки!

— И не думай, Коля! Начнется такая пальба, что в ней перебьют половину Владивостока. Семенова надо брать, когда из города уйдут и Маньчжурская дивизия, и Забайкальская бригада. Тогда Семенов будет гол как сокол — можно будет взять без всяких рукавиц.

— А если он попытается уйти вместе с ними?

— Интересный вопрос. Каким же способом? Надеюсь, ты его с «Киодо-Мару» не выпустишь?

— Не выпущу.

— А по воздуху на берег он перенестись не сумеет. Не дух бестелесный. Но вот на «Киодо-Мару» он уйти попытается обязательно. Есть у меня такое предчувствие, что вечерок, который атаман устраивает на шхуне, — прощальный.

— На «Киодо-Мару» он не уйдет. В море его встретят три наших миноносца. Они уже ждут шхуну. Уйти Семенову не дано.

«Отходняк» был накрыт на палубе «Киодо-Мару», только об отъезде Семенова никто не говорил — напротив, атаман, переходя от одной группы приглашенных к другой, речь вел совсем об ином — о том, что собирается здесь задержаться и, естественно, постарается найти с Меркуловыми общий язык. Пойдет на уступки, но язык этот обязательно найдет. Атаман не сомневался, что речи его до меркуловских ушей донесут — хоть и постарался полковник Буйвид, чтобы на пирушке этой не было «доброжелателей», а они тут все-таки есть. Имеются. Семенов был готов дать руку на отсечение.

С палубы убрали все лишнее, даже ящики, в которые были уложены шелковые крабовые сети, пропитанные специальным составом, предохраняющим шелк от гнилья, и те унесли — с одной стороны, чтобы места было побольше, с другой — ни к чему дразнить русских, которые не хуже японцев знают, как и чем можно ловить крабов; на катерах с берега доставили тридцать столов и белоснежные, хрустящие от крахмала скатерти.

Ну а затем к «Киодо-Мару» начали приставать катера один за другим, почти непрерывно. Один доставил шампанское с водкой — количество ящиков было оглушающее, второй — свежие цветы в корзинах, третий — замоченное в вине мясо для шашлыков, а также ровно нарезанные и присыпанные мелкой морской солью ломти телятины для «асадо», четвертый — слабосольную рыбу — не только тающую во рту лососину, приготовленную местными умельцами, но и волжскую осетрину, а также три бочонка с икрой — два с красной, один с черной, пятый — рыбу свежую, для ухи и жарева, а также тунцов с сочным ярко-красным мясом, специально для гостей-японцев, которые готовы пожирать эту рыбу в сыром виде тоннами, был бы только соевый соус, шестой — пятнадцать мешков древесного угля для мангалов, седьмой — контейнер с сингапурскими фруктами...

У фон Ваха, который продолжал напряженно наблюдать за катерной мельтешней, в конце концов глаза «залипли» — косо притянулись к переносице и застыли в таком положении, предметы сдвинулись в сторону, замерли.

— Ух, я бы этого Семенова! — взвился он и перешел на немецкий язык — более привычный для себя, чем русский, в следующий миг спохватился, воткнул в немецкую лающую речь два похабных слова на русском и потребовал к себе врача с пузырьком глазных капель.

Атаман Семенов специально затеял всю эту возню с катерами, несколько суденышек подплывали к «Киодо-Мару» и вовсе груженными пустыми коробками — атаману важно было, чтобы люди, наблюдавшие за шхуной, привыкли к этой толчее, чтобы глаза у них «залипли» (как у фон Ваха) и в конце концов они перестали «класть взор» на отдельные катера, воспринимали происходящее как обычную кутерьму.

К вечеру катера начали доставлять на шхуну гостей — по одному, по два, по три — атаман денег на «игру» не пожалел, отстегнул по-купечески, без счета, сколько надо было Буйвиду, отвечавшему за представление, столько он мог и взять,

жизнь гораздо дороже денег, — а когда все приглашенные прибыли, появился атаман.

Перед собравшимися Семенов выступил с речью — был он в парадной генеральской форме, при многочисленных орденах и наградной золотой сабле «За храбрость», полученной им от государя за подвиги в Первой мировой войне, блестящий наряд этот производил впечатление, что не замедлили дружно отметить все приглашенные. Дамы не сводили с атамана глаз.

Смысл речи сводился к лозунгу, ставшему в те годы особенно модным среди провинциальных лавочников: «Бей жидов, спасай Россию!»

Произнеся речь, атаман взял с подноса бокал, наполненный душистым розовым шампанским, выпил и, словно в некоем раздумье задержав руку в воздухе, разжал пальцы. Бокал полетел на палубу.

«Хрясь!» — только осколки дорогого богемского стекла жгучей льдистой россыпью легли на хорошо отскобленные доски — будто на свадьбе, когда бьют бокалы и орут: «Горько!» Атаман не спеша вытер усы и многозначительно произнес:

— За то, чтобы с большевиками-коминтерновцами произошло то же самое! — Потянулся к нарезанному ломтями арбузу, доставленному из штатной приморской житницы под названием Сингапур, ухватив ломоть, проговорил: — Ну, а посуду бить совсем необязательно. — Усмехнулся и добавил: — Кроме меня.

Больше никто бить бокалы не стал — таких смелых не оказалось. К ногам атамана подкатился услужливый урядник в белом поварском фартуке и пышном накрахмаленном колпаке, украшавшем его голову, замахал привычно веником, сгребая искристые осколки в совок.

— Иначе под ногами будут хрустеть, ваше высокопревосходительство, — пробормотал урядник, млея от того, что ему была поручена столь высокая миссия.

Атаман бросил ему в совок недогрызенную корку арбуза и потребовал еще шампанского.

— Хочу сказать еще один тост, — произнес он.

Семенов обвел глазами генералов: ближе всех к нему стоял осанистый, одетый в тесный парадный мундир Савельев, после некоторых раздумий переместившийся из Гродеково во Владивосток, о руку Савельева опиралась дама с породистым, чуть обрюзгшим лицом, дальше стояли еще несколько дам с напряженными, очень внимательными глазами, затем

снова сверкало золото погон, рядом тесной кучкой сгруппировались японцы — друзья атамана.

Паузу атаман держал долго — пожалуй, он даже перестарался, передержал ее, дама в розовом, опирающаяся на руку Савельева и поевавшая атамана влюбленным взглядом, что рождало в душе Семенова некую хмельную гордость, неожиданно заплодировала.

Ее поддержали еще несколько человек.

Атаман поднял руку, призывая к тишине, оглядел савельевскую даму с головы до ног, отметил про себя, что такие женщины бывают хороши только на «безрыбье», и произнес:

— Никто не станет отрицать, что Россия — великая страна. Россия действительно великая страна. Но рядом с нею живет другая великая страна, — атаман глянул на тесную кучку японцев, одобрительно внимавших ему, увидел блестящего адмирала Безуара, которого ценил сам Колчак, кивнул ему, в ответ Безуар сделал пренебрежительное лицо: он не понимал, как можно называть великой страну, из одного края которой до другого доплунуть можно, а люди посылают почту с острова на остров, привязав письмо бечевкой к камню, — да, рядом с Россией живет другая великая страна — Япония, — отвечая только одному адмиралу, произнес атаман. — Я предлагаю выпить за дружбу. Дружбу России с Японией. Пока мы вместе, никакие беды, никакие коминтерны нам не страшны.

В эти минуты атаман чувствовал себя больше японцем, чем сами японцы.

В стороне послышался рокот мотора — к шхуне шел катер, затем по воде ударило лезвие прожектора, установленного на носу «Киодо-Мару», заплясало по дымящимся голубым волнам, будто заяц.

— Едет новое пополнение, — сообщил Савельев.

За первым катером прибыл второй, за ним третий — народу на шхуне прибавилось, небольшой матросский оркестрик, привезенный с Русского острова, лихо ударил в литавры; старый моряк, украшенный серебряной цепью, перекинутой, будто аксельбант дворцовой свиты, через всю грудь, поднес к губам трубу, и чистая ликующая мелодия понеслась по пространству, спугивая чаек и тревожа душу каждого, кто в этот миг ее слышал.

Этот звук родил в Семенове неожиданно горькое чувство — человек, далекий от душевных слабостей и переживаний, не признающий жалости, он вдруг пожалел самого себя. В нем

снова, как когда-то в детстве, возник жалкий, хлюпающий носом пацаненок, битый родителями, битый ровесниками и более взрослыми парнями-казаками, мечтающий о коне и пашке, о том, чтобы его заметил царь-батюшка. Все это осталось позади, в затуманенных даях времени, куда возвращаться не было никакого резона, но все равно ему захотелось вернуться в прошлое и стать тем самым сопливым казачонок, которым был когда-то. И от осознания того, что он не всемогущ и не может одолеть время, атаману сделалось печально.

Не может он вновь стать казачонок, вернуть детство, которое, несмотря на оплеухи и обиды, было прекрасным — Гринька Семенов жил все-таки под защитой своего отца, человека, который жаждал справедливости и во всякую драку лез не задумываясь.

Но нет, ушло то время, нет его, как нет и сопливого Гриньки Семенова...

Атаман украдкой посмотрел на часы: не пора ли?

Нет, еще не пора, хотя минута, о которой он думал с невольной тяжестью в душе, вот-вот должна была наступить. Он в последний раз все прокрутил в мозгу: нет ли каких огрехов, дыр? Ни огрехов, ни дыр не нашел.

Когда к борту «Киодо-Мару» пристало сразу несколько катеров с запоздалыми гостями, фон Вах приказал рулевому, устремившемуся было вновь к шхуне, тормознуть. Тот сбросил обороты, и катер, тяжело зарывшись носом в волну, словно завис в воде. Мелкая взрыхленная рябь судорожно и звучно заколотилась о борт.

«Киодо-Мару», ярко освещенная, шумная, находилась в полумиле от катера фон Ваха. Из своих людей на шхуну фон Ваху удалось внедрить только одного человека, буквально всыпав ему в руку горсть золотых николаевских пятерок, — старого грузина-пашлычника. Почему-то люди из семеновского окружения посчитали, что лучше этого дедка с седым плотным ежиком волос на сухой птичьей головке никто не умеет делать пашлычки, но фон Вах знал, что это не так: есть во Владивостоке пашлычники потолковее старика Гоги Гоцеридзе, только их на шхуну к атаману не пригласили. Но что может сделать один дряхлый завербованный пашлычник в семеновском вертепе? Ничего не сможет сделать.

Ясно, что вся семеновская команда, в том числе и сам атаман, сегодня основательно нагрузятся, на берег из них вряд

ли кто сойдет. Кроме, может быть, тех гостей, которым обязательно надо ночевать на берегу. Фон Вах с досадою хлопнул ладонью о ладонь.

— Ладно, — просипел он рулевому, — правь к берегу. На сегодня все.

Рулевой, которому до зубной боли надоели шпионско-сыщические страсти полковника, заложил к берегу крутой вираж и, пренебрегая всякими правилами маскировки, которые так свято соблюдал фон Вах, дал мотору полные обороты. Катер взревел, становясь едва ли не на попу.

— Что, господин полковник, сегодня никого арестовывать не будем? — спросил рулевой, блеснув зубами.

— Сегодня никого не удастся арестовать, — у фон Ваха язгнули челюсти, — не дано.

— Хорошо. — Рулевой не удержался, рассмеялся по-гимназически звонко.

— Домой, только домой, — пробормотал полковник ослабшим заморенным голосом, ухватился обеими руками за поручень. — Сегодня уже ничего веселого не произойдет. Этих людей мы арестуем, когда они протрезвеют.

Фон Вах ошибался — ни атаман Семенов, ни люди, близкие к нему, пьяны не были. Скорее наоборот, они как никогда в жизни были трезвы. Даже самим делалось противно от необычной внутренней прозрачности. Хотя выпить им хотелось. Чтобы снять внутренний мандраж.

Атаман иногда подходил к борту, глядел вниз, словно хотел что-то там увидеть. Наконец в очередной такой подход Буйвид не выдержал, быстрыми шагами подошел к атаману и спросил:

— Григорий Михайлович, что вы потеряли за бортом?

Атаман распрямил плечи и диковато глянул на полковника: давно он не слышал, чтобы к нему так обращались.

— Я? — Семенов будто споткнулся обо что-то, замялся.

— К борту ночью вам лучше не подходить, Григорий Михайлович.

— Почему? — Семенов уже справился с собою, и у него недовольно вскинулась бровь.

— Вы лучше меня знаете почему. Зачем подставляться?

Нечто подобное уже было. В прошлом году. Ему не советовали подходить... не советовали подходить к окну вагона, когда его на крохотной, лишенной каких-либо выразительных примет станции пытались извлечь из вагона китайцы. Тогда о нем заботился надоедливый адъютант-хорунжий с

лицом сытой овцы, сейчас — Буйвид. В общем, нет никакого спасения от спасителей Отечества.

Подставляться под пулю действительно было бы глупо. Семенов брезгливо глянул на остатки шампанского, застрявшие в бокале, и вытряхнул мигом опротивевшую жидкость за борт.

Владивосток сиял огнями, они забирались на сопки, к обалакам, таяли в ночной черноте, особенно много огней было внизу, где они косо сползали в воду и исчезали в заливе. Семенов отошел от борта и посмотрел на часы.

Было все еще рано, время «зэт» не наступило. Ночное веселье на «Киодо-Мару» продолжалось.

Поздней ночью, когда город уже затих, от «Киодо-Мару» с криками, с воплями, с музыкой отвалили сразу несколько катеров. На одном из них находился атаман — в сером длинном плаще, шпитем из легкой ткани, такие плащи владивостокские модники называли пыльниками, в шляпе, низко надвинутой на лоб, чуть покачивающийся — ни дать ни взять подгулявший купчик, набившийся к атаману в друзья. Вместе с Семеновым в катер прыгнули еще четыре человека — двое японцев — знакомый майор-переводчик из штаба экспедиционных войск и полковник, представившийся атаману интендантом, а на самом деле — разведчик, и двое проверенных офицеров, назначенных Буйвидом атаману в спутники. Японцы очень внимательно следили за тем, как разворачиваются события в Приморье, строили прогнозы — в основном, правда, гадали на кофейной гуще: возьмет Семенов верх или не возьмет?

Все — кроме японцев — изображали из себя сильно выпивших людей — у офицеров в руках было по две бутылки шампанского, они размахивали бутылками и кричали: «Презент от атамана! Презент от атамана! Виват атаману Семенову!» Люди на соседних катерах также шумели.

Вначале катера сделали круг почета около шхуны. Семенову важно было убедиться, что адмирал Безуар точно выполняет его личное распоряжение: как только атаман покинет шхуну, немедленно поднять трап и с «Киодо-Мару» до утра никого не выпускать. Безуар сработал на «пять», комар носа не подточит — трап взлетел на борт, будто невесомое крыло птицы, и катера послушным стадом гуськом понеслись к берегу.

Атаман, придерживая пальцами край шляпы, вглядывался в темноту — не возникнет ли по курсу противно-бойкий ка-

терок с флажком береговой охраны на корме или, того хуже — «Лейтенант Дыдымов», но на длинной россыпи электрических огней ничто не проявлялось, ни одного движущегося темного пятна, ничего, даже шевеления и того не было. Все шло по плану.

Главное, чтобы никто не пронюхал, что он уже покинул «Киодо-Мару», а дальше Бог не выдаст, свинья, как говорится, не съест — дальше все должно пойти будто по маслу. На берегу вместе с правительственными патрулями нынешней ночью ходят патрули семеновские. Если что-то произойдет — свои придут на выручку.

К пристаю причалили благополучно. Неподалеку мрачной громадиной расплывалось в черном небе здание Морского штаба, во всем здании не было ни одного огня. Площадь перед штабом, в косом свете фонарей казавшаяся какой-то мятой — сплошь в выдавликах, в неровностях, — была безлюдна. Впрочем, безлюдной она оставалась недолго...

Один из офицеров, сопровождавших атамана, низкорослый, но плечистый, как спортсмен-гиревик, капитан, вдруг обхватил его за плечи, словно родного брата, и затянул пьяным гнусавым голосом:

— Ма-асква залатаглавая-я, звон калакалов, ца-арь-пушка державная, арапат пираго-ов...

Тут Семенов увидел, что на площади появились сразу два патруля, один — многочисленный, человек девять, не меньше, правительственный, под командой прапорщика, второй — со знакомыми белыми повязками «ОМО», что означало «Особый Маньчжурский отряд», — патруль семеновцев.

— Ка-анфетки-бара-аночки, словно лебеди-са-аночки, — продолжал блажить капитан, отпустил Семенова, поставил горлышко бутылки на правительственный патруль и открутил проволочную уздечку, сдерживающую пробку. Бутылка ударила туго, будто хлобыстнул маузер. Капитан вскинул бутылку, приложился к ней. Затем, шатаясь пьяно, выдвинулся вперед, закрыл своим телом атамана. — Ой вы, кони за-алетныя, — и снова отпил от бутылки. Хоть и блажил он пьяно, а глаза его, как успел заметить атаман, очень сосредоточенно и жестко следили за солдатами правительственного патруля.

Меркуловцы поначалу было направились к разгулявшемуся офицеру, но, увидев, что он не свой, а семеновец, чужой, резко свернули в сторону.

— Гимназистки румяныя, от мороза чуть пьяныя, — проблажил гуляка хриплым, надсаженным зельем голосом и

умолк. Произнес спокойно, обращаясь только к атаману: — Извините, ваше высокопревосходительство, я вас не помял?

Оба японца, майор и полковник, дружно рассмеялись. Семенов махнул рукой:

— Пустяки!

Через полминуты на площадь выкатились три автомобиля. Семенов с неожиданным сожалением подумал о том, что не удалось ему с ревом и свистом погонять по владивостокским улицам на автомобиле, который он переправил сюда, это вызвало у него досаду, боль, еще что-то... А ведь роскошная машиненка-то! Местные обыватели дружно пораскрывали бы рты при виде ее. Несется машина на всех парах, гудит, рывкает клаксоном, а сзади наметом идет конный конвой, подковы звонко стучат по асфальту... Красота!

Теперь придется перегонять авто на новое место.

— Ка-анфетки-бара-аначки, — снова на всякий случай гнусаво затянул капитан, но в следующий миг умолк — на машинах приехали свои.

Сделав широкий круг, автомобили остановились около высадившихся с катера людей. Средняя машина — громоздкая, с тяжело дышащим мотором, похожая на броневик — замерла рядом с атаманом.

— Э-хо-хо! И гульнем же мы сейчас в ресторации! — громко проорал «захмелевший» офицер, садясь в авто.

Правительственный патруль, гулко протопав сапогами вдоль стены Морского штаба, скрылся за углом.

Через несколько минут три машины, распутивая собак и сонных коз, которых тут не принято было привязывать к колам, неслись по пустынным владивостокским улицам. Прошло еще немного времени, и они миновали крайние хибары, где жили китайцы, удравшие сюда от красных, из Хабаровска, дорога круто поползла в сопки, по днищу машины звонко зацелкала галька, в окна полезли клочья тумана, похожие на папиросный дым. Свистел ветер. Семенова приятно вдавило спиной в кожаное сиденье, лопаткам сделалось горячо, будто он прислонился к печке.

Глаза смежились сами по себе, он чуть было не уснул — это был какой-то мгновенный провал в цветастый, полный звуков омут, — но он не уснул. Энергично растер костяшками пальцев виски, потом помял затылок, и сон отступил от него.

Через несколько минут дорога заструилась вниз, мимо черных, с широко раскинутыми ветвями деревьев, недобро застывших в ночи; потянуло сыростью, гниющими водорос-

лями, солью, еще чем-то. Совсем недалеко от дороги, невидимое и неслышимое в ночи, плескалось море. Грудь Семенову сдавила секущая тоска — неужели ему так и не удастся зацепиться на земле российской, неужели — эмиграция? Как и у офицеров и генералов Вооруженных сил Юга, которыми командовал Антон Иванович Деникин. Атаман мотнул головой, усы у него протестующе дернулись и перекосились, правый полез вверх, левый — вниз. Интересно, почему левый ус все время лезет вниз? Неужели начинает слабеть сердце? Левая сторона тела стала слабее правой?

В свет фар попали грузные, обросшие мхом валуны, с грохотом пролетели мимо, в следующий миг атаман неожиданно увидел, что из темноты прямо на радиатор автомобиля накатывается светлый пенный вал. Они ехали по сырой кромке моря, по самой воде, с хрустом, будто капусту, давя крупные блестящие водоросли.

— Подъезжаем к Океанской, — объявил шофер, сутулый господин в кожаной куртке, лихо срезал колесами влажный песчаный язык, раздавил бесшумно набежавшую волну и свернул направо, прямо в море.

Вода дробью брызнула во все стороны, в следующую минуту под колесами застучал твердый настил, и машина остановилась. Из мрака выступил рослый моряк в темной накидке.

— Капитан второго ранга Чухнин! — доложил моряк.

Следом из темноты выступил Авдалович, вскинул руку к козырьку:

— Катер готов!

Около Авдаловича стоял человек с простым суховатым лицом и несколькими георгиевскими наградами на груди. В руке он держал «легучую мышь» — керосиновый фонарь.

— Зажигай, казак, фонарь, — велел ему атаман, — не бойся!

— Это — владелец катера, — пояснил Авдалович, — его так же, как и вас, зовут Григорием Михайловичем.

Атаман молча пожал руку своему двойному тезке, пробормотал:

— Спасибо за помощь. В долгу не останусь.

Владелец катера запалил «легучую мышь», помог атаману спуститься в каюту.

— В Надеждинскую! — скомандовал Чухнин.

Тихо застучал мотор — механизм суденышка был хорошо отлажен, клапаны притерты, все детали подогнаны друг к

другу, — через минуту катер растворился в ночи. Шел он с потушенными топовыми огнями”.

— Хорош же у вас день рождения, молодой человек, — проговорил владелец катера, покосившись на Авдаловича.

Тот кивнул в ответ. Ответил загадочно:

— На одну изюмину пять тараканов приходится.

Таскин остался на шхуне «подчищать концы», это было его выражение — туманное, но в общем-то правильное.

— Вы правы, во Владивостоке нам сейчас нечего делать, — сказал он Семенову, когда прощались, — ничего не светит, это и ежу понятно. Но наше время придет, Григорий Михайлович.

Атаман ничего не ответил, на щеках у него вздулись и заиграли желваки.

— А пока надо брать веник и подметать пол, — сказал Таскин.

— Вот и подмети, — велел ему атаман, — тебе все карты в руки.

— Эге, — произнес Таскин удрученно, — да только мне очень хотелось бы уйти вместе с вами.

— Завалимся оба, — сказал атаман, — и оба погибнем. Меркуловы хорошо знают, что мы с тобой, как Шерочка с Машерочкой, — Семенов повертел ладонью в воздухе, — неразлучные друзья, словом. Так что, Сергей Афанасьевич, действуйте! — Он невольно обнял Таскина, прижал к себе. — Ты прекрасно знаешь, что выбираться нам из этого капкана надо порознь, самое лучшее — вообще поодиночке.

На «Киодо-Мару» публика продолжала веселиться. На смену одному уставшему, потному флотскому оркестру пришел другой, свежий, веселоглазый — Таскин велел налить музыкантам по стакану водки. На палубе вновь закружились пары.

Кружиться они будут до шести утра, раньше трап Безуар ни за что не опустит, даже если ему будут грозить петлей. С моря прикатила тугая волна, гулко хлопыстнула шхуне в бок, следом за первой волной прикатила другая.

Шторм здесь часто начинается внезапно — стеклисто-ровная поверхность залива вдруг вздрагивает, воду покрывает рябь, и через минуту с моря приползает тяжелая, хрипло бормочущая на ходу волна, откатываясь, сталкивается с другой волной, потом на пути ее возникает третья, и над морем повисает долгий горький стон. Затем стон стихает, море успокаивается на короткое время, лишь вода шипит по-зме-

иному да где-то глубоко внутри, около самого дна, что-то задушенно погромыхивает, словно огромная рыба скребется своим костяным брюхом о камни, но потом прекращается и это далекое погромыхивание, и вода перестает пузыриться... Наступает полная тишина. Кажется, можно сбросить с себя оцепенение, рожденное ожиданием, перевести дыхание, перекреститься — пронесло, никакого шторма не будет, но затишье — это самое страшное в здешних водах. Так всегда бывает перед сильным штормом — затишье устанавливается при низком черном небе и нескольких разбившихся о берег валах. Рыбаки обязательно неистово молятся, если слышат эту полую удушливую тишь, хотя такую тишь слышать нельзя, она как вата, плотно набитая в уши, — ничего в ней живого.

Через несколько минут грохнуло. Одна волна сшиблась с другой под самым бортом шхуны, «Киодо-Мару» резко накренило, танцующие пары с хохотом сгреблись в одну кучу, соленые брызги столбом взметнулись к небесам.

Таскину было не до шторма, не до веселья — на душе у него кошки скребли.

Один из «концов», которые ему следовало подчистить, был золотой: промысел деда Тимофея Гавриловича следовало срочно сворачивать, иначе до него доберутся меркуловские ищейки. В общем, промысел надо срочно консервировать, а людей... людей... Лицо Таскина сделалось жестким, губы плотно сжались, он, тяжело вздохнув и вцепившись пальцами в веревочный леер, смотрел остановившимися глазами, как из темноты на шхуну катится новый, таинственно мерцающий, переливающийся тусклым искорьем вал...

Вал ударил в борт шхуны, и с губ Таскина сорвались сами по себе слова:

— Людей жалко.

Людей придется убрать. Когда есть человек — есть и опасность, что тайное делается явным, нет человека — и опасности этой нет. Как ни жаль старика и его милой дочки... Или внучки. Таскин невольно зажмурился, увидел в тесном сжиме, что на шхуну вместе с валом накатываются какие-то люди, лица у них вроде бы знакомые, вполне возможно, это сам старик, Кланыя... толковый геолог в чине прапорщика и с какой-то нерусской фамилией. Фамилия, которую Таскин хорошо знал, на этот раз не пришла на память, не захотела прийти; Таскин недовольно поморщился, снизу к горлу подполз твердый комок, виски сдавило, люди, которых, как ему

казалось, тащила на своей спине волна, исчезли, вал с силой ударил в борт, и шхуна вновь накренилась.

Танцующие опять со смехом сгреблись в кучу, дружно отъехали к борту и оттуда по накренившейся палубе начали взбираться вверх. Таскин перегнулся через борт, посмотрел в воду.

Увы, никаких людей. То, что он наблюдал, было обычным видением.

Атаман со своими людьми тоже попал в шторм. У него в памяти еще были свежи картины шторма, в который они попали около острова Фузан — хорошо, хоть на дно не пошли, — а тут — новый шторм. Семенов выругался.

Шторм начал отжимать катер от берега, судно потеряло скорость; нужно было бороться с волнами, разворачиваться к ним носом либо кормой, чтобы шальная вода не перевернула «плавсредство». Это георгиевский кавалер и проделывал успешно, затем в междуволние он закладывал крутой вираж, и катер шел к берегу на полном ходу, но на пути спотыкался, словно ему под днище попадал камень, залитый водой мотор чихал и в конце концов умолкал, и катер начинало опять относить в море.

Атаман терпел. Понимал — в его жизни пора наступила такая, и она — как судьба — надо терпеть. Но время ни терпеть, ни ждать не могло. Как раз в эти минуты забайкальцы проходили через Надеждинскую — должны проходить, — а два усиленных конных разезда с запасными лошадьми уже тридцать минут несли дежурство на берегу моря. До бесконечности они дежурить, естественно, не могут, иначе начнут привлекать к себе внимание, но и уйти без атамана тоже не могут, в противном случае чего бы им столько времени мести копытами мокрый песок прибоа?

Интересно, хватились его меркуловцы или нет?

Катер жалобно заскрипел своими заклепками, взгромоздился на волну и, будто с горы, съехал с нее вниз. Все, что уже было — а это было в майские дни на «Киодо-Мару», — повторяется.

Атаман не выдержал, сказал сидевшему рядом молчаливому, с рябоватым лицом хорунжему, которого Буйвид оставил при атамане вместо себя:

— Предупреди капитана второго ранга, что всякое опоздание смерти подобно.

— Он об этом знает, ваше высокопревосходительство.

— И что же?

— Непредвиденное обстоятельство, вы видите — внезапный шторм. Но Чухнин сделает все, чтобы мы прибыли вовремя, он — человек верный.

— Мы опаздываем, хорунжий. Надо быстрее, быстрее, быстрее!

Хорунжий промолчал, только придвинулся к атаману ближе, как будто хотел прикрыть его от пули неприятеля.

Мотор перестал кашлять и глохнуть; катер, преодолевая крутые, словно отлитые из железа валы, продолжал двигаться на север, в Надеждинскую.

Сейчас, из глубины времени, трудно понять, а точнее — документально выяснить, как на берегу узнали, что атаман покинул шхуну «Киодо-Мару», кто из меркуловских шпионов смог передать фонарем на берег сведения, что Семенова нет на судне — уж не заслуженный ли грузин-шапльчник, славно потешивший желудки атаманских гостей? — только на берегу об этом узнали.

Поднялась легкая паника. Бедный фон Вах, который решил после нескольких бессонных ночей прикорнуть в кровати, был в подштанниках выдернут из постели; при сообщении о бегстве атамана со шхуны увял в теле, будто из него выпотрошили внутренности:

— Не может этого быть! Ведь он, по моим данным, напился как свинья — вылакал едва ли не ящик шампанского. Это наблюдали мои люди с катера. Не может человек, столько выпив, куда-то еще бежать. Он должен лежать в постели и храпеть.

— Это обычный человек не может, а Семенов может, — сказал фон Ваху посыльный офицер — молоденький штабной прапорщик.

— Не может быть, чтобы этот мерзавец удрал. Если только переоденшись в матросскую робу... — произнес фон Вах, наконец-то поняв, что произошло, и, схватившись руками за голову, попросил прапорщика: — Не в службу, а в дружбу, поручик, — он специально повысил звание этому офицеру сразу на две ступени, — проверьте, ходят по городу семеновские патрули или нет? Если ходят — значит, атаман еще не покинул Владивосток.

Семеновских патрулей в городе не оказалось.

Фон Вах вновь схватился за голову: сейчас ведь его вызовет на ковер младший Меркулов и прямо посреди ночи сдерет погоны... Фон Вах не выдержал, застонал.

Он раскинул перед собой карту, взгляделся в нее, но ничего понять не смог — незнакомая какая-то карта, похоже, иностранная... японская скорее всего, в следующий миг чертыхнулся: карта была не иностранная, своя, только перевернутая вверх ногами...

Важно было понять, вычислить, куда отправится, очутившись на берегу, атаман. В самом городе он не останется — слишком опасно, вниз по карте... вряд ли пойдет, там Китай, скорее всего он отправится к своим... К своим... Где больше всего сейчас сосредоточено частей, преданных атаману? В Гродеково. Значит, он пойдет именно туда. Фон Вах хлопнул ладонью по карте, свернул ее.

Значит, по дороге в Гродеково и надо устроить атаману несколько засад.

В одну из них атаман попадет обязательно.

А Семенов продолжал болтаться в море. Шторм, что налетает внезапно, обычно также внезапно стихает — так бывало в этих краях всегда. Но шторм не прекращался, катерок боролся с волнами, с течением, отжимавшим его от берега — началась пора отлива, — карабкался с одной водяной горы на другую и никак не мог добраться до конечного пункта, до Надеждинской.

Атаман нервничал. Лицо его за время поездки одрябло, сделалось каким-то домашним, обиженным, словно у старушки, привыкшей общаться со спицами и клубками пряжи, подбородок округлился, — и довершала этот облик шляпа, которая Семенову не шла совершенно. Одно было хорошо — в шляпе атаман был совершенно неузнаваем.

Наступил рассвет — желтовато-лиловый, мертвенный, лица людей выглядели в нем неживыми, серыми, как будто пассажиры катера только что вылезли из могилы. Встречный ветер приносил скверный гнилостный запах, и гулял этот запах по волнам вольно, навевал худые мысли о бренности всего сущего на земле.

Наконец катер прибился к старому облупленному маяку, на вершине которого тускло помигивал огонь. Вода сделалась рыжей, кое-где были видны голые мокрые камни — море откатывалось стремительно, с пугающей скоростью. «На лошади не догнать», — угрюмо отметил атаман. Дальше следовало идти на лодке, катер между частыми камнями пробраться не мог.

— Ах, какая досада! — Георгиевский кавалер озабоченно

хлопнул себя по штанам. — Сядем на камни — пропорем днище.

— Не страшно, — Семенов резко мазнул рукой по воздуху, — я за все заплачу!

— Да дело не в этом. До берега-то, до кромки мы все равно не сумеем добраться, лодка нужна обязательно. — Георгиевский кавалер озабоченно глянул на облупленную громадину маяка, сложил руки рупором и крикнул что было силы: — Эй!

— Да разве там услышат? Шум-то какой стоит, — усы у Семенова дернулись, перекошились привычно, — не море, а ад какой-то.

— Тут мой кум хозяйством заправляет. Он — мужик чуткий, обязательно услышит. — Георгиевский кавалер расставил ладони пошире и крикнул вновь: — Эге-гей!

Кум действительно оказался чутким — тяжело, медленно, будто открывался огромный сейф, отворилась металлическая дверь маяка, и в проеме показался человек.

— Я же говорил! — обрадованно воскликнул георгиевский кавалер и засемафорил руками. Видать, это был какой-то особый язык, мало кому понятный — капитан второго ранга Чухнин ничего из этой «азбуки Морзе» не понял, зато хорошо понял смотритель маяка — он вскинул руки над головой и вприпрыжку побежал отвязывать лодку. — Я ж говорил! — прежним ликующе-радостным тоном повторил георгиевский кавалер. — Это же кум!

Надеждинский берег был уже хорошо виден. Желтовато-лиловый рассветный воздух разределся, в нем мелькнула живая розовая рыбека, проскользнула по всему пространству из одного края в другой, небо приподнялось — вот-вот должно взойти солнце. Отсюда, с моря, можно было различить, что на макушке ближайшей сопки топчется, едва сдерживая коней, казачий разъезд.

Атамана ждали. Семенов, разглядев казаков, не смог сдержать довольной улыбки — ушел-таки он от братьев Меркуловых, теперь они вряд ли его достанут. Лицо его потеряло старушечью мягкость и непривлекательность. Это был прежний Семенов — уверенный в себе, решительный, беспощадный.

Он первым спрыгнул в лодку, следом — Чухнин, хорунжий Евстигнеев, встретивший его в Океанской вместе с Чухниным, и адъютант, от которого атаман давно хотел отделаться — да так и не отделался, уж больно услужлив и предан был тот, а главное — умел беззвучно ходить, таких людей хорошо посылать в разведку. Атаман невольно вспомнил еще

об одном очень исполнительном господине, приятном в общении и преданном атаману, — о другом Евстигнееве — шофере, которого он оставил на «Киодо-Мару». В следующий миг Семенов выплеснул все эти мелочи из головы, поправил усы, приосанился.

До берега оставалось пройти километра полтора, может, чуть меньше. Вначале греб кум — смотритель маяка, потом его сменил Чухнин. Лодка шла зигзагами — из воды высывалось все больше и больше камней, опасных, лобастых — море продолжало отступать от берега.

Казак, находившиеся на берегу, нервничали. Атаман тоже нервничал. С неба тем временем посыпалась водяная пыль — мелкая, холодная, вредная, она лезла за шиворот, прилипала к лицу, как паутина. Семенов отплюнулся за борт лодки и поднял воротник пыльника.

Понадобилось еще не менее пятнадцати минут, прежде чем атаман сошел на мокрый песок, густо усыпанный крупными камнями. На берегу сдернул с головы шляпу и швырнул ее в кусты, рывкнул грубо, словно призывал подчиненных подняться в атаку:

— Хватит заниматься бабьим делом и маскироваться. — Евстигнеев услужливо подал ему фуражку, атаман немедленно водрузил ее на голову. — Коня!

Семенову подали коня. Командир разъезда — бравый сотник с соломенными, кокетливо закрученными усами — взял под козырек:

— Ваше высокопревосходительство, во Владивостоке уже знают, что вы покинули шхуну.

— Тьфу! — Семенов выругался. — Забайкальская бригада давно прошла?

— Полтора часа назад.

— Надо догнать ее. С бригадой мы и проскочим — народу много, смешаться с казаками легко... Меня поймать? — Голос атамана сделался резким, он сжал правую руку в кулак, вытянул перед собой, ребром левой ударил по внутреннему сгибу руки, жест получился очень красноречивый. — Во!

Фон Вах трясся в кабине грузовика и напряженно слезающимися глазами вглядывался в дорогу. Рядом с фон Вахом в кабине сидел полковник с новенькими золотыми погонами на плечах, присланный генералом Смолиным. Солдаты в кузове также были смолинскими. Генерал Вержбицкий, оставшийся руководить каппелевской армией после гибели ее ко-

мандующего, отказался дать солдат — сослался на срочную переформировку своих частей. Смолин люто ненавидел атамана и также люто боялся его.

— Значит, так, — подпрыгивая на жестком сиденье и впинаясь зубами в язык, спрашивал фон Вах полковника, — что бы вы сделали на месте Семенова, удрав со шхуны? Уплыли бы в море?

— Вовсе нет. Добрался бы до берега.

— Правильно. А что бы сделали на берегу?

— Постарался бы смешаться с одной из отходящих из Владивостока семеновских частей.

— Правильно. Что Семенов сейчас, собственно, и делает. Он, переодевшись, добрался до берега, в районе Морского штаба сел в автомобиль и поехал в Океанскую, там пересел на катер — и был таков. Но раствориться в воздухе он никак не мог.

— Естественно. Он поплыл в Надеждинскую.

— Почему именно в Надеждинскую? — Фон Вах был назойлив, втолковывал прописные с точки зрения полковника истины, это его раздражало, но он держал себя в руках. Полковник изложил свои соображения, и фон Вах, услышав его речь, невольно поморщился, проговорил:

— Забайкальскую бригаду надо прошерстить до последней пуговицы, проверить каждого казака на вшивость — есть ли у него на яйцах вши или нет?

— А если забайкальцы окажут сопротивление?

— Каким образом, полковник? У них карабины без патронов, у нас не только патроны, у нас — пулеметы. Попробуйте-ка пойти с пустым карабином на пулемет. Зубы сразу застучат от страха. Забайкальцы — фронтовики, они хорошо знают, что такое пулеметы и чем пахнет свежая кровь.

— Хорошо. Но согласитесь, остановить целую бригаду в чистом поле, вот так, за здорово живешь — штука очень опасная. Мы это сделать не сможем — нас даже пулеметы не спасут. Забайкальцы наш грузовик перевернут и затопчут. Вместе с пулеметами и людьми. Надо обойти бригаду, выбрать узкое место и установить заслон. Узкое место два пулемета смогут держать вполне, даже если на нас полезут все семеновцы, вместе взятые.

— И это продумано, — заявил фон Вах. — Я об этом побеспокоился. Все дело в том, что Забайкальская казачья бригада не по воздуху летает...

Смолинский полковник хмыкнул... Фон Вах этого не заметил, он продолжал увлеченно говорить:

— Хребет им не дано пройти по воздуху — они пойдут через железнодорожный тоннель. Вот там-то мы их и встретим.

Идея фон Ваха показалась полковнику разумной.

Семенов и без докладов подчиненных понимал, что в Приморье — переполох. Это ощущалось по некой суматошности, ни с того ни с сего возникшей, по напряженным лицам людей, окружавших атамана, по рывканью автомобильных клаксонов, доносящихся с щебеночного тракта, по стрельбе, неожиданно раздавшейся со стороны Владивостока.

Атаман намеревался пройти со своими людьми через железнодорожный тоннель. Был, конечно, и другой, более трудный путь: через хребет по некогда проложенной среди камней тропе, но по тропе этой, сплошь в осыпях, мало кто ходил: тем не менее она жила, не зарастала. Поразмыслив немного, атаман пришел к выводу: путь по тропе хотя и труднее, но зато безопаснее, поэтому надо идти по тропе.

Понимал он и другое: если произойдет инцидент, бригада обязательно вступится за него: поскольку оружия у бригады нет, но оно есть у меркуловцев, то прольется кровь забайкальцев. Крови очень не хотелось — у Семенова при мысли о возможном кровопролитии внутри делалось холодно. Устал он, постарел, одряб мыслями и мышцами — раньше не задумывался о потерях, безоглядно бросался в драку.

Командовал забайкальской бригадой Сорокин — мрачный, с жестким малоподвижным лицом полковник, которого атаман хорошо знал по Чите. Когда казачий разъезд прибыл вместе с атаманом Семеновым и его людьми в бригаду, полковник и атаман обнялись.

— Поздравляю, ваше высокопревосходительство, вы очень удачно выбрались из морской клетки.

Перед прохождением через железнодорожный тоннель бригада устроила короткий привал.

— Может, мы напрасно остановились? — спросил атаман у Сорокина, цепко оглядывая недалекую сопку, поросшую хмурым темным лесом. Из высокой травы, лихо подпрыгнув, пронесся мимо легкокрылый кузнечик. Атаман проводил его взглядом. — Может, лучше было форсировать тоннель с ходу?

Сорокин был осторожным командиром. Он отрицательно качнул головой:

— С ходу нельзя!

— А так мы невольно привлекаем к себе внимание... Остановились перед самым тоннелем.

— Наоборот, ваше высокопревосходительство, привлекли бы внимание, если бы не остановились. У всякого марша обязательно возникает во время движения хвост — отстают не только нерадивые, но даже лучшие. Перед такими переходами, как через этот тоннель, отстающих мы обязательно поджидаем.

— Если бы шла война — тоже поджидали бы?

— На войне другие законы, ваше высокопревосходительство.

Атаман еще раз оглядел темную заросшую сопку, гигантским зверем оседлавшую землю.

— В тоннеле могут быть меркуловские пулеметы, полковник? — спросил он.

— Могут.

— Тогда, я полагаю, в тоннель мне лучше не соваться. Лучше взять несколько казаков и пойти поверху, через перевал... А? — Семенов хотел убедиться в своей правоте. Он ожидал, что полковник поддержит его, но Сорокин неожиданно засомневался:

— Не знаю, Григорий Михайлович, без разведки я не готов ответить на этот вопрос.

— Так вышлите разведку, полковник!

Сорокин едва приметно улыбнулся:

— Уже выслал. Скоро она должна вернуться.

Атаман повеселел, хлопнул ладонью о ладонь.

— И все-таки, полковник, если в тоннеле стоят пулеметы, если меркуловские офицеры будут ощупывать каждого из нас, словно курицу, может, мне действительно лучше пройти хребет поверху, через перевал, и не рисковать?

Командир бригады просительно приподнял одно плечо:

— Давайте подождем минут пятнадцать, Григорий Михайлович. Вернется разведка — и мы решим.

Тем временем бригаду догнали три разъезда с несколькими отставшими казаками — у одного лопнула подпруга на седле, у другого захромала лошадь — в копыто всадились кованный, в опасную кривулину согнутый гвоздь, у третьего внезапно пошла кровь носом...

Сорокин передал командирам полков приказ пересчитать людей. Он, ожидая разведку, тянул время.

Атаман вновь оглядел горбатую грузную сопку, простреленную насквозь прямоугольным лазом — железнодорожной

штольнойей. Сопка была тиха, мертва, будто в ее зарослях совсем не было людей. А люди там были — в разведку ушли пять человек.

К Сорокину стали подходить командиры полков, докладывать о численности. Отставших не было, все отставшие подтянулись.

Вот только разведка пока не вернулась.

Прошли пятнадцать минут, но громоздкая длинная сопка была по-прежнему тиха и уныла.

— Ну все! — решительно произнес атаман, взялся за повод коня — гнедого жеребца, сунул ему в мягкие губы кусок сахара. — Мне нужны три казака посообразительнее, три — этого хватит. Еще со мной поедет адъютант и... И все.

— Погодите немного, ваше высокопревосходительство, — попросил Сорокин, — разведка сейчас вернется. Видать, у нее сложности какие-то, раз она не вернулась до сих пор. Может, наткнулась на кого-то?

Атаман, дав коню кусок сахара, нервно заходил по запыленной до мазутной сизи травяной площадке, примыкающей к тракту: он понимал, что, вполне возможно, с одной из ближайших сопок за ними наблюдают, а раз так, то всякая задержка обязательно вызовет подозрение, если уже не вызвала, и это рождало в атамане раздражение, некий внутренний холод, который мешал ему сосредоточиться. Из-под ног во все стороны стреляли мелкие шустрые козявки, расплылись, брызгали, и чем больше атаман мерял нервными шагами пятачок, тем больше козявок было. Время, казалось, обрело плоть — тяжелую, тревожную, загустевшую, как незнакомое химическое вещество, — и было набито этими козявками, словно навоз. Тьфу!

Наконец вернулась разведка. Старший в команде лазутчиков — худой, похожий на мальчишку урядник с красными чахоточными щеками и блестящим, будто намазанным лаком взором — доложил атаману:

— Через верх идти нельзя, ваше высокопревосходительство, — завалят.

— Почему нельзя?

— Я же сказал — завалят. Там, похоже, готовят бурную встречу с рукоплесканиями — стоит аж два пулемета. И народу, народу... — Урядник раскинул руки в стороны, будто хотел обнять атамана и защитить его от всех напастей, существующих на белом свете, более чем...

— Более чем... чего? — поинтересовался Сорокин.

— Более чем... — Урядник споткнулся на мгновение и затем чил бодро: — Более, чем у нас в бригаде. Мы попробовали взять левее, — он провел рукой по контуру сопки, — там есть один небольшой лаз, с конем не пройти, но пешим можно, так и там стоит пулемет. Чтой-то слишком прочно они обложили нас.

— Не нравимся мы им, вот и обложили, — спокойно отозвался командир бригады, вскинул руку к козырьку: — Спасибо за службу, Сидоренко.

— Рад стараться! — Урядник четко, на одной ноге развернулся и побежал было к своим товарищам-разведчикам, но Сорокин окликнул его: — Сидоренко!

Урядник вернулся, щеки у него от быстрых движений заалели еще больше — а ведь явно туберкулезник, подумал Семенов, жаль урядника — списывать придется.

— Ты там случайно... не засветился?

— Обижаете, господин полковник. Сколько ни хожу в разведку — один только раз засветился — в пятнадцатом году немцы меня в своих окопах на пустые бутылки изловили — и то отстрелялся, ушел.

— Ладно, ступай, прости за глупый вопрос. — Командир бригады повернулся к Семенову: — Извините, Григорий Михайлович, но выход один: предлагаю вам надеть солдатскую шинель, на голову — обычную казачью фуражку. Станете в строй во втором полку, этот полк у меня в бригаде самый надежный, и пойдете вместе со всеми. Либо будем прорываться с боем.

— С боем исключено, полковник. Слишком много положим людей. У нас ведь ни одного орудия, ни одного пулемета... И патронов нет.

— Ни одного орудия, ни одного пулемета, верно, — подтвердил Сорокин, — зато не все карабины без патронов. У двух полков — по полной обойме.

Это была приятная новость.

— А насчет переодевания... Меня это совершенно не беспокоит. Я уже столько раз переодевался в солдатскую форму, что скоро, наверное, перецеголяю Керенского. Хотя не хотелось бы.

Полковник промолчал, не ответил атаману, и это вызвало у Семенова глухое раздражение, он хотел было сделать несколько жестких поучительных замечаний, но, глянув на озабоченное похудевшее лицо Сорокина, сдержал себя.

— Ладно, во второй так во второй, — произнес атаман, остывая, — во втором полку — во вторую сотню... Число «два» для меня счастливое.

Младший Меркулов на этот раз решил не полагаться на фон Ваха — пруссак подводил раньше, может и сейчас подвести, — тряхнул роту охраны, приписанную к правительству, созвонился со Смолиным, взял людей у него и у Вержбицкого, выслал в помощь фон Ваху еще несколько грузовиков с солдатами и пулеметами.

Меркулов понимал, что это — последний шанс взять Семенова, поэтому и решил установить на его пути «расческу» погуще — гребень из заслонов, через которые не то чтобы атаман — даже муха не могла бы пролететь.

Когда Забайкальская бригада — в столбах пыли, в охлестах плеток, в возбужденном говоре казаков — подошла к тоннелю ближе, стало видно, что меркуловцы основательно подготовились к встрече не только на перевале, но и здесь, внизу. В каменных брустверах, возведенных и справа и слева от черной, пахнущий сыростью железнодорожной штольни, в углублениях брустеров были установлены два «максима». «Максим» ждал и в самом тоннеле — на опрокинутой дрезине за пулеметом лежал бородатый плосколицый первый номер, второй номер сидел на корточках рядом, держал в руках расправленную ленту.

— Да, накрошили бы они из нас капусты, — увидев пулеметы, пробормотал Сорокин, — и на суп, и на тушенье хватило бы. — Он нервно дернул головой, на всосанных подскулях появился румянец. — Прогневала Россия Всевышнего, русские бьют русских. Эхма!

Перед пулеметами выдвинулся офицер, скрестил над головой руки:

— Стой!

— Бригада, стой! — продублировал команду Сорокин. Подождал, когда офицер — капитан с начищенными до золотого блеска пуговицами на мундире приблизится к нему, спросил насмешливо: — Кого-нибудь ищите, господин капитан?

— Жизнь у всех нас, господин полковник, такая, что каждый обязательно кого-нибудь ищет. — Капитан принял насмешливый тон Сорокина. — Список бригады есть?

— Конечно. У начальника штаба. По полкам. Да вы лучше, капитан, назовите фамилию человека, который вам ну-

жен, — предложил Сорокин. — Если он у нас, я его без всяких списков выдам.

— Семенов, — с усмешкой назвал фамилию капитан.

— Семенов, Семенов, Семенов... — Командир бригады задумчиво пожевал губами, шумно вздохнул и, глядя в упор на капитана, отрицательно покачал головой: — Не знаю я такого.

— Да ну, господин полковник! — Рот у капитана насмешливо расплылся. — Неужели никогда не слышали фамилию командующего армией генерал-лейтенанта Семенова?

— Вы имеете в виду их высокопревосходительство Григория Михайловича?

— Естественно, не Семенова-Тянь-Шанского.

— Григория Михайловича я видел последний раз год назад, в бою под Читой, когда мы выдергивали свой хвост из-под конницы красных. Геройский, замечу, человек. Побольше бы таких генералов в Белой армии, и мы бы ни за что не откатились к Владивостоку.

— Сказать больше ничего не можете, господин полковник?

— Ничего не могу, капитан.

— Тогда давайте смотреть ваших людей. Поименно.

Насчет поименно капитан конечно же перехватил, по этой части разобраться может только контрразведка, но для этого надо напихать в тоннель не менее двух сотен специалистов по выколачиванию из людей нужных сведений, а такого их числа у братьев Меркуловых не было.

Пропускали по сотням: первая сотня первого полка, вторая сотня первого полка, третья сотня первого полка и так далее... Выстроился длинный хвост забайкальцев — не менее километра.

Пропустили контролеры четыре сотни, и в глазах у них зарябило — все казаки стали похожи друг на друга, как близнецы-братья. Несколько остановили, потребовали, чтобы те слезли с коней.

Казаки покорно повыпрыгивали из седел. И что же? Ничего. Атаманом Семеновым в Забайкальской казачьей бригаде и не пахло. Проверяющие даже в зубы заглядывали к казакам — к Меркуловым, как прошел слух, попала карточка врача-дантиста, ставившего на коренные зубы атаману золотые коронки, эта карточка находилась сейчас у проверяющих, — но и это не помогло.

На ближайших к тоннелю станциях — и с одной стороны, и с другой — были задержаны несколько эшелонов, путейские службы не давали им «добро» на движение дальше.

— Напрасно стараетесь, капитан, — сказал Сорокин. — Семенова в бригаде нет. Да если бы и был, вы думаете, он стал бы выстаивать эту длинную очередь? Ничего подобного! Давно бы ушел на хребет и преодолел его поверху.

— На хребет, — задумчиво произнес капитан, круто выгнув одну бровь, — поверху...

— Поверху, — с невинным видом подтвердил командир бригады.

Лицо капитана расцвело, на щеках появился нежный, словно девичий, румянец, он довольно кивнул.

— Ну, раз он пошел поверху, то можно считать, что господин атаман у нас в руках. — Капитан азартно потер руки, хихикнул, как гимназист.

Командир бригады в ответ вежливо улыбнулся.

Первый полк был проверен тщательно, меркуловцы постарались разглядеть лицо каждого казака, а вот второй полк они проверяли уже выборочно, навскидку, обращая внимание только на тех, кто бросался в глаза. Проверяющие устали, внимание их сделалось рассеянным. Сорокин правильно рассчитал — поставил атамана во второй полк, во вторую сотню.

Шинель на атамане была старая, мягкая, как и у большинства забайкальцев, фуражка — такая же, он поглубже натянул ее на голову и сбил на одно ухо, с другой стороны выпустил чуб — получилось то, что надо. Шел Семенов в середине сотни правофланговым. Всадники двигались по трое в ряд, проверяющие старались потщательнее вглядываться в тех людей, что находились внутри, в середине, по крайним лишь скользили глазами.

Так и штабс-капитан с тяжелой, сливочного цвета кобурой на животе, стоявший прямо за спиной капитана-командира пулеметной роты, безразлично мазнул взглядом по Семенову, глянул на погоны, пришитые к шинели толстыми нитками, и сгреб ладонью воздух — проходи, мол!

Дальше стояли молчаливые солдаты с винтовками, внимательно вглядывались в каждого конника — целый батальон пехоты. Перед Семеновым из седла выдернули одного из забайкальцев, скуластого плотнотелого старослужащего, перетянутого брезентовым ремнем, глянули в лицо и со сконфуженным видом пробормотали:

— Извини, братец! Ошибка.

После тоннеля бригаду вновь остановили, и ее вторично осмотрели офицеры. Семенова не нашли. Капитан подошел к командиру бригады, козырнул:

— Поверху, говорите, господин полковник?

— Поверху, — подтвердил Сорокин.

Капитан усмехнулся.

Наверху, на перевале, меркуловские заслоны также не дождались Семенова, хотя многочисленная застава с пулеметами продежурила там двое суток. Попался в засаду лишь бродяжка-пацан, слонявшийся по лесу в поисках съедобных кореньев и грибов, да под занавес угодил старик, отправившийся пешком к дочери в Надеждинскую. Больше на перевале никто не появился.

Фон Вах был взбешен.

— Атаман Семенов породнился с нечистой силой, — сказал он, — иначе ему никак не было дано проскочить мимо нас.

Миновав заставы, атаман километров десять прошел с бригадой, а затем от нее отделился, взял с собою винтовку с небольшим запасом патронов, трех казаков, адъютанта и свернул в тайгу, на едва приметную тропку, ведущую в деревню Алексеевку.

Позже Семенов отметил в своих записках, что в тот день он сделал верхом сто верст. Казаки, привычные к подобным броскам, скакали следом за атаманом и весело переглядывались: «А ничего генерал-лейтенант в седле держится... Задницу, видать, имеет чугунную». Насчет задницы — замечание актуальное. За день в седле ее можно натереть так, что потом ни на один стул не сядешь — будет болеть и кровоточить и спать можно будет только стоя, привязавшись к какому-нибудь столбу. Так что задница — барыня знатная. Хозяину может запросто устроить сюрприз.

— Силен мужик! — уже вслух, открыто восхищались казаки.

И верно, ведь даже опытный конник, сев в седло после долгого перерыва, через час сползает на землю на четвереньках, морщась, стелая и хватаясь рукой за шею, поясницу, крестец, спину — все от долгой скачки становится чугунным, чужим и причиняет боль.

При переправе через поросшее голубикой болото под брюхом семеновского коня вдруг что-то злобно зашипело, вверх ударила коричневая струя, в воздухе остро запахло гнилью. В следующий миг под лошадиным животом гулко взорвался пузырь, конь испуганно захрапел, выпучил глаза и сделал резкий скачок в сторону — опытному боевому одеру показалось, что под ним взорвалась граната... Скачок в сторону был

рискованным: конь мигом погрузился в черную вонь по са-мую грудь. Атаман сапогами тоже залез в вонь, и два казака стремительно метнулись к нему, ухватили коня под узцы и силой выволокли из пучины. Семенов выматерился, казаки тоже. Через пятнадцать минут на берегу чистой таежной речушки устроили привал — надо было отмыться от болотной гнили, перевести чуть дыхание и съесть по куску лепешки. Атаман покряхтел немного, словно примеривался к высоте, выпрыгнул из седла.

Хлопнул коня ладонью по морде и спросил у спутников:

— Мужики, сахар есть?

— Есть, — отозвался один из казаков — невысокий, жилистый, с длинными сильными руками, к которому все обращались по имени Елистрат. — Две глутки.

Атаман требовательно протянул руку:

— Дай!

Казак подчинился. Семенов ухватил оба куска, сунул коню. Тот с удовольствием сжевал сахар — только глухой хруст раздавался, — снова потянулся губами к атаману.

— Напрасно, — неодобрительно проговорил Елистрат, — больше сахара у нас нету.

Семенов вскинулся, глянул на Елистрата в упор, словно хотел высечь его плеткой, встретился с глазами казака. Тот взгляд не отвел, смотрел на атамана прямо и жестко; рука у Семенова дернулась сама по себе, хватаясь за пашку, но в следующий миг атаман обмял — вспомнил, что в Гродеково казаки голодают. Голодают вместе со своими бабами и детишками, которые также снялись с обжитых мест и ушли из красной России.

— Ничего, мужики, ничего, — забормотал атаман смущенно, — прибудем на место, я выдам вам сахар. Сколько надо, столько и выдам.

Немного сахара имелось с собою у Евстигнеева, адъютанта атамана. Хорунжий в последнее время здорово раздобыл, стал задастым, животастым, ремень не сходил на пузе, но в седле адъютант держался уверенно.

Под взглядами казаков Евстигнеев терялся — он то вдруг начинал делать резкие движения, кидаясь на помощь атаману, но потом останавливался на полдороге, замирал с отсутствующим видом, то неожиданно отходил в сторону и задумчиво рассматривал блескучих, словно вырезанных из металла бабочек, сбившихся в груды во влажной голой низинке метрах в пятнадцати от людей, то вдруг снова вскидывался...

У Евстигнеева были две слабости, которых он стеснялся: хорунжий любил варенье и стихи. «И то и другое — от большого количества дурачины, сидящей в твоей голове», — сказал ему как-то Семенов.

Имелось у Евстигнеева и много положительных качеств: он никогда ничего не забывал, был услужлив и запаслив — вон и сахарок припасен, и добрая китайская заварка в жестяной коробке, и если копнуть дальше, то и крупа в кульке найдется, и лавровый лист с картошкой. Если было бы время, изловили бы пару ленков в реке и сгородили бы роскошную уху.

Но времени не было.

Атаман вымыл в речке сапоги, вода была такая студеная, что от нее заломило не только пальцы на руках, но даже зубы и лопатки, хотелось, чертыхаясь, выскочить на берег, но Семенов вытерпел, домыл сапоги. Стоя в воде на галечной косе в полутора метрах от берега, атаман разогнулся, потряс ноющими пальцами. В принципе это хорошо, когда ломит чресла; одна боль, во-первых, перешибает другую, а во-вторых, она хорошо встряхивает человека, помогает прийти в себя.

А атаману очень надо было прийти в себя: он оторвался от жизни, находясь в Порт-Артуре, зажилел, засахарился, давно не получал пинков от соотечественников и потерял форму — дошел даже до того, что начал доверять сообщениям сомнительных сморчков, окопавшихся во Владивостоке.

Казаки спешно подкреплялись — ели лепешки, запивали их водой, черпая ее кружками из реки. Семенов едва не вздрогнул от голоса адъютанта, прозвучавшего излишне громко:

— Григорий Михайлович, может, чайку сгородить? Я мигом. Место уж больно хорошее.

— Не сейчас. На следующем привале. — Атаман с шумом вымахнул из воды на берег, разбрызгивая морось, потопал сапогами. — Сейчас нужно ехать дальше. — Поморщился: — Надо же, сапоги протекают по швам. Я бы мастеру этому... — Он не договорил, споткнулся на полуслове, крикнул досадливо.

— Ничего, Григорий Михайлович, я их вечером гуталином смажу...

— Не надо, Евстигнеев, на это есть денщик.

— Афоня остался на корабле.

— Все равно не надо. Выдай казакам сахар, — атаман повысил голос, — подели запас по количеству душ на пять частей, две — нам с тобою, три — казакам. А пока — вперед!

Казачи, услышав команду, проворно вскочили на коней.

Елистрат первым вынесся на взгорбок, глянул зорко, проверяя, чиста ли тропа, выводящая на замшелый заросший проселок, и, убедившись, что там никого нет, махнул рукой:

— Поехали!

Казачи, похоже, не понимали, почему атаман не пошел дальше с бригадой, это было бы безопаснее, и на случай стычки с меркуловцами для него — хорошее прикрытие, но у Семенова на этот счет имелись свои соображения.

Вслед за Елистратом атаман вымахнул на взгорбок и щелкнул плетью по сапогу, коня бить не стал, но у того по шкуре от щелчка все равно побежала морозная дрожь:

— Вперед!

До Никольска-Уссурийского, куда устремлялся атаман, они в тот день не дотянули, не дошли всего четырнадцать километров, какой-то пустык, да если честно, входить в город, вот так с лету, с бухты-баракты, Семенов опасался: он не знал, что в городе происходит.

В вязкой вечерней темноте, полной остро жалящих комаров, его маленький отряд спешил около постоялого двора, занимающего самую высокую точку в Алексеевке — на краю высокого обрыва, под которым плескалась Суйфуна — река с темной глинистой водой.

Ночь прошла без сна, атаман ворочался на постели, укладываясь поудобнее, кричал, сопел, бормотал что-то себе под нос, тревожа своим бормотаньем казаком, но все бесполезно — сон так и не пришел к нему. Он перебирал в мозгу странички двух ушедших недель — это были черные дни, иной краски у них нет и никогда не найдется, — сдерживал готовый вырваться наружу стон и анализировал собственные действия. Опшбок было много, все на виду, и от этого атаман чувствовал себя еще хуже — провели его как юнца, ни разу в жизни не целовавшегося с девицей.

«Рано утром 9 июня за мной приехал на автомобиле начальник Гродековской группы войск генерал Савельев, — написал позже атаман в своих воспоминаниях, — и я, сопровождаемый им и адъютантом, уже открыто въехал в Никольск. Часть гарнизона Никольска-Уссурийского: Забайкальская казачья дивизия, Отдельная Оренбургская казачья бригада, Сибирская казачья бригада и Стрелковая бригада генерала Осипова — остались верны долгу и стремлению к продолжению борьбы с красными. Эти части восторженно

встретили мое прибытие и в тот же день представились мне на смотру, в то время как другая часть гарнизона во главе с генералом Смолиным заперлась в казармах, ожидая в городе переворота. В мои планы, однако, не входили никакие перевороты...

В тот же день в автомобиле я выехал из Никольска-Уссурийского в Гродеково, где был неизбежно встречен казачьим населением и оставшимися там моими частями».

Но дело на этом не закончилось. Во Владивостоке, в Раздольном, в Никольске-Уссурийском не раз схлестывались остатки Гродековской группировки, совершившей, на свое несчастье, неудачный бросок во Владивосток, и каппелевцы (в основном солдаты Третьего корпуса генерала Молчанова).

Каппелевцы здорово потрепали семеновцев. Хотя семеновцев было много даже во Владивостоке — там еще оставался пеший дивизион маньчжурцев и несколько сотен конных казаков под общим командованием Малакена — очень толкового генерала.

А началось все со старого: семеновцев вновь перестали кормить. Те явились на склад за провиантом, а там им показали фигу:

— Идите, откуда пришли!

— Как так?! — озадаченно воскликнул семеновский интендант — поручик, ответственный за котловое довольствие оставшихся частей.

— А так! Приказ из штаба. Идите в штаб, там разбирайтесь. Будет приказ дать вам жратву — дадим, не будет — получите в зубы.

Интендант поспешил в штаб армии к своим «коллегам». Но те с ним даже не поздоровались, показали на дверь. Семеновцы остались голодными. Генерал Малакен спешно связался с атаманом:

— Как быть?

Тот выматерился, потом, подумав немного, приказал Малакелу:

— В пререкания не вступать! Ни с кем — ни с каппелевцами, ни с представителями правительства. Части немедленно выводите в Гродеково. Запахло порохом.

По вечерам дед Тимофей Гаврилович делался задумчивым, не похожим на себя. Если днем он еще как-то суетился, мотался на лошади по выработкам, потом бегал по берегу реки, ставя сетки на раннего лосося, то вечером его силы слов-

но сходили на нет, заботы — тоже, дед садился за стол, подпирал кулаком подбородок и замирал в угрюмом молчании.

Кланы прижималась щекою к его плечу, ладонью гладила застуженную спину деда, и хотя прикосновения ладони были невесомыми, он ежился, вздыхал загнанно, будто лошадь, заезженная непосильной работой, и опускал голову.

— Ты чего, дедунь? — спрашивала Кланы.

Дед молчал — он погружался в себя, словно в собственную могилу...

Как-то дед откуда-то достал большую деревянную коробку и пальцы. Кланы даже глазам своим не поверила:

— Что это? — Взятая рукой за пальцы, ощупала их, перебрала нитки — несколько мотков плотного китайского шелка — и вновь спросила неверяще: — Что это?

Старик вяло помотал в воздухе ладонью и, не произнеся ни слова, натянул на пальцы чистое льняное полотно и сел за вышивку.

Ах, как пригодилась ему наука, познанная когда-то в старушечьем приюте, куда он случайно заполз, чтобы умереть. В нагрузку к вновь обретенному здоровью — от нестерпимой ломоты в костях его в ту пору, еще очень молодого, уже скрючило, словно столетнего деда, — он освоил новое дело, совершенно бабское — вышивание. Он должен был умереть, но не умер — так было угодно Богу. Вылечился — благодаря взбалмошной нищей старухе графского происхождения, что выходила его...

Белов, увидев деда за пальцами, стремглав, с ужасом на лице, выскочил из избы.

— Братцы! — задыхаясь, просипел он, обращаясь к подступившим к нему казакам. — Братцы! — И, не в силах больше ничего сказать, повертел пальцем у виска.

Но не все так отнеслись к занятию старика, как Белов. Рассудительный казак Огородов скрутил «козью ногу», пыхнул густым ядреным дымом, который выдерживали люди, но не выдерживал ни один таракан, все прусаки миглом переворачивались вверх лапками, — и произнес без всякого осуждения:

— Это все от нервов.

— А нервы тут каким боком могут быть? Нервы — далеко...

— А вот таким боком и могут быть. Рукоделие успокаивает любого, даже самого нервного человека. Делает его шелковым и благодушным.

Дед на подковырки с подколками — ноль внимания, словно они его и не касались, — он продолжал готовиться к тому,

что задумал. Другое беспокоило его — руки огрубели, пальцы стали толстыми, негнушимися, чужими — вдруг он не справится? Впрочем, он знал одно: там, где не возьмет уменьем — возьмет упрямством.

Кряхтя, покашливая, помыкивая про себя немудреную песенку, дед принялся за дело. Для начала в левом углу полотна он нарисовал большой крест — путеводный, Божий, обозначающий четыре стороны света, по этому кресту можно будет определить свое местонахождение очень точно, потом в несколько слоев проложил через всю ткань жирный стежок, приметный — не ошибешься, даже если забудешь, что это такое, хотя забыть или перепутать с чем-то эту длинную оранжевую линию нельзя — оранжевым цветом дед обозначил железную дорогу, ведущую от Владивостока на запад, а потом уходящую по карте вниз, в Китай, железная дорога была в рисунке старика главным ориентиром.

На этом игры с оранжевой нитью закончились, дед взял в руки нить зеленую...

Выводя остатки своих частей из Владивостока, Семенов, конечно, прекрасно понимал: он закрывает себе дорогу в Приморье. Больше он никогда во Владивосток не вернется... Жаль, его предупреждения о том, что красные обязательно придут во Владивосток и наведут тут свой порядок, не действовали ни на Меркуловых, ни на местных богатеев.

«Выходит, что коминтерновцы обставили меня на два корпуса». Семенов усмехнулся грустно, потрепал пальцами усы.

Обрюзг он, опух, кожа на лице сделалась желтой, влажной от жира, выделяющегося через поры, волосы поредели — того гляди, скоро совсем вылезут; усы, за которыми он раньше тщательнее ухаживал, часто смазывал специальным салом, поникли, стали ломкими, тусклыми.

Вот так жизнь и берет человека в тиски, мнет его, давит, плющит, ломает, дробит, превращает в пыль. Пройдет немного времени, смотришь — и здоровья уже нет, и внешность не та, и годы — лучшие годы — остались позади. Куда они делись — неведомо.

В Гродеково Семенов занял кабинет генерала Савельева — тот настоял, чтобы атаман расположился именно здесь, а сам переместился в свободную комнату с маленькой прихожей, которую должен был занимать начальник интендантской службы, но поскольку начальника такого не было, то и кабинет пока пустовал.

Семенова беспокоило сообщение генерала Малакена о возможной войне с кашпелевцами... То, что две с лишним тысячи человек были оставлены без жратвы — это ерунда, это атамана не тревожило, он знал: стоит только маньчжурцам выйти за окраину Владивостока, стать в ближайшем лесу на привал, как еда будет — бывалые люди и пару козлов забьют на суп шулюм, и изюбра завалят, и рыбы в реке наловят — слава богу, на дворе лето. А оно на Дальнем Востоке всегда считалось сытой порой.

Хуже другое, много хуже — то, что Малакен покинул Владивосток. Атаман едва не застонал от саднящей боли, возникшей в черепной коробке, выругался. Затем потянулся к электрической кнопке, привинченной к краю стола — генерал Савельев использовал все достижения современной техники, провел себе электричество даже в стол, — нажал на нее.

На пороге возник адъютант — не Евстигнеев, другой, чином повыше, штабс-капитан.

— У нас от головной боли что-нибудь есть? — спросил атаман.

— Есть. Порошки.

— Принеси!

Когда адъютант вернулся, неся порошки и стакан воды, атамана в кабинете не было. Тот, внезапно решившись, едва ли не бегом умчался в аппаратную, где сидели телеграфисты, скомандовал поднявшемуся навстречу поручику:

— Соедини-ка меня, братец, с Владивостоком, с Малакеном.

Щека у поручика нервно дернулась — он был все-таки офицером, а обращение «братец» применимо лишь к солдатам, — но атаман этого не заметил.

Атаман хотел отменить отход Малакена из Владивостока. Когда семеновские части, пусть даже немногочисленные, располагаются в городе — это одна ситуация, а когда их нет — ситуация совсем другая. Со знаком минус. В следующий миг он сжал пальцы в кулак, наотмашь рубанул рукой по воздуху и понесся к двери.

— Ваше высокопревосходительство! — вскричал поручик. — А как же связь с Владивостоком?

— Отставить связь с Владивостоком! — выкрикнул атаман на бегу, вновь нервно рубанул рукой воздух, но в следующую секунду опять остановился, словно им управляла какая-то неестественная сила: то появлялась она, то исчезала. — Стоп, стоп насчет отмены Владивостока! — рывкнул он. Помотал головой, как с похмелья, оглядел печальными, неожиданно

заслезившимися глазами пространство и произнес севшим голосом: — Нет, Владивосток все-таки надо отменить... Спасибо, поручик!

Семенов вернулся в кабинет, лишь в прихожей остановился на мгновение, непонимающе глянул на стоящего у дверного косяка адъютанта со стаканом воды и порошками:

— Что это?

— Вы же сами просили... Лекарство от головной боли.

— Ничего я не просил. — Атаман раздраженно сморщился, словно проглотил горькую таблетку. — Выброси куда-нибудь эту гадость! Только здоровье портить. Не хочу!

Адъютант спокойно, прямо на глазах атамана швырнул коробку с порошком в ведро для бумажного мусора и произнес запоздало:

— Слушаюсь!

Этого атаман уже не услышал — хлопнул дверью кабинета. Оставшись один, он тяжело опустился в кресло, закрихтел по-стариковски, как будто ни с того ни с сего совершенно внезапно к атаману подступила старость. Лицо его продолжало сохранять нерешительное выражение — он все колебался: а не отозвать ли приказ, данный генералу Малакену? В конце концов, казаки — не институтки, ничего с ними не случится, если они пропустят пару завтраков с обедами. От этого только стройнее станут. Зато не уйдут из Владивостока, что очень важно для их же будущего. А он, Семенов, сегодня же пошлет Малакену денег, чтобы тот закупил провиант в лавках. Но если еду не продадут, тогда как быть? Такое ведь может случиться: Меркуловы разошлют по лавкам приказ, и хрен тогда Малакен что получит — даже буханки хлеба не продадут ему трусливые людишки.

Конечно, остается вариант бивуака: казаки могут разбить лагерь где-нибудь на берегу реки либо вообще поставят палатки под скалами, у кромки моря, наловят рыбы, шлепнут пару нерп, завалят изюбра... Только вот много рыбы без хлеба не съешь. Русская душа без хлеба ничего не принимает, даже пирожные. Да и вариант бивуака возможен лишь вне Владивостока, за городской чертой.

Желваки на щеках атамана дернулись, напряглись, стали походить на два камня, обтянутые кожей, потом тихо опали. Приказ, данный генералу Малакену, он решил все-таки не отменять.

Дед сидел за пяльцами два дня, иголкой исколол себе все руки и несказанно удивлялся, что у него что-то еще получается, что за долгие годы не растерял приобретенных в давнюю пору навыков — сумел сработать вполне приличную вышивку.

Нитками на полотне были вышиты местные золотоносные горы — тут были помечены и золотые жилы, уходящие в камень сопок, и несколько ручьев, где водилось золото, и три шурфа, которые он засыпал — там можно было взять еще не менее шестидесяти пудов «рыжья» — примерно по двадцать пудиков с каждого шурфа, и еще несколько точек, где золото находилось в земле...

Сняв полотно с пяльцев, дед полюбовался им. Работа хоть и корявая, но прочная, вполне годная для долгого хранения. Платок — не бумажка, его случайно не выбросишь и задницу им подтирать не будешь, лет сто, а то и больше он запросто проживет. Что, собственно, и нужно было деду.

Он разогрел на плите утюг, отлитый из чугуна, и разгладил платок. Оглядел еще раз свою работу. Остался ею доволен, позвал Кланьку.

Когда та явилась, передал ей платок и произнес устало:

— Береги это как зеницу ока. Даже пуще ока береги.

— Что это?

— А вот, — произнес он живо и ткнул пальцем в замысловатый красный крест, вышитый подле зеленой горушки, — шурф номер три в Тигровой балке. Тигровую балку помнишь?

— Помню.

— Вот ручей, — дед потрогал пальцем тонкий синий стежок, пересекающий зеленое поле, — вот скрюченная сосна, похожая на гитару... Помнишь?

— Ага.

— А вот шурф. Он завален камнями, его без этой карты не найти.

— Зачем ты его завалил, деда?

— Чую я — скоро нам придется отсюда убраться.

— Да ты что, деда?

— К сожалению... Чую — холод впереди, провал, бездна, горе... Много чего нехорошего нас ждет. — Дед зажмурился, покрутил головой. — Находиться здесь скоро станет опасно, придется покидать это место. — Старик замолчал, засопел огорченно, затеребил пальцами край платка.

— А как же золото, которое мы добываем?

— Придется временно прикрыть.

— С людьми?

— Человек — существо ходячее. Ноги в руки — и через два часа он уже совсем в другом месте. Единственное что — все выработки надо бы засыпать. Чтобы здесь не осели разные хунгузы. Не то придут и все изгадят, исковеркают. Ох-о, народ-народец! — Старик покрутил головой, словно бы ему было больно, вытер пальцами нос. — Ладно. Вот второй шурф, видишь? Запоминай. Очень богатый шурф, может быть, стоит всех остальных... Здесь много золота.

Но Клане не хотелось уже говорить о золоте, ей важно было понять, что происходит, почему дед так поспешно засобирался неведомо куда и что он, интересно, почувствовал?

— Скажи, деда, а как быть с атаманом Григорием Михайловичем?

— Что атаман! У него своя жизнь, у нас своя. Помнится, в прошлом году, когда он завернул к нам, то был доволен встречей, пообещал приехать еще, посмотреть, как мы тут на него пашем, орденок даже какой-то сулил, и что? Приехал? Дал орденок? Или хотя бы привет прислал? Только золото ему давай, давай, давай! Вот и впихивали мы без счета добытое «рыжье», будто в ненасытную глотку. А глотка все жрет, жрет, жрет и не давится. Не-ет, у Григория Михайлова свои интересы, у нас — свои. Вот ручей золотоносный, — дед вновь ткнул пальцем в платок, — запоминай, говорю! Тут я самородки находил величиной в полпальца. — Дед вздернул сучком большой палец на правой руке, но увидел, что Кланька смотрит в вышитую схему невнимательно, нахмурился и повысил голос: — Ты запоминай, говорю! Я ведь проверю, как ты все запомнила, спрашивать буду...

— Я запомнила, деда.

— Это ведь такая штука — вопросом жизни оказаться может. Кто знает, что завтра будет?

Вечером, при свете жировой коптишки, когда усталые казаки улеглись спать, Тимофей Гаврилович устроил Клане допрос с пристрастием. Ответами остался доволен.

Генерал Малакен выводил остатки семеновцев из Владивостока в ночь с одиннадцатого на двенадцатое июля 1921 года. Маршрут, разработанный штабистами Малакена, был следующий: Владивосток — Раздольное — Никольск-Уссурийский — Гродеково.

Днем, примерно в два часа, длинный, растянувшийся на добрые полтора километра отряд Малакена был встречен на окраине Раздольной группой офицеров. Те приехали на двух запыленных, с горячими моторами автомобилях, машины поставили поперек дороги, перегородили путь семновцам.

В одной из машин с откинутым верхом сидел пулеметчик — юный офицер с тоненькой строчкой усов на загорелом решительном лице. Офицер был из тех людей, кто погибнет, но приказ выполнит до конца, он был готов без промедления открыть стрельбу из своего «льюиса» по колонне семеновцев. Малакен, увидев ствол пулемета, лишь усмехнулся и отвернулся в сторону — век бы этих пулеметов не видать.

К нему подошел плотный, с распушенными, как у кота, усами полковник, протянул пакет.

Малакен вскрыл конверт, в нем был приказ по штабу капелевской армии, отпечатанный под синюю копируку на машинке с прыгающими буквами: «За неподчинение частей Гродековской группы правительству и самовольный выход из Владивостока генералу Малакену предписывается немедленно сдать все казенное вооружение, снаряжение и распустить офицеров, солдат и казаков на все четыре стороны, а самому явиться в сопровождении конвоя от штаба 3-го корпуса во Владивосток...»

Рядом с Малакеном оказался полковник Глазков. Поинтересовался насмешливо:

— Ну-с, и что же пишут эти господа из меркуловского правительства, ваше превосходительство?

Малакен передал ему листок с приказом, Глазков, прочитав, присвистнул:

— А температура у того, кто сочинил эту бумагу, случай-но, не повышенная?

— Простите, полковник, как ваша фамилия? — обратился Малакен к офицеру, передавшему ему пакет. — К сожалению, мы не знакомы...

— Фон Вах. Вы с чем-то не согласны, генерал? — спросил тот самый усердный полковник.

Малакен оглянулся на длинную пешую колонну.

— Полковник, вы в курсе, что штаб армии, издавший этот приказ, — Малакен перехватил из рук Глазкова листок с прыгающим машинописным текстом, — отказал моим солдатам в продуктах? Чем мы должны были питаться? Конским

навозом? Травой? Землей? Зелеными дичками с корейских яблонь? Так что насчет самовольного вывода — увольте! Да потом, у меня есть свое начальство — генерал-лейтенант Семенов и генерал-майор Савельев...

— Семенова мы скоро объявим вне закона.

— Со мной эти вопросы прошу не обсуждать, — сказал Малакен. Как отрезал. — Это вопросы политики, а я политикой не занимаюсь, я — солдат.

Офицер, сидевший в автомобиле за пулеметом, рукой, затянутой в перчатку, провел по тонкой ниточке щегольских усов, прилачился поудобнее к «льюису» — он хорошо слышал весь разговор.

Над Раздольной тем временем поднялся клуб пыли — будто смерч вознесся над домами.

— Это, генерал, Третий корпус производит маневры, — на всякий случай сообщил фон Вах. — При полной выкладке, с оружием. Каждому солдату выданы патроны.

Малакен почувствовал, как у него на скулах натянулась кожа, рот отвердел — сделалось трудно говорить.

— Этому приказу я не подчинюсь, — он приподнял листок, подержал его на весу, — если бы он был подписан Семеновым — подчинился бы. Предъявите мне приказ, подписанный генерал-лейтенантом Семеновым, — и я подчинюсь ему немедленно.

— Вы хорошо знаете, генерал, такого приказа у меня нет.

— А на нет и суда нет, полковник.

— Значит, отказываетесь разоружаться?

— Отказываюсь.

Фон Вах отступил в сторону и неожиданно обнаружил, что и сам он, и офицеры его, и обе машины окружены плотным кольцом солдат — не вырваться. Фон Вах понял — он снова вляпался в дерьмо.

— Тьфу! — с ожесточением сплюнул он себе под ноги.

Договорились обратиться к третьей стороне... В Раздольной стоял большой японский гарнизон — пусть начальник гарнизона и рассудит, кто из них прав, а кто виноват.

К японцам на автомобиле отправились вдвоем — Малакен и фон Вах. Глазков в отсутствие генерала остался командовать отрядом.

Гарнизон в Раздольной возглавлял располневший, гладкокожий, с лицом сельского пекаря японец, на котором едва сходилась полковничий мундир.

Выслушав фон Ваха, а потом Малакена, японский полков-

ник отправился на телеграф — связываться со своим командованием во Владивостоке.

Малакен с фон Вахом вышли на крыльцо дома, в котором располагался штаб японцев. Часовой недружелюбно глянул на них и крепче сжал пальцами ложе «арисаки» с примкнутым к ней плоским штыком.

Мимо, отчаянно пыля, промаршировала рота потных солдат.

— И вы что, генерал, будете стрелять в этих людей? — поинтересовался фон Вах. В уголках глаз у него появились насмешливые слезки, будто он только что нахохотался вволю. — И у вас хватит на это пороха?

— А у вас хватит пороха стрелять в моих людей?

— У меня — приказ.

— И у меня — приказ.

Рота, взбив высокий удушливый столб пыли, чихая и кашля, развернулась и зашлепала сапогами в обратном направлении. Примкнутые к винтовкам штыки колыхались над головами солдат.

— Хар-раши солдатики! — показно восхитился фон Вах.

— Только слишком много пыли. — Малакен усмехнулся.

Начальник гарнизона вел переговоры до вечера — небо из синего уже сделалось лиловым, пастух с кривоногим крохотным подпаском по тому маршруту, который днем так старательно отработывали солдаты из Третьего корпуса, прогнали стадо коров, и над Раздольной повис неповторимый домашний запах парного молока, — а толстый японец так и не мог дать ответ, на чьей же стороне правота: Малакена или фон Ваха.

В восемь часов вечера японский полковник вернулся с телеграфа, на крыльце штабного дома стянул с руки пропыленную нитяную перчатку и махнул ею Малакену:

— Можете следовать дальше, генерал. Инцидент исчерпан.

На щеках у фон Ваха заходили желваки.

— А приказ нашего штаба?

— Приказ вашего штаба аннулирован.

Плечи у фон Ваха взнялись нервно, болезненно, словно с них кто-то могущественной рукой сдернул погоны, он бегом кинулся к автомобилю, который стоял во дворе штаба.

Малакен проводил его спокойным насмешливым взглядом, сел на лошадь, которую в поводу держали два казака, и поскакал к своим.

Лагерь был встревожен — слишком долго не было Малакена — не двинуться ли ему на подмогу? Решили подождать

до половины девятого вечера, а там цепью двинуться на поселок.

— Немедленно выступаем! — скомандовал Малакен Глазкову. — Пройдем Раздольную и через час пути разобьем лагерь. Где-нибудь около воды, чтобы людям можно было умыться. Ночевать будем там, в лагере.

Первым поднялся пеший дивизион маньчжурцев, следом оседлали своих лошадей казаки.

Над лагерем, словно маскирующее дымовое облако, повисла пыль.

Но едва маньчжурцы достигли Раздольной, как остановились — дорогу через мост перекрывали рогатки. Люди фон Ваха споро установили их, только что Малакен вместе с казаками пронесся через этот мост — ничего там не было, и вот уже стоят рогатки, — видно, были заранее заготовлены и привезены сюда.

Драться не хотелось. Но и обойти мост было нельзя: если люди реку одолеют, то подводы — нет. По ту сторону моста, за старым валом, будто за бруствером, расположились солдаты фон Ваха. Значит, не послушался он японцев.

Лицо у Малакена сделалось замкнутым, он проговорил печально, обращаясь к полковнику Глазкову:

— Не мытьем, так катаньем хотят нас взять.

— Не возьмут. — Глазков отрицательно качнул головой.

— Опять русские люди будут стрелять в русских. На потеху иноземцам. Пора бы устать от стрельбы, успокоиться, а нет — не унимаются.

— Я думаю, в этот раз должно обойтись без стрельбы.

— Слепой сказал: «Посмотрим!» — Губы у Малакена дрогнули в короткой усмешке.

— Разбирай рогатки! — скомандовал Глазков маньчжурцам.

Те поспешно кинулись к рогаткам, разобрали их быстро, пяти минут не понадобилось, чтобы очистить мост. Часть рогаток вообще скинули под мост, в непрозрачную глинистую воду. Первыми на мост Малакен пустил сотню казаков, те мигом одолели его, только копыта звонко простучали по деревянному настилу, — и тогда из-за земляного вала, примыкающего к домам, в казаков полетела граната.

Граната рванула плоско, под лошадиным брюхом, — казак, сидевшего на этой лошади, подбросило вверх метров на пять, в воздухе он раскрылся, выбросил руки в стороны, как гигантская птица, закричал подбито — крупный осколок

перерубил ему ногу около лодыжки, — обрезав в себе крик, казак шлепнулся на землю. И еще двое казаков свалились в пыль, а гнедая, с тусклым запыленным крупом лошадь заржала пронзительно, закричала и, вырвавшись из объёма сотни, понеслась по улице поселка, давя копытами собственные кишки.

Как потом выяснилось, гранату бросил фон Вах. Лично. Сам. Никто из солдат Третьего корпуса не решился это сделать.

Один из маньчжурцев выматерился зажато, с тоскою — видно, почувствовал свою погибель — еще жив был, а с жизнью уже прощался...

— К бою! — привычно скомандовал Глазков.

Маньчжурцы поспешно растеклись жидкой речкой по низинке вдоль земляного вала. За валом начинались дома с низенькими оградками палисадников, за которыми росли подсолнухи, красная смородина и мелкая вишня. Позиция у маньчжурцев была невыгодная — с таких позиций войны не выигрывают.

Раздался выстрел — гулкий, резкий — берданочный. Этот звук всегда можно отличить от звука выстрела винтовки, пули к берданкам народ отливают в специальных формах, грубые, в заусенцах, такие пули выворачивают из живого тела целые куски мяса.

Малакен, услышав этот выстрел, замер на мгновение — военные стрелять могли только из винтовок либо из карабинов, берданки были сняты с армейского вооружения еще при «царе Горохе», а то и раньше. Из берданок могли стрелять только «штатские шпаки» — местный люд. За первым выстрелом грохнул второй, такой же.

— На берданочную стрельбу не отвечать! — скомандовал Малакен.

Неожиданно в злой длинной очереди забился пулемет, установленный на краю вала, у самых домов, по земле пронесся пыльный смерч, кто-то вскрикнул — в него попала пуля — и отчаянно, тоскливо выматерился.

— По пулемету — огонь! — скомандовал Малакен.

В пулемет со стороны маньчжурцев полетело сразу две гранаты, взрыв приподнял землю, накренил ее, ноздри забило пылью и землей, сделалось нечем дышать. Пулемет замолчал.

Это была бессмысленная дикая стычка, целью которой было — Малакен хорошо это понимал — не уничтожение подчинившихся Меркуловым воинских частей, а, по сути —

вытеснение из России Семенова. Слишком у многих атаман стоял поперек горла, слишком многие боялись его и в страхе и в злобе — объединились.

«Обидно было сознавать, что взаимные распри в нашей среде способствуют успеху красных и сводят на нет всю борьбу с ними», — с горечью писал позднее атаман. Красных он стал ненавидеть еще более люто, чем раньше. Все свои неудачи он сваливал теперь на их счет, даже интриги братьев Меркуловых, способных дать в подковерных играх сто очков форы любому военному, и те Семенов причислял к поразительной способности большевиков делать победы из ничего, буквально из воздуха. Красные обложили Семенова кругом, и атаман не раз с горечью думал о том, что проснется он однажды утром и обнаружит рядом с собою в постели бородатого, немытого, плохо пахнущего, с кудлатой, давно не чесанной головой большевика. Тьфу! «В верхах армии интрига свила себе прочное гнездо, политиканство превалировало над всем, ему приносились в жертву даже боеспособность армии. — Из этих безрадостных наблюдений атаман сделал неутешительный для себя вывод: — Все это было предпринято с единственной целью — заставить меня уйти с политической арены, дабы братья Меркуловы могли строить жизнь Приморского буфера в наивной надежде, что красная Москва будет спокойно взирать на это».

А как хорошо все начиналось, каким наивным и слепым он был, когда в конце прошлого года принял решение провести зиму в Порт-Артуре. Ставку он сделал на братьев Меркуловых и, как часто это с ним случается, ошибся.

И вот что из этого получилось — большая стрельба.

Отряд маньчжурцев тем временем из походного порядка развернулся в боевой — солдаты здесь служили умелые, — теперь в густой пыли длинными просверками обозначались красные полосы, это пыль насквозь просаживали пули.

Через десять минут маньчжурцы сбили фон Ваха с его командой с земляного вала. Залегли. Кто где залег — кто за камушком, кто за кочкой, кто втиснулся в канаву и позвал к себе приятеля: иди, стрелять вдвоем будет веселее, кто нырнул под мост, выставив перед собой ствол винтовки.

Полковник Глазков проворным колобком носился между маньчжурцами, от пуль лишь досадливо отмахивался — не верил, что они могут взять его... Поспешив было на фланг залегшей цепи маньчжурцев — как они себя там чувствуют, — полковник вдруг остановился, вытянулся, будто его, как бай-

кальского омуля, насадили на прутьяной рожон, лицо его сделалось серым, потным; неожиданно ослепшие, лишившиеся зрачков глаза вздулись, Глазков застонал, колени у него подогнулись, и он рухнул на землю.

К нему подскочили сразу трое маньчжурцев, поспешно затащили под мост, а человек шесть казаков кинулись к дому, откуда прозвучал выстрел, поразивший Глазкова. Полковник среди семеновцев был легендарной фигурой, его любили.

Кто-то запоздало прокричал:

— Полковника ранило!

Малакен услышал этот крик, но не сразу понял, что ранило именно Глазкова, пустил через мост еще полсотни лихих рубак-казаков. Патронов у его людей было мало, каждый патрон надо было экономить, поэтому там, где можно обойтись пашками, ими и надо обходиться.

— Полковника ранило! — вновь донесся до него крик, и только сейчас Малакен понял, что ранило Глазкова. Около моста, по эту сторону вала, рвануло сразу три гранаты. Взрывы были сильные, с черными столбами дыма, один из осколков шлепнулся прямо к ногам Малакена, зашипел, завертелся на земле, вырыл себе сусличью норку и затих.

Малакен ухватил за рукав пробежавшего мимо солдата с белыми глазами и дергающимся лицом.

— Где Глазков?

Тот даже не обратил на генерала внимания, выдернул руку и понесся дальше. Малакен понял — солдат контужен.

— Где Глазков?

На его окрик остановился поручик в испачканной землей гимнастерке, ткнул рукой под мост:

— Туда унесли, ваше превосходительство!

Пригибаясь под пулями, Малакен прогрохотал сапогами по деревянному настилу, прыгнул вниз. Глазков лежал на спине с широко открытым ртом, из которого на плечо ему стекала струйка крови, и сишло, едва справляясь с собою, дышал. Около него на корточках сидели двое маньчжурцев, один приподнимал голову полковника, другой пытался перетянуть рану полотенцем.

Малакен нагнулся над полковником.

— Отходит, — просто сказал маньчжурец, державший голову полковника в приподнятом состоянии, скуластый бурят с висячими усами. — Берданочная пуля... не уцелеть, если попадает.

— М-м! — Малакен не выдержал, сжал кулаки. — Подлецы!

Через три минуты Глазкова не стало. Он дернулся, зашлепал окровавленными губами, стараясь захватить воздух ртом, но попытка была тщетной.

— Все, — сказал маньчжурец, пытавшийся перевязать Глазкова, стянул с головы мятую, провонявшую потом папаху. — Нету больше полковника.

Глазков так и не смог открыть глаз, находился в беспамятстве, но когда был уже мертв, глаза его открылись сами, последний их взгляд был очень осмысленный и горький, словно Глазков сожалел о том, что произошло — русские решили поколотить русских. На потеху чужестранцам.

На мосту грохнула граната, крепкий настил не выдержал, в нем образовалась прореха, и вниз на людей посыпались щепки, щебенка, древесная груха. Один из маньчжурцев подскочил к Малакену, собираясь в случае чего прикрыть генерала.

На мосту снова взорвалась граната, в сырую полоску берега всадились длинная железная ручка, зашипела зло; словно бы отсылаясь на этот взрыв, за валом, где прятались солдаты фон Ваха, грохнуло сразу два взрыва. Через пять минут они начали пятиться, перебежками уходить за дома. Послышался звук медного рожка, которыми японцы обычно трубили тревогу, солдат фон Ваха сменили невысокие, кривоногие, крепкие, как грибы боровики, потомки самураев. Стрельба разом стихла. Лишь за дальними домами дважды бухнула трехлинейка, но и там все замолкло. Малакен дал команду подсчитать потери.

Четверо убитых, семеро раненых. У фон Ваха, надо полагать, потери были не меньше, но об этом знал только он.

Из-за вала вынырнул японский офицер с переводчиком.

— Нам нужен генерал Малакен, — прокричал переводчик трескучим низким голосом, очень напоминавшим вороний. К поясам японцев были пристегнуты сабли в никелированных ножнах.

Генерал Малакен молча, вдавливая в землю железные осколки, пошел к японцам.

Японцы очень вежливо, кланяясь так, что подбородки впивались в грудь, попросили Малакена, чтобы он со своими людьми, пройдя Раздольную, разбил лагерь за поселком.

— Нам не нравится, что происходит, — сказали японцы Малакену, — господин комендант сейчас по этому поводу связывается по телеграфу с Владивостоком. Это первое. И второе — мы хотели бы провести свое расследование. Нам важно знать, кто стрелял и почему стрелял?

Малакен согласился сделать остановку, попросил только, чтобы ему в Раздольной выделили часть домов для размещения офицеров, раненых и больных.

Разбирательство длилось два дня.

Через два дня ночью Малакена разбудил посыльный из штаба японского гарнизона, попросил пройти в штаб.

— В японский? Пешком? — удивился Малакен.

Японец поспешно замотал головой:

— Не-а, не-а, не-а, — пробормотал он. — В ваш штаб.

В штабе генерала ожидал толстый полковник — начальник японского гарнизона с трескучим переводчиком.

— Извините, господин генерал, что подняли вас ночью. — Начальник гарнизона учтиво поклонился Малакене.

— Ничего. — Малакен махнул рукой. — Пустяки. Я привык спать мало.

Японский полковник сообщил, что Малакен со своим отрядом может двигаться дальше, хотя существует одно «но» — это штаб Третьего корпуса, враждебно настроенный к атаману и, следовательно, к семеновцам.

— За штабом Третьего корпуса стоит штаб каппелевской армии, — заметил Малакен.

— Поэтому будьте осторожны. В пути вас могут ожидать неприятности.

— Чему бывать — того не миновать. — Голос Малакена сделался насмешливым. — А за предупреждение — спасибо.

Той же ночью отряд Малакена выступил из Раздольной. На семи подводах везли раненых, семь человек, и на одной подводе, накрыв брезентом, — тела четырех убитых. Среди них — тело полковника Глазкова.

По сути, эти скорбные подводы и подвели итог безуспешной попытке Семенова покорить Приморье.

Сам атаман прекрасно понимал, что конец близок, до него уже рукой дотянуться можно. Что будет дальше — завтра, послезавтра, после послезавтра — неизвестно.

Семеновцев во Владивостоке не осталось. Ни одного человека.

Золотой промысел, дававший атаману Семенову хороший доход, был прикрыт в одночасье.

...Весна в горах всегда бывает хороша, никакое другое время года не жалует человека такой ошеломляющей красотой, как весна.

Берега ключей и речушек становятся ярко-зелеными от несметных свежих трав, густо прорастающих сквозь теплую от солнца землю, следом буйную зелень напрочь перекрывают другие цвета, красный и желтый, тоже очень яркие, до рези в глазах. Это начинают цвести саранки.

Нет ни одного дальневосточника, который не был бы влюблен в эти цветы. Саранка — такой же символ здешней земли, как и сихотэ-алиньские хребты, и уссурийский женьшень, и очумевшая красная рыба, способная сбить с ног человека, если он неосторожно войдет в воду во время ее нерестовых игр, а самец-лосось, особенно крупный, нерка или чавыча, охраняя икрающую кладку, способен перегрызть ему горло, словно волк — только дырка вместо глотки и останется. Приезжим людям иногда рассказывают о таких случаях. Те хмурятся и... верят.

Горы тоже делаются цветными — фиолетовыми, розовыми, бирюзовыми, лиловыми. Над ложбинами, где еще лежит снег, вьются кудрявые прозрачные дымки — снег тает, изпод тяжелых иссосанных пластов струятся тоненькие звонкие ручейки, звенят весело, рождают в душе что-то ликующее, такое же звонкое и легкое, как и сама весна. Хорошее настроение соответственно обеспечивает и хорошую работу. Все взаимосвязано.

Дед Тимофей Гаврилович начал сдавать — неожиданно быстро, в несколько дней, у него поседели брови — раньше они были серыми, будто бы присыпанными солью, сейчас стали сплошь белыми, как снег.

Старик постоял несколько минут перед порыжелым от времени, с облупленной изнанкой осколком зеркала, похмыкал недобро и разгладил брови пальцем.

— Старость — не радость, — пробормотал он хмуро и, увидев в осколке лицо Вырлана, неожиданно подмигнул ему. Деду показалось, что сделал это лихо, молодечески, будто в юности, когда, как кур, он щупал деревенских девок, на деле же все вышло грустно, вид у деда был убитым, что не удалось скрыть.

Прапорщик это заметил, улыбнулся ободряюще, сжал плечи деда:

— Ничего, Тимофей Гаврилович, мы еще покажем широким массам, как надо пить из алюминиевой кастрюльки американский спирт и заедать его печеной бегемотиной.

— Красиво говоришь, Митя, будто книжку читаешь, — грустно произнес дед, — да только вот всякому живому суще-

ству такая тонкая штука, как чутье, дана ведь недаром... Я тоже им обладаю.

— Ну и что? И я обладаю. Иначе я вряд ли бы выжил в Гражданскую — валялся бы где-нибудь в бурьяне.

— Все верно, Митя, только учись старших не перебивать...

— Извините. — Вырлан смутился, краска наполнила ему на щеки, и дед с грустью отметил, что прапорщик в общем-то еще мальчишка. Просто война раньше времени сделала его взрослым. Старик безгласо выругал себя — не надо было одергивать молодого человека, и, подбадривающе кивнув прапорщику, произнес:

— В общем, чую я — недолго мне осталось жить.

— С чего это вы взяли, Тимофей Гаврилович?

— С того, Митя, и взял. — Дед пальцем поправил одну бровь, за ней другую. — Вишь, какие куски снега пристряли к моей физиономии?

— Седина бобра не портит.

— Все это — слова, слова, Митя. Язык — штука бескостная, говорить можно что угодно и о чем угодно, — а вот сердце, — старик прицокнул языком и красноречиво развел руки в стороны, — у сердца один язык — боль. Настоящее сердце и чужую боль чувствует, лучше чувствует, чем свою, обязательно отзывается на нее, а ненастоящее — признает боль только свою собственную... Эх! — Старик махнул рукой. — Так вот, чувствую я, что ко мне скоро придет гостя с косой, а вас, молодых, ждут различные беды. — Дед замолчал, вздохнул. — Будь готов к этому, Митя... И Кланю мою береги, пожалуйста. У нее ни одной родной души на белом свете не осталось. Кроме тебя, да... меня.

Вырлан почувствовал, что от этих слов ему сделалось душно, невидимая рука сдавила сердце — вцепилась в него когтями и начала давить — давит, давит, давит, скоро дышать совсем нечем будет, на лице возникла и сразу же исчезла растерянная улыбка. Он и в мыслях допустить не мог, что с дедом может что-то случиться. И с Кланей, и с ним самим — тоже... Тем более сейчас, когда они все вместе. Он и Кланю не бросит, и деда не бросит.

В конце концов, у него есть замечательная, очень хлебная профессия, с которой ни у красных, ни у белых не пропадеешь — она прокормит всех троих.

— Дедуня, — пробормотал Вырлан, словно деревенский парубок, — не тужи. Главное — не скисать. Это — грех, Богом наказуемый. — Посмотрел на деда: шея у того стала ка-

кой-то щенячьей, тонкой, незагорелая голь просвечивала сквозь бороду, по вискам и лбу побежал старческий крап, который ничем уже не вывести, это до гробовой доски. Вырлан еще раз сжал старика за плечи: — Все, дедунь, пора, как говорят шахтеры, в забой.

Днем в веселую кудрявую долинку, пеструю от цветущих саранок, прискакал отряд казаков — человек двадцать пять. Казаки были сытые, хорошо экипированные, вооруженные короткоствольными японскими «арисаками», с двумя пулеметами, в новенькой, еще не обмятой форме.

Обычно дед встречал гостей, но в последние дни перестал — уж очень долина стала населенной, все время кто-нибудь обязательно мотался туда-сюда, — и он, чувствуя себя неважно, не выходил из домика на всякий лошадиный топот. Не встретил Тимофей Гаврилович и этот отряд.

Кланя ушла в забой, к Вырлану, понесла ему травяной отвар — прапорщик опять начал кашлять. Дед находился в доме один.

Выдавившись из каменной теснины, отряд рассыпался цепью и на рысях двинулся к дому. Дед выглянул из двери: что-то здесь не то... Не понравилось что-то деду. Хотя лицо офицера, который скакал в середине конной цепи, было старику знакомо, он даже вспомнил его фамилию — Емцов. Поручик Емцов, контрразведчик. Молодой, смазливый, жесткий не по возрасту...

Не так давно — в конце марта или даже в начале апреля — приезжал с пожилым тщедушным капитаном разбираться в деле урядника Сазонова.

Емцов деда тоже заметил, засмеялся обрадованно и рукой рубанул воздух.

В то же мгновение раздался выстрел. Пуля воткнулась в дверь рядом с дедовой головой, отслоила большую щепку, та впилась Тимофею Гавриловичу в лоб. Старик охнул:

— Это что же такое делается?

Раздался второй выстрел. Пуля также всадила в дверь, выломала у нее верхний угол.

— Это что же...

Третья пуля обожгла ему щеку. Дед, словно очнувшись, оценивающе глянул на надвигающуюся конную цепь, посреди которой скакал Емцов — поручик что-то кричал на скаку, был хорошо виден его черный рот с молодыми белыми зубами, — выругался и поспешно нырнул за дверь. С силой при-
тянул ее к косяку.

— Анчихристы! — выругался он.

Дед неверяще мотнув головой — не может быть, чтобы то, что происходило, происходило наяву, — взялся обеими руками за дубовый засов, окованный двумя железными полосами, с грохотом вогнал его в паз. За закрытой дверью Тимофей Гаврилович почувствовал себя как за крепостной стеной...

— Давайте, хлопцы, теперь берите меня, — просипел он с трудом, тело у него неожиданно потяжелело, сделалось чужим, — берите, а я посмотрю, как это у вас получится.

Сенцы в доме были небольшие, темные, винтовка деда стояла сразу за второй дверью, прислоненная торцом ствола к угловому шву, снизу доверху проконопаченному длинноворсовым сухим мхом, патроны — две снаряженные обоймы — лежали тут же, на деревянной приступке, врезанной в угол.

Дед схватил винтовку, с резким клацаньем передернул затвор.

— Анчихристы! — еще раз выругался он. — Берите меня. Давайте, берите, а я посмотрю, что у вас из этого получится.

Стволом винтовки он ткнул в оконце, выбивая стекло. Рядом с окном мелькнула тень — с коня свесился казак, поймал на скаку в образовавшейся щели взгляд деда и ткнул в окно острием пашки. Дед в ответ выстрелил. Казак вскрикнул, вылетая из седла.

Прежде чем цепь пронеслась мимо, дед успел выстрелить еще раз — попал в казака, державшего в руках короткоствольный дырчатый «люйс», — засек, что в оконце, из которого он стрелял, полетела граната, она стукнулась о бревно и по косой отскочила на землю.

Раздался взрыв.

Дом трянуло, старик почувствовал, как у него под ногами поехал в сторону пол, по стене с частой барабанной дробью прошли осколки.

Дед загнал в ствол новый заряд, вытянул в окно одну руку с зажатой в ней тяжелой винтовкой — и нажал на спусковой крючок. Слишком громоздка была винтовка для его руки — громоздка и тяжела, — дед попал не в казака, а в лошадь. Она взвизгнула надорванно, по-щенячьи слезно и на полном скаку села на круц, взбила столб пыли, скрылась в нем.

— Эх, в лошадь я попадать не хотел. — Дед с сожалением выбил из патронника пустую гильзу.

Попасть бы в молодого поручика — вот это было бы дело, но вряд ли дотянешься до него, этот всех своих людей по одному подставит под дедовы выстрелы, а сам так и не покажет-

ся, ускачет за гольцы. Пригнувшись, дед словно молодой прошмыгнул под одним окном, потом проскользнул под другим, стянул с приступки одну запасную обойму, потом другую, сунул себе в карманы.

Под дверью, снаружи, рванула граната, выломала доску. В доме едко запахло прокисшей капустой — горелая химия, которой была напшигована граната, слишком противно воияла. Дед кинулся к той двери, что выводила в сенцы, с ходу выбил дубовую планку запора и вывалился из дома в затемненные сени. В пролом, образовавшийся на месте выбитой доски, увидел, что к дому крадется казак в кокетливо сдвинутой набок фуражке, с опущенным под подбородок ремешком и стягивает с пояса гранату...

Дед вскинул винтовку и, почти не целясь, через пролом выстрелил в казака. Тот, согнувшийся в зверушечьей крадущейся позе, сделал по инерции два шага и ткнулся головой в землю.

— Бомбист хренов! — выругался дед. — Больше портить воздух не будешь.

Передернул затвор, попятился к открытой двери, наполовину перекрывшей вход в дом, выругался — в обойме больше не оставалось патронов. Пролом накрыла чья-то тень, раздался выстрел, и тень исчезла.

Пуля всадила деду в плечо. Он охнул, согнулся, притиснул руку к обожженному месту. Сквозь пальцы потекла кровь. Дед, продолжая сипеть, закусил боль зубами, попятился к двери, втиснулся в нее. Поднес к глазам красные мокрые пальцы, глянул на них неверяще, будто впервые в жизни видел свою кровь, лицо у него перекопилось от горестного недоумения.

В выбитом окне появилась знакомая тень, дед поспешно отскочил в сторону, уперся стволом винтовки в стену, приклад притиснул к здоровому плечу и, изогнувшись, пальцами отжал собачку обоймы — надо было вытащить старую, израсходованную обойму и вставить новую.

Это удалось не сразу — пальцы двигались словно чужие, соскальзывали с собачки, пружина была тугой, но дед все-таки изловчился, выдернул обойму из магазина. Загнать в коробку новую обойму было для него делом плевым.

Недаром говорят, что оружие придает человеку смелость, с заряженной винтовкой дед почувствовал себя увереннее. Увидел висевший на гвозде Кланин рушничок, сдернул с гвоздя, перетянул плечо, подумал невольно — хорошо, что ее

нет дома, ни к чему ей все это видеть, рисковать и вообще попадать в бойню, хорошо и иное: глаза ему закроет все-таки родной человек... Очень хорошо, что Кланы с прапорщиками и казаками находится в забое. Пусть переждет стрельбу там.

Встав в простенке между окнами, старик выглянул в одно окно — чисто, протестующе мотнул головой: ему очень надо было увидеть человека-тень, чей неясный силуэт обернулся для него пульей. Дед перекатился по стенке к другому окну — так же пусто. Казаки словно сквозь землю провалились, но он знал, где сейчас находятся станичники — за сараем, в котором золотодобытчики работали с ртутью. Явно казаки спешились и теперь окружают дом.

Кто же заставил казаков совершить этот разбойный налет? Неужели атаман? Сам Григорий Михайлов? В это старик не верил. Тогда кто? Скорее всего, контрразведка атамана. Эта служба не ведаёт окорота. Что хочет, то и делает.

Боль, возникшая в пробитом плече, исчезла. Старик попробовал пошевелить пальцами левой руки — получилось, приподнял ее — также получилось. Значит, кость не задета. А то, что кровь уже пропитала Кланькин рушник, деда не страшило.

Может, этот поручик действует по собственной инициативе, без команды сверху? Вряд ли. Но и Григорий Михайлов тоже не мог дать такой команды. Тогда кто дал? Того, что это мог быть какой-нибудь еще, третий, пятый, пятнадцатый замухрышистый офицеришко из штаба, дед допустить не мог.

Он снова выглянул в окно. Невдалеке валялся пулемет — как вылетел из рук подбитого казака, так и лежал в пыли. Вот лакомая цель. Дотянуться бы до него, и тогда не надо прятаться — с пулеметом можно выстоять против кого угодно. Дед вцепился зубами в край рушника, затянул узел потуже — может, кровь перестанет идти?

Надо полагать, пулемет привлёк внимание не только деда, но и налетчиков. Оружие завидное, в городе на десять килограммов мяса запросто можно обменять. Дед вжался спиной в простенок, целиком обращаясь в слух, но ничего путного не услышал, засек лишь, как за сараем звякнула металлическими удилами лошадь да что-то прокричал поручику Емцову перепуганный казак. Тимофей Гаврилович разобрал лишь начало фразы: «Ваше благородие», дальше слова слиплись в один ком — ничего не разобрать.

Старик ждал. Не может быть, чтобы к пулемету никто не попытался подползти. Прошло несколько минут. Было тихо.

В обожженное пулей плечо снова подкралась боль, впиалась в живое тело. Уязвим человек, боль может согнуть его в бараний рог. Дед почему-то вспомнил, что, говорят, животные, например, боли не ощущают, хотя и пугаются громкого хлопка, топота, шума, рева, крика, свиста, пугаются ножа, ружья, человека, его тени, но пугаются не потому, что за этим последует боль, ожог, еще что-то — просто так положено, пугаются по привычке, по природе своей, а природа — матушка хитрая, именно она закладывает в крови такую подлую штуку, как испуг... Вообще-то говорят, что кур доят, а коровы яйца несут — все говорят... Дед облизал сухие жесткие губы. Существует, не ощущающему боли, можно только позавидовать; он покосился на перетянутое рушником плечо, потом глянул в прорезь окошка — как там «льюис»?

Пулемет лежал на том же месте, несуразный, похожий на круглое полено с прибитым к нему рогачом-ухватом, которым из печи вытягивают чугуны, тарелкой диска пулемет зарылся в землю.

Страха не было. Более того, дед почувствовал, что в нем рождается некий охотничий азарт. Он ждал. Деду было понятно, что эти люди не уйдут, пока не убьют его. Убить его они, конечно, убьют, но только один он к «верхним» людям не отправится, кое-кого обязательно прихватит с собой.

Но главное — он задержит налетчиков здесь, и чем дольше он будет держать их в этой цветущей долинке — тем лучше. В конце концов Вырлан услышит выстрелы, догадается, что тут происходит, и приготовится к достойной встрече, не то ведь этот ловкий поручик возьмет золотоискателей врасплох... Не будет этого. Старик почувствовал, что из правого глаза у него — почему-то только из правого — выкатилась теплая слезинка, нырнула в бороду.

Не думал он, не гадал, что жизнь его закончится так внезапно. Хоть и готов он был к смерти, а умирать не хотелось. В последнюю минуту обязательно оказывается, что человек, несмотря на всю свою готовность к судному дню, бывает к нему постыдно не готов, внутри обязательно появляется слабость, по жилам и мышцам проносится неверящий озноб, в висках начинают стучать звонкие молоточки, вызывать ломоту и боль. Из глаза — опять из правого — выкатилась теплая крохотная слезка, поспешно проскользила по щеке и нырнула в бороду.

Неожиданно на пулемет напозла прозрачная тень, коснулась разогретого солнцем пулеметного ствола и стреми-

тельно, словно чего-то испугавшись, отодвинулась назад. Старик ждал. Ему показалось, что слишком громкое дыхание выдает его, — Тимофей Гаврилович съежился, задержал дыхание, стволом винтовки поймал камешек, лежавший в полуметре от пулемета — высчитал, что это будет крайняя точка, которой обязательно коснется человек, прежде чем ухватит пулемет.

Пробитое плечо начало неметь, боль, накатывавшая волнами, успокоилась. Пространство перед глазами порозовело, в нем появились маленькие светлые точки, кожа на лице тоже онемела, сделалась чужой, перестала что-либо чувствовать.

Через несколько минут около камня, который старик держал на мушке, появилась длинная, узкая, похожая на нож тень. Кто-то палкой, находясь вне пределов видимости старика, пытался подтянуть к себе пулемет, но он был слишком тяжел — палкой с ним не справиться. Старик потеснее прижал к себе приклад винтовки и замер.

Прошла еще минута, и он увидел, как по пыли, разгребая ее руками, пластается круглоголовый лопухий казак с коротким чубчиком, прилившим ко лбу. Старик спокойно перевел мушку на круглую, схожую с тыквой голову и нажал на спусковой крючок.

Раздался выстрел. Хоть и ожидал его старик, хоть и готовился к отдаче, а винтовка здорово саданула его в раненое плечо, оно мгновенно отозвалось на удар болью. Тимофей Гаврилович не удержался, вскрикнул.

Пуля всадила круглоголовому прямо в ухо, в черную впадину, выбила целый сноп красных брызг.

— Вот так-то будет лучше, — пробормотал старик, выбрасывая резким движением затвора на пол стреляную гильзу, поспешно переместился в другой угол дома. — Лежи там, отдыхай. — Загнал в казенник новый патрон. — Ну, братки, подавайте следующего!

Вырлан вылез из шурфа дохнуть немного свежего воздуха, следом за ним на поверхность выбралась Кланыя.

— Прошу прощения, — извинился перед ней прапорщик, — курить хочется — спасу нет.

— Курите, — разрешила Кланыя.

Вдалеке послышался треск — словно разорвали кусок брезента. Вырлан настороженно вытянул голову, рот у него открылся по-ребячьи, Кланыя это заметила, спросила шепотом:

— Что это?

— Тихо, Кланыя!

Треск повторился — отчетливо прорезался сквозь фырканье ветра. Вырлан хлопнул себя по старой брезентовой кобуре, проверяя, на месте ли револьвер.

— Кланыя, — проговорил он, стараясь быть спокойным, — садитесь на лошадь и скачите в соседние заборы, поднимайте людей...

— Что? — У девушки от внезапно нахлынувшего испуга побелели губы. — Что-то с дедом?

— Ничего особенного, — как можно спокойнее и безопаснее произнес Вырлан, — просто к нам пожаловали гости. А гостей лучше принимать, когда мы все вместе, в полном составе. Скачите, Кланыя!

Она по-синичьи легко взлетела в седло, шлепнула лошадь ладонью по боку. Вырлан наклонился над шурфом, ударил камнем о кусок железа:

— Мужики, вылезай быстрее!

Первым из шурфа, словно жук из норы, вылез Белов:

— Чего случилось?

— Стрельба какая-то странная у нашего дома... Два раза ударили из пулемета.

— Свят, свят, свят! — Белов перекрестился. — Кого же это к нам принесло? — Он вытянул шею, вслушался в пространство.

Из долины донесся отчетливо слышимый выстрел. За ним другой.

— С дедом-то никого нет...

— Никого. Вполне возможно, дед и отбивается. Белов, срочно поднимай всех из выработки.

— Патронов-то у нас всего ничего. Брали-то лишь на крайний случай. И винтовки не у всех.

— Ничего. — Голос у Вырлана дрогнул — ведь, пронюхав, что здесь ведутся золотые разработки, на дедов дом могла налететь какая-нибудь лихая банда. — Всех наверх!

Банд ныне в России развелось видимо-невидимо, делятся они по цветам и пристрастиям, по названиям, по звероватым лицам и привычкам своих главарей и меткам, которые они оставляют в местах преступлений, по вооружению и партийной принадлежности, по умению воевать и прятаться... И откуда вылезло столько дерьма?

Вырлан вел своих людей к дому деда методом «точка — тире», как высказался сипящий, задыхающийся Белов, решивший по книжкам изучить азбуку Морзе: двести метров бегом,

поднимая сапогами пыль, следующие двести метров — быстрым шагом, потом снова — бегом.

Двух лошадей, которые, стреноженные, паслись у головного шурфа, Вырлан отдал казакам — опытным фронтовикам, вручил им также по две обоймы патронов.

— Скачите быстрее к деду. Но будьте, мужики, осторожны — не зная броду, не суйтесь в воду. Произведите разведку. Хотя бы небольшую, ясно?

Станичники, стирая с грязных — после забоя — лиц пот, дружно гаркнули:

— Ясно!

Прапорщик с грустью отметил: а ведь эти люди соскучились по войне. Как человек скучает по земле, по дому, по собственному огороду с пашней, так он, наученный убивать, скучает и по войне. Хотя в этом никто никогда не признается, ни один казак. Люди внушают друг другу: они устали от войны, очень устали, не продохнуть, а на самом деле подлый этот микроб, требующий, чтобы человек брался за оружие, из них не вывести, нет никаких лекарств, и потому люди эти пока будут жить — будут скучать по войне.

— На шаг — пер-ходи! — скомандовал прапорщик, и спотыкающаяся разноцветная цепочка людей, хрипящая, задыхающаяся, послушно перешла на шаг.

Из-под стоптаных каблуков перестал лететь во все стороны звонкий галечник.

Через пять минут прапорщик подал новую команду:

— Бе-егом!

Рядом с круглоголовым пластуном Тимофей Гаврилович уложил еще одного, с таким же коротким чубчиком — будто начальство определило этим ребятам не только форму, но и прически. Второй казак попытался подползти к пулемету с другой стороны, попробовал подтянуть его к себе палкой — как одинаково все-таки устроены мозги у людей. Дед решительно прервал эти потуги: нечего маяться дурью, дорогой казачок! Пулемет, вишь, ему подавай! Чтобы он из этой дырявой дуры деда и срезал?

Хрясь! Из винтовочного ствола вылетел длинный желтый огонь, похожий на змеиный язык, и налетчик ткнулся чубчиком в горячую от солнца землю.

Зачем же вы пришли сюда, ребята? Неужто за золотом? Кто вас сюда послал? Или, кроме золота, есть еще какая-то цель? Даже если и узнает это Тимофей Гаврилович, легче ему

не станет. Впрочем, прихватить с собою поручика Емцова очень даже не мешало бы.

Рушник на плече набух кровью, по краям обрел фанерную жесткость, старик застонал и снова впился зубами в край ослабшего узла. Затянул его.

Налетчики затихли. Раз затихли — значит, что-то замышляют. Может, потрошат сарай, ищут золото? Хрен с ним, с сараем, пусть потрошат.

Во рту у деда появилось что-то соленое — то ли кровь, то ли слезы, не понять. Голова потяжелела. Он продолжал ждать. Ему оставалось только одно — ждать. Да еще — ловить на мушку очередного дурака, решившего утянуть из-под дедова носа пулемет.

Ждать и надеяться — услышат мужики в своих дырах-шурфах стрельбу — примчатся на помощь.

Но и долго ждать дед не мог: пробитое плечо совсем одеревенело, оплыло, пальцы на руке хотя и слушались, но это будет длиться недолго, немного времени — одеревенеют и они.

Два дня назад Емцова вызвал к себе заместитель начальника контрразведки полковник Греков — нервный, с тонким подвижным лицом и быстрой, очень четкой речью, когда-то он хотел стать актером и обучался этому искусству, но началась война, сперва одна, потом вторая, актеры России оказались не нужны, Греков это понял, изменил свои жизненные планы и быстро продвинулся в армии... Емцов подозревал, что «Греков» — это псевдоним, у полковника же совсем иная фамилия, какая-нибудь понтийская или скорее всего немецкая; многие немцы, когда началась война с кайзером, поменяли свои фамилии. Слишком уж сильны были в России антинемецкие настроения, с прусской или эльзасской фамилией запросто можно было сгинуть.

Увидев Емцова в дверях, полковник ткнул черенком трубки в кресло, приглашая поручика сесть, неспешно утрамбовал пальцем табак в трубке, потом взял со стола специальную серебряную толкушку с изящным венчиком, придавил табак посильнее — все движения полковника были неторопливыми, продуманными, точно рассчитанными, не человек, а умная машина, хорошо смазанная, бесшумная. Греков раскурил трубку и, пустив по воздуху несколько душистых колец дыма, глянул на поручика пристально, словно хотел понять, что у того внутри. Емцову захотелось съежиться, скрыться от

этого пронизательного взгляда, но он сдержал себя, лишь поглубже вдавился крестцом в кресло.

— Поручик, вам знакома фамилия... Таскин? — спросил полковник. — Сергей Афанасьевич Таскин?

— Слышал, но лично представлен не был.

— А я и слышал, и видел, и был представлен. Дело вот в чем... Вы ведь, по-моему, ездили разбираться на золотой рудник с одним дураком-урядником, сбежавшим оттуда... В порту мы его поймали. Правильно?

— Так точно. Это был дезертир. Фамилия его...

— Не надо никаких фамилий, поручик, это лишнее. Так вот, господин Таскин дал контрразведке задание ликвидировать этот рудник. Возьмите с собой людей половчее, человек двадцать—двадцать пять, пару пулеметов и — вперед! Шурфы закидайте камнями, на карте обязательно пометьте места, где они находятся. Вопросы есть?

— Есть. Ликвидировать как... вместе с людьми?

— Ну и вопросы вы задаете, поручик. Пулеметы тогда зачем? Гвозди ими забивать? Ликвидируйте вместе с людьми. Никто не должен остаться в живых, ни рядовые, ни офицеры.

— Там еще дед с девочкой живут...

— Этих — в первую очередь.

Греков перегибал палку — Таскин сказал лишь: «Рудник надо прикрыть, замаскировать. Когда мы сюда вернемся — расконсервируем». Греков понял задание по-своему.

— Еще вопросы есть? — спросил он.

Вопросов не было, и вскоре отряд Емцова появился в долине.

Но слишком рано люди поручика открыли стрельбу, если бы они повели себя по-другому, то и события наверняка сложились бы иначе.

У деда уже начало мутиться сознание. Хоть и перепеленал он плечо крепко, хоть и подтягивал он несколько раз зубами узел, а кровь все равно не могла успокоиться, уходила из него, вместе с кровью — силы, а с силами — жизнь.

Откуда-то снизу, из подпола, где дед хранил копченую кабанятину, потянуло дымом — слабеньким, едва различимым — выволокло одну кудрявую прядь, за ней вторую, и дед ознобно дернул целым, не пробитым пулей плечом — понял, что налетчики подождли дом.

— Антихристы! — шевельнул он белыми твердыми губами. — Ни крест, ни икона для вас не существуют. Что же вы делаете, антихристы?

Дымом запахло сильнее, перед окнами пронесся всадник на лошади и прямо с руки полоснул по окнам из пулемета.

Пули со смачным цоканьем впились в стены. Одна из пуль, попав в железную скобу, скрепляющую бревна, с визгом отрикошетила и всадила деду в правую ногу, в икру. Дед охнул, согнулся, будто его огрели железным шкворнем, глянул сбоку в прорезь окна — увидел меграх в двадцати от дома двух спешившихся казаков, державших в поводу по нескольку лошадей и с любопытством смотревших на дом. «Коноводы, — догадался Тимофей Гаврилович, — вот полоротые! Специально ведь приблизились, чтобы посмотреть, как меня будут поджаривать...»

Дыма тем временем становилось больше, он слоями полз по полу, начал стелиться густо, вонял, вышибая из глаз слезы.

«Не дождетесь, дудки вам!» Старик навел винтовку на одного из коноводов — высокого рыжего парня в офицерских сапогах. Хлопнул выстрел. Удар пули был такой сильный, что парня отбило прямо на морды лошадей.

Лошади испуганно поднялись на дыбы, развернулись и понеслись по долине, убитого на поводьях потащили следом. Хромовые сапоги сверкали на солнце и громко стучались друг о друга.

Старик поспешно сделал второй выстрел. Срезал второго конвоира. Тот думал, что напарник не удержал лошадей и они, опрокинув его, уволекли, захохотал громко, даже согнулся от смеха, в этот момент старик и подсек его — всадил пулю точно в грудь. Конвоир оборвал смех, выпрямился недоуменно и рухнул под копыта коней, которых держал в поводу.

От дыма начало щипать глаза. Старик выбухал кашель в кулак, выглянул в одно окно — пусто, во второе — также пусто, усмехнулся недобро.

Недалеке грохнул выстрел, за ним другой, следом — третий, за домом послышались крики, ударил пулемет, потом гулко, словно бы была брошена в бочку, грохнула граната. На лице деда появилась слабая улыбка — он понял, что перестрелку услышали свои и пришли на помощь, но поверит в это лишь тогда, когда он увидит Вырлана, Кланю или Белова.

— Емцова бы прихватить, Емцова, — прошептал старик жалобно, нагнувшись, оглядел простреленную ногу и, разодрав на себе рубаху, перетянул ею икру. — Изувечили, скоты... Нашли кого изувечить — старика.

Мелькнула знакомая тень — неясная, изогнутая, хищная, старик напрягся — это был тот самый хитрец, который ранил его в плечо. Старик оглянулся — есть ли в избе, в дыму и вони место, куда можно отползти, замереть, потом снова зацепился глазами за тень — она неожиданно сжалась, слилась с землей.

«А-а-а-а! — возник в старике долгий торжествующий крик. — Чувствуешь свою погибель, сука!»

Старик просчитался — в окне мелькнула рука с зажатой гранатой, пальцы разжались, и граната нырнула в дым, стелившийся по полу. Старик услышал ее стук и, растопырив локти, попытался отодвинуться в сторону. Не успел.

Пласты дыма приподняло над полом, и у старика под своими ногами раздался взрыв.

Он отчетливо, словно это происходило и не с ним, услышал треск собственных костей, перерубаемых осколками, гнилой хруст мышц, сухожилий, ему сделалось жарко, нестерпимо жарко, и он закричал.

А вот крика своего старик не услышал — он был еще жив, изрублен, измочален осколками гранаты, чтобы взрыв рассеял побольше осколков, на нее надели специальную английскую «рубашку», но был жив.

Боли он не чувствовал, чувствовал что-то другое.

Он увидел себя среди старух в тихом, пахнущем мочеными яблоками и прелой шерстяной пряжей приюте, ловил на себе участливые взгляды, и в душе у него рождалось что-то благодарное, теплое, он приветливо улыбался им, одаривал яблоками, неожиданно оказавшимися у него в руках, — каждой старухе по яблоку, они вежливо кивали ему и произносили одну и ту же фразу:

— Теперь ты наш, теперь ты пойдешь с нами.

— Пойду, пойду, — кивал им Тимофей Гаврилович, — теперь мне некуда деваться, я ваш...

Словно посчитав свою миссию выполненной, старухи начали исчезать, одна за другой. Когда их не стало, Тимофей Гаврилович понял, куда они его приглашали... Ведь старухи-то — мертвые. Все до единой.

Подоспел Вырлан вовремя — дом горел, подожженный с трех углов, с четвертого карательная группа поджечь его не могла — мешал старик, он все время хлестал из своей винтовки. Перед домом валялось в неестественных позах несколько человек — убитые — сразу определил прапорщик. Он остано-

вил своих людей. Трех во главе с Беловым послал слева, по низу сопки, поросшей лиственничником. Наказал:

— Постарайтесь подстрелить пулеметчика. Без пулемета мы их одолеем быстро. С Богом!

Было бы хорошо по мостку перебраться через реку и незамеченным пройти вдоль правой гряды сопки, закупорить горловину долины и взять налетчиков в мешок, но это потребует слишком много времени... Надо атаковать. Сзади народ подходит — Кланы явно уже подняла всех. Нужно только как можно ближе подбраться к дому незамеченными...

Подожгли близко — метров семьдесят осталось, когда раздался выстрел. Таиться больше не было смысла. Вырлан командовал:

— Вперед!

Он бежал к дому и чувствовал, что от собственного топота у него разламываются виски, грохот каблуков рождает в голове боль, еще что-то, совсем непонятное — какую-то незнакомую тупость, неверие в происходящее. Мельком увидев на одежде убитых погоны семеновской армии, Вырлан понял, в чем дело.

Метрах в двадцати от дома на него из кустов вывалился казак с висачими, будто у запорожца, усами и винтовкой наперевес. Вскинув трехлинейку, он нажал на курок. Осечка. Вырлан ткнул в казака револьвером и также нажал на курок — и у него осечка. Вислоусый вывернул руки, обе сразу, чтобы согреть Вырлана прикладом, но прапорщик оказался проворнее и ловчее — резко, будто в боксе, качнулся в сторону и ударил рукоятью револьвера казака в висок. Вислоусый вскрикнул по-заячьи жалобно и упал, выронив винтовку. Прапорщик, подхватив ее, кинулся было вслед за своими людьми, но тут же остановился, резко отпрыгнул в сторону и развернулся на сто восемьдесят градусов — фронт научил его совершать и не такие кульбиты. Война вырабатывает в человеке животный нюх, в момент опасности каждая пора, каждая волосинка, каждый миллиметр кожи обладают повышенной, почти звериной чувствительностью — так и сейчас: едва Вырлан метнулся в сторону, как около его головы просвистела выпущенная из револьвера пуля, очень близко — жар раскаленного металла опалил щеку.

Стреляя вислоусый. Вырлан завалился на бок, уходя за полусохлый куст боярышника, — пока падал, выдернул свободной рукой револьвер из кобуры, выстрелил из него раз,

потом другой, второй выстрел угодил вислоусому точно в выемку между двумя ключицами, вогнав в тело латунную пуговицу гимнастерки.

Прапорщик, сунув револьвер в кобуру, поднялся с земли, оттянул затвор винтовки, вытряхнул патрон, загнав в ствол новый, побежал догонять своих...

Он бежал, размахивая винтовкой и лоя грудной клеткой собственное сердце — ему казалось, оно не выдержит бега, вот-вот даст сбой, захлебнется, ноги словно сами по себе опечатавали землю — хлоп-хлоп-хлоп, быстрее, быстрее, быстрее, к горящему дому.

Тут на Вырлана налетел еще один казак — плечистый, с колючими крохотными глазками, похожими на шляпки гвоздей.

— Вы-то, ваше благородие, нам и нужны, — простуженно прошипел он и засмеялся, вскидывая винтовку.

— На, держи, — выкрикнул Вырлан и плоско, словно меч, швырнул казаку винтовку, отнятую у вислоусого.

Выстрелить казак не успел, лицо у него сделалось озадаченным, и он едва не уронил свою винтовку, чтобы поймать другую, поймал и пока соображал, что делать с двумя винтовками, Вырлан успел выстрелить — этого времени ему как раз хватило для того, чтобы выдернуть из кобуры револьвер.

Казак, словив пулю, дернулся, крохотные колючие глазки его сжались, мигом посеревшее лицо поползло в сторону, и он, ослепший, продолжая держать в руках две винтовки, пошел на Вырлана. Прапорщик выстрелил еще раз. Казак продолжал идти, по-прежнему держа в руках винтовки. Прапорщик выстрелил в третий раз.

Казак, словно заговоренный, продолжал идти. Может, он действительно был заговоренный, опоев нечистой силой и его надо бить не обычной пулей, а серебряной, как, собственно, и положено расправляться с нечистью?

Прапорщик выстрелил еще раз. Казак остановился, уронил винтовки и в следующий миг повалился назад, так и грохнулся столбом — во весь рост шел, во весь рост и упал. Вырлан стер рукою пот со лба, дунул в ствол револьвера и побежал было к дому, но потом охнул, быстро возвратился за винтовкой и понесся к дому.

Прапорщик бежал, спотыкаясь о камни и корни деревьев и уже рядом с домом неожиданно столкнулся лицом к лицу с поручиком Емцовым, пробормотал неверяще:

— Вы?

— Я! — Зловещая улыбка на мгновение возникла на тугощеком лице Емцова. В правой руке он держал револьвер, левой, продолжая улыбаться, помахал прапорщику, сделал этаким прощальным «куп де грас» одними пальцами, будто имел дело с гимназисткой.

Лучше бы поручик этого не делал, хамский жест лишь разозлил прапорщика, он коротко, без размаха, двинул прикладом винтовки по руке Емцова, по пальцам, в которых был зажат револьвер, выбил его, поручик вскрикнул от боли, отскочил от Вырлана в сторону и заорал что было силы:

— Сволочи!

Прапорщик молча, действуя будто во сне, почти автоматически, ударил его прикладом во второй раз — металлической пластиной, привинченной к торцу приклада, опечатал лоб поручика. Емцов, пытаясь удержаться на ногах, завмахивал руками, его повело, будто пьяного, в сторону, и он завалился на куст стланика.

Вырлан подобрал его револьвер, выколупнул патроны, оставил один, нацелившийся тупой головкой в темный зрачок ствола — оружие у прапорщика и Емцова было одинаковое, а патронов никогда не бывает много, — подошел к поручику и выстрелил ему в голову.

Револьвер бросил рядом.

Стрельба вокруг дома усилилась — подоспели казаки с других шурфов, растеклись цепью, охватывая горящий дом, емцовские люди не ожидали такого напора «работяг». «Работяги» метко швырнули несколько гранат, и на земле остались лежать четыре человека — трое убитых, один раненый — трупов на площадке перед домом прибавилось.

Дом уже полыхал целиком, над крышей взвивались рыжие горячие хвосты.

Вырлан выскочил из стланика и чуть не нарвался на пулю — горячая струя прошла воздух, — он отшатнулся от нее, вновь скрываясь в стланике, выругался в полный голос, потом прокричал что было силы:

— Бело-ов!

Куда же подевался Белов?

А храбрый казак, георгиевский кавалер Белов лежал в это время мертвый, уткнувшись головой в угол полыхающего дома, у него уже горели волосы, а на обнаженной шее вспухали пузыри и лопалась кожа. Группа Белова угодила в ловушку, подвело Белова чутье, не сработала фронтальная хватка. Люди,

которым надлежало уничтожить пулемет — стук «льюиса» не напрасно беспокоил опытного фронтовика Вырлана, — угодила в руки самого Емцова. Захваченных станичников казаки вознамерились увести с собой — земляки все-таки, — но Емцов подал другую команду:

— Расстрелять!

— Но как же, господин поручик, ведь это же свои люди, такие же, как и мы, казаки... Тогда зачем же мы брали их в плен? — вступился было старший урядник Кобылин, пожилой человек, известный в конвойном взводе — имелся и такой взвод при штабе — как борец за справедливость.

— Я сказал: расстрелять — значит расстрелять. Иначе я сделаю это сам, — Емцов рванул с револьверной кобуры кожаную петельку, — л-лично!

Белова с двумя казаками расстреляли у стены горящего дома.

— Когда пламя разгорится пожарче, тела бросьте в огонь, — распорядился Емцов.

— Не по-христиански это, господин поручик, — пробурчал Кобылин, — русские же люди. Их похоронить надо...

— Выполняйте, что приказано! — сорвался поручик на крик.

Через десять минут не стало и самого Емцова.

Стрельба вокруг дома усилилась.

Впрочем, усилилась она ненадолго — прошло еще немного времени, и стало тихо. Вырлан обежал дом, нашел трупы Белова и двух казаков, ушедших с ним, выматерился, понесся дальше в поисках Тимофея Гавриловича, старика не обнаружил и нырнул было в горящее помещение, но тут же выскочил обратно: гимнастерка на нем дымилась. Тимофей Гаврилович явно погиб, но прапорщик, не желал верить в это:

— Не может этого быть! Не должно быть...

Один из убитых налетчиков лежал в траве, вывернув голову с открытым ртом и уткнувшись макушкой в древний серый пенек; старый сгорбленный солдат со стертými желтыми зубами, застуженными костями и нутром, ценил тепло и, несмотря на лето, таскал с собой свернутую в скатку шинель. Вырлан схватил упавшую рядом с убитым скатку, разорвал веревку, которой та была скручена, и, накинув шинель на себя, вновь шагнул в огонь.

Дед находился в доме — заполз под лавку и лежал там, прикрывшись руками, — естественное движение попавшего

в огонь человека — прикрыться от нестерпимо жгучего пламени чем угодно, хоть собственными руками, поскольку голова дороже рук. Кругом все полыхало, дымило, гремело, выло, щелкало, ничего не было видно, все заволок светлый, плотный, как вата, дым. Вырлан выволок деда из его горящей скоронки и, крихтя, ругаясь, потащил к выходу.

Он почувствовал, а точнее — услышал, как на нем занялась шинель, на спине снова раздался громкий хлопок, резко, удушливо запахло горячей шерстью. Вытащив Тимофея Гавриловича на площадку перед домом, Вырлан повалился на землю, давя прилипшее к шинели пламя и кашляя от едкого жженого духа. Услышал, как недалеко взвыла и подавилась собственным голосам Кланы:

— Деда-а!

Тимофей Гаврилович еще был жив.

Обгорелое, с угольно блестящими скулами лицо его было страшным, борода спалена до самого подбородка и выше — до губ, лишь там, где были усы, осталось несколько клоков волос, кровоточащие губы были широко открыты — виднелись не испорченные цингой и годами зубы да темный, со вздувшимися венами язык... Вырлан сбросил с себя шинель, оставил ее дымиться на земле, подполз к деду.

— Тимофей Гаврилович! — Он взял деда за плечо, но тут же отдернул руку — рубаха, сотлевшая в огне, отслоилась с куском кожи. — Тимофей Гаврилович!

Старик неожиданно засипел, в груди у него родилось ржавое клекотанье, он втянул в себя сквозь зубы воздух и замер.

— Все, отошел. — Вырлан перекрестился.

Кланы вздрогнула. Произнесла тихо и быстро:

— Нет! — Потом, меняясь в лице и стирая рукой слезы, стремительно появившиеся у нее на глазах, добавила: — Нет!

Видно, ее сила была больше силы смерти: старик вновь засипел и открыл глаза.

— Вв... вы... — с трудом, задыхаясь и теряя сознание от боли, проговорил он, — вы... — старик никак не мог одолеть несколько слов, которые хотел произнести, хрипел, хлюпал кровью, скопившейся во рту, и не мог сказать то, что надлежало сказать на прощание Клане и Вырлану, — вы... — взгляд его напрягся, приобрел мученическое выражение, из уголков черного рта потекла кровь, пугающе красная, густая, старик с трудом одолел еще одно слово — взял-таки высоту, — живите...

Старик вздохнул тяжело и замолчал.

Кланя кинулась к нему, затрясла за руку:

— Деда! Деда! — Но старик молчал.

Вырлан опустился на землю, обхватил руками голову, замер, будто его прихватила сильная боль и теперь он пытается перебороть ее. Очнувшись он, когда над ним склонился светлобородый казак, заглянул в глаза. Прапорщик поднял голову и, не узнавая казака, спросил:

— Чего нужно?

— Мы тут мертвяков собрали, ваше благородие. Своих — в одну кучу, чужих — в другую.

— Сколько нас осталось в живых?

— С вами и с Кланей — шесть человек.

— А... их? — Вырлан тяжело, морщась от боли, повел головой в сторону.

— Ни одного. Перебили всех.

— Надо вырыть три могилы. Две побольше, братских — для своих и-и... для чужих, одну — для Тимофея Гавриловича. После этого нужно уходить. Всем! Кто куда может. Через сутки, максимум через сутки с хвостом здесь будет контрразведчики. — Вырлан поморщился, поводит плечами — гимнастерка на спине прогорела, в рванине было видно обожженное тело. — И вот еще что... Соберите все оружие, раздайте. Гранаты соберите отдельно. Мне нужно штук двенадцать гранат.

Гранат нашлось почти четыре десятка — карательная группа была вооружена до зубов. Вырлан собрал гранаты в мешок и сел на лошадь.

— Вы ройте могилы, я скоро вернусь, — сказал он казакам. — Без меня не хороните, — развернул лошадь на задних ногах, будто лихой наездник, хотя лихим наездником никогда не был, и поскакал в сторону выработок.

Казак принялись рыть могилы. Лопат было всего две, остальны в шурфах; могилы рыли, сменяя друг друга, поочередно, угрюмо поглядывали на Кланю. Она сидела рядом с телом деда, молчала — лицо у нее было неподвижное, словно с мороза замерзшее — иногда протягивала руку к нему, гладила, всхлипывала зажато и снова замирала.

Казак продолжали рыть могилы.

Вскоре до них донесся далекий взрыв, за ним второй — Вырлан гранатами подрывал шурфы.

Молча переглянувшись, казак оставили лопаты в сторону.

— Вот и кончилась наша спокойная жизнь. Теперь травить нас будут... Как зайцев.

— В Китай надо уходить, в Китай... Подальше от Семенова и всей его шелупени.

— Можно и в Монголию.

— В Монголию нельзя. Это вотчина Семенова. Найдет.

— А лучше всего — во Владивосток. Я слышал — из Владивостока атамана поперли так резво, что он не только сапоги — зубной порошок даже забыл.

Послышался третий взрыв. За ним — четвертый.

— Правильно поступает прапорщик, золотые шурфы эти еще пригодятся...

Казак дружно вздохнули и вновь взялись за лопаты.

Гранаты брали породу слабо — входы хорошо заваливать динамитом, а граната для здешнего камня — пшик, не больше. Динамита же оставалось всего ничего — несколько шапек. Все с изъяном. Вырлан пересчитал шапки — четыре штуки. Хотя и с изъяном они, а в дело сгодятся. Он связал три гранаты вместе, к ним веревкой прикрутил шапку и швырнул в первый шурф, из которого вытекал слабенький вонючий дымок, оставшийся от двух только что взорванных гранат.

Связка сработала — шурф рухнул, будто гнилой, верх входа сомкнулся с низом, в лицо Вырлану ударило мелкой каменной крошкой. Он отшатнулся от шурфа. Вдогонку ударила еще одна волна, запоздалая — это взорвался отслоившийся кусок динамита.

Следом Вырлан взорвал второй шурф — тот, которым дед гордился особо, с толстой ниткой жильного золота.

Потом засыпал вход в третий шурф.

Через двадцать пять минут золотой прииск, давший семениновской казне без малого пятнадцать пудов золота, перестал существовать.

Когда прапорщик вернулся к пепелищу, оставшемуся от дедовского дома, могилы были уже вырыты. Более того, один из казаков скорехонько — счет времени уже шел на часы, но скоро он пойдет на минуты, и это понимали все, — сколотил три креста.

— Эх, и гроб старику сколотить некому, — расстроено произнес Вырлан.

— Гроб есть... — всхлинула Кланя, — деда сколотил его для себя заранее и спрятал в сарае... Я была против, говорила — это плохая примета, и как в воду глядела... — Девушка опять всхлинула.

Сарай не сгорел, гроб, замаскированный дранкой и досками, тоже был цел, а вот одежды, чтобы обрядить покойника, не было, все осталось в доме и было съедено огнем. Не было ее и у Вырлана, и у казаков — все также уничтожил огонь. В сарае нашлась старая телогрейка деда, в которой тот зимой колот дрова, в нее и обрядили Тимофея Гавриловича.

— По погибшим — дать три залпа, — распорядился Вырлан. — Никто из них не виноват в том, что произошло. Виноваты совсем другие люди. Приказ им был дан свыше.

Над могилами прогремело три залпа. Вырлан отыскал в сарае три фанерных дощечки. На одной из них написал: «Корнилов Тимофей Гаврилович», дату рождения не знали ни он, ни Кланыя, поэтому угольным, разведенным на керосине лаком вывел только дату гибели старика: «19 июля 1921 г.»; затем для надежности еще раз прошелся по надписи кистью и прибил дощечку к кресту.

Над могилой казаков, работавших вместе с ним, Вырлан установил дощечку с выведенными на ней фамилиями — скорбный список оказался удручающе длинным, на могиле людей Емцова написал: «Эти люди ни в чем не виноваты, они выполняли чужой приказ. Пусть земля им будет пухом», — и написал дату их гибели.

Посадил на коня Кланю, на второго коня забрался сам. Оглядел оставшихся в живых казаков.

— Все, мужики, разбегаемся по домам, — сказал он. — Или... кто куда хочет, вы теперь — вольные птицы. Здесь вам покоя не дадут. Старайтесь стороной обойти Гродеково и Николаев-Уссурийский, там любого из нас сразу спапают. Во Владивостоке тоже нежелательно появляться. На всякий случай, как говорится. Все остальные города и веси для вас открыты, вплоть до Москвы и Парижа. — Вырлан невесело улыбнулся. — Оружие, коней разделите по-братски. Прощайте. — Он поклонился казакам и тронул коня рукояткой легки.

Конь бодро взял с места рысью, двинулся к каменной теснине, прикрывавшей долину, будто крепостные ворота; Кланыя, оглядываясь, всхлипывая и на ходу вытирая ладонью глаза, поскакала следом.

Речка, потерявшая хозяев, сделалась тихой, задумчивой и — вот странная вещь — какой-то облезлой: берега у нее оказались слоистыми, в выковыринах и щелях, в лишаях, будто пораженные неведомой болезнью, деревья поникли, птиц не было слышно, и шума воды не было слышно. Был слышен только стук копыт, и больше ничего.

...Тем временем к атаману Семенову пришло сообщение, что Унгерн потерпел сокрушительное поражение и откатился с войсками назад, в Монголию. Подробностей того, как это произошло, атаман не знал. Продуктов в Гродеково по-прежнему не было. Семеновцы голодали. Петля голода стягивалась все туже, в частях начали открыто высказывать недовольство атаманом, семеновские контрразведчики пытались придавить языкастых, но всех же не придавишь...

Дело дошло до того, что семеновцы довели свой рацион до обыкновенной болтушки — убогой затирухи, приготавливаемой из серой муки с водой. Атаман, чтобы показать — он страдает так же, как и все, — тоже перешел на болтушку, морщился, плевался, но демонстративно ел ее.

Впрочем, как потом он признался, от этого самопожертвования не было никакого проку — поступок ни уму ни сердцу. Хоть и верил Семенов в «дары природы» — лес да реки, мол, прокормят, на деле это оказалось не так — ни изюбриного мяса с кабанятиной, ни лосося-слабосола, ни грибов с ягодами у семеновцев не было.

Оставалось одно — подтягивать брючные ремни. Но делать это до бесконечности было нельзя.

Атаман Семенов оказался прижатым к стенке. Он решил уйти из России.

Трудно далось ему это решение. Он скрипел зубами, злился, произносил правильные речи о необходимости дальнейшей борьбы, грозил отвернуть предателям головы, но все хорошо понимали, в том числе и сам Семенов: время его прошло.

Надо было попытаться в последний раз договориться с братьями Меркуловыми. Атаман отправил во Владивосток начальника своего штаба генерал-лейтенанта Иванова-Ринова. Тот вернулся с неутешительным вердиктом: атаман должен немедленно покинуть Приморье, только после этого его части будут поставлены на довольствие. Но не как солдаты регулярного войска, а как беженцы.

Это было унижительно.

Атаман едва не плакал:

— Куда я поеду из России? Ведь я же — русский человек! Иванов-Ринов не стал интеллигентничать, лукавить, подыскивать слова помягче.

— Я им так и сказал. В ответ мне было заявлено: куда хочешь, туда пусть ваш атаман и едет!

Семенов сжал кулаки, желваки у него напряглись, один ус привычно дернулся и медленно поехал вниз, второй пополз вверх, в глазах злыми далекими огоньками вспыхнула такая лютая тоска, что Иванов-Ринов с опасением подумал: как бы атаман не застрелился.

Но огоньки в глазах атамана погасли, вместо них в уголках век появились две маленькие слезки, повисли на ресницах. Атаман не замечал их...

Покинул он Россию четырнадцатого сентября 1921 года, на следующий день после своего дня рождения: тринадцатого сентября ему исполнился тридцать один год.

Генерал-лейтенант Семенов на пароходе отбыл в Японию: надеялся, что новые японские власти вспомнят о его старых заслугах и сменят гнев на милость. Но ожидания его были тщетными: ни в Японии, ни в Корее, находившейся под полным контролем микадо, ни на территории японских концесий в Китае атаману жить не разрешили.

В японском городе Кобе у местного портного, большого знатока европейской моды, он сшил гражданский костюм и, как потом признался, впервые в жизни натянул на себя штатскую одежду. Покрутился перед зеркалом, сам себе не поправился — ничего общего у усатого задастого дядька, который смотрел на него из зеркала, с грозным атаманом Семеновым. Но делать было нечего — к штатской одежде следовало привыкать, это было одним из условий жизни, ожидавшей бывшего атамана.

Из Японии ему пришлось перебраться в Шанхай — произошло это в конце сентября 1921 года, — но и в Шанхае Семенову запретили жить, устроили ему самый настоящий «пятый угол», от унижения атаман готов был взять в руки пулемет и почистить шанхайские улицы. Делать этого было нельзя: Шанхай 1921 года — не Чита 1919-го, поэтому, поразмышляв немного, атаман решил «лечь на дно» и поселиться в Китае нелегально.

Дорога в Россию, к своим, ему конечно же была заказана. Оставалось одно: ждать. Вдруг изменится ситуация в Москве, на место Ленина с Троцким придет иной человек, способный прощать — простит Семенову его грехи и ошибки, и тогда жизнь атамана сама изменит свой цвет, из черной превратится в розовую, и тогда ему сделается легче дышать, но не тут-то было — такой человек в Кремле не появился.

Хорошо, что золотые концы Семенов держал в своих руках, всех, кто имел какое-либо отношение к этому, атаман в последние два месяца отгеснил, поэтому, выхлопотав через подставных лиц землю для беженцев в Монголии и в Китае, Семенов начал строить жилье.

И себя, любимого, при этом, естественно, не забыл. Но это — особая статья, которая нигде и никогда не обсуждалась, документов на этот счет не осталось никаких, поэтому можно смело считать, что мы имеем дело с одной из тайн атамана Семенова. А тайн он породил много.

В конце концов атаман осел в пригороде Дайрена, как японцы на свой лад величали порт Дальний (китайцы называли его Далянем) — помогли старые связи, если бы не они, Семенов вряд ли бы зацепился в Дайрене...

Иногда Семенов выходил на второй этаж своего большого дома и, стоя под далеко выдвинутой крышей, будто под навесом, долго вглядывался в сизую даль, в задымленное, с расплывчатыми очертаниями пространство, по лицу его пробегала легкая дрожь, глаза делались печальными и яростными одновременно. Ему хотелось до стона, до задавленного крика, до слез побывать в местах, в которых он родился, пройтись по берегу Онона, съесть ленка, запеченного на рожне, поклониться родным могилам, постоять у церковной ограды — сама церковь, поди, развалена большевиками, — и обрести вторую жизнь, второе дыхание. Но это не было дано. Увы!

Постаревшим, сгорбившимся, с потухшими глазами он удалялся в глубину дома и запирался в своем кабинете. Иногда сидел там часами, не подавая признаков жизни. Что он там делал — никто не знал. Домашние боялись — а вдруг однажды из этого кабинета донесется выстрел: ведь нервы могут не выдержать и атаман покончит с собой...

Но нервы у Семенова были крепкие.

Не стало Григория Семенова в 1946 году, до своего пятидесятишестилетия, до дня рождения, он не дожил двух недель, казнили атамана тридцатого августа...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Правительство братьев Меркуловых просуществовало ровно двенадцать месяцев. Летом 1922 года, когда японские солдаты готовились покинуть Приморье — на этот раз уже

окончательно, — это правительство метлой было выметено из Владивостока.

Осенью в город пришли красные, по Миллионке азартно маршировали люди с разнокалиберными, разномастными винтовками, в обмотках, в буденновских шлемах и лихо горланили песни про «штурмовые ночи Спасска, Волочаевские дни», — так горланили и так четко и громко отбивали шаг, что в окнах публичных домов вылетали стекла.

Больше никто не делал попыток сменить в городе власть.

Бывший атаман, находясь в Дайрене, обзавелся челядью, кое-кому из старых своих друзей выделил место в своем просторном доме и о прежней своей жизни старался не вспоминать.

В доме, перед иконами, привезенными из России, всегда теплилась лампада, на стене висело оружие, главным украшением коллекции была полученная Семеновым на фронте зимой 1915 года георгиевская сабля с надписью «За храбрость», выведенной на золоченом эфесе.

Хотя до Харбина было далеко — около тысячи километров, Семенов часто наведывался туда: основная часть русской эмиграции находилась именно в Харбине, там кипела жизнь, там была мысль, эмигранты выпускали газеты и журналы, печатали книги, это Семенову было интересно: он сам стал грешить сочинительством, часами просиживал за столом в мучительных раздумьях: о том, какое это дело мучительное, знает каждый литератор.

Иногда Семенов, когда ему делалось одиноко, как одиноко, наверное, бывает только русским людям, покинувшим свою родину, ругал самого себя: зачем ввязался в политику, влез в гражданскую бойню, воевал с красными, выдумал себе тряпичного врага в виде Коминтерна, хотя не в Коминтерне было дело, он — это всего лишь ширма, занавес для кукольных баталий, а за ширмой, на задках, в глуби пространства проходили баталии уже совсем некукольные.

Возвращался он из Харбина с беспокойным сердцем, в дайренской тиши малость отходил, делался домашним, мягким. Семья у него была большая, дети — в основном дочери — Елена, Татьяна, Елизавета — радовали его, в них чувствовалась семеновская порода, красивые, статные, они невольно притягивали к себе взгляды.

С сыновьями было хуже. Славка, тот был парнем нормальным, шустрим, головастым — «в папу», посмеивался Семенов, а Мишка, тот, увы, родился под несчастливой звездой — был инвалидом. С самого раннего возраста.

В Китае Григорий Михайлович почувствовал тягу к хозяйствованию, обзавелся имуществом. Деньги у него были, золото — тоже. Есть предположение, что он приобрел в свое пользование и большую землю, и несколько заводов. Сейчас уточнить это невозможно: после поражения Японии во Второй мировой войне власть в Китае, как известно, переменилась, заводы, фабрики, электростанции, земля стали государственными — все отошли к государству, — кто бы этим добром ни владел.

Семенов лишился того, что имел. Иначе с чего бы ему сидеть в Китае и ждать, когда на голову свалится десант Советской армии?

Об аресте атамана Семенова ходило довольно много слухов и легенд, но все это и были только версии, легенды, слухи. Точно известно было только одно: арестовали его двадцать второго августа 1945 года. Впрочем, и об аресте атамана ходило немало слухов.

Я спрашивал у старых военных разведчиков, в чем причина возникновения великого множества версий ареста Семенова? Ответ был очень прост, собственно, он находился на поверхности: Семенов ушел за кордон с большим золотым запасом — все золото, что имелось на Дальнем Востоке (в этот запас входила, как мы уже знаем, и часть колчаковского золота), он забрал с собою. Золото это надлежало вернуть.

Там, где находится золото, обычно бывают сфокусированы интересы очень многих людей, поэтому так усиленно и работала служба дезинформации. Золото атамана настойчиво искали и красные, и белые, и японцы, и китайцы, и даже американцы, а уж о прочих безродных любителях поживиться и говорить не приходилось. Вот наши органы, в том числе и полевые, фронтовые «смершевцы», и запустили в мир несколько версий ареста атамана.

По одним данным, он якобы был арестован в море, когда уходил в сторону Японии на легкой и быстрой, как птица, яхте, по другим — его случайно узнали в толпе на железнодорожном вокзале в Харбине и задержали. По третьей версии — я об этом писал в газете «Труд» (со слов бывшего капитан-лейтенанта Амурской флотилии Александра Томилова, ходившего в марте сорок пятого года в Китай в глубокую разведку) — Семенов решил переждать смутное для него время и спрятаться у себя в поместье в глубокой пещере, вырытой под домом. Томилов был хорошо знаком с человеком,

который брал атамана в том подземелье — лихим флотским разведчиком Вячеславом Бражниковым.

Бражников был настолько лихим, что дважды удостоивался звания Героя Советского Союза, оба раза он получал Звезду Героя, как говорит Томилов, и оба раза она у него была отнята — старшина Бражников прокалывался на «бытовке». В основном на пьянке.

Сам Томилов два месяца пробыл в Харбине, где одним из столпов русской эмиграции был его однофамилец — князь Томилов — человек надменный, но добрый. Капитан-лейтенант выдал себя за родственника князя, точнее — за его племянника, бежавшего из Совдепии, документы на этот счет у Александра Томилова имелись надежные — и «дядя» принял его.

На одном из приемов в Харбине появился и атаман Семенов. Он показался капитан-лейтенанту очень старым, изможденным, высохшим, будто гриб, с шаркающей полунемощной походкой. Но впечатление это было обманчивым — жесткие глаза атамана светились умом и были очень властными. Вот это выражение властности удивило тогда Томилова больше всего: атаман смотрел на собравшихся, будто царь на своих подданных.

В следующий раз Томилов увидел Семенова, когда того вели по длинному тесному коридору теплохода «Хабаровск», стоявшего у Харбинского причала. «Хабаровск» собирался уходить домой. Семенов, усталый, небритый, сгорбленный, с загнанными глазами, глянул на Томилова в упор и не узнал его. Впрочем, трудно было узнать в моряке, на чьем кителе красовались золотые погоны капитан-лейтенанта, «племянника» князя.

Имелись и другие версии ареста атамана Семенова, но они были всего-навсего версиями, вымыслом, призванным скрыть правду.

Велико же было удивление сотрудников газеты «Труд», когда через четыре месяца после публикации моего очерка из Австралии неожиданно пришел толстый пакет — одиннадцать страниц убористого текста, напечатанного на портативной машинке и подписанного младшей дочерью атамана — Елизаветой Григорьевной Явцевой.

Е. Явцева рассказала, как все было на самом деле:

«В начале августа 1945 г. нам стало известно из средств местной массовой информации, что советские войска перешли границу и движутся в глубь Маньчжурии. В Дайрен вой-

ска пришли 31 августа или 1 сентября, точно не знаю, но навсегда запомнила, что задолго до них, а именно 22 августа, на аэродроме между нашим поселком и Дайреном высадился специальный десант. Это случилось так.

Во второй половине дня в небе низко пролетели и повернули в сторону аэродрома несколько самолетов с советскими опознавательными знаками. Примерно через два — два с половиной часа к нашему дому подъехал автомобиль. Из него вышли пять человек.

Один из них был штатский — шофер советского консульства (мы его знали), четверо — военные, офицеры. Трое были вооружены автоматами, причем держали их на изготовку, а четвертый, майор, был с револьвером в руке. В это время сестра Тата (Татьяна), я и наш трехлетний племянник Гриша гуляли в саду перед домом, недалеко от ворот, всегда настежь открытых. А отец с нашим братом-инвалидом Мишей сидели в тени на открытой галерее, опоясывающей дом по второму этажу. День был жаркий, я даже помню, что отец тогда был в шортах и белой футболке.

Мы с сестрой, увидев военных, сразу замерли на месте, а они быстро подошли к нам, спросили строго и громко: «Где ваш отец?» Отец, видимо, все видел и вопрос услышал. Он подошел к перилам и тоже громко ответил: «Я здесь, господа офицеры!» И тут же отец велел нам проводить военных в дом.

Мы с Татой открыли парадную дверь и, как полагается, предложили офицерам войти. Но они в ответ резко и строго приказали: «Входите вы первыми!» — и продолжали держать автоматы наготове. Мы провели «гостей» в гостиную, где их уже ожидали отец и его старый друг, соратник по Первой мировой и Гражданской — генерал-майор Е.Д. Жуковский (он всегда жил в нашей семье на правах близкого друга отца). Настороженно оглядываясь вокруг и все время держа автоматы наготове, военные вошли в гостиную.

Убедившись в том, что никакой засады нет и что никто им не оказывает сопротивления, офицеры по приглашению отца сели и положили автоматы на колени. После этого мы с Татой вышли.

Наш брат Миша был старше нас (ему было в то время 22 года, моей сестре Тате — 17, а мне — 15 лет), он хорошо понимал, зачем пришли офицеры, и в нескольких словах все объяснил нам. Встревоженные, мы, конечно, уже были не в состоянии далеко отойти — стояли все трое поблизости у открытых дверей и прислушивались к тому, что происходит в

гостиной. А там шла беседа на вполне равных и мирных тонах, никто даже голоса не повышал. По отдельным словам и фразам мы могли понять, что разговор шел то о Второй мировой войне, то о Первой. (И та и другая — с Германией; и царские, и, наверное, советские офицеры прошли через фронт.)

Беседовали они очень долго. Уже вечерело. Гостиная, где они сидели, через арку переходила в столовую. По заведенному порядку, когда наступило время, к отцу подошел наш повар и спросил, можно ли подавать ужин. Прежде чем ответить, отец, по закону гостеприимства, предложил «гостям» отужинать. Те охотно согласились. Потом и нас позвали.

Ужинали все вместе. За большим нашим столом, кроме приезжих-военных, сидели и мы все: отец, Е.Д. Жуковский, наш брат Миша, мы с Татой и маленький внук отца — сын нашей старшей сестры Елены — Гриша. (Елена была замужем, жила в Харбине, а сына привезла к нам на лето.) Ужин был весьма скромный, какими были трапезы у всех в те военные времена. Ведь японцы уже несколько лет вели войну с Америкой, по всей Маньчжурии (она была под оккупацией Японии) продукты выдавались всем только по карточкам, как и в Советском Союзе. Ну и, конечно, никакого вина не было и в помине.

Я думаю, нет нужды объяснять, что все мы пережили в тот день — драматичность события очевидна. Поэтому все происшедшее врезалось в память, все помнится так, будто было вчера.

За столом сидели долго, пили чай, беседовали. Когда все закончилось, кто-то из военных спросил: «Ну, а каких же убеждений вы, господа, придерживаетесь сейчас?» Не ручаюсь за дословность, но отец и Жуковский единодушно ответили примерно следующее: «Все тех же, что и в Гражданскую войну, — за которые у вас расстреливают. Мы — русские офицеры, мы давали присягу Вере, Царю и Отечеству и ей, этой присяге, остались верны — революцию не приняли и боролись с большевизмом до последней возможности».

На это кто-то из советских сказал: «Ну что ж, в таком случае, по нашим законам вам за эти убеждения придется ответить и понести наказание».

Вскоре после этого майор (наверное, он был там главным) заявил, что им пора ехать и что отец должен поехать с ними.

Мы поняли, что отец арестован. Миша, наш брат, помнится, как-то держался, а мы с Татой заплакали. Майор, увидев, что мы плачем, неожиданно стал успокаивать нас: «Не надо

плакать, я вам еще привезу вашего папу, через несколько дней привезу...»

Отца офицеры увезли с собой, а Жуковского оставили, почему-то не арестовали в тот раз (хотя он тоже было засобирался).

Мы верили и не верили майору. Но на четвертый день рано утром увидели, что к нашему дому подъехал автомобиль. За рулем был тот самый майор, а рядом с ним наш отец. Больше никого с ними не было. Майор выполнил свое обещание — привез отца. И я до сих пор не понимаю и удивляюсь: зачем, почему он это сделал? Какими чувствами или соображениями он был движим?

Как бы то ни было, но весь этот день отец провел с нами. Мы помогли ему собрать необходимые вещи — смену белья, одежды и прочие мелочи. Вместе с нами все время находился и майор. Пока мы все собирали, он с интересом осматривал кабинет отца. Там был портрет последнего русского императора — Николая II и висела красивая икона Св. Георгия Победоносца. На комод лежала главная награда царя, гордость отца — именное «Золотое Георгиевское оружие» (шашка). А рядом с шашкой была шкатулка — в ней хранились остальные четырнадцать боевых наград за ту, Первую мировую войну. Тут же, на комод, всегда стояла скромная фотография матери отца — нашей бабушки — и лежал небольшой выцветший мешочек — кисет с горстью русской земли.

Майор внимательно все это рассматривал, изредка задавая отцу вопросы.

Потом мы все обедали, а после обеда перешли в гостиную. Майор увидел там открытое пианино, спросил, кто из нас играет, и когда все указали на меня, попросил сыграть что-нибудь. Естественно, в тот момент мне совсем не хотелось играть, не до музыки было, и тем не менее я села играть. Наверное, ноты были открыты на странице, где была «Баркарола» Чайковского, потому что я хорошо помню, что сыграла именно «Баркаролу». Потом еще что-то. Все тихо слушали, на душе у всех нас было тревожно. Майор очень лестно отозвался о моей игре. На это я — хорошо помню — ответила, что собиралась в этом году поступить в консерваторию, а теперь неизвестно что будет. И дальнейшие слова майора я тоже хорошо запомнила. Он сказал: «Вот переедете в Советский Союз и там завершите свое музыкальное образование — консерваторий там много. И не тревожьтесь — у нас в СССР по нашей сталинской конституции дети за отца не отвечают».

Вполне возможно, что майор говорил искренне, но увыл — его слова о конституции разошлись с реальной жизнью. Через два года и одиннадцать месяцев (24 июля 1948 г.) мы, три сестры — Елена, Татьяна и я — были арестованы, увезены в Союз, в так называемые «внутренние тюрьмы КГБ» (тогда — МГБ), а потом в Сибирь, в сталинские лагеря. (Братьев наших, Вячеслава и Михаила, забрали вслед за отцом, в том же 1945 году. Всем нам, детям атамана Семенова, «дали» по 25 лет. Кроме Михаила — инвалида с детства. Его расстреляли в Уссурийске 18 марта 1947 г.)

На этом наше свидание с отцом еще не закончилось. Наш дом был расположен примерно в трехстах метрах от моря. Не знаю, по чьему предложению, но отец и майор сходили туда вдвоем ближе к вечеру. Ходили недолго — искупались и вернулись.

А потом еще был вечерний чай. Отец чувствовал приближение расставания, его внутренняя тревога передавалась и нам. Это была последняя трапеза отца в своем доме в кругу семьи.

После чая майор обратился к отцу по имени-отчеству и сказал, что пора ехать. Отец энергично встал из-за стола. Мы все перешли в гостиную, по русскому обычаю присели на дорожку и помолчали. Затем отец взял небольшой свой чемоданчик, и мы двинулись к выходу.

...Мы подошли к машине, стоявшей у ворот. Отец поставил чемоданчик в машину и повернулся к нам. А майор закурил и, наверное сочувствуя, понимая напряженность момента, деликатно отошел в сторону. Отец нас по очереди перекрестил, поцеловал каждого и сказал прощальные слова. Он произнес их один раз, а у меня они всю жизнь звучат в ушах. Вот его слова:

«Прощайте, дети... Я лишил вас Родины, а теперь вот возвращаю. Наверное, ценой своей жизни. Я был всегда противником большевизма, но всегда оставался русским. Я любил Россию и русским умру. А был я прав или не прав — покажет время. Живите честно. Если не сможете, не будете в силах делать добро людям, то хоть не творите зла. Живите по-христиански. Ну, прощайте...»

Потом он отвернулся, быстро сел в машину. Майор посмотрел на нас, кивнул нам, прощаясь, сел за руль — и они тронулись в путь.

Больше мы отца не видели никогда. О его трагической кончине мы узнали только из газет».

По одним данным, атамана Семенова казнили в Москве, на Лубянке, во внутренней тюрьме, по другим данным — в Хабаровске.

Что же касается ближайшего сподвижника атамана барона Унгерна, то судьба его также оказалась трагичной.

В Монголии Унгерн под своими знаменами собрал несколько крупных отрядов. Потому, почувствовав силу, барон двинулся на территорию России. Под Кяхтой был разбит, попробовал откатиться на юг, отдышаться, перегруппироваться, но на него навалились красные партизаны под командованием знаменитого Щетинкина и регулярные части — 35-я стрелковая дивизия, кавалерский полк и 12-я Читинская дивизия — всего семь с половиной тысяч штыков, две с половиной тысячи сабель, кроме того, у красных на вооружении находились двадцать орудий, два броневика, четыре самолета и четыре парохода, оборудованных для ведения боевых действий на реках.

Когда дело окончательно провалилось и запахло жареным, Унгерн предал его ближайший союзник, князь Суйдун-Гун: чтобы сохранить себе жизнь, он втихую, вероломно навалился на Унгерна, скрутил его и отвез к Щетинкину.

Унгерн был казнен. Были расстреляны также все его сподвижники — белые генералы. Последний из них — Бакич, прорвавший окружение и ушедший в Туву, тоже не избежал чекистской пули.

Что же касается С.А. Таскина, то он некоторое время учительствовал в Монголии, был директором одной из школ, а потом след его потерялся.

Двадцать пятого октября 1922 года японские корабли забрали на борт последнего своего солдата и покинули русские берега. Вместе с японцами покинула Россию и русская флотилия под командованием адмирала Старка. К слову сказать, в составе флотилии находился бывший крейсер береговой охраны «Лейтенант Дыдымов». На кораблях флотилии уплывали не только моряки, но и казаки — в том числе и часть семеновцев, — плыли в неведомое. С семьями, со скарбом, с детьми.

Число покидавших Родину превышало десять тысяч человек.

Люди в основном ютились на палубах, кое-как прикрывались от дождей брезентом, старыми шинелями, кусками фанеры, листами ржавой жести, подобранными на берегу во время заходов в китайские порты, откуда их через пару-трой-

ку дней выгоняли взащей. Люди мерзли и болели. Тех, кто умирал, хоронили по-морскому — в воду. Потому что никто не знал, когда им в следующий раз дадут возможность пристать к берегу, а если чалка⁷⁸ корабля все-таки ляжет на береговой кнехт⁷⁹, врытый в прочный грунт, то дадут ли местные власти положить умерших в землю...

И тем не менее часть казаков сумела сойти на берег и закрепиться в Посьете, еще часть — в Гензане. Сделали попытку высадиться также на острове Фузан, около которого в мае 1921 года столько неприятных дней провел на «Киодо-Мару» атаман Семенов, но власти Фузана, контролируемые японцами, потребовали, чтобы адмирал Старк немедленно покинул остров.

Измотанная флотилия вместе с пассажирами вновь вышла в море. На календаре стоял уже декабрь 1922 года. Адмирал решил идти в Шанхай.

По пути флотилия угодила в свирепый тайфун — типичное явление для Желтого моря этой поры. Корабли разметало и поодиночке начало сносить на юг, к островам Рюкю.

Возле Тайваня погиб «Лейтенант Дыдымов», столь памятный и Семенову, и фон Ваху. Самого фон Ваха, кстати, с лета 1921 года никто не видел. Вместе с «Дыдымовым» на дно моря ушли и люди — и экипаж, и пассажиры, мир их праху.

Буквально через несколько дней там же, у Тайваня, судьбу «Лейтенанта Дыдымова» разделил еще один русский корабль — крейсер «Аякс».

А флотилия достигла Филиппин, попала там в объятия американских властей и осталась в жарком краю, среди бананов, фиников и манго, навсегда. Семеновские казаки, прибывшие на Филиппины с кораблями Старка, интересовались у смуглокожих красавиц островитянок, можно ли коней кормить бананами или нет? «Говорят, от бананов у коней бывают трескучие запоры», — озадаченно чесали они затылки.

Основная же часть семеновцев все-таки смогла осесть в Китае и в Монголии.

Что касается Монголии, то потомки забайкальских казаков живут там и поныне, образовав целые поселения, строго придерживаясь русских устоев и не растворившись в местной среде. В Китае ситуация сложилась иначе: во время «культурной революции»⁸⁰ китайские власти окончательно вытеснили их из своей страны. Особенно пострадала просвещенная часть эмиграции, жившая в Харбине.

Потомков семеновских казаков, да и самих семеновцев, уже седых, сгорбленных, облезших, я встречал даже в Арген-

тине, в городе Мар-дель-Плата, в Штатах, в теплом Сан-Франциско.

Один из моих товарищей, офицер-афганец Сергей Князев, рассказывал, как он, будучи лейтенантом, со своим взводом нес караульную службу в Монголии километрах в ста двадцати от Улан-Батора.

Жили наши ребята в палатках прямо посреди пустыни, ловили черепах и змей, иногда пускали их в суп, случалось — жарили змеиные шашлыки. Вкусно было.

Но всякая экзотическая еда обычно очень быстро надоедает, и Князев, сев в «уазик», покатыл в ближайшее селение, километров за сорок, за мясом. Оказалось, что это русское селение.

Староста — довольно шустрый дедок лет восьмидесяти — принял лейтенанта радушно. Произнес с улыбкой:

— Отчего же не дать мясца землякам из-за границы! Обязательно дадим! — И скомандовал молодому молчаливому мужику: — Сходи-ка, Семен, с господином красным офицером в загон, посмотрите там в четыре глаза, что имеется... Может, чего и глянется.

Семен привел Князева к длинному просторному свинарнику, впустив внутрь, произнес бесцветным голосом:

— Выбирай!

Князев прошел несколько метров и неожиданно услышал позади себя знакомое металлическое клацанье, которое хорошо известно всякому военному человеку.

Стремительно обернулся: Семен, в руках которого еще несколько секунд назад ничего не было, теперь держал здоровенный, с толстой тарелкой, пришлепнутой к стволу, пулемет, похоже, это был старый английский «люис». Князев ощутил, как по хребту у него поползла холодная струйка пота.

Семен повысил тон — в голосе его проклюнулись беспощадно-злые нотки:

— Я кому сказал — выбирай!

Князев спешно ткнул пальцем в ближайшего подсвинка. Семен направил на подсвинка пулемет. Раздалась короткая, в три патрона, очередь.

Подсвинок лег на бок и задергал ногами.

Поскольку с дедом-старостой была договоренность о нескольких свиньях, то Князев незамедлительно показал на следующего поросенка.

Через три минуты все было кончено. Князев зашарил в карманах, доставая деньги, чтобы расплатиться, но Семен

резко, по-казацки рубанул рукою воздух — как делал когда-то атаман — будто врага развалил на две части, и, глядя в сторону, проговорил громко и мрачно:

— Забирай свиней и — вон отсюда! Чтобы духу твоего здесь не было! Ясно?

Вот так приняли офицера Советской армии в семеновском селении в Монголии. Хорошо, что хоть уехал Князев оттуда живой, а ведь мог отправиться на чужом грузовике с пулей в затылке.

Все хорошо, говорят, что хорошо кончается.

Исторические романы невозможно писать, не домысливая чего-то, не привнося в них что-то свое, иначе одни сюжетные концы не свести с другими — ведь от большинства событий, имевших когда-то место, уже ничего не осталось. Ничего, кроме молвы — ни документов, ни свидетельств очевидцев, ни хроник, ни журналистских описаний, ни беспристрастных судебных протоколов.

Вот и приходится что-то додумывать, выстраивать свою линию повествования, иначе говоря — излагать свою версию. Так это сделано и здесь, и хотя я жестко придерживался и хронологии тех лет, и документов, с которыми мне удалось познакомиться, этот роман — авторская версия жизни генерал-лейтенанта Григория Михайловича Семенова.

Кому-то, возможно, не понравится, что я показал атамана слишком мягким, кому-то наоборот — он, дескать, получился слишком жестоким... Но важно учитывать факты. Факты — упрямая вещь, их из нашей истории не выбросишь. По России — прежде всего в Забайкалье, на Дальнем Востоке — за атаманом тянется кровавый след.

Я уже не говорю о том, что прошло столько лет, а в Бурятии, в Читинской да в Амурской областях до сих пор именем атамана Семенова пугают детишек. Я ведь в тех краях родился — в Амурской области и об этом знаю не понаслышке.

Мой дед Федор Сергеевич Сараев был красным партизаном, в хвост и в гриву лупил семеновцев. Не потому лупил, что ненавидел атамана — Григорий Михайлович Семенов был ему просто безразличен, — а потому, что семеновцы лютовали, как никто, сжигали целые деревни вместе с людьми, насиловали беременных женщин, вспарывали им животы и штыками выковыривали неродившихся детишек, маленьких детишек с размаху припечатывали к каменным стенам, стараясь, чтобы черепушка попала на ребро стены, называли их красным отродьем, хотя родители этой сопли-

вой ребятни зачастую никакого отношения к красным не имели.

Не берусь утверждать, что приказы такие отдавал атаман Семенов, ясно, что это делал не он, но за всеми этими зверствами стояло его имя, и этого оказалось достаточно, чтобы приговорить атамана к смертной казни.

О судьбе некоторых сподвижников атамана я уже рассказывал.

О присках же, подобных тому, который возглавлял прапорщик Вырлан вместе с Тимофеем Гавриловичем Корниловым, одно время ходило много легенд, я сам слышал их, потом легенды угасли, ничего от них не осталось. Приск Тимофея Гавриловича также до сих пор не обнаружен.

Все обратилось в обычную дань, в преподнесенный прощлому оброк. Впрочем, думаю, нас еще ожидают открытия, связанные с именем атамана Семенова.

Тайны эти есть, и их надо распечатывать.

Комментарии

Валерий Дмитриевич Поволяев родился в 1940 году на Дальнем Востоке. Окончил художественный факультет Московского текстильного института и сценарный факультет ВГИКа. Автор пятидесяти с лишним книг, в том числе романов «Всему свое время», «Первый в списке на похищение», «Царский угодник» и «Верховный правитель», сборников повестей и рассказов «Не убей меньшего брата», «Коррида в пятницу вечером», «Тихий ветер памяти», «Какого цвета звезды в Севилье», «Кто слышал крик аиста», «Лисица на пороге и др.

Произведения Валерия Поволяева переведены на многие иностранные языки. Он является лауреатом нескольких литературных премий. Неоднократно бывал в различных горячих точках. В.Д. Поволяев — действительный член Русского географического общества, член-корреспондент Международной академии информатизации.

Роман «Атаман Семенов» — новое произведение писателя.

¹ *...герой осады Севастополя...* — оборона Севастополя продолжалась 349 дней: с 13 (25) сентября 1854 по 27 августа (8 сентября) 1855 г.

² *Хунгузы* (кит. хунхуцзы — краснороды) — участники вооруженных банд, действовавших в Маньчжурии с сер. XIX в. до 1949 г.

³ *...печальный август 1914 года.* — Германия объявила войну России 19 июля (1 августа), Франции — 21 июля (3 августа), а 22 июля (4 августа) Великобритания объявила войну Германии, 10 (23) августа на стороне Антанты в Первую мировую войну вступила Япония.

⁴ *...близкие родственники — российский император Николай Александрович и кайзер Вилли...* — Вильгельм II Гогенцоллерн (1859–1941), германский император и король Пруссии в 1888–1918 гг., приходился дядей Николаю II.

⁵ *Вальцева Анастасия Дмитриевна (1871–1913)* — русская эстрадная певица сопрано.

⁶ *Битюг* — крепкий ломовой конь, плотная рослая лошадь.

⁷ *...Алексеевск... назван в честь наследника престола...* — Алексей (1904–1918), сын Николая II, расстрелян в Екатеринбурге. Город в 1924 г. переименован в г. Свободный.

⁸ *Штука* — целый, нетронутый предмет, изделие, рулон ткани.

⁹ *Ворвань* — устаревшее название жира морских млекопитающих и некоторых рыб.

¹⁰ *Пароконка* — повозка, запряженная парой лошадей.

¹¹ *Орден Св. Великомученика и Победоносца Георгия* — учрежден в России в 1769 г. для награждения офицеров и генералов, в 1807 г. — для награждения солдат и унтер-офицеров. Имел четыре степени.

¹² *Неужто газы?* — Впервые в истории войн германское командование применило атаку хлором 22 апреля 1915 г. в Бельгии, под Ипром, отравление получило 15 тысяч человек, из них 5 тысяч умерло.

¹³ *Хохландия* — в просторечии название Украины (от хохол).

¹⁴ *Колчак Александр Васильевич (1873–1920)* — адмирал (1918), в 1916–1917 гг. — командующий Черноморским флотом. В 1918–1920 гг. — Верховный правитель Российского государства. Постановлением Иркутского ВРК расстрелян.

¹⁵ *Крымов Александр Михайлович (1871–1917)* — генерал-лейтенант, участник Первой мировой войны; командовал Уссурийской конной бригадой, затем Уссурийской конной дивизией. В августе 1917 г. корпус под его командой был направлен Корниловым на Петроград, после провала этого похода Крымов застрелился.

¹⁶ *Ландштурм* — вспомогательные части в Пруссии, в Германии, которые в военное время формировались из категории военнообязанных запаса 3-й очереди. В ландштурм входило все мужское население от 17 до 45 лет, не состоявшее на действительной службе.

¹⁷ *...женат государь на немке...* — Александра Федоровна (1872–1918) до замужества (14 ноября 1894 г.) Алиса Виктория Елена Луиза Беатриса — дочь великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвиг IV, внучка королевы Виктории.

¹⁸ *Русские через три года... подписали позорнейший мир.* — 3 марта 1918 г. Россия подписала с Германией, Австро-Венгрией, Болгарией, Турцией Брестский мирный договор, предусматривающий аннексию части российских земель и контрибуцию в 6 млрд марок. Договор аннулирован советским правительством в ноябре 1918 г.

¹⁹ *Дацан* — буддийская молельня у бурят, калмыков и других ламаистов.

²⁰ *Сизальский* — сделанный из сизаля, грубого волокна, получаемого из листьев агавы, из него изготавливают канаты, сети.

²¹ *Аллес* — *капут!* — Нем. *alles* — всё и *kaputt* — разбитый — в просторечии конец, смерть.

²² *Фольварк* — поместье с хозяйственными постройками в Польше, на Украине, в Белоруссии.

²³ *Одер* — изнуренная (обычно) старая рабочая лошадь; тощий, нескладный человек.

²⁴ *Пся крев!* — Польск. *pies krev* — буквально «кровь собаки», собаке отродье.

²⁵ *Бессарабия* — историческая область между реками Днестр и Прут. В 1918–1940 гг. оккупирована боярской Румынией.

²⁶ *Янычары* — здесь: солдаты турецкой регулярной пехоты.

²⁷ *Михаил Александрович* (1878–1918) — великий князь, генерал-лейтенант. 2 марта 1917 г. Николай II отрекся от престола в его пользу, 3 марта Михаил отказался от прав на престол, передав решение о будущем государственном устройстве России Учредительному собранию. По предписанию Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов выехал в Пермь. Расстрелян 13 июня 1918 г.

²⁸ *Шпак* — презрительное название военными штатского человека.

²⁹ *Керенский Александр Федорович* (1881–1970) — политический деятель, адвокат, лидер фракции трудовиков в 4-й Государственной думе, с марта 1917 г. — эсер. Во Временном правительстве министр юстиции, военно-морской министр, с июня министр-председатель, с августа — Верховный главнокомандующий. После Октябрьской революции эмигрировал.

³⁰ *Круг* — собрание в казачьих войсках, решающее вопросы войны и мира, организации походов, выбора атаманов.

³¹ *Муравьев Михаил Артемьевич* (1880–1918) — подполковник, перешел на сторону Советской власти, в 1917 г. во время мятежа Керенского и Краснова — начальник обороны Петрограда; в 1918 г. — главнокомандующий войсками Восточного фронта. В июле 1918 г., изменив Советам, поднял мятеж в Симбирске, его отряд около 1000 человек ликвидирован Красной армией. Убит при аресте.

³² *Добровольческая армия* — формировалась с ноября 1917 г. (сначала М.В. Алексеевым, а затем Л.Г. Корниловым) на добровольной основе из офицеров, юнкеров, кадетов, студентов, гимназистов, казачества. В январе 1918 г. армия насчи-

тывала около 4 тысяч человек, в ноябре — 30–35 тысяч. Действовала совместно с частями Каледина. В октябре 1919 г. потерпела поражение, в марте 1920 г. остатки армии эвакуированы из Новороссийска в Крым, где вошли в состав армии П.Н. Врангеля.

³³ *КВЖД* — Китайско-Восточная железная дорога или Китайская Чанчуньская железная дорога (КЧЖД) — магистраль в Северо-Восточном Китае, построена Россией в 1897–1903 гг. После Русско-японской войны южное направление отошло Японии. С 1924 г. КВЖД находилась в совместном управлении СССР и Китая. В 1952 г. права на КВЖД безвозмездно переданы правительству КНР.

³⁴ *Государственная дума* — учреждена Манифестом 17 октября 1905 г., формально продолжала существовать до 6 (19) октября 1917 г.

³⁵ *...привилегии, данные когда-то казакам государем...* — В 1615 г. Михаил Романов признал за казачеством право личной свободы (освобождение «от тягла»), а также имущественное право, в качестве источников доходов — беспошлинную торговлю «в окраинных городах Российского государства», подтверждаемую правом внешних сношений. Взамен государство требовало от казаков несения службы по охране юго-восточных границ России. Указы Екатерины II признавали их право на занимаемые земли, которые передавались им «в вечное владение».

³⁶ *Монополька* — просторечное название водки, продававшейся в дореволюционной России в государственных винных лавках.

³⁷ *...золотую монету — николаевскую десятирублевку.* — Золотой червонец введен после реформы 1895–1897 гг., вес — 0,774235 г. Монеты находились в обращении до 1914 г. В 1921–1922 гг. использовались как счетная единица.

³⁸ *Унгерн фон Штернберг Роман Федорович* (1886–1921) — генерал-лейтенант, один из руководителей контрреволюции в Забайкалье и Монголии. В 1917–1919 гг. — подручный Семёнова, в 1921 г. — фактически диктатор Монголии, его отряды вторглись на территорию Советской России и были разгромлены. Расстрелян по приговору Сибирского Ревтрибунала.

³⁹ *Временное правительство* — сформировано Временным комитетом Государственной думы, просуществовало со 2 (15) марта до 25 октября (7 ноября) 1917 г.

⁴⁰ *Хорват Дмитрий Леонидович* (1858–1937) — генерал-лейтенант, в 1902–1918 гг. — управляющий КВЖД, в начале

1918 г. объявил себя «временным Верховным российским правителем», в 1918–1919 гг. — верховный уполномоченный администрации А.В. Колчака по Дальнему Востоку. С 1924 г. — председатель отдела «Русского общевоинского союза» на Дальнем Востоке.

⁴¹ *Драгоман* — переводчик, состоящий при Европейском посольстве на Востоке.

⁴² «*О разгоне Учредительного собрания в Петрограде большевиками*». — Заседание Учредительного собрания прошло 5 (18) января 1918 г. в Таврическом дворце в Петрограде, делегаты отказались принимать декреты Советской власти, и в ночь с 6 (19) на 7 (20) января ВЦИК принял декрет о его роспуске.

⁴³ *Цирик* (церик) — боец армии МНР; здесь — воин, солдат.

⁴⁴ *Мандарин* (от санскрит. мантрин — советник) — название чиновников феодального Китая, данное португальцами.

⁴⁵ *Всклень* — полно, вровень с краями.

⁴⁶ *Баргуты* — субэтническая группа в составе монголов, говорят на баргу-бурятском диалекте монгольского языка.

⁴⁷ *Алексеев Михаил Васильевич* (1857–1918) — генерал от инфантерии. В Первую мировую войну начальник штаба Юго-Западного фронта, командующий Северо-Западного фронта; с 1915 г. — начальник штаба Ставки; в марте—мае 1917 г. — Верховный главнокомандующий. После Октябрьской революции организовал и возглавил Добровольческую армию.

⁴⁸ *Корнилов Лавр Георгиевич* (1870–1918) — генерал от инфантерии. В 1914–1918 г. командовал дивизией, затем корпусом, после Февральской революции — войсками Петроградского военного округа, 8-й армией и Юго-Западным фронтом. С июля по август 1918 г. — Верховный главнокомандующий. В конце августа поднял мятеж, после его разгрома арестован, бежал в Новочеркасск, где принял участие в создании Добровольческой армии. Убит при штурме Екатеринодара.

⁴⁹ *Каппель Владимир Оскарович* (1893–1920) — генерал-лейтенант. В 1918 г. командовал группой белогвардейских войск, в 1919 г. — корпусом, армией, с декабря — колчаковским Восточным фронтом.

⁵⁰ *Врангель Петр Николаевич* (1778–1928) — барон, генерал-лейтенант. В 1918–1919 гг. — один из руководителей контрреволюции в Крыму и на Юге Украины, в 1920 г. — главнокомандующий Русской армии. С 1920 г. — в эмиграции.

⁵¹ *Сыровы Ян* (1888–1971) — чех, в сентябре 1914 г. вступил в добровольческую Чешскую дружину (в составе Русской армии на Юго-Западном фронте). Во время мятежа Чехословацкого корпуса (май 1918 г.) командовал группировкой чехословацких и эсеровско-белогвардейских войск. В июне 1919 г. подавил выступление солдат корпуса (Иркутский бунт 1919 г.).

⁵² *Радола Гайда* (Рудольф Гейдль) (1892–1948) — в Первую мировую войну служил в австро-венгерской армии, в 1915 г. — перешел на сторону черногорцев, с 1917 г. — в России командовал ротой, батальоном, полком, дивизией в чехословацких частях. Один из организаторов мятежа Чехословацкого корпуса. После Гражданской войны — в чехословацкой армии. В 1939–1945 гг. сотрудничал с фашистами, казнен по приговору чехословацкого трибунала.

⁵³ *Фистула* — высокий звук мужского или женского голоса, своеобразного тембра, фальцет.

⁵⁴ *Столыпин Петр Аркадьевич* (1862–1911) — русский государственный деятель. В 1906 г. — министр внутренних дел и председатель Совета министров, руководил подавлением революции 1905–1907 гг. Инициатор и руководитель реформы крестьянского наделного землевладения (так называемая Столыпинская аграрная реформа). Смертельно ранен в 1911 г.

⁵⁵ *Директория, правившая Сибирью...* — Временное всероссийское правительство, создано Уфимским государственным совещанием 23 сентября 1918 г. В октябре в Омске был создан Совет министров, 4 ноября военным и морским министром был назначен А.В. Колчак. В ночь на 18 ноября 1918 г. Директория, так и не сумевшая добиться реальной власти, была распущена.

⁵⁶ *Деникин Антон Иванович* (1872–1947) — генерал-лейтенант. После февраля 1917 г. — начальник штаба Верховного главнокомандующего, командующий войсками Западного и Юго-Западного фронтов. Один из создателей Добровольческой армии, которую возглавил в 1918 г. С осени 1918 г. — главнокомандующий вооруженными силами Юга России, заместитель Верховного правителя России Колчака. Летом 1919 г. руководил походом на Москву. С 1920 г. — в эмиграции.

⁵⁷ *Дутов Александр Ильич* (1879–1921) — генерал-лейтенант. В июне 1917 г. избран председателем Всероссийского казачьего съезда в Петрограде, затем — председателем войскового правительства и атаман Оренбургского казачьего войска, в ноябре возглавил антисоветский мятеж в Оренбурге. В

1918–1919 гг. командовал Отдельной Оренбургской казачьей армией у Колчака. После разгрома бежал в Китай, где был убит.

⁵⁸ *Лазо Сергей Георгиевич* (1894–1920) — один из руководителей борьбы за Советскую власть в Сибири и Приморье, в 1920 г. — член Военного совета Приморья. Погиб от рук японских интервентов.

⁵⁹ *Щетинкин Петр Ефимович* (1885–1927) — в декабре 1918 г. организовал партизанский рейд по тылам войск Колчака. В мае—августе 1921 г. начальник экспедиционного отряда Красной армии в Монголии, действовавшей против Унгерна. Погиб в Улан-Баторе.

⁶⁰ *Сухэ-Батор Дамдины* (1893–1923) — основатель Монгольской народно-революционной партии, руководитель Монгольской народной революции 1921 г., главнокомандующий революционных войск, в 1921 г. участвовавших вместе с Красной армией в разгроме войск Унгерна.

⁶¹ *Тимирева Анна Васильевна* (1893–1975) — гражданская жена А.В. Колчака.

⁶² *Политический центр* — эсеро-меньшевистская организация, 5 января 1920 г. после освобождения от колчаковцев захватившая власть в Иркутске. 21 января Политцентр отдал власть Иркутскому ВРК.

⁶³ *Инфлюэнца* — устаревшее название гриппа.

⁶⁴ *Дитерихс Михаил Константинович* (1874–1937) — генерал-лейтенант, один из организаторов мятежа Чехословацкого корпуса. В 1919 г. командовал Сибирской армией, Восточным фронтом. В июне 1922 г. в Приморье избран «Земским собором» «Единым правителем и воеводой земской рати» (именно ему передали власть Меркуловы), объявил «крестовый поход» против Советской России», за восстановление монархии. С октября 1922 г. — эмигрант.

⁶⁵ *Войцеховский Сергей Николаевич* (1883–1951) — генерал-лейтенант. В 1917–1918 гг. — начальник штаба 1-й чехословацкой дивизии, один из организаторов мятежа Чехословацкого корпуса. В 1919 г. командовал 2-м Уфимским корпусом, Уфимской группой войск, с июля — командующий 2-й колчаковской армией. В 1920 г. возглавил остатки колчаковских войск при их отступлении за Байкал, затем служил у Семенова. Эмигрировал в Чехословакию.

⁶⁶ *Дальневосточная республика* (ДВР) — государственное образование — «Буферное» государство между Советской Россией и Японией, — существовавшее с 6 апреля 1920 по

15 ноября 1922 г. на территории Забайкальской, Амурской и Приморской областей.

⁶⁷ *Сидор* — солдатский вещевой мешок.

⁶⁸ *...после унижительного для России 1905 года...* — Русско-японская война 1904–1905 гг., начавшаяся с нападения японского флота на русские суда 1-й Тихоокеанской эскадры в Порт-Артуре, завершилась 5 сентября 1905 г. Портсмутским миром, по которому Россия, в частности, признавала Корею сферой влияния Японии, уступила ей Южный Сахалин.

⁶⁹ *Оверкиль* — неудачный поворот или другой маневр, окончившийся переворачиванием шлюпки или судна вверх килем.

⁷⁰ *Краснощекоев (Тобельсон) Александр Михайлович* (1880–1937) — выходец из семьи приказчика, в 1912 г. учился в Чикаго. В 1917 г. председатель Николо-Уссурийского обкома партии и Дальневосточного крайисполкома. С 1920 г. председатель правительства и министр иностранных дел ДВР. С 1921 г. заместитель наркома финансов РСФСР, в 1922–1926 гг. — председатель правления Промбанка СССР.

⁷¹ *Никифоров Петр Михайлович* (1882–1974) — матрос Балтфлота, с февраля 1920 г. — член Владивостокского комитета РКП(б), в 1920–1921 гг. — в правительстве ДВР, с 1922 г. — на государственной и партийной работе.

⁷² *Гаолян* — разновидность проса с очень высокими стеблями, распространенная в Манчжурии; сено.

⁷³ *Леер* — веревка, трос, служащий для постановки косых парусов и т.п.

⁷⁴ *Клюз* — отверстие в палубе и надводной части борта судна для пропуска якорной цепи.

⁷⁵ *Скибки* — ломтики, кусочки.

⁷⁶ *Калмыков И.М.* — казачий атаман, в июне-августе 1918 г. захватил железную дорогу от Николаевска до Харбина. В феврале 1920 г. его отряды бежали в Манчжурию с 36 пудами золота, в Фукдине были разоружены китайскими властями, сам атаман арестован и расстрелян по обвинению в «уничтожении китайских канерок».

⁷⁷ *Топовые огни* — белый сигнальный огонь, устанавливаемый на верхушке мачты (топа).

⁷⁸ *Чалка* — причальный канат, цепь.

⁷⁹ *Кнехт* — тумба на палубе судна или на пристани для закрепления троса, каната.

⁸⁰ *«Культурная революция»* — политика, проводившаяся в Китае в 1966–1976 гг.

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

1890 г., 13 сентября — в Забайкалье в станице Куранжа родился Григорий Михайлович Семенов.

1904 г. — закончил двухклассное училище в родной станице.

1906 г. — поступил учиться в Читинскую гимназию.

1908 г. — зачислен юнкером младшего класса в Оренбургское военное казачье училище.

1911 г. — окончил училище по первому разряду, произведен в хорунжие, направлен служить на границу с Монголией, в 1-й Верхнеудинский полк Забайкальского казачьего войска.

1914 г., февраль — назначен в чине сотника на должность начальника полковой команды в 1-й Нерчинский полк.

1914 г. — за успешные действия против врагов на германском фронте удостоен Георгиевского оружия с надписью «За храбрость» и награжден орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени.

1916 г. — по личному ходатайству переведен служить на Месопотамский (Персидский) фронт, в 3-й Верхнеудинский полк на должность командира 3-й сотни.

1917 г. — написал на имя военного министра А.Ф. Керенского рапорт-доклад о необходимости создания специальных «добровольческих частей из туземцев Восточной Сибири», в связи с чем был вызван в Петроград.

1917 г. — в чине есаула получил назначение на должность комиссара Временного правительства по образованию Добровольческой армии для Иркутского и Приамурского военных

округов. Одновременно получил мандат военного комиссара Дальнего Востока.

1917 г. — избран делегатом на Войсковой казачий круг, в августе прибыл в Читу. Оттуда выехал на станцию Даурия, чтобы «вести борьбу с большевиками».

1918 г. — создал собственную армию — ОМО — Особый Маньчжурский отряд.

1918 г., октябрь — занял Читу, превратил ее в свою столицу.

1918 г., декабрь — присвоен чин генерал-майора Белой армии. Назначен на должность командующего войсками Читинского военного округа.

1919 г., октябрь — назначен на должность военного губернатора Забайкальской области.

1919 г. — присвоен чин генерал-лейтенанта Белой армии.

1920 г., январь — адмирал А.В. Колчак передал полномочия Верховного правителя России Г.М. Семенову.

1920 г., октябрь — прибыл в Читу для ведения переговоров о создании Дальневосточной республики, но вынужден был бежать из города на аэроплане.

1921 г., май-июнь — попытался произвести переворот во Владивостоке и взять власть в свои руки. Переворот не удался.

1921 г., сентябрь — Г.М. Семенов навсегда покинул Россию.

1936–1938 гг. — работал над книгой «О себе. Воспоминания, мысли и выводы».

1945 г., август — арестован советскими десантниками в собственном доме под Дайреном (ныне китайский порт Далянь).

1946 г., август — казнен по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР.

СОДЕРЖАНИЕ

Валерий Поголяев. АТАМАН СЕМЕНОВ. Роман	7
Комментарии	500
Хронологическая таблица	508

Литературно-художественное издание

Поголяев Валерий Дмитриевич

АТАМАН СЕМЕНОВ

Роман

Ведущий редактор *А. В. Варламов*
Художественный редактор *О. Н. Адакина*
Технический редактор *Е. П. Кудиярова*
Корректор *И. Н. Мокина*
Компьютерная верстка *Т. В. Федоровой*
Компьютерный дизайн *Ю. А. Хаджи*

ООО «Издательство Астрель»
143900, Московская обл., г. Балашиха, пр-т Ленина, д. 81

ООО «Издательство АСТ»
667000, Республика Тыва,
г Кызыл, ул Кочетова, д. 28

Наши электронные адреса:
www.ast.ru
E-mail: astpub@aha.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ОАО «Рыбинский Дом печати»
152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8.